Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Рюриков Б. С.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Тычина П. Г.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

АББАТ ПРЕВО

МАНОН ЛЕСКО

●

ШОДЕРЛО ДЕ ЛАКЛО

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1967

Вступительная статья
Ю. Виппера

И(Фр)
П71

Иллюстрации
Ж.-Ж. Паскье и Юбера Гравело,
Александра Фрагонара

7—3—4
Подп. изд.

ДВА ШЕДЕВРА ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОЗЫ XVIII ВЕКА

«Манон Леско» аббата Прево и «Опасные связи» Шодерло де Лакло объединены в одном томе не случайно. При всем различии, которое существует между обоими произведениями, многое их и сближает.

Каждый из этих писателей завоевал литературную славу как автор одного-единственного произведения. Прево был в действительности литератором весьма плодовитым. При этом и другие его романы (например, «Записки знатного человека» или «История Кливленда») пользовались большим успехом у современников. Однако в наши дни широкие читательские круги знают его только как автора «Манон Леско».

Артиллерийский офицер Шодерло де Лакло увлекался на досуге литературным творчеством. Задумывая свой роман «Опасные связи», Лакло, по словам очевидца, «намеревался написать книгу из ряда вон выходящую, которая имела бы отзвук и тогда, когда его самого уже не будет в живых». Он достиг этого. Когда же страсти, вызванные выходом в свет его книги, несколько затихли, этот многогранно одаренный человек направил свою энергию на другие цели. То, что он сочинял после 1782 года, принадлежит истории военной мысли и техники, политике и публицистике. Литературные же опыты, предшествовавшие «Опасным связям» (легкие галантно-эротические стихотворения, анонимный пасквиль «Послание Марго», метивший во всесильную Дюбарри, либретто оперы «Эрнестина» и др.), не оставили сколько-нибудь заметного следа.

Жизненный охват в «Манон Леско» и в «Опасных связях» не отличается особой широтой. Внимание писателей сосредоточено как будто целиком на анализе любовного чувства. Но этот анализ так глубок и ярок, что бросает свет далеко вокруг себя: он раскрывает общественную сущность героев, заставляет задуматься над природой жизненных

закономерностей, определяющих их судьбу. И то и другое произведение содержало в себе резкое осуждение окружающей социальной действительности. Господствующие дворянские и церковные круги великолепно отдавали себе в этом отчет. В 1733 году, сразу же после выхода из печати французского издания «Манон Леско» (впервые это произведение Прево было опубликовано двумя годами раньше в Голландии), оно было конфисковано и предано сожжению. Появление в свет в 1782 году «Опасных связей» вызвало волну негодования в светских кругах и среди благонамеренно настроенных литераторов. Противники Лакло кричали о безнравственности романа, а на самом деле опасались его разоблачительного звучания. Им было ясно, какой мощный заряд был заложен в книге, созданной почти одновременно с такой бунтарской вещью, как «Женитьба Фигаро» Бомарше.

Шодерло де Лакло в начале 80-х годов XVIII века мог выявить свою враждебность дворянскому обществу лишь в литературной форме — постигнув нравственный облик этого общества и воспроизведя его в образах. Однако уже через несколько лет скромный, но лелеявший смелые замыслы офицер проявил свои общественные убеждения более непосредственно — в политических бурях и военных схватках революции.

Оба произведения, будучи тесно связанными с художественными традициями и идеологической жизнью своего времени, вместе с тем занимают в какой-то мере обособленное место в литературном процессе XVIII столетия. Разумеется, Прево соприкасался во многом со своими современниками-просветителями. Шодерло де Лакло многое у последних воспринял. Однако ни тот, ни другой не являлись прямыми участниками просветительского движения. В то же время и «Манон Леско» и «Опасные связи» знаменуют собой важный этап в становлении реалистического романа как жанра. В обоих произведениях можно обнаружить попытку осуществления некоторых из тех принципов художественного видения действительности, тех способов раскрытия внутреннего мира человека, которые получили свое дальнейшее развитие позднее, в пору полной зрелости романа, в литературе критического реализма. Не удивительно поэтому, что «Манон Леско» и «Опасные связи» сохраняют свою эстетическую жизненность вплоть до наших дней, продолжая и поныне питать ум и волновать воображение читателя.

* * *

Несмотря на наличие точек соприкосновения, многое, естественно, и различает эти романы — тем более, что они отделены друг от друга промежутком в полстолетия. Причина этих различий многообразна. Весьма несхожими были, прежде всего, характеры обоих писателей, по-разному складывался их жизненный путь.

Антуан-Франсуа Прево (1697—1763) был человеком чувствительным, одаренным душой пылкой, но непостоянной, не выдерживавшей длительного напряжения борьбы. В течение довольно долгого времени он метался между двумя противоположными жизненными решениями — между затворничеством монастырской кельи и треволнениями светского существования. Жизнь его изобиловала волнующими, а зачастую и рискованными авантюрами, неожиданными переломами. Однако, когда окидываешь взором пеструю и беспокойную биографию аббата Прево, складывается впечатление, что чаще не он сам определял течение своей жизни, а судьба распоряжалась им в зависимости от своих прихотей.

Пьер-Амбруаз-Франсуа Шодерло де Лакло (1741—1803) был человеком иного склада — целеустремленным и волевым, обладавшим железной выдержкой. Выходец из среды мелкого дворянства, недавно возведенного в звание (его отец состоял в должности секретаря интендантства провинций Артуа и Пикардия), он избрал для себя службу в армии. По примеру других молодых людей, интеллигентных и знающих, но не располагавших связями и протекцией, он поступил в артиллерийское училище. Лакло рано проникся оппозиционными настроениями по отношению к существующему режиму. Нравы господствующих кругов его отталкивали, порядки, царившие в стране, где общественное брожение принимало все более грозный характер, возмущали. Решив бороться за свои убеждения, он избрал своим оружием перо. Лакло стал собирать сведения, разоблачающие нравы представителей именитых аристократических семей. Есть основание предполагать, что у него было намерение написать резкий политический памфлет. Затем, однако, весь этот накопленный материал он переплавил в художественные образы. Взяв в 1781 году отпуск и обосновавшись на некоторое время в Париже, он создал «Опасные связи». Воплотив в этой книге роившиеся у него в сознании мысли, настроения и жизненные впечатления, Лакло отошел от литературного творчества. Его влекли к себе другие перспективы.

Необходимо, хотя бы очень кратко, обрисовать основные этапы его последующей, недолгой, но бурной жизни. Без знакомства с ними трудно составить себе представление о личности и мироощущении создателя «Опасных связей». В 1786 году, в знак протеста против духа кастовости и казенной рутины, царивших в старорежимной армии, Лакло обратился с письмом к Французской Академии. Последняя задумала объявить конкурс на похвальное слово Вобану, мастеру военно-инженерного и фортификационного дела времен Людовика XIV. Вобан был кумиром консервативно настроенного руководства королевской армии; Лакло же, вдохновляясь идеями своего учителя в области военной техники Монталамбера, подверг язвительной критике культ Вобана. Начальство Лакло, которое недолюбливало вольнодумного офицера еще со времен скандальной публикации «Опасных связей», на этот раз проявило решительность.

Лакло был лишен возможности продолжать свои экспериментальные военно-инженерные работы. Ему было предписано вернуться в воинскую часть, но он предпочел отставку.

Ему не пришлось, однако, долго сидеть сложа руки. Вспыхнуло пламя революции. Лакло немедленно окунулся в гущу политической борьбы. Он стал главным советником герцога Орлеанского, фигуры популярной в оппозиционных кругах, претендента на возможный пост главы конституционного правительства. Затем, по мере углубления революции, автор «Опасных связей» выдвинулся в число ведущих деятелей Якобинского клуба и вел напряженную журналистскую деятельность как один из редакторов газеты «Журналь дез ами де ла Конститюсьон». В дни, когда против Франции выступила первая контрреволюционная коалиция, Лакло вернулся на военное поприще. Он принимал активное участие в выработке общих стратегических планов кампании. Исполняя обязанности комиссара революционного правительства при главнокомандующем войсками, он внес немалую лепту в разгром врага при Вальми. Затем ему было поручено укрепление обороны республики на юге страны, после чего он был назначен генерал-губернатором французских владений в Индии.

Начались гонения на герцога Орлеанского и его приверженцев, и Лакло был арестован. Но предложенное Лакло изобретение — создание «полых ядер», значительно увеличивавших ударную силу морской артиллерии,— заинтересовало военные власти республики; Лакло был освобожден и получил возможность работать над своим проектом. Однако вскоре, в ноябре 1793 года, в период разгрома жирондистов, Лакло был вновь заключен в тюрьму, на этот раз надолго. Его жизнь висела на волоске. Особенно угрожающим его положение оказалось после казни Дантона, к которому он был близок. Вышел он из тюрьмы лишь после 9-го термидора. Его здоровье было подорвано. В течение нескольких лет он был вынужден оставаться в тени; занимался журналистикой, служил в финансовом ведомстве. Приход к власти Бонапарта, с которым он был лично связан, вновь открыл ему доступ в армию. Стремление материально обеспечить семью было основным мотивом, побудившим Лакло, несмотря на возраст и недомогания, вновь взвалить на себя нелегкое бремя походной жизни. Первый консул присвоил ему звание генерала. Лакло работал в Центральном артиллерийском комитете и наконец получил назначение на должность командующего артиллерией Неаполитанской армии. Прибыв в Таранто, он вскоре заболел дизентерией и скончался 4 сентября 1803 года.

* * *

Причины, по которым Прево и Шодерло де Лакло оказались — каждый — авторами единственного произведения, также были несхожи.

Прево пережил кратковременный творческий взлет, вырвавшись

в конце 20-х годов на свободу из монастырского плена. В «Манон Леско» этот взлет отразился с наибольшей художественной силой. Это произведение было создано в какой-то необычайный, не повторявшийся более в жизни писателя момент исключительного расцвета всех его душевных сил. В этот момент — возможно, под влиянием чувства любви (увлечение авантюристкой Ленки, послужившее непосредственным толчком для написания романа) — в противоречивом мироощущении Прево возобладала жажда земного счастья, воля к борьбе за него.

Шесть лет, с 1728 по 1734 год, провел Прево в эмиграции, за пределами абсолютистской Франции — сначала в Англии, затем в Голландии и, наконец, снова в Англии. Пребывание в этих странах, значительно опередивших Францию в общественном развитии, расширило и углубило жизненный опыт Прево. Плодотворное воздействие оказало на него и знакомство с достижениями английской реалистической литературы, и в первую очередь с романами Дефо. Они привлекли внимание Прево правдивым изображением социальных контрастов и сочувствием к тяжелой жизни низов общества. Все эти предпосылки, вместе взятые, и позволили полностью раскрыться богатейшим творческим возможностям художественной натуры Прево.

На первый взгляд, между «Манон Леско» и другими, ныне забытыми произведениями Прево, есть много общего. И здесь перед нами снова тот же излюбленный писателем тип героя — человека импульсивного и чувствительного, обладающего богатым внутренним миром. И здесь, как и в «Записках знатного человека» и в «Истории Кливленда», рассказ ведется от первого лица. Эта форма позволяла писателю согреть изложение лирическим теплом, придав ему характер задушевной исповеди. Не случайно от художественных произведений Прево тянутся прямые нити преемственности к «Исповеди» Руссо и многим выдающимся образцам «личного» романа XIX века.

Однако в «Манон Леско» все эти обычные для романов Прево черты приобретают иное качество. «Манон Леско» — это тоже роман о роковом и всепоглощающем чувстве, о страсти, не нуждающейся в согласии с разумом и даже в уважении к своему объекту,— о любви, которая повергает героя в пучину бедствий и обрекает его на неисчислимые страдания. Но в «Манон Леско» это чувство проанализировано глубже, а социальные истоки зла, которыми обусловлена жизненная трагедия героя, обрисованы более рельефно и более отчетливо, чем в прочих книгах аббата Прево. В «Манон Леско» писатель наиболее полно проявил способность объективно воссоздавать жизненную правду, какой бы запутанной и суровой она ни была.

Новаторское достижение Прево-художника заключалось прежде всего в том, что он сочетал в единое органическое целое проникновенность психологического анализа и достоверность в изображении бытовых

и материальных условий существования своих героев (при этом ни одно из этих начал не подавляет другого: оба они гармонично уравновешены в «Манон Леско»). Душевные страдания людей и их повседневные заботы о деньгах оказались в романе Прево связанными воедино. До него эти два начала были обычно разобщены. На одном полюсе царила классицистическая трагедия, создававшая одухотворенные, преисполненные возвышенного содержания образы, страшно далекие, однако, от реальных условий жизни простых людей. На другом полюсе подвизались авторы бытовых и плутовских романов, старательно фиксировавшие «низменные», прозаически неприглядные стороны повседневной действительности, но делавшие это во многом натуралистично и поверхностно. У Прево же носителем поэтического начала оказываются не верхи общества, а представители его деклассированных, «плутовских» низов. Именно они в «Манон Леско» обладают сложным внутренним миром, им доступны глубокие трагические переживания. Контраст между внутренними побуждениями де Грие и возможностями, предоставляемыми ему тем незавидным общественным положением, в котором он оказался, и является одной из основных причин драмы, переживаемой героем. Осознавая это противоречие, де Грие и восклицает горестно, обращаясь к Манон: «Почему не наделены мы от рождения свойствами, соответствующими нашей злой доле? Мы одарены умом, вкусом, чувствительностью; увы, сколь печальное применение мы им находим, в то время как столько душ, низких и подлых, наслаждаются всеми милостями судьбы!»

Изменения, произошедшие в мироощущении писателя, обострили его художественное зрение. Это обстоятельство позволило Прево отразить в своем романе существенные, хотя и не лежавшие на поверхности противоречия французской действительности первой трети XVIII века. Произведение Прево от начала до конца пронизано протестом против социальной несправедливости.

Действие романа происходит в годы Регентства, то есть после смерти Людовика XIV, последовавшей в 1715 году (в это время страной правил его племянник герцог Филипп Орлеанский). В романе очень точно воспроизведены внешние приметы, отдельные черты быта французской столицы тех лет. Названия упоминаемых автором улиц, описания предместий Парижа, распорядка Сен-Лазарского исправительного дома, нравов, царивших в женской тюрьме,— все эти подробности в романе вполне достоверны. Но важно не это. Писатель сумел воспроизвести дух эпохи, когда верхушка общества предалась вакханалии стяжательства, бешеной погоне за деньгами и наслаждениями.

Путь де Грие к любви и счастью преграждают прежде всего деньги. В обществе, в котором живет кавалер, любовь завоевывается не любовью, а золотом, там все покупается и продается. Ни в чем себе не отказывающие откупщики отнимают у де Грие его возлюбленную, подчиняя ее

власти денег, растлевая ее сознание. Идя дальше большинства просветителей первой половины XVIII столетия, Прево показывает, как новые жизненные отношения, развивая личные интересы человека и пробуждая у него жажду земных благ, ввергают его в еще более тяжелую зависимость, чем сословные различия, подчиняют его еще более темным и враждебным силам.

В «Манон Леско» звучит характерная для будущих романтиков тема рока, который неуклонно преследует героя, обреченного на несчастья. У Прево она получает реалистическое решение.

Роман Прево разоблачает лицемерие господствующих кругов. Те же поступки, за которые де Грие бросают в тюрьму, а Манон отправляют на каторгу, остаются безнаказанными, если их совершает человек, обладающий состоянием и связями. В обществе, где царят деньги и звания, нет одной общей морали. Их две: одна — для господ, а другая — для их жертв. Эта истина очевидна для де Грие, и он разражается по этому поводу горькими филиппиками.

Взывая к законам морали, богач-совратитель г-н де Г*** М*** обрекает Манон на каторгу. На самом деле сурового наказания заслуживает он сам. Манон прежде всего жертва зла, которое влечет за собой воплощенная в личности г-на Г*** М*** всемогущая власть денег. Невыносима для де Грие и мысль о том, что он сам в результате своего происхождения оказался далеко не в одинаковом положении по сравнению с Манон. Они сообща совершали проступки, но Манон, родную сестру простого солдата, не задумываясь осуждают на принудительную и позорную высылку, а ему, из-за вмешательства влиятельных лиц, предоставляют свободу. Привилегированность здесь оказывается морально неприемлемой для того, кто, казалось бы, предназначен извлекать для себя выгоду из нее.

В «Манон Леско» обнаруживается также новый подход к изображению жизни в колониях (весьма распространенный мотив в литературе XVIII столетия). У Лесажа, автора «Капитана Бошена», у Дефо в «Робинзоне Крузо» и позднее, скажем, в «Родерике Рэндоме» Смоллета, заморские колонии предстают в конечном итоге как некая обетованная земля, к которой герой пробивается в результате нечеловеческих усилий. Оттуда, в конце концов, приходит богатство, избавляющее героя от лишений и обид, которые он терпит у себя на родине. В американских эпизодах «Манон Леско» воплощены иные идейные мотивы.

Вначале представления героев о жизни в далекой заокеанской стране окрашены в тона типичной для века Просвещения поэтической мечты о первобытном обществе как некоем оазисе, хранителе истинно гуманных, чистых отношений. Однако уже вскоре реальная действительность разбивает вдребезги эти мечты. Жизнь в Америке ничего не изменяет в судьбе героев. В далекой колонии строятся те же отношения,

господствуют те же нравы, что и в Европе. Похотливые и завистливые люди, используя власть и деньги, опять стремятся отнять Манон у де Грие. Здесь, за пределами Европы, эти отталкивающие нравы оказываются, пожалуй, еще более жестокими и грубыми, ибо они лишены той внешней оболочки утонченной цивилизованности, которая прикрывает их внутреннюю неприглядность во Франции. Единственным средством спасения для героев оказывается бегство в пустыню. Заключительные эпизоды романа Прево вырастают в художественное обобщение большой поэтической силы,— они звучат гневным осуждением современной писателю действительности.

Прево в период своего разрыва с католической церковью не только склонялся к сочувствию протестантизму, но временами, как можно, например, судить по «Манон Леско», отдавал дань и вольномыслию в настоящем смысле этого слова. Надо полагать, что основная причина запрещения французского издания Прево заключалась не в отдельных идейных мотивах, напоминающих учение янсенизма, а в проскальзывающих в этом романе вольнодумных настроениях, в опасности, которую его распространение представляло для церкви.

Носителем утверждаемых религией этических принципов выступает в романе Тиберж, верный друг кавалера. В психологически сложном и по-своему трогательном облике Тибержа есть черты, которые роднят его с де Грие. Если кавалер — жертва фатальной власти любви, то жизнь Тибержа — пример всепоглощающей силы дружбы. Однако, преданно любя де Грие, Тиберж является одновременно и его своеобразным идейным антагонистом. Прево как бы ставит своей книгой вопрос: кто же человечнее — Тиберж, с его аскетическим пониманием долга и морали, с его нравоучительством, невозмутимым спокойствием, молитвами и монастырским затворничеством, или грешный де Грие, с его страданиями, нищетой, преступлениями, с его печальной судьбой и безграничной любовью? Прево на разных этапах своего жизненного пути различно отвечал на этот вопрос. В образе Тибержа он воплотил настроения, в которых временами сам пытался найти спасительное прибежище. В Тиберже, как и в де Грие, отразились различные стороны противоречивой натуры аббата Прево. Бесспорно, однако, что в момент создания «Манон Леско» внутреннее смятение, переживаемое кавалером де Грие, было неизмеримо ближе писателю, чем аскетические идеалы Тибержа.

Но роман Прево наносил урон религии не только косвенно. Он заключал в себе местами и прямые, очень смелые для своей эпохи вольнодумные выпады. Так, например, во время спора с Тибержем в Сен-Лазарской тюрьме де Грие отваживается сравнивать счастье, которое сулит в загробной жизни религия, и блаженство, которое приносит на земле людям любовь. Это сопоставление звучало в XVIII веке как проявление подлинного вольномыслия. Наконец, с особенной силой это кра-

мольное начало прорывалось в проклятии небесам, которое бросает де Грие, переходя к рассказу о бедствиях, пережитых им в Америке.

Умение Прево создавать сложные характеры наиболее ярко проявилось в фигурах центральных героев. Образы Манон и де Грие даны писателем в развитии. Манон, какой она проходит перед нами на протяжении многих эпизодов романа,— беспечная, легкомысленная, непосредственная и одновременно циничная,— не похожа на умирающую Манон — с ее глубокими чувствами, серьезным взглядом на жизнь. Действие романа охватывает всего несколько лет. За это время де Грие успевает превратиться из наивного семнадцатилетнего юноши в мужчину с большим и тяжелым жизненным опытом.

Герои повести развиваются, борясь не только с окружением, но и сами с собой (в этом их принципиальное отличие от персонажей плутовского романа). В их сознании сталкиваются чуждые друг другу начала. Герои показаны, в первую очередь, как жертвы окружающего их порочного общества, которому они не способны противостоять. Они слабы и легко поддаются губительному воздействию царящего вокруг них цинизма. «Манон Леско» — это роман о порче молодежи, развращенной соблазнами «легкой» жизни. Манон так ослеплена чувственной красотой мира, так неудержимо жаждет наслаждаться музыкой, нарядами, красивыми вещами, что способна, слепо подчиняясь господствующим вокруг нее законам купли и продажи, стать жрицей любви. Де Грие так страстно увлечен Манон, что может потерять самообладание, стать рабом своего чувства и совершать поступки, противоречащие понятиям о чести и достоинстве.

Однако, если видеть лишь одни прегрешения героев и игнорировать роль, сыгранную в их судьбе общественными обстоятельствами, можно значительно обеднить содержание романа, сведя его к довольно банальному нравоучительному рассказу о том, как милый, но слабовольный молодой человек, увлеченный негодницей, сбился со стези, на которой его не смогли удержать порядочные и достойные люди. Своим произведением Прево не только показывает, как разлагает сознание людей порабощающая их власть денег. В «Манон Леско» одновременно находит свое выражение и гуманистическая вера автора в человечество, в его способность противостоять губительной власти золота. Как бы ни были слабы, простодушно-наивны и подвержены жажде наслаждений, привязаны к чувственной красоте мира герои Прево, деньгам не удается растлить в их душе человеческую сущность.

Разными красками переливается образ Манон. Об этом хорошо сказал Мопассан. Он писал о Манон: «Это — полная противоречий, сложная, изменчивая натура, искренняя, порочная, но привлекательная, способная на необъяснимые порывы, на непостижимые чувства, забавно расчетливая и прямодушная в своей преступности, и в то же время

необычайно естественная. Как отличается она от искусственных образцов добродетели и порока, столь упрощенно выводимых сентиментальными романистами, которые воображают, что это характерные типы, не понимая, какой многосторонней и изменчивой бывает человеческая душа».

Душевная чистота не вытравлена из сознания Манон. Подчиняясь и подражая нравам, которые она наблюдает вокруг себя, она вместе с тем не заражается духом стяжательства. Она не стремится к деньгам ради денег. Де Грие и Манон не могут обойтись без золота, ибо им кажется, что оно необходимо им для полноты счастья; но одновременно они презирают его.

Тема неистребленной душевной чистоты находит, однако, свое основное выражение, конечно, в образе де Грие. Он и есть центральный и истинно проблемный герой повести. Не случайно в ее заглавии, вплоть до переработанного издания 1753 года, на первом месте стояло имя кавалера де Грие.

Враждебные силы не могут сломить де Грие, подчинить себе окончательно. Им не удастся разлучить кавалера и Манон. Свои падения он искупает ценой жестоких страданий и тяжелых лишений. В то же время его любовь к Манон — не только источник присущих ему слабостей, но одновременно и источник его силы. Борьба за Манон является для де Грие борьбой за человека и за собственное право на человечность. Самое существенное и важное — не то, что, увлеченный своим чувством, он может стать на время карточным шулером, а то, что во имя чувства любви он может и пожертвовать своим личным благополучием, пойти добровольно в ссылку, обречь себя на муки и нищету.

Принципиальное значение этого момента в образе де Грие было подчеркнуто самим автором в предуведомлении к книге. Писатель указывая, что его внимание было в первую очередь привлечено жизненным случаем, который большинству современников мог показаться странным и исключительным. Прево писал, что он хотел изобразить «ослепленного юношу, который, отказавшись от счастья и благополучия, добровольно подвергает себя жестоким бедствиям; обладая всеми качествами, сулящими ему самую блестящую будущность, он предпочитает жизнь темную и скитальческую всем преимуществам богатства и высокого положения...».

В решении де Грие сопровождать свою возлюбленную в ссылку очевиднее всего и проявилась эта наиболее существенная черта его внутреннего облика. В то время как всесильные противники де Грие оказываются отъявленными эгоистами, кавалер один способен на самопожертвование. Поэтому из борьбы со своими преуспевающими врагами моральным победителем выходит именно он. Раз люди способны так самоотверженно любить и так упорно бороться — прекрасное неистребимо в душе человека. Это и утверждает роман Прево.

Глубокое содержание отлито писателем в чрезвычайно прозрачную и четкую форму. Говоря о стилистических особенностях «Манон Леско», следует отметить прежде всего два момента: их национальное своеобразие и новаторский характер. В «Манон Леско» нашла свое воплощение одна из отличительных черт французского искусства — сочетание внешней хрупкости и изящества произведения со скрытой в нем большой внутренней силой. Не случайно эта маленькая книжка объемом около двухсот страниц оказалась способной привести в содрогание реакционные общественные круги.

В рассказе де Грие привлекает простота, скромность. Героям Прево чужда поза, стремление казаться лучше, чем они есть на самом деле. Де Грие не пытается обелить себя, и Манон не стремится громкими фразами замаскировать свою слабость. Кавалер называет только факты, рассказывая голую правду, какой бы жестокой и тягостной для него она ни была. Но именно поэтому его повествование приобретает оттенок целомудренной чистоты и мужественности, становится захватывающим человеческим документом.

Весьма многообразны и смелы для своего времени художественные средства, которые Прево использует для раскрытия внутреннего мира героев. Так, например, необычную для французских романистов первой половины XVIII века гибкость и динамичность приобретает у Прево такой еще очень слабо развитый к этому времени в повествовательной прозе художественный прием, как внутренний монолог. Присущее Прево умение проникать в сокровенные уголки сознания героев особенно ярко проявляется, когда он воспроизводит переживаемые ими душевные противоречия и характеризует психологически сложные состояния. Видоизменяется под пером Прево и широко распространенное во французском романе этого времени повествование от первого лица. Оно теряет в «Манон Леско» свой условный характер, становится источником глубокой внутренней правды. Поэтическое обаяние, присущее «Манон Леско», связано с умением автора применять в своих описаниях полутона, возбуждая воображение читателя. Образ Манон Леско привлекает нас своей неуловимой зыбкостью. Ее внешний облик почти не конкретизирован писателем. Манон предстает перед нами в ореоле чувств, которые она вызывает в душе влюбленного в нее юноши. Читатель видит Манон глазами самого де Грие.

Наконец, говоря о художественной форме «Манон Леско», следует отметить слог, которым написан этот роман. Он типичен для лучших произведений французской прозы XVIII века: легкий, свободный от тяжеловесных синтаксических конструкций, он словно крылат. Этот слог несет на себе отпечаток прозы классицизма. Но в нем проявляются и совсем иные художественные тенденции. Это, во-первых, отличающее стиль Прево лирическое, эмоциональное начало. И во-вторых, это —

стремление автора «Манон Леско» значительно расширить свой словарь. Оно было обусловлено интересом писателя к «низменной», с точки зрения канонов классицизма, обыденной сфере действительности.

* * *

«Опасные связи» переносят читателя в иную социальную обстановку. Действие романа Прево протекает большей частью в среде «плутовской», которая была своего рода изнанкой господствующего общества начала XVIII века. Шодерло де Лакло сосредоточил свое внимание на нравах высшего светского общества Франции в конце века — в канун революционного взрыва.

Образ безнравственного дворянина, соблазняющего девушек из добропорядочных буржуазных семейств,— тема широко распространенная в западноевропейской литературе XVIII века. Лакло решает ее своеобразно. Ему чужды мелодраматизм и нравоучительная декламация, свойственные творчеству сентименталистов. Он далек и от поверхностной анекдотичности, от любования пикантными деталями, свойственного светским эротическим романам. Лакло раскрывает внутренний мир персонажей реалистически. Он выступает в этом отношении продолжателем художественной традиции, которая была заложена Мольером — создателем образа Дон-Жуана. Следуя примеру Мольера, Лакло не схематизирует, но и не мельчит и не приглаживает характеристики тех циничных и черствых людей, нравы которых он анализирует и рисует. Но именно поэтому ему, как и его замечательному предшественнику, удается проникнуть в самую сердцевину сущности изображаемой им среды; создав живые и полнокровные характеры, он достигает обобщения большого масштаба.

Подобно Дон-Жуану, виконт де Вальмон и маркиза де Мертей соединяют в себе утонченность светской и интеллектуальной культуры с душевной испорченностью, с предельным себялюбием и цинизмом. Эта параллель говорит одновременно и о том, как деградировало французское дворянство за столетие, отделяющее пьесу Мольера от романа Шодерло де Лакло. «Опасные связи» служат в этом отношении неопровержимым историческим документом. Чувственность мольеровского Дон-Жуана была раскалена пламенем страстности, в ней прорывалось опьянение не столь уж давно обретенной возможностью свободно наслаждаться земными благами, в ней были еще слышны отголоски стихийного ренессансного жизнелюбия. Образ мыслей Дон-Жуана сохранял в себе оттенок бунтарского вызова по отношению к тем мрачным общественным силам, которые проповедовали аскетизм и слепое подчинение авторитетам. Вольнодумство Вальмона, этого потомка Дон-Жуана, лишено какого-либо ореола бунтарства. Оно уже ни в какой мере не способствует борьбе с

предрассудками и, наоборот, может только калечить людей. Чувственность Вальмона выродилась в развращенность, превратилась в средство сведения житейских счетов, в орудие тщеславия и интриги.

О том же исторически неумолимом процессе деградации дворянской среды свидетельствует своеобразная и не лишенная демонической силы фигура госпожи де Мертей. Соревнуясь с Вальмоном в изощренном причинении зла, маркиза превосходит своего союзника-антагониста в отношении воли, монолитности и порочности натуры. Она и есть истинный гений зла в романе, основная движущая пружина действия. Именно она направляет в решающие моменты поведение Вальмона. Эта гегемония маркизы де Мертей — не случайный плод воображения писателя, а также черта типическая, соответствующая той доминирующей роли, которую играла женщина в дворянской цивилизации. Как изменилось, однако, содержание этой роли за те же сто с небольшим лет! Аристократические героини Фронды тоже были снедаемы честолюбием, направляли волю мужчин, плели бесконечные интриги. Но они были увлечены идеалами, почерпнутыми из рыцарского прошлого, вдохновляли политические заговоры и военные кампании, мечтали о том, чтобы определять течение государственных дел. Прототипы расиновских героинь умерили свои политические претензии, замкнулись в мире любовных переживаний, но это были подлинные страсти, которые их сжигали. Маркизе де Мертей незнакомы порывы чувств и душевные страдания; она руководствуется лишь холодным и злобным расчетом.

И Вальмону и госпоже де Мертей присущи тщеславие и обостренное, не прощающее малейших обид самолюбие. Высшее удовлетворение для Вальмона — вызывать восхищение в «свете» своими любовными победами. Вальмон ничего так не опасается, как иронических комментариев и насмешек, которые могли бы прозвучать по его адресу в каком-нибудь из аристократических салонов. Так в романе Лакло из отдельных разрозненных деталей вырисовывается зловещий образ светского общества, как антигуманной силы, губительной для независимой человеческой личности. Лакло здесь намечает тему, которая будет всесторонне разработана в романтической и реалистической литературе первой половины XIX века, во многих романах Бальзака, в такой, скажем, повелле Мериме, как «Этрусская ваза», в «Маскараде» Лермонтова.

Маркиза и Вальмон стремятся сломить волю своих жертв, втоптать их в грязь, садистски продлить их моральные страдания. Каждая попытка сопротивления вызывает у них возмущение и удесятеряет энергию. Цель, согласно их убеждению, оправдывает любые средства. Навязчивый, заполонивший все их сознание эротизм сочетается у них с моральной извращенностью, и они не случайно являются современниками маркиза де Сада, писателя, запечатлевшего следы распада в нравственном облике французского дворянства конца XVIII столетия.

Однако значение образов, созданных Лакло, выходит за рамки современной писателю эпохи. Изображая людей, которые видят смысл своего существования в том, чтобы, возбуждая в окружающих примитивные инстинкты, унижать их человеческое достоинство и низводить их до собственного морального уровня, писатель вскрывал умонастроения, характерные для любой вырождающейся среды, стоящей на пороге гибели. В этом художественном открытии — один из источников непреходящей идейной и эстетической актуальности «Опасных связей» и, в частности, того обостренного интереса, который это произведение вызывает в наше время — время распада буржуазного общества.

В образах виконта и маркизы привлекает внимание еще одна характерная черта — их доведенная до предела рассудочность. Оба они анализируют и держат под контролем разума любой свой поступок, любой наплыв настроения, рассчитывают каждый свой шаг и каждый шаг своих противников в той запутанной рискованной игре, которую они ведут. Это даже не столько игра, сколько схватка, ожесточенная борьба, подчиненная строго продуманной тактике и стратегии. Недаром письма обоих сообщников изобилуют военными терминами. Любовь, как и вся жизнь, для них — это не знающее пощады столкновение умов и характеров, в котором каждый стремится подчинить себе другого.

В своем самоанализе и в своих расчетах Вальмон и маркиза проявляют себя тонкими психологами и прежде всего прекрасными знатоками человеческих слабостей и пороков. Это не удивительно. Оба они впитали в себя все, что аристократическая цивилизация была способна дать: будь то светский лоск, изощренное эпистолярное мастерство или знание извивов человеческой души. Их письма свидетельствуют не только о великолепной осведомленности в области художественной литературы. Они дети своей эпохи и на свой лад ассимилировали характерные для нее духовные веяния.

Вальмон и в первую очередь госпожа де Мертей — это литературные персонажи, обладающие определенной жизненной концепцией, четко продуманной жизненной философией, которой они твердо и последовательно подчиняют свое поведение. Сконструировав эту концепцию на основе накопленных наблюдений, они стремятся, руководствуясь принципами, в которые уверовали, подчинить себе окружающую действительность, поставив ее на службу своим целям. В этом есть нечто принципиально новое по сравнению с предшествующим развитием романа. Здесь сказывается, в частности, своеобразная диалектика в трактовке взаимоотношения индивида и среды. Человек выступает у Лакло не пассивным продуктом среды, слепо приспосабливающимся к ней, а находится в состоянии взаимосвязи с последней. Формируясь под влиянием среды, он пытается, используя познанные им закономерности и выработанную им идеологическую систему, в свою очередь активно воздейст-

вовать на среду — подчинить ее своим интересам. И это художественное открытие Лакло бросает свет в будущее, предвосхищая появление таких литературных героев, как Жюльен Сорель, Растиньяк, Ребекка Шарп или Раскольников [1].

В художественном мироощущении Лакло дают себя знать разного рода влияния. В нем можно отчетливо ощутить рационалистическую тенденцию. Тонкий мастер психологического анализа, Лакло многим обязан культуре классицизма XVII века и прежде всего трагедии (Расин), эпистолярной и мемуарной литературе (г-жа де Севинье и Рец) и моралистике (Ларошфуко). Он многое почерпнул и у энциклопедистов. Но Лакло одновременно был горячим почитателем Руссо. К самому жанру романа в письмах он обратился в равной мере под влиянием «Клариссы Гарлоу» Ричардсона, произведения, увлекшего его образами центральной героини и Ловласа, и под воздействием «Новой Элоизы» Руссо. Лакло пытался в подражание «Эмилю» Руссо создать трактат «О воспитании женщин», он вдохновлялся поэтическим образом Юлии и мечтал на склоне лет написать роман, в котором воспевались бы радости семейной жизни. В «Опасных связях» он подвергает критике цивилизацию, основанную на безраздельном господстве рассудка и пренебрегающую правами сердца, голосом чувств. Лакло показывает, что рафинированный интеллектуализм его аристократических героев, не согретый любовью к людям, лишенный сердечного тепла, становится опасной силой и перерождается в бездушную расчетливость, в бесплодное кипение ожесточившегося ума.

Духовные устремления, воспринятые у Руссо, питали художественную мысль Лакло, когда он создавал поэтичный и трагический образ жены парламентского президента, госпожи де Турвель, единственного из центральных персонажей романа, не принадлежащего по своему происхождению к дворянству (этому моменту придавал принципиальное значение Бодлер в своем анализе «Опасных связей»). Но еще ближе госпоже де Турвель некоторые образы замужних женщин, переживающих мучительную душевную драму,— образы, которые были созданы критическими реалистами XIX века и их непосредственными предшественниками (Элленора у Бенжамена Констана, госпожа де Реналь в «Красном и черном» Стендаля, Жюли де Шаверни из новеллы Мериме «Двойная ошибка»). И это не удивительно, ибо перед нами образ реалистический в своей основе.

Речь идет, в первую очередь, о реализме психологическом. Бодлер отмечал чисто расиновское мастерство, с которым Лакло воспроизводит

---

[1] Мысль о новаторстве Лакло как создателя персонажей, которые сознательно подчиняют свое поведение выработанной ими идеологии, была высказана А. Мальро в эссе, посвященном автору «Опасных связей» и опубликованном в книге: «Tableau de la littérature française». XVII[e] — XVIII[e] siècles, Paris, 1939.

оттенки, переходы, нарастание чувств, обуревающих героиню. Это чувство в результате напряженной борьбы берет в конце концов верх над представлением госпожи де Турвель о супружеском долге. Шодерло де Лакло подхватывал старый, излюбленный классицистами конфликт — столкновение долга и чувства, но развивал и решал его на новый лад. В центре его внимания стоит проблема внутренней цельности человека. Изображение душевного смятения и разлада, который овладевает человеком, теряющим внутреннее равновесие в результате измены своим жизненным принципам, было необычным в эпоху, когда еще преобладали типично рационалистические представления о закономерностях, господствующих в психической жизни человека. Эта проблематика стала привлекать внимание писателей в XIX веке (одним из первых произведений, в котором была сделана попытка реалистически осмыслить ее, была новелла Мериме «Партия в триктрак»). Лакло и здесь опережал свое время.

Госпожу де Турвель, человека эмоционального, не в меньшей мере, однако, чем ее антагонистов, характеризует осознанность поведения. В этом отношении она столь же интеллектуальный герой, как и маркиза де Мертей. Все дело в том, что интеллект у нее не иссушил души, и принципы, которым она следует,— иные. Суть страданий госпожи де Турвель заключается в невыносимости для нее мысли, что она изменяет своим принципам, самой себе. «Падение» героини еще не влечет за собой ее морального распада. Отдаваясь возлюбленному, она находит новую внутреннюю цельность — на этот раз уже не в предписаниях религии и семейного долга, а в самой любви, в том пафосе самопожертвования, который та несет с собой. Катастрофа разражается лишь тогда, когда Вальмон растаптывает это чувство, когда выясняется, что оно порождено иллюзиями.

Об умении Шодерло де Лакло, подобно аббату Прево, создавать характеры сложные и многоплановые, воспроизводить душевную жизнь персонажей в ее диалектике, отражающей жизненные противоречия, ярко свидетельствует и образ Вальмона. (Тонкие соображения относительно этой особенности художественного метода Лакло высказаны Н. Я. Рыковой в ее статье «Шодерло де Лакло и судьба его романа «Опасные связи» — в книге: Шодерло де Лакло, Опасные связи, М.— Л. 1965.) Этот аристократ-соблазнитель не похож на тех «исчадий ада», тех мелодраматических злодеев, какими, как правило, молодые распутные дворяне выступают в произведениях писателей-сентименталистов (образ Ловласа в этом отношении представляет собой некоторое исключение: в нем уже немало отдельных реалистических черт). Подобно мольеровскому Дон-Жуану, Вальмон сочетает душевную опустошенность с теми внешне блестящими качествами, которые предоставляла человеку аристократическая цивилизация. Более того, он смел и благо-

роден, когда речь заходит о том, что некогда составляло истинное призвание его сословия, а именно, о воинском поединке.

Внутренний мир Вальмона не однолинеен. И отнюдь не просты взаимоотношения виконта и маркизы. Эти два человека, бывшие любовники, затем разошедшиеся, но оставшиеся сообщниками, испытывают непреодолимое влечение друг к другу — и одновременно ревность, антипатию, вражду. Затаенный эмоциональный подтекст присущ и истории соблазнения Вальмоном госпожи де Турвель. Из отдельных штрихов можно заключить, что в глубине души виконта зрест настоящее сильное чувство к своей жертве. Однако Вальмон подавляет это чувство, опасаясь насмешек света и поддаваясь искусным наущениям своего злого гения — маркизы. И в этих эпизодах мы вновь имеем дело с тем отмеченным печатью диалектики подходом к изображению взаимосвязей между личностью и средой, который отличает Лакло. В душе Вальмона живут стремления, которые временами вступают в противоречие с влиянием окружающей среды. Но у тщеславного и не одаренного сильной волей аристократа эти порывы быстро гаснут. Когда же в заключении романа они вспыхивают с новой силой — уже поздно: госпожа де Турвель обречена на погибель.

Прево любит изображать действительность глазами главного героя. Раскрытию его внутреннего мира писатель и уделяет основное внимание. Лакло же — удивительный мастер перевоплощения, вживания в образ мыслей и чувств весьма различных персонажей. «Манон Леско» — прежде всего плод внезапно нахлынувшего вдохновения и замечательной художественной интуиции. Творческая манера Лакло более аналитична и рассудочна. В «Опасных связях» преобладает тончайший, скрупулезнейший расчет.

Прево разрабатывал тип романа-автобиографии героя; Лакло же довел до совершенства жанр романа в письмах, ставший особенно популярным во второй половине XVIII века. У сентименталистов, авторов романов в письмах, мы находим по преимуществу пространные рассуждения и не менее растянутые лирические излияния. Лакло выявил заложенную в этом жанре драматическую потенцию и реализовал ее. Он многое перенял от мастеров французского театра и, в первую очередь, от такого выдающегося трагедийного писателя, как Расин. Удаче Лакло способствовало известное внутреннее сходство, которое жанр эпистолярного романа имеет с произведениями драматургии. В этом виде романа отсутствует текст от автора, в нем нет эпического повествования в подлинном смысле этого слова; это тоже изображение действительности в лицах. Герои здесь представлены не со стороны, а только изнутри — своей речью. В противоположность сентименталистам, Лакло добивается сжатости изложения, сосредоточивая свое внимание на столкновении характеров, на динамике борьбы, отсекая все лишнее, все то, что не

является необходимым для раскрытия внутреннего облика героев, для мотивировки их поступков. Наконец, сходство с театральным произведением усугубляется еще и следующим обстоятельством. Персонажи романа в письмах выступают перед читателем и друг перед другом не столько такими, какие они есть на самом деле, а прежде всего такими, какими они хотят казаться. Вальмон же и маркиза де Мертей особенно склонны к игре, маскировке и перевоплощению.

Композиция «Опасных связей» взвешена вплоть до мельчайших подробностей. Строжайшим образом согласованы между собой, например, даты написания отдельных писем, и вместе с тем очень точно выверено соотношение между хронологической последовательностью их отправки и порядком их расположения в романе. Писатель строит композицию романа так, чтобы параллельно и равномерно развивать все три основных сюжетных линии (Вальмон — маркиза, Вальмон — госпожа де Турвель, история соблазнения Сесили). При этом он умело нагнетает драматическое напряжение, используя эффекты контраста и неожиданности. Так, письмо 124, написанное госпожой де Турвель, дышит уверенностью в том, что ей суждено наконец обрести душевный покой. Следующее же письмо начинается триумфальным возгласом Вальмона, сообщающего маркизе о своей победе. Начало «Опасных связей» несколько тягуче. Экспозиция романа в письмах всегда сопряжена с трудностями и поэтому оказывается невольно замедленной. Однако затем, по мере того как обрисовываются конфликты, действие романа развивается все более стремительно, достигая своей кульминации к концу книги.

Автор «Опасных связей» — тонкий стилист. В романе в письмах умение индивидуализировать стиль персонажей играет особенно важную роль, служит основным, решающим средством характеристики героев. Лакло стремится придать их письмам некоторое общее стилистическое единство. Ведь все они по своему внешнему положению — ровня, люди одного светского круга. И пишут они поэтому языком, в котором есть много общего — это литературная речь, распространенная в светском обществе Франции середины XVIII века. Язык этот еще несет на себе отпечаток классицистических идеалов, и роль общеобязательных канонов сказывается в нем, естественно, ощутимее, чем, например, в середине XIX века. Однако на этом как бы нейтральном фоне очень четко вырисовывается богатство отдельных индивидуальных стилистических оттенков. Это разнообразие еще увеличивается из-за того, что Вальмон и маркиза де Мертей, по причине двойной и даже тройной игры, которую они ведут, пишут разными стилями в зависимости от того, к кому они обращаются. Как отличаются, например, патетические послания, которые Вальмон направляет госпоже де Турвель (они изобилуют стилистическими приемами, распространенными в литературе сентиментализма), от тех цинично откровенных, пронизанных иронией, но одновременно

и очень точных по выражению мысли и лишенных каких-либо словесных прикрас писем, которые он шлет маркизе. А с каким мастерством сделаны письма, которые Сесиль пишет под диктовку Вальмона! В них сквозь имитацию той наивно-угловатой манеры, которая отличает письма девушки, как бы невольно просвечивает развязность и свобода выражения, характеризующая виконта.

Стилистические нюансы дают возможность Лакло обрисовать и душевную эволюцию героя. Переписку юного кавалера Дансени, до тех пор пока он живет в иллюзорном мире рыцарски-куртуазных идеалов, отличает изобилие выспренних, несколько искусственных оборотов. Столкнувшись с жизненной правдой и душевно возмужав, Дансени, сохраняя изысканность светского слога, начинает излагать свои мысли проще и энергичнее.

В характеристике второстепенных персонажей «Опасных связей» необычное для того времени умение Лакло придавать речи индивидуальные очертания выявляется особенно ярко. Разве можно, например, смешать несколько архаическую, старомодную и вместе с тем согретую человеческим теплом манеру письма, отличающую престарелую госпожу де Розмонд, и гораздо более шаблонный, стереотипный и безликий слог ее подруги — недалекой и заурядной светской дамы госпожи де Воланж. С чисто комедийным блеском, но в последовательно реалистическом ключе (без тех элементов буффонады, которыми окрашена, скажем, языковая характеристика персонажей-слуг у Мариво-комедиографа) сделан миниатюрный, но выразительный стилистический портрет егеря Азолана, старательно, но неуклюже подражающего языку господ.

От традиции классицистической моралистики воспринял Лакло пристрастие к чеканным афоризмам. На страницах «Опасных связей» рассыпано немало тонких, психологических наблюдений, которым придана отточенная форма сентенций («Настоящий способ побеждать сомнения — это постараться сделать так, чтобы тем, у кого они имеются, больше нечего было терять», «Вот каковы люди! Равно бессовестные по своим намерениям, они называют честностью слабость, которую проявляют в их осуществлении», «Поверьте мне, виконт, редко приобретаешь те качества, без которых можешь обойтись» и т. д.).

* * *

Прево, автор «Манон Леско», и Шодерло де Лакло, создатель «Опасных связей», разными путями шли в одном направлении. Они предвосхитили художественные завоевания критического реализма. Много сходного есть и в той конкретной, исторически обусловленной форме, которую предвестия критического реализма приняли в их книгах. И «Манон Леско» и «Опасные связи» — произведения, в которых рядом с разобла-

чительным пафосом доминируют трагические ноты. Положительное гуманистическое начало — это здесь еще хрупкие ростки, безжалостно растаптываемые враждебными человеку силами, которые господствуют в обществе того времени.

Лишь после французской буржуазной революции конца XVIII века, только после того, как бурные поиски эстетики романтизма принесли свои плоды, стали возможными новые — более мажорные, героичные, более отчетливые в своем демократическом содержании — формы художественного изображения и утверждения положительных жизненных сил (примером тому служат, скажем, «Пармская обитель» Стендаля, «Обедня безбожника» Бальзака или «Кармен» Мериме). Но эти произведения, в свою очередь, не могли бы появиться в свет, если бы не было тех смелых художественных открытий, которые были осуществлены предшественниками критических реалистов в век Просвещения. Эстетическое обаяние, излучаемое «Манон Леско» и «Опасными связями»,— неповторимо. Зарождающиеся тенденции критического реализма нашли здесь то прозрачное и гармоничное, соразмерное и изящное претворение, которое характерно для лучших образцов французской художественной прозы XVIII века.

Ю. ВИППЕР

АББАТ ПРЕВО

МАНОН ЛЕСКО

ПЕРЕВОД М ПЕТРОВСКОГО

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Е ГУНСТА

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРА «ЗАПИСОК ЗНАТНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Хотя я мог бы включить историю приключений кавалера де Грие в мои «Записки», мне показалось, ввиду отсутствия связи между ними, что читателю будет приятнее видеть ее отдельно. Столь длинная повесть прервала бы слишком надолго нить моей собственной истории. Как ни чужды мне притязания на звание настоящего писателя, я хорошо знаю, что рассказ должен быть освобожден от лишних эпизодов, кои могут сделать его тяжелым и трудным для восприятия,— таково предписание Горация:

Ut jam nunc dicat jam nunc debentia dici,
Pleraque differat et praesens in tempus omittat [1].

Даже не нужно ссылки на столь высокий авторитет, чтобы доказать эту простую истину, ибо сам здравый смысл подсказывает такое правило.

Ежели читатели нашли приятной и занимательной историю моей жизни, смею надеяться, что они будут не менее удовлетворены этим добавлением к ней. В поведении господина де Грие они увидят злосчастный пример власти страстей над человеком. Мне предстоит изобразить ослепленного юношу, который, отказавшись от счастья и благополучия, добровольно подвергает себя жестоким бедствиям; обладая всеми качествами, сулящими ему самую блестящую будущность, он предпочитает жизнь

[1] Надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня,
Прочее все отложить и сказать в подходящее время *(лат.)*.

темную и скитальческую всем преимуществам богатства и высокого положения; предвидя свои несчастья, он не желает их избежать; изнемогая под тяжестью страданий, он отвергает лекарства, предлагаемые ему непрестанно и способные в любое мгновение его исцелить; словом, характер двойственный, смешение добродетелей и пороков, вечное противоборство добрых побуждений и дурных поступков. Таков фон картины, которую я рисую. Лица здравомыслящие не посмотрят на это произведение как на работу бесполезную. Помимо приятного чтения, они найдут здесь немало событий, которые могли бы послужить назидательным примером; а, по моему мнению, развлекая, наставлять читателей — значит оказывать им важную услугу.

Размышляя о нравственных правилах, нельзя не дивиться, видя, как люди в одно и то же время и уважают их, и пренебрегают ими; задаешься вопросом, в чем причина того странного свойства человеческого сердца, что, увлекаясь идеями добра и совершенства, оно на деле удаляется от них. Ежели люди известного умственного склада и воспитания присмотрятся, каковы самые обычные темы их бесед или даже их одиноких раздумий, им не трудно будет заметить, что почти всегда они сводятся к каким-либо нравственным рассуждениям. Самые сладостные минуты жизни своей они проводят наедине с собой или с другом, в задушевной беседе о благе добродетели, о прелестях дружбы, о путях к счастью, о слабостях натуры нашей, совращающих нас с пути, и о средствах борьбы с ними. Гораций и Буало называют подобную беседу одним из прекраснейших и необходимейших условий истинно счастливой жизни. Как же случается, что мы так легко падаем с высоты отвлеченных размышлений и вдруг оказываемся на уровне людей заурядных? Я впал в заблуждение, если довод, который сейчас приведу, не объясняет достаточно противоречия между нашими идеями и поведением нашим: именно потому, что нравственные правила являются лишь неопределенными и общими принципами, весьма трудно бывает применить их к отдельным характерам и поступкам.

Приведем пример. Души благородные чувствуют, что кротость и человечность — добродетели привлекательные, и склонны им следовать; но в ту минуту, как надлежит эти добродетели осуществить, добрые намерения часто остаются невыполненными. Возникает множество сомнений: действительно ли это подходящий случай? И в какой мере надо следовать душевному побуждению? Не ошибаешься ли ты относительно данного лица? Боишься оказаться в дураках, желая быть щедрым и бла-

годетельным; прослыть слабохарактерным, выказывая слишком большую нежность и чувствительность; словом, то опасаешься превысить меру, то — не выполнить долг, который слишком туманно определяется общими понятиями человечности и кротости. При такой неуверенности только опыт или пример могут разумно направить врожденную склонность к добру. Но опыт не такого рода преимущество, которое дано в удел всем; он зависит от разных положений, в какие человек попадает волею судьбы. Остается, следовательно, только пример, который для многих людей и должен служить руководством на пути добродетели.

Именно такого рода читателям и могут быть крайне полезны произведения, подобные этому, по меньшей мере в том случае, когда они написаны человеком, достойным и здравомыслящим. Каждое событие, здесь излагаемое, есть луч света, назидание, заменяющее опыт; каждый эпизод есть образец нравственного поведения; остается лишь применить все это к обстоятельствам своей собственной жизни. Произведение в целом представляет собою нравственный трактат, изложенный в виде занимательного рассказа.

Строгий читатель оскорбится, быть может, тем, что я в мои годы взялся за перо, чтобы описать любовные приключения и превратности судьбы; но, ежели рассуждение мое основательно, оно меня оправдывает; если же оно ложно, ошибка моя послужит мне извинением.

Примечание. По настоянию тех, кто ценит это маленькое произведение, мы решили очистить его от значительного числа грубых ошибок, вкравшихся в большинство его изданий. Кроме того, в него внесено несколько добавлений, которые показались нам необходимыми для полноты характеристики одного из главных персонажей.

Виньетки и гравюры не нуждаются в рекомендации и похвале — они говорят сами за себя.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Прошу читателя последовать за мною в ту эпоху жизни моей, когда я встретился впервые с кавалером де Грие: то было приблизительно за полгода до моего отъезда в Испанию. Хотя я редко покидал свое уединение, желание угодить дочери побуждало меня иногда предпринимать небольшие путешествия, которые я сокращал, насколько то было возможно.

Однажды я возвращался из Руана, куда она просила меня съездить похлопотать в нормандском парламенте о земельных владениях моего деда по материнской линии. Пустившись в путь через Эвре, мой первый ночлег, я собирался на другой день отобедать в Пасси, отстоящем от него на пять или шесть миль. При въезде в деревню меня поразило смятение жителей; они выбегали из домов, стремясь толпой к дверям скверной гостиницы, перед которой стояли две крытые телеги. Вид лошадей, еще не распряженных и дымившихся от усталости и жары, показывал, что повозки только что прибыли.

Я задержался на минуту, чтобы осведомиться о причинах суматохи; но я немногого добился от любопытных поселян, которые, не обращая ни малейшего внимания на мои расспросы, продолжали, беспорядочно толкаясь, сбегаться к гостинице; наконец, появившийся в дверях полицейский с перевязью и мушкетом на плече по моему знаку приблизился ко мне; я попросил его изложить мне причину беспорядка. «Пустое дело, сударь,— сказал он,— тут находится проездом дюжина веселых девиц, которых я с товарищами сопровождаю до Гавр-де-Граса, где мы погрузим их для отправки в Америку. Среди них есть

несколько красоток, это, очевидно, и возбуждает любопытство добрых поселян».

Получив такие разъяснения, я уже готов был двинуться далее, как меня остановили крики какой-то старухи, которая выбежала из гостиницы, ломая руки и восклицая, что это варварство, что это гнусность, к которой нельзя остаться равнодушным. «В чем дело?» — обратился я к ней. «Ах! сударь, войдите сюда,— отвечала она,— и убедитесь, что от такого зрелища сердце разрывается!» Влекомый любопытством, я спрыгнул с седла, передав лошадь моему конюху. С трудом пробившись сквозь толпу, я вошел внутрь и был поражен действительно трогательным зрелищем.

Среди дюжины девиц, скованных по шести цепями, охватывавшими их вокруг пояса, была одна, вид и наружность которой столь мало согласовались с ее положением, что в любых иных условиях я принял бы ее за даму, принадлежащую к высшему классу общества. Жалкое ее состояние, грязное белье и платье столь мало ее портили, что ее облик возбудил во мне уважение к ней и сострадание. Она старалась, насколько позволяли ей оковы, повернуться так, чтобы скрыть лицо от глаз зрителей; ее усилия спрятаться были так естественны, что, казалось, происходили из чувства стыдливости.

Так как шесть стражников, сопровождавших кучку несчастных, присутствовали здесь же в комнате, я отвел в сторону их начальника и обратился к нему, спросив, кто эта красавица. Он мог мне дать лишь самые общие сведения. «Мы взяли ее из Приюта по приказу начальника полиции,— сказал он.— По всему видно, не за хорошие дела она была заключена туда. Я несколько раз расспрашивал ее в пути; она упорно отмалчивается. Но, хотя у меня и нет приказа обращаться с ней лучше, нежели с другими, я о ней больше забочусь, ибо сдается мне, она малость достойнее своих подруг. Вон тот молодчик,— добавил полицейский,— может вам больше рассказать о причинах ее несчастья: он следует за ней от самого Парижа, не переставая плакать. Должно быть, брат он ей, а не то полюбовник».

Я обернулся к тому углу комнаты, где сидел молодой человек. Казалось, он был погружен в глубокую задумчивость; мне никогда не приходилось видеть более живой картины скорби; одежда его была крайне проста; но человека хорошей семьи и воспитания отличишь с первого взгляда. Я подошел к нему; он поднялся мне навстречу, и я увидел в его глазах, в лице, во всех его движениях столько изящества и благородства, что почувствовал к нему искреннее расположение. «Не беспокой-

тесь, прошу вас,— сказал я, подсаживаясь к нему.— Не удовлетворите ли вы моего любопытства касательно той красавицы, как мне кажется, вовсе не созданной для жалостного состояния, в котором я ее вижу?»

Он вежливо мне отвечал, что не может сообщить, кто она, не представившись мне сам, но что у него есть веские основания не открывать своего имени. «Могу вам все же сказать то, что не тайна для этих негодяев,— продолжал он, указывая на полицейских,— я люблю ее со столь необоримой страстью, что она делает меня несчастнейшим из смертных. Я все пустил в ход в Париже, чтобы исхлопотать ей свободу; ни просьбами, ни хитростью, ни силой я ничего не добился. Я решил следовать за ней, хотя бы на край света. Я сяду на корабль вместе с нею; отправлюсь в Америку. Но вот предел бесчеловечности: эти подлые мерзавцы,— прибавил он, говоря о полицейских,— не позволяют мне приближаться к ней. Я сделал попытку напасть на них открыто в нескольких милях от Парижа. Я сговорился с четырьмя молодцами, обещавшими мне помочь за солидную плату; но предатели бросили меня в стычке и бежали, захватив мои деньги. Невозможность достичь чего-либо силой заставила меня сложить оружие; я упросил стражников позволить мне хотя бы следовать за ними, обещая вознаграждение; жажда наживы побудила их согласиться. Они требовали платы всякий раз, как предоставляли мне возможность говорить с моей возлюбленной. Мой кошелек вскоре иссяк, и теперь, когда я остался без гроша, они стали столь жестоки, что грубо отталкивают меня, стоит мне сделать шаг в ее направлении. Всего какую-нибудь минуту назад, когда я дерзнул приблизиться к ней, несмотря на их угрозы, они имели наглость прицелиться в меня из ружья; я вынужден, дабы удовлетворить их алчность и следовать дальше хотя бы пешком, продать здесь дрянную клячу, что служила мне до сих пор верховой лошадью».

Как ни спокойно, казалось, передавал он мне свою повесть, невольные слезы катились у него из глаз. Странным и трогательным показалось мне это приключение. «Не требую, чтобы вы открыли мне тайну ваших обстоятельств,— сказал я ему,— но, ежели я могу быть чем полезен, охотно предлагаю вам свои услуги».— «Увы! — возразил он.— Я не вижу ни слабого луча надежды; мне надлежит всецело покориться суровой судьбе моей. Я поеду в Америку; там буду, по крайней мере, свободен в своей любви; я написал одному из друзей, и он окажет мне некоторую помощь в Гавр-де-Грасе. Главное затруднение мое в том, чтобы попасть туда и чтобы облегчить хоть сколько-

«Манон Леско»
Ж.-Ж. Паскье и Ю. Гравело

нибудь тяготы путешествия несчастному этому созданию»,— прибавил он, печально глядя на свою возлюбленную. «Позвольте же мне,— сказал я,— положить конец вашему затруднению: прошу вас принять эту небольшую сумму денег; очень сожалею, что не могу вам помочь иначе».

Я дал ему четыре золотых незаметно от стражи, ибо рассудил, что, узнав об этой сумме, они станут продавать ему свои услуги дороже. Мне даже пришло в голову сторговаться с ними, чтобы купить молодому любовнику постоянное право разговора со своей возлюбленной вплоть до Гавра. Поманив к себе начальника стражи, я сделал ему соответствующее предложение. Он, видимо, устыдился, несмотря на присущее ему нахальство. «Мы, сударь, не запрещали ему говорить с девицей,— сказал он смущенно,— но он желал быть подле нее все время; это нам неудобно, и справедливость требует, чтоб он платил за причиняемое неудобство».— «Ну, хорошо,— сказал я,— сколько же вам следует, чтобы это вам было не в тягость?» Он имел дерзость потребовать два золотых. Я тотчас дал их ему. «Смотрите, однако,— присовокупил я,— без надувательства! Я оставляю свой адрес молодому человеку, дабы он известил меня обо всем, и знайте, что я найду способ добиться вашего наказания». Все это обошлось мне в шесть золотых.

Непринужденная, живая искренность, с какою молодой незнакомец выразил мне свою благодарность, окончательно убедили меня в том, что я имею дело с человеком из хорошей семьи, заслуживающим моей щедрости. Прежде чем уйти, я обратился с несколькими словами к его возлюбленной. Она мне отвечала с такой милой, очаровательной скромностью, что, уходя, я невольно предался раздумьям о непостижимости женского характера.

Вернувшись в свое поместье, я больше не имел никаких известий об этом приключении. Прошло около двух лет, и я совсем уже забыл про него, когда неожиданный случай дал мне возможность узнать до конца все обстоятельства дела.

Я прибыл из Лондона в Кале с маркизом де ***, моим учеником. Мы остановились, если не изменяет мне память, в «Золотом Льве», где по каким-то причинам принуждены были провести целый день и следующую ночь. Когда я гулял в послеобеденное время по улицам, мне показалось, что я вижу опять молодого незнакомца, с которым встретился тогда в Пасси. Он был весьма плохо одет и гораздо бледнее, чем в первое наше свидание; на руке у него висел старый дорожный мешок, указывавший на то, что он только что прибыл в город.

Он обладал лицом слишком красивым, чтобы его можно было забыть, и я тотчас же признал его. «Подойдемте-ка к этому молодому человеку»,— пригласил я маркиза.

Радость юноши была неописуема, когда он тоже признал меня. «О, милостивый государь,— воскликнул он, целуя мне руку,— наконец-то я могу еще раз выразить вам мою вечную признательность!» Я спросил, откуда он теперь. Он отвечал, что прибыл морем из Гавр-де-Граса, куда вернулся незадолго перед тем из Америки. «Вам, видимо, туго приходится,— сказал я ему,— ступайте к «Золотому Льву», где я стою, я тотчас следую за вами».

Я вернулся в гостиницу, сгорая от нетерпения узнать подробности его несчастной судьбы и обстоятельства его поездки в Америку; я окружил его заботами и распорядился, чтобы у него ни в чем не было недостатка. Он не заставил себя упрашивать и вскоре рассказал историю своей жизни. «Вы столь благородно со мной поступаете,— обратился он ко мне,— что я бы упрекал себя в самой черной неблагодарности, утаив что-либо от вас. Поведаю вам не только мои беды и несчастья, но и мою распущенность, и постыднейшие мои слабости: уверен, что строгий ваш суд не помешает вам пожалеть меня».

Должен предупредить здесь читателя, что я записал его историю почти тотчас по прослушании ее, и, следовательно, не должно быть места сомнениям в точности и верности моего рассказа. Заявляю, что верность простирается вплоть до передачи размышлений и чувств, которые юный скиталец выражал с самым отменным изяществом. Итак, вот его повесть, к которой я не прибавлю до самого ее окончания ни слова от себя.

Мне было семнадцать лет, и я заканчивал курс философских наук в Амьене, куда был послан родителями, принадлежащими к одной из лучших фамилий П***. Я вел жизнь столь разумную и скромную, что учителя ставили меня в пример всему коллежу. Притом я не делал никаких особых усилий, чтобы заслужить сию похвалу; но, обладая от природы характером мягким и спокойным, я учился охотно и с прилежанием, и мне вменялось в заслугу то, что было лишь следствием естественного отвращения к пороку. Мое происхождение, успехи в занятиях и некоторые внешние качества расположили ко мне всех достойных жителей города.

Я закончил публичные испытания с такой прекрасной аттестацией, что присутствовавший на них епископ предложил мне

принять духовный сан, суливший, по словам его, еще большие отличия, нежели Мальтийский орден, к коему предназначали меня родители. По их желанию я уже носил орденский крест, а вместе с ним имя кавалера де Грие; приближались вакации, и я готовился возвратиться к отцу, который обещал в скором времени отправить меня в Академию.

Единственное, что меня печалило, когда я покидал Амьен, было расставание с другом, связанным со мной постоянными, нежными узами. Он был на несколько лет старше меня. Мы воспитывались вместе, но, происходя из бедной семьи, он был поставлен в необходимость принять духовный сан и после моего отъезда оставался в Амьене для занятий богословскими науками. Он обладал множеством достоинств. Вы узнаете его с наилучших сторон в продолжение моей истории, особенно же со стороны великодушия и преданности в дружбе, которыми он превосходит славнейшие примеры древности. Если бы следовал я тогда его советам, я бы всегда был мудр и счастлив. Если бы внял я его увещаниям из глубины бездны, куда увлекали меня страсти, я спас бы хоть что-нибудь при крушении моего состояния и доброго имени. Но его заботы не принесли ему ничего, кроме горя при виде их бесполезности, а иногда и грубого отпора со стороны неблагодарного, который обижался на них, как на назойливые приставания.

Я назначил срок отъезда из Амьена. Увы! почему я не назначил его днем раньше? Я прибыл бы в отчий дом непорочным и добродетельным. Как раз накануне расставания моего с городом я гулял со своим другом, имя коего Тиберж; мы встретили аррасскую почтовую карету и последовали за ней до гостиницы, где останавливаются дилижансы. У нас не было к тому иного повода, кроме пустого любопытства. Из нее вышло несколько женщин, сейчас же удалившихся в гостиницу; одна только, совсем еще юная, одиноко поджидала во дворе, пока пожилой человек, очевидно ее провожатый, хлопотал около ее поклажи. Она показалась мне столь очаровательной, что я, который никогда прежде не задумывался над различием полов, никогда не смотрел внимательно ни на одну девушку и своим благоразумием и сдержанностью вызывал общие похвалы, мгновенно воспылал чувством, охватившим меня до самозабвения. Большим моим недостатком была чрезвычайная робость и застенчивость; но тут эти свойства нисколько не остановили меня, и я прямо направился к той, которая покорила мое сердце.

Хотя она была еще моложе меня, она не казалась смущенной знаками моего внимания. Я обратился к ней с вопросом,

что́ привело ее в Амьен и есть ли у нее тут знакомые. Она отвечала мне простодушно, что родители посылают ее в монастырь. Любовь настолько уже овладела всем моим существом с той минуты, как воцарилась в моем сердце, что я принял эту весть как смертельный удар моим надеждам. Я говорил с таким пылом, что она сразу догадалась о моих чувствах, ибо была гораздо опытнее меня; ее решили поместить в монастырь против воли, несомненно, с целью обуздать ее склонность к удовольствиям, которая уже обнаружилась и которая впоследствии послужила причиной всех ее и моих несчастий. Я оспаривал жестокое намерение ее родителей всеми доводами, какие только подсказывали мне моя расцветающая любовь и мое школьное красноречие. Она не выказывала ни строгости, ни удивления. После минуты молчания она сказала, что предвидит слишком ясно горестную участь свою, но такова, очевидно, воля неба, раз оно не дает никаких средств этого избежать. Нежность ее взоров, очаровательный налет печали в ее речах, а может быть, моя собственная судьба, влекшая меня к гибели, не дали мне ни минуты колебаться с ответом. Я стал уверять, что, ежели она только положится на мою честь и на бесконечную любовь, которую уже внушила мне, я не пожалею жизни, чтобы освободить ее от тирании родителей и сделать счастливой. Я всегда удивлялся, размышляя впоследствии, откуда явилось у меня тогда столько смелости и находчивости; но Амура никогда бы не сделали божеством, если бы он не творил чудес. Я прибавил еще тысячу убедительных доводов.

Прекрасная незнакомка хорошо знала, что в мои годы не бывают обманщиками; она поведала мне, что, если бы я вдруг нашел способ вернуть ей свободу, она почитала бы себя обязанной мне больше чем жизнью. Я отвечал, что готов на все; но, не имея достаточной опытности, чтобы сразу изобрести средства услужить ей, я ограничился общим уверением, от которого не могло быть большого толку ни для нее, ни для меня. Тем временем старый аргус присоединился к нам, и мои надежды должны были рухнуть, если бы находчивая девица не пришла на помощь моей недогадливости. Я был поражен неожиданностью, когда при появлении провожатого она назвала меня своим двоюродным братом и, не выказав ни малейшего смущения, объявила мне, что счастлива встретить меня в Амьене и решила отложить до завтра вступление в монастырь ради удовольствия поужинать со мною. Я отлично понял и оценил ее хитрость; я предложил ей остановиться в гостинице, хозяин которой, до пересе-

ления в Амьен, прослужил долгое время в кучерах у моего отца и был всецело мне предан.

Я сам сопровождал ее туда; старый провожатый ворчал сквозь зубы, приятель же мой Тиберж, ровно ничего не понимая в этой сцене, молча следовал за мною: он не слышал нашей беседы, прогуливаясь по двору, покуда я говорил о любви моей прекрасной даме. Опасаясь его благоразумия, я отделался от него, послав его с каким-то поручением. Итак, придя в гостиницу, я мог отдаться удовольствию беседы наедине с властительницею моего сердца.

Я скоро убедился, что я не такой ребенок, как мог думать. Сердце мое открылось множеству сладостных чувств, о которых я и не подозревал, нежный пыл разлился по всем моим жилам. Я пребывал в состоянии восторга, на несколько времени лишившего меня дара речи и выражавшегося лишь в нежных взглядах.

Мадемуазель Манон Леско,— так она назвала себя,— видимо, была очень довольна действием своих чар. Мне казалось, что она увлечена не менее моего; она призналась, что находит меня милым и с радостью будет почитать себя обязанной мне своей свободой. Пожелав узнать, кто я такой, она еще более растрогалась, ибо, будучи заурядного происхождения, была польщена тем, что покорила такого человека, как я. Мы стали обсуждать, каким образом соединить наши судьбы.

После недолгих размышлений мы не нашли иного пути, кроме бегства. Следовало обмануть бдительность провожатого, который хоть и слуга, а был не так прост. Мы решили, что за ночь я снаряжу почтовую карету и рано утром, до его пробуждения, вернусь в гостиницу; что мы бежим украдкою и направимся прямо в Париж, где тотчас же обвенчаемся. В кошельке у меня было около пятидесяти экю — плод мелких сбережений, у нее было приблизительно вдвое больше. По неопытности мы воображали, что сумма эта неисчерпаема; не менее того рассчитывали мы и на успех других наших замыслов.

Поужинав с бóльшим, чем когда-либо удовольствием, я удалился хлопотать о выполнении нашего плана. Мои приготовления значительно упрощались тем обстоятельством, что, назначив отъезд домой на следующий день, я уже ранее собрал свои пожитки. Итак, мне ничего не стоило отправить дорожный сундук в гостиницу и заказать карету к пяти часам утра, когда городские ворота бывали уже отперты; но оставалось одно препятствие, которое я не принял в расчет, и оно чуть было не разрушило весь мой план.

Тиберж, хотя и был старше меня всего тремя годами, отличался зрелым умом и строгими правилами; ко мне питал он исключительно нежные чувства. Вид столь красивой девицы, как мадемуазель Манон, мое рвение ее сопровождать и старания отделаться от него возбудили в нем некоторые подозрения. Боясь явиться некстати, он не посмел вернуться в гостиницу, где оставил нас, но решил дожидаться моего прихода у меня дома, где я и застал его, хотя было уже десять часов вечера. Его присутствие меня немало огорчило. Ему ничего не стоило обнаружить мое смущение. «Уверен,— откровенно обратился он ко мне,— что вы замышляете нечто, что желаете скрыть от меня; вижу то по вашему лицу». Я отвечал довольно резко, что не обязан отдавать ему отчет в каждом моем шаге. «Согласен,— возразил он,— но вы всегда относились ко мне как к другу, а это предполагает некоторое доверие и откровенность с вашей стороны». Он так настойчиво стал убеждать меня поделиться с ним моей тайной, что, будучи всегда с ним прямодушен, я и теперь всецело доверил ему свое страстное увлечение. Он принял мой рассказ с нескрываемым недовольством, повергшим меня в трепет. Особенно раскаивался я в болтливости, с какой расписал ему весь план нашего бегства. Он заявил, что питает ко мне слишком преданную дружбу, чтобы не воспротивиться этой затее всеми силами; что представит мне сначала все доводы, могущие меня остановить; но что, ежели я не откажусь и после этого от своего несчастного решения, он предупредит о том лиц, которые смогут пресечь его в корне. Засим обратился он ко мне со строгой речью, длившейся более четверти часа и закончившейся новой угрозой донести на меня, если я не дам ему слова поступать более разумно и осмотрительно.

Я был в отчаянии, что выдал себя так некстати. Но так как за последние два-три часа любовь крайне изощрила мой ум, я умолчал о том, что выполнение плана назначено на следующее утро, и решил при помощи уловки обойти затруднение. «Тиберж,— сказал я,— до сих пор считал я вас за друга и хотел испытать вас своим доверием. Я действительно влюблен, я не обманул вас; но бегство — не такой шаг, чтобы решиться на него необдуманно. Зайдите завтра за мной в девять утра; я постараюсь познакомить вас с моей возлюбленной, и судите тогда сами, достойна ли она моего решения». Он покинул меня с бесконечными уверениями в своей дружбе.

Всю ночь я приводил в порядок дела и, чуть забрезжило утро, был уже в гостинице мадемуазель Манон. Она ожидала у окна, выходившего на улицу, и, завидев меня, сама отворила

мне двери. Бесшумно мы вышли наружу. У нее был только сундучок с бельем, и я донес его собственноручно. Карета была уже подана; не медля ни минуты, мы покинули город.

Впоследствии я сообщу о поведении Тибержа, когда обнаружил он мое вероломство. Рвение его не угасло. Вы увидите, куда оно его завело и сколько пролил я слез, размышляя о том, сколь дурно я его вознаградил.

Мы так гнали лошадей, что прибыли в Сен-Дени еще до ночи. Я скакал верхом подле кареты, вследствие чего мы могли вести разговор лишь во время перемены лошадей; но, едва только мы завидели Париж, то есть почувствовали себя почти в безопасности, мы позволили себе подкрепиться, ибо ничего не ели с самого Амьена. Как ни был я влюблен в Манон, она сумела меня убедить в не менее сильном ответном чувстве. Столь мало сдержанны были мы в своих ласках, что не имели терпения ждать, когда останемся наедине. Кучер и трактирщики смотрели на нас с восхищением и, как я заметил, были поражены, видя такое неистовство любви в детях нашего возраста.

Намеренье обвенчаться было забыто в Сен-Дени; мы преступили законы церкви и стали супругами, нимало над тем не задумавшись. Несомненно, что, обладая характером нежным и постоянным, я был бы счастлив всю жизнь, если бы Манон оставалась мне верной. Чем более я узнавал ее, тем более новых милых качеств открывал я в ней. Ее ум, ее сердце, нежность и красота создавали цепь столь крепкую и столь очаровательную, что я пожертвовал бы всем моим благополучием, чтобы только быть навеки окованным ею. Ужасная превратность судьбы! То, что составляет мое отчаяние, могло составить мне счастье! Я стал несчастнейшим из людей именно благодаря своему постоянству, хотя, казалось, вправе был ожидать сладчайшей участи и совершеннейших даяний любви.

В Париже сняли мы меблированное помещение на улице В***, и на мою беду, рядом с домом известного откупщика, господина де Б***. Прошло три недели, в течение коих я столь преисполнен был страстью, что и думать позабыл о родных и о том, как огорчен отец моим отсутствием. Тем временем, поскольку поведение мое не заключало в себе ни малейшей доли распутства, а также и Манон вела себя безупречно, спокойствие жизни нашей мало-помалу пробудило во мне сознание долга.

Я принял решение по возможности примириться с отцом. Возлюбленная моя была так мила, что я не сомневался в хорошем от нее впечатлении, если бы нашел средство ознакомить

отца с ее благонравием и достойным поведением; одним словом, я льстил себя надеждой получить от него разрешение жениться на ней, не видя возможности осуществить это без его согласия. Я сообщил свое намерение Манон, дав ей понять, что, помимо побуждений сыновней любви и долга, следует считаться и с жизненной необходимостью, ибо средства наши крайне истощились и я начинаю терять уверенность в том, что они неиссякаемы.

Манон холодно отнеслась к моему плану. Однако все ее возражения были мною приняты за доказательство ее нежного чувства и за боязнь меня потерять в случае, если отец мой, узнав место нашего убежища, не даст своего согласия на брак; и я ничуть не подозревал жестокого удара, который был уже занесен надо мною. На доводы о неотложной необходимости она отвечала, что у нас есть еще на что прожить несколько недель, а затем она рассчитывает на привязанность к ней и помощь родственников, к которым напишет в провинцию. Она подсластила отказ свой столь нежными и страстными ласками, что, живя только ею одной и не питая ни малейшего недоверия к ее чувству, я принял все ее возражения и со всем согласился.

Я предоставил ей распоряжаться нашим кошельком и заботиться об оплате ежедневных расходов. Немного спустя я заметил, что стол наш улучшился, а у нее появилось несколько новых, довольно дорогих нарядов. Зная, что у нас едва-едва оставалось каких-нибудь двенадцать — пятнадцать пистолей, я удивился явному приращению нашего богатства. Смеясь, просила она меня не смущаться этим обстоятельством. «Разве не обещала я вам изыскать средства?» — сказала она. И я был слишком еще наивен в своей любви к ней, чтобы поддаться какой-либо тревоге.

Однажды вышел я после полудня, предупредив ее, что буду в отсутствии дольше обычного. Вернувшись, я был удивлен, прождав у дверей минуты две-три, пока мне отворили. Единственной прислугой у нас была девушка приблизительно нашего возраста. Когда она впускала меня, я обратился к ней с вопросом, почему меня заставили так долго ждать. Она смущенно отвечала, что не слышала моего стука. Я стучал всего один раз и поэтому заметил ей: «Но, если вы не слышали, почему же пошли мне отворять?» Вопрос мой привел ее в такое замешательство, что, не находя ответа, она принялась плакать, уверяя, что это не ее вина, что барыня запретила ей отворять, прежде чем господин де Б*** не уйдет по другой лестнице, примыкавшей к спальной. В моем смущении я не имел сил войти

в дом. Я решил вновь спуститься на улицу под предлогом какого-то дела и приказал девушке передать барыне, что вернусь через минуту, запретив ей, однако, сообщать, что она говорила мне о господине де Б***.

Охватившая меня тоска была столь велика, что, сходя по лестнице, я проливал слезы, не ведая еще, какое чувство было их источником. Я вошел в первую попавшуюся кофейную и, заняв место у столика, оперся головой на руки, дабы размыслить о происшедшем. Я не смел вызвать в памяти то, о чем только что услышал; мне хотелось счесть это лишь обманом слуха, и много раз я готов был уже встать и вернуться домой, не показывая вида, что я что-либо заметил. Измена Манон мне представлялась столь невероятной, что я боялся оскорбить ее подозрением. Я обожал ее, это было несомненно; я дал ей не больше доказательств любви, чем получил от нее; как же я мог ее обвинять в меньшей искренности, в меньшем постоянстве сравнительно со мною? Какой ей смысл было меня обманывать? Всего три часа назад осыпáла она меня самыми нежными ласками и с упоением отдавалась моим; собственное сердце знал я не лучше ее сердца. «Нет, нет,— восклицал я,— невозможно, чтобы Манон мне изменила! Ей ведомо, что жизнь моя посвящена лишь ей одной; она слишком хорошо знает, как я обожаю ее! За что же ей меня ненавидеть?»

А между тем посещение и тайное бегство господина де Б*** приводили меня в замешательство. Я вспомнил также разные мелкие покупки Манон, которые явно превосходили наши средства. Они наводили на мысль о щедротах нового ее любовника. А ее уверения, что она изыщет денежные средства из какого-то неведомого источника?! Всем этим догадкам я не мог найти того удовлетворительного объяснения, какого жаждало мое сердце.

С другой стороны, я почти не расставался с ней с тех пор, как мы поселились в Париже. Занятия, прогулки, развлечения,— повсюду мы были вместе. Боже мой! да мы бы не вынесли огорчения даже минутной разлуки! Нам беспрестанно надо было говорить друг другу о любви: без того мы умерли бы от беспокойства. И вот я не мог вообразить ни на одно мгновение, чтобы Манон была занята кем-либо другим, а не мною.

В конце концов мне показалось, что я нашел разгадку этой тайны. «Господин де Б***,— решил я,— ведет большие дела и имеет обширную клиентуру; родители Манон могли при его посредстве передать ей некоторую сумму денег. Быть может, уже и ранее она получила что-нибудь от него; сегодня он

явился, чтобы передать ей еще. Вероятно, она решила скрыть от меня его приход, чтобы потом поразить меня приятной неожиданностью. Может быть, она и рассказала бы об этом, войди я к ней как обычно, вместо того чтобы сидеть здесь и сокрушаться. Во всяком случае, она не станет от меня таиться, если я сам заговорю с ней об этом».

Я настолько проникся этим убеждением, что оно весьма ослабило мою печаль. Я тотчас же вернулся домой и обнял Манон с обычной нежностью. Она очень приветливо меня встретила. Сперва я подумал было рассказать ей о своих догадках, которые представлялись мне теперь более чем несомненными, но удержался в надежде, что, может быть, она сама поведает мне все, что произошло.

Подали ужин. Я сел за стол в очень веселом настроении, но при свете свечи, которая стояла между нами, лицо дорогой моей возлюбленной показалось мне печальным. Ее грусть передалась и мне. Я заметил во взгляде ее, обращенном на меня, что-то необычное. Я не мог разобрать, была ли то любовь или сострадание, но чувство, выражавшееся в ее очах, казалось мне ласковым и томным. Я взирал на нее с не меньшим вниманием; и, может быть, ей было столь же трудно судить о состоянии моего сердца по моим взглядам. Мы не могли ни говорить, ни есть. Наконец слезы потекли из ее прекрасных очей — лживые слезы!

«О, боже! — вскричал я.— Вы плачете, дорогая Манон; вы расстроены до слез и не скажете мне ни слова о ваших печалях». Она ответила мне лишь глубокими вздохами, которые усилили мою тревогу. Трепеща, я встал с места; я заклинал ее со всем рвением любви моей открыть причину ее слез; отирая их, я плакал сам; я был ни жив ни мертв. Даже варвар был бы тронут искренностью моей скорби и моих опасений.

В то время как я весь был занят ею, я услышал шаги нескольких человек по лестнице. Легонько постучали в дверь. Манон быстро поцеловала меня и, выскользнув из моих объятий, бросилась в спальную, мгновенно заперев за собою дверь. Я вообразил, что, желая привести в порядок свое платье, она решила скрыться от посетителей, которые постучались. Я сам пошел им отворять.

Не успел я отворить дверь, как был схвачен тремя мужчинами, в коих признал лакеев моего отца. Они не применили ко мне насилия; но, пока двое из них держали меня за руки, третий обыскал мои карманы и вынул из них небольшой нож, единственное оружие, бывшее при мне. Принося мне извинения

за столь невежливое со мною обхождение, они разъяснили, что действуют по приказу моего отца и что мой старший брат ожидает меня внизу в карете. Я был так поражен, что без сопротивления и без возражений позволил себя проводить к нему. Брат, действительно, дожидался меня. Меня посадили в карету рядом с ним, и кучер, как ему было приказано, тут же погнал лошадей в Сен-Дени. Брат нежно обнял меня, но не проронил ни слова; таким образом, я обладал полным досугом, чтобы предаться мыслям о злой судьбе своей.

Сперва я был до того озадачен, что ни одно предположение не приходило мне в голову. Меня жестоко предали, но кто же? Тиберж первый пришел мне на ум. «Изменник! — говорил я.— Ты поплатишься жизнью, если подозрения мои справедливы». Между тем я рассудил, что он не был осведомлен о месте моего убежища и, следовательно, не от него могли узнать о нем. Я не смел запятнать свое сердце обвинением Манон. Та чрезвычайная скорбь, которою, казалось мне, она была подавлена, ее слезы, нежный поцелуй, с которым она убежала, представлялись мне немалой загадкой; но я был склонен объяснять это как бы предчувствием нашей общей беды; сокрушаясь и ропща на злой рок, оторвавший меня от нее, я наивно воображал, что она заслуживает еще более сожалений, нежели я сам.

После долгих раздумий я пришел к убеждению, что меня узнал на парижских улицах кто-нибудь из знакомых, который и сообщил о том моему отцу. Мысль эта меня утешила. Я рассчитывал отделаться суровыми упреками, пусть даже каким-нибудь наказанием, которые мне следовало выдержать во имя родительского авторитета. Я решил терпеливо все перенести и обещать все, чего от меня потребуют, дабы как можно скорее вернуться в Париж и вновь наслаждаться счастливой жизнью со своей дорогой Манон.

Спустя немного времени мы прибыли в Сен-Дени. Брат, удивленный моим молчанием, приписал его страху. Он стал утешать меня, уверяя, что мне нечего бояться суровости отца, ежели только я проникнусь сознанием своего долга и оправдаю любовь, которую отец питает ко мне. В Сен-Дени брат решил остаться на ночлег и предусмотрительно положил спать всех трех лакеев в моей комнате.

Тяжело мне было очутиться опять в той же самой гостинице, где мы останавливались вместе с Манон по пути из Амьена в Париж. Хозяин и слуги узнали меня и сразу разгадали истинный смысл моего приключения. Я услышал, как один из слуг говорил хозяину: «А ведь, никак, это тот самый красав-

чик, что полтора месяца назад проезжал здесь с той пригожей девицей. Уж как он любил ее! Уж как они ласкали друг дружку, бедные детки! Жаль, ей-богу, что их разлучили». Я притворился, будто ничего не слышу, и постарался никому не показываться на глаза.

В Сен-Дени брата дожидалась двухместная карета. Мы выехали спозаранку и на другой день к вечеру были дома. До моей встречи с отцом брат повидался с ним с глазу на глаз, дабы расположить его в мою пользу, рассказав, как покорно дал я себя увезти; таким образом, я был принят отцом гораздо приветливее, чем мог ожидать. Он удовольствовался общим выговором за проступок, который я совершил, исчезнув из дому без его позволения. Упомянув о моей возлюбленной, он сказал, что я вполне заслужил то, что со мной произошло, связавшись с незнакомкой; что он был лучшего мнения о моем благоразумии, однако надеется, что это маленькое приключение сделает меня умнее. Всю его речь истолковал я лишь в благоприятном для себя смысле. Я принес благодарность отцу за доброту, с коей простил он меня, и обещал отныне соблюдать послушание и руководствоваться более строгими правилами в своем поведении. В глубине сердца я торжествовал; ибо, по обороту всего дела, я не сомневался, что получу возможность уже ближайшей ночью исчезнуть из дому.

Сели ужинать; за столом подшучивали над моей амьенской победой и бегством с верной любовницей. Я добродушно принимал насмешки; был даже в восторге, что мне позволено вести разговор о предмете, неотступно занимающем мои мысли. Однако несколько слов, оброненных отцом, заставили меня насторожиться. Отец заговорил о вероломной и корыстной услуге, оказанной господином Б***. Я замер от смущения, услышав это имя из уст моего отца, и покорно просил его разъяснить мне подробнее, о чем идет речь. Он обратился к моему брату с вопросом, рассказал ли он мне всю историю. Брат отвечал, что в дороге я держался так спокойно, что он не усмотрел надобности в этом лекарстве для излечения моего безумия. Я заметил, что отец колеблется, неуверенный, следует ли объяснить мне все до конца. Но я стал умолять его столь настойчиво, что он удовлетворил моему любопытству, а вернее будет сказать, жестоко казнил меня самым ужасным из всех разоблачений.

Сначала он спросил, всегда ли я имел наивность верить в любовь своей подруги. Я отвечал со всей прямотой, что вполне в этом уверен и ничто не может поселить во мне ни

малейшего сомнения. «Ха! ха! ха! восхитительно! — вскричал он, громко расхохотавшись.— Что за прелестная простота! Меня умиляют твои чувства. Какая жалость, что я записал тебя в Мальтийский орден, бедный ты мой рыцарь, раз из тебя может выйти такой покладистый и удобный супруг». И он еще долго не унимался в своих насмешках над моей глупостью и доверчивостью.

В конце концов, так как я упорно молчал, он повел речь о том, что, согласно его расчетам, начиная с отъезда из Амьена, Манон любила меня всего лишь около двенадцати дней: «ибо,— прибавил он,— я знаю, что уехал ты из Амьена 28-го дня прошлого месяца; сегодня 29-е; одиннадцать дней прошло с тех пор, как господин Б*** мне написал; полагаю, что ему потребовалось дней восемь для того, чтобы завязать близкое знакомство с твоей подругой; итак, отняв одиннадцать и восемь из тридцати одного дня, что протекли от 28-го числа одного месяца до 29-го другого, получаем двенадцать, или около того». И взрывы смеха возобновились.

Сердце мое сжалось от его насмешки, и я боялся не выдержать до конца этой печальной комедии. «Да будет тебе ведомо,— продолжал отец,— раз сам ты ничего не подозреваешь, что господин Б*** покорил сердце твоей принцессы; ибо, конечно, он пускает мне пыль в глаза, рассчитывая меня убедить, будто возымел намерение похитить ее у тебя из бескорыстного рвения оказать мне услугу. От кого другого, а уж от такого человека, да притом вовсе даже не знакомого со мною, невозможно ожидать проявления столь благородных чувств! Он узнал от нее, что ты мой сын; и, чтобы избавиться от твоей назойливости, донес мне о месте вашего пристанища и о распутном образе жизни, дав понять, что необходимы крутые меры, чтобы схватить тебя; он предложил помочь мне в этом, и, благодаря его наставлениям и указаниям твоей любовницы, брату твоему удалось захватить тебя врасплох. Поздравь же себя в прочности своего триумфа! Ты умеешь добиться быстрой победы, рыцарь; но не умеешь закрепить за собой свои завоевания».

Дольше я не имел сил вынести речь, каждое слово которой пронзало мне сердце. Я встал из-за стола и не успел сделать нескольких шагов к двери, как упал без чувств и без сознания. Оказанная мне быстрая помощь привела меня в себя. Я открыл глаза, дабы пролить потоки слез, и уста, дабы излить жалобы, самые печальные, самые трогательные. Нежно любящий меня отец горячо принялся утешать меня. Я слышал слова его, не внимая их смыслу. Я пал перед ним на колени; сжимая руки,

заклинал его отпустить меня в Париж, чтобы заколоть Б***. «Нет,— говорил я,— он не покорил сердце Манон; он принудил ее, он ее обольстил чарами или зельем, быть может, овладел ею силой. Манон любит меня, мне ли этого не знать? Наверное, он угрожал ей с кинжалом в руке и против воли заставил покинуть меня. Он был готов на все, чтобы похитить у меня мою прелестную возлюбленную. О, боже! боже, возможно ли, чтобы Манон мне изменила и перестала любить меня!»

Так как я все время твердил о скорейшем возвращении в Париж и всякий раз при этом даже вскакивал с места, отец мой понял, что в моем исступлении ничто не сможет меня остановить. Он отвел меня в одну из верхних комнат, где оставил двух слуг для присмотра за мною. Я более не владел собой. Я бы пожертвовал тысячью жизней, лишь бы только побывать на четверть часа в Париже. Я понял, что выдал себя и мне не позволят так просто выйти из своей комнаты. Я смерил глазами высоту окон над землей. Не видя никакой возможности убежать этой дорогой, я обратился к двум моим стражам. Я надавал им множество обещаний, сулил им целое состояние, если они не станут препятствовать моему побегу. Я убеждал, увещевал, угрожал; попытки мои были бесполезны. Тут я потерял всякую надежду. Я решил умереть и бросился на постель, намереваясь покинуть ее лишь вместе с жизнью. Я провел ночь и следующий день в том же положении. Я отверг пищу, которую принесли мне наутро.

Отец пришел навестить меня после полудня. По доброте своей он старался облегчить мои страдания самыми ласковыми утешениями. Он столь решительно приказал мне что-нибудь съесть, что из уважения к нему я повиновался. Прошло несколько дней, в течение которых я принимал пищу только в его присутствии, покоряясь его воле. Он не переставал приводить мне доводы, стараясь образумить меня и внушить презрение к неверной Манон. Правда, я более уже не уважал ее; как мог я уважать самое ветреное, самое коварное из всех созданий? Но ее образ, пленительные черты я лелеял по-прежнему в глубине моего сердца; я это ясно чувствовал. «Пусть я умру,— говорил я,— как можно не умереть после такого позора и таких страданий; но я претерплю тысячу смертей, а не забуду неблагодарной Манон».

Отец был поражен, видя меня в непрерывной тоске. Он знал мои правила чести и, не сомневаясь в том, что ее измена должна вызвать во мне презрение, вообразил, что постоянство мое происходит не столько от этой страсти, сколько от общего

влечения моего к женщинам. Он до того проникся этой мыслью, что, движимый нежной привязанностью, однажды вошел ко мне с готовым предложением. «Кавалер,— сказал он,— до сей поры всегда желал я видеть тебя рыцарем Мальтийского ордена; убеждаюсь, однако, что склонности твои направлены в иную сторону; тебя влечет к красивым женщинам; я решил подыскать тебе подругу по вкусу. Скажи мне откровенно, что́ думаешь ты об этом?»

Я отвечал, что отныне не делаю различий между женщинами и после несчастья, случившегося со мною, всех их презираю одинаково. «Я отыщу тебе такую,— засмеялся отец,— которая будет походить на Манон и будет вернее, чем она».— «Ах! ежели у вас есть доброе чувство ко мне,— воскликнул я,— верните мне ее, только ее одну! Верьте, дорогой батюшка, она не изменила мне; она не способна на столь черную и жестокую низость. Всех нас обманывает вероломный Б***, вас, и ее, и меня. Если бы вы ее увидели хоть на миг, вы сами бы полюбили ее».— «Ребенок! — возразил мой отец.— Как можете вы быть ослепленным до такого предела после того, что я сообщил вам о ней? Ведь она сама предала вас вашему брату. Забудьте ее, забудьте самое ее имя и, ежели вы благоразумны, не искушайте моей к вам снисходительности».

Правота отца была для меня слишком очевидна. Только непроизвольный сердечный порыв побудил меня защищать изменницу. «Увы! — воскликнул я, помолчав с минуту.— Сомнения нет, я несчастная жертва самого низкого из всех предательств. Да,— продолжал я, проливая слезы досады,— вижу теперь, что я просто доверчивый ребенок. Им ничего не стоило меня обмануть. Но я знаю, как отомстить». Отец пожелал узнать мои намерения. «Я направлюсь в Париж,— сказал я,— подожгу дом Б*** и спалю его живьем вместе с коварной Манон». Мой порыв рассмешил отца и послужил поводом лишь к более строгому присмотру за мной в моем заточении.

Так провел я целых полгода, но в первые месяцы во мне произошло мало перемен. Все мои чувства сводились к вечному чередованию ненависти и любви, надежды и отчаяния,— в зависимости от того, в каком виде представал образ Манон моим мыслям. То рисовалась она мне самой пленительной из всех девиц на свете, и я томился жаждой ее видеть; то представлялась она мне низкой, вероломной любовницей, и я клялся отыскать ее лишь для того, чтобы покарать.

Меня снабдили книгами, и они немного способствовали успокоению моей души. Я перечитал всех любимых своих

писателей, приобрел новые знания, вновь получил вкус к занятиям — вы увидите, сколько пользы принесло мне это впоследствии. Просвещенный любовью, я нашел смысл во множестве мест Горация и Вергилия, которые ранее оставались для меня темными. Я составил любовный комментарий к четвертой книге «Энеиды»; предназначая его к напечатанию, льщу себя надеждой, что читатели будут им удовлетворены. «Увы,— говорил я, составляя его,— верной Дидоне нужно было сердце, подобное моему».

Однажды Тиберж навестил меня в темнице. Я был поражен горячим порывом, с которым он обнял меня. До той поры я смотрел на нашу взаимную привязанность как на простую товарищескую дружбу между молодыми людьми приблизительно одного возраста. Я нашел его столь изменившимся и возмужавшим за пять или шесть месяцев нашей разлуки, что облик его и манеры внушили мне уважение. Он заговорил со мною скорее как мудрый советчик, нежели как школьный приятель. Он сожалел о заблуждении, жертвой которого я пал; поздравлял с исцелением и, наконец, увещевал воспользоваться уроком этой юношеской ошибки, убедившись на опыте в тщете удовольствий.

Я смотрел на него с изумлением. Он заметил это.

«Дорогой мой кавалер,— сказал он,— все, что я вам говорю, несомненная истина, и я удостоверился в том после суровых испытаний. Я чувствовал в себе влечение к сластолюбию не меньшее, нежели вы; но небо даровало мне в то же время и склонность к добродетели. Я обратился к собственному разуму, дабы сравнить плоды, приносимые тем и другим, и не замедлил распознать их различия. Небо присоединило помощь свою к моим размышлениям. Во мне зародилось презрение к миру, ни с чем не сравнимое. Назвать ли вам, что́ удерживает меня здесь,— прибавил он,— и что́ препятствует мне бежать в пустыню? Единственно, нежная дружба к вам. Мне ведомы превосходные качества сердца вашего и ума; нет такого славного поприща, к которому вы не были бы способны. Яд суетных удовольствий совратил вас с пути. Какая потеря для добродетели! Ваше бегство из Амьена причинило мне столько горести, что с той поры я не вкусил ни минуты покоя. Судите о том по моим поступкам». Он рассказал мне, что после того, как обнаружил мой обман и бегство с любовницей, он сел на лошадь, чтобы следовать за мною; но, так как я опередил его на четыре или пять часов, ему было невозможно догнать меня; тем не менее он прибыл в Сен-Дени полчаса спустя после моего отъезда;

будучи уверен, что я остановлюсь в Париже, он провел в нем полтора месяца, тщетно разыскивая меня; он обошел все места, где льстил себя надеждою меня встретить, и наконец однажды узнал мою любовницу в Комедии; она сидела в театре в блестящем уборе, и он догадался, что она обязана своим богатством какому-нибудь новому любовнику; он проследил ее карету до самого дома, где выведал от прислуги, что ее содержат щедроты господина Б***. «Я не остановился и на этом,— продолжал он,— я вернулся туда же на следующий день, дабы узнать от нее самой, что с вами произошло. Она убежала от меня, лишь только услышала ваше имя, и я вынужден был возвратиться в провинцию, не добившись других сведений. Там я узнал о вашем приключении и о крайнем унынии, в которое оно повергло вас; но я не хотел вас видеть, не уверившись в том, что найду вас в более спокойном состоянии».

«Значит, вы видели Манон? — воскликнул я со вздохом.— Увы! вы счастливее меня, обреченного не видеть ее никогда более». Он стал упрекать меня за этот вздох, все еще обличавший мою слабость к ней. Он с такой изысканной ловкостью польстил моему доброму нраву и моим хорошим наклонностям, что зародил во мне, начиная с первого же посещения, сильное желание отказаться, по его примеру, от всех мирских услад и принять пострижение.

Я так увлекся этой идеей, что, оставшись один, ни о чем другом более не помышлял. Я вспомнил речи господина епископа Амьенского, дававшего мне тот же совет, и благоприятные для меня его предсказания, ежели я последую по сему пути. Благочестивые чувства еще более укрепили меня в моем решении. «Я буду вести жизнь мудрую и христианскую,— говорил я,— посвящу себя науке и религии, что не позволит мне помышлять об опасных любовных утехах. Я буду презирать то, что обычно восхищает людей; и, раз я чувствую, что сердце мое будет стремиться лишь к тому, что представляется ему достойным, у меня будет столь же мало забот, сколь и желаний».

Я уже заранее составил себе план одинокой и мирной жизни. В него входила уединенная хижина, роща и прозрачный ручей на краю сада; библиотека избранных книг; небольшое число достойных и здравомыслящих друзей; стол умеренный и простой. Я присоединил к этому переписку с другом, который, живя в Париже, будет сообщать мне городские новости, не столько для удовлетворения моего любопытства, сколько для того, чтобы развлекать меня суетными волнениями общества. «Разве не буду я счастлив? — прибавлял я.— Разве не осуще-

ствятся все мои желания?» Несомненно, такие планы вполне подходили моим склонностям. Однако, размышляя о столь мудром устроении моей будущей жизни, я почувствовал, что сердце мое жаждет еще чего-то, и, дабы уж ничего не оставалось желать в моем прелестнейшем уединении, надо было только удалиться туда вместе с Манон.

Между тем Тиберж не прекращал своих посещений, стремясь укрепить меня в намерении, которое мне внушил, и вот однажды я решился открыться отцу. Отец объявил мне, что взял за правило предоставлять детям свободу выбора жизненного пути и, каковы бы ни были мои планы, оставляет за собой только право помогать мне советами. Он преподал мне несколько весьма мудрых наставлений, не столько стараясь разочаровать меня в моем проекте, сколько возбудить сознательное к нему отношение.

Начало учебного года приближалось. Я сговорился с Тибержем вместе определиться в семинарию Сен-Сюльпис, где он должен был закончить курс богословских наук, а я — приступить к ним. Его заслуги, известные епархиальному епископу, снискали ему от сего прелата солидный бенефиций еще до нашего отъезда.

Отец мой, полагая, что я вполне исцелился от своей страсти, отпустил меня без всяких затруднений. Мы прибыли в Париж. Духовное одеяние заменило мальтийский крест, а имя аббата де Грие — рыцарское звание. Я с таким прилежанием взялся за занятие, что в немного месяцев сделал огромные успехи. Я занимался и ночью, а днем не терял даром ни минуты. Слава моя так прогремела, что меня уже поздравляли с будущим саном, который не мог меня миновать; и без всяких ходатайств с моей стороны имя мое заняло место в списке бенефициев. Я не пренебрегал и делами благочестия, ревностно посещая церковные службы. Тиберж был в восторге, приписывая все своим стараниям, и много раз я видел, как он проливал слезы радости, торжествуя свой успех в деле моего обращения, как он говорил.

Меня никогда не удивляло, что намерения людские подлежат переменам: одна страсть порождает их, другая может их уничтожить; но, когда я думаю о святости моих намерений, приведших меня в семинарию, и о сокровенной радости, какую ниспослало мне небо при их осуществлении, я страшусь при мысли о том, с какой легкостью я от них отрекся. Ежели истинно то, что небесная помощь в любое мгновение обладает силою, равною силе страстей, пусть объяснят мне, какая же

роковая власть совращает вдруг человека со стези долга, почему он теряет всякую способность к сопротивлению и не чувствует при этом ни малейших угрызений совести.

Я полагал, что совершенно освободился от любовных искушений. Мне казалось, что теперь я всегда предпочту страницу блаженного Августина или четверть часа благочестивых размышлений всем чувственным утехам, даже если бы меня призывала сама Манон. А между тем одно злосчастное мгновение низвергло меня в пропасть, и падение мое было тем непоправимее, что, очутившись вдруг на той же глубине, из которой я выбрался, я увлечен был новыми страстями гораздо далее, в самую бездну.

В Париже я провел около года, не стараясь ничего разузнать о Манон. Трудно мне было бороться с собой первое время; но всегдашняя поддержка Тибержа и собственные размышления способствовали моей победе. Последние месяцы протекли совсем спокойно, и я полагал, что еще немного — и я забуду навеки это пленительное и коварное существо. Наступило время публичного испытания в Богословской школе; я обратился с просьбой к некоторым важным особам почтить своим присутствием мой экзамен. Имя мое прогремело по всем кварталам Парижа и дошло до ушей изменницы. Она не вполне признала меня в сане аббата, но какой-то остаток любопытства, или, быть может, некоторое раскаяние в своем предательстве (я никогда не мог разобрать, какое из этих двух чувств) возбудили в ней интерес к имени, столь сходному с моим. Она явилась в Сорбонну вместе с несколькими другими дамами. Она присутствовала на моем испытании и, несомненно, без труда меня узнала.

Я ничего не подозревал. Как известно, для дам отводятся особые ложи, где они сидят скрытыми за жалюзи. Я вернулся в семинарию, покрытый славою и осыпанный поздравлениями. Было шесть часов вечера. Немного погодя мне доложили, что меня желает видеть какая-то дама. Я тотчас же направился в приемную. Боже! какое неожиданное явление! — меня ожидала Манон. То была она, но еще милее, еще ослепительнее в своей красоте, чем когда-либо. Ей шел осьмнадцатый год; пленительность ее превосходила всякое описание: столь была она изящна, нежна, привлекательна; сама любовь! Весь облик ее мне показался волшебным.

При виде ее я замер в смущении и, не догадываясь о цели ее прихода, ожидал, дрожа, с опущенными глазами, что она скажет. Несколько минут она находилась в не меньшем замеша-

тельстве, нежели я, однако, видя, что я продолжаю молчать, поднесла руку к глазам, чтобы скрыть слезы. Робким голосом сказала она, что я вправе был возненавидеть ее за ее неверность, но если я питал к ней когда-то некоторую нежность, то довольно жестоко с моей стороны за два года ни разу не уведомить ее о моей участи, а тем более, встретившись с ней теперь, не сказать ей ни слова. Смятение моей души, покуда я выслушивал ее, не может быть выражено никакими словами.

Она села. Я продолжал стоять — вполоборота к ней, не смея прямо взглянуть на нее. Несколько раз я начинал было говорить и не имел сил окончить свою речь. Наконец, сделав усилие над собой, я воскликнул горестно: «Коварная Манон! О коварная, коварная!» Она повторила, заливаясь слезами, что и не хочет оправдываться в своем вероломстве. «Чего же вы хотите?» — вскричал я тогда. «Я хочу умереть,— отвечала она,— если вы не вернете мне вашего сердца, без коего жить для меня невозможно».— «Проси же тогда мою жизнь, неверная! — воскликнул я, проливая слезы, которые тщетно старался удержать.— Возьми мою жизнь, единственное, что остается мне принести тебе в жертву, ибо сердце мое никогда не переставало принадлежать тебе».

Едва я успел произнести последние слова, как она бросилась с восторгом в мои объятия. Она осыпáла меня страстными ласками; называла меня всеми именами, какие только может изобрести любовь для выражения самой нежной страсти. Я все еще медлил с ответом. И правда, каков переход от спокойного состояния последних месяцев к мятежным порывам души, уже возрождавшимся во мне! Я был в ужасе; я дрожал, как дрожишь ночью от страха в пустынной местности, когда кажется, что ты перенесен в иную стихию, когда тебя охватывает тайный трепет и ты начинаешь немного успокаиваться, лишь освоившись с окрестностями.

Мы сели друг подле друга. Я взял ее руки в свои. «Ах, Манон,— произнес я, печально смотря на нее,— не ожидал я той черной измены, какой отплатили вы за мою любовь. Вам легко было обмануть сердце, коего вы были полной властительницей, обмануть человека, полагавшего все свое счастье в угождении и в послушании вам. Скажите же теперь, нашли ли вы другое сердце, столь же нежное, столь же преданное? Нет, нет, природа редко создает сердца моего закала. Скажите, по крайней мере, сожалели ли вы когда-нибудь обо мне? Могу ли я довериться тому доброму чувству, которое побуждает вас сегодня утешать меня? Я слишком хорошо вижу, что вы пленительнее, чем

когда-либо; но, во имя всех мук, которые я претерпел за вас, прекрасная Манон, скажите мне, останетесь ли вы верны мне теперь?»

Она наговорила мне в ответ столько трогательных слов о своем раскаянии и поручилась мне столькими клятвами в верности, что смягчила сердце мое беспредельно. «Дорогая Манон,— обратился я к ней, нечестиво перемешивая любовные и богословские выражения,— ты слишком восхитительна для земного создания. Я чувствую, что мною овладевает неизъяснимая отрада. Все, что́ говорится в семинарии о свободе воли,— пустая химера. Ради тебя я погублю и свое состояние, и доброе имя, предвижу это; читаю судьбу свою в твоих прекрасных очах; но разве мыслимо сожалеть об утратах, утешаясь твоей любовью! О богатстве я нимало не забочусь; слава мне кажется дымом; все мои планы жизни в лоне Церкви кажутся мне теперь безумными бреднями; словом, все иные блага, кроме тех, что неразлучны с тобою, достойны презрения, разве они устоят в моем сердце против одного-единственного твоего взгляда?»

Однако же, обещая ей полное забвение ее проступка, я пожелал узнать, каким образом могла она соблазниться де Б***? Она рассказала, что, увидав ее в окне, он страстно влюбился; что объяснился он с ней, как и подобает откупщику, то есть указав ей в письме, что оплата будет соразмерна с ее ласками; сначала она уступила, но только ради того, чтобы вытянуть у него изрядную сумму, которая могла бы обеспечить нашу жизнь; потом он ослепил ее столь великолепными обещаниями, что она стала падать все ниже и ниже; все же я могу судить о том, как мучила ее совесть, по ее печали в час нашего расставания; и, несмотря на роскошь, в которой он содержал ее, она никогда не вкусила счастья с ним не только потому, что вовсе не нашла в нем, говорила она, изящества моих чувств и прелести моего обхождения, но потому, что даже в самый разгар удовольствий, которые доставлял он ей беспрестанно, она лелеяла в глубине сердца воспоминание о моей любви и мучилась угрызениями совести. Она рассказала мне о Тиберже и о крайнем смущении, какое причинил ей его приход. «Удар шпаги в самое сердце менее взволновал бы мою кровь,— прибавила она.— Я вышла из комнаты, не в силах выдержать ни на минуту его присутствие».

Она продолжала рассказывать мне, каким образом узнала о моем пребывании в Париже, о перемене в моей жизни и о занятиях в Сорбонне. По ее уверениям, она настолько была взволнована во время диспута, что ей стоило огромных усилий не

только удержать слезы, но даже стоны и крики, которыми не раз готова она была разразиться. Наконец, она сообщила мне, как вышла последней из зала, чтобы скрыть свое расстроенное состояние, и как, следуя только движению сердца и порыву чувств, она явилась прямо в семинарию с решением здесь умереть, если не добьется от меня прощения.

Найдется ли на свете варвар, которого не растрогало бы столь живое и нежное раскаяние? Что до меня, то я чувствовал в эту минуту, что готов пожертвовать ради Манон всеми епархиями христианского мира. Я спросил ее, что же нам теперь делать? Она отвечала, что надо немедленно покинуть семинарию и позаботиться о приискании более надежного убежища. Я согласился на все без возражений. Она села в свою карету, чтобы дождаться меня на перекрестке. Минуту спустя я вышел, не замеченный привратником, и занял место рядом с ней. Мы направились в одежный ряд; я снова облачился в кафтан, опоясался шпагой. Манон платила за все, ибо у меня не было ни гроша; из страха, как бы что не помешало мне скрыться из семинарии, она запретила мне возвращаться туда за деньгами. Впрочем, моя казна была не велика, она же достаточно богата щедротами Б***, чтобы пренебречь тем, что я бросал за собой по ее воле. Не выходя из лавки, мы обсудили наши дальнейшие действия.

Дабы я еще более оценил жертву, которую она мне приносила, она решила порвать всякие сношения с Б***. «Я оставлю ему всю обстановку,— сказала она,— она принадлежит ему; но, по справедливости, возьму с собою драгоценности, а также около шестидесяти тысяч франков, которые я вытянула у него за два года. Я не связала себя с ним никакими обязательствами,— добавила она,— поэтому мы можем безбоязненно оставаться в Париже, сняв удобное помещение, где и заживем счастливо».

Я возражал ей, что, если для нее и нет опасности, она велика для меня, ибо рано или поздно я буду узнан, и мне постоянно будет угрожать несчастье, которое я уже испытал. Она дала мне понять, что ей жалко было бы покинуть Париж. Я так боялся ее огорчить, что готов был пренебречь любой опасностью в угоду ей. Между тем мы нашли выход из положения: мы снимем дом в какой-нибудь деревне за чертою Парижа, откуда нам легко будет добираться до города всякий раз, как прихоть или нужда нас туда призовет. Мы выбрали Шайо, расположенное неподалеку. Манон немедленно отправилась к себе. Я стал поджидать ее у калитки Тюильрийского сада.

Через час она вернулась в наемной карете, с горничной, прислуживавшей ей, и несколькими сундуками, содержавшими ее платья и ценные вещи.

Мы быстро доехали до Шайо и остановились на первую ночь в гостинице, чтобы иметь время подыскать себе дом или, по крайней мере, квартиру, достаточно удобную. Уже на следующий день нам удалось найти помещение по своему вкусу.

Счастье мое казалось мне сперва неколебимым. Манон была сама нежность, сама приветливость. Ко мне она относилась с такой милой заботливостью, что я считал себя вознагражденным с избытком за все свои муки. Мы оба приобрели некоторый жизненный опыт и могли лучше судить о размерах нашего состояния. Сумма в шестьдесят тысяч франков, составлявшая основу наших богатств, не могла тянуться всю долгую жизнь. С другой стороны, мы не были расположены слишком стеснять себя в расходах. Бережливость отнюдь не была главной добродетелью Манон, равно как и моей. Я предложил следующий план. «Шестьдесят тысяч франков,— говорил я,— могут поддержать наше существование в течение десяти лет. Если мы останемся жить в Шайо, двух тысяч экю нам будет хватать на год. Мы будем вести жизнь достойную, но простую. Единственною нашей тратой будет содержание кареты и театр. Мы будем расчетливы. Вы любите «Оперу». Мы станем бывать там два раза в неделю. В игре мы так себя ограничим, чтобы наш проигрыш не превышал никогда двух пистолей. Не может быть, чтобы в течение десяти лет в моем семейном положении не произошло каких-либо перемен; отец мой преклонного возраста, он может умереть. Я получу наследство, и все наши заботы останутся позади».

Такой распорядок помог бы нам жить в достатке, ежели бы мы имели настолько благоразумия, чтобы постоянно ему следовать. Манон страстно любила наряды и развлечения; я был страстно влюблен в нее. То и дело у нас возникали новые поводы к тратам; нимало не жалея денег, которые она не раз бросала на ветер, я первый готов был доставлять ей все, что только могло ей быть приятно. Да и наше пребывание в Шайо начало ей становиться в тягость.

Приближалась зима; все возвращались в город, деревня пустела. Манон предложила мне переселиться в Париж. Я не соглашался; но, чтобы угодить ей чем-нибудь, я предложил снять в городе меблированные комнаты, где мы могли бы оставаться на ночь, когда случится нам слишком поздно засидеться в собрании, куда мы отправлялись по нескольку раз в неделю;

ибо неудобство возвращаться так поздно было предлогом, который она выставляла, желая покинуть Шайо. Итак, мы обзавелись двумя квартирами, одной в городе, другой в деревне. Такая перемена вскоре окончательно запутала наши дела, послужив причиною двух происшествий, которые привели к нашему разорению.

У Манон был брат, служивший в гвардии. К несчастью, оказалось, что он живет в Париже на одной улице с нами. Он узнал сестру, увидав ее утром у окна, и немедленно прибежал к нам. То был человек грубый и бесчестный; он вошел в комнату с ужасными проклятиями; и, зная о некоторых приключениях сестры, осыпал ее руганью и упреками.

За минуту перед тем я вышел из дому, несомненно к счастью для него и для меня, ибо я менее всего был расположен стерпеть оскорбление. Я возвратился уже после его ухода. Печаль Манон выдала мне, что произошло что-то чрезвычайное. Она рассказала мне о прискорбной сцене, какую пришлось ей вынести, и о грубых упреках брата. Я так был возмущен, что готов был немедленно бежать за обидчиком, только слезы ее удержали меня.

Пока мы обсуждали эту встречу, гвардеец без предупреждения снова явился к нам в комнату. Если бы я знал его в лицо, то встретил бы его менее любезно; но, весело нам поклонившись, он успел принести Манон извинения в своей запальчивости; он объяснил, что заподозрил ее в распутстве и эта мысль привела его в ярость; но, расспросив одного из наших слуг, он получил обо мне столь благоприятные сведения, что пожелал завязать с нами добрые отношения.

Хотя расспрашивать обо мне у лакеев было довольно странно и оскорбительно, я вежливо ответил на его приветствие, думая угодить этим Манон. Она казалась в восторге, видя, что он успокоился. Мы оставили его отобедать.

Вскоре он так запросто почувствовал себя у нас, что, услышав о нашем возвращении в Шайо, непременно пожелал нам сопутствовать. Пришлось предоставить ему место в карете. Это был первый шаг, ибо вскоре он так приохотился навещать нас, что стал чувствовать себя у нас как дома и распоряжаться всем как хозяин. Меня он называл уже братом и, на правах брата, принялся приглашать к нам в Шайо своих приятелей, угощая их за наш счет; сшил себе великолепное платье на наши средства; заставил нас заплатить все свои долги. Я закрывал глаза на такое самоуправство, дабы не причинить огорчения Манон, и даже делал вид, будто не замечаю, как он выпрашивает у нее

время от времени значительные суммы денег. Правда, ведя большую игру, гвардеец был настолько честен, что частично возвращал их ей, когда счастье ему улыбалось; но наше состояние было слишком скромным, чтобы долгое время покрывать столь неумеренные траты. Я собирался уже решительно поговорить с ним, чтобы положить конец его навязчивости, когда несчастный случай, избавив меня от одной беды, наслал на нас другую, которая довершила наше разорение.

Однажды, как это часто бывало, мы заночевали в Париже. Служанка, остававшаяся в таких случаях одна в Шайо, явилась ко мне наутро с известием, что ночью в нашем доме вспыхнул пожар и огонь едва удалось потушить. Я спросил, пострадала ли наша обстановка. Она отвечала, что была такая великая суматоха и столько чужого народа сбежалось на помощь, что она ни за что не ручается. В тревоге за наши деньги, которые были заперты в маленьком сундуке, я тотчас же вернулся в Шайо. Напрасно я спешил! — сундучок исчез.

Я понял тогда, что можно любить деньги, не будучи скупым. Неожиданная утрата преисполнила меня такой скорбью, что я опасался за свой рассудок. Я сразу понял, какие новые бедствия ожидают меня. Нищета была меньшим из них. Я достаточно изучил Манон; я знал по горькому опыту, что, как бы она ни была верна и привязана ко мне, когда судьба нам улыбалась,— нельзя рассчитывать на нее в беде. Она слишком любит роскошь и удовольствия, чтобы пожертвовать ими ради меня. «Я потеряю ее! — воскликнул я.— Несчастный! Итак, ты вновь теряешь все, что любишь!» Мысль эта повергла меня в столь ужасное смятение, что несколько минут я колебался, не лучше ли покончить разом со всеми бедами, наложив на себя руки.

По счастью, я сохранил еще присутствие духа, чтобы обдумать, не остается ли у меня какого-либо другого выхода. Небу угодно было внушить мне мысль, которая удержала меня от отчаяния: мне пришло в голову, что я могу скрыть от Манон нашу потерю, а там моя изобретательность либо какая-нибудь счастливая случайность помогут мне содержать ее так, чтобы она не почувствовала нужды.

«Я рассчитывал,— утешал я себя,— что двадцати тысяч экю хватит нам на десять лет. Предположим, что десять лет истекли и никаких перемен в моем семейном положении, на которые я надеялся, не произошло. Что бы я предпринял в таком случае? Не знаю толком; но почему бы мне не сделать уже теперь то, что мне пришлось бы делать тогда? Сколько людей живет в Париже, не обладая ни моим умом, ни природными дарованиями,

и которые тем не менее кормятся в меру своих способностей!»

«Сколь премудро устроен мир! — прибавил я, размышляя о различных жизненных положениях.— Большинство вельмож и богачей — дураки. Это ясно всякому, кто хоть немного знает свет. И в этом заключается великая справедливость. Обладай они и умом и богатством, они были бы чрезмерно счастливы, остальное же человечество слишком обездолено. Телесные и душевные качества даны в удел бедным, как средства преодолевать свои несчастья и нищету. Одни получают долю в богатстве вельмож, служа их развлечениям: они их дурачат. Другие обучают их наукам: они стараются сделать из них людей достойных; правда, это им редко удается, но не в том цель божественной премудрости: бедняки пожинают плоды своих усилий, живя на средства тех, кого обучают; и, с какой стороны ни посмотреть, глупость богачей и вельмож — превосходный источник дохода для малых сих».

Мысли эти немного успокоили мне сердце и рассудок. Я решил сперва посоветоваться с господином Леско, братом Манон. Он в совершенстве знал Париж, и я не раз имел случай убедиться, что ни его личные средства, ни королевское жалованье не служат главным источником его дохода. У меня оставалось всего каких-нибудь двадцать пистолей, по счастью уцелевших в моем кармане. Я показал ему кошелек, поведав о своем несчастье и опасениях, и спросил, есть ли для меня иной выбор, кроме голодной смерти или самоубийства. Он отвечал, что самоубийством кончают одни лишь дураки; что же до голодной смерти, то множество умных людей были в бедственном положении, пока не решались применить свои дарования; мое дело испытать, на что я способен; он же послужит мне помощью и советом во всех моих начинаниях.

«Все это весьма неопределенно, господин Леско,— сказал я ему,— положение мое требует немедленной помощи, ибо что я скажу Манон?» — «Чем вас смущает Манон? — возразил он.— С ней-то уж вы всегда можете быть спокойны. Такая девица, да она сама должна вас содержать, и вас, и себя, и меня!» Не дав мне по достоинству ответить на эту наглую выходку, он тут же предложил достать до вечера тысячу экю, нам обоим пополам, ежели я последую его совету; он пояснил, что знает одного барина, столь падкого на наслаждения, что он и не задумается заплатить тысячу экю за ласки такой красотки, как Манон.

Я остановил его. «Я был лучшего мнения о вас,— ответил я,— я воображал, что вашей дружбой ко мне руководит чувство

прямо противоположное тому, которое сейчас вы обнаружили». Он имел бесстыдство заявить, что всегда держался такого образа мыслей и что, после того как сестра его однажды нарушила законы девичьей чести, хотя бы ради человека, который стал ему лучшим другом, он примирился с нею только в надежде извлечь выгоду из ее дурного поведения.

Мне не трудно было понять, как он дурачил нас до сих пор. Но, сколь ни возмутили меня его речи, нужда в нем побудила меня ответить, смеясь, что его совет я рассматриваю как последнее средство, к которому следует прибегнуть лишь в самом крайнем случае, и прошу его найти какой-нибудь другой выход.

Он предложил мне тогда извлечь выгоду из моей молодости и красоты, дарованной мне природой, и вступить в связь с какой-нибудь богатой и щедрой старухой. Мне не пришелся по вкусу и этот план, ибо мне претило быть неверным Манон.

Я заговорил об игре как о средстве наиболее легком и подходящем в моем положении. Он согласился, что игра, действительно, может стать источником дохода, однако с некоторой оговоркой; приступить к игре просто с надеждою на выигрыш — верное средство довершить свое разорение; пытаться самостоятельно и без чужой поддержки применять разные мелкие приемы, помогающие при известной ловкости исправлять судьбу,— занятие слишком опасное; есть третий путь — вступить в компанию; однако молодость моя внушает ему опасения, как бы члены Сообщества не нашли меня неспособным для участия в лиге. Тем не менее он обещал мне свою рекомендацию и, чего уж я никак не ожидал от него, предложил и некоторую денежную помощь в случае крайней нужды. Единственная услуга, о которой я попросил его в нынешних обстоятельствах, было ни слова не говорить Манон ни о моей потере, ни о предмете нашей беседы.

Я вышел от него еще более расстроенный, чем прежде; я даже раскаивался, что доверил ему свою тайну. Он не посоветовал мне решительно ничего, что могло бы помочь нам в беде, и я смертельно боялся, что он нарушит обещание — ничего не говорить Манон. Узнав его истинные чувства, я опасался также и того, как бы он не осуществил высказанного им намерения извлечь из Манон выгоду, вырвав ее из моих рук или, в крайнем случае, дав ей совет покинуть меня ради какого-нибудь богатого и более удачливого любовника. Неотступные размышления на эту тему только усилили мои муки и вновь довели меня до отчаяния, в котором я пребывал все утро. Несколько раз приходило мне в голову написать отцу и новым притворным раская-

нием добиться от него денежной помощи; но я тотчас же вспоминал, как, при всей своей доброте, он полгода продержал меня в тесной темнице за первый мой проступок; я был вполне уверен, что после скандального побега из семинарии он обойдется со мною еще суровее.

В конце концов в смятенном моем состоянии меня осенила мысль, которая сразу принесла мне успокоение, и я не понимал даже, как она раньше не пришла мне на ум; мысль эта состояла в том, чтобы прибегнуть к моему другу Тибержу, в котором я не сомневался всегда найти то же горячее дружеское участие. Нет ничего более восхитительного и ничто не делает большей чести добродетели, чем доверие к людям, честность которых заведомо известна; знаешь, что, обращаясь к ним, можно ничего не опасаться: если они и не в состоянии предложить помощь, можно быть уверенным, по крайней мере, что всегда встретишь с их стороны доброту и сочувствие. И сердце, которое так старательно замыкается перед остальными людьми, непроизвольно раскрывается в их присутствии, подобно цветку, распускающемуся под благотворным влиянием ласковых лучей солнца.

Я узрел божественный промысел в том, что так кстати вспомнил о Тибержe, и решил изыскать средства увидеться с ним еще до вечера. Я немедленно вернулся домой, чтобы написать ему записку и назначить место встречи. Я просил его держать все в строгой тайне, что́ являлось самой важной услугой в моем положении.

Радость, внушаемая мне надеждой увидаться с ним, сгладила черты скорби, которые Манон не преминула бы заметить на моем лице. Я сообщил ей о нашем несчастье в Шайо, как о пустяке, который не должен ее тревожить; и, так как Париж был местом всегдашних ее мечтаний, она не выразила никакой досады, что нам придется остаться здесь до тех пор, покуда в Шайо не исправят нескольких незначительных повреждений, причиненных пожаром.

Час спустя я получил ответ от Тибержа; он обещал прийти в назначенное место. Я устремился туда с нетерпением. Мне было, правда, очень стыдно показаться на глаза другу, одно присутствие коего было живым укором моей распущенности; но уверенность в доброте его сердца и забота о Манон поддерживали во мне мужество.

Я просил его ожидать меня в саду Пале-Рояля. Он был уже там до моего прихода. Едва увидев меня, Тиберж бросился в мои объятия. Он долго не выпускал меня из рук, и слезы его оросили мое лицо. Я сказал, что мне совестно встретиться с ним

и я горько раскаиваюсь в своей неблагодарности; что прежде всего заклинаю его сказать мне, смею ли я еще считать его другом после того, как, по всей справедливости, заслужил утрату его уважения и любви. Он отвечал мне в самых ласковых выражениях, что ничто не может побудить его отказаться от этой дружбы; что самые мои несчастья и, если позволено ему будет сказать, мои заблуждения и мое падение усугубили его нежность ко мне; но нежность его смешана с живейшей скорбью, какую естественно испытываешь, когда дорогой человек гибнет у тебя на глазах, а ты не в силах помочь ему.

Мы присели на скамью. «Увы! — сказал я с глубоким вздохом.— Сострадание ваше должно быть чрезмерно, дорогой мой Тиберж, если, как уверяете вы, оно равняется моим мучениям. Стыжусь раскрыть их перед вами, ибо признаюсь, что они вызваны недостойной причиной; однако последствия столь печальны, что растрогают даже тех, кто любит меня меньше вашего».

Он попросил меня рассказать ему откровенно, в знак нашей дружбы, все, что произошло со мною с тех пор, как я бежал из семинарии. Я удовлетворил его любопытство и, не пытаясь искажать истину или оправдываться в своих ошибках, рассказал историю любви моей со всей страстью, какую она мне внушала. Я изобразил ее, как один из тех ударов судьбы, которые влекут человека к гибели и от которых добродетель столь же бессильна защититься, сколь бессильна мудрость их предусмотреть. Я набросал перед ним живую картину моих терзаний, опасений, отчаяния, которое я пережил за два часа до встречи с ним и которое опять ждет меня, если друзья так же жестоко отвернутся от меня, как отвернулась судьба; в конце концов я до того разжалобил моего доброго Тибержа, что скорбь его обо мне сравнялась с собственною моей скорбью.

Он неустанно обнимал, ободрял и утешал меня; но, так как он все время настаивал на моем разлучении с Манон, я дал ему ясно понять, что считаю именно разлуку с ней величайшим несчастьем и готов лучше претерпеть не только самую крайнюю степень нужды, но даже жесточайшую смерть, нежели принять лекарство более невыносимое, чем все мои беды, вместе взятые.

«Объясните же мне,— сказал он,— какого рода помощь в состоянии я вам оказать, если вы восстаете против всех моих предложений?» У меня не хватило духа признаться, что я нуждаюсь в помощи его кошелька. Наконец он сам догадался об этом; и, признавшись, что, кажется, понял меня, несколько времени молчал с видом человека, колеблющегося между двумя решениями. «Не думайте,— заговорил он опять,— что моя

задумчивость проистекает от охлаждения дружбы; но перед каким выбором вы меня ставите, если я должен либо отказать вам в единственной помощи, какую вам угодно принять, либо нарушить свой долг, предоставив ее вам: ибо не значит ли принять участие в вашей безнравственной жизни, способствуя вашему в ней упорству?»

«Вместе с тем,— продолжал он после минутного раздумья,— я представляю себе, что, быть может, именно нужда вас повергает в то неистовое состояние, которое лишает вас свободы лучшего выбора. Лишь при душевном спокойствии можно оценить мудрость и истину. Я найду средства оказать вам денежную помощь. Разрешите только, дорогой мой кавалер,— прибавил он, обнимая меня,— поставить вам одно условие: вы откроете мне место вашего пребывания и не отвергнете моих стараний обратить вас на путь добродетели, которую, знаю, вы любите и от которой лишь неистовство страстей вас отвращает».

Я искренне согласился на все его требования и просил его пожалеть о злой моей участи, которая понуждает меня столь дурно следовать советам достойнейшего друга. Затем он проводил меня к знакомому банкиру, который выдал мне сто пистолей под его вексель, ибо наличных денег у него вовсе не было. Я уже говорил, что он был небогат. Его бенефиций исчислялся в тысячу экю; но так как он пользовался им первый год, то не имел еще от него никакого дохода; эти деньги одолжил он мне в счет будущих благ.

Я живо почувствовал всю цену его щедрости. Тронутый до слез, я оплакивал ослепление роковой любви, которая понудила меня нарушить все мои обязанности. На несколько мгновений добродетель возымела довольно силы, дабы восстать в сердце моем против страсти, и, по крайней мере в эту минуту просветления, я сознал весь стыд недостойных моих оков; но борьба была легка и длилась недолго. Один взгляд Манон мог бы низвергнуть меня даже с небес, и я дивился, вновь находясь подле нее, как мог я хотя бы на мгновение устыдиться столь естественной нежности к созданию столь пленительному.

Манон обладала редкостным нравом. Ни одна девица не была так мало привязана к деньгам, как она; но она теряла все свое спокойствие, едва только возникало опасение, что их может не хватить. Она жила удовольствиями и развлечениями и не желала тратить ни гроша, если можно было повеселиться даром. Ее даже не занимало, каково состояние нашего кошелька, лишь бы только провести день приятно; она не предавалась чрезмер-

ной игре, не обольщалась пышностью огромных трат, и не было ничего легче, как удовлетворять ее день за днем новыми забавами по ее вкусу. Но развлечения для нее были столь необходимы, что без них положительно нельзя было быть уверенным в ее настроении и рассчитывать на ее привязанность. Меня она любила нежно, я даже был единственным человеком, по ее собственному признанию, с которым она могла вкушать полную сладость любви, и все-таки я был почти убежден, что чувство ее не устоит, раз в ней зародятся известные опасения. Обладай я хотя бы средним достатком, она предпочла бы меня всему миру; но я нимало не сомневался, что буду покинут ради какого-нибудь нового Б***, как только не смогу предложить ей ничего иного, кроме постоянства и верности.

Поэтому решил я настолько сократить личные свои расходы, чтобы всегда быть в состоянии оплачивать ее собственные, и лучше уж отказывать себе во всем необходимом, нежели ограничивать ее даже в излишествах. Более всего пугала меня карета, ибо я не усматривал никакой возможности содержать лошадей и кучера.

Я сообщил о своих затруднениях господину Леско. Я не скрыл от него, что получил сто пистолей от одного друга. Он повторил, что, если я желаю попытать счастья в игре, он не сомневается, что, пожертвовав, не скупясь, сотней франков в общую кассу, я смогу быть принят по его рекомендации в Сообщество ловких игроков. И при всем моем отвращении к обману жестокая необходимость заставила меня согласиться.

В тот же вечер господин Леско представил меня приятелям как своего родственника. Он присовокупил, что я особенно рассчитываю на успех, ибо нуждаюсь в самых больших милостях Фортуны. В то же время, желая показать, что я не нищий, он заявил, что я намереваюсь накормить всех ужином. Предложение было принято. Я угостил всех великолепно. Только и было разговоров, что о моем изяществе и природных данных. Решили, что от меня многого можно ожидать, потому что в чертах лица моего столько благородства, что никому и в голову не придет заподозрить меня в плутовстве. В заключение все поздравляли господина Леско с завербованием в орден столь достойного новобранца и поручили одному из рыцарей преподать мне в течение ближайших дней необходимые уроки.

Главной ареной моих подвигов был Трансильванский дворец, где в одной из зал был стол для фараона, а в галерее играли в другие карточные игры и в кости. Сей игорный дом принадлежал принцу де Р***, жившему тогда в Кланьи, а большинство

эго офицеров входило в наше общество. Стыжусь признаться, но в скором времени я воспользовался уроками своего учителя. Особенную ловкость приобрел я в вольтфасах, в подмене карты; при помощи пары длинных манжет я легко морочил самый проницательный взгляд и преспокойно разорял множество честных игроков. Исключительная моя ловкость столь быстро увеличила наше состояние, что месяца через два я распоряжался солидной суммой денег, помимо тех, которыми щедро делился со своими сообщниками.

Я уже не боялся рассказать Манон о нашей потере в Шайо и, чтобы утешить ее в такой неприятной новости, снял меблированный дом, где зажили мы пышно и беспечно.

Все это время Тиберж продолжал часто навещать меня. Он не оставлял нравственного попечения обо мне. Он непрестанно изображал мне, какой ущерб я наношу своей совести, чести, положению. Я дружески принимал его доводы и, хотя нимало не был расположен им следовать, чувствовал к нему признательность за его рвение, ибо мне ведом был его источник. Не раз я добродушно подсмеивался над ним в присутствии самой Манон и увещевал не превосходить щепетильностью великого множества епископов и иных прелатов, отлично согласующих любовницу с бенефицием. «Взгляните только,— говаривал я ему, указывая на очи моей возлюбленной,— и скажите, есть ли такие проступки, которые не были бы оправданы столь прелестною причиною?» Он набирался терпения. Казалось, и пределов ему не было; однако, видя, что богатства мои множатся и что я не только вернул ему сто пистолей, но, сняв новый дом и удвоив расходы, погрузился в бóльшие, чем когда-либо, наслаждения, Тиберж резко изменил тон. Он сокрушался моим упорством, угрожал небесною карой и предрекал мне грядущие несчастия, которые и не замедлили воспоследовать. «Немыслимо,— говорил он,— чтобы богатства, служащие поддержкою вашему беспутству, достались вам путями законными. Вы приобрели их неправдою, и так же отнимутся они от вас. Ужаснейшим наказанием божиим было бы предоставить вам пользоваться ими спокойно. Все советы мои,— добавил он,— были вам бесполезны; слишком ясно предвижу, что скоро они станут назойливы для вас. Прощайте, неблагодарный и слабый друг! да исчезнут, как тень, преступные ваши утехи! да сгинут бесследно ваше благополучие и деньги, вы останетесь сир и нищ, дабы восчувствовать тщету благ, кои опьяняли вас безумно! и тогда обретете вы во мне друга и помощника; отныне порываю я всякие с вами сношения и презираю жизнь, которую вы ведете».

«Манон Леско»
Ж.-Ж. Паскье и Ю. Гравело

Сию апостолическую проповедь произнес он у меня в комнате, в присутствии Манон. Он поднялся, намереваясь удалиться. Я хотел его удержать, но меня остановила Манон, воскликнув, что это сумасшедший, которого нужно выпроводить.

Его речь произвела на меня некоторое впечатление. Так отмечаю я разные случаи, когда в сердце мое возвращалось стремление к добру, ибо этим минутам обязан я был впоследствии известною долей той силы, с какою переносил самые горестные испытания своей жизни.

Ласки Манон рассеяли в одно мгновение печаль, причиненную мне тяжелой сценой. Мы продолжали вести жизнь, полную удовольствий и любви; увеличение нашего богатства усугубило взаимную нашу привязанность. Венера и Фортуна никогда не имели рабов более счастливых и нежных. Боже, возможно ли именовать мир юдолью скорби, раз в нем дано вкушать столь дивные наслаждения! Но, увы! слабая их сторона в их быстротечности; какое иное блаженство можно было бы им предпочесть, если бы по природе своей они были вечны? И наши утехи постигла общая участь, то есть длились они недолго и имели последствием горькие сокрушения.

Мой выигрыш был уже столь значителен, что я раздумывал, куда бы поместить часть своих денег. Прислуга наша не была в неведении относительно моих успехов, особенно мой камердинер и горничная Манон, в присутствии которых мы часто беседовали, не стесняясь. Девица была красива. Лакей мой в нее влюбился. Они имели дело с господами молодыми и беспечными, которых, воображали они, весьма легко обмануть. Они составили план и выполнили его, к несчастью, столь успешно, что поставили нас в такое положение, из которого нам так никогда и не удалось выбраться.

Однажды, после ужина у господина Леско, мы вернулись домой около полуночи. Я кликнул своего лакея, Манон — горничную; ни тот, ни другая не явились на зов. Нам доложили, что их не видели в доме с восьми часов и что они вышли, вынеся наперед несколько сундуков, якобы по моему приказу. Я сразу же заподозрил некоторую долю истины, но то, что обнаружил я, войдя в комнату, превзошло все мои опасения. Замок моего шкафа был взломан, и все деньги похищены вместе со всею одеждой. Покуда я собирался с мыслями, Манон прибежала вне себя с сообщением о таковом же грабеже в ее комнате.

Удар был столь жесток, что лишь чрезвычайным усилием воли мне удалось удержаться от криков и слез. Из боязни, как бы мое отчаяние не передалось Манон, я принял внешне спо-

койный вид. Я шутливо сказал ей, что отыграюсь на каком-нибудь простофиле в Трансильванском дворце. Между тем она показалась мне столь расстроенной нашим несчастьем, что скорбь ее гораздо сильнее удручила меня, нежели моя притворная веселость могла ее утешить. «Мы погибли»,— произнесла она со слезами на глазах. Тщетно старался я успокоить ее нежными ласками. Мои собственные слезы выдавали мое отчаяние и тоску. Действительно, мы были настолько разорены, что у нас не оставалось и рубашки.

Я решил тотчас же послать за господином Леско. Тот посоветовал мне немедленно отправиться к начальнику полиции и к главному судье Парижа. Я пошел, но к моему величайшему несчастию: ибо, помимо того, что эта попытка, равно как и все старания, предпринятые по просьбе моей обоими блюстителями правосудия, не привела ни к чему, я дал время Леско переговорить с сестрой и внушить ей за мое отсутствие ужасное решение. Он рассказал ей о господине де Г*** М***, старом сластолюбце, который платит за свои удовольствия, не жалея денег; брат представил ей столько выгод поступить к нему на содержание, что, совершенно удрученная нашим несчастием, она уступила его уговорам. Недостойная сделка была заключена до моего прихода, а исполнение отложено на завтра, дабы Леско успел предупредить господина де Г *** М ***.

Леско поджидал моего возвращения; но Манон уже улеглась в своей комнате, наказав лакею передать мне, что нуждается в отдыхе и просит не беспокоить ее эту ночь. Леско, прощаясь со мною, предложил мне несколько пистолей, которые я принял.

Было почти четыре часа, когда я лег в постель; я долго еще раздумывал, какими средствами восстановить наше благосостояние, и задремал так поздно, что проснулся лишь около одиннадцати или двенадцати часов дня. Я поскорее встал, чтобы пойти спросить о здоровье Манон; мне доложили, что она вышла час тому назад вместе с братом, который приехал за ней в наемной карете. Хотя эта прогулка с Леско показалась мне загадочной, я принудил себя отложить на время свои подозрения. Протекло несколько часов, которые я провел за книгой. Наконец, не в силах совладать с беспокойством, я стал большими шагами прохаживаться взад и вперед по комнатам. На столе в спальне Манон мне бросилось в глаза запечатанное письмо. Оно было адресовано ко мне, рука — ее. Я вскрыл его с замиранием сердца. Оно гласило:

«Клянусь тебе, дорогой мой кавалер, что ты кумир моего сердца и лишь тебя на всем свете могу я любить так, как люблю,

но не очевидно ли тебе самому, бедный мой друг, что в нашем теперешнем положении верность — глупая добродетель? Думаешь ли ты, что можно быть нежным, когда не хватает хлеба? Голод толкнул бы меня на какую-нибудь роковую ошибку; однажды я испустила бы последний вздох, думая, что то вздох любви. Я тебя обожаю по-прежнему, положись на меня, но предоставь мне на некоторое время устроение нашего благополучия. Горе тому, кто попадется в мои сети! Я задалась целью сделать моего кавалера богатым и счастливым. Брат сообщит тебе новости о твоей Манон и о том, как она огорчена, что вынуждена тебя покинуть».

Затрудняюсь описать свое состояние после прочтения этого письма, ибо и поныне не ведаю, какого рода чувствами был я тогда одержим. То были ни с чем не сравнимые муки, подобных которым никому не приходилось испытывать; их не удастся объяснить другим, потому что другие не имеют о них никакого представления, да и самому трудно в них разобраться, ибо, будучи единственными в своем роде, они не связываются ни с какими воспоминаниями и не могут быть сближены ни с одним знакомым чувством. Но, какой бы природы ни было мое состояние, достоверно одно, что в него входили чувства горя, досады, ревности и стыда. О, если бы еще в большей степени сюда не примешивалась любовь!

«Она меня любит, хочу этому верить; да ведь надо быть чудовищем, чтобы меня ненавидеть! — воскликнул я.— Существуют ли в мире такие права на чужое сердце, какими я не обладал бы по отношению к ней? Что я мог еще сделать после всего того, чем я пожертвовал для нее? И вот, она меня покидает и, неблагодарная, считает себя защищенной от моих упреков, ибо, как говорит, любит меня по-прежнему! Она страшится голода,— о, бог любви! что за грубость чувств и как это противоречит моей собственной нежности! Я не страшился голода, когда готов был подвергнуться ему ради нее, отказавшись от своего состояния и от радостей отчего дома; я, который урезáл себя до последних пределов, лишь бы удовлетворять ее малейшие прихоти и капризы! Она меня обожает, говорит она. Ежели бы ты обожала меня, неблагодарная, я знаю, к кому бы ты обратилась за советом; ты бы, по крайней мере, не покинула меня, не попрощавшись. Мне лучше всех известно, сколь жестокие страдания испытываешь, расставаясь с предметом своего обожания. Только потеряв разум, можно пойти на это добровольно». Мои жалобы были прерваны посещением, которого я не ожидал: явился Леско. «Палач! — вскричал я, хватаясь за

шпагу.— Где Манон? Что сделал ты с нею?» Мое движение испугало его; он отвечал, что, если я оказываю ему такой прием, когда он является отдать мне отчет в самой значительной услуге, какую он мог мне оказать, он тотчас же удалится и никогда нога его не переступит моего порога. Я бросился к дверям и запер их накрепко. «Не воображай,— сказал я, поворачиваясь к нему,— что тебе удастся снова оставить меня в дураках и обморочить своими баснями; защищай свою жизнь или верни мне Манон».— «Не спешите, любезнейший,— возразил он.— Ведь ради этого только я и пришел сюда. Собираюсь вам возвестить счастие, о котором вы и не помышляете, и когда-нибудь вы, быть может, признаете себя мне обязанным». Я потребовал немедленных разъяснений.

Он рассказал мне, как Манон, не в силах вынести страха перед нищетою, особенно же мысли о том, что мы должны будем сразу изменить весь уклад жизни, просила его устроить ей знакомство с господином де Г*** М***, который славится своей щедростью. Он не постеснялся мне сказать, что совет исходил от него и что он сам подготовил все пути, прежде чем проводить ее туда. «Я отвез ее к нему сегодня утром,— продолжал он,— и сей достойный человек был столь ею очарован, что тут же пригласил ее ехать с ним в его поместье, где собирается провести несколько дней. Сразу раскусив,— прибавил Леско,— какую выгоду можно отсюда извлечь для вас, я ловко дал ему понять, что Манон понесла значительные потери, и настолько затронул его щедрость, что он первым делом подарил ей двести пистолей. Я сказал ему, что для начала это недурно, но будущее сулит моей сестре большие траты; что к тому же на ней лежит забота о юном братце, оставшемся у нас на руках после смерти родителей, и что, если она достойна его уважения, он не допустит, чтобы она тосковала о бедном ребенке, чью судьбу она не отделяет от своей. Рассказ мой его растрогал. Он обязался нанять удобный дом для вас и для Манон: ведь бедный братец-сиротка — это вы сами; обещал снабдить дом приличной обстановкой и положить Манон ежемесячное содержание в четыре сотни ливров, что́ будет составлять, по моему расчету, четыре тысячи восемьсот к концу каждого года. Прежде чем уехать в деревню, он дал распоряжение своему управляющему подыскать дом и сделать все приготовления к своему возвращению. И тогда вы снова увидитесь с Манон, которая поручила мне поцеловать вас за нее тысячу раз и заверить, что она любит вас более, нежели когда-либо».

Я опустился в кресло, задумавшись о странной моей участи. Противоположные чувства обуревали меня, вследствие чего я находился в таком состоянии неуверенности, что долгое время оставлял без ответа сыпавшиеся на меня вопросы Леско. В это мгновение честь и добродетель вновь пробудили во мне голос совести, и я со вздохом оглянулся на прошлое: на Амьен, на родительский дом, на семинарию Сен-Сюльпис, на все места, где жил я непорочным. Какая бездна отделяла меня от этого блаженного бытия! Я видел его издалека, как некую смутную тень, привлекавшую еще мои сожаления и желания, но слишком слабую для того, чтобы возбудить мои усилия. «Какая роковая судьба сделала меня столь преступным? Любовь — страсть невинная; каким же образом превратилась она во мне в источник бедствия и разврата? Кто мешал мне жить спокойно и добродетельно вместе с Манон? Почему не женился я на ней, прежде чем получить залог ее любви? Разве нежно любящий меня отец не согласился бы на мои законные настояния? Ах! отец сам миловал бы прелестную девицу, вполне достойную быть женой его сына; я был бы счастлив любовью Манон, любовью отца, уважением достойных людей, благами Фортуны и покоем добродетельной жизни. О, пагубный оборот судьбы! Кто этот негодяй, которого подыскали для Манон? Как! делиться с ним?.. Но могу ли я колебаться, раз сама Манон это устроила и раз я потеряю ее, ежели не уступлю?»... «Господин Леско,— вскричал я, закрывая глаза, словно пытаясь отогнать горестные мысли,— если вы намеревались мне услужить, приношу вам благодарность; конечно, вы могли бы избрать путь почестнее; но дело сделано, не правда ли? Так подумаем же, как воспользоваться вашими стараниями и привести в исполнение ваш план».

Леско, которого смутили мой гнев и последовавшее за ним долгое молчание, пришел в восторг от моего решения, совершенно расходящегося с тем, чего он, несомненно, опасался; он вовсе не был храбрецом, впоследствии я получил тому наилучшие доказательства. «Да, да,— поспешил он мне ответить,— я оказал вам очень большую услугу, и вы увидите, что мы извлечем отсюда еще больше выгод, чем вы ожидаете». Мы стали обдумывать, каким образом предотвратить подозрения, которые может возыметь господин де Г*** М*** относительно наших родственных связей, когда окажется, что я и ростом выше, да и несколько постарше, быть может, чем он воображает. Мы не нашли лучшего способа, как принять перед ним вид деревенского простака и уверить его, что я готовлюсь к

духовному сану и с этой целью ежедневно посещаю коллеж. Решили также, что я оденусь похуже, представ впервые пред его ясные очи.

Он вернулся в город спустя два или три дня и лично проводил Манон в дом, приготовленный для нее управляющим. Она тотчас же послала уведомить Леско о своем возвращении, тот известил меня, и вдвоем мы отправились к ней. Престарелый поклонник уже ушел от нее.

Несмотря на покорность, с которой я подчинился ее желаниям, я не мог подавить ропота сердца, снова увидев ее. Я был в печали и тоске; радость свидания не могла вполне заслонить горя от ее неверности. Она, напротив, казалась в восторге от моего прихода и упрекала меня в холодности. Я же не мог удержаться, чтобы не назвать ее коварной и неверной, сопровождая слова свои тяжкими вздохами.

Сначала она подсмеивалась над моей наивностью; но, вглядываясь в мои печальные взоры и видя, с каким трудом переживаю я перемену, столь несовместную с моим характером и желаниями, она удалилась к себе; минуту спустя я последовал за нею. Я нашел ее всю в слезах, я спросил ее о причине. «Она не может быть не ясна тебе,— сказала она,— стоит ли мне жить, если вид мой более не доставляет тебе ничего, кроме страданий и горя? Ведь ты ни разу не приласкал меня в течение часа, что находишься здесь, мои же ласки ты принимаешь с величием султана в серале».

«Манон,— ответил я, обнимая ее,— не могу скрыть от вас, что сердце мое удручено смертельно. Не говорю сейчас ни о тревоге, вызванной вашим непредвиденным бегством, ни о жестокости, с коей покинули вы меня без слова утешения, проведя ночь не на одном ложе со мною: в вашем присутствии я готов позабыть и горшие обиды. Но полагаете ли вы, что я могу думать без вздохов и без рыданий,— продолжал я, проливая слезы,— о жалкой и несчастной участи, уготованной мне в этом доме? Не будем говорить о высоком происхождении моем и чувстве чести; все это доводы слишком слабые, чтобы вступать в соревнование с моей любовью; но самая любовь, неужели вы не чувствуете, как стонет она, оскорбленная и истерзанная неблагодарною и жестокою возлюбленной?..»

Она прервала меня. «Послушайте, мой кавалер,— сказала она,— бесполезно тревожить меня упреками, которые, исходя от вас, пронзают мне сердце. Вижу, что́ вас оскорбляет. Я надеялась, что вы согласитесь на мой план восстановления нашего благосостояния, и, только щадя вашу щепетильность,

я приступила к его выполнению без вашего участия; но, раз вы его не одобряете, я отказываюсь от него». Она прибавила, что просит меня только обождать до конца дня; что уже получила двести пистолей от влюбленного старика; что вечером он обещал ей принести великолепное жемчужное ожерелье и другие драгоценности, а сверх того половину обещанного ей годового содержания. «Дайте мне только время,— говорила она,— получить эти подарки; клянусь, что ему не придется хвастаться своими любовными победами, ибо я отсрочила их до возвращения в город. Правда, он миллион раз целовал мои руки; справедливость требует, чтобы он оплатил это удовольствие, и пять или шесть тысяч франков не будет чрезмерной ценой, принимая во внимание его богатство и возраст».

Ее решение было для меня гораздо отраднее, нежели надежда на пять тысяч ливров. Я понял, что еще не совсем утратил чувства чести, раз я испытываю такое удовлетворение, избавляясь от позора. Но я рожден был для кратких радостей и для долгих страданий. Фортуна спасла меня от одной пропасти лишь затем, чтобы низвергнуть в другую. Осыпав Манон нежными ласками и выразив, насколько осчастливило меня ее обещание, я сказал, что необходимо предупредить господина Леско, дабы согласовать наши действия. Сначала он поворчал; но четыре или пять тысяч ливров звонкой монетой побудили его охотно пойти навстречу нашим планам. Было решено, что все мы отужинаем вместе с господином де Г*** М***, и по двум причинам: во-первых, чтобы не лишить себя удовольствия разыграть забавную сцену со школяром, братом Манон; во-вторых, чтобы помешать старому развратнику слишком вольничать с моей возлюбленной по праву, приобретенному им столь щедрым задатком. Мы с Леско должны будем удалиться, когда он отправится в комнату, где располагает провести ночь, а Манон, вместо того чтобы последовать за ним, обещала выйти из дому и провести ночь со мною. Леско взял на себя заботы о том, чтобы карета была наготове.

Настал час ужина. Господин де Г*** М*** не заставил себя ждать. Леско с сестрой были в зале. Вместе с первым приветствием старик преподнес своей красавице жемчужное ожерелье, браслеты и серьги стоимостью по меньшей мере в тысячу экю. Вслед за ним он отсчитал чистым золотом сумму в две тысячи четыреста ливров, что составляло половину ее годового содержания. Свой подарок он приправил изрядным количеством нежностей с галантностью вельможи старого двора. Манон не могла ему отказать в нескольких поцелуях; тем приобретала

она права на деньги, которые он ей вручил. Я стоял за дверью и прислушивался, ожидая, когда Леско сделает знак мне войти.

Он явился за мной, как только Манон припрятала деньги и драгоценности; подведя меня за руку к господину де Г*** М***, он велел мне склониться пред ним. Я отвесил два-три глубочайших поклона. «Простите его, сударь, за неотесанность,— обратился к нему Леско.— Как видите, он мало знаком со столичными манерами; но мы надеемся, что немного навыка, и он образуется. Вы будете иметь честь часто видеть здесь господина де Г*** М***,— прибавил он, повернувшись ко мне,— учитесь, глядя на него».

Старого волокиту, казалось, немало позабавил мой вид. Он потрепал меня по щеке, объявив, что я хорошенький мальчик, но должен держать ухо востро в Париже, где молодежи ничего не стоит загулять. Леско стал уверять его, что я от природы столь благоразумен, что только и помышляю о том, как сделаюсь священником, а единственное мое развлечение — игра в прятки. «Я нахожу в нем сходство с Манон»,— сказал старик, беря меня за подбородок. Я отвечал с простоватым видом: «Это оттого, сударь, что мы очень близки друг с другом и я люблю сестрицу Манон, как самого себя».— «Слышите? — сказал он Леско.— Он не дурак. Жаль, что этот юнец мало видит людей».— «О! сударь,— возразил я,— у нас в церквах я достаточно их насмотрелся и уверен, что найду в Париже дураков почище меня».— «Смотрите! — прибавил он.— Ведь это восхитительно для деревенского паренька».

Вся наша беседа за ужином шла приблизительно в том же тоне. Хохотунья Манон несколько раз чуть не испортила нам все дело неуместными взрывами смеха. Я воспользовался случаем за столом рассказать старику его собственную историю и грозившую ему злую участь. Леско и Манон трепетали во время моего рассказа, особенно когда я нарисовал его портрет весьма схожим; однако самолюбие помешало ему узнать в нем себя, и я так ловко закончил рассказ, что он первый нашел его презабавным. Вы увидите далее, что не без оснований я распространился о сей веселой сцене.

Наконец пришла пора спать, и старик заговорил о своем любовном нетерпении. Мы с Леско удалились. Старика проводили в его комнату, а Манон, выйдя под каким-то предлогом, присоединилась к нам у дверей. Карета, поджидавшая нас тремя или четырьмя домами дальше, подкатила нам навстречу. Через минуту мы были уже далеко.

Хотя в моих глазах наш поступок был настоящим мошенничеством, он еще не был самым бесчестным из тех, за какие я считал нужным себя упрекать. Я больше стыдился денег, приобретенных игрою в карты. Впрочем, нам не пошло впрок ни то, ни другое, и небу угодно было более легкое из двух мошенничеств наказать более сурово.

Господин де Г*** М*** не замедлил сообразить, что его одурачили. Не знаю, предпринял ли он уже в тот вечер какие-либо шаги, чтобы нас обнаружить; но он имел достаточно связей, чтобы поиски увенчались быстрым успехом, мы же слишком беспечно полагались на многолюдность Парижа и на удаленность нашего квартала от того, где он проживал. Он не только очень скоро получил сведения о нашем местопребывании и наших обстоятельствах, но разузнал также про то, кто я таков, про мой образ жизни в Париже, про прежнюю связь Манон с Б***, про то, как она его обманула, одним словом, про все скандальные страницы нашей истории. Тогда он решил добиться нашего ареста, настаивая, чтобы нас судили не столько как уголовных преступников, сколько как отъявленных развратников. Мы были еще в постели, когда к нам в комнату вошел полицейский офицер с полдюжиной стражников. Прежде всего они отобрали наши деньги, или, вернее, деньги господина де Г*** М***, и, подняв нас с постели, вывели наружу, где уже стояли две кареты, в одну из которых была посажена без всяких объяснений бедняжка Манон, а в другой я был отвезен в исправительную тюрьму Сен-Лазар.

Лишь тот, кто сам испытал подобные превратности судьбы, может судить об отчаянии, в которое они повергают. Стражники имели жестокость не позволить мне ни обнять Манон, ни перемолвиться с ней хоть словом. Долгое время я оставался в неведении, что с ней случилось. Было, несомненно, счастием для меня, что я не сразу об этом узнал, ибо столь ужасная катастрофа лишила бы меня рассудка, а быть может, и жизни.

Несчастная моя возлюбленная была увезена на моих глазах и препровождена в такое место, само название которого приводит меня в ужас. Какова участь для очаровательного создания, достойного занять первый престол мира, если бы все люди имели мои глаза и мое сердце! С нею не обращались там по-варварски, но она была заключена в тесную одиночную камеру и осуждена выполнять ежедневную урочную работу, чтобы получать жалкую порцию отвратительной пищи. Я узнал о сей печальной подробности лишь спустя долгое время после того, как и я претерпел суровое и томительное наказание. Не подо-

зревая о месте моего будущего заключения, я узнал свою участь лишь в воротах Сен-Лазара. В ту минуту я предпочел бы смерть тому, что́ меня там ожидало. У меня были самые жуткие представления об этом доме. Мой ужас усилился, когда при входе стража вторично обыскала мои карманы, чтобы убедиться, что у меня не осталось оружия и иных средств сопротивления.

Тотчас же появился настоятель, предупрежденный о моем прибытии. Он весьма приветливо встретил меня. «Отец мой,— обратился я к нему,— я требую достойного со мной обращения; я предпочту тысячу смертей одной-единственной грубости».— «Нет, что вы, что вы, сударь,— отвечал он,— вы будете вести себя благоразумно, и мы окажемся довольны друг другом». Он пригласил меня подняться в верхнюю камеру. Я послушно последовал за ним. Солдаты сопровождали нас до самых дверей; войдя со мной в камеру, настоятель сделал им знак удалиться.

«Итак, я ваш пленник? — сказал я.— Ну, хорошо! отец мой, что же вы намереваетесь делать со мною?» Он отвечал, что радуется моему благоразумию; что на нем лежит долг внушить мне влечение к добродетели и религии, на мне же — воспользоваться его увещеваниями и советами; что, буде я пойду навстречу его заботам обо мне, я обрету в своем уединении одни лишь утехи. «Ах! утехи,— возразил я,— вы не ведаете, отец мой, единственного предмета, который может мне их доставить!» — «Знаю,— возразил он,— однако надеюсь, что склонности ваши изменятся». По его ответу я понял, что он осведомлен о моих делах, а может быть, также и о моем имени. Я попросил разъяснения. Он отвечал мне просто, что ему все уже известно.

Весть эта была самым жестоким мне наказанием. Слезы градом полились из глаз моих, и я предался ужаснейшему отчаянию. Я страдал от унижения, которое сделает меня притчей во языцех всех моих знакомых и позором моей семьи. Так провел я неделю в глубоком унынии, не в силах ничего выслушивать, ни думать ни о чем, кроме своего бесчестья. Даже воспоминание о Манон не прибавляло ничего к моей скорби; оно присоединялось к ней разве лишь как чувство, предшествовавшее сей новой горести, главной же мукой моей души были стыд и растерянность.

Немного людей знает силу глубоких душевных потрясений. Большинство человечества чувствительно лишь к пяти-шести страстям, к которым сводятся все их жизненные невзгоды. Отнимите у них любовь и ненависть, радость и печаль, надежду и страх,— никаких других чувств у них не останется. Но люди более высокого склада могут волноваться на тысячу разных ладов;

кажется, будто они наделены более чем пятью чувствами и способны вмещать мысли и чувствования, преступающие обычные границы природы; и, так как они сознают свое превосходство, возвышающее их над толпой, они ценят его больше всего на свете. Поэтому их так тяжко ранят насмешки и презрение, поэтому всего мучительнее переносят они чувство стыда.

И я обладал сим печальным преимуществом, живя в заключении в Сен-Лазаре. Печаль моя казалась настоятелю столь чрезмерной, что, опасаясь последствий, он стал проявлять больше мягкости и снисходительности в обхождении со мной, навещал меня два-три раза в день, часто брал с собой на прогулку по саду и расточал свое рвение на увещевания и спасительные советы. Я кротко их выслушивал. Я даже выразил ему свою признательность. Он уже питал надежды на мое обращение.

«Вы столь кротки и добродушны от природы,— сказал он мне однажды,— что я не могу поверить в распутство, в коем обвиняют вас. Две вещи меня изумляют: одна, как, обладая столь добрыми качествами, вы могли предаваться безудержному разврату; другая, коей дивлюсь еще более, почему внимаете вы столь охотно моим советам и наставлениям, в течение многих лет коснея в пороках. Ежели сие есть раскаяние, вы являетесь избранником небесного милосердия; ежели сие происходит от природной доброты вашей, ваш нрав содержит, во всяком случае, великолепную основу, и это внушает мне надежду, что нам не потребуется долго держать вас здесь, дабы вернуть вас к жизни достойной и порядочной».

Я был в восторге от такого отзыва обо мне. Я решил еще более задобрить его примерным поведением, чтобы уже вполне его успокоить, сообразив, что это — вернейшее средство сократить срок наказания. Я попросил у него книг. Он был поражен, что, имея свободу выбора, я ограничился несколькими серьезными научными трудами. Сделав вид, будто я всецело предался занятиям, я дал ему таким образом полное доказательство желаемой им перемены.

Между тем она оставалась только внешней. Должен признаться, к стыду своему, что в Сен-Лазаре я играл роль лицемера. Вместо занятий, оставаясь один, предавался я стенаниям о судьбе своей, проклинал мою темницу и тиранию, которая меня в ней удерживает. И не успевал я хоть ненадолго отделаться от тоски, порождаемой сознанием моего позора, как уже снова бывал охвачен муками любви. Отсутствие Манон, тревога об ее участи, боязнь никогда более не увидеться с нею были главным предметом печальных моих раздумий. Я представлял

ее в объятиях Г*** М***, ибо таково было первоначальное мое предположение; и, далекий от мысли, что он обошелся с ней так же, как со мною, я был убежден, что он устранил меня лишь с целью без помехи обладать ею.

Так проводил я дни и ночи, казавшиеся мне нескончаемыми. Я возлагал надежду лишь на успех моего лицемерия. Внимательно следил я за лицом и речами настоятеля, дабы удостовериться в его мнении обо мне, и всячески старался угодить ему, как властителю моей судьбы. От меня не могло укрыться, что я у него на лучшем счету. Я уже более не сомневался в его готовности оказать мне услугу.

Однажды я осмелился задать ему вопрос, от него ли зависит мое освобождение. Он отвечал, что не от него одного это зависит; но он надеется, что, по его докладу, господин де Г*** М***, по ходатайству коего начальник полиции отдал приказ о моем аресте, согласится вернуть мне свободу. «Могу ли льстить себя надеждой,— спросил я тихо,— что два месяца тюрьмы, которые я перенес, покажутся ему достаточным искуплением?» Он обещал поговорить с ним, если я этого желаю. Я настоятельно просил его об этой доброй услуге.

Два дня спустя он сообщил мне, что Г*** М*** столь тронут был добрым отзывом обо мне, что не только, по-видимому, вознамерился отпустить меня на свободу, но даже выразил желание ближе со мной познакомиться и предлагает навестить меня в темнице. Хотя посещение его не могло быть мне приятно, я усмотрел в нем путь к грядущему освобождению.

Он действительно явился в тюрьму Сен-Лазар. Мне показался он более степенным и не столь глупым с виду, как в доме Манон. Он сказал мне несколько здравых слов о моем дурном поведении и добавил, очевидно, желая оправдать свое собственное распутство, что человеку по слабости его разрешаются некоторые наслаждения, коих требует природа, но что мошеннические, бесчестные проделки заслуживают сурового наказания.

Я слушал его с покорным видом, чем он, казалось, был удовлетворен. Я стерпел даже брошенные им вскользь шутливые замечания о моих родственных связях с Леско и Манон и об излюбленной мною игре в прятки, игре, в которую, как он сказал, я, вероятно, поиграл в Сен-Лазаре изрядно, раз я так увлечен этим благочестивым занятием. Но, на его и на мое несчастие, у него вырвались слова о том, что Манон, вероятно, с успехом занимается тем же в Приюте. Несмотря на невольную дрожь при упоминании Приюта, я нашел еще в себе силы смиренно попросить его о разъяснении. «Да, да,— ответил он,— уже

два месяца, как она учится уму-разуму в Исправительном приюте, и я желаю ей извлечь оттуда столько же пользы, сколько вы извлекли в Сен-Лазаре».

Пусть бы грозила мне вечная тюрьма, пусть сама смерть стояла бы пред моими очами, я и тогда не мог бы овладеть своим исступлением при сей ужасающей новости. Я бросился на Г*** М*** в такой ярости, что почти совсем лишился сил. У меня хватило их все-таки, чтобы опрокинуть его на землю и схватить за горло. Я стал душить его; но в эту минуту шум падения и пронзительные его крики, которые я не мог заглушить, привлекли в мою камеру настоятеля и нескольких монахов. Его едва вырвали из моих рук.

Я встал обессиленный и еле дыша. «О, боже! — вскричал я, задыхаясь.— О небесное правосудие! могу ли я жить после такого злодейства?» Я порывался снова броситься на варвара, поразившего меня в самое сердце. Меня схватили. Мое отчаяние, крики и слезы превзошли всякое воображение. Я вел себя столь необычайно, что все присутствующие, не ведавшие причины этого, переглядывались друг с другом скорее со страхом, нежели с изумлением.

Тем временем господин де Г*** М*** привел в порядок свой парик и жабо и, взбешенный такой дерзостью, приказал настоятелю заточить меня в самую тесную темницу и подвергнуть всем наказаниям, какие только применяются в Сен-Лазаре. «Нет, сударь,— возразил ему настоятель,— с лицами такого происхождения, как кавалер, мы так не поступаем. Притом он ведет себя столь кротко, столь достойно, что я понять не могу, как мог он позволить себе такую выходку без достаточных к тому поводов». Этот ответ довершил гнев господина де Г*** М***. Он вышел, говоря, что найдет управу и на настоятеля, и на меня, и на всех тех, кто посмеет ему сопротивляться.

Приказав монахам проводить его, настоятель остался наедине со мною. Он заклинал меня поскорее объяснить, чем вызвано бесчинство. «Ах, отец мой! — воскликнул я, продолжая рыдать, как дитя.— Представьте себе самую ужасную жестокость, вообразите себе самое отвратительное варварство — таков поступок, который гнусный Г*** М*** имел подлость совершить. О! он пронзил мне сердце! Я никогда не приду в себя! Я все вам расскажу,— прибавил я, рыдая.— Вы добрый человек, вы сжалитесь надо мной». Я вкратце изложил ему повесть о моей долгой и непреодолимой страсти к Манон; о счастливой нашей жизни до той поры, как были мы ограблены слугами; о предложениях Г*** М*** моей возлюбленной; о сделке их

и о том, каким образом она была расторгнута. Я представил ему все обстоятельства с наиболее выгодной для нас стороны. «Вот,— продолжал я,— из какого источника проистекает стремление господина де Г*** М*** обратить меня на путь истины. Он добился моего ареста, чтобы отомстить. Прощаю это ему; но, отец мой, это не все: он жестоко похитил у меня драгоценнейшую половину меня самого; он добился позорного заключения ее в Приют; он имел бесстыдство возвестить мне это сегодня своими собственными устами. В Приют, отец мой! О небо! мою очаровательную возлюбленную, мою милую царицу в Приют, как самое презренное из всех созданий! Где обрету я достаточно силы, чтобы не умереть от горя и стыда?»

Добрый отец, видя меня в такой тоске, стал утешать меня. Он сообщил мне, что никогда не рисовал себе моей истории в том свете, как я рассказал ее; он знал, что я жил распутно; но представлял себе, что участие господина де Г*** М*** вызвано дружескими связями его с моей семьей; только так он и объяснял себе все; а то, что я ему передал, существенно меняет мое дело, и он не сомневается, что точный отчет, который он намерен дать начальнику полиции, будет способствовать моему освобождению. Засим он спросил, почему до сих пор я не подумал известить о себе моих родных, раз они не имеют отношения к моему аресту. Я объяснил ему это боязнью опечалить отца и чувством стыда, которое я испытываю. Наконец он обещал мне тотчас же отправиться к начальнику полиции, «хотя бы для того,— прибавил он,— чтобы предупредить новые происки со стороны господина де Г*** М***, который ушел весьма разгневанный и при своей влиятельности не может не внушать опасений».

Я дожидался прихода настоятеля, волнуясь, как приговоренный к смерти, срок казни которого приближается. Невыразимо мучительно было мне воображать Манон в Приюте. Не говоря уже о позоре, я не ведал, как с ней обращаются там, а воспоминание о некоторых подробностях, какие приходилось мне слышать об этом доме ужаса, вновь и вновь приводило меня в исступленное состояние. Я столь твердо решил спасти ее какой бы то ни было ценой, любыми средствами, что не задумался бы поджечь тюрьму Сен-Лазар, если невозможно было бы выбраться оттуда иным способом.

Я стал размышлять, что предпринять мне в случае, если начальник полиции продлит мое заключение. Я пустил в ход всю свою изобретательность; продумал все возможности. Я не нашел ничего, что̀ бы могло мне обеспечить верный побег, и

боялся навлечь на себя еще бо́льшие строгости в случае неудачной попытки. Я припоминал имена друзей, на помощь которых мог надеяться; но как известить их? Наконец в голове у меня как будто сложился план, суливший успех, и я отсрочил более тщательное над ним размышление до прихода настоятеля, если неудача сделает то необходимым.

Он не замедлил вернуться; я не увидел на его лице признаков радости, сопутствующих доброй вести. «Я переговорил с начальником полиции,— сказал он,— но переговорил с ним слишком поздно. Господин де Г*** М*** отправился прямо к нему, выйдя отсюда, и так настроил его против вас, что он уже изготовил приказ о еще более строгом вашем заточении».

«Однако же, когда я сообщил ему все обстоятельства вашего дела, он, видимо, несколько смягчился; и, посмеявшись слегка над невоздержанностью престарелого господина де Г*** М***, сказал, что ради него следует оставить вас здесь на полгода, тем паче, по его словам, что здешнее пребывание, несомненно, пойдет вам на пользу. Он предложил мне обходиться с вами достойным образом, и ручаюсь, что не подам вам повода для жалоб».

Рассказ добрейшего настоятеля длился достаточно долго, чтобы у меня было время все хорошенько обдумать. Я понял, что все мои планы рушатся, если я выкажу слишком большую жажду свободы. Поэтому я заверил его, напротив, что, при необходимости остаться здесь, для меня будет сладостным утешением заслужить право на его уважение. Затем я непринужденно попросил его о небольшой милости, которая весьма успокоила бы меня, а именно, попросил уведомить одного из моих друзей, благочестивого священнослужителя из семинарии Сен-Сюльпис, что я нахожусь в Сен-Лазаре, и дозволить мне изредка принимать его у себя. Милость сия была мне оказана беспрекословно.

Я разумел друга моего Тибержа: не то чтобы я возлагал надежды на его прямую помощь, но я хотел воспользоваться им, как неким косвенным орудием неведомо для него самого. В двух словах мой проект был таков: я думал написать Леско и просить его и наших общих друзей позаботиться о моем освобождении. Главной трудностью было доставить ему письмо; это должен был сделать Тиберж. Вместе с тем, так как Тиберж знал его как брата моей возлюбленной, я опасался, что он откажется от такого поручения. Я имел в виду вложить письмо к Леско в другое письмо, адресованное одному достойному моему знакомому, которого попросил бы спешно доставить первое по указанному адресу; а так как мне необходимо было увидеться с Леско,

чтобы столковаться с ним о наших действиях, я хотел ему посоветовать явиться ко мне в Сен-Лазар под именем моего старшего брата, нарочно приехавшего в Париж узнать о положении моих дел. Вместе с ним я собирался обдумать наиболее быстрые и верные средства осуществить побег. Отец настоятель оповестил Тибержа о моем желании побеседовать с ним. Этот верный друг не настолько потерял меня из виду, чтобы не знать о моих невзгодах, он был осведомлен, что я нахожусь в Сен-Лазаре, и, быть может, не был слишком огорчен этой бедою, полагая, что она наконец обратит меня на путь истинный. Он немедленно явился ко мне в камеру.

Наша беседа была полна дружбы и любви. Он выразил желание услышать о моих намерениях. Я открыл ему все свое сердце, утаив только намерение бежать. «Перед вами я не хочу притворяться,— сказал я.— Если вы ожидали найти здесь друга благоразумного и раскаявшегося, развратника, обращенного небесной карою, одним словом, сердце, освободившееся от пут любви и чар Манон, вы судили слишком благосклонно обо мне. Вы видите меня таким же, каким оставили четыре месяца назад: все столь же любящего и все столь же несчастного от роковой любви, в которой я по-прежнему вижу все свое счастье».

Он отвечал, что такое признание делает меня недостойным прощения; что много есть грешников, кои в опьянении лживым блаженством порока открыто предпочитают его блаженству добродетели, но что они влекутся, по крайней мере, к воображаемому блаженству и обманываются призрачным счастием; однако признавать, как я, что предмет моего влечения может сделать меня только преступным и несчастным, и продолжать добровольно стремиться к несчастию и преступлению есть противоречие в мыслях и поступках, которое не делает чести моему разуму.

«Тиберж,— возразил я,— легко побеждать вам, когда ничто не противопоставлено вашему оружию! Однако выслушайте и мои доводы. Можете ли вы утверждать, что так называемое блаженство добродетели свободно от страданий, невзгод и волнений? Как назовете вы тюрьму, крест, казни и жестокость тиранов? Скажете ли вы, вместе с мистиками, что мучения телесные — блаженство для души? Вы не дерзнете так говорить; это — недоказуемый парадокс. Итак, блаженство, прославляемое вами, смешано с множеством страданий; или, выражаясь точнее, оно лишь бездна всяческих горестей, сквозь которую человек стремится к счастию. Если же сила воображения по-

могает находить удовольствие в самих бедах, потому что они могут вести к желанному счастливому концу, почему же, когда речь идет о моем поведении, вы рассматриваете подобное же умонастроение как противоречивое и безрассудное? Я люблю Манон; я стремлюсь через множество страданий к жизни счастливой и спокойной подле нее. Горестен путь, которым я иду, но надежда достигнуть желаемой цели смягчает его трудности, и я сочту себя с избытком вознагражденным одним мгновением, проведенным с Манон, за все печали, испытанные ради нее. Итак, все обстоятельства с вашей и с моей стороны представляются мне одинаковыми; или, если уж есть какая-либо разница, то к моему преимуществу, ибо блаженство, на которое я надеюсь, близко, а ваше — удалено; мое блаженство той же природы, что и страдания, то есть понятно земному человеку; природа же вашего неизвестна, и принимать его можно только на веру».

Тиберж, казалось, был испуган таким рассуждением. Отступив на два шага, он строго заметил, что слова мои не только оскорбляют здравый смысл, но представляются жалким софизмом, нечестивым и безбожным: «ибо,— присовокупил он,— сие сопоставление цели ваших страданий с тою целью, которую указывает религия, является одной из самых вольнодумных и чудовищных идей».

«Признаю,— согласился я,— что идея неправильна; но имейте в виду, не в ней суть моего рассуждения. Моим намерением было разъяснить вам то, что вы рассматриваете как противоречие: постоянство в любви злосчастной; и, полагаю, мне удалось доказать вам, что, если здесь и есть противоречие, вы равным образом от него не спасетесь. Лишь в этом смысле я делал свои сопоставления и продолжаю на них настаивать.

Вы возразите, что цель добродетели бесконечно выше цели любви? Кто отрицает это? Но разве в этом суть? Ведь речь идет о той силе, с которой как добродетель, так и любовь могут переносить страдания! Давайте судить по результатам: отступники от сурового долга добродетели встречаются на каждом шагу, но сколь мало найдете вы отступников от любви!

Вы возразите далее, что, ежели существуют трудности на пути добродетели, они не неминуемы и не неизбежны; что ныне уже не бывает ни тиранов, ни распятий на кресте, и можно наблюдать множество людей добродетельных, ведущих жизнь тихую и спокойную? Отвечу вам также, что встречается и любовь мирная и благополучная; и укажу еще на одно различие, говорящее явно в мою пользу, именно что любовь, хотя и обма-

нывает весьма часто, обещает, по крайней мере, утехи и радости, тогда как религия сулит лишь молитвы и печальные размышления.

Не тревожьтесь,— прибавил я, видя, что, при всем его участии ко мне, он готов огорчиться,— единственный вывод, который я хочу сделать, заключается в том, что нет худшего способа отвратить сердце от любви, как пытаться разуверить его в ее радостях и сулить большее счастие от упражнений в добродетели. Мы, люди, так сотворены, что счастье наше состоит в наслаждении, это неоспоримо; вам не удастся доказать противное: человеку не требуется долгих размышлений для того, чтобы познать, что из всех наслаждений самые сладостные суть наслаждения любви. Он не замедлит обнаружить, что его морочат, суля какие-то иные, более привлекательные радости, и сей обман внушает ему недоверие к самым твердым обещаниям.

Вы, проповедники, желающие привести меня к добродетели, уверяете, что она совершенно необходима; но не скрывайте от меня, что она сурова и трудна. Вы можете доказать с полной убедительностью, что радости любви преходящи, что они запретны, что они повлекут за собой вечные муки, наконец,— и это, быть может, произведет на меня еще большее впечатление,— что чем сладостнее и очаровательнее они, тем великолепнее будет небесное воздаяние за столь великую жертву; но признайте, что, пока в нас бьется сердце, наше совершеннейшее блаженство находится здесь, на земле».

Последние слова моей речи вернули Тибержу хорошее настроение. Он согласился, что мысли мои не так уж неразумны. Он привел единственное возражение, задав мне вопрос, почему же я не последую своим собственным принципам, пожертвовав недостойной любовью в надежде на ту награду, о коей у меня сложилась столь великая идея. «Дорогой друг! — отвечал я.— Тут-то и признаю я свою слабость и ничтожество. Увы! да, долг мой поступать так, как я разумею; но в моей ли власти мои поступки? Может ли кто оказать мне помощь, чтобы забыть очарование Манон?» — «Бог да простит мне! — сказал Тиберж.— Я, кажется, слышу речи одного из наших янсенистов».— «Не ведаю, кто я такой,— возразил я,— и не вижу ясно, кем должен быть; но достаточно ощущаю истинность того, что говорят они».

Наша беседа послужила, по крайней мере, к тому, что оживила сострадание ко мне моего друга. Он понял, что в моей распущенности более слабости, нежели злой воли. И в дальнейшем он проявил больше дружеского расположения оказать мне помощь, без которой я погиб бы окончательно. В то же время я

не открыл ему своего намерения бежать из Сен-Лазара. Я попросил его только передать мое письмо по назначению. Я изготовил письмо еще до его прихода и, приведя множество доводов, вручил конверт Тибержу. Он точно выполнил мое поручение, и к концу дня Леско получил письмо, ему адресованное.

Он явился ко мне на следующий день и благополучно был допущен под именем моего брата. Радость моя была беспредельна при виде его. Дверь камеры я тщательно запер. «Не будем терять ни минуты,— сказал я,— сначала расскажите мне все, что вы знаете о Манон, а затем посоветуйте, как мне разбить мои оковы». Он уверил меня, что не видел сестры со дня моего заключения, что о ее, как и моей, участи узнал он только после тщательных разысканий, что несколько раз он являлся в Приют, но ему отказывали в свидании с нею. «Презренный Г*** М***! — вскричал я.— Дорого ты мне за это заплатишь!»

«Что касается вашего освобождения,— продолжал Леско,— то предприятие это труднее, чем вы полагаете. Вчерашний вечер мы с двумя приятелями тщательно осмотрели все наружные стены здания и пришли к заключению, что, раз ваши окна, как вы писали, выходят на внутренний двор, вас не легко будет вытащить отсюда. Кроме того, камера находится на четвертом этаже, а мы не можем доставить сюда ни веревок, ни лестниц. Итак, я не вижу никаких средств освобождения извне. Необходимо изобрести что-нибудь внутри самого здания».

«Нет,— возразил я,— я все уже обследовал, особенно с тех пор, как надзор за мной немного ослабили благодаря снисходительности настоятеля. Дверь моей камеры более не запирается на ключ: мне разрешено свободно разгуливать по монашеским коридорам; но все лестницы упираются в толстые двери, крепконакрепко замкнутые денно и нощно; таким образом, при всей моей ловкости немыслимо, чтобы я мог спастись своими силами».

«Постойте,— продолжал я, задумавшись над внезапно блеснувшей мне идеей,— могли бы вы принести мне сюда пистолет?» — «Сколько угодно,— сказал Леско,— но разве вы хотите убить кого-нибудь?» Я уверил его, что убийство нимало не входит в мои намерения и нет даже необходимости, чтобы пистолет был заряжен. «Принесите мне его завтра,— прибавил я,— и ждите меня в одиннадцать часов вечера против ворот тюрьмы с двумя-тремя друзьями. Надеюсь, что сумею присоединиться к вам». Он тщетно добивался от меня разъяснений. Я сказал ему, что предприятие, какое я задумал, не может показаться разум-

ным, прежде нежели оно удастся. Затем я попросил его сократить свой визит, дабы ему легче было увидеться со мною на следующий день. Он был допущен ко мне так же просто, как и в первый раз. Благодаря степенному его виду все принимали его за человека достойного.

Как только я вооружился орудием моей свободы, я почти уже не сомневался в успехе. Мой план был странен и дерзок; но на что только не был я способен, одушевляемый надеждой на спасение? С тех пор как мне разрешено было выходить из камеры и прогуливаться по коридорам, я заметил, что привратник каждый вечер относит ключи от ворот настоятелю; вслед за тем все расходятся по своим покоям и в здании воцаряется глубокая тишина. Я мог беспрепятственно пройти по коридору, ведущему от моей камеры к комнате настоятеля. Решение мое состояло в том, чтобы отобрать у него ключи, запугав его пистолетом, ежели он откажется мне их дать добровольно, и при их помощи выбраться на улицу. Я с нетерпением дожидался урочного времени. В обычный час, то есть вскоре после девяти, появился привратник. Я выждал еще час, дабы удостовериться, что все монахи и служители заснули. Наконец, я выступил со своим оружием и с зажженною свечой в руках. Сначала я тихо постучал в дверь настоятеля, чтобы разбудить его, не поднимая лишнего шума. При втором ударе он услышал меня и, вероятно вообразив, что стучит кто-нибудь из монахов, заболевших и нуждающихся в помощи, встал, чтобы отворить. Тем не менее он предусмотрительно спросил через дверь, кто там и что нужно. Мне пришлось назвать себя; но я придал голосу жалобный тон, притворившись, будто мне нехорошо. «А, это вы, сын мой,— сказал он, отворяя дверь.— Что привело вас сюда в такой поздний час?» Я вошел в комнату и, отведя его подальше от двери, объявил, что больше мне нет возможности оставаться в Сен-Лазаре, что ночь — время удобное, чтобы уйти незамеченным, и я ожидаю от его дружеского ко мне расположения, что он согласится либо отпереть мне двери, либо вручить мне ключи, дабы я отпер их сам.

Такое заявление не могло не удивить его. Несколько времени смотрел он на меня, не отвечая; так как каждая минута была дорога, я снова обратился к нему, говоря, что чрезвычайно тронут его добротой, но что свобода — драгоценнейшее из всех благ на свете, особенно для меня, который был лишен ее несправедливо, и я решил добыть ее себе этой ночью, чего бы мне это ни стоило; опасаясь, как бы он не возвысил голос, зовя на помощь, я показал ему оружие, спрятанное у меня под камзолом, как

убедительный повод к молчанию. «Пистолет! — произнес он.— Как! сын мой, вы хотите лишить меня жизни в знак признательности за все мое внимание к вам?» — «Да не допустит этого господь,— отвечал я.— Вы достаточно благоразумны и не доведете меня до крайности; но я хочу свободы, и решение мое столь непоколебимо, что если мой план не осуществится по вашей вине, то пеняйте на себя».— «Но, дорогой мой сын,— возразил он, бледный и напуганный,— что я вам сделал, какие основания у вас желать моей смерти?» — «Да нет же! — отвечал я нетерпеливо,— у меня нет намерения убивать вас; хотите жить — отоприте мне двери, и я — лучший из ваших друзей». Я увидел ключи на столе; я взял их и попросил его следовать за мною, производя как можно меньше шума.

Он вынужден был подчиниться. По мере того как мы подвигались и он отмыкал одну дверь за другой, он повторял, сокрушаясь: «Сын мой, сын мой! Кто бы мог поверить?» — «Тише, отец мой»,— твердил я ежеминутно. Наконец мы дошли до решетки перед воротами на улицу. Я уже считал себя на свободе и стоял позади настоятеля со свечой в одной руке и пистолетом в другой.

Пока он старался отомкнуть замок, один из служителей, спавший в соседней каморке, услышав шум, поднялся и высунул голову в дверь. Добрый отец, очевидно понадеявшись, что тот сможет меня задержать, имел неосторожность призвать его на помощь. Здоровенный малый бросился на меня, не колеблясь. Я не церемонился с ним; выстрел мой пришелся ему в самую грудь. «Вот чему вы послужили причиною, отец мой,— с некоторой гордостью сказал я своему вожатому.— Но да не послужит вам это помехой»,— прибавил я, подталкивая его к последней двери. Он не посмел отказать и отпер ее. Я благополучно выбрался и нашел Леско с двумя приятелями, поджидавших меня в четырех шагах, как он обещал.

Мы двинулись в путь. Леско спросил меня, не померещился ли ему звук выстрела из пистолета. «Ваша вина,— сказал я,— зачем принесли вы мне его заряженным?» Все же я поблагодарил его за такую предусмотрительность, иначе я, несомненно, надолго бы остался в тюрьме. Ночевать мы отправились к трактирщику, и там я немного восстановил свои силы после скверной тюремной пищи. Однако меня не радовало мое спасение. Я смертельно страдал за Манон. «Необходимо ее освободить,— говорил я своим друзьям.— Я жаждал свободы только ради этого. Жду помощи от вашей ловкости; что до меня, то я готов пожертвовать и жизнью».

Леско, у которого не было недостатка ни в уме, ни в осмотрительности, заметил мне, что надо действовать осторожно; мой побег из Сен-Лазара и злополучный выстрел при выходе вызовут неизбежный переполох; начальник полиции распорядится о моей поимке, а руки у него длинные; наконец, если я не хочу подвергнуться чему-либо худшему, чем в Сен-Лазаре, мне следует на несколько дней скрыться и просидеть взаперти, пока не уймется первый пыл моих врагов. Совет был благоразумен, но надо было и самому быть благоразумным, чтобы ему последовать. Такая медлительность и осторожность не согласовывались с моей страстью. Я мог лишь обещать, что просплю весь следующий день. Он запер меня у себя в комнате, и там я остался до вечера.

Часть этого времени я составлял всевозможные проекты и изобретал средства освобождения Манон. Я был совершенно убежден, что стены ее темницы еще непроницаемее, чем моей. О применении силы не могло быть и речи: нужна была хитрость. Но сама богиня изобретательности не знала бы, с какого конца начать. Мне ничего не приходило в голову, и я отложил обдумывание своих действий до тех пор, пока не соберу сведений о внутреннем распорядке Приюта.

Как только ночь вернула мне свободу, я попросил Леско сопровождать меня туда. Мы завели разговор с одним из привратников, показавшимся нам человеком смышленым. Я прикинулся иностранцем, слышавшим восторженные отзывы о Приюте и порядках его. Расспросил о малейших подробностях, и, слово за слово, мы добрались до начальствующих лиц; я просил сообщить мне их имена, а также дать их характеристики. Ответы его по последнему пункту зародили во мне идею, которой я сейчас же увлекся и не замедлил приступить к ее исполнению. Я спросил его, как о предмете весьма для меня важном, есть ли дети у его начальников? Он отвечал, что не может мне дать точного отчета, но что касается господина де Т***, одного из главных лиц, то у него есть совершеннолетний сын, который несколько раз бывал в Приюте вместе с отцом. Этого было мне достаточно.

Я почти тотчас же прервал беседу и, вернувшись домой, поделился с Леско новым своим планом. «Я представляю себе,— сказал я,— что господина де Т*** сына, богатого и хорошей семьи, должно тянуть, как большинство молодежи его возраста, к известного рода удовольствиям. Он не может быть ни врагом женщин, ни таким чудаком, чтобы отвергать их услуги в любовных делах. У меня сложился план заинтересовать его в свободе

Манон. Ежели он честный человек и не лишен чувства, он окажет нам помощь из благородного побуждения. Ежели он не способен руководствоваться таким мотивом, то, по крайней мере, он что-нибудь да сделает ради милой девицы, хотя бы в надежде на свою долю в ее ласках. Не хочу откладывать свидания с ним далее, чем до завтра,— прибавил я.— Меня так привлекает мой новый план, что я вижу в этом доброе предзнаменование».

Леско и сам согласился, что в моих идеях много правдоподобного и есть основание надеяться на некоторый успех на этом пути. Я провел ночь уже не так безутешно.

Когда настало утро, я оделся как мог опрятнее при моей тогдашней бедности и в наемной карете подъехал к дому господина де Т***. Он был немало удивлен визиту незнакомца. Мои предсказания оправдались в отношении его физиономии и обхождения. Я объяснился с ним напрямик и, дабы воспламенить его естественные чувства, рассказал о своей неодолимой страсти, которая может быть оправдана лишь редкими достоинствами моей возлюбленной. Он мне сказал, что, хотя и никогда не видал Манон, ему приходилось слышать о ней, по крайней мере, если это та самая, что была любовницей старого Г*** М***. Я не сомневался, что он осведомлен об участии, какое я принимал в этом приключении, и, дабы завоевать еще больше его доверие, рассказал ему все подробности нашей истории с Манон. «Вы видите,— продолжал я,— что счастье моей жизни и моего сердца — в ваших руках. Одно для меня не дороже, чем другое. Говорю столь откровенно с вами, потому что мне сообщили о вашем благородстве, а сверх того сходство наших возрастов подает мне надежду и на сходство наших наклонностей».

Казалось, он был очень тронут таким знаком откровенности и чистосердечия. Его ответ был ответом человека светского, но обладающего чувствами; последнее не всегда дается светом, зато нередко там утрачивается. Он заявил, что считает мое посещение за честь для себя, что мою дружбу рассматривает как одно из самых удачных приобретений и постарается заслужить ее горячей готовностью оказать мне услугу. Он не обещал возвратить мне Манон, потому что, по его словам, влияние, каким он пользуется, невелико и он не может на него вполне рассчитывать; но предложил доставить мне удовольствие увидеться с ней и сделать все, что в его силах, чтобы вернуть ее в мои объятия. Этой неуверенностью его в своем влиянии я был более удовлетворен, нежели если бы он сразу выразил

полную готовность исполнить все мои желания. В умеренности его предложений я видел знак его чистосердечия и был очарован. Словом, я преисполнился надежды на его искреннюю помощь. Одно обещание устроить мне встречу с Манон побудило бы меня все сделать для него. Выражения, в каких я высказал ему свои чувства, убедили его в искренности моей натуры. Мы нежно обняли друг друга и стали друзьями без всяких других оснований, кроме доброты наших сердец и естественного расположения, которое сближает двух отзывчивых и благородных людей.

Знаки его уважения ко мне простерлись гораздо дальше; ибо, приняв во внимание мои невзгоды и рассудив, что по выходе из Сен-Лазара я должен испытывать нужду, он предложил мне свой кошелек, настаивая, чтобы я его принял. Я отказался наотрез, заявив ему: «Вы слишком милостивы, дорогой мой друг. Если благодаря вашей дружбе и доброте я увижусь с моей бесценной Манон, я буду на всю жизнь вам обязан. Если же вы навсегда вернете мне это дорогое создание, я буду чувствовать себя должником вашим, даже пролив за вас всю мою кровь».

Расставаясь, мы условились о времени и месте нашего следующего свидания; он был так мил, что предложил мне встретиться в тот же день пополудни.

Я подождал его в кофейной, куда он явился около четырех часов, и мы вместе направились в Приют. Колени тряслись у меня, когда я шел по двору. «О бог любви! — говорил я.— Итак, я увижу кумир моего сердца, предмет стольких слез и волнений! О небеса! сохраните только мне силы, чтобы дойти до нее, а там предоставляю вам мою судьбу и жизнь; я не прошу ни о какой иной милости».

Господин де Т *** поговорил с двумя-тремя привратниками, которые наперебой старались услужить ему. Он просил показать нам коридор, куда выходит камера Манон, и служитель повел нас туда, неся в руках ужасающей величины ключ от ее двери. Я спросил у сторожа, которому был поручен уход за Манон, как проводит она время в Приюте. Он стал говорить об ее ангельской кротости: о том, что ни разу не слышал от нее ни одного резкого слова; что первые полтора месяца своего заключения она не переставала плакать; но спустя несколько времени, казалось, стала с бóльшим терпением переносить свое несчастие и теперь с утра до вечера занимается шитьем, за исключением нескольких часов в день, которые она посвящает чтению. Я задал еще вопрос, опрятно ли ее содержат. Он уверил меня, что все необходимое ей предоставлено.

Мы подошли к двери ее камеры. Сердце мое билось изо всех сил. Я сказал господину де Т***: «Войдите один и предупредите ее о моем посещении, ибо я боюсь, что она будет слишком потрясена, если увидит меня внезапно». Дверь отворилась. Я оставался в коридоре. Тем не менее я слышал их разговор. Он сказал, что принес ей утешение, что он принадлежит к числу моих друзей и принимает в нас большое участие. С живейшим нетерпением она спросила его, не принес ли он вестей обо мне. Он обещал, что я, столь нежный и преданный, как только она может желать, скоро буду у ее ног. «Когда же?» — спросила она. «Сегодня,— отвечал он,— счастливое мгновение не замедлит; он появится сию же минуту, если вы пожелаете». Она поняла, что я за дверью. Я вошел, и она порывисто бросилась ко мне навстречу. Мы кинулись друг другу в объятия в страстном порыве, очарование которого знают любовники, испытавшие трехмесячную разлуку. Наши вздохи, наши прерывистые восклицания, тысячи любовных имен, томно повторяемых той и другой стороною в течение четверти часа, умилили господина де Т***. «Завидую вам,— обратился он ко мне, приглашая нас сесть,— нет такой славной участи, какой я бы не предпочел столь красивую и страстную возлюбленную».— «Вот почему и я презрел бы все царства мира,— ответил я,— за одно счастие быть любимым ею».

Вся остальная, столь желанная наша беседа была проникнута бесконечной нежностью. Бедная Манон рассказала мне свои злоключения, я поведал ей о своих. Мы горько плакали, беседуя об ее горестном положении и о темнице, из которой я только что вышел. Господин де Т*** утешал нас новыми горячими обещаниями сделать все, чтобы положить конец нашим бедам. Он посоветовал нам не затягивать слишком долго этого первого свидания, дабы облегчить ему возможность устроить дальнейшие наши встречи. Немалых трудов стоило ему убедить нас в этом. Манон в особенности никак не могла решиться отпустить меня. Вновь и вновь усаживала она меня; удерживала меня за платье, за руки. «Горе мне! в каком месте оставляете вы меня? — говорила она.— Кто поручится мне, что я опять увижу вас?» Господин де Т*** дал ей обещание часто посещать ее вместе со мною. «Что же касается до этого места,— прибавил он любезно,— отныне оно уже не должно именоваться Приютом; это — Версаль, с тех пор как в нем заключена особа, достойная воцариться во всех сердцах».

Выходя, я вручил прислуживавшему ей сторожу некоторую мзду в поощрение его забот о ней. Малый этот обладал душой

менее низкой и менее черствой, нежели ему подобные. Он был свидетелем нашего свидания. Нежное зрелище растрогало его. Золотой, полученный им от меня, окончательно расположил его в мою пользу. Спускаясь по лестнице, он поманил меня в сторону и сказал: «Сударь, ежели вам угодно взять меня на службу или достойно вознаградить за потерю здешнего места, думаю, что я легко мог бы освободить мадемуазель Манон».

Я насторожился при этом предложении; и, хотя был лишен всего своего достояния, наобещал ему с три короба. Я рассчитывал, что мне всегда удастся отблагодарить человека такого десятка. «Будь уверен, мой друг,— сказал я ему,— что нет ничего, чего бы я не сделал для тебя, и что твое благосостояние столь же обеспечено, сколь и мое». Я пожелал узнать, в чем состоит его план. «Он очень простой,— отвечал он.— Я отопру вечером дверь ее камеры и провожу ее до самых ворот, где вы должны уже стоять наготове». Я спросил, нет ли опасности, что ее опознает какой-нибудь встречный в коридорах или на дворе. Он согласился, что некоторая опасность есть; но, по его словам, без риска тут не обойдешься.

Хотя я пришел в восторг от его решимости, но почел нужным подозвать господина де Т***, чтобы сообщить ему этот проект и единственное обстоятельство, делавшее его сомнительным. Он нашел для него более препятствий, нежели я. Правда, он согласился, что Манон могла бы бежать таким способом. «Но если ее узнают,— продолжал он,— и если она будет задержана, то, вероятно, уже навсегда. С другой стороны, вам пришлось бы, не теряя ни минуты, покинуть Париж, ибо вам никогда не укрыться от поисков, которые будут удвоены как из-за вас, так и из-за нее. Одному человеку легко ускользнуть; но почти невозможно не быть обнаруженным, живя вместе с красивой женщиной».

Сколь основательным ни казалось его рассуждение, оно не могло во мне пересилить сладостной надежды на близкое освобождение Манон. Я высказал это господину де Т***, прося его простить моей любви немного неосторожности и безрассудства. Я прибавил, что намерением моим было действительно покинуть Париж, чтобы поселиться, как и прежде, в одной из окрестных деревень. Итак, мы сговорились со служителем не откладывать нашего предприятия долее, чем на следующий день; а чтобы вернее достигнуть успеха и облегчить наш выход наружу, решили захватить мужское платье. Было не столь просто принести его с собой, но у меня хватило изобретательности. Я только попросил господина де Т*** облачиться в два легких камзола, а заботы обо всем остальном взял на себя.

На другое утро мы вернулись в Приют. Я имел при себе для Манон белье, чулки и прочее, а поверх полукафтанья надел сюртук, достаточно широкий, чтобы скрыть содержимое моих карманов. Мы пробыли в ее камере не более минуты. Господин де Т *** оставил ей один из своих камзолов; я дал ей свое полукафтанье, мне самому было достаточно сюртука. Все оказалось налицо в ее костюме, за исключением панталон, которые я, к несчастью, забыл.

Оплошность наша в отношении столь необходимого предмета, конечно, только рассмешила бы нас, если бы мы не находились в столь затруднительном положении. Я был в отчаянии, что такая безделица может нас задержать. И тут я решился выйти без панталон, предоставив их моей подруге. Сюртук у меня был длинный, и, с помощью нескольких булавок, я привел себя в достаточно приличный вид, чтобы пройти через ворота.

Остаток дня мне показался нестерпимо долгим. Наконец ночь наступила, и мы подъехали в карете к Приюту, остановившись немного поодаль от ворот. Нам недолго пришлось ждать появления Манон с ее провожатым. Дверцы были отворены, и оба они сейчас же сели в карету. Я принял в объятия мою дорогую возлюбленную; она дрожала как лист. Кучер спросил меня, куда ехать. «Поезжай на край света,— воскликнул я,— и вези куда-нибудь, где меня никто не разлучит с Манон».

Порыв, которого я не в силах был сдержать, чуть было не навлек на меня новой неприятности. Кучер призадумался над моей речью, и, когда я назвал ему улицу, куда мы должны были ехать, он объявил, что боится, как бы не втравили его в скверную историю, что он догадался, что красивый малый, именуемый Манон,— девица, похищенная мною из Приюта, и что он вовсе не расположен попасть из-за меня в беду.

Щепетильность этого негодяя объяснялась просто желанием сорвать лишнее за карету. Мы находились еще слишком близко от Приюта, чтобы вступать с ним в пререкания. «Молчи только,— сказал я ему,— и заработаешь золотой». После этого он охотно помог бы мне хоть спалить весь Приют.

Мы подъехали к дому, где проживал Леско. Так как было уже поздно, господин де Т *** покинул нас по дороге, обещая навестить на другой день. Приютский служитель остался с нами.

Я так тесно сжал Манон в своих объятиях, что мы занимали только одно место в карете. Она плакала от радости, и я чувствовал, как слезы ее текут по моему лицу.

Но, когда мы выходили из кареты у дома Леско, у меня с кучером возникло новое недоразумение, последствия коего оказались роковыми. Я раскаивался в своем обещании дать ему золотой не только потому, что подарок был чрезмерен, но и по другому, более вескому основанию: мне нечем было расплатиться. Я послал за Леско. Когда он появился, я шепнул ему на ухо, в каком я нахожусь затруднении. Будучи нрава грубого и не имея привычки церемониться с извозчиками, он заявил, что это просто издевательство. «Золотой? — вскричал он.— Двадцать палок этому негодяю!» Тщетно я успокаивал его, ставя на вид, что он нас погубит. Он вырвал у меня трость с явным намерением поколотить кучера. Тот, не раз, видно, испытавший на себе руку гвардейца или мушкетера и насмерть перепуганный, укатил, крича, что я его надул, но что он мне еще покажет. Напрасно я призывал его остановиться. Бегство его меня крайне встревожило; я ничуть не сомневался, что он донесет в полицию. «Вы губите меня,— сказал я Леско,— у вас я не буду в безопасности; нам надо немедленно удалиться». Я подал руку Манон, приглашая ее идти, и мы поспешно покинули опасную улицу. Леско последовал за нами.

Удивительны и неисповедимы пути провидения. Не прошли мы и пяти-шести минут, как какой-то встречный, лица которого я не разглядел, узнал Леско. Несомненно, он рыскал возле его дома со злосчастными намерениями, которые и привел в исполнение. «Ага, вот и Леско,— крикнул он и выстрелил в него из пистолета,— ему придется поужинать сегодня с ангелами». В тот же миг он скрылся. Леско упал без всяких признаков жизни. Я торопил Манон бежать, ибо помощь наша была бесполезна для трупа, а я опасался, что нас задержит ночной дозор, который вот-вот мог явиться. Я бросился с ней и со слугою в первый боковой переулок; Манон так была расстроена, что еле держалась на ногах. Наконец, на углу переулка я увидел извозчика. Мы прыгнули в карету, но, когда кучер спросил, куда ехать, я не знал, что ему отвечать. У меня не было ни надежного убежища, ни верного друга, к которому я решился бы прибегнуть; я был без денег, с каким-нибудь полупистолем в кармане. Страх и усталость настолько обессилили Манон, что она склонилась ко мне почти без сознания. С другой стороны, воображение мое было потрясено убийством Леско, и я все еще опасался ночного патруля. Что предпринять? К счастью, я вспомнил о постоялом дворе в Шайо, где провели мы с Манон несколько дней, подыскивая себе жилище в этой деревушке. Там мог я надеяться прожить несколько времени не только в

безопасности, но и в кредит. «Вези нас в Шайо!» — сказал я кучеру. Новое затруднение; он отказался ехать туда ночью меньше чем за пистоль. Наконец мы сошлись на шести франках; этим исчерпывалось содержимое моего кошелька.

По пути я утешал Манон, но в глубине души и сам предавался отчаянию. Я бы покончил с собой, если бы не держал в объятиях единственное сокровище, привязывавшее меня к жизни. Одна лишь эта мысль вернула мне самообладание. «Во всяком случае, Манон со мною,— думал я,— она любит меня, она принадлежит мне. Пускай Тиберж говорит, что ему угодно; это не призрак счастья. Погибай хоть вся вселенная, я останусь безучастным. Почему? Потому что у меня нет привязанности ни к чему остальному». Я действительно так чувствовал; в то же время, придавая столь мало значения благам земным, я сознавал, что мне надобно обладать хотя бы небольшой их долей, чтобы с гордым презрением отнестись ко всему остальному. Любовь могущественнее всяческого изобилия, могущественнее сокровищ и богатств; но она нуждается в их поддержке, и нет ничего горестнее для тонко чувствующего любовника, как попасть в невольную зависимость от грубости людей низких.

Было одиннадцать часов, когда мы прибыли в Шайо. На постоялом дворе нас встретили как старых знакомых. Мужское платье Манон не возбудило удивления, потому что в Париже и окрестностях привыкли ко всяким женским переодеваниям. Я распорядился, чтобы ее окружили самым заботливым уходом, делая вид, будто не стесняюсь в средствах. Она не подозревала о моем полном безденежье, а я остерегался намекать ей на это, приняв решение завтра же вернуться одному в Париж, чтобы отыскать какое-нибудь лекарство от сей докучливой болезни.

За ужином показалась она мне бледной и похудевшей. Я не заметил этого в Приюте, потому что в камере, где я видел ее, было темновато. Я спросил, не от того ли это, что ее напугало убийство брата, совершенное у нее на глазах. Она уверила меня, что, хотя она и расстроена этим происшествием, бледность ее происходит от того, что в течение трех месяцев она тосковала в разлуке со мной. «Значит, ты так любишь меня?» — проговорил я. «В тысячу раз более, нежели могу выразить»,— отвечала она. «И ты меня никогда теперь не покинешь?» — прибавил я. «Никогда»,— воскликнула она и заверение свое скрепила такими ласками и клятвами, что мне казалось действительно немыслимым, чтобы когда-нибудь она могла их забыть. Я всегда

верил в ее искренность: какой смысл был ей доводить притворство до такой степени? Но еще более она была ветрена, или, скорее, безвольна и сама себя не помнила, когда, видя перед собою женщин, живущих в роскоши, сама пребывала в нищете и нужде. Мне вскоре предстояло получить этому последнее доказательство, которое превзошло все прочие и повлекло самое невероятное приключение, какое только могло случиться с человеком моего происхождения и состояния.

Зная ее с этой стороны, я поспешил на следующий день в Париж. Смерть ее брата и необходимость запастись бельем и одеждой для нее и для себя были столь очевидным к тому поводом, что я мог и не выдумывать предлогов. Я вышел с постоялого двора с намерением, как сказал я Манон и хозяину, взять наемную карету; но это было пустое хвастовство. Нужда заставила меня идти пешком, и я быстро зашагал по направлению к Кур-ля-Рэн, где намеревался передохнуть. Я должен был хоть на минуту остаться один, чтобы спокойно обдумать, что же предпринять мне в Париже.

Я присел на траву. Я погрузился в размышления, которые мало-помалу свелись к трем главным вопросам. Мне необходимо было немедленно добыть средства, чтобы удовлетворить бесчисленное количество неотложных нужд. Мне необходимо было найти пути, сулящие, по крайней мере, надежды на будущее, и, что было не менее важно, необходимо было собрать сведения и принять меры предосторожности ради нашей с Манон безопасности. Исчерпав все планы и комбинации по этим трем статьям, я счел за благо пренебречь двумя последними. Мы были бы достаточно надежно скрыты в какой-нибудь комнате, снятой в Шайо, а относительно будущих наших нужд, полагал я, еще найдется время подумать, когда будут удовлетворены теперешние.

Итак, вопрос состоял в том, как в данное время пополнить мой кошелек. Господин де Т*** великодушно предлагал мне свой, однако я испытывал крайнее отвращение от одной только мысли самому напомнить ему об этом. Кто решится пойти рассказать о своей нищете чужому человеку и просить его поделиться с тобой своим достатком? Только подлая душа способна на это по своей низости, не дающей чувствовать постыдность такого поступка, или же смиренный христианин по избытку великодушия, который возвышает его над чувством стыда. Я не был ни подлецом, ни добрым христианином — я бы пожертвовал полжизни, лишь бы избежать такого унижения. «Тиберж,— сказал я себе,— добрый мой Тиберж, откажет ли он мне в чем-

либо, коли у него есть хоть малейшая возможность? Нет, он будет тронут моей нищетой, но он уморит меня своими нравоучениями; придется претерпеть его упреки, увещания, угрозы; он продаст мне так дорого свою помощь, что я скорее пожертвую своей кровью, чем подвергнусь горестному испытанию, которое смутит мне душу новыми угрызениями совести. Хорошо! — продолжал я рассуждать.— Надо, следовательно, отказаться от всякой надежды, раз мне не остается никакой иной дороги и раз обе они так мне претят, что я охотнее пролил бы половину своей крови, нежели ступил бы на одну из них, то есть предпочел бы пролить всю свою кровь, нежели пойти по обоим путям. Да, всю мою кровь,— прибавил я после минутного раздумья,— конечно, я отдал бы ее охотнее, чем согласился бы прибегнуть к унизительным мольбам. Но разве дело идет о моей крови! Дело идет о жизни и о существовании Манон, о ее любви, о ее верности. Что положу я на другую чашу весов? Доныне ничто другое не имело для меня цены. Она заменяет мне славу, счастие, богатство. Есть, несомненно, много вещей, ради которых я пожертвовал бы жизнью, чтобы получить их или чтобы избежать; но почитать какую-либо вещь дороже своей жизни — еще не значит почитать ее столь высоко, как я почитаю Манон». Я недолго колебался после сего рассуждения и возобновил путь, решив сначала идти к Тибержу, а от него к господину де Т***.

Войдя в Париж, я взял извозчика, хотя и не имел возможности расплатиться с ним; я рассчитывал на помощь, о которой шел просить. Я велел везти себя к Люксембургскому саду, откуда послал сказать Тибержу, что жду его. Он явился скорее, чем я мог ожидать. Без всяких околичностей я поведал ему о своей крайней нужде. Он спросил, хватит ли мне тех ста пистолей, что я ему вернул, и, без единого возражения, тотчас же отправился раздобыть их для меня с той открытой и сердечной готовностью, какая свойственна только любви и истинной дружбе. Хотя я нимало не сомневался в успехе моей просьбы, я не ожидал, что это обойдется так дешево, то есть без всякого с его стороны выговора за мою нераскаянность. Однако я ошибался, думая, что избавился от его упреков, ибо, после того как он отсчитал мне деньги и я уже собирался проститься с ним, он попросил меня пройтись с ним по аллее. Я ничего не сказал ему о Манон; он не знал, что она на свободе, посему его наставления коснулись только безрассудного моего бегства из Сен-Лазара и опасения, как бы вместо того, чтобы воспользоваться уроками благоразумия, преподанными мне там, я не вступил снова на путь разврата. Он сообщил мне, как, отправившись

навестить меня в тюрьме на другой день после моего бегства, он поражен был выше всякой меры, узнав, каким образом я вышел оттуда; как он беседовал об этом с настоятелем; как добрый отец все еще не мог оправиться от ужаса; как тем не менее он скрыл великодушно от начальника полиции обстоятельства моего исчезновения и постарался, чтобы смерть привратника не стала известной в городе; итак, по его словам, все складывалось для меня благополучно; но, ежели во мне осталась хоть малейшая крупица благоразумия, я должен воспользоваться счастливым оборотом дела, даруемым мне небом; я должен прежде всего написать отцу и восстановить добрые с ним отношения; и, коль я последую хоть раз его советам, он полагает, что мне следует покинуть Париж и возвратиться в лоно семьи.

Я выслушал его речь до конца. Многое в ней успокоило меня. Во-первых, я был в восторге, что могу ничего не опасаться со стороны Сен-Лазара. Парижские улицы становились для меня свободной страной. Во-вторых, я радовался, что Тиберж ничего не знает об освобождении Манон и о возвращении ее ко мне. Я заметил даже, что он избегает говорить о ней, явно думая, что она меньше занимает мое сердце, раз я так спокоен в отношении ее. Я решил если не возвратиться в семью, то, во всяком случае, написать отцу, как мне советовал Тиберж, и засвидетельствовать ему, что я готов исполнить свой долг и покориться его воле. Я надеялся выпросить у него денег под предлогом занятий в Академии, ибо мне трудно было бы его убедить, что я расположен вернуться в духовное сословие; да, в сущности, я был совсем не так далек от того, что собирался обещать ему. Напротив, мне даже улыбалось найти себе занятие достойное и разумное, лишь бы оно не препятствовало моей любви. Я рассчитывал жить с моей возлюбленной и в то же время заниматься в Академии. Это было вполне совместимо. Я настолько был успокоен всеми этими мыслями, что обещал Тибержу в тот же день отослать письмо отцу. И, расставшись с ним, я, действительно, зашел в почтовую контору и написал столь нежное и смиренное письмо, что, перечитывая его, льстил себя надеждой, что хоть немного смягчу родительское сердце.

Хотя, расставаясь с Тибержем, я был уже в состоянии нанять и оплатить извозчика, я доставил себе удовольствие гордо пройтись пешком к господину де Т***. Мне хотелось вкусить сладость свободы, уверенность в которой вселил в меня мой друг, рассеяв все мои страхи. Но вдруг мне пришло в голову, что его слова касались только тюрьмы Сен-Лазара, а на мне ведь тяготело еще и похищение из Приюта, не считая смерти

«Манон Леско»
Ж.-Ж. Паскье и Ю. Гравело

Леско, в которой я был замешан по меньшей мере как свидетель. Мысль эта так меня испугала, что я скрылся в первую же аллею и оттуда крикнул карету. Я направился прямо к господину де Т***, который посмеялся над моими опасениями. Они и мне самому показались смешны, когда он сообщил, что ни насчет Приюта, ни насчет Леско мне нечего бояться. Он рассказал, что, опасаясь, как бы не заподозрили его участия в похищении Манон, он наутро отправился в Приют и выразил желание ее видеть, притворившись, будто ничего не знает о происшедшем; там отнюдь не подозревали ни его, ни меня, а напротив, поспешили рассказать ему эту новость как странное происшествие, удивляясь, что такая красавица, как Манон, решила бежать со служителем; господин де Т*** ограничился сухим замечанием, что ничему не удивляется и что ради свободы можно пойти на все. Он продолжал свой рассказ: оттуда он направился к Леско, надеясь застать меня и мою очаровательную возлюбленную; хозяин дома, каретник, заявил, что не видел ни ее, ни меня, но нет ничего удивительного, что мы не появлялись у Леско, потому что до нас, несомненно, дошла весть о его убийстве, случившемся приблизительно в то же самое время. Он не отказался сообщить и то, что знал о причине и обстоятельствах его смерти. За два часа перед тем один из гвардейцев, приятелей Леско, зашел к нему и предложил сыграть в карты. Леско так быстро обобрал его, что не прошло и часа, как тот оказался без ста экю, то есть с пустым карманом.

Несчастный, оставшись без гроша, попросил Леско одолжить ему половину проигранной суммы, и возникшая по этому поводу размолвка перешла в жесточайшую ссору. Леско отказался выйти на улицу для поединка, а тот пригрозил, уходя, проломить ему голову, что и исполнил в тот же вечер. Господин де Т*** имел любезность добавить, что он весьма беспокоился о нас, и вновь предложил мне свои услуги. Я не задумался открыть ему место нашего убежища. Он просил разрешения с нами отужинать.

Мне оставалось только купить белья и платьев для Манон, и я сказал ему, что мы можем ехать хоть сейчас, если он соблаговолит задержаться со мной на минуту у нескольких продавцов. Не знаю, подумал ли он, что, делая ему это предложение, я имею в виду воспользоваться его щедростью, или же то было просто порывом великодушия, но только, согласившись тотчас же ехать, он проводил меня к торговцам, бывшим поставщиками его дома; он предложил мне выбрать разных

тканей, ценою превосходивших мои предположения, когда же я собирался заплатить, наотрез запретил купцам брать с меня хоть одно су. Эту любезность он оказал мне с такой благородной непосредственностью, что я мог не стыдясь воспользоваться ею. Мы вместе отправились в Шайо, куда я прибыл менее обеспокоенный, чем уходил оттуда.

Больше часа потратил кавалер де Грие на свой рассказ, и я попросил его немного отдохнуть и отужинать с нами. Наше внимание показало ему, что слушали мы его с интересом и удовольствием. Он уверял нас, что в дальнейшем мы найдем его историю еще более занимательной, и, когда мы поужинали, продолжал в следующих выражениях.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Мое присутствие и любезности господина де Т*** рассеяли последние остатки грусти Манон. «Забудем минувшие страдания, душа моя,— сказал я, вернувшись к ней,— и наша жизнь пойдет счастливее прежнего. В конце концов, Амур — добрый властелин; Фортуна не в силах причинить столько огорчений, сколько радостей он дает нам вкусить». Ужин озарен был подлинным весельем.

С моей Манон и с сотней пистолей в кармане я чувствовал себя более гордым и довольным, чем самый богатый парижский откупщик среди накопленных им сокровищ: богатства надлежит исчислять средствами, какими располагаешь для удовлетворения своих желаний; а у меня не оставалось ни одного не исполненного желания. Даже будущность наша мало меня смущала. Я был почти уверен, что отец не откажет снабдить меня достаточными средствами для безбедной жизни в Париже, ибо к двадцати годам я вступил в права наследования своей доли материнского состояния. Я не скрывал от Манон, что мой наличный капитал ограничивается сотней пистолей. Этого было достаточно, чтобы спокойно ожидать лучшего будущего, которое не должно было миновать меня, будь то по праву моего рождения либо благодаря удачам в игре.

Итак, в течение первых недель я не думал ни о чем, кроме наслаждений; чувство чести, равно как некоторая осторожность в отношении полиции, заставляли меня со дня на день откладывать возобновление связей с Сообществом игроков Трансильванского дворца, и я ограничился игрой в нескольких собраниях, не бывших на таком дурном счету, а милости судьбы

избавили меня от необходимости прибегнуть к унизительному плутовству. Я проводил в городе часть послеобеденного времени и возвращался к ужину в Шайо, нередко в сопровождении господина де Т***, дружба которого к нам крепла день ото дня. Манон нашла себе средство от скуки. Она познакомилась с несколькими молодыми дамами, которые весной поселились по соседству с нами. Прогулки чередовались с разными затеями, свойственными женскому полу. Играя по маленькой, они оплачивали выигрышами стоимость кареты. Они совершали поездки в Булонский лес, чтобы подышать свежим воздухом, и, возвращаясь вечером, я заставал Манон красивою, довольною, страстною, как никогда.

И все-таки тучи омрачили горизонт моего счастья. Правда, они вскоре начисто рассеялись, и шаловливый нрав Манон сделал развязку столь забавною, что и поныне услаждаюсь я воспоминанием о ее нежности и прелести ее души.

Единственный слуга, составлявший всю нашу челядь, отвел меня однажды в сторону и, смущаясь, сказал, что должен сообщить мне важную тайну. Я ободрил его, вызывая на откровенность. После некоторого предисловия он дал мне понять, что некий знатный чужеземец, по-видимому, весьма увлекся мадемуазель Манон. От волнения вся кровь во мне закипела. «Увлечена ли и она им?» — перебил я его с большей порывистостью, нежели позволяло благоразумие. Моя горячность испугала его.

Обеспокоенный, он отвечал, что сведения его не идут так далеко; но, наблюдая в течение нескольких дней, что чужеземец этот неуклонно является в Булонский лес, там выходит из своей кареты и, уединяясь в боковые аллеи, явно ищет случая увидеть или встретиться с мадемуазель Манон, решил он завязать знакомство с его слугами, дабы выведать имя их господина; слуги титулуют его итальянским князем и сами подозревают тут любовное приключение; других сведений, прибавил он, дрожа, ему добыть не удалось, потому что князь, появившись в это время из лесу, развязно подошел к нему и спросил о его имени. Затем, точно догадавшись, что он наш слуга, князь поздравил его с самой очаровательной хозяйкой на свете.

Я с нетерпением ожидал продолжения рассказа. Но он оробел и замолк, а я приписал это своей невольной горячности. Напрасно я убеждал его говорить дальше и без утайки. Он заявил, что ничего больше не знает, и, так как то, о чем сообщил он мне, произошло всего лишь накануне, он не имел вре-

мени повидать еще раз слуг князя. Я поощрил его не только похвалами, но и щедрой наградой и, не обнаруживая ни малейшего недоверия к Манон, более спокойным тоном наказал ему следить за каждым шагом чужеземца.

Испуг его, в сущности, посеял во мне жестокие сомнения. Под влиянием страха он мог утаить долю истины. Однако, поразмыслив, я несколько успокоился и даже пожалел, что поддался слабости. Не мог же я обвинить Манон в том, что в нее кто-то влюбился.

Было очевидно, что она оставалась в неведении своей победы; да и во что превратилась бы моя жизнь, если бы я так легко поддавался чувству ревности?

На другой день я вернулся в Париж с единственным намерением, начав большую игру, ускорить свое обогащение, чтобы быть в состоянии покинуть Шайо при первом же поводе к тревоге.

В тот вечер я не узнал ничего такого, что бы могло нарушить мой покой. Чужеземец опять появлялся в Булонском лесу и на правах знакомства, завязанного накануне с моим слугой, стал говорить о любви своей, однако в таких выражениях, которые не указывали ни на какую взаимность со стороны Манон. Он выспрашивал у него множество подробностей. Наконец сделал попытку подкупить его щедрыми посулами и, вынув приготовленное заранее письмо, тщетно предлагал ему несколько золотых, ежели он возьмется передать его своей госпоже.

Прошло два дня без всяких других происшествий. На третий тучи сгустились. Вернувшись домой довольно поздно, я узнал, что Манон во время прогулки ненадолго отошла в сторону от своих приятельниц и, когда чужеземец, следовавший за ней на небольшом расстоянии, приблизился к ней по ее знаку, она вручила ему письмо, которое он принял с восторгом. Свое восхищение он успел выразить только тем, что нежно поцеловал письмо, так как Манон тотчас же скрылась. Но весь остальной день она казалась чрезвычайно веселой, и радостное настроение не покинуло ее и после возвращения домой. Разумеется, меня охватывала дрожь при каждом слове рассказа. «Уверен ли ты,— печально спросил я слугу,— что глаза не обманули тебя?» Он призвал небо в свидетели истины своих слов.

Не ведаю, до чего довели бы меня сердечные терзания, ежели бы Манон, услышав, как я вошел, не явилась ко мне, тревожась и жалуясь на мое промедление. Не дожидаясь ответа, она осыпала меня ласками, а когда мы остались наедине,

принялась горячо упрекать меня за мои поздние возвращения, вошедшие в привычку. Так как я молчал и не прерывал ее речи, она сказала мне, что вот уже три недели, как я ни одного дня целиком не провел с нею, что она не может вынести столь долгих моих отлучек, что она просит хотя бы иногда дарить ей целый день и что начиная с завтрашнего дня она желает видеть меня около себя с утра до вечера.

«Я останусь с вами, не беспокойтесь»,— ответил я ей довольно резко. Она мало обратила внимания на мой расстроенный вид и в порыве радости, которая, правда, показалась мне чрезмерною, принялась описывать забавнейшим образом, как она провела день. «Странная девушка! — сказал я себе.— Что должен ожидать я после такого вступления?» Мне пришло на память приключение, связанное с нашей первой разлукой. А между тем и радость ее и ласки казались мне проникнутыми искренним чувством, согласовавшимся с их внешней видимостью.

Мне не трудно было приписать свою печаль, которой я не мог преодолеть, пока мы сидели за ужином, досаде на проигрыш. А то, что она сама попросила меня не уезжать из Шайо на следующий день, мне представлялось чрезвычайно благоприятным. Тем самым я выигрывал время для размышлений. Мое присутствие устраняло все опасения на ближайший день; и, если не произойдет ничего, что побудило бы меня объясниться с ней откровенно, я решил еще через день перебраться с ней в город в такой квартал, где бы я был избавлен от столкновений с какими бы то ни было князьями. Благодаря такому решению я провел ночь спокойнее, хотя оно и не избавило меня от мучительных опасений новой ее измены.

Когда я проснулся, Манон объявила мне, что она вовсе не желает, чтобы, оставаясь дома на целый день, я меньше заботился о своей наружности, и что она хочет собственноручно причесать меня. Волосы у меня были прекрасные. Не раз она доставляла себе подобное развлечение. Но тут она постаралась, как никогда. Следуя ее настояниям, я должен был усесться за туалет и выдержать все ее опыты над моею прическою. Во время работы она то и дело поворачивала меня к себе лицом и, опершись руками о мои плечи, смотрела на меня с жадным любопытством; затем, выразив свое удовлетворение двумя-тремя поцелуями, заставляла меня принимать прежнее положение, чтобы продолжать свое дело.

Баловство это заняло все время до самого обеда. Увлечение ее казалось мне столь естественным, веселость столь безыс-

кусственной, что я не мог примирить столь длительные знаки внимания ни с какими планами черной измены и несколько раз уже готов был открыть ей свое сердце и освободиться от бремени, начинавшего меня тяготить. Но всякий раз я льстил себя надеждой, что она сама пойдет на откровенность, и уже предвкушал всю сладость торжества.

Мы вернулись в ее комнату. Она стала приводить в порядок мои волосы, и я уступал всем ее прихотям, как вдруг доложили, что князь де *** желает ее видеть. Имя это привело меня в полное исступление. «Как! — вскричал я, отталкивая ее.— Кто? Какой князь?» Она не отвечала на мои вопросы. «Просите,— сказала она холодно слуге и, обратившись ко мне, продолжала чарующим голосом: — Любимый мой! Мой обожаемый, прошу тебя, минуточку будь снисходителен ко мне, минуточку, одну минуточку; я полюблю тебя в тысячу раз сильнее; всю жизнь буду тебе благодарна».

Гнев и растерянность сковали мне язык. Она возобновила свои настояния, а я не находил слов, чтобы отвергнуть их с презрением. Но, услыхав, как отворилась дверь прихожей, она одной рукой схватила меня за распущенные волосы, другой взяла небольшое зеркало, напрягла все свои силы, чтобы протащить меня в этом странном виде до дверей, и, распахнув их коленом, показала чужеземцу, которого шум заставил остановиться посреди комнаты, зрелище, немало, вероятно, его изумившее. Я увидел человека, весьма изысканно одетого, но довольно-таки невзрачного на вид.

Крайне смущенный всей этой сценой, он не преминул, однако, отвесить глубокий поклон. Манон не дала ему времени открыть рот. Она протянула ему зеркало. «Взгляните сюда,— сказала она ему,— посмотрите на себя хорошенько и отдайте мне справедливость. Вы просите моей любви. Вот человек, которого я люблю и поклялась любить всю жизнь. Сравните сами. Если вы полагаете, что можете оспаривать у него мое сердце, укажите мне к тому основания, ибо в глазах вашей покорнейшей служанки все князья Италии не стоят волоса из тех, что я держу в руке».

Во время этой странной речи, очевидно обдуманной ею заранее, я делал тщетные попытки высвободиться и, испытывая сострадание к знатному посетителю, довольно важному на вид, уже собирался искупить обходительностью нанесенное ему легкое оскорбление. Однако он быстро овладел собой, и его ответ, показавшийся мне грубоватым, изменил мои намерения. «Сударыня, сударыня,— сказал он, обращаясь к Манон с принуж-

денной улыбкой,— у меня действительно раскрылись глаза, и я вижу, что вы гораздо опытнее, нежели я воображал».

Он немедленно удалился, даже не взглянув на нее и бормоча сквозь зубы, что француженки не больше стоят, чем итальянки. Я не испытывал при этом ровно никакого желания внушить ему лучшее мнение о прекрасном поле.

Манон выпустила мои волосы, бросилась в кресло и разразилась долго не смолкавшим смехом. Не скрою, что я был растроган до глубины сердца этой жертвой, каковую мог я приписать только любви. Вместе с тем подобная выходка, казалось мне, переходила все границы. Я не мог воздержаться от упреков. Она рассказала мне, что мой соперник после того, как в течение нескольких дней преследовал ее в Булонском лесу, пылкими взглядами намекая на свои чувства, решил открыто объясниться с ней в письме, подписанном полным его именем со всеми титулами, которое передал ей при посредстве кучера, возившего ее с подругами на прогулку; что он обещал ей по ту сторону Альп несметное богатство и вечную любовь; что она возвратилась в Шайо, решив сообщить мне об этом приключении; но, рассудив, что мы можем позабавиться на его счет, не могла удержаться от соблазна; в льстивом ответном письме она пригласила итальянского князя навестить ее и доставила себе лишнее удовольствие тем, что вовлекла меня в свой план, не возбудив во мне ни малейшего подозрения. Я не проронил ни слова о тех сведениях, которые получил другим путем, и в опьянении торжествующей любви мог только одобрить все ее поступки.

В течение всей своей жизни я замечал, что небо, дабы покарать меня самыми жестокими наказаниями, всегда выбирало время, когда счастие казалось мне особенно прочным. Я чувствовал себя таким счастливым дружбою господина де Т*** и нежностью Манон, что не мог и представить себе, будто мне может грозить какая-нибудь новая напасть. А между тем судьба готовила мне еще более тяжелый удар, и это довело меня до того состояния, в каком вы видели меня в Пасси, и, шаг за шагом, до таких горестных крайностей, что вам трудно будет поверить моему правдивому повествованию.

Однажды, когда мы ужинали в обществе господина де Т***, нам послышался шум кареты, остановившейся у ворот гостиницы. Любопытство побудило нас узнать, кто мог приехать в такой поздний час. Нам доложили, что это молодой Г*** М***, то есть сын нашего злейшего врага, того старого развратника, который заточил меня в тюрьму Сен-Лазар, а Манон в Приют.

При этом имени кровь бросилась мне в лицо. «Само небо привело его ко мне, чтобы он понес наказание за низость своего отца,— сказал я господину де Т***.— Ему не уйти от меня, покуда мы не скрестим наших шпаг». Господин де Т***, знавший его и даже состоявший в числе его ближайших друзей, постарался разубедить меня. Он уверял, что это очень милый, благородный юноша, неспособный принимать участие в дурных поступках своего отца, и, если я повидаю его хотя бы одну минуту, я не смогу отказать ему в уважении и буду добиваться ответного чувства с его стороны. Прибавив еще многое в его пользу, он попросил у меня разрешения сходить за ним и пригласить отужинать с нами. Возражение об опасности, которой подвергнется Манон, если место ее пребывания будет обнаружено сыном нашего врага, он предупредил, поклявшись честью, что, познакомившись с ним, мы обретем в его лице самого ревностного защитника. После таких уверений мне оставалось только согласиться на все.

Господин де Т*** привел его, предварительно сообщив, кто мы такие. Он вошел с поклоном, и его любезные манеры действительно расположили нас в его пользу. Он обнял меня; мы уселись. Он восхищался Манон, мною, нашей обстановкой и ел с аппетитом, отдавая честь ужину.

Когда убрали со стола, разговор принял более серьезный оборот. Опустив глаза, он заговорил об обиде, нанесенной нам его отцом, и стал почтительно извиняться перед нами. «Я сокращаю свои извинения,— сказал он,— дабы не будить воспоминаний, слишком для меня постыдных». Искреннее с самого начала, его дружеское чувство в дальнейшем стало еще более искренним, ибо наша беседа не длилась и получаса, как я заметил, сколь пленяют его прелести Манон. Взгляды и манеры его становились все нежнее. В речах его, однако, не проскальзывало ничего; но, и не ревнуя, я обладал слишком большим опытом в любви, чтобы не угадать его чувств.

Он оставался в нашем обществе допоздна и, прежде чем расстаться, выразил удовольствие по поводу знакомства с нами и попросил позволения иногда посещать нас, уверяя во всегдашней готовности к услугам. Он уехал поутру в своей карете вместе с господином де Т***.

Как я сказал, я вовсе не был склонен к ревности. Более чем когда-либо я верил клятвам Манон. Прелестное создание настолько владело моей душой, что малейшее мое чувство к ней было проникнуто уважением и любовью. Отнюдь не вменяя ей в вину того, что она понравилась молодому Г*** М***, я

восхищался действием ее красоты и гордился тем, что любим девушкой, которую все находят очаровательной. Я не почел даже уместным рассказать ей о своих подозрениях. В течение нескольких дней мы были заняты заботами о нарядах Манон и обсуждением того, можем ли мы поехать в театр, не опасаясь быть узнанными. Недели не прошло, как господин де Т*** опять навестил нас; мы спросили у него совета. Он понял, что в угоду Манон должен ответить утвердительно. Мы решили ехать в театр все вместе в тот же вечер.

И, однако, этому решению не суждено было осуществиться, ибо, тут же отведя меня в сторону, господин де Т*** сказал мне: «Со времени нашего последнего свидания я нахожусь в крайнем смущении, и сегодняшний мой приезд вызван этим. Г*** М*** влюбился в вашу даму сердца; он признался мне в том. Я искренний его друг и готов во всем помогать ему; но я не меньший друг и вам. Считаю, что намерения его недостойны, и осуждаю их. Я сохранил бы его тайну, если бы он собирался применить лишь обычные средства, чтобы понравиться; но он хорошо осведомлен о нраве Манон. Он узнал откуда-то, что она любит роскошь и удовольствия, и так как он уже располагает значительным состоянием, то объявил мне, что хочет сначала соблазнить ее каким-нибудь ценным подарком и годовым содержанием в десять тысяч ливров. При равных условиях, мне, может быть, стоило бы гораздо больших усилий выдать его, но чувство справедливости и дружба к вам одержали верх, тем более что сам я опрометчиво послужил причиной его страсти, введя его в ваш дом, и потому обязан предупредить последствия зла, причиненного мною».

Я поблагодарил господина де Т*** за столь важную услугу и с такой же откровенностью признался ему со своей стороны, что характер Манон именно таков, каким представлял его себе Г*** М***, то есть что слово «бедность» для нее нестерпимо. «Однако,— сказал я,— в тех случаях, когда дело идет лишь о большем или меньшем, я не считаю ее способной покинуть меня для другого. Я в состоянии обеспечить ее всем необходимым и рассчитываю, что мои средства будут расти изо дня в день. Боюсь лишь одного,— прибавил я,— как бы Г*** М*** не повредил нам, воспользовавшись тем, что знает место нашего пребывания».

Господин де Т*** уверил меня, что в этом отношении я могу быть спокоен; что Г*** М*** способен на какую-нибудь безрассудную выходку, только не на низость; что ежели бы он имел подлость повредить нам чем-нибудь, то он, де Т***, пер-

вый наказал бы его за это и тем искупил бы свою оплошность, принесшую нам несчастие. «Почитаю себя обязанным вам за такие чувства,— ответил я,— но беда все же может случиться, а лекарство от нее весьма сомнительно. Итак, благоразумнее всего предупредить беду, покинув Шайо, чтобы поселиться где-нибудь в другом месте».— «Да,— ответил господин де Т***,— но трудно вам будет сделать это с необходимою быстротою; ибо Г*** М*** должен быть здесь в полдень; он сказал мне об этом вчера, что́ и побудило меня явиться в такой ранний час и сообщить вам о его намерениях. Он может приехать с минуты на минуту».

Такие веские доводы заставили меня взглянуть на дело серьезнее. Полагая, что избежать посещения Г*** М*** уже невозможно, равно как невозможно, конечно, помешать ему открыть свои чувства Манон, я решил сам предупредить ее о намерениях нового моего соперника. Как я полагал, раз она будет знать, что мне известны предложения, которые он собирается ей сделать, и раз она выслушает их у меня на глазах, у нее хватит силы воли отвергнуть их. Я поделился своей мыслью с господином де Т***, который ответил мне, что дело это крайне щекотливое. «Согласен,— сказал я,— но если вообще можно быть уверенным в своей любовнице, то привязанность ко мне Манон является для меня самым веским основанием подобной уверенности. Разве только самые блестящие предложения могли бы ее ослепить, но, как я уже вам сказал, корыстолюбие ей чуждо. Она любит удобства жизни, но она любит и меня; при настоящем положении дел я не поверю, чтобы она предпочла мне сына человека, который засадил ее в Прют». Словом, я остался при своем решении и, отведя в сторону Манон, откровенно ей рассказал обо всем, что только что узнал.

Поблагодарив меня за хорошее мнение о ней, она обещала так ответить на предложения Г*** М***, чтобы у него пропала охота возобновить их в другой раз. «Нет,— сказал я ей,— не нужно раздражать его излишней резкостью: он может нам навредить. Но ты и без того знаешь, плутовка,— прибавил я, смеясь,— как отделаться от докучного или неудобного поклонника». Она задумалась, потом ответила: «У меня явилась восхитительная мысль, и я в восторге от своей выдумки. Г*** М*** — сын нашего злейшего врага; надо нам отомстить отцу не на сыне, а на его кошельке. Я выслушаю его, приму его подарки и одурачу его».

«План хорош,— сказал я,— но ты позабыла, бедное дитя, что это тот самый путь, который привел нас прямо в Приют».

Напрасно я рисовал ей всю опасность подобной затеи; она заявила, что дело только в том, чтобы принять меры предосторожности, и отвела все мои возражения. Укажите мне любовника, который не уступал бы слепо всем причудам боготворимой им возлюбленной, и я признáю, что был виноват, уступив ей так легко. Решение было принято — одурачить Г*** М***, но по странной прихоти судьбы случилось так, что я сам был им одурачен.

Его карета появилась около одиннадцати часов. Он рассыпался в самых изысканных извинениях, что позволил себе приехать отобедать с нами. Он не был удивлен, застав у нас господина де Т***, который обещал ему накануне прибыть сюда же, но под предлогом разных дел не поехал с ним в одном экипаже. Хотя среди нас не было человека, который бы не таил в сердце предательства, мы сели за стол с видом полного доверия и дружбы. Г*** М*** не трудно было найти случай открыть свои чувства Манон. Чтобы не показаться ему назойливым, я нарочно отлучился из комнаты на несколько минут.

Возвратившись, я заметил, что он отнюдь не обескуражен чрезмерно суровым отказом. Он находился в самом лучшем настроении. Я принял также весьма довольный вид; он внутренне посмеивался над моей, а я над его простотой. В течение всего послеобеденного времени мы наблюдали друг за другом, забавляясь в душе. Перед его отъездом я дал ему возможность еще раз поговорить с Манон, так что он имел повод радоваться как моей любезности, так и славному угощению.

Едва он уселся в карету вместе с господином де Т***, как Манон подбежала ко мне с раскрытыми объятиями и расцеловала меня, заливаясь смехом. Она повторила мне его речи и его предложения, не утаив ни слова. Они сводились к следующему: он обожает ее, желает разделить с ней сорок тысяч ливров ренты, каковой он располагает уже теперь, не считая того, что́ получит после смерти отца. Она будет владычицей его сердца и состояния; а в залог будущих благодеяний он готов ей предоставить карету, меблированный особняк, горничную, трех лакеев и повара.

«Вот сын, превосходящий щедростью своего отца,— воскликнул я.—Поговорим начистоту,—прибавил я,—не соблазняет ли вас это предложение?» — «Меня? Ничуть!» — ответила она и, в подтверждение своих слов, продекламировала стихи Расина:

Меня! подозревать, что я столь вероломна?
Меня! я вынесу ль черты, что приведут
На память мне всегда ужасный тот Приют?

«Нет,— отвечал я, подхватывая пародию:

Я думать не хочу, что тот Приют, мадам,
Запечатлеть в душе любовь могла бы вам.

А все-таки меблированный особняк да еще с каретой и тремя лакеями — вещь соблазнительная, и у любви мало найдется таких приманок».

Она горячо возражала, что сердце ее принадлежит мне навеки и защищено от всяких любовных стрел, кроме моих. «Его обещания,— сказала она,— скорее жало мести, нежели стрела любви». Я спросил ее, намеревается ли она принять особняк и карету. Она ответила, что стремится только завладеть его деньгами.

Трудность заключалась в том, чтобы получить одно без другого. Мы решили ждать полного объяснения плана Г*** М*** в том письме, которое он обещал ей написать. Она действительно получила его на следующий день через лакея, явившегося переодетым и весьма ловко улучившего минуту поговорить с ней наедине. Она приказала ему подождать ответа и побежала ко мне с письмом. Мы вместе распечатали его.

Кроме банальных нежных фраз, оно содержало подробное изложение обещаний моего соперника. Он не скупился на расходы. Обязывался отсчитать ей десять тысяч ливров, как только она вступит во владение особняком, и всякий раз восполнять расходование этой суммы, чтобы полная ее наличность была всегда в ее распоряжении. Срок новоселья не отодвигался слишком надолго. Он просил предоставить ему только два дня на приготовления и указывал ей название улицы и особняка, где обещал ожидать ее на второй день пополудни, ежели ей удастся ускользнуть из моих рук. То был единственный пункт, который беспокоил его; во всем остальном он, казалось, был вполне уверен, однако прибавлял, что в случае если бежать от меня представится затруднительным, то он найдет средство облегчить ей побег.

Г*** М*** был хитрее своего отца. Он хотел овладеть своею добычей раньше, чем отсчитает ей деньги. Мы обсудили вопрос о том, какого поведения держаться Манон. Я попытался еще раз убедить ее выкинуть этот план из головы, представив ей все его опасности. Ничто не могло поколебать ее решения.

Она коротко ответила Г*** М***, уверив его, что для нее не представляет затруднений приехать в Париж в назначенный день и что он может спокойно ее дожидаться.

Мы тут же условились, что я немедленно поеду и сниму для нас новое помещение в какой-нибудь деревне по другую сторону Парижа и перевезу с собой наше скромное имущество; что на следующий день пополудни, точно в назначенное время, Манон отправится в Париж; получив подарки Г*** М***, она потребует, чтобы он поехал с ней в театр, и захватит с собой столько денег, сколько сможет унести на себе, а остальное передаст моему слуге, который по ее желанию должен был ее сопровождать. Это был все тот же человек, преданный нам бесконечно, который освободил ее из Приюта. Мне предстояло ждать с наемной каретой на углу улицы Сент-Андре-дез-Ар и, оставив там экипаж, около семи часов направиться в темноте к театральному подъезду. Манон обещала выдумать предлог отлучиться из ложи и воспользоваться этим мгновением, чтобы присоединиться ко мне. Остальное не представляло затруднений. Мы бы в одну минуту добежали до кареты и выехали из Парижа в Сент-Антуанское предместье, где лежал путь к нашему новому обиталищу.

План этот, как ни был он сумасброден, казался нам выполнимым. Но, в сущности, безумием было воображать, что, даже если бы он удался самым благополучным образом, мы сможем уберечься навсегда от его последствий. И все-таки мы пошли на риск с самой безрассудной беспечностью. Манон уехала с Марселем — так звали нашего слугу. Я с грустью расставался с ней. Я обнял ее, говоря: «Манон, вы не обманываете меня? Будете ли вы мне верны?» Она ласково пожурила меня за недоверие и повторила еще раз все свои клятвы.

Она рассчитывала прибыть в Париж к трем часам. Я уехал вслед за ней. Остаток дня я провел в кофейной Фере, что у моста Сен-Мишель. Там я просидел до темноты. Тогда я вышел на улицу, нанял извозчика и оставил его, как мы условились, на углу улицы Сент-Андре-дез-Ар; затем пешком дошел до театрального подъезда. Я был удивлен, нигде не видя Марселя, который должен был ждать меня. Я запасся терпением на целый час, смешавшись с толпой лакеев и высматривая всех прохожих. Наконец, когда пробило семь часов, а я так и не заметил ни единого признака, имевшего какое-либо отношение к нашему плану, я взял билет в партер, чтобы посмотреть, сидят ли в одной из лож Манон и Г*** М***. Ни того, ни другой не было. Я снова вышел наружу и прождал еще четверть часа, вне себя от нетерпения и тревоги. Никто не появлялся; я вернулся к своей карете, не зная, что̀ предпринять. Завидев меня, извозчик пошел мне навстречу и с таинственным видом сооб-

щил, что вот уже час меня ожидает в карете какая-то миловидная женщина; что она спросила обо мне, указав мои приметы, и, услышав от него, что я должен вернуться, сказала, что будет терпеливо меня дожидаться.

Я тотчас же решил, что это Манон. Но, подойдя к карете, я увидел хорошенькое личико, непохожее на нее; незнакомка первым делом спросила, имеет ли она честь говорить с кавалером де Грие. Я отвечал, что таково мое имя. «У меня есть для вас письмо, которое пояснит вам, зачем я здесь и откуда знаю ваше имя»,— сказала она. Я попросил ее дать мне срок прочесть его в соседнем кабачке. Она захотела последовать туда за мною и посоветовала занять отдельную комнату. «От кого это письмо?» — спросил я, всходя вместе с ней по лестнице. Вместо ответа, она дала мне его прочесть.

Я узнал руку Манон. Вот, приблизительно, что она писала: Г*** М*** оказал ей галантный и великолепный прием, который превзошел все ее ожидания. Он осыпал ее подарками, которым бы позавидовала королева. Тем не менее она уверяла, что не забыла меня в окружающем ее блеске; но, не добившись согласия Г*** М*** поехать с ней в тот же вечер в театр, она откладывает до другого дня удовольствие меня видеть; а чтобы утешить меня немного в том огорчении, какое, она предвидит, принесет мне эта новость, она постаралась предоставить мне одну из красивейших девиц Парижа, которая и передаст мне письмо. Подписано: «ваша верная возлюбленная Манон Леско».

Для меня в этом письме заключалось нечто столь жестокое и оскорбительное, что несколько минут я не мог прийти в себя от гнева и огорчения, но наконец решил сделать усилие над собой и забыть навек мою неблагодарную и вероломную любовницу. Я бросил взгляд на девицу, стоявшую передо мною. Она была чрезвычайно хороша собой, и я бы очень хотел, пленившись ее красотой, тоже стать вероломным и неверным; но я не находил в ней ни тех нежных и томных очей, ни той божественной стройности, ни тех красок, как бы наложенных кистью бога любви, словом, ни одной из тех неисчислимых прелестей, какими природа наделила коварную Манон. «Нет, нет,— сказал я ей, отводя взгляд,— неблагодарная, приславшая вас ко мне, слишком хорошо знает, что ваши попытки будут бесполезны. Возвратитесь к ней и передайте ей от меня: пусть она наслаждается своим преступлением, и пусть наслаждается им, если может, без укоров совести; я покидаю ее безвозвратно и отрекаюсь в то же время от всех женщин, ибо они хоть и не столь же пленительны, но, без сомнения, столь же подлы и вероломны».

В ту минуту я был готов броситься вон из комнаты и уйти совсем, отказавшись от всяких притязаний на Манон; мучительная ревность, раздиравшая мне сердце, сменилась печальным и угрюмым спокойствием, и мне тем ближе почуялось мое исцеление, что я не испытывал ни одного из тех бурных душевных движений, какие всегда волновали меня в подобных случаях. Увы, я столь же был одурачен любовью, сколь одурачен я был, как мне казалось, господином Г*** М*** и Манон.

Девица, принесшая мне письмо, видя, что я готов уже сбежать вниз по лестнице, спросила, не поручу ли я передать что-нибудь господину де Г*** М*** и его даме. Услышав сей вопрос, я возвратился в комнату и под влиянием перемены, которая покажется неправдоподобной людям, не испытавшим в жизни бурных страстей, от мнимого спокойствия я вдруг перешел к припадку дикой ярости. «Ступай,— сказал я ей,— и передай изменнику Г*** М*** и его лживой любовнице, в какое отчаяние повергло меня твое проклятое письмо; но предупреди, что недолго им придется веселиться и что я своею рукой заколю их обоих». Я бросился на стул; шляпа моя упала по одну сторону, трость — по другую. Горькие слезы потекли ручьями из глаз моих. Приступ бешенства сменился глубокой скорбью; я горько плакал, испуская стоны и вздохи. «Приблизься, дитя мое, приблизься ко мне,— вскричал я, обращаясь к девице,— ибо ты послана меня утешить. Скажи мне, ведомы ли тебе средства утешения от ярости и отчаяния, от жажды покончить с собой или убить двух предателей, кои не заслуживают прощения. Да, приблизься ко мне,— продолжал я, увидя, как она сделала несколько робких, неуверенных шагов по направлению ко мне,— приди осушить мои слезы; приди вернуть мир моему сердцу; приди и скажи, что ты меня любишь, пусть меня полюбит иное существо, кроме моей неверной. Ты красива; быть может, и я смогу полюбить тебя». Бедная девушка, на вид не старше шестнадцати — семнадцати лет, обладавшая, по-видимому, большею стыдливостью, нежели ей подобные, была крайне поражена столь странной сценой. Тем не менее она приблизилась, желая приласкать меня; но я сейчас же отстранил ее, оттолкнув обеими руками. «Чего ты хочешь от меня? — сказал я ей.— Ты женщина; твой пол я ненавижу, отныне он невыносим для меня. Нежность твоего взгляда грозит мне новым предательством. Уйди, оставь меня здесь одного». Она поклонилась, не смея произнести ни слова, и повернулась к выходу. Я закричал, требуя, чтобы она остановилась.

«Скажи же мне, по крайней мере,— продолжал я,— как, почему и зачем тебя послали сюда? Как ты узнала мое имя и место, где можешь найти меня?»

Она рассказала, что давно знает господина де Г*** М***, что он прислал за нею в пять часов лакея, который привел ее в большой особняк, где она застала Г*** М***, играющего в пикет с красивой дамой, и что они оба поручили ей передать мне это письмо, причем указали, что она найдет меня в карете в конце улицы Сент-Андре. Я спросил ее, не говорили ли они ей еще чего-нибудь. Покраснев, она пролепетала, что они внушили ей надежду на сближение со мной. «Тебя обманули, бедняжка,— сказал я ей,— тебя обманули. Ты — женщина, и тебе нужен покровитель; но тебе нужно, чтобы он был богат и счастлив, и не здесь ты найдешь такого. Вернись, вернись к господину де Г*** М***; он обладает всем необходимым для любви красоток; он может дарить меблированные особняки и кареты. Что до меня, который ничего не может предложить, кроме любви и постоянства, то женщины презирают мою нищету и забавляются моей наивностью».

Я прибавил еще много слов, то печальных, то гневных, по мере того как то одна, то другая страсть, обуревавшая меня, или ослабевала, или брала верх. Между тем мое исступление, истерзав меня, утихло настолько, что уступило место размышлению. Я стал сравнивать последнее несчастие с другими подобными, уже испытанными мною, и пришел к выводу, что не было бóльших оснований предаваться отчаянию, нежели прежде. Я достаточно знал Манон; зачем же так сокрушаться над несчастием, которое давно следовало предвидеть? Не лучше ли употребить свои силы на то, чтобы отыскать средство исцеления? Было еще не поздно. Я должен был, во всяком случае, приложить к тому все старания и впоследствии не упрекать себя в том, что своей нерадивостью способствовал собственным несчастьям. Затем я стал изыскивать средства, которые могли бы открыть мне путь к надежде.

Попытаться насильственно вырвать Манон из рук Г*** М***, значило пойти на отчаянный шаг, который бы только погубил меня и не предвещал никакого успеха. Однако мне казалось, что, если бы я мог добиться хоть самого краткого с нею разговора, я непременно отвоевал бы частицу ее сердца; я так хорошо знал все ее слабые стороны. Я так был уверен в ее любви ко мне. Даже причуда послать мне в утешение красивую девицу, бьюсь об заклад, исходила от нее и была навеяна состраданием к моему горю.

Я решил пустить в ход всю свою изобретательность, чтобы увидеть Манон. Из всех путей, что перебрал я мысленно один за другим, я остановил выбор на следующем: господин де Т*** оказал мне такую дружескую услугу при первом нашем знакомстве, что я не мог сомневаться в искреннем и горячем чувстве его ко мне. Я предполагал немедленно направиться к нему и попросить его, под предлогом важного дела, пригласить к себе Г*** М***. Мне нужно было только полчаса, чтобы поговорить с Манон. Намерение мое состояло в том, чтобы проникнуть к ней в комнату, и я полагал, что в отсутствие Г*** М*** это не представит затруднений.

Успокоенный таким решением, я щедро наградил девицу, а чтобы она не возвращалась к пославшим ее, я взял ее адрес, подав ей надежду, что проведу с нею ночь. Я сел опять в карету и приказал извозчику везти меня во всю прыть к господину де Т***. По счастью, я его застал; дорогой я очень беспокоился об этом. В двух словах я посвятил его в свои страдания и объяснил, какой услуги прошу от него.

Известие, что Г*** М*** соблазнил Манон, так поразило его, что, не зная о моем собственном участии в постигшей меня беде, он великодушно предложил собрать всех своих друзей и с оружием в руках освободить мою возлюбленную.

Я дал ему понять, что огласка, какую вызовет это предприятие, может оказаться гибельной для Манон и для меня. «Не будем проливать крови,— сказал я ему,— оставим это на крайний случай. Мне пришел в голову план, более осторожный и сулящий не меньший успех». Он выразил полную готовность сделать все, чего бы я от него ни потребовал; и, когда я повторил, что он должен только вызвать Г*** М*** для разговора и чем-нибудь занять его часа на два вне дома, он сейчас же отправился со мной, чтобы исполнить мою просьбу.

Мы стали изыскивать средство задержать его на такое долгое время. Я посоветовал прежде всего написать ему короткую записку, приглашающую его немедленно прийти в такую-то таверну по важному и совершенно неотложному делу. «Я подсмотрю,— прибавил я,— как он выйдет, и беспрепятственно проникну в дом, где меня знают лишь Манон и Марсель, мой слуга. Вы же, оставаясь все это время с Г*** М***, можете сказать ему, что то важное дело, о коем вы желаете поговорить с ним, касается денег, что вы потеряли в игре всю свою наличность и проигрались еще больше, продолжая играть на честное слово с тем же неуспехом. Чтобы пойти с вами и достать свои сбере-

жения, ему потребуется время, а этого будет достаточно для осуществления моего намерения».

Господин де Т*** исполнил все точь-в-точь, как я ему сказал. Я оставил его в таверне, где он наскоро написал письмо. Я спрятался в нескольких шагах от дома Манон, увидел, как появился посыльный с письмом и как через минуту вышел Г*** М*** в сопровождении лакея. Дав ему время скрыться из виду, я подошел к дверям моей изменницы и, несмотря на весь свой гнев, постучал с благоговением, как в двери храма. По счастию, отворил мне Марсель. Я подал ему знак молчать; хотя мне нечего было бояться прочих слуг, я шепотом спросил, может ли он провести меня незаметно в комнату, где находится Манон. Он ответил, что это ничего не стоит сделать, поднявшись осторожно по главной лестнице. «Идем же скорее,— сказал я,— и последи, покуда я там буду, чтобы никто не вошел». Я беспрепятственно проник в ее покои.

Манон была занята чтением. Тут я имел случай убедиться в изумительном нраве этой странной девушки. Ничуть не испугавшись, не обнаружив никакой робости при виде меня, она выказала лишь легкое удивление, неизбежное при неожиданном появлении человека, которого почитали отсутствующим. «Ах, это вы, любовь моя,— сказала она, обнимая меня с обычной нежностью.— Боже! какой же вы смелый! Кто бы мог ожидать вас здесь сегодня?» Я высвободился из ее объятий и, не желая отвечать на ее ласки, оттолкнул ее с презрением и отступил подальше. Мое движение привело ее в замешательство. Она замерла и смотрела на меня, изменившись в лице.

В глубине души я так был очарован, видя ее вновь, что, несмотря на столько поводов для гнева, почти не в силах был открыть рта, чтобы бранить ее. А между тем сердце мое истекало кровью от жестокого оскорбления, нанесенного ею; я живо воскресил его в памяти, дабы возбудить в себе злобу, и постарался притушить в глазах огонь любви. Покуда я продолжал молчать и она не могла не заметить моего возбуждения, я увидел, что она дрожит, вероятно, от страха.

Я не мог выдержать этого зрелища. «Ах, Манон,— сказал я ей нежно,— неверная, коварная Манон! С чего начну я свои жалобы? Я вижу, вы побледнели и дрожите, и я все еще настолько чувствителен к малейшему вашему страданию, что боюсь вас слишком удручить своими укорами. Но, поверьте, Манон, ваша измена пронзила мне сердце скорбью. Таких ударов не наносят любимому, если не желают его смерти. Ведь это третий раз, Манон; я вел им точный счет; этого забыть нельзя.

Вам надлежит спю же минуту принять то или иное решение, ибо мое бедное сердце уже не может выдержать столь жестокое испытание. Я чувствую, что оно изнемогает и готово разорваться от скорби. Я весь разбит,— прибавил я, опускаясь на стул,— я не в состоянии говорить, силы мои иссякли».

Она не отвечала; но, как только я сел, она упала на колени и склонилась ко мне головой, закрыв лицо моими руками. В тот же миг я ощутил на них ее слезы. Боги! чего я только не испытывал... «Ах, Манон, Манон,— продолжал я, вздыхая,— поздно дарить мне слезы, когда вы нанесли мне смертельный удар. Вы предаетесь притворной печали, а почувствовать ее вам не дано. Мое присутствие, которое всегда служило помехою вашим удовольствиям, без сомнения, составляет величайшее несчастие для вас. Откройте глаза, вглядитесь, каков я; столь нежных слез не проливают над несчастным, коего предали и покинули столь бесчеловечно».

Она целовала мне руки, не меняя позы. «Непостоянная Манон,— заговорил я снова,— неблагодарная и неверная женщина, где ваши обещания и ваши клятвы? Ветреная, жестокая любовница, что сделала ты со своей любовью, в которой клялась мне еще сегодня? Праведные небеса,— воскликнул я,— вот как смеется над вами вероломная, после того как столь благоговейно призывала вас в свидетели! Итак, вероломство вознаграждается. Отчаяние и одиночество — вот удел постоянства и верности».

Слова мои сопровождались столь горькими размышлениями, что слезы невольно катились из моих глаз. По изменившемуся моему голосу Манон заметила, что я плачу. Она прервала, наконец, молчание. «Да, я виновата, раз я причинила вам столько горя и волнения,— сказала она печально,— но да покарают меня небеса, если я сознавала или предвидела свою вину».

Речь ее показалась мне столь лишенной всякого здравого смысла и правдоподобия, что я не мог удержаться от сильнейшего приступа гнева. «Какое чудовищное притворство! — вскричал я.— Яснее, чем когда-либо, я вижу, что ты просто обманщица и лгунья. Теперь я знаю твой низкий характер. Прощай, подлое создание,— продолжал я, вставая,— я предпочитаю тысячу раз умереть, нежели иметь что-либо общее с тобою. Да покарают меня небеса, если отныне я удостою тебя хоть одним взглядом. Оставайся со своим новым любовником, люби его, презирай меня, забудь о чести, о благородстве; я смеюсь над вами, мне все равно».

Она пришла в такой ужас от моего исступления, что, все еще стоя на коленях у моего стула, смотрела на меня, дрожа

и не смея дышать. Я сделал несколько шагов по направлению к двери, обернувшись к ней и не сводя с нее глаз, но надо было потерять последнее человеческое чувство, чтобы устоять против такого очарования.

Мне было столь чуждо варварское бессердечие, что, перейдя внезапно к противоположной крайности, я вернулся, или, скорее, бросился к ней, позабыв обо всем. Я заключил ее в объятия, осы́пал бесчисленными нежными поцелуями, просил прощенья за мою вспыльчивость; сознался, что был груб, что не заслуживаю счастья быть любимым такою девушкой, как она.

Я усадил ее и, став перед ней на колени, заклинал выслушать меня. В немногих словах я выразил все, что только может изобрести самого почтительного, самого нежного покорный и страстный любовник. Я умолял ее, как о милости, сказать, что она прощает меня. Она уронила руки мне на плечи, говоря, что сама нуждается в моей доброте, чтобы загладить те огорчения, которые мне причинила, и что она начинает опасаться, и не без оснований, в силах ли я внять тем доводам, какие она может привести в свое оправдание. Я перебил ее тотчас же: «О, я не прошу у вас оправданий! Я одобряю все, что вы сделали. Не мне требовать отчета в вашем поведении. Я буду слишком удовлетворен, слишком счастлив, если моя дорогая Манон не лишит меня нежности своего сердца. Но,— продолжал я, раздумывая о своей участи,— всемогущая Манон, вы, по прихоти своей дающая мне радость и муки, разрешите мне, в награду за мое смирение и раскаяние, поведать вам о печали моей и тоске? Узна́ю ли я от вас, что́ ждет меня сегодня и бесповоротно ли собираетесь вы подписать мне смертный приговор, проведя ночь с моим соперником?»

Она задумалась, прежде чем мне ответить. «Мой кавалер,— сказала она, успокоившись,— если бы вы сразу заговорили так ясно, вы бы уберегли себя от многих волнений, а меня от весьма тяжелой сцены. Раз ваши муки происходят лишь от ревности, я бы их исцелила, предложив следовать за вами немедленно хоть на край света. Но я вообразила, что причиной вашего огорчения послужило письмо, которое я вам написала на глазах у господина де Г*** М***, и девица, посланная нами. Я подумала, что письмо мое вы приняли за насмешку, а увидев девицу, подосланную к вам, предположили, что я отказываюсь от вас ради Г*** М***. Вот эта мысль и привела меня в отчаяние, ибо, хотя я и не чувствую себя виновной, однако, подумав, нашла, что внешние обстоятельства не говорят в мою пользу. И все-таки,—

продолжала она,— я хочу, чтобы вы судили меня лишь после того, как я объясню вам всю правду».

Тут она рассказала мне все, что произошло после того, как она встретилась с Г*** М***, ожидавшим ее в этом особняке. Он принял ее, действительно, как самую знатную принцессу в мире; показал ей все комнаты, убранные с удивительным вкусом и тщательностью; отсчитал ей десять тысяч ливров в ее спальне и присоединил к ним несколько драгоценностей, в том числе жемчужное ожерелье и браслеты, уж раз подаренные ей его отцом; оттуда повел ее в гостиную, которой она еще не видела, где ожидало ее великолепное угощение. Прислуживали им лакеи, которых он нанял для нее, приказав им смотреть на нее впредь как на свою госпожу; наконец, показал ей карету, лошадей и все остальные подарки; после чего предложил ей партию в пикет в ожидании ужина.

«Признаюсь вам,— продолжала она,— что я была потрясена таким великолепием. Я рассудила, что было бы жаль сразу лишиться нам стольких благ, удовольствовавшись десятью тысячами ливров и драгоценностями, которые я унесу на себе, что богатство это создано для вас и для меня и мы могли бы жить в свое удовольствие на средства Г*** М***.

Вместо того, чтобы предложить ему поездку в театр, мне пришло в голову выяснить его отношение к вам, дабы предугадать, легко ли будет нам видеться в случае, если план мой удастся осуществить. Я обнаружила, что характера он очень покладистого. Он спросил, что́ я думаю о вас и жалко ли было мне вас покинуть. Я ответила, что вы были так милы со мной, так благородно всегда держались по отношению ко мне, что странно было бы вас ненавидеть. Он признал, что вы достойны всяческого уважения и что он желал бы подружиться с вами.

Ему хотелось узнать, как, по моему мнению, вы отнесетесь к моему отъезду, особенно когда узнаете, где я нахожусь. Я ответила, что начало нашей любви относится к такому давнему времени, что она успела уже немного остыть; что, с другой стороны, находясь в несколько стесненном положении, вы, может быть, даже не сочтете разлуку со мной большим несчастьем, потому что она избавляет вас от лишней обузы. Я прибавила, что, будучи совершенно убеждена в ваших мирных намерениях, я просто сказала вам, что еду в Париж по делу; что вы согласились отпустить меня и, последовав за мной, не обнаружили особенного беспокойства, узнав, что я вас покинула.

«Знай я, что он склонен жить в мире со мною,— сказал он мне,— я первый бы предложил ему свои услуги и знакомство».

Я уверила его, что, зная ваш характер, не сомневаюсь, что вы открыто пошли бы ему навстречу, особенно, добавила я, если он согласен вам помочь в ваших делах, весьма расстроенных с тех пор, как вы разошлись с семьей. Он прервал меня, заявив, что готов оказать вам всяческую помощь, зависящую от него, и если бы вы пожелали завязать новую любовную связь, готов предоставить вам хорошенькую любовницу, которую бросил ради меня.

Я приветствовала его мысль,— прибавила она,— дабы усыпить все его подозрения; и, укрепляясь все больше и больше в своем намерении, мечтала только изобрести способ вас уведомить, боясь, как бы вы не слишком встревожились, не найдя меня в назначенном месте. С этой-то целью, чтобы иметь повод написать вам, я и предложила ему направить к вам в тот же вечер новую любовницу: я была вынуждена прибегнуть к такой уловке, не имея надежды, что он хоть на минуту оставит меня одну.

Он рассмеялся над моим предложением, кликнул лакея и, спросив, может ли тот немедленно разыскать его прежнюю любовницу, послал его на поиски во все концы города. Он воображал, что ей предстоит отправиться к вам в Шайо; но я сообщила ему, что, уезжая, обещала встретиться с вами в театре, а если что-либо помешает мне быть там, вы будете меня дожидаться в карете в конце улицы Сент-Андре; поэтому лучше будет туда и послать вашу новую любовницу хотя бы для того, чтобы вы не соскучились за ночь. Я прибавила, что следовало бы написать вам два слова, дабы предупредить об этой мене, которую иначе вам будет трудно понять. Он согласился; но я была принуждена писать в его присутствии и должна была остеречься от слишком откровенных объяснений в письме.

Вот как все произошло,— продолжала Манон.— Я ничего не скрываю от вас, ни моего поведения, ни намерений. Девица явилась; я нашла ее красивой, и так как не сомневалась, что мое отсутствие причинит вам страдание, то искренне пожелала, чтобы она хоть на время сумела развлечь вас, ибо верность, которой я жду от вас, есть верность сердца. Я была бы в восторге, если бы имела возможность послать к вам Марселя; но я не могла улучить ни минуты, чтобы объяснить ему то, что должна была вам передать». Наконец, в заключение своего рассказа, она сообщила мне, в какое замешательство привела Г*** М*** записка, полученная им от господина де Т***. «Ему не хотелось расставаться со мной,— сказала она,— он уверял, что не замедлит вернуться; вот почему меня беспокоит ваше присутствие здесь и оттого я была так поражена вашим появлением».

Я терпеливо слушал ее речь. Много, конечно, было в ней жестокого и унизительного для меня; ибо намерение ее изменить мне было столь очевидно, что она даже и не пыталась его скрыть. Не могла же она надеяться, что Г*** М*** оставит ее на всю ночь одну, как весталку. Итак, она рассчитывала провести ночь с ним. Выслушивать подобное признание! Однако же я рассудил, что сам отчасти виноват, потому что сам рассказал ей о чувствах, которые питает к ней Г*** М***, и проявил такую податливость, что слепо принял участие в осуществлении безумного ее плана. С другой стороны, по присущему мне свойству характера, я был тронут простодушием ее рассказа и той откровенностью, с которой она передавала все вплоть до самых оскорбительных для меня подробностей. «Она грешит, сама того не ведая,— говорил я себе,— она легкомысленна и безрассудна, но прямодушна и искренна». Прибавьте, что одной любви моей было достаточно, чтобы закрыть глаза на все ее проступки. Меня слишком радовала надежда похитить ее в этот же вечер у моего соперника. Тем не менее я спросил с горечью: «А с кем бы вы провели эту ночь?» Этот вопрос смутил ее. Она отвечала мне лишь отрывистыми *но* и *если*.

Я сжалился над ее затруднением и, оборвав разговор, прямо объявил, что предлагаю ей последовать за мной немедленно. «Хорошо,— сказала она,— но вы, значит, не одобряете моего плана?» — «Ах, разве не довольно и того,— возразил я,— что я одобряю все, что вы сделали до сих пор?» — «Как, неужели мы не возьмем с собой даже десяти тысяч ливров? — спросила она.— Он подарил их мне; они мои». Я посоветовал ей бросить все и думать лишь о том, как бы уйти поскорее; ибо, хотя я говорил с ней едва ли полчаса, я опасался возвращения Г*** М***. Между тем она так настойчиво убеждала меня не уходить с пустыми руками, что я почувствовал себя обязанным хоть в чем-нибудь ей уступить, после того как столького добился от нее.

Пока мы готовились в путь, я услышал стук в парадную дверь. Я нисколько не сомневался, что вернулся Г*** М***, и при этой мысли в смятении объявил Манон, что, если он войдет, не быть ему в живых. Действительно, я не настолько еще овладел собой, чтобы проявить сдержанность при виде его. Марсель положил конец моим мучениям, передав мне записку, полученную им у дверей; она была от господина де Т***.

Он мне писал, что, покуда Г*** М*** отправился к себе домой за деньгами, он пользуется его отсутствием, чтобы поделиться со мною весьма забавной идеей: ему представляется, что

я не могу отмстить своему сопернику более приятным образом, чем съев его ужин и проведя ночь в той самой постели, в которую он надеялся улечься вместе с моей любовницей; сделать это кажется ему легко, если я заручусь помощью трех-четырех молодцов, достаточно решительных, чтобы задержать Г*** М*** на улице, и достаточно преданных, чтобы не выпускать его до утра; сам же он обещает занять его по меньшей мере на час разговорами, которые заготовил к его возвращению.

Я показал записку Манон и сообщил ей, к какой хитрости прибегнул, дабы свободно проникнуть к ней. Как моя выдумка, так и выдумка господина де Т*** привели ее в восторг. Несколько минут мы смеялись, не умолкая; но, заговорив с ней о последней затее как о шутке, я был поражен, что она всерьез стала настаивать на ее осуществлении. Напрасно я возражал, что нелегко так сразу найти людей, способных задержать Г*** М*** и не выпускать его до утра; она сказала, что, во всяком случае, следует попытаться, раз господин де Т*** задержит его еще на целый час, а в ответ на прочие мои возражения заявила, что я тираню ее и не желаю ни в чем доставить ей удовольствие. План этот казался ей чрезвычайно привлекательным. «Вы займете его место за ужином,— твердила она,— вы ляжете спать под его одеялом, а завтра рано утром похитите у него любовницу вместе с деньгами. Вы хорошо отомстите и отцу и сыну».

Я уступил ее настояниям, несмотря на смутные предчувствия, словно пророчившие мне роковую катастрофу. Я вышел из дому, намереваясь попросить двух-трех гвардейцев, с которыми познакомил меня Леско, взять на себя заботу о задержании Г*** М***. Я застал дома только одного из них; но тот был предприимчивый малый, который, не успев дослушать до конца, сразу поручился мне за успех; он только спросил с меня десять пистолей в оплату трех солдат-гвардейцев, которых решил привлечь к делу, став сам во главе отряда. Я просил его не терять времени. Он собрал их раньше чем за четверть часа. Я дожидался у него в комнате и, как только он вернулся с товарищами, сам довел его до угла улицы, по которой Г*** М*** непременно должен был пройти, чтобы попасть к дому Манон. Я наказал ему обращаться с ним вежливо, но стеречь его до семи часов утра столь бдительно, чтобы я мог быть спокоен, что он не ускользнет. Он ответил мне, что отведет его к себе в комнату и заставит раздеться, а то даже и улечься в постель, сам же он с тремя своими молодцами проведет ночь за выпивкой и игрою.

Я оставался с ними, покуда не увидел приближающегося Г*** М***, и тогда отступил на несколько шагов в темноту,

чтобы быть свидетелем столь необычайной сцены. Гвардеец двинулся на него с пистолетом в руке и вежливо объяснил, что не посягает ни на его жизнь, ни на деньги, если же он, не последовав за ним добровольно, окажет малейшее сопротивление или закричит, то он прострелит ему голову. Г*** М***, увидев за ним еще троих солдат и, несомненно, опасаясь заряженного пистолета, не сопротивлялся. У меня на глазах его увели как барана.

Я немедленно возвратился к Манон; и, дабы не возбуждать никаких подозрений у челяди, сказал, входя, что господина Г*** М*** можно не ждать к ужину, что он задержан неотложными делами и просил меня принести его извинения и отужинать с ней, а что касается меня, то провести вечер со столь прекрасною дамой почитаю я за великое счастье. Она отвечала весьма любезно, ловко способствуя выполнению нашего плана. Мы сели за стол, приняли чинный вид, покуда лакеи прислуживали нам. Наконец, отпустив их, провели один из самых очаровательных вечеров в нашей жизни. Украдкой я приказал Марселю нанять карету и велеть кучеру быть у подъезда в шестом часу утра. Около полуночи я сделал вид, что прощаюсь с Манон, но бесшумно вернулся при содействии Марселя и собирался занять постель Г*** М***, подобно тому как занял его место за столом.

Тем временем злая судьба готовила нам гибель. Мы предавались безумным мечтам, а меч повис над нашими головами. Нить, державшая его, готова была порваться. Однако, чтобы были понятны все обстоятельства ужасного крушения, следует пояснить его причину.

Г*** М*** шел в сопровождении лакея, когда был задержан гвардейцами. Перепуганный слуга пустился наутек и, стремясь оказать помощь своему господину, немедленно предупредил старика Г*** М*** о происшедшем.

Столь неприятная новость не могла не встревожить его в сильнейшей степени. То был его единственный сын, сам же он для своих преклонных лет отличался крайней подвижностью. Прежде всего он потребовал от лакея отчета в том, что́ сын его делал после полудня: не ссорился ли он с кем-либо, не ввязался ли в чужую ссору; не побывал ли в каком-нибудь притоне. Лакей, считая молодого хозяина в крайней опасности и решив не пренебрегать никакими средствами для оказания ему помощи, рассказал все, что знал о его любви к Манон, о расходах, которых она ему стоила, о том, каким образом он провел время у себя дома часов до девяти вечера, об его уходе и злополучном возвращении. Этого было достаточно, чтобы старик

заподозрил здесь какую-то любовную интригу. Хотя было уже не менее половины одиннадцатого, он, не колеблясь, тотчас же отправился к начальнику полиции. Он попросил его отдать особые приказания всем полицейским патрулям, а один из них предоставить в его личное распоряжение и вместе с полицейскими поспешил на ту улицу, где был задержан его сын. Он обегал все части города, где мог надеяться его отыскать, и, не напав нигде на его след, направился в особняк его любовницы, решив, что за это время он мог туда возвратиться.

Я собирался лечь в постель, когда он явился. Дверь нашей спальни была затворена, и я не слышал стука с улицы; он вошел в сопровождении двух полицейских и, после тщетных расспросов о судьбе сына, захотел повидать его любовницу, чтобы узнать хоть что-нибудь от нее. Он поднялся по лестнице, неизменно сопутствуемый полицейскими. Мы были уже готовы лечь в постель; он отворяет дверь, и при виде его кровь леденеет у нас в жилах... «О, боже, это старик Г*** М***»,— говорю я Манон. Я бросаюсь к оружию. К несчастью, шпага запуталась в портупее. Видя мое движение, полицейские подбежали, чтобы схватить меня. Человек в сорочке беззащитен; они отняли у меня все средства сопротивления.

Г*** М***, хотя и приведенный в замешательство этой сценой, не замедлил меня вспомнить. Еще легче было ему признать Манон. «Что это, обман зрения? — сурово обратился он к нам.— Не вижу ли я перед собою кавалера де Грие и Манон Леско?» Я был в таком бешенстве от стыда и горя, что не отвечал ни слова. Разнообразные мысли и воспоминания, казалось, волновали его несколько минут, и, вдруг, словно они разом воспламенили его гнев, он вскричал, обращаясь ко мне: «Негодяй, я уверен, что ты убил моего сына!» Обида задела меня за живое. «Старый мерзавец,— гордо ответил я ему,— ежели бы мне понадобилось убить кого-нибудь из твоей семьи, я бы начал с тебя».— «Держите его крепче,— крикнул он полицейским.— Пусть он расскажет, что случилось с моим сыном. Завтра же велю его повесить, если он не признается сию же минуту, что с ним сделал».— «Ты велишь меня повесить? — воскликнул я.— Это тебе, подлец, место на виселице. Знай, что кровь моя благороднее и чище твоей. Да,— прибавил я,— мне известно, что приключилось с твоим сыном; и, если ты не перестанешь меня раздражать, я велю его задушить прежде, чем наступит утро, и тебе обещаю ту же участь после него».

Я поступил опрометчиво, признавшись, что знаю, где его сын; но гнев довел меня до исступления. Он тотчас же кликнул

пять или шесть других полицейских, ждавших за дверью, и приказал не выпускать из дому никого из прислуги. «А, господин кавалер,— продолжал он насмешливо,— вы знаете, где мой сын, и велите его задушить, говорите вы? Будьте спокойны, мы примем меры». Тут я почувствовал, что совершил ошибку.

Он приблизился к Манон, которая сидела на постели вся в слезах; он сказал ей несколько иронических любезностей о ее победе над отцом и над сыном и о том, как хорошо она умеет ею пользоваться. Старый развратник уже готов был повольничать с нею. «Посмей только прикоснуться к ней! — вскричал я.— Никакие силы небесные не спасут тебя от моей руки!» Он вышел, оставив в комнате трех полицейских и приказав последить за тем, чтобы мы поскорее оделись.

Не ведаю, каковы были его намерения относительно нас. Быть может, мы и получили бы свободу, если бы сообщили ему, где находится его сын. Одеваясь, я размышлял о том, не лучше ли поступить именно так. Но, если его намерение и было таково, когда он покидал комнату, оно резко изменилось, когда он возвратился. Он пошел допросить прислугу Манон, задержанную полицейскими. Он ничего не мог добиться от слуг, недавно нанятых его сыном; но, узнав, что Марсель служил у нас раньше, он угрозами заставил его говорить.

То был преданный малый, но простой и неотесанный. Воспоминание о том, как он помог Манон бежать из Приюта, и страх, который внушал ему Г*** М***, произвели такое впечатление на его слабый рассудок, что он вообразил, будто его тут же поведут вешать или колесовать. Он обещал открыть все, что ему известно, лишь бы пощадили его жизнь. Г*** М*** догадался, что наше дело гораздо серьезнее и преступнее, нежели он предполагал до сей поры. Он предложил Марселю не только сохранить ему жизнь, но и вознаградить за чистосердечное признание.

Несчастный рассказал ему часть нашего плана, о котором мы не стеснялись говорить в его присутствии, потому что он сам должен был принять в нем некоторое участие. Правда, он ровно ничего не знал о переменах, происшедших в Париже; но при отъезде из Шайо был осведомлен о дерзком замысле и о роли, которую должен был в нем играть. Итак, он заявил Г*** М***, что мы задумали одурачить его сына, что Манон должна была получить или уже получила десять тысяч ливров, которые, в случае нашего успеха, никогда бы не вернулись к наследникам рода Г*** М***.

После такого открытия взбешенный старик сейчас же устремился опять в нашу спальню. Не говоря ни слова, он прошел в кабинет, где без труда нашел всю сумму и драгоценности. С пылающим лицом он вернулся обратно и, показывая то, что ему угодно было именовать награбленным добром, осыпал нас оскорбительными упреками. Он поднес к самым глазам Манон жемчужное ожерелье и браслеты. «Узнаёте вы их? — сказал он с насмешливой улыбкой.— Не в первый раз вам приходится их видеть. Они те же самые, честное слово. Не удивительно, что они пришлись вам по вкусу. Бедные детки,— прибавил он,— право, они оба очаровательны; только вот плутоваты немножко».

Сердце мое разрывалось от бешенства при его оскорбительных речах. За один миг свободы я бы дал... Праведное небо, чего бы только я не дал? Наконец, сделав над собой усилие, я сказал со сдержанностью, являющейся лишь утонченной формой ярости: «Покончим, сударь, с дерзкими насмешками. О чем идет речь? Что намереваетесь вы сделать с нами?» — «Речь идет о том, господин кавалер,— отвечал он,— что вы немедленно отправитесь в Шатле. Завтра, при дневном свете, мы разберемся лучше в этом деле, и надеюсь, вы сделаете милость и наконец сообщите, где мой сын».

Я постиг без труда, что заточение в Шатле грозит нам ужасными последствиями. Я с трепетом предвидел все опасности. При всей своей гордости я понял, что следовало смириться перед судьбой и польстить злейшему нашему врагу, дабы хоть чего-нибудь добиться от него покорностью. Я вежливо попросил его выслушать меня. «Не оправдываю себя, сударь,— сказал я.— Признаю, что по молодости лет я совершил великие ошибки, и вы достаточно пострадали, чтобы чувствовать себя оскорбленным; но если вам ведома сила любви, если вы в состоянии судить о том, что́ испытывает несчастный юноша, у которого похищают все, что привязывает его к жизни, вы, быть может, извините мою попытку отомстить вашему сыну безобидной проделкой или, по меньшей мере, сочтете меня достаточно наказанным моим позором. Нет надобности ни в тюрьме, ни в пытках, чтобы принудить меня открыть, где ваш сын. Он в безопасности. Я не имел намерения ни повредить ему, ни нанести вам оскорбление. Я готов назвать вам место, где он спокойно проводит ночь, если вы окажете нам милость и отпустите нас обоих на свободу».

Старый тигр, ничуть не тронутый моими мольбами, со смехом повернулся ко мне спиной. Он процедил сквозь зубы, что наши намерения были ему известны с самого начала. Что же

касается сына, грубо прибавил он, то раз я его не убил, рано или поздно он и сам отыщется. «Отвезите их в Малый Шатле,— сказал он полицейским,— и смотрите хорошенько, как бы кавалер не удрал по дороге; он хитер и уже раз сбежал из Сен-Лазара».

Он вышел, оставив меня, можете себе представить, в каком замешательстве. «О, небо,— воскликнул я,— приму с покорностью все твои удары; но то, что презренный негодяй имеет власть так деспотически распоряжаться мною, приводит меня в крайнее отчаяние». Полицейские торопили нас. У подъезда уже ждала карета. Спускаясь по лестнице, я подал Манон руку. «Пойдем, дорогая моя королева,— сказал я ей,— пойдем и покоримся суровой участи нашей. Быть может, небесам благоугодно будет даровать нам дни более счастливые».

Мы уехали в одной карете. Она приникла ко мне, я ее обнял. Она не проронила ни слова с момента появления Г*** М***, но, оставшись наедине со мною, она принялась утешать меня нежными словами, все время укоряя себя в том, что послужила причиною моего несчастия. Я уверял ее, что никогда не буду сетовать на свой жребий, пока она не перестанет любить меня. «Меня нечего жалеть,— продолжал я,— несколько месяцев тюрьмы совсем не страшат меня, и я всегда предпочту Шатле Сен-Лазару. Но о тебе, любимая, скорбит мое сердце! Как печальна участь столь прелестного создания! О небеса, как можете вы обращаться так сурово с самым совершенным из творений своих? Почему не наделены мы от рождения свойствами, соответствующими нашей злой доле? Мы одарены умом, вкусом, чувствительностью; увы, сколь печальное применение мы им находим, в то время как столько душ, низких и подлых, наслаждаются всеми милостями судьбы!»

Размышления эти преисполнили меня скорби. Но все было ничто по сравнению с думами о грядущем: ибо я изнывал от страха за Манон. Она уже побывала в Приюте, и, хотя благополучно выбралась оттуда, я знал, что повторное заключение чревато самыми опасными последствиями. Я хотел бы поделиться с Манон своей тревогой, но боялся слишком ее напугать. Я дрожал за нее, не смея предупредить об опасности, и обнимал бедняжку, вздыхая и уверяя в своей любви, единственном чувстве, которое я смел выразить. «Манон,— говорил я,— скажите искренне, всегда ли будете вы любить меня?» Она отвечала, что ее крайне огорчают мои сомнения. «Ну вот, я больше не сомневаюсь,— сказал я,— и с этой уверенностью не страшусь никаких врагов. Я прибегну к содействию своей семьи, я непременно

выйду из Шатле и отдам всю кровь, посвящу все силы, чтобы вырвать вас оттуда, лишь только окажусь на свободе».

Мы подъехали к тюрьме. Каждого из нас поместили в отдельной камере. Удар этот поразил меня не так сильно, ибо я предвидел его. Я препоручил Манон привратнику, сообщив ему, что я человек высокого звания, и посулив значительное вознаграждение. Я обнял дорогую мою возлюбленную, прежде чем расстаться с нею. Я заклинал ее не горевать чрезмерно и не страшиться ничего, покуда я жив. Деньги у меня были. Часть их я отдал ей, а из оставшихся щедро заплатил привратнику вперед за месячное содержание, ее и мое.

Деньги возымели отличное действие. Меня поместили в опрятную комнату и уверили, что Манон получила такую же.

Я немедленно стал обдумывать, каким путем добиться скорейшего освобождения. Было ясно, что ничего особенно преступного не заключалось в моем деле; предполагая даже, что показанием Марселя был установлен наш замысел совершить кражу, я прекрасно знал, что одни намерения сами по себе не подлежат наказанию. Я решил спешно написать отцу, прося его лично приехать в Париж. Я гораздо менее стыдился, как уже сказал, заключения в Шатле, чем в Сен-Лазаре. С другой стороны, хотя я и сохранял должное уважение к родительскому авторитету, годы и опыт весьма уменьшили мою робость. Итак, я сочинил письмо, а к отправке его из Шатле не встретил никаких препятствий. Но я мог бы избавить себя от труда, если бы знал, что отец должен прибыть в Париж на следующий день.

Получив первое мое письмо, написанное неделю назад, он был им крайне обрадован. Но, как ни польстил я ему надеждой на мое исправление, он не счел возможным удовольствоваться одними обещаниями. Он решил воочию убедиться в происшедшей со мною перемене и поступить так или иначе, в зависимости от искренности моего раскаяния. Он прибыл на следующий день после нашего заключения в тюрьму.

Первым делом он направился к Тибержу, которому я просил его адресовать свой ответ. От него он не мог получить сведений ни о местожительстве, ни о положении моем в настоящее время. Он услышал от него только о моих приключениях после бегства из семинарии Сен-Сюльпис. Тиберж с большой похвалой отозвался о благих моих намерениях, обнаружившихся при последнем нашем свидании. Он прибавил, что я, по его мнению, совсем порвал с Манон, но что его все-таки удивляет отсутствие от меня известий в течение целой недели. Отец не был так

доверчив. Он понял, что за моим молчанием, на которое жаловался Тиберж, скрывается нечто, ускользающее от его проницательности, и с таким усердием стал искать мои следы, что через два дня по приезде узнал о моем заточении в Шатле.

До его прихода, ожидать которого я никак не мог так рано, меня посетил начальник полиции, то есть, попросту говоря, я подвергся допросу. Он бросил мне несколько упреков, правда не содержавших для меня ничего грубого и обидного. Он мягко сказал мне, что сожалеет о дурном моем поведении, что я поступил неосторожно, приобретя себе врага в лице господина де Г*** М***, что, поистине, в деле моем сказывается больше опрометчивости и легкомыслия, нежели злого умысла, но что я как-никак уже вторично попадаю на скамью подсудимых, хотя можно было надеяться, что два-три месяца, проведенных в Сен-Лазаре, образумят меня.

Довольный тем, что имею дело с судьей рассудительным, я говорил с ним столь вежливо и сдержанно, что он, казалось, был чрезвычайно доволен моими ответами. Он посоветовал мне не слишком сокрушаться и сказал, что хотел бы оказать мне услугу из уважения к моему происхождению и молодости. Я отважился поручить Манон его вниманию, с похвалой отозвавшись об ее кротости и благонравии. Он ответил, посмеиваясь, что покуда еще не видал ее, но что ему говорили о ней как об особе, весьма опасной. Слова его пробудили во мне столь великую к ней нежность, что я произнес страстную речь в защиту бедной моей возлюбленной и даже не мог сдержать слезы. Он приказал отвести меня обратно в камеру. «Любовь, любовь,— воскликнул мне вслед сей степенный судья,— неужели ты никогда не уживешься с благоразумием?»

Я предавался грустным думам, размышляя о беседе с начальником полиции, когда услышал, как отворяется дверь в мою камеру: то был отец. Хотя я должен был бы подготовиться к этой встрече, ибо ожидал ее — несколькими днями позже,— но был настолько ею потрясен, что охотно провалился бы сквозь землю, если бы она разверзлась у меня под ногами. В крайнем смущении я обнял его. Молча он сел; молча я стоял перед ним, потупившись и с непокрытой головой.

«Садитесь, сударь мой, садитесь,— сказал он мне сурово.— Благодаря огласке, вызванной вашим распутством и мошенническими проделками, я узнал, где могу вас найти. Преимущество вашего достойного поведения состоит в том, что оно не может оставаться тайным. Прямой дорогой вы идете к славе. Надеюсь, близок конец вашего пути к Гревской площади

«Манон Леско»
Ж.-Ж. Паскье и Ю. Гравело

и вас ждет завидный жребий быть выставленным напоказ всему народу».

Я ничего не отвечал. Он продолжал: «О, сколь несчастен отец, нежно любивший сына, ничего не щадивший для достойного его воспитания и видящий в конце концов перед собою плута, который бесчестит его! Можно утешиться в ударах злой судьбы: время стирает их, и горе смягчается; но где лекарство против тех бедствий, кои усугубляются изо дня в день, против распутства сына порочного, утратившего всякое чувство чести? Ты безмолвствуешь, несчастный,— прибавил он.— Взгляните на притворную сию скромность, на лицемерную сию кротость: можно подумать, что видишь пред собой достойнейшего представителя нашего рода!»

Хотя я должен был признать, что заслужил значительную долю оскорбительных укоров, мне показались они все же чрезмерными. Я позволил себе в простых словах изложить свою мысль.

«Смею уверить вас, государь мой,— сказал я,— что скромность моя ничуть не притворна: она естественна для человека хорошей семьи, питающего безграничное уважение к отцу своему, особливо же к отцу разгневанному. Не притязаю выдавать себя за достойнейшего представителя нашего рода. Признаю, что заслужил упреки ваши; но заклинаю вас, не будьте столь суровы и не смотрите на меня как на самого отъявленного негодяя. Я не заслужил столь жестокого приговора. Любовь — причина всех моих заблуждений, вы это знаете. Роковая страсть! Увы! неужели неведома вам вся сила ее, и может ли статься, чтобы кровь ваша, которая течет и в моих жилах, никогда не пламенела тем же чувством? Любовь сделала меня слишком нежным, слишком страстным, слишком преданным и, быть может, слишком угодливым к желаниям обворожительной возлюбленной; таковы мои преступления. Позорит ли вас хоть единое из них? Милый батюшка,— прибавил я нежно,— пожалейте хоть немного сына, который к вам всегда был полон уважения и любви; который не отрекся, как мнится вам, ни от чести, ни от долга и который заслуживает в тысячу раз большего сострадания, нежели можете вы себе представить». Заканчивая свою речь, я прослезился.

Отчее сердце есть совершеннейшее создание природы: она властвует над ним, так сказать, как благая царица, и управляет всеми его порывами. Отец мой, человек умный и тонкий, столь был растроган оборотом, который придал я своим оправданиям, что не в силах был скрыть от меня перемену в своем настрое-

нии. «Приди, мой бедный кавалер,— сказал он,— приди в мои объятия: мне жаль тебя». Я обнял его, а по его объятию мог судить о том, что́ происходит в его сердце. «Что же предпринять для твоего освобождения? — опять заговорил он.— Поведай мне обо всех делах твоих без утайки».

Ввиду того, что в поступках моих в конце́ концов не заключалось ничего слишком позорящего меня, хотя бы по сравнению с проказами светской молодежи известного рода, и так как в наше время не почитается постыдным иметь любовницу, равно как и прибегать к некоторой ловкости рук в игре, я чистосердечно рассказал отцу все подробности жизни моей. Признание в каждом проступке я старался сопровождать примерами из жизни людей знаменитых, дабы ослабить тем свою вину.

«Я живу с любовницей,— говорил я,— не будучи обвенчан с нею,— герцог такой-то содержит двух на глазах всего Парижа; господин такой-то целых десять лет имеет любовницу, которой верен более, нежели жене. Две трети знатных людей Франции за честь почитают иметь любовниц. Я плутовал в игре,— маркиз такой-то и граф такой-то не имеют иных источников дохода; князь такой-то и герцог такой-то стоят во главе шайки рыцарей того же ордена». Что касается посягательств моих на кошельки обоих Г*** М***, то я мог бы доказать, что и в этом у меня были предшественники, но честь не позволила мне опорочить вместе с собою всех тех лиц, которых я мог бы привести в пример, а потому я умолял отца простить мне эту слабость, объяснив ее двумя неукротимыми страстями, овладевшими мною: жаждой мести и любовью.

Он просил меня указать, как скорейшим путем добиться моего освобождения, притом так, чтобы избежать огласки. Я сообщил ему о добром отношении ко мне начальника полиции. «Ежели вы встретите какие-либо препятствия,— сказал я,— они не могут идти ни от кого, кроме двоих Г*** М***; посему, полагаю, вам следовало бы повидаться с ними». Он обещал мне это.

Я не решился просить его походатайствовать за Манон. Причиною этого не был недостаток смелости, но боязнь возмутить его такою просьбой и поселить в его душе какие-либо гибельные для нее и меня намерения. Я до сих пор не ведаю, не принесла ли мне эта боязнь величайших несчастий, помешав мне расположить отца в ее пользу и внушить ему благоприятное мнение о бедной моей любовнице. Быть может, и на этот раз я возбудил бы его сострадание. Я бы предостерег его слишком доверять тому впечатлению от старого Г*** М***, ко-

торому он слишком легко поддался. Кто знает? Злая судьба, быть может, в корне пресекла бы все мои попытки; но я, по крайней мере, обвинял бы в своем несчастии только ее и жестокость врагов моих.

Покинув меня, отец направился к господину де Г*** М***. Он застал у него также его сына, которого мой гвардеец честно отпустил на свободу. Я так и не узнал подробностей их беседы; но мне не трудно было судить о ней по роковым ее последствиям. Они пошли вместе, оба отца, к начальнику полиции, у которого просили двух милостей: во-первых, выпустить меня немедленно из Шатле; во-вторых, заточить Манон пожизненно в тюрьму или же выслать в Америку. Как раз в то время стали во множестве ссылать разных бродяг на Миссисипи. Начальник полиции дал слово отправить Манон с первым же кораблем.

Господин де Г*** М*** и отец мой явились тотчас же ко мне с известием о моей свободе. Господин де Г*** М*** принес мне вежливые извинения за прошлое и, поздравив меня с таким превосходным отцом, убеждал впредь следовать его советам и примеру. Отец приказал мне извиниться перед Г*** М*** в мнимой обиде, нанесенной мною его семье, и поблагодарить за содействие моему освобождению.

Мы вышли все вместе, ни словом не упомянув о моей возлюбленной. В их присутствии я не посмел даже замолвить о ней слово привратникам. Увы, моя просьба была бы все равно бесполезна. Роковой приказ прибыл одновременно с приказом о моем освобождении. Спустя час бедная девушка была переведена в Приют и присоединена к другим несчастным, обреченным на ту же участь.

Принужденный последовать за отцом на его квартиру, я лишь в исходе шестого часа улучил мгновение ускользнуть с его глаз, чтобы поспешить обратно в Шатле. Я имел одно только намерение — передать немного продовольствия для Манон и поручить ее заботам привратника, ибо не обольщал себя надеждою, что мне позволят повидаться с нею. Равным образом у меня не было еще времени подумать об ее освобождении.

Я вызвал привратника. Он не забыл моей щедрости и доброты и, желая хоть чем-нибудь услужить мне, заговорил об участи Манон, как о несчастии весьма прискорбном, ибо это не может не удручать меня. Я не мог взять в толк, о чем он ведет речь. Несколько времени мы беседовали, не понимая друг друга. Наконец, убедившись, что я ничего не знаю, он поведал мне то, о чем я уже имел честь вам рассказать и что́ повторять для меня слишком мучительно.

Никакой апоплексический удар не произвел бы более внезапного и ужасного действия. Сердце мое болезненно сжалось, и, падая без чувств, я подумал, что навсегда расстаюсь с жизнью. Ясное сознание не сразу вернулось ко мне; когда я пришел в себя, я оглядел комнату, оглядел себя, чтобы удостовериться, ношу ли я еще печальное звание живого человека. Достоверно то, что, следуя лишь естественному стремлению освободиться от страданий, я ни о чем не мог мечтать, кроме как о смерти, в этот миг отчаяния и ужаса. Даже страшные картины загробных мук не казались мне более ужасными, чем жестокие судороги, терзавшие меня. Меж тем под чудесным воздействием любви я скоро нашел в себе силы возблагодарить небеса за возвращение мне сознания и разума. Моя смерть была бы избавлением лишь для меня одного. Манон нуждалась в моей жизни, чтобы я мог освободить ее, помочь ей, отомстить за нее. Я поклялся отдать ей все свои силы без остатка.

Привратник оказал мне помощь с таким участием, какого мог бы я ожидать разве от самого лучшего друга. С горячей благодарностью принял я его услуги. «Увы,— сказал я ему,— вы тронуты моими горестями. Все отвернулись от меня. Даже отец мой — один из самых безжалостных моих гонителей. Ни у кого нет сострадания ко мне. Вы, один только вы в этой обители жестокости и варварства проявляете сочувствие к несчастнейшему из людей». Он мне советовал не показываться на улице, не оправившись от моего смятенного состояния. «Ничего, ничего,— ответил я, уходя,— мы увидимся снова, раньше, чем вы думаете. Приготовьте мне самую мрачную из ваших камер; я постараюсь ее заслужить».

Действительно, ближайшие мои намерения состояли в том, чтобы расправиться с обоими Г*** М*** и начальником полиции и вслед за тем броситься приступом на Приют, увлекши всех, кого только смогу, за собою. Даже отца я готов был не щадить в своей справедливой жажде мщения, ибо привратник не утаил от меня, что они с Г*** М*** виновники моей утраты.

Но, когда я сделал несколько шагов на улице и воздух немного охладил мою кровь и успокоил меня, ярость моя уступила место чувствам, более рассудительным. Смерть наших врагов оказала бы плохую услугу Манон и, вероятно, отняла бы у меня всякую возможность спасти ее. С другой стороны, как решиться на подлое убийство? А какой иной путь мести открывался предо мною? Я собрался с силами и духом, решив прежде всего постараться освободить Манон, а уж после успеха этого важного предприятия заняться другим.

Денег у меня оставалось немного. И все-таки то была необходимая основа, и с нее следовало начинать. Я знал только трех лиц, от которых мог ожидать денежной помощи: господина де Т***, моего отца и Тибержа. Мало было вероятия получить что-либо от двух последних, а первому мне было совестно докучать своей назойливостью. Но в отчаянии не останавливаешься ни перед чем. Я сразу же направился в семинарию Сен-Сюльпис, не беспокоясь о том, что меня могут узнать. Я вызвал Тибержа. С первых же его слов я понял, что мои последние приключения ему неизвестны. Поэтому я тут же изменил решение подействовать на его чувство сострадания. Я заговорил с ним о радости моей встречи с отцом и затем попросил одолжить мне небольшую сумму денег, чтобы до отъезда из Парижа расплатиться с долгами, утаив их от отца. Он тотчас же предоставил мне свой кошелек. Я взял пятьсот франков из шестисот, находившихся в нем, и предложил дать расписку; но Тиберж был слишком благороден, чтобы принять ее.

Оттуда я направился к господину де Т***. С ним я был откровенен. Я рассказал ему о всех своих бедах и страданиях; он уже знал о них вплоть до малейших подробностей, так как следил за приключениями молодого Г*** М***. Тем не менее он выслушал меня с участием. Когда же я попросил его совета относительно освобождения Манон, он грустно мне ответил, что дело представляется ему крайне трудным, а потому следует отказаться от всякой надежды, ежели не уповать на чудесную помощь божию; что он нарочно побывал в Приюте, когда Манон была заключена туда; что даже ему отказано было в свидании с ней; что распоряжения, отданные начальником полиции, отличаются крайней строгостью и, в довершение всех неудач, партия арестантов, к которой она приписана, назначена к отправке на послезавтра.

Я был столь удручен его речью, что, говори он целый час, я бы и не подумал его прервать. По его словам, он не навестил меня в Шатле, рассчитывая, что, если он утаит нашу дружбу, ему будет легче оказать мне помощь; узнав спустя несколько часов о моем освобождении, он горевал, что не может повидаться со мною и поскорее подать мне единственный совет, от которого я мог бы ожидать перемены в судьбе Манон; но совет столь опасный, что он просит меня сохранить в тайне его участие в нем. План состоял в том, чтобы подобрать несколько смельчаков и напасть на стражу Манон при выезде из Парижа. Он не стал дожидаться моего признания в нищете: «Вот сто пистолей,— сказал он мне, протягивая кошелек,— они могут вам

пригодиться. Вы отдадите мне их, когда дела ваши устроятся». Он прибавил, что, ежели бы забота о своей репутации не мешала ему самому предпринять освобождение моей любовницы, он предоставил бы в мое распоряжение свою руку и шпагу.

Редкостное его великодушие тронуло меня до слез. Я выразил ему признательность так горячо, как только мог в удрученном своем состоянии. Я спросил его, нет ли надежды воздействовать через кого-нибудь на начальника полиции. Он сказал, что думал об этом, но полагает такой путь бесплодным, ибо подобного рода просительство должно быть обосновано, а ему совершенно неясно, посредством каких доводов можно заручиться поддержкой какого-нибудь важного и могущественного лица; надеяться здесь можно было бы только в том случае, если бы удалось переубедить господина де Г*** М*** и моего отца и уговорить их — самим ходатайствовать перед начальником полиции об отмене приговора. Он обещал приложить все усилия, чтобы привлечь на нашу сторону молодого Г*** М***, который, впрочем, как будто охладел к нему, подозревая причастность его к нашему делу; меня же он убеждал постараться во что бы то ни стало смягчить сердце моего отца.

Для меня это было вовсе не такое легкое дело; я разумею не только трудность убедить его, но еще одно обстоятельство, из-за которого я боялся даже подступиться к нему; я ускользнул из его квартиры, нарушив его распоряжения, и твердо решил не возвращаться туда, после того как узнал о горестной участи Манон. У меня были основания опасаться, как бы он не задержал меня насильно и не отослал в провинцию. Мой старший брат однажды уже применил такой способ действия. Правда, что я повзрослел за это время; но возраст — слабый аргумент против силы. Между тем я нашел путь более безопасный: вызвать отца в какое-нибудь общественное место, написав ему от чужого имени. Я тотчас же остановился на этом решении. Господин де Т*** пошел к Г*** М***, а я — в Люксембургский сад, откуда послал сказать отцу, что некий дворянин почтительнейше дожидается его. Я боялся, что он не захочет себя тревожить ввиду приближения ночи. Однако немного спустя он показался в сопровождении лакея. Я попросил его углубиться в аллею, где мы могли бы не опасаться посторонних. Шагов сто мы прошли, не говоря ни слова. Конечно, для него было ясно, что за всеми этими предуготовлениями должно скрываться что-нибудь немаловажное. Он ждал моей речи, я ее обдумывал.

Наконец я решился начать. «Батюшка,— сказал я дрожащим голосом,— вы так добры ко мне. Вы осыпали меня мило-

стями и простили мне неисчислимые мои проступки. Посему призываю небо в свидетели, что питаю к вам все чувства, свойственные сыну самому нежному и самому почтительному. Но смею думать ... ваша строгость...» — «Ну, хорошо! Так что же моя строгость?» — перебил он меня, полагая, конечно, что я злоупотребляю его терпением, растягивая речь. «Ах, батюшка,— продолжал я,— смею думать, что ваша строгость чрезмерна по отношению к несчастной Манон. Вы расспрашивали о ней у господина де Г*** М***. Из ненависти он изобразил вам ее в самых черных красках. У вас, вероятно, сложилось о ней ужасное представление. А между тем она — самое нежное, самое милое создание на свете. Почему небу не угодно было внушить вам желание увидеть ее хоть на минуту! Я столь же уверен в том, что она прелестна, сколь уверен, что и вы найдете ее такою. Вы бы приняли в ней участие, отвергли бы с презрением все черные козни Г*** М***; вы прониклись бы состраданием к ней и ко мне. Увы, я уверен в этом. Ваше сердце не лишено чувствительности: вы не могли бы не растрогаться».

Он опять прервал меня, видя, что в своем увлечении я еще не скоро кончу. Он пожелал узнать, какова цель этой страстной речи. «Прошу сохранить мне жизнь,— отвечал я,— ибо я расстанусь с жизнью, лишь только Манон увезут в Америку».— «Нет, нет,— возразил он сурово,— я предпочитаю видеть тебя мертвым, нежели безумным и бесчестным».— «Так покончим на этом,— воскликнул я, удерживая его за руку,— возьмите же ее у меня, возьмите мою жизнь, ненавистную и нестерпимую; ибо вы повергаете меня в такое отчаяние, что смерть — благодеяние для меня: дар, достойный отчей руки».

«Дарую тебе то, чего ты заслуживаешь,— отвечал он.— Другие отцы не стали бы ждать столь долго, чтобы собственноручно казнить тебя; моя чрезмерная доброта тебя погубила».

Я бросился к его ногам. «О, если у вас есть хоть остаток доброго чувства,— говорил я, обнимая его колени,— не ожесточайтесь на мои слезы. Подумайте о том, что я ваш сын... увы, вспомните о моей матери. Вы любили ее так нежно! Разве вы перенесли бы, чтобы ее вырвали из ваших объятий? Вы защищали бы ее до последней капли крови. И разве мое сердце не может быть подобно вашему? Мыслимо ли быть столь немилосердным, испытав хоть раз настоящую нежность и тоску?»

«Не смей говорить о твоей матери,— раздраженно вскричал он,— воспоминание о ней распаляет мое негодование. Твое распутство довело бы ее до могилы, будь она еще жива. Прекратим разговор,— прибавил он,— он досаждает мне и не заставит

меня изменить решение. Я возвращаюсь домой и приказываю тебе следовать за мною».

Сухой, жесткий тон его приказания ясно убедил меня в том, что сердце его непреклонно. Я отступил на несколько шагов, боясь, как бы не попытался он собственноручно задержать меня. «Не усугубляйте моего отчаяния, понуждая меня к неповиновению,— сказал я.— Мне невозможно следовать за вами. И так же невозможно жить после жестокости, вами проявленной. Итак, прощаюсь с вами навеки. Смерть моя, о которой вы скоро услышите,— прибавил я печально,— быть может, пробудит в вас снова чувства отеческие».— «Так ты отказываешься следовать за мною? — гневно вскричал он, видя, что я собираюсь уходить.— Иди, беги к своей гибели! Прощай, неблагодарный и мятежный сын!» — «Прощайте,— отвечал я в исступлении,— прощайте, жестокий и бесчеловечный отец!»

Я тотчас же вышел из Люксембургского сада. Я как безумный метался по улицам, пока не дошел до дома господина де Т***. Идя, я простирал руки и воздевал глаза, взывая к силам небесным. «О небеса,— говорил я,— неужели вы будете столь же немилосердны, как люди? Мне не от кого ждать помощи, кроме вас».

Господина де Т*** еще не было дома; но он вернулся спустя несколько минут. Его переговоры имели не больше успеха. Он с огорчением рассказал мне об этом. Молодой Г*** М***, хотя и менее отца был озлоблен против Манон и меня, отказался похлопотать в нашу пользу. Он сам остерегался мстительного старика, который и так был раздражен, ибо не прощал ему намерения вступить в связь с Манон.

Мне оставался только один путь насильственного вмешательства, план, предложенный господином де Т***; на него возлагал я все мои надежды. «Они весьма сомнительны,— сказал я ему,— но самая твердая и самая утешительная для меня надежда — погибнуть во время нападения». Я распрощался с ним, прося его пожелать мне успеха, и стал думать о том, как бы найти товарищей, которым я мог бы передать хоть искру своего пыла и решимости.

Первый, о ком я вспомнил, был тот самый гвардеец, которого подговорил я задержать Г*** М***. Кстати, я имел в виду провести ночь у него в комнате, потому что за день не имел досуга подыскать себе пристанище. Я застал его одного. Он выразил радость, что видит меня на свободе. Он с полной готовностью предложил мне свои услуги. Я объяснил, какой помощи жду от него. У него было достаточно здравого смысла, чтобы

понять все трудности предприятия; но он был и достаточно великодушен, чтобы не побояться их.

Часть ночи мы провели, обсуждая план действий. Он указал мне на троих солдат-гвардейцев, которые помогали ему в последний раз, как на испытанных храбрецов. Господин де Т*** дал мне точные сведения относительно числа стражников, которые должны были сопровождать Манон: их было всего лишь шесть человек. Пятерых смелых и решительных людей хватило бы, чтобы нагнать страха на этих негодяев; вряд ли они станут защищаться, раз могут избежать опасностей боя трусливым бегством.

Видя, что я не стеснен деньгами, гвардеец посоветовал мне ничем не скупиться ради успеха нашего нападения. «Нам надобны лошади, пистолеты и каждому из наших по мушкету,— сказал он.— Беру на себя заботу о завтрашних приготовлениях. Нужно раздобыть также три пары штатского платья для наших солдат, которые не посмеют показаться в подобном деле в мундирах своего полка». Я вручил ему сто пистолей, полученных от господина де Т***. Они были израсходованы на другой день до последнего гроша. Я сделал смотр своим трем солдатам, воодушевил их щедрыми посулами и, чтобы рассеять у них всякое недоверие, первым делом подарил каждому по десяти пистолей.

Роковой день наступил. Ранним утром я отрядил одного из солдат к воротам Приюта, дабы знать наверное, когда стражники выедут со своей добычей. Хотя я принял эту меру предосторожности по чрезмерной мнительности и беспокойству, она оказалась отнюдь не излишней. Я положился на некоторые лживые сведения, данные мне относительно маршрута, и, будучи убежден, что несчастных должны погрузить на корабль в Ларошели, я бы зря прождал их на Орлеанской дороге. Между тем из донесения солдата-гвардейца я узнал, что их повезут по дороге в Нормандию и отправят в Америку из Гавр-де-Граса.

Мы немедленно выехали к воротам Сент-Оноре, держась каждый разных улиц. В конце городского предместья мы съехались вместе. Лошади наши шли резво. Мы вскоре завидели впереди шесть стражников и две жалких повозки, те самые, что вы видели два года тому назад в Пасси. Зрелище это едва не лишило меня сил и сознания. «О судьба,— воскликнул я,— жестокая судьба, ниспошли мне хотя бы теперь смерть или победу!»

Мы наскоро посовещались о плане атаки. Стражники были не более как в четырехстах шагах впереди нас, и мы могли бы перерезать им путь, проскакав поперек небольшого поля, которое огибала проезжая дорога. Гвардеец держался именно такого

мнения, рассчитывая обрушиться на них сразу и захватить врасплох. Я одобрил его мысль и первый дал шпоры коню. Но судьба отвергла безжалостно мои мольбы.

Стражники, завидев пятерых всадников, скачущих по направлению к ним, ни на минуту не усомнились, что целью сего было нападение. Они приготовились к решительной обороне, взявшись за ружья и штыки.

Но то, что лишь придало воодушевления гвардейцу и мне, разом лишило присутствия духа трех наших подлых сообщников. Они остановили лошадей, точно сговорившись, обменялись несколькими словами, которых я не расслышал, повернули назад и пустились во весь опор по парижской дороге.

«Боже,— воскликнул гвардеец, растерявшись не менее моего при виде их трусливого бегства,— что же нам делать? Нас только двое». От ярости и изумления я лишился голоса. Я придержал коня: мне захотелось первым делом обратить свою месть на преследование и наказать негодяев, предавших меня. Я глядел на беглецов, не упуская при этом из виду стражников. Если бы я мог раздвоиться, я бы обрушился одновременно на тех и других; я с бешенством пожирал их глазами.

Гвардеец, догадавшийся по блуждающему взгляду о моей неуверенности, попросил меня внять его совету. «Нам вдвоем безрассудно атаковать шестерых стражников, не хуже нас вооруженных и явно готовых дать нам отпор,— сказал он.— Надо вернуться в Париж и постараться набрать товарищей похрабрее. Конвоиры не смогут делать длинные переходы с двумя тяжелыми повозками; завтра нам не трудно будет их нагнать».

С минуту я размышлял над этим предложением; но, видя крушение всех своих надежд, я принял поистине отчаянное решение: оно состояло в том, чтобы, отблагодарив верного товарища за его помощь и отбросив всякую мысль об атаке, обратиться к стражникам со смиренною просьбой принять меня в их отряд; я решил сопровождать Манон до Гавр-де-Граса и вместе с нею уплыть за океан. «Весь мир преследует или предает меня,— сказал я гвардейцу,— я не могу больше ни на кого положиться; не жду больше ничего от судьбы, ни от людской помощи. Мои несчастия дошли до предела; мне остается только им покориться. Я потерял всякую надежду. Да вознаградит небо ваше великодушие! Прощайте. Иду добровольно навстречу злой моей участи». Бесполезны были его усилия убедить меня вернуться в Париж. Я просил его предоставить мне следовать моему решению и немедля покинуть меня, ибо я боялся, как бы стражники не подумали, что мы намереваемся их атаковать.

Я в одиночестве, медленным шагом направился к ним с видом столь удрученным, что они не могли опасаться меня. Тем не менее они сохраняли оборонительное положение. «Успокойтесь, господа,— обратился я к ним, подъезжая,— я не намерен нападать на вас: молю у вас только о милости». Я просил их спокойно продолжать свой путь и по дороге сообщил, какого одолжения жду от них.

Они посовещались между собой, как отнестись к такому предложению, и начальник их обратился ко мне от лица всего отряда. Он сказал, что им дано приказание как можно строже наблюдать за узницами; впрочем, я так приглянулся ему, что он с товарищами готов немного отступить от своих обязанностей; но я, конечно, понимаю, что дело связано с некоторыми расходами. У меня оставалось около пятнадцати пистолей; я не скрыл от них, каковая моя денежная наличность. «Ладно,— сказал на это стражник,— мы не станем вымогать с вас лишнего. Вам это обойдется по экю за каждый час беседы с любой из наших девиц по вашему выбору: такова парижская такса».

Я не говорил с ними особо о Манон, потому что в мои намерения не входило, чтобы они узнали о моей страсти. Они воображали сначала, что это только причуда молодости — искать развлечения в обществе подобных созданий; но лишь только они заподозрили мою любовь, как взвинтили цену до таких пределов, что кошелек мой был опустошен уже при выезде из Манта, где ночевали мы перед Пасси.

Стоит ли говорить о горестных беседах моих с Манон во время нашего пути, о впечатлении, какое произвел на меня ее вид, когда я получил разрешение приблизиться к ее повозке? Ах, слова способны передать лишь малую долю чувств сердечных! Но вообразите себе несчастную мою возлюбленную, закованную в цепи, сидящею на соломенной подстилке, в томлении прислонившись головою к стенке повозки, с лицом бледным и омоченным слезами, которые ручьями струились из-под ресниц, хотя глаза ее неизменно были закрыты. Она не проявила даже любопытства и не открыла их, услышав тревожный шум приготовлений к обороне. Белье ее было в грязи и беспорядке; прелестные руки обветрены; словом, весь ее облик, вся фигура, которая могла покорить целый мир, являла вид неописуемого расстройства и изнурения.

Некоторое время я ехал верхом рядом с повозкой, созерцая ее. Я настолько не владел собой, что несколько раз чуть не свалился с лошади. Мои вздохи, мои стоны привлекли ее внимание.

Она меня узнала; я видел, как она рванулась ко мне из повозки, но оковы удержали ее, и она упала назад.

Я молил стражников хоть на минуту остановиться из сострадания; они согласились из жадности. Я спрыгнул с седла и подсел к ней. Она была в таком изнеможении, так слаба, что долго не могла ни говорить, ни двигаться. Я орошал слезами ее руки, и, так как сам не мог произнести ни слова, мы оба находились в невыразимо печальном состоянии. Не менее печальны были наши слова, когда к нам вернулась способность речи. Манон говорила мало; казалось, стыд и горе исказили ее голос; звук его стал слабым и дрожащим.

Она благодарила меня за то, что я не забыл ее и доставил ей,— прибавила она со вздохом,— радость еще раз увидеть меня и сказать мне последнее прости. Но, когда я стал ее уверять, что ничто не может разлучить нас и что я решил следовать за ней хоть на край света, дабы заботиться о ней, служить ей, любить ее и неразрывно связать воедино наши злосчастные судьбы, бедная девушка была охвачена таким порывом нежности и скорби, что я испугался за ее жизнь. Все движения души ее выражались в ее очах. Она неподвижно устремила их на меня. Не раз слова готовы были сорваться у нее с языка, но она не имела силы их выговорить. Несколько слов все-таки ей удалось произнести. В них звучали восхищение моей любовью, нежные жалобы, удивление, что она могла возбудить столь сильную страсть, настояния, чтобы я отказался от мысли последовать за нею и искал иного, более достойного меня счастия, которого, говорила она, она не в силах мне дать.

Наперекор жесточайшей судьбе, я обретал счастье в ее взорах и в твердой уверенности, что она любит меня. Поистине, я потерял все, что прочие люди чтят и лелеют; но я владел сердцем Манон, единственным благом, которое я чтил. Жить ли в Европе, жить ли в Америке, не все ли равно, где жить, раз я уверен, что буду счастлив, что буду неразлучен с моей возлюбленной? Не весь ли мир — отчизна для верных любовников? Не обретают ли они друг в друге отца, мать, родных, друзей, богатство и благоденствие?

Больше всего мучила меня боязнь видеть Манон в нищете. Я уже воображал себя с ней в первобытной стране, населенной дикарями. «Уверен,— говорил я себе,— что среди них не найдется ни одного, столь жестокосердого, как Г*** М*** и отец мой. Они не станут мешать нам, по крайней мере, жить в мире и покое. Если справедливы рассказы о них, они живут по законам природы; им не ведомы ни бешеная алчность Г*** М***,

ни сумасбродное чувство чести, сделавшее отца моим врагом; они не потревожат двух влюбленных, которые будут жить рядом с ними с тою же простотой, как они сами». Итак, с этой стороны я был спокоен.

Но я не обольщал себя романтическими надеждами по отношению к насущным жизненным нуждам. Мне слишком часто приходилось испытывать, сколь нестерпима нищета, особенно для женщины нежной, привыкшей к удобствам и роскоши. Я был в отчаянии, что зря опорожнил свой кошелек, а те гроши, что у меня оставались, не сегодня-завтра будут похищены негодяями-стражниками. Я рассудил, что с небольшими деньгами я мог бы надеяться не только некоторое время бороться с нищетой в Америке, где деньги — редкость, но даже предпринять что-либо для прочного обоснования там.

Это соображение внушило мне мысль написать Тибержу, всегда столь участливому в дружеской помощи. Я написал ему из ближайшего города. Я выставил единственным доводом крайнюю нужду, в которой должен очутиться в Гавр-де-Грасе, куда, как признавался, я сопровождаю Манон. Я просил у него сто пистолей. «Перешлите мне их в Гавр с почтой,— писал я.— Поверьте, я в последний раз злоупотребляю вашей дружбой, но несчастная моя возлюбленная навеки отнята у меня, и я не могу расстаться с ней, не оказав ей некоторой поддержки, которая смягчила бы ее участь и мою смертельную тоску».

Стражники, как только убедились в безумной моей страсти, стали непрестанно увеличивать таксу малейших услуг и вскоре довели меня до полной нищеты. Любовь же не позволяла мне скупиться. С утра до вечера я не отходил от Манон, и теперь время для меня измерялось не часами, но всей долготой дня. Наконец кошелек мой опустошился, и я был предоставлен прихотям и грубости шестерых негодяев, которые обращались со мною с нестерпимой наглостью. Вы были свидетелем этому в Пасси. Встреча с вами была счастливой передышкой, ниспосланной мне Фортуной. Мои муки возбудили сострадание в благородном сердце вашем. Щедрая ваша помощь позволила мне достигнуть Гавра, и стражники сдержали свое обещание с большей добросовестностью, нежели я надеялся.

Мы прибыли в Гавр. Прежде всего я пошел на почту. Тиберж еще не успел мне ответить. Я навел справки, когда могу ожидать его письма. Оно могло прийти лишь через двое суток, а по странному предопределению злой судьбы оказалось, что наш корабль должен отплыть утром того дня, когда я ожидал почты. Не могу изобразить вам свое отчаяние. «Как,— вскри-

чал я,— даже в бедствиях моих судьба не знает пределов!» Манон отвечала: «Увы, заслуживает ли наших усилий жизнь, столь несчастная? Умрем здесь, в Гавре, дорогой мой кавалер. Пусть смерть покончит разом наши беды. Стоит ли идти, влача их за собою, в неведомую страну, где, несомненно, ждут нас одни ужасы, раз меня ссылают туда в наказание? Умрем,— повторила она,— или, по крайней мере, убей меня и поищи себе иную участь в объятиях любовницы более счастливой».— «Нет, нет,— сказал я,— быть несчастным вместе с вами — для меня участь самая завидная».

Речь ее потрясла меня. Я видел, что она подавлена своими страданиями. Я старался принять вид более спокойный, дабы отогнать от нее мрачные помыслы о смерти и отчаянии. Я решил держаться того же поведения и в будущем; и впоследствии убедился, что ничто не может так воодушевить женщину, как мужество человека, которого она любит.

Потеряв надежду дождаться помощи от Тибержа, я продал свою лошадь. Вырученные мною деньги, вместе с теми, что оставались от ваших щедрот, составили небольшую сумму в семнадцать пистолей. Семь из них я истратил на покупку некоторых припасов, необходимых для Манон, и тщательно припрятал остальные десять, как основу нашего благосостояния и наших надежд в Америке. Меня без затруднений приняли на корабль. В то время подыскивали молодых людей, готовых добровольно отправиться в колонии. Проезд и пропитание были мне предоставлены бесплатно. С парижской почтой я отправил письмо Тибержу. Оно было трогательно и, несомненно, разжалобило его до последней степени, ибо побудило его к решению, которое могло возникнуть лишь из искренней и великодушной привязанности к несчастному другу.

Мы подняли паруса. Ветер не переставал нам благоприятствовать. Я выхлопотал у капитана отдельную каюту для Манон и для себя. У него достало доброты взглянуть на нас иными глазами, чем на наших жалких спутников. В первый же день я отвел его в сторону и, дабы возбудить к себе участие, поведал ему свои злоключения. Я не счел за постыдную ложь сказать ему, что обвенчан с Манон. Он сделал вид, будто верит мне, и взял меня под свое покровительство. Мы пользовались им в продолжение всего плавания. Он позаботился о нашем столе, и его внимание возбудило уважение к нам товарищей по несчастию. Я не переставал следить за тем, чтобы Манон не терпела ни в чем недостатка. Она не могла не заметить этого и, чувствуя, до каких крайних пределов довела меня преданность ей, с такой

нежностью, с такой страстью, с таким вниманием относилась ко мне, что между нами шло постоянное соревнование взаимных услуг и любви. Я вовсе не жалел об Европе; напротив, чем ближе мы подплывали к Америке, тем легче и спокойнее становилось у меня на сердце. Ежели бы я мог хоть немного чувствовать себя обеспеченным, я возблагодарил бы Фортуну за столь приятный оборот злых наших судеб.

После двухмесячного плавания мы наконец пристали к желанному берегу. На первый взгляд страна не представила ничего привлекательного. Перед нами расстилались бесплодные, необитаемые равнины, кое-где поросшие камышом, с редкими деревьями, оголенными ветром. Никаких следов ни человека, ни животных. Между тем капитан приказал дать несколько пушечных выстрелов, и немного спустя показалась группа граждан Нового Орлеана, приближавшаяся к нам с живейшими признаками радости. Мы не видели города: с этой стороны он скрыт небольшим холмом. Нас встретили, как посланцев небес.

Бедные жители наперерыв засыпáли нас вопросами о Франции и о различных провинциях, откуда они были родом. Они обнимали нас, как братьев, как дорогих товарищей, пришедших разделить с ними нищету и одиночество. Мы двинулись вместе с ними к Новому Орлеану; но, подойдя к нему, мы были поражены, увидав вместо ожидаемого города, который нам так расхваливали, жалкий поселок из убогих хижин. Население составляло человек пятьсот — шестьсот. Губернаторский дом выделялся немного своей высотой и расположением. Он был защищен земляными укреплениями, вокруг которых тянулся широкий ров.

Прежде всего мы были представлены губернатору. Он долго беседовал наедине с капитаном и, вернувшись затем к нам, оглядел одну за другою всех девиц, прибывших с кораблем. Их было всего тридцать, потому что в Гавре к нам присоединилась еще одна партия. Потратив немало времени на их осмотр, губернатор вызвал разных молодых горожан, томившихся в ожидании супруги. Красивейших он предоставил старшинам, прочих пустил по жребию. Покуда он ни слова не сказал Манон; но, приказав другим удалиться, он удержал ее и меня. «Капитан сообщил мне, что вы муж и жена,— сказал он,— и что во время плавания вы показали себя людьми разумными и достойными. Не желаю входить в рассмотрение того, что̀ послужило причиной вашего несчастия; но, ежели вы действительно обладаете той порядочностью, о коей говорит мне ваша наружность, я всячески постараюсь облегчить вашу участь, а вы, со своей стороны, най-

дете чем усладить и мою жизнь в сем диком и пустынном краю».

Я отвечал ему в тоне, соответствующем тому представлению о нас, которое у него сложилось. Распорядившись о нашем помещении в городе, он пригласил нас отужинать с ним. Для лица, начальствующего над несчастными изгнанниками, он показался мне чрезвычайно вежливым. За столом, в присутствии других, он не задавал нам никаких вопросов о наших приключениях. Беседа завязалась общая, и, несмотря на печаль нашу, мы с Манон старались и со своей стороны сделать ее приятною.

Вечером нас проводили в приготовленное нам жилье. Оно оказалось жалкою лачугою из досок, обмазанных глиной, и состояло из двух или трех комнат, с чердаком наверху. По распоряжению губернатора туда принесли пять-шесть стульев и снабдили нас еще кое-какой необходимой обстановкой.

Манон, казалось, была испугана при виде столь убогого жилища. Для меня же горе ее значило гораздо больше, нежели для нее самой. Когда мы остались одни, она села и горько заплакала. Я стал было ее утешать, но, услышав от нее, что горюет она только обо мне и в наших общих несчастиях, тревожится лишь о моих страданиях, я притворился бодрым и даже радостным, дабы заразить и ее своей веселостью. «О чем мне тужить? — сказал я ей,— я обладаю всем, чего желаю. Вы любите меня, не правда ли? Об ином счастии я и не мечтал. Доверим небесам заботу о нашей участи. Она не кажется мне столь безотрадной. Губернатор — человек любезный; он был внимателен к нам; он не допустит, чтобы мы терпели лишения. А что касается до бедной нашей хижины и грубой обстановки, вы сами видели, как мало здешних жителей могут похвастаться лучшим жилищем и обстановкой, нежели наша; ну, а затем ведь ты же изумительный алхимик,— прибавил я, целуя ее,— ты все превращаешь в золото».

«Тогда вы будете первым богачом мира,— ответила она,— ибо, если ничья любовь не достигала силы любви вашей, зато не было на свете и человека, любимого более нежно, чем вы. Отдаю себе должное,— продолжала она.— Вполне сознаю, что ничем не заслужила той необычайной страсти, что вы питаете ко мне. Я причиняла вам такие горести, простить которые могли только вы при вашей беспредельной доброте. Я была ветрена и легкомысленна и, хотя беззаветно любила вас всегда, часто бывала неблагодарна. Но вы не можете поверить, до чего я изменилась. Слезы, струившиеся столь часто из глаз моих со времени нашего отъезда из Франции, ни разу не имели причиною мои собствен-

ные страдания. Я перестала чувствовать муки, как только вы разделили их со мною. Я плакала лишь от нежности и сострадания к вам. Я безутешна, что могла причинить вам хоть минутное горе в своей жизни. Не перестаю упрекать себя за свое непостоянство, не перестаю умиляться силою любви вашей к несчастной, которая была недостойна ее и которая не оплатила бы всей своей кровью,— прибавила она, заливаясь слезами,— и половины страданий, вам причиненных».

Ее слезы, слова и самый тон ее речи произвели на меня столь неожиданное и удивительное впечатление, что мне почудилось, будто душа моя как бы разделилась на две части. «Будь осторожна,— сказал я ей,— будь осторожна, милая Манон: у меня слишком мало сил, чтобы выдержать столь горячие уверения любви твоей; я вовсе не привык к избытку радости. О боже,— воскликнул я,— не прошу более ничего; отныне я уверен в сердце Манон; оно таково, о каком мечтал я, чтобы быть счастливым; и теперь я навеки счастлив; блаженство мое упрочено».— «Оно упрочено,— промолвила она,— если зависит только от меня; и я знаю, где могу обрести также и свое счастье».

Я заснул, преисполненный блаженных мыслей, превративших мою хижину во дворец, достойный первого короля в мире. Америка уже казалась мне раем. «Надо было перебраться в Новый Орлеан, чтобы вкусить истинных радостей любви,— часто говаривал я Манон.— Нигде, как здесь, царит любовь без корысти, без ревности, без непостоянства. Соотечественники наши стремятся сюда в поисках золота; они и не воображают, что мы обрели здесь сокровища, гораздо более ценные».

Мы старательно поддерживали дружеские отношения с губернатором. Он был так добр, что спустя несколько недель по приезде нашем определил меня на небольшое место, освободившееся к тому времени в форте. Хотя должность была скромная, я принял ее, как милость небес. Она давала мне возможность жить, не будучи никому в тягость. Я нанял слугу для себя и горничную для Манон. Наше небольшое хозяйство наладилось. Я вел скромный образ жизни; Манон также. Мы не упускали случая услужить и помочь нашим соседям. Благосклонное отношение начальства и наша приветливость внушили к нам доверие и любовь всей колонии. В короткое время мы завоевали себе такое положение, что на нас уже смотрели как на первых лиц в городе после губернатора.

Наши мирные занятия и спокойная жизнь незаметно обратили помыслы наши к религии. Манон и ранее была благочестива. Равно и я никогда не принадлежал к завзятым вольно-

думцам, которые хвастают тем, что нравственную свою испорченность сочетают с безбожием. Любовь и юность были причиною нашего легкомыслия. Горький опыт возместил нашу молодость; он даровал нам то, что дала бы долгая жизнь. Наши беседы друг с другом, тихие и рассудительные, мало-помалу отвратили нас от любви порочной. Я первый предложил Манон узаконить наши отношения. Я знал ее сердце. Она была прямодушна и искренна во всяком проявлении чувств своих — качество, располагающее человека к добродетели. Я дал ей понять, чего недостает нашему счастию: «Оно должно получить благословение божие,— сказал я.— Разве с такой любящей душой, с таким чудесным сердцем можно жить в сознательном забвении долга? Пусть жили мы так во Франции, где было нам одинаково немыслимо как перестать любить друг друга, так и узаконить нашу любовь; но в Америке, где мы зависим только от себя самих, где нам не нужно считаться с условными законами света, где нас даже считают мужем и женой, кто помешает нам стать ими в действительности, почему не увенчать нашу любовь обетами, признаваемыми церковью? Что до меня, то ничего нового я вам не предлагаю, предлагая свою руку и сердце; но я готов вам принести их в дар пред алтарем».

Мне показалось, что речь моя преисполнила ее радостью. «Поверите ли вы,— отвечала она,— что много, много раз я думала об этом, с тех пор как мы в Америке. Только боязнь вызвать ваше недовольство побудила меня затаить в сердце это желание. Я вовсе не притязаю на высокое звание вашей супруги».— «О Манон,— воскликнул я,— ты стала бы супругой короля, если бы небесам угодно было, чтобы я родился коронованным. Не будем колебаться. Нам не угрожают никакие препятствия. Я сегодня же поговорю с губернатором и признаюсь ему, что мы обманывали его до сих пор. Пусть другие, грубые нравом любовники,— прибавил я,— страшатся неразрывных уз брачных. Они не стали бы их страшиться, будь они столь же уверены, как и мы, в крепости уз, налагаемых самою любовью».

Манон была вне себя от радости, услышав мое решение.

Я убежден, что любой честный человек в мире одобрил бы мои намерения в тех обстоятельствах, в каких я находился, то есть приняв во внимание, что я роковым образом был порабощен непреоборимой страстью и терзался неусыпными укорами совести. Но кто обвинит меня в ропоте на судьбу, когда я пострадал от жестокости небесного судии, который отверг мое намерение угодить ему? Увы, что говорю я? Отверг! Он наказал его как преступление. Он долго терпел меня, покуда я слепо

шел по пути греха, и самое суровое его возмездие было уготовано мне к тому сроку, когда я ступил на путь добродетели. Боюсь, что у меня не хватит сил закончить рассказ о самом мрачном событии, какое когда-либо со мной случалось.

Я пошел к губернатору, как сговорился с Манон, просить о разрешении нам обвенчаться. Я бы ни за что не обратился к нему, будь я уверен, что местный священник, единственное духовное лицо в городе, окажет мне эту услугу помимо него; но, не смея надеяться на его молчание, я решил действовать открыто.

У губернатора был племянник по имени Синнелé, которого любил он чрезвычайно. Он был лет тридцати, смелый, но заносчивый и горячий. Он был холост. Красота Манон поразила его с первой минуты, и бесчисленные встречи с ней за эти девять или десять месяцев так разожгли его любовь, что втайне он чахнул по ней. Однако, будучи убежден вместе со своим дядей и всем городом, что я действительно женат на ней, он настолько совладал со своей страстью, что ничем ее не проявлял и даже много раз оказывал мне самую дружескую помощь.

Прибыв в форт, я застал вместе и дядю и племянника. У меня не было никакого повода скрывать от молодого человека мое намерение, так что я без стеснения объяснился в его присутствии. Губернатор выслушал меня с обычным своим благожелательством. Я рассказал ему часть своей истории, которую он прослушал с удовольствием, и, когда я попросил его присутствовать на брачной церемонии, великодушно предложил взять все расходы на себя. Я ушел очень довольный.

Через час ко мне явился священник. Я воображал, что он пришел дать мне некоторые наставления касательно обряда венчания, но, холодно мне поклонившись, он в двух словах заявил, что губернатор запрещает мне и думать о браке и что у него иные виды на Манон. «Иные виды на Манон! — воскликнул я, и сердце у меня сжалось в смертной тоске.— Какие же виды, сударь?» Он отвечал, что мне должно быть ведомо, что губернатор полный хозяин здесь; что раз Манон выслана из Франции в колонию, то он властен распоряжаться ею; что до сих пор он оставлял ее в покое, считая ее замужней, но, узнав от меня самого, что это не так, он полагает уместным выдать ее за Синнеле, который влюблен в нее.

Благоразумие было бессильно удержать меня. Гордо я указал священнику на дверь, поклявшись, что ни губернатор, ни Синнеле, ни целый город, вместе взятые, не посмеют посягнуть на мою жену или любовницу, как бы они ее ни называли.

Я немедленно рассказал Манон о роковом известии, только что полученном мною. Мы поняли, что Синнеле поколебал волю своего дяди после моего ухода и что он давно замышлял отбить у меня Манон. Они были сильнее нас. В Новом Орлеане мы находились как бы на островке среди моря, отделенные огромным пространством от всего остального мира. Куда бежать в стране неведомой, пустынной, населенной дикими зверями и людьми, столь же дикими? Меня уважали в городе, но я не мог надеяться настолько возбудить в себе сочувствие в населении, чтобы рассчитывать на помощь против столь сильного врага. Без денег нельзя было обойтись; я же был беден. Кроме того, успех народного возмущения был сомнителен; и, если бы судьба отвернулась от нас, наше несчастие было бы непоправимо.

Все эти мысли проносились у меня в голове; отчасти я их сообщал Манон; не слушая ее ответа, я продолжал думать дальше, принимал какое-нибудь решение и сейчас же отбрасывал, чтобы принять другое; я говорил сам с собою и громко отвечал на свои мысли; наконец я пришел в такое возбуждение, что не могу ни с чем его сравнить, ибо подобного ему нельзя себе представить. Манон не сводила с меня глаз: по моему смятению она могла судить о размерах опасности, и, трепеща за меня больше, чем за себя самое, нежная девушка не смела проронить ни слова, чтобы выразить свою тревогу.

После бесконечного ряда размышлений я остановился на решении пойти к губернатору и употребить все силы, чтобы воздействовать на его чувство чести и тронуть его напоминанием о моем почтительном к нему отношении и о нашей дружбе. Манон не хотела меня отпускать. Со слезами на глазах говорила она: «Вы идете на верную смерть; они вас убьют; я более вас не увижу; я хочу умереть раньше вас». Понадобилось много усилий, чтобы убедить ее в необходимости мне идти, а ей оставаться дома. Я обещал ей возвратиться как можно скорее. Она не ведала, да и я тоже, что на нее-то и должен обрушиться небесный гнев и ярость врагов наших.

Я пришел в форт; губернатор был со священником. Чтобы возбудить его сострадание, я не остановился перед самыми униженными просьбами, от которых умер бы со стыда в любом другом случае; я пустил в ход все доводы, способные растрогать любое сердце, если только оно не принадлежит дикому, свирепому тигру.

На все мои жалобы этот варвар твердил лишь одно: Манон, говорил он, в его распоряжении, и он дал слово своему племяннику. Решив сдерживать себя до последней крайности, я ограни-

чился только словами, что почитал его слишком большим другом, чтобы он мог пожелать моей смерти, которую я всегда предпочту потере своей возлюбленной.

Я ушел в полной уверенности, что мне нечего надеяться на упрямого старика, готового тысячу раз погубить свою душу ради племянника. Но вместе с тем я не оставил намерения сохранить до конца видимость покорности, твердо решив, в случае если несправедливость восторжествует, явить Америке самое кровавое и ужасающее зрелище, какое когда-либо творила любовь.

Я возвращался домой, обдумывая план действий, когда судьба, желавшая ускорить мою гибель, послала мне навстречу Синнеле. Он прочел мои мысли в глазах моих. Я уже упоминал, что это был человек смелый: он подошел ко мне. «Вероятно, вы ищете меня? — сказал он.— Знаю, что мои намерения оскорбляют вас, и предвидел, что нам не обойтись без кровавого поединка: посмотрим, кто будет счастливее». Я отвечал ему согласием, сказав, что только смерть положит конец нашей распре.

Мы отошли шагов на сто от города. Наши шпаги скрестились; я ранил и обезоружил его почти одновременно. Он пришел в такое бешенство от своей неудачи, что отказался просить пощады и уступить мне Манон. Быть может, я и был вправе разом отнять у него и жизнь и Манон, но благородство никогда не изменяло мне. Я швырнул ему его шпагу. «Начнем опять,— сказал я,— и помните, что теперь без пощады». Он бросился на меня с неописуемой яростью. Должен признаться, что фехтовал я неважно, пройдя лишь трехмесячную школу в Париже. Но шпагу мою направляла любовь. Синнеле насквозь пронзил мне руку; все же я улучил мгновение и нанес ему столь сильный удар, что он замертво свалился к ногам моим.

Несмотря на радость, какую дает победа в бою не на жизнь, а на смерть, я тотчас же стал размышлять о последствиях этой смерти. Мне нечего было надеяться ни на помилование, ни на отсрочку казни. Зная любовь губернатора к своему племяннику, я был уверен, что смерть ждет меня не позже чем через час после того, как исход поединка станет известным. Как ни велик был этот страх, не он был главною причиной моей тревоги. Манон, судьба Манон, ее гибель и неизбежная утрата ее — вот что приводило меня в такое смятение, что у меня темнело в глазах и я переставал понимать, где нахожусь. Я завидовал жребию Синнеле: быстрая смерть казалась мне единственным избавлением от моих мук.

Однако именно эта мысль вернула мне здравый рассудок и дала силы принять решение. «Как, мне желать смерти, чтобы

покончить со своими страданиями?! — воскликнул я.— Разве есть нечто более страшное для меня, нежели утрата любимой? Нет! Я вынесу жесточайшие муки ради моей возлюбленной, а умереть я успею, когда они окажутся бесполезными».

Я пошел обратно в город. Возвратясь домой, я застал Манон полумертвою от страха и тревоги. Мое присутствие оживило ее. Я не мог скрыть от нее ужасного случая, происшедшего со мной. Узнав о смерти Синнеле и о моей ране, она упала без сознания в мои объятия. Более четверти часа потратил я на то, чтобы привести ее в чувство.

Я сам был полумертв; впереди я не видел никакой надежды ни на свое, ни на ее спасение. «Манон, что нам делать? — сказал я ей, когда она немного пришла в себя.— Увы! на что решиться? Мне необходимо бежать. Хотите ли вы остаться в городе? Да, оставайтесь здесь; здесь вы еще можете быть счастливы; я же ухожу далеко от вас искать смерти среди диких племен или в когтях хищных зверей».

Она поднялась, несмотря на свою слабость; взяла меня за руку, чтобы проводить до двери. «Бежим вместе,— сказала она,— не будем терять ни минуты. Труп Синнеле могут случайно найти, и мы не успеем уйти далеко».— «Но, дорогая Манон,— возразил я в полном замешательстве,— куда же нам идти? Есть ли у вас какая-нибудь надежда? Не лучше ли вам попытаться жить здесь без меня, а мне добровольно отдаться в руки губернатора?»

Предложение это лишь еще более воспламенило ее стремление бежать; мне оставалось только последовать за нею. У меня еще было настолько присутствия духа, чтобы, уходя, захватить с собой несколько фляжек с крепкими напитками из нашего запаса и всю провизию, какая поместилась в моих карманах. Сказав прислуге, бывшей в соседней комнате, что мы идем на вечернюю прогулку (таков был наш заведенный порядок), мы удалились из города с большей поспешностью, чем, казалось, позволяло хрупкое сложение Манон.

Хотя я был по-прежнему в нерешительности относительно места нашего убежища, я тем не менее лелеял две надежды, и, не будь их, я предпочел бы смерть неизвестности о том, что ждет Манон в будущем. За десять почти месяцев пребывания в Америке я достаточно хорошо изучил страну, чтобы узнать правила обхождения с дикарями. Можно было отдаться в их руки, не опасаясь верной смерти. Я даже выучил несколько слов на их языке и при разных встречах, которые мне приходилось иметь с ними, узнал некоторые их обычаи.

Помимо этого жалкого плана, я возлагал также надежду на англичан, которые, подобно нам, владеют поселениями в этой части Нового Света. Но я страшился дальности расстояния: до их колоний предстояло нам много дней пути по бесплодным равнинам и через горы, столь крутые и обрывистые, что дорога туда была трудна даже для самых грубых и выносливых людей. Все же я льстил себя надеждой, что дикари нам помогут в пути, а англичане дадут нам приют в своих поселениях.

Мы шли, не останавливаясь, насколько позволяли силы Манон, то есть около двух миль, ибо несравненная моя возлюбленная решительно отказывалась сделать привал. Наконец, изнемогая от усталости, она призналась, что дальше идти не в силах. Была уже ночь; мы уселись посреди обширной равнины, не найдя даже дерева для прикрытия. Первой заботой ее было сменить на моей ране повязку, которую сделала она собственноручно перед нашим уходом. Я тщетно противился ее воле; я бы смертельно огорчил ее, если бы лишил ее удовольствия думать, что мне хорошо и я вне опасности, прежде чем она позаботится о себе самой. В течение нескольких минут я покорялся ее желаниям; я принимал ее заботы молча и со стыдом.

Когда она перевязала мне рану, я снял с себя все одежды и уложил ее на них, чтобы земля была ей менее жестка. Как она ни противилась, я заставил ее принять все мои заботы о возможном ее удобстве. Я согревал ее руки горячими поцелуями и жаром своего дыхания. Всю ночь напролет я бодрствовал подле нее и возносил к небу мольбы о ниспослании ей сна тихого и безмятежного. О боже! сколь пламенны и искренни были мои моления! и сколь жестоко ты их отверг!

Позвольте мне досказать в нескольких словах эту повесть, воспоминание о коей убивает меня. Я рассказываю вам о несчастье, подобного которому не было и не будет; всю свою жизнь обречен я плакать об утрате. Но, хотя мое горе никогда не изгладится из памяти, душа каждый раз холодеет от ужаса, когда я приступаю к рассказу о нем.

Часть ночи провели мы спокойно; я думал, что моя дорогая возлюбленная уснула, и не смел дохнуть, боясь потревожить ее сон. Только стало светать, я заметил, прикоснувшись к рукам ее, что они холодные и дрожат; я поднес их к своей груди, чтобы согреть. Она почувствовала мое движение и, сделав усилие, чтобы взять мою руку, сказала мне слабым голосом, что, видимо, последний час ее близится.

Сначала я отнесся к ее речам, как к обычным фразам, произносимым в несчастии, и отвечал только нежными утеше-

ниями любви. Но учащенное ее дыхание, молчание в ответ на мои вопросы, судорожные пожатия рук, в которых она продолжала держать мои руки, показали мне, что конец ее страданий недалек.

Не требуйте, чтобы я описал вам то, что я чувствовал, или пересказал вам последние ее слова. Я потерял ее; она и в самую минуту смерти не уставала говорить мне о своей любви. Это все, что я в силах сообщить вам об этом роковом и горестном событии.

Моя душа не последовала за ее душою. Небо считало меня, конечно, недостаточно еще сурово наказанным; ему угодно было, чтобы я и дальше влачил томительную и жалкую жизнь. Я добровольно отказываюсь от жизни счастливой.

Более суток не отрывал я уст своих от лица и рук дорогой моей Манон. Намерением моим было умереть там же; но в начале второго дня я рассудил, что после моей смерти тело ее станет добычей диких зверей. Я решил похоронить ее и ждать смерти на ее могильном холме. Я был уже так близок к концу, ослабев от голода и страданий, что мне стоило огромных усилий держаться на ногах. Я принужден был прибегнуть к подкрепительным напиткам, что захватил с собою; они дали мне силы для совершения печального обряда. Мне не трудно было разрыть землю в том месте, где я находился: то была песчаная равнина. Я сломал шпагу, чтобы она заменила мне заступ; но она оказала мне меньше помощи, чем мои собственные руки. Я вырыл широкую яму и положил в нее кумир своего сердца, предварительно завернув ее в мои одежды, дабы песок не коснулся ее. Но перед тем я покрыл ее поцелуями со всем пылом беспредельной любви. Я присел около нее; долго смотрел на нее, не решаясь засыпать могилу. Наконец силы мои стали слабеть, и, боясь, что они иссякнут совсем прежде окончания моей работы, я схоронил навеки в лоне земли то, что было на ней самого совершенного и самого милого; затем я лег на могилу, уткнувшись лицом в землю, и, закрыв глаза с тем, чтобы никогда не открывать их, вознес к небу моление о помощи и стал с нетерпением ожидать смерти.

Вам трудно будет поверить, что во время скорбного обряда у меня не скатилось ни одной слезы, не вырвалось ни единого вздоха. Глубокое уныние мое и твердая решимость умереть пресекли всякие выражения отчаяния и горя. Я долго лежал на могиле, пока не потерял последних остатков сознания и чувства.

После того, что вы слышали, заключение повести моей столь маловажно, что не заслуживает вашего любезного внима-

ния. Когда тело Синнеле было принесено в город и раны его тщательно осмотрены, оказалось, что он не только не мертв, но даже не ранен опасно. Он сообщил дяде, как все произошло между ними, и чувство чести побудило его тотчас же во всеуслышание заявить о моем благородстве. Послали за мной и, обнаружив, что дом пустой, заподозрили наше бегство. Было слишком поздно, чтобы снарядить погоню по свежим следам; но следующие два дня были посвящены преследованию.

Я был найден без признаков жизни на могиле Манон, и, видя меня почти обнаженным и истекающим кровью, никто не сомневался, что я ограблен и убит. Меня понесли в город. Покачивание носилок привело меня в чувство. Вздохи, которые я испустил, открывая глаза и с болью видя себя среди людей, показали, что мне еще может быть подана помощь; к сожалению, мне оказали ее слишком успешно.

Меня все же заточили в тесную темницу. Было наряжено следствие; и, так как Манон не появлялась, меня обвинили в том, что в припадке бешеной ревности я заколол ее. Я просто и чистосердечно рассказал, как произошло прискорбное событие. Синнеле, несмотря на неистовое горе, в какое поверг его мой рассказ, имел великодушие ходатайствовать о моем помиловании и добился его.

Я был настолько слаб, что меня принуждены были перенести из темницы прямо в постель, к которой три месяца я был прикован жестокой болезнью. Мое отвращение к жизни не ослабевало; я постоянно призывал смерть и долгое время упорно отвергал все лекарства. Но небо, покарав меня столь сурово, намеревалось обратить мне на пользу все бедствия и невзгоды: оно просветило меня светом своим и тем дало мыслям моим направление, достойное моего рождения и воспитания.

Спокойствие понемногу стало восстанавливаться в моей душе, и с этой переменой скоро последовало и выздоровление. Я отдался всецело внушениям чести и продолжал выполнять скромную работу в ожидании французских кораблей, которые раз в год совершают плавание в эту часть Америки. Я решил возвратиться на родину, дабы жизнью разумной и порядочной искупить позор своих проступков. Синнеле позаботился перенести тело дорогой моей возлюбленной в достойное место упокоения.

Месяца через полтора, гуляя в одиночестве по берегу, я увидал торговое судно, приближающееся к Новому Орлеану. Я стал внимательно следить за высадкой экипажа и был крайне поражен, узнав Тибержа в числе пассажиров, направлявшихся к

городу. Хотя после моих несчастий я сильно переменился, старый верный друг еще издали узнал меня. Он сообщил мне, что единственным поводом к его путешествию было желание повидаться со мною и убедить меня вернуться во Францию; получив письмо мое из Гавра, он лично приехал туда, чтобы оказать мне помощь, о которой я просил; огорченный известием о моем отъезде, он собирался немедленно отправиться вслед за мною, если бы нашелся готовый к отплытию корабль; несколько месяцев он искал таковой в разных портах и, найдя наконец в Сен-Мало корабль, отплывавший на Мартинику, погрузился на него, надеясь легко переправиться оттуда в Новый Орлеан; по пути корабль был захвачен испанскими пиратами и отведен к одному из их островов, оттуда Тибержу удалось бежать, и после разных скитаний он повстречал это маленькое судно, которое благополучно доставило его ко мне.

Я не находил слов выразить признательность столь великодушному и преданному другу. Я повел его к себе, предоставил в его распоряжение весь свой дом. Я рассказал ему все, что случилось со мною после отъезда из Франции и, дабы порадовать его неожиданностью, сообщил, что семена добродетели, брошенные некогда им в мое сердце, начали приносить плоды, которые должны удовлетворить его. Он ответил на это, что столь сладостное для него уверение вознаграждает его за все тяготы путешествия.

Вместе мы провели с ним два месяца в Новом Орлеане в ожидании кораблей из Франции и, пустившись наконец в море, высадились в Гавр-де-Грасе две недели тому назад. По прибытии я написал родным. Из ответа старшего брата я узнал печальную весть о смерти отца, которую, как я с трепетом думаю, несомненно, ускорили мои заблуждения. Пользуясь попутным ветром, я тотчас же сел на корабль, отплывавший в Кале, а отсюда поеду к одному дворянину, моему родственнику, живущему в нескольких милях от города; там должен ждать меня брат, о чем сообщает он мне в письме своем.

ШОДЕРЛО ДЕ ЛАКЛО

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ,

ИЛИ ПИСЬМА, СОБРАННЫЕ В ОДНОМ ЧАСТНОМ КРУЖКЕ ЛИЦ И ОПУБЛИКОВАННЫЕ ГОСПОДИНОМ Ш. ДЕ Л. В НАЗИДАНИЕ НЕКОТОРЫМ ДРУГИМ

Я наблюдал нравы своего времени
и опубликовал эти письма

Жан-Жак Руссо.
Предисловие к «Новой Элоизе».

ПЕРЕВОД П РЫКОВОЙ

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Считаем своим долгом предупредить Читателей, что, несмотря на заглавие этой Книги и на то, что говорит о ней в своем предисловии Редактор, мы не можем ручаться за подлинность этого собрания писем и даже имеем весьма веские основания полагать, что это всего-навсего Роман.

Сдается нам также, что Автор, хотя он, казалось бы, стремится к правдоподобию, сам нарушает его, и притом весьма неуклюжим образом, из-за времени, к которому он приурочил изложенные им события. И впрямь, многим из выведенных у него действующих лиц свойственны нравы настолько дурные, что просто невозможно предположить, чтобы они были нашими современниками, жили в век торжества философии, когда распространяющееся повсюду просвещение сделало, как известно, всех мужчин столь благородными, а всех женщин столь скромными и благонравными.

Мнение наше, следовательно, таково, что, ежели события, описанные в этом Сочинении, и являются в какой-то мере истинными, они могли произойти лишь в каких-то иных местах или в иные времена, и мы строго порицаем Автора, который, видимо, поддался соблазну как можно больше заинтересовать Читателя, приблизившись к своему времени и к своей стране, и потому осмелился изобразить в наших обличиях и среди нашего быта нравы, нам до такой степени чуждые.

Во всяком случае, мы хотели бы, насколько возможно, оградить слишком доверчивого Читателя от каких-либо недоумений по этому поводу и потому подкрепляем свою точку зрения соображением, которое высказываем тем смелее, что

оно кажется нам совершенно бесспорным и неопровержимым: несомненно, одни и те же причины должны приводить к одним и тем же следствиям, а между тем в наши дни мы что-то не видим девиц, которые, обладая доходом в шестьдесят тысяч ливров, уходили бы в монастырь, а также президентш, которые, будучи юными и привлекательными, умирали бы от горя.

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Это Сочинение, или, вернее, это Собрание писем, Читатели возможно, найдут слишком обширным, а между тем оно содержит лишь незначительную часть той переписки, из которой оно нами извлечено. Лица, которым она досталась, пожелали опубликовать ее и поручили мне подготовить письма к изданию, я же в качестве вознаграждения за свой труд попросил лишь разрешения изъять все то, что представлялось мне излишним, и постарался сохранить только письма, показавшиеся мне совершенно необходимыми либо для понимания событий, либо для развития характеров. Если к этой несложной работе прибавить размещение избранных мною писем в определенном порядке — а порядок этот был почти всегда хронологический — и еще составление немногих кратких примечаний, большей частью касающихся источников тех или иных цитат или обоснования допущенных мною сокращений, то к этому и сведется все мое участие в данном Сочинении. Никаких иных обязанностей я на себя не принимал [1].

Предлагал я сделать ряд более существенных изменений, позаботиться о чистоте языка и стиля, далеко не всегда безупречных. Добивался также права сократить некоторые чересчур длинные письма — среди них есть и такие, где говорится

[1] Должен также предупредить, что я исключил или изменил имена всех лиц, о которых идет речь в этих письмах, и что ежели среди имен, мною придуманных, найдутся принадлежащие кому-либо, то это следует считать моей невольной ошибкой и не делать из нее никаких выводов.

без всякой связи и почти без перехода о вещах, никак друг с другом не вяжущихся. Этой работы, согласия на которую я не получил, было бы, разумеется, недостаточно, чтобы придать Произведению подлинную ценность, но она, во всяком случае, избавила бы Книгу от некоторых недостатков.

Мне возразили, что желательно было обнародовать самые письма, а не какое-то Произведение, по ним составленное, и что, если бы восемь или десять человек, принимавших участие в данной переписке, изъяснялись одинаково чистым языком, это противоречило бы и правдоподобию и истине. Я, со своей стороны, заметил, что до этого весьма далеко и что, напротив, ни один автор данных писем не избегает грубых, напрашивающихся на критику ошибок, но на это мне отвечали, что всякий рассудительный Читатель и не может не ждать ошибок в собрании писем частных лиц, если даже среди опубликованных доныне писем различных весьма уважаемых авторов, в том числе и некоторых академиков, нет ни одного вполне безупречного по языку. Доводы эти меня не убедили,— я полагал, как и сейчас еще полагаю, что приводить их гораздо легче, чем с ними соглашаться. Но здесь я не был хозяином и потому подчинился, оставив за собою право протестовать и заявить, что держусь противоположного мнения. Сейчас я это и делаю.

Что же касается возможных достоинств данного Произведения, то, пожалуй, по этому вопросу мне высказываться не следует, ибо мое мнение не должно и не может иметь влияния на кого бы то ни было. Впрочем, те, кто, приступая к чтению, любят знать хотя бы приблизительно, на что им рассчитывать, те, повторяю, пусть читают мое предисловие дальше. Всем прочим лучше сразу же перейти к самому Произведению: им вполне достаточно и того, что́ я пока сказал.

Должен прежде всего добавить, что, если — охотно в этом признаюсь — у меня имелось желание опубликовать данные письма, я все же весьма далек от каких-либо надежд на успех. И да не примут этого искреннего моего признания за наигранную скромность Автора. Ибо заявляю столь же искренне, что, если бы это Собрание писем не было, на мой взгляд, достойным предстать перед читающей Публикой, я бы не стал им заниматься. Попытаемся разъяснить это кажущееся противоречие.

Ценность того или иного Произведения заключается в его полезности, или же в доставляемом им удовольствии, или же и в том и в другом вместе, если уж таковы его свойства. Но успех отнюдь не всегда служит показателем достоинства, он часто зависит более от выбора сюжета, чем от его изложения,

более от совокупности предметов, о которых идет речь в Произведении, чем от того, как именно они представлены. Между тем в данное Собрание, как это явствует из заглавия, входят письма целого круга лиц, и в нем царит такое разнообразие интересов, которое ослабляет интерес Читателя. К тому же почти все выражаемые в нем чувства лживы или притворны и потому способны вызвать в Читателе лишь любопытство, а оно всегда слабее, чем интерес, вызванный подлинным чувством, а главное, в гораздо меньшей степени побуждает к снисходительной оценке и весьма чутко улавливает всякие мелкие ошибки, досадно мешающие чтению.

Недостатки эти отчасти, быть может, искупаются одним достоинством, свойственным самой сущности данного Произведения, а именно, разнообразием стилей — качеством, которого Писателю редко случается достигнуть, но которое здесь возникает как бы само собой и, во всяком случае, спасает от скуки однообразия. Кое-кто, пожалуй, оценит и довольно большое количество наблюдений, рассеянных в этих письмах, наблюдений, либо совсем новых, либо малоизвестных. Вот, полагаю, и все удовольствие, какое от них можно получить, даже судя о них с величайшей снисходительностью.

Польза этого Произведения будет, может быть, оспариваться еще больше, однако, мне кажется, установить ее значительно легче. Во всяком случае, на мой взгляд, разоблачить способы, которыми бесчестные люди портят порядочных, значит оказать большую услугу добрым нравам. В Сочинении этом можно будет найти также доказательство и пример двух весьма важных истин, которые находятся, можно сказать, в полном забвении, если исходить из того, как редко осуществляются они в нашей жизни. Первая истина состоит в том, что каждая женщина, соглашающаяся вести знакомство с безнравственным мужчиной, становится его жертвой. Вторая — в том, что каждая мать, допускающая, чтобы дочь ее оказывала какой-либо другой женщине больше доверия, чем ей самой, поступает в лучшем случае неосторожно. Молодые люди обоего пола могут также узнать из этой Книги, что дружба, которую, по-видимому, так легко дарят им люди дурных нравов, всегда является лишь опасной западней, роковой и для добродетели их, и для счастья. Однако все хорошее так часто употребляется во зло, что, не только не рекомендуя молодежи чтение настоящей Переписки, я считаю весьма существенным держать подобные Произведения подальше от нее. Время, когда эта именно книга может уже не быть опасной, а, наоборот, приносить пользу, очень

хорошо определила некая достойная мать, выказав не простую рассудительность, но подлинный ум. «Я считала бы,— сказала она мне, ознакомившись с этой рукописью,— что окажу настоящую услугу своей дочери, если дам ей ее прочесть в день ее замужества». Если все матери семейств станут так думать, я буду вечно радоваться, что опубликовал ее.

Но, даже исходя из столь лестного предположения, мне все же кажется, что это Собрание писем понравится немногим. Мужчинам и женщинам развращенным выгодно будет опорочить Произведение, могущее им повредить. А так как у них вполне достаточно ловкости, они, возможно, привлекут на свою сторону ригористов, возмущенных картиной дурных нравов, которая здесь изображена.

У так называемых вольнодумцев не вызовет никакого сочувствия набожная женщина, которую именно из-за ее благочестия они будут считать жалкой бабенкой, люди же набожные вознегодуют на то, что добродетель не устояла и религиозное чувство не оказалось достаточно сильным.

С другой стороны, людям с тонким вкусом покажется противным слишком простой и неправильный стиль многих писем, а средний читатель, убежденный, что все напечатанное есть плод писательского труда, усмотрит в иных письмах вымученную манеру Автора, выглядывающего из-за спины героев, которые, казалось бы, говорят от своего имени.

Наконец, может быть высказано и довольно единодушное мнение, что все хорошо на своем месте и что если чрезмерно изысканный стиль писателей действительно лишает естественного изящества письма частных людей, то небрежности, которые зачастую допускаются в последних, становятся настоящими ошибками и делают их неудобочитаемыми, когда они появляются в печати.

От всего сердца признаю, что, быть может, все эти упреки вполне обоснованны. Думаю также, что смог бы на них возразить, не выходя даже за допустимые для Предисловия рамки. Но для того, чтобы необходимо было отвечать решительно на все, нужно, чтобы само Произведение не способно было ответить решительно ни на что, а если бы я так считал, то уничтожил бы и Предисловие и Книгу.

ПИСЬМО 1

*От Сесили Воланж к Софи Карне в монастырь ***ских урсулинок*

Ты видишь, милая моя подружка, что слово свое я держу и что чепчики да помпоны не отнимают всего моего времени: для тебя его у меня всегда хватит. А между тем за один этот день я видела больше всяких нарядов, чем за четыре года, проведенные нами вместе. И думаю, что при первом же моем посещении гордая Танвиль [1], которую я непременно попрошу выйти ко мне, почувствует больше досады, чем надеялась причинить нам каждый раз, когда навещала нас in fiocchi. Мама обо всем со мной советовалась: она гораздо меньше, чем прежде, обращается со мной, как с пансионеркой. У меня есть своя горничная; в моем распоряжении отдельная комната и кабинет, я пишу тебе за прелестным секретером, и мне вручили ключ от него, так что я могу запирать туда все, что захочу. Мама сказала мне, что я буду видеться с нею ежедневно в то время, когда она встает с постели, что к обеду мне достаточно быть тщательно причесанной, так как мы всегда будем одни, и что тогда она будет сообщать мне, какие часы после обеда я должна буду проводить с ней. Все остальное время в полном моем распоряжении. У меня есть моя арфа, рисование и книги, как в монастыре, с той только разницей, что здесь нет матери Перпетуи, чтобы меня бранить, и что стоит мне захотеть — я могу предаваться полному безделью. Но так как со мной нет моей Софи, чтобы болтать и смеяться, то я уж предпочитаю быть чем-нибудь занятой.

Сейчас еще нет пяти часов. К маме мне надо в семь — времени достаточно, было бы только что рассказывать! Но со мной еще ни о чем не заговаривали, и не будь всех приготовлений,

[1] Воспитанница того же монастыря.

которые делаются на моих глазах, и множества модисток, являющихся к нам ради меня, я думала бы, что вовсе и не собираются выдавать меня замуж и что это просто очередная выдумка нашей доброй Жозефины [1]. Однако мама часто говорила мне, что благородная девица должна оставаться в монастыре до замужества, и раз уж она взяла меня оттуда, Жозефина как будто права.

У подъезда только что остановилась карета, и мама велела передать мне, чтобы я тотчас же шла к ней. А что, если это он? Я не одета, рука у меня дрожит, сердце колотится. Я спросила горничную, знает ли она, кто у мамы. «Да это же господин К***»,— ответила она и засмеялась. Ах, кажется, это он! Я скоро вернусь и сообщу тебе, что произошло. Вот, во всяком случае, его имя. Нельзя заставлять себя ждать. Прощай, на одну минутку.

Как ты станешь смеяться над бедняжкой Сесилью! О, как мне было стыдно! Но и ты попалась бы так же, как я. Когда я вошла к маме, рядом с ней стоял какой-то господин в черном. Я поклонилась ему, как умела лучше, и застыла на месте. Можешь себе представить, как я его разглядывала! «Сударыня,— сказал он маме, ответив на мой поклон,— какая прелестная у вас барышня, и я больше чем когда-либо ценю вашу доброту». При этих словах, столь недвусмысленных, я задрожала так, что едва удержалась на ногах, и тут же опустилась в первое попавшееся кресло, вся красная и ужасно смущенная. Не успела я сесть — смотрю, человек этот у моих ног. Тут уж твоя несчастная Сесиль совсем потеряла голову. Я, как мама говорит, просто ошалела: вскочила с места, да как закричу... ну совсем, как тогда, в ту страшную грозу. Мама расхохоталась и говорит мне: «Что с вами? Сядьте и дайте этому господину снять мерку с вашей ноги». И правда, милая моя, господин-то оказался башмачником! Не могу и передать тебе, какой меня охватил стыд; к счастью, кроме мамы, никого не было. Думаю, что, когда я выйду замуж, то пользоваться услугами этого башмачника не стану. Согласись, что мы необыкновенно искусно разбираемся в людях. Прощай, уже скоро шесть, и горничная говорит, что пора одеваться. Прощай, дорогая Софи, я люблю тебя так, словно еще нахожусь в монастыре.

P. S. Не знаю, с кем переслать письмо; подожду уж прихода Жозефины.

Париж, 3 августа 17...

---

[1] Привратница монастыря.

ПИСЬМО 2

*От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону в замок ****

Возвращайтесь, любезный виконт, возвращайтесь. Что вы делаете и что вам вообще делать у старой тетки, уже завещавшей вам все свое состояние? Уезжайте от нее немедленно; вы мне нужны. Мне пришла в голову замечательная мысль, и я хочу поручить вам ее осуществление. Этих немногих слов должно быть вполне достаточно, и вы, бесконечно польщенный моим выбором, должны были бы уже лететь ко мне, чтобы коленопреклоненно выслушивать мои приказания. Но вы злоупотребляете моей благосклонностью даже теперь, когда она вам уже не нужна. Мне же остается выбирать между постоянным ожесточением против вас и беспредельной снисходительностью, и, на ваше счастье, доброта моя побеждает. Поэтому я хочу раскрыть вам свой план, но поклянитесь мне, что, как верный мой рыцарь, не будете затевать никаких других похождений, пока не доведете до конца этого. Оно достойно героя: вы послужите любви и мести. Это будет лишнее *шалопайство*[1], которое вы внесете в свои мемуары: да, в свои мемуары, ибо я желаю, чтобы они были в один прекрасный день напечатаны, и даже готова сама написать их. Но довольно об этом — вернемся к тому, что меня сейчас занимает.

Госпожа де Воланж выдает свою дочь замуж; пока это еще тайна, но мне она ее вчера сообщила. И как вы думаете, кого она наметила себе в зятья? Графа де Жеркура. Кто бы мог предположить, что я стану кузиной Жеркура? Я просто вне себя от бешенства... И вы еще не догадываетесь? Этакий тяжелодум! Неужто вы простили ему интендантшу? А у меня-то разве не больше причин пенять на него, чудовище вы этакое![2] Но я готова успокоиться — надежда на мщение умиротворяет мою душу.

И меня и вас Жеркур без конца раздражал тем, что он придает своей будущей жене такое значение, а также глупой самонадеянностью, заставляющей его думать, что он избегнет неиз-

---

[1] Слова *«шалопай, шалопайство»*, которые в хорошем обществе, к счастью, уже выходят из употребления, были в большом ходу, когда писались эти письма.

[2] Для понимания этого места надо иметь в виду, что граф де Жеркур бросил маркизу де Мертей ради интендантши де ***, которая для него пожертвовала виконтом де Вальмоном, и что именно тогда маркиза и виконт сошлись. Так как история эта имела место гораздо раньше событий, о которых идет речь в этих письмах, всю относящуюся к ней переписку мы предпочли здесь не помещать.

бежного. Вам известно его нелепое предубеждение в пользу монастырского воспитания и еще более смехотворный предрассудок насчет какой-то особой скромности блондинок. Я, право, готова побиться об заклад: хотя у маленькой Воланж шестьдесят тысяч ливров дохода, он никогда не решился бы на этот брак, будь она брюнеткой и не получи воспитания в монастыре. Докажем же ему, что он просто-напросто дурак: ведь рано или поздно он все равно окажется дураком, и не это меня смущает, но было бы забавно, если бы с этого началось. Как бы мы потешались на другой день, слушая его хвастливые россказни, а уж хвастать-то он будет непременно! Вдобавок эту девочку просветите вы, и нам уж очень не повезло бы, если бы Жеркур, как и всякий другой, не стал в Париже притчей во языцех.

Впрочем, героиня этого нового романа заслуживает с вашей стороны всяческих стараний. Она и впрямь хорошенькая; красотке всего пятнадцать — настоящий бутон розы. Правда, донельзя неловка и лишена каких бы то ни было манер. Но вас, мужчин, подобные вещи не смущают. Зато у нее томный взгляд, который сулит многое. Добавьте к этому, что ее рекомендую я, и вам останется только поблагодарить меня и повиноваться.

Письмо это вы получите завтра утром. Я требую, чтобы завтра же в семь часов вечера вы были у меня. До восьми я никого не буду принимать, даже ныне царствующего кавалера: для такого большого дела у него не хватит ума. Как видите, я отнюдь не ослеплена любовью. В восемь часов я отпущу вас, а в десять вы вернетесь ужинать с прелестным созданием, ибо мать и дочь у меня ужинают. Прощайте, уже за полдень, и скоро мне будет не до вас.

Париж, 4 августа 17...

ПИСЬМО 3

От Сесили Воланж к Софи Карне

Я еще ничего не знаю, дорогая моя! Вчера у мамы было за ужином много гостей. Хотя я и наблюдала с интересом за всеми, особенно за мужчинами, мне было очень скучно. Все — и мужчины, и женщины — внимательно разглядывали меня, а потом шушукались; я отлично видела, что говорили обо мне, и краснела — никак не могла с собой справиться. А мне бы очень хотелось этого, я ведь заметила, что, когда глядели на других женщин, те не краснели. А может быть, это их румяна скры-

вают краску смущения,— очень уж, должно быть, трудно не покраснеть, когда на тебя пристально смотрит мужчина.

Больше всего меня беспокоила невозможность узнать, что́ обо мне думают. Впрочем, кажется, раза два-три я расслышала слово *хорошенькая,* но также — и очень ясно — слово *неловкая.* Должно быть, это правда, ибо женщина, которая так сказала, родственница и приятельница мамы. Кажется, она даже сразу почувствовала ко мне расположение. Она — единственная, кто в этот вечер немного со мной поговорил. Завтра мы у нее ужинаем.

Слышала я также после ужина, как один мужчина сказал другому — я убеждена, что речь шла обо мне: «Потерпим, пока дозреет, зимой посмотрим». Может быть, это как раз тот, который должен на мне жениться. Но, значит, это произойдет только через четыре месяца! Хотела бы я знать правду.

Вот и Жозефина, она говорит, что ей надо спешить. Но мне все же хочется рассказать тебе, как я допустила одну *неловкость.* О, кажется, та дама права!

После ужина сели играть в карты. Я подсела к маме и — сама уж не знаю, как это случилось,— почти тотчас же заснула. Разбудил меня взрыв хохота. Не знаю, надо мной ли смеялись, но думаю, что надо мной. Мама разрешила мне удалиться, чему я была ужасно рада. Представь себе, был уже двенадцатый час. Прощай, дорогая моя Софи, люби, как прежде, свою Сесиль. Уверяю тебя, что свет вовсе не так занимателен, как нам казалось.

Париж, 4 августа 17...

ПИСЬМО 4

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей в Париже

Приказания ваши — прелестны, а еще милее то, как вы их даете. Вы способны внушить любовь к деспотизму. Как вы сами знаете, я уже не впервые сожалею, что перестал быть вашим рабом. И каким бы «чудовищем» я, по вашим словам, ни был, я никогда не вспоминаю без удовольствия время, когда вы благосклонно давали мне более нежные имена. Порою даже я хотел бы снова заслужить их и в конце концов совместно с вами явить свету пример постоянства. Но нас призывают более важные цели. Удел наш — побеждать, мы должны ему покориться. Быть может, в конце жизненного пути мы с вами опять встретимся. Ибо, не в обиду будь вам сказано, прекраснейшая моя маркиза,

вы от меня, во всяком случае, не отстаете. И с тех пор, как мы, расставшись для блага мира, проповедуем раздельно друг от друга истинную веру, сдается мне, что как миссионер любви вы обратили больше людей, чем я. Мне известны ваше рвение, ваше пламенное усердие, и если бы бог любви судил нас по делам нашим, вы стали бы когда-нибудь святой покровительницей какого-нибудь большого города, в то время как друг ваш сделался — самое большее — деревенским праведником. Подобные речи удивляют вас, не правда ли? Но я уже целую неделю не слышу других и не говорю по-иному. И дабы усовершенствоваться в них, я вынужден пойти наперекор вам.

Не гневайтесь и выслушайте меня. Вам, хранительнице всех тайн моего сердца, доверю я величайший из задуманных мною замыслов. Что вы мне предлагаете? Соблазнить девушку, которая ничего не видела, ничего не знает, которая была бы, так сказать, выдана мне беззащитной. Первые же знаки внимания опьянят ее, а любопытство завлечет, может быть, еще быстрее любви. Кто угодно преуспел бы в этом деле не хуже меня. Не таково предприятие, которое я сейчас замыслил. Любовь, сплетающая мне венок, колеблется между миртом и лавром, а вернее всего — соединит их, чтобы увенчать мое торжество. Вы сами, прекрасный мой друг, охвачены будете благоговейным уважением и в восторге произнесете: «Вот мужчина, который мне по сердцу!»

Вы знаете президентшу Турвель — ее набожность, любовь к супругу, строгие правила. Вот на кого я посягаю, вот достойный меня противник, вот цель, к которой я устремляюсь.

> И если не дано мне будет обладанье,
> Я обретаю честь хоть в прелести дерзанья.

Можно привести и плохие стихи, когда они принадлежат великому поэту [1].

Знайте же, что президент в Бургундии, где ведет большой судебный процесс (надеюсь, что мне он проиграет еще более важную тяжбу). Его безутешная половина должна провести здесь весь срок своего горестного соломенного вдовства. Единственными развлечениями должны были служить ей ежедневная обедня, немногочисленные посещения бедняков здешней округи, благочестивые беседы с моей старой тетушкой да изредка унылая партия в вист. Я же готовлю ей кое-что позани-

[1] Лафонтену.

мательней. Мой добрый ангел привел меня сюда на ее и на мое счастье. А мне, безумцу, жаль было тех двадцати четырех часов, которыми я должен был пожертвовать приличия ради! Каким наказанием была бы для меня теперь необходимость вернуться в Париж! К счастью, играть в вист можно лишь вчетвером, а так как здесь для этого имеется лишь местный священник, моя бессмертная тетушка настоятельно просила меня пожертвовать ей несколькими днями. Вы догадываетесь, что я согласился. Вы и не представляете себе, как она ухаживает за мною с тех пор и, в особенности, как радуется, что я неизменно сопровождаю ее к обедне и на другие церковные службы. Она и не подозревает, какому божеству я там поклоняюсь.

Итак, вот уже четыре дня, как я одержим сильной страстью. Вы знаете, как пылко я умею желать, с каким неистовством преодолеваю препятствия, но вы не знаете, как одиночество распаляет желания! У меня теперь лишь одна мысль. Лишь об одном думаю я целый день, и оно же снится мне ночью. Я во что бы то ни стало должен обладать этой женщиной, чтобы не оказаться в смешном положении влюбленного, ибо до чего только не доведет неудовлетворенное желание! О сладостное обладание, взываю к тебе ради моего счастья, а еще больше ради моего покоя! Как счастливы мы, что женщины так слабо защищаются! Иначе мы были бы лишь жалкими их рабами. Сейчас я полон чувства признательности ко всем доступным женщинам, что, естественно, влечет меня к вашим ногам. Припадаю к ним, вымаливая себе прощение, и на этом же кончаю мое слишком затянувшееся письмо. Прощайте, прекраснейший друг мой, и не гневайтесь!

Из замка*** 5 августа 17...

ПИСЬМО 5

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Знаете ли вы, виконт, что письмо ваше донельзя дерзко и что я имела бы все основания рассердиться? Однако оно ясно доказало мне, что вы потеряли голову, и только это спасло вас от моего гнева. Как великодушный и чуткий друг, я забываю о своей обиде и думаю лишь об угрожающей вам опасности. И как ни скучно читать наставления, я готова на это — так они вам в настоящий момент необходимы.

Вам обладать президентшей Турвель! Какая смешная причуда! Узнаю́ вашу взбалмошность, которая всегда побуждает

вас желать то, что кажется вам недоступным. Что же представляет собой эта женщина? Да, если угодно,— у нее правильные черты лица, но без всякой выразительности, она довольно хорошо сложена, но в ней нет изящества, она всегда смехотворно одевается, с вечной косынкой на груди, закрывающей ее до самого подбородка. Скажу вам как друг: и одной такой женщины достаточно, чтобы вы совершенно пали в глазах общества. Припомните тот день, когда она собирала пожертвования в церкви святого Роха и когда вы еще благодарили меня за доставленное вам зрелище. Я так и вижу ее под руку с этим длинноволосым верзилой — как она чуть не падает на каждом шагу, все время задевая кого-нибудь за голову своей четырехаршинной корзиной, и краснеет при каждом поклоне. Кто бы подумал тогда, что вы воспылаете к этой женщине желанием? Ну же, виконт, покраснейте в свою очередь и придите в себя. Обещаю вам, что никому ничего не расскажу.

И вдобавок — подумайте, какие неприятности вас ожидают! С каким соперником придется вам тягаться! С мужем! Разве не ощущаете вы себя униженным при одном этом слове? Какой позор, если вы потерпите неудачу! И как мало славы даст вам победа! Больше того: и наслаждений никаких не ждите. Разве получишь их с недотрогой? Я имею в виду искренних недотрог, которые скромничают даже в самый миг наслаждения и не дают вам вкусить всю полноту блаженства. Им неведомы такие радости любви, как полное самозабвение, как то исступление сладострастия, когда наслаждение как бы очищается в самой своей чрезмерности. Могу вам предсказать: в самом лучшем случае ваша президентша возомнит, что все для вас сделала, обращаясь с вами как с мужем, а между тем даже в наинежнейшем супружеском единении полного слияния с любимым существом никогда не бывает. Данный же случай гораздо хуже: ваша недотрога еще и святоша, притом у нее, словно у женщин из простонародья, набожность, обрекающая на вечное детство. Может быть, вам и удастся преодолеть это препятствие, но не льстите себя надеждой, что сможете его уничтожить: победив в ней любовь к богу, вы не справитесь со страхом перед дьяволом. И когда, держа любовницу в объятиях, вы ощутите трепет ее сердца, это будет дрожь не любви, а страха. Может быть, вы и смогли бы сделать что-нибудь из этой женщины, если бы узнали ее раньше; но ей двадцать два года, и она замужем уже около двух лет. Поверьте мне, виконт, если женщина до такой степени засохла, ее надо предоставить самой себе: она навсегда останется совершенной *посредственностью.*

А между тем ради столь привлекательного предмета вы не хотите повиноваться мне, хороните себя в склепе вашей тетушки и отказываетесь от очаровательнейшего приключения, в котором можете показать себя самым блестящим образом. Какой же рок судил, чтобы Жеркур всегда имел перед вами преимущество? Поверьте, я говорю с вами без малейшего раздражения, но в настоящую минуту мне и впрямь сдается, что вы не заслуживаете своей славы, а главное — что-то толкает меня отказать вам в доверии. Никогда не решусь я поверять свои тайны любовнику госпожи де Турвель.

Знайте, однако, что маленькая Воланж уже вскружила одну голову. Юный Дансени без ума от нее. Они пели дуэтом, и, по правде сказать, она поет лучше, чем обычно поют пансионерки. Они собираются разучить много дуэтов, и, кажется, она не отказалась бы от унисона; но этот Дансени еще мальчик, который только потеряет время на бесплодное ухаживание и останется ни с чем. С другой стороны — молодая особа довольно дика, и при всех обстоятельствах это будет гораздо менее забавным, чем было бы, вмешайся в это дело вы. Поэтому я крайне раздосадована и, наверно, поссорюсь с кавалером, когда он ко мне придет. Пусть он проявит кротость, ибо в данный момент мне ничего не стоит порвать с ним. Я уверена, что, осени́ меня благое намерение решиться на разрыв, он пришел бы в отчаяние, а ничто так не тешит меня, как отчаяние влюбленного. Он назвал бы меня «изменницей», а это слово всегда доставляло мне удовольствие. После слова «жестокая» оно для женского слуха всего приятнее, а заслужить его стоит гораздо меньше труда. Право же, я займусь этим разрывом. Вот, однако, чему вы оказались причиной! Пускай все это и будет на вашей совести. Прощайте. Попросите вашу президентшу, чтобы она помолилась и за меня.

Париж, 7 августа 17...

ПИСЬМО 6

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Нет, значит, ни одной женщины, которая, добившись власти, не стала бы ею злоупотреблять! И даже вы, которую я так часто называл своим снисходительным другом, вы тоже перестали им быть и решаетесь нападать на меня, хуля предмет моей страсти! Какими чертами осмеливаетесь вы рисовать госпожу де Турвель!.. Нет мужчины, которому за подобный дер-

зостный вызов не пришлось бы заплатить жизнью! Кроме вас, нет ни одной женщины, которую за это же самое я не постарался бы хотя бы очернить! Молю вас, не подвергайте меня больше столь жестоким испытаниям: я не уверен, что выдержу их. Во имя нашей дружбы, перестаньте злословить об этой женщине хотя бы до тех пор, пока она не станет моей. Или вы не знаете, что одно лишь наслаждение властно снять повязку с очей любви?

Но что я говорю? Разве госпожа де Турвель нуждается в том, чтобы приукрашивать ее воображением? Нет, чтобы быть прелестной, ей достаточно оставаться самою собой. Вы упрекаете ее за то, что она плохо одета,— ну и что же, всякий наряд ей только вредит, всякий покров ее только портит. Подлинно обаятельна она в небрежной утренней одежде. Благодаря стоящей здесь изнурительной жаре легкое домашнее платье из полотна дает мне возможность видеть ее округлый и гибкий стан. Грудь ее прикрывает лишь кисея, и мой беглый, но проницательный взор уловил уже восхитительные формы. Вы говорите, что лицо ее лишено выражения? А что ему выражать, пока сердце ее ничем не затронуто? Да, конечно, у нее нет лживой ужимки наших кокеток, порою соблазняющей нас и всегда обманчивой. Она не умеет прикрывать заученной улыбкой пустоту какой-нибудь фразы, и хотя у нее отличнейшие зубы, она смеется лишь тому, что ее действительно забавляет. Но надо видеть, образ какой простодушной, искренней веселости являет она нам в резвых играх! Сколько чистой радости сострадания и доброты в ее взгляде, когда она спешит оказать помощь страждущему! В особенности же надо видеть, как при малейшем намеке на ласковое слово или похвалу небесное лицо ее вспыхивает трогательным смущением непритворной скромности! Она недотрога, она набожна, и на этом основании вы считаете ее холодной и бездушной? Я держусь совершенно иного мнения. Сколько же надо иметь самой изумительной чувствительности, чтобы распространять ее даже на мужа и неизменно любить существо, постоянно находящееся в отсутствии? Можно ли требовать лучшего доказательства? А ведь я сумел его получить.

На нашей совместной прогулке я повел ее таким образом, что пришлось перебираться через ров. И хотя она очень проворна, робости в ней еще больше. Вы сами знаете, что недотроги боятся сделать смелый шаг[1]. Пришлось ей довериться мне.

---

[1] Здесь запечатлелось дурного вкуса пристрастие к каламбурам, в то время только зарождавшееся и столь распространенное в наши дни.

Я держал в своих объятиях эту скромницу. Наши приготовления и переправа моей старой тетушки вызвали у резвой недотроги взрывы хохота, но когда я взял ее на руки и сделал рассчитанно неловкое движение, руки наши соединились. Я прижал ее грудь к своей и в этот краткий миг почувствовал, что сердце ее забилось сильнее. Прелестный румянец окрасил ее щеки, и это робкое смущение достаточно ясно показало мне, *что сердце ее затрепетало от любви, а не от страха.* Тетушка моя, однако, ошиблась, подобно вам, и стала говорить: «Девочка-то испугалась», но очаровательная непосредственность этой «девочки» не позволила ей солгать, и она простодушно ответила: «Да нет, но...» Одно это слово сказало мне все. С этой минуты жестокое волнение сменилось у меня сладостной надеждой. Эта женщина станет моей, я отниму ее у мужа, он только оскверняет ее; я дерзнул бы отнять ее у самого бога, которого она так возлюбила. Какое наслаждение то вызывать в ней угрызения совести, то побеждать их. Я и не помышляю о том, чтобы сокрушить смущающие ее предрассудки! Они только увеличат мое счастье и мою славу. Пусть она верит в добродетель, но пусть пожертвует ею ради меня. Пусть грех ужасает ее, будучи не в силах сдержать, и пусть, все время находясь во власти страха, она забывает, преодолевает его только в моих объятиях. И пусть — я на это согласен — она мне скажет тогда: «Обожаю тебя!» Из всех женщин лишь она одна достойна будет произнести эти слова. Поистине, я стану тем божеством, которое она предпочтет.

Будем же откровенны: в наших связях, столь же холодных, сколь и мимолетных, то, что мы именуем счастьем,— всего лишь удовольствие. Сказать вам правду? Я думал, что сердце мое уже увяло, и, находя в себе одну лишь чувственность, сетовал на то, что преждевременно постарел. Госпожа де Турвель возвратила мне прелестные иллюзии молодости. Подле нее мне не нужно обладания, чтобы ощущать себя счастливым. Единственное, что пугает меня,— время, которое займет это приключение, ибо я не решаюсь хоть в чем-либо довериться случайности. Напрасно припоминаю я свою удачливую дерзновенность,— я не могу решиться на нее. Для того чтобы я был счастлив, надо, чтобы возлюбленная сама отдалась мне, а добиться этого не так-то легко.

Я убежден, что вы восхитились бы моей осторожностью. Я еще не произносил слова «любовь», но мы уже говорили о «доверии» и «участии». Чтобы как можно меньше обманывать ее и, в особенности, чтобы на нее не подействовали всевозмож-

ные слухи обо мне, я сам, как бы обвиняя себя, рассказал ей кое-что из наиболее известных моих похождений. Вы повеселились бы, видя, с каким простодушием она читает мне проповеди. Она уверяет, что хочет меня «обратить», но не подозревает даже, чего будет ей стоить эта попытка. Она далека от мысли, что, «вступаясь», как она выражается, «за несчастных, которых я погубил», она заранее оплакивает самое себя. Эта мысль пришла мне в голову вчера во время одной из ее проповедей, и я не смог отказать себе в удовольствии перебить ее, уверяя, что она говорит, как настоящий пророк. Прощайте, прекраснейший друг мой. Как видите, я еще не безвозвратно погиб.

P. S. Кстати, а бедняга кавалер не покончил с собой от отчаяния? Поистине, вы в сто раз бессердечнее меня, и я чувствовал бы себя униженным, если бы обладал самолюбием.

Из замка ***, 9 августа 17...

ПИСЬМО 7

От Сесили Воланж к Софи Карне[1]

Если я ничего не говорила о моем замужестве, то потому, что мне известно о нем не больше, чем в первый день. Я привыкаю не раздумывать о нем и довольно легко применяюсь к своему образу жизни. Много времени посвящаю пению и игре на арфе: мне кажется, я гораздо больше люблю эти занятия с тех пор, как обхожусь без учителя, вернее, с тех пор, как у меня появился лучший учитель. Кавалер Дансени, тот господин, о котором я тебе писала и с которым пела у госпожи де Мертей, настолько любезен, что приходит к нам ежедневно и целыми часами поет со мной. Он до крайности мил и сам сочиняет прелестные арии, к которым придумывает и слова. Как жаль, что он мальтийский рыцарь! Я думаю, что, если бы он женился, жена его была бы очень счастлива... Он так восхитительно ласков. Казалось бы, комплиментов он никогда не говорит, а между тем в каждом слове его есть что-то лестное для тебя. Он

[1] Чтобы не злоупотреблять терпением читателя, мы исключаем из этой каждодневной переписки множество писем: публикуются лишь те, что казались нам необходимыми для понимания событий, происходивших в данном кружке. По той же причине исключаются все письма Софи Карне и многие другие письма действующих лиц этих приключений.

беспрестанно делает мне замечания и по поводу музыки, и насчет всяких других вещей, но в его критике столько участия и веселости, что невозможно не быть ему благодарной. Даже когда он просто смотрит на тебя, это имеет такой вид, будто он делает тебе что-то приятное. Вдобавок он весьма обязателен. Вчера, например, его приглашали на большой концерт, а он предпочел провести весь вечер у мамы,— меня это очень обрадовало, так как в его отсутствие никто со мной не разговаривает и я скучаю. Зато с ним мы поем и беседуем. У него всегда находится что мне сказать. Он и госпожа де Мертей — единственные приятные мне люди. Но прощай теперь, милая моя подружка, я обещала, что к сегодняшнему дню разучу одну маленькую арию с очень трудным аккомпанементом, и не хочу изменить своему слову. Буду заниматься до самого его прихода.

Из***, 7 августа 17...

ПИСЬМО 8

От президентши де Турвель к госпоже де Воланж

Я бесконечно тронута, сударыня, доверием, которое вы мне оказали, и всей душой заинтересована в устройстве судьбы мадемуазель де Воланж. От всего сердца желаю ей счастья, которого она — я в этом уверена — вполне достойна и которое, несомненно, обеспечит ей ваша предусмотрительность. Я не знаю графа де Жеркура, но, поскольку вы оказали ему честь остановить на нем свой выбор, я могу иметь о нем лишь самое высокое мнение. Ограничиваюсь, сударыня, пожеланием, чтобы брак этот был столь же счастливым и удачным, как и мой, который тоже ведь был делом ваших рук, за что я с каждым днем вам все более благодарна. Пусть счастье вашей дочери будет наградой за то, которое вы дали мне, и пусть вы, лучший друг, окажетесь также счастливейшей матерью!

Я до крайности огорчена, что не имею возможности лично высказать вам это искреннейшее мое пожелание и познакомиться так скоро, как мне бы этого хотелось, с мадемуазель де Воланж. Вы отнеслись ко мне с добротою поистине материнской, и я имею право надеяться с ее стороны на нежную дружбу сестры. Прошу вас, сударыня, передать ей это от моего имени, пока у меня не окажется возможность самой заслужить ее дружбу.

Я думаю пробыть в деревне, пока господин де Турвель будет отсутствовать, и в течение этого времени постараюсь как можно лучше воспользоваться и насладиться обществом почтен-

ной госпожи де Розмонд. Эта женщина неизменно очаровательна: преклонный возраст не повредил ей ни в чем — она сохранила всю свою память и жизнерадостность. Пусть телу ее восемьдесят четыре года, душе — не более двадцати.

Уединение наше оживляется присутствием ее племянника, виконта де Вальмона, который любезно согласился пожертвовать ради нас несколькими днями. Я знала о нем лишь по слухам, а они не слишком располагали меня стремиться к более близкому знакомству. Но сейчас мне кажется, что он лучше славы, которая о нем пошла. Здесь, где его не портит светская суета, он с удивительной искренностью ведет разумные речи и с редким чистосердечием признает свои заблуждения. Он говорит со мною очень откровенно, а я читаю ему строгую мораль. Вы знаете его, и потому согласитесь, что обратить его на путь истинный было бы большим успехом, но я не сомневаюсь, что, несмотря ни на какие клятвы, стоит ему провести одну неделю в Париже, и он забудет все мои проповеди. Во всяком случае, он хоть во время пребывания здесь будет воздерживаться от обычного своего поведения, я же полагаю, что, судя по его образу жизни, лучшее, что он может сделать, это — не делать ничего. Он знает, что я вам пишу, и просит меня засвидетельствовать вам свое уважение. Примите также с обычной вашей добротой и мой сердечный привет и не сомневайтесь в искренних чувствах, с которыми я имею честь... и т. д.

Из замка*, 9 августа 17...**

ПИСЬМО 9

От госпожи де Воланж к президентше де Турвель

Я никогда не сомневалась, мой юный и прелестный друг, ни в дружеских чувствах, которые вы ко мне питаете, ни в искреннем участии вашем ко всему, что меня касается. И не для того, чтобы внести ясность в эти наши отношения, которые, надеюсь, не вызывают сомнений, отвечаю я на ваш «ответ», но для меня просто невозможно не поговорить с вами о виконте де Вальмоне.

Признаюсь, я не ожидала, что когда-либо встречу это имя в ваших письмах. Ну что, скажите, может быть общего между вами и им? Вы не знате этого человека. Да и откуда может быть у вас представление о душе распутника? Вы говорите о его *редком чистосердечии* — о да, чистосердечие Вальмона должно быть, действительно, вещью очень редкой! Он еще более фаль-

шив и опасен, чем любезен и обаятелен, и никогда с самой своей юности он не сделал ни одного шага, не произнес ни одного слова, не имея при этом какого-либо умысла, и никогда не было у него такого умысла, который не явился бы бесчестным или преступным. Друг мой, вы меня знаете. Вам известно, что из всех добродетелей, которыми мне хотелось бы обладать, снисходительность — самая в моих глазах ценная. Поэтому, если бы Вальмона увлекали бурные страсти, если бы он, как многие другие, подпал соблазну заблуждений, свойственных его возрасту, я, порицая его поведение, чувствовала бы к нему жалость и спокойно ждала бы дня, когда счастливое раскаяние вернуло бы ему уважение порядочных людей. Но Вальмон отнюдь не таков: поведение его вытекает из принятых им правил. Он умело рассчитывает, сколько гнусностей может позволить себе человек, не скомпрометировав себя, и, чтобы иметь возможность быть жестоким и злым, не подвергаясь при этом опасности, жертвами своими делает женщин. Я не намерена перечислять всех тех, кого он соблазнил, но скольких он погубил?

Вы ведете жизнь уединенную и скромную, и молва обо всех этих скандальных похождениях до вас не доходит. Я могла бы рассказать вам вещи, от которых вы содрогнулись бы. Но взор ваш, такой же чистый, как и душа, был бы загрязнен подобными картинами. Однако я уверена, что Вальмон никогда не будет вам опасен и для защиты от него вы в таком оружии не нуждаетесь. Единственное, что я должна вам сказать: из всех женщин, за которыми он успешно или безуспешно ухаживал, не было ни одной, которой не пришлось бы об этом сожалеть. Исключением из этого правила является лишь маркиза де Мертей: только она сумела дать ему отпор и укротить его злонравие. Признаюсь, что, на мой взгляд, именно это делает ей больше всего чести. Вот почему этого и оказалось достаточно, чтобы полностью извинить в глазах всего общества известное легкомыслие, в котором ее стали обвинять сразу после того, как она овдовела [1].

Как бы то ни было, прелестный друг мой, опытность и прежде всего дружеские чувства к вам дают мне право предупредить вас: в обществе уже заметили отсутствие Вальмона, и если станет известным, что некоторое время он пробыл втроем со своей тетушкой и с вами, ваше доброе имя будет в его руках, а это — величайшее несчастье, какое только может постигнуть

---

[1] Заблуждение госпожи де Воланж свидетельствует о том, что, подобно другим негодяям, Вальмон не выдавал своих сообщников.

женщину. Поэтому я советую вам убедить его тетушку не удерживать его долее, а если он будет упорствовать в стремлении остаться, думаю, что вы, не колеблясь, должны уступить ему место. Но для чего бы ему оставаться? Что ему делать в этой деревне? Я убеждена, что, понаблюдав и последив за ним, вы обнаружили бы, что он просто-напросто избрал самое удобное убежище для того, чтобы осуществить в тех местах какую-нибудь задуманную им низость. Но, не имея возможности предотвратить зло, удовольствуемся тем, что убережемся от него сами.

Прощайте, прелестный друг мой. Замужество моей дочери несколько запаздывает. Мы со дня на день ожидали графа де Жеркура, но он известил меня, что его полк направлен на Корсику, а так как военные действия еще не вполне закончены, он не сможет отлучиться до зимы. Это досадно, но зато я могу надеяться, что мы будем иметь удовольствие видеть вас на свадьбе, а я была бы очень огорчена, если бы она состоялась без вас. Прощайте и примите уверения в моей нелицемерной совершенной преданности.

P. S. Передайте мой привет госпоже де Розмонд, которую я люблю, как она того вполне заслуживает.

Из ***, 11 августа 17...

ПИСЬМО 10

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Уж не дуетесь ли вы на меня, виконт? Или вы умерли? Или — что весьма вероятно — вы живете только для вашей президентши? Эта женщина, вернувшая вам *иллюзии юности*, вернет вам скоро и ее смехотворные предрассудки. Вы уже стали несмелым рабом; почему бы не стать влюбленным воздыхателем? Вы отказываетесь от *удачливой дерзости*, и вот теперь уже действуете безо всяких правил, положившись на волю случая, или, вернее, прихоти. Или вы забыли, что любовь, подобно медицине, есть всего-навсего *искусство помогать* природе? Как видите, я побиваю вас вашим же оружием, но отнюдь не собираюсь возгордиться, ибо это, поистине, значило бы бить лежачего. «Надо, чтобы она сама отдалась»,— говорите вы мне. Ну, разумеется, надо. Она и отдастся, как все прочие, с тою лишь разницей, что сделает это неохотно. Но чтобы она под конец отдалась, самое верное средство — начать с того, чтобы взять ее.

Нелепое это различие есть самый что ни на есть настоящий бред влюбленности. Я так говорю, потому что вы явно влюблены. И говорить с вами иначе — значило бы предать вас, скрывать от вас, чем вы больны. Скажите же мне, томный воздыхатель, а те женщины, которых вы добивались, вы их, значит, брали силой? Но ведь как бы нам ни хотелось отдаться, как бы мы ни спешили это сделать, нужен все же предлог, а есть ли предлог более для нас удобный, чем тот, что позволяет нам изображать дело так, будто мы уступаем силе? Что до меня, то признаюсь, мне больше всего по сердцу быстрое и ловкое нападение, когда все происходит по порядку, хотя и достаточно быстро, так что мы не оказываемся в крайне неприятной необходимости самим исправлять неловкость, которою нам, напротив, следовало бы воспользоваться. Такое нападение позволяет нам казаться жертвами насилия даже тогда, когда мы добровольно уступаем и искусно потворствуем двум самым дорогим для нас страстям: славе сопротивления и радости поражения. Признаюсь также, что этот дар, гораздо более редкий, чем может казаться, всегда доставлял мне удовольствие, даже если не мог меня обольстить, и иногда мне случалось уступать исключительно в награду. Так в турнирах древних времен красота была наградой за доблесть и ловкость.

Но вы, переставший быть самим собой, вы ведете себя так, словно боитесь иметь успех. С каких это пор двигаетесь вы черепашьим шагом и окольными путями? Друг мой, чтобы добраться до цели, надо мчаться на почтовых и по большой дороге! Но оставим этот предмет — он тем более раздражает меня, что из-за него я лишена удовольствия видеться с вами. Вы хотя бы пишите мне почаще и ставьте меня в известность о своих успехах. Знаете ли вы, что нелепое это приключение занимает вас уже две недели и вы всем на свете пренебрегаете?

Кстати о пренебрежении — вы похожи на тех людей, которые регулярно посылают справляться о состоянии своих больных друзей, но никогда не выслушивают ответа. В своем последнем письме вы спрашивали, не скончался ли господин кавалер. Я не отвечаю, а вы и не думаете выказывать беспокойство. Разве вы позабыли, что мой любовник — ваш давнишний друг? Впрочем, не тревожьтесь, он отнюдь не умер, а если бы и умер, так от избытка радости. Бедняга кавалер! Как он ласков, как он, поистине, создан для любви, как он умеет пламенно чувствовать! У меня кружится голова. Право же, совершенное счастье, доставляемое ему моей любовью, действительно привязывает меня к нему.

Каким счастливым сделала я его в тот самый день, когда писала вам, что намерена разорвать наши отношения! А ведь я и впрямь обдумывала наилучший способ довести его до отчаяния, когда мне о нем доложили. Игра ли моего воображения или действительно так было,— но он никогда еще не казался мне милее. Тем не менее я приняла его весьма немилостиво. Он надеялся провести со мной два часа до момента, когда моя дверь откроется для всех. Я же сказала ему, что собираюсь выйти из дому. Он спросил — куда. Я отказалась сообщить ему это. Он принялся настаивать. «Иду туда, где вас не будет»,— сказала я с раздражением. К счастью для себя, он был ошеломлен этим ответом. Ибо, скажи он хоть слово, неизбежно последовала бы сцена, которая и привела бы к задуманному мною разрыву. Удивленная его молчанием, я бросила на него взгляд, без иной цели, клянусь вам, как увидеть его недовольную мину. Но на прелестном этом лице я обнаружила ту глубокую и вместе с тем нежную грусть, перед которой — вы сами это признали — так трудно бывает устоять. Одна и та же причина вызвала одно и то же следствие: я была вторично побеждена. С этого мгновения я стала думать лишь о том, как бы сделать так, чтобы он не нашел у меня ни одного недостатка. «Я иду по делу,— сказала я более ласково,— и даже по делу, касающемуся вас, но не расспрашивайте меня. Я буду ужинать дома. Возвращайтесь к ужину — и все узнаете!» Тут он вновь обрел дар речи, но я не дала ему говорить. «Я очень тороплюсь,— продолжала я,— оставьте меня; до вечера». Он поцеловал мне руку и удалился.

Тут же, чтобы вознаградить его, а может быть, и самое себя, я решила познакомить его с моим маленьким домиком, о существовании которого он и не подозревал. Я позвала мою верную Виктуар, а всем домочадцам объявила, что у меня мигрень и что я легла в постель. Оставшись наедине с *настоящей* служанкой, я переоделась так, чтобы выдать себя за служанку, она же, надев мужской костюм, преобразилась в лакея. Затем она отправилась за наемным экипажем, который подъехал к калитке моего дома, и мы отправились. Очутившись в моем капище любви, я выбрала самый подходящий для любовного свидания туалет. Он восхитителен, и придумала его я сама: он ничего не подчеркивает, но на все намекает. Обещаю дать его вам на образец для вашей президентши, когда вы добьетесь того, что она станет достойной носить его.

После этих приготовлений, в то время как Виктуар занимается другими вещами, читаю главу из «Софы», одно письмо

Элоизы и две сказки Лафонтена, чтобы восстановить в памяти несколько оттенков тона, который намеревалась усвоить для данного случая. Между тем мой кавалер со своей обычной поспешностью подъезжает к дверям моего дома. Швейцар отказывает ему в приеме, ибо я больна,— происшествие первое. В то же время он передает ему записку от меня, но написанную не моей рукой, согласно принятым мною правилам предосторожности. Он распечатывает ее и обнаруживает почерк Виктуар: «Ровно в девять часов, на бульваре, против кафе». Он отправляется туда, и там маленький лакей, которого он не знает — или так, во всяком случае, ему кажется, ибо это все та же Виктуар,— объясняет ему, что он должен отпустить коляску и следовать за ним. Вся эта романтическая обстановка еще более горячит его воображение, а такая горячность никогда не вредит. Наконец, он у цели, окончательно завороженный изумлением и любовью. Чтобы дать ему прийти в себя, мы совершаем небольшую прогулку по боскету, затем я веду его в дом. Он видит сперва стол, накрытый на два прибора, затем раскрытую постель. Мы направились в будуар, представший перед ним во всей своей роскоши. Там, наполовину по задуманному плану, наполовину в искреннем порыве, я обняла его обеими руками и упала к его ногам. «О друг мой! — молвила я.— Мне так хотелось, чтобы ты вкусил всю неожиданность этой минуты, но зато теперь я должна раскаиваться в том, что огорчила тебя, для вида напуская на себя холодность, и — пусть лишь на миг — скрыла сердце мое от твоего взора. Прости мне эту вину: я искупила ее силой своей любви!» Вы сами можете судить о впечатлении, произведенном этой чувствительной речью. Осчастливленный кавалер тотчас же поднял меня, и мое прощение было скреплено на той же оттоманке, где мы с вами так весело и на тот же самый лад скрепили свое решение о нашем вечном разрыве.

Поскольку нам предстояло провести наедине целых шесть часов, а я поставила себе целью все это время сделать для него одинаково сладостным, я постаралась умерить его пыл и сменила нежность милым кокетством. Кажется, никогда еще я до такой степени не старалась понравиться и никогда не была так довольна собой. После ужина, изображая поочередно то ребячливость, то рассудительность, становясь то игривой, то чувствительной, а то даже и распутной, я забавлялась тем, что превращала его в султана среди сераля, поочередно изображая самых различных одалисок. И в самом деле, неистощимые его ласки расточались всегда одной и той же женщине, но всякий раз иной любовнице.

Наконец, на рассвете надо было расстаться, и что бы он ни говорил, что бы он даже ни делал, стремясь доказать мне обратное,— отдых был ему столь же необходим, сколь и нежелателен. Когда мы уже выходили и в последний раз прощались, я взяла ключ от этого блаженного убежища и передала его ему со словами: «Я завела его только для вас, вам и владеть им: храмом должен располагать тот, кто приносит жертву». Этим ловким ходом я предупредила размышления, на которые могло навести его то всегда подозрительное обстоятельство, что у меня есть маленький домик. Я достаточно знаю его, чтобы быть вполне уверенной, что он воспользуется ключом лишь для встреч со мной, а если бы мне взбрело в голову отправиться туда без него, так у меня есть про запас второй ключ. Он во что бы то ни стало хотел условиться насчет следующего свидания, но сейчас он мне еще очень нравится, и я не хочу, чтобы он мне слишком скоро надоел. Излишества можно позволять себе лишь с теми, кого собираешься вскоре бросить. Ему это еще незнакомо. Но, на его счастье, я знаю это за двоих.

Только сейчас я заметила, что уже три часа утра и что, собираясь нацарапать несколько слов, я написала целый том. Такова прелесть доверительной дружбы. Благодаря ей я до сих пор люблю вас больше всех, но, по правде говоря, по вкусу мне больше всего — кавалер.

Из ***, 12 августа 17...

ПИСЬМО 11

От президентши де Турвель к госпоже де Воланж

Ваше строгое письмо напугало бы меня, сударыня, если бы, к счастью, здесь у меня не было больше оснований для спокойствия, чем для опасений, которые вы мне стараетесь внушить. Сей устрашающий господин де Вальмон, являющийся, по-видимому, грозой всех женщин, сложил, кажется, свое смертоносное оружие, прежде чем вступил в этот замок. Он не только не строит здесь никаких планов, но и притязаний на это не имеет, и, хотя даже враги его признают, что он человек любезный, это качество здесь почти не проявляется, уступая место добродушной ребячливости. Чудо это, надо полагать, совершил деревенский воздух. Во всяком случае, могу вас уверить, что, хотя он постоянно находится в моем обществе, которое, видимо, ему приятно, у него не вырвалось ни одного слова о любви, ни одной из тех фраз, которые позволяет себе любой мужчина, не обладая даже, в противоположность ему, ничем, что их оправды-

вало бы. Никогда не вынуждает он меня к нарочитой сдержанности, к которой приходится прибегать каждой уважающей себя женщине, чтобы держать окружающих ее мужчин в границах. Он умеет не злоупотреблять веселостью, которую вызывает. Может быть, он слишком уж любит льстить, но льстит так деликатно, что и самое скромность мог бы приучить к похвалам. Словом, если бы я имела брата, то хотела бы, чтобы он был таким, каким выказывает себя здесь господин де Вальмон. Возможно, многие женщины предпочли бы, чтобы он проявлял больше галантности, и, должна сказать, я бесконечно благодарна ему за то, что он сумел достаточно хорошо судить обо мне, чтобы меня с такими женщинами не смешивать.

Разумеется, этот портрет весьма отличается от того, который нарисовали мне вы, но, несмотря на это, оба могут верно передавать сходство, если точно определить время, к какому каждый из них относится. Он сам признаёт за собою немало дурных поступков, кое-что ему зря приписано молвой. Но я видела мало мужчин, которые говорили бы о порядочных женщинах с бóльшим уважением, я бы сказала — почти с восторгом. И вы сами написали мне, что на этот хотя бы счет он не ошибается. Доказательство — его поведение с госпожой де Мертей. Он много рассказывает нам о ней и всегда с такою похвалою и, видимо, с такой искренней привязанностью, что до получения вашего письма я считала это его чувство не дружбой, как он нас уверял, а любовью. Теперь я укоряю себя за столь смелое суждение, тем более для меня непростительное, что сам он старается представить свое чувство в истинном виде. Я — должна признаться — считала хитростью то, что было с его стороны благородной искренностью. Не знаю, но мне кажется, что человек, способный испытывать такую прочную дружбу к столь уважаемой женщине, не может быть нераскаянным распутником. Должны ли мы приписывать добропорядочность его нынешнего поведения каким-либо планам, которые, как вы думаете, он замышляет в нашей округе,— я понятия не имею. По соседству имеется несколько привлекательных женщин, но он мало отлучается из дому — преимущественно по утрам, и тогда он говорит, что ходил на охоту. Правда, дичь он приносит редко, но, по его словам, он не слишком удачливый охотник. Впрочем, меня мало беспокоит, чем он занимается за стенами замка; если бы мне и хотелось это знать, то лишь для того, чтобы иметь лишний повод склониться к вашему мнению или же склонить вас к моему.

Вы советуете мне содействовать тому, чтобы господин

де Вальмон сократил срок своего пребывания здесь, но мне представляется весьма затруднительным просить его тетушку не задерживать у себя племянника, тем более, что она его очень любит. Однако я обещаю — но исключительно из уважения к вам, а не в силу необходимости — воспользоваться подходящим случаем и попросить об этом либо ее, либо же его самого. Что до меня, то господину де Турвелю известно, что я решила оставаться здесь до его возвращения, и он был бы справедливо удивлен, если бы я так легко переменила решение.

Все эти разъяснения, сударыня, возможно, покажутся вам слишком длинными, но я считала, что правды ради должна дать благоприятный отзыв о господине де Вальмоне, который, на мой взгляд, в нем перед вами весьма нуждается. Однако это нисколько не уменьшает моей признательности за те дружеские чувства, которыми внушены ваши советы. Им обязана я и теми милыми словами, которые вы сказали мне в связи с отсрочкой замужества вашей дочки. Благодарю вас за них от всей души. Какое бы удовольствие ни сулила мне возможность провести это время с вами, я охотно пожертвовала бы им искреннему своему желанию поскорее узнать, что мадемуазель де Воланж обрела свое счастье, если, впрочем, она может обрести счастье большее, чем то, какое могла ей дать жизнь подле матери, столь достойной всей ее нежности, всего ее уважения. Я разделяю с ней оба эти чувства, так привязывающие меня к вам, и прошу вас благосклонно принять уверения в них. Имею честь и пр.

Из *, 13 августа 17...**

ПИСЬМО 12

От Сесили Воланж к маркизе де Мертей

Мама нездорова, сударыня; она не выходит, и я не могу ее оставить. Таким образом, я не буду иметь чести сопровождать вас в Оперу. Уверяю вас, меня больше огорчает то, что мне не удастся провести вечер с вами, чем то, что не увижу представления. Прошу вас не сомневаться в этом. Я вас так люблю! Не согласитесь ли вы передать господину кавалеру Дансени, что у меня нет сборника, о котором он мне говорил, и что, если он сможет занести его завтра, я буду очень рада. Если он зайдет сегодня, ему скажут, что нас нет дома, но это потому, что мама не хочет никого принимать. Надеюсь, завтра ей станет лучше.

Имею честь и пр.

Из *, 13 августа 17...**

ПИСЬМО 13

От маркизы де Мертей к Сесили Воланж

Я очень огорчена, милочка моя, что лишена удовольствия увидеть вас, и причиной этого лишения. Надеюсь, что подобная же возможность представится снова. Я передам ваше поручение кавалеру Дансени, который, без сомнения, будет крайне огорчен болезнью вашей матушки. Если она захочет принять меня, я приеду завтра посидеть с нею. Мы с нею совместно поведем за пикетом нападение на кавалера де Бельроша[1]. Выигрывая у него деньги, мы в довершение удовольствия будем слушать, как вы поете со своим милым учителем, которого я об этом непременно попрошу. Если это будет удобно вашей матушке и вам, я пишу и за себя и за обоих своих кавалеров. Прощайте, милочка. Привет дорогой госпоже де Воланж. Нежно целую вас.

Из ***, 13 августа 17...

ПИСЬМО 14

От Сесили Воланж к Софи Карне

Вчера я не писала тебе, дорогая Софи, но, уверяю тебя, не развлечения помешали мне. Мама была больна, и я весь день не отходила от нее. Вечером, когда я ушла к себе, у меня уже ни к чему не было охоты, и я пораньше легла, чтобы убедиться, что день наконец-то кончился: ни один еще не казался мне таким длинным. И не оттого, что я не люблю маму, а просто сама не знаю почему. Я должна была поехать в Оперу с госпожой де Мертей; там должен был быть кавалер Дансени. Ты знаешь, что эти двое нравятся мне больше всех других. С наступлением часа, когда я тоже должна была быть там, сердце мое как-то невольно сжалось. Все мне было в тягость, и я плакала, плакала, не в силах удержаться от слез. К счастью, мама лежала и видеть меня не могла. Я уверена, что кавалер Дансени тоже был расстроен, но его все же развлекало представление и общество. Это совсем другое дело!

К счастью, сегодня маме лучше, и к нам придет госпожа де Мертей с одним господином и с кавалером Дансени. Но госпожа де Мертей всегда очень поздно является, а сидеть так долго одной ужасно скучно. Сейчас всего одиннадцать часов. Правда, мне надо поиграть на арфе, да и туалет мой займет

---

[1] Тот самый, о котором говорится в письмах госпожи де Мертей.

некоторое время — сегодня я хочу получше причесаться. Кажется, мать Перпетуя права, и в свете сразу становишься кокеткой. Никогда еще мне не хотелось быть красивой так, как в последние дни; я нахожу, что вовсе не столь привлекательна, как воображала, и, кроме того, очень много теряешь в присутствии женщин, которые румянятся. Вот, например, госпожа де Мертей: я вижу, что все мужчины находят ее более красивой, чем меня, но этим я не слишком огорчаюсь, так как она любит меня и к тому же уверяет, будто кавалер Дансени находит, что я красивее ее. Как благородно было с ее стороны сказать мне об этом! Казалось даже, что она этому радуется. Должна сказать, что я этого понять не могу. Значит, она меня очень сильно любит! А он!.. О, как я рада. Но и мне кажется, что достаточно посмотреть на него, чтобы похорошеть. Я бы без конца смотрела на него, если бы не боялась встретиться с ним взглядом: каждый раз, как это случается, я совершенно теряюсь; мне словно больно, но это ничего.

Прощай, дорогая моя подружка, иду заняться своим туалетом. Я люблю тебя по-прежнему.

Париж, 14 августа 17...

ПИСЬМО 15

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

С вашей стороны очень благородно не оставлять меня на произвол моей печальной судьбы. Жизнь, которую я здесь веду, действительно может утомить избытком покоя и пресной однообразностью. Читая ваше письмо, это подробное описание вашего прелестного дня, я раз двадцать намеревался под предлогом какого-нибудь дела примчаться к вашим ногам и умолять вас изменить со мной вашему кавалеру, не заслуживающему, в сущности, своего счастья. Знаете ли вы, что заставили меня ревновать к нему? Зачем вы заговорили о вечном разрыве? Я отрекаюсь от этой клятвы, произнесенной в бреду: мы оказались бы недостойными ее, если бы вынуждены были ее сдержать. Ах, когда бы я мог когда-нибудь отомстить в ваших объятиях за невольную досаду, вызванную во мне счастьем, которое испытал кавалер! Признаюсь, негодование охватывает меня, когда я думаю о том, что этот человек, ни о чем не размышляя и ничем не утруждая себя, а только глупейшим образом следуя бессознательному побуждению своего сердца, находит блаженство, для меня недосягаемое! О, я его нарушу!

Обещайте мне, что я его нарушу. Да вы-то разве не испытываете унижения? Вы пытаетесь обмануть его, а между тем он счастливее вас. Вы думаете, что он ваш пленник, а ведь это вы у него в плену. Он мирно спит, а в это время вы бодрствуете, заботясь о его наслаждениях. И раба его не сделала бы больше!

Послушайте, прекрасный друг мой, пока вы делите себя между многими, я ни в малейшей степени не ревную: ваши любовники для меня — лишь наследники Александра Великого, неспособные сохранить сообща то царство, где властвовал я один. Но чтобы вы отдавали себя всецело одному из них, чтобы существовал другой столь же счастливый, как я,— этого я не потерплю! И не надейтесь, что я стану терпеть. Или примите меня снова, или хотя бы возьмите второго любовника и ради причуды иметь одного возлюбленного не изменяйте нерушимой дружбе, в которой мы поклялись друг другу.

У меня и без того достаточно причин жаловаться на любовь. Как видите, я соглашаюсь с вашим мнением и признаю свою вину. И правда, если не иметь сил жить, не обладая тем, чего желаешь, если жертвовать ради любви своим временем, своими наслаждениями, своей жизнью — если это и есть быть влюбленным,— тогда я подлинно влюблен. Но это не приближает меня к моей цели. Мне бы совсем нечего было сообщить вам на этот счет, если бы не одно происшествие, заставившее меня весьма задуматься; и пока еще неясно, должно ли оно вызвать во мне опасение или зародить надежды.

Вы знаете моего егеря: это сокровище по части интриг, настоящий слуга из комедии. Вы понимаете, что ему назначено ухаживать за горничной и спаивать прочих слуг. Бездельник счастливее меня; он уже добился успеха. Он только что открыл, что госпожа де Турвель поручила одному из своих людей собирать сведения о моем поведении и даже следить за каждым моим шагом во время утренних прогулок, насколько это можно будет делать, оставаясь незамеченным. Чего нужно этой женщине? Итак, даже величайшая скромница решается на такие вещи, которые мы с вами едва ли бы решились позволить себе! Клянусь... Но прежде чем помышлять о мести за эту женскую хитрость, позаботимся о способах обратить ее нам на пользу. До сих пор эти вызвавшие подозрения прогулки не имели никакой цели; теперь надо будет ее найти. Это требует всего моего внимания, и я покидаю вас, чтобы хорошенько поразмыслить. Прощайте, мой прелестный друг.

По-прежнему из замка ***, 15 августа 17...

ПИСЬМО 16

От Сесили Воланж к Софи Карне

Ах, Софи, ну и новости же у меня! Может быть, мне и не следовало бы сообщать их тебе, но надо же с кем-нибудь поделиться: это сильнее меня. Кавалер Дансени... Я в таком смущении, что не могу писать; не знаю, с чего начать. После того как я рассказала тебе о прелестном вечере [1], который я провела у мамы с ним и госпожой де Мертей, я больше ничего тебе о нем не говорила: дело в том, что я ни с кем вообще не хотела о нем говорить, тем не менее он все время занимал мои мысли. С той поры он стал так грустен, так ужасно грустен, что мне делалось больно. А когда я спрашивала о причине его грусти, он говорил, что причины никакой нет. Но я-то видела, что что-то есть. Так вот, вчера он был еще печальнее, чем обычно. Все же это не помешало ему оказать мне любезность и петь со мной, как всегда. Но всякий раз, как он глядел на меня, сердце мое сжималось. После того как мы кончили петь, он пошел спрятать мою арфу в футляр и, возвращая мне ключ, попросил меня поиграть еще вечером, когда я буду одна. Я ничего не подозревала. Я даже вовсе не собиралась играть, но он так просил меня, что я сказала: «Хорошо». А у него были на то свои причины. И вот, когда я пошла к себе и моя горничная удалилась, я отправилась за арфой. Между струнами я обнаружила письмо, не запечатанное, а только сложенное; оно было от него. Ах, если бы ты знала, что́ он мне пишет! С тех пор как я прочитала его письмо, я так радуюсь, что ни о чем другом и думать не могу. Я тут же прочитала его четыре раза подряд, а когда легла, то повторяла столько раз, что заснуть было невозможно. Едва я закрывала глаза, как он вставал передо мною и сам произносил то, что я только что прочла. Заснула я очень поздно и, едва проснувшись (а было совсем еще рано), снова достала письмо, чтобы перечесть его на свободе. Я взяла его в постель и целовала так, словно... Может быть, это очень плохо — целовать так письмо, но я не могла устоять.

Теперь же, моя дорогая, я и очень счастлива, и вместе с тем нахожусь в большом смятении, ибо мне, без сомнения, не следует отвечать на такое письмо. Я знаю, что это не пола-

---

[1] Письма, где говорится об этом вечере, разыскать не удалось. Есть основания полагать, что речь идет о вечере, предложенном в письме госпожи де Мертей,— о нем упоминалось и в предыдущем послании к Сесили Воланж.

гается, а между тем он просит меня ответить, и если я не отвечу, то уверена, он опять будет по-прежнему печален. А это для него ведь очень тяжело! Что ты мне посоветуешь? Впрочем, ты знаешь не больше моего. Мне очень хочется поговорить об этом с госпожой де Мертей, которая ко мне так хорошо относится. Я хотела бы его утешить, но мне не хотелось бы сделать ничего дурного. Нам ведь всегда говорят, что надо иметь доброе сердце, а потом запрещают следовать его велениям, когда это касается мужчины! Это также несправедливо. Разве мужчина для нас не тот же ближний, что и женщина, даже больше? Ведь если наряду с матерью есть отец, а наряду с сестрой — брат, то вдобавок есть еще и муж. Однако если я сделаю что-нибудь не вполне хорошее, то, может быть, и сам господин Дансени будет обо мне плохо думать! О, в таком случае я уж предпочту, чтобы он ходил грустный. И потом, ответить я еще успею. Если он написал вчера, это не значит, что я обязательно должна написать сегодня. Сегодня вечером мне как раз предстоит увидеться с госпожой де Мертей, и, если у меня хватит храбрости, я ей все расскажу. Если я потом сделаю точно так, как она скажет, то мне не придется ни в чем себя упрекать. Да и, может быть, она скажет, что я могу ответить ему самую чуточку, чтобы он не был таким грустным! О, я очень страдаю.

Прощай, милый мой друг. Напиши мне все же свое мнение.

Из *** 19 августа 17...

ПИСЬМО 17

От кавалера Дансени к Сесили Воланж

Прежде чем предаться, мадемуазель,— не знаю уж как сказать: радости или необходимости писать вам,— я хочу умолять вас выслушать меня. Я сознаю, что нуждаюсь в снисхождении, раз осмеливаюсь открыть вам свои чувства. Если бы я стремился лишь оправдать их, снисхождение было бы мне не нужно. Что же я, в сущности, собираюсь сделать, как не показать вам деяние ваших же рук? И что еще могу я сказать вам, кроме того, что уже сказали мои взгляды, мое смущение, все мое поведение и даже молчание? И почему бы стали вы на меня гневаться из-за чувства, вами же самою внушенного? Истоки его в вас, и, значит, оно достойно быть вам открытым. И если оно пламенно, как моя душа, то и чисто, как ваша. Разве совершает преступление тот, кто сумел оценить вашу прелестную наружность, ваши обольстительные дарования, ваше покоряющее изя-

щество и, наконец, трогательную невинность, делающую ни с чем не сравнимыми качества, и без того столь драгоценные? Нет, конечно. Но, даже не зная за собой вины, можно быть несчастным, и такова участь, ожидающая меня, если вы отвергнете мое признание. Оно — первое, на которое решилось мое сердце. Не будь вас, я был бы если не счастлив, то спокоен. Но я вас увидел. Покой оставил меня, а в счастье я не уверен. Вас, однако, удивляет моя грусть; вы спрашиваете меня о причине ее, и порою даже мне казалось, что она вас огорчает. Ах, скажите одно только слово, и вы станете творцом моего счастья. Но прежде чем произнести что бы то ни было, подумайте, что и сделать меня окончательно несчастным тоже может одно лишь слово. Так будьте же судьей моей судьбы. От вас зависит, стану ли я навеки счастлив или несчастлив. Каким более дорогим для меня рукам мог бы я вручить дело, столь важное?

Кончаю тем, с чего начал: умоляю о снисхождении. Я просил вас выслушать меня. Осмелюсь на большее: прошу об ответе. Отказать в этом значило бы внушить мне мысль, что вы оскорблены, а сердце мое порука в том, что уважение к вам так же сильно во мне, как и любовь.

P. S. Для ответа вы можете воспользоваться тем же способом, которым я направил вам это письмо: он представляется мне и верным и удобным.

Из ***, 18 августа 17...

ПИСЬМО 18

От Сесили Воланж к Софи Карне

Как, Софи, ты заранее осуждаешь то, что я собираюсь сделать? У меня и без того было довольно волнений — ты их еще умножаешь! Очевидно, говоришь ты, что я не должна отвечать. Легко тебе говорить, особенно когда ты не знаешь, что́ сейчас происходит: тебя здесь нет, и видеть ты ничего не можешь. Я уверена, что на моем месте ты поступила бы так же, как я. Конечно, вообще-то отвечать в таких случаях не следует, и по моему вчерашнему письму ты могла убедиться, что я и не хотела этого делать. Но вся суть в том, что, по-видимому, никто еще никогда не находился в таком положении, как я.

И ко всему я еще вынуждена одна принимать решение! Госпожа де Мертей, которую я рассчитывала увидеть, вчера вечером не приехала. Все идет как-то наперекор мне; ведь это благодаря ей я с ним познакомилась. Почти всегда мы с ним

виделись и разговаривали при ней. Не то чтобы я на это сетовала, но вот теперь, в трудный момент, она оставляет меня одну. О, меня и впрямь можно пожалеть!

Представь себе, что вчера он явился, как обычно. Я была в таком смятении, что не решалась на него взглянуть. Он не мог заговорить со мной об этом, так как мама находилась тут же. Я так и думала, что он будет огорчен, когда увидит, что я ему не написала. Я просто не знала, как мне себя вести. Через минуту он спросил, не пойти ли ему за арфой. Сердце у меня так колотилось, что единственное, на что я оказалась способной, это вымолвить: «Да!» Когда он вернулся, стало еще хуже. Я лишь мельком взглянула на него, он же на меня не смотрел, но вид у него был такой, что можно было подумать — он заболел. Я ужасно страдала. Он принялся настраивать арфу, а потом, передавая мне ее, сказал: «Ах, мадемуазель!..» Он произнес лишь два эти слова, но таким тоном, что я была потрясена. Я стала перебирать струны, сама не зная, что делаю. Мама спросила, будем ли мы петь. Он отказался, объяснив, что неважно себя чувствует. У меня же никаких извинений не было, и мне пришлось петь. Как хотела бы я никогда не иметь голоса! Я нарочно выбрала арию, которой еще не разучивала, так как была уверена, что все равно ничего не спою как следует и сразу станет видно, что со мной творится неладное. К счастью, приехали гости, и, едва заслышав, как во двор въезжает карета, я прекратила петь и попросила унести арфу. Я очень боялась, чтобы он тотчас же не ушел, но он возвратился.

Пока мама и ее гостья беседовали, мне захотелось взглянуть на него еще разок. Глаза наши встретились, и отвести мои у меня не хватило сил. Через минуту я увидела, как у него полились слезы и он вынужден был отвернуться, чтобы этого не обнаружить. Тут уж я не смогла выдержать, я почувствовала, что сама расплачусь. Я вышла и нацарапала карандашом на клочке бумаги: «Не грустите же так, прошу вас. Обещаю вам ответить». Уж, наверно, ты не сможешь сказать, что это дурно, и, кроме того, я уж не могла с собой совладать. Я засунула бумажку между струнами арфы так же, как было засунуто его письмо, и вернулась в гостиную. Мне сделалось как-то спокойнее, но я дождаться не могла, пока уедет гостья. К счастью, она явилась к маме с коротким визитом и потому вскоре уехала. Как только она вышла, я сказала, что хочу поиграть на арфе, и попросила, чтоб он ее принес. По выражению его лица я поняла, что он ни о чем не догадывается. Но по возвращении — о, как он был доволен! Ставя напротив меня арфу, он сделал

так, что мама не могла видеть его движений, взял мою руку и сжал ее... но как! Это длилось лишь одно мгновение, но я не могу тебе передать, как мне стало приятно. Однако я тотчас же отдернула руку, поэтому мне не в чем себя упрекнуть! Теперь, милый мой друг, ты сама видишь, что я не могу не написать ему, раз обещала. И потом, я не стану больше причинять ему огорчений; я страдаю от них даже сильнее, чем он сам. Если бы из этого могло произойти что-нибудь дурное, я бы уж ни за что не стала этого делать. Но что тут худого — написать письмо, особенно для того, чтобы кто-нибудь не страдал? Смущает меня, правда, что я не сумею хорошо написать, но он почувствует, что вины моей тут нет, и потом я уверена, что раз оно будет от меня, так он все равно обрадуется.

Прощай, дорогой друг. Если ты найдешь, что я не права, скажи мне прямо. Но я этого не думаю. Подходит время писать ему, и сердце у меня так бьется, что трудно представить. Но написать надо, раз я обещала. Прощай.

Из ***, 20 августа 17...

ПИСЬМО 19

От Сесили Воланж к кавалеру Дансени

Вчера, сударь, вы были так печальны, и это меня так огорчало, что я не выдержала и обещала вам ответить на письмо, которое вы мне написали. Я и сейчас чувствую, что этого не следует делать. Но я обещала и не хочу изменить своему слову. Пусть это докажет вам, что я питаю к вам самые добрые чувства. Теперь вы это знаете и, я надеюсь, не станете больше просить у меня писем! Надеюсь также, вы никому не расскажете, что я вам написала. Ведь меня, наверно, осудили бы, и это доставило бы мне много неприятностей. В особенности надеюсь, что вы сами не станете думать обо мне плохо, что было бы для меня тяжелее всего. Смею также уверить вас, что никому другому я бы такой любезности не оказала. Я бы очень хотела, чтобы и вы, в свою очередь, ответили мне любезностью — перестали бы грустить, как в последнее время; это портит мне всякое удовольствие видеть вас. Вы видите, сударь, что я говорю с вами вполне искренне. Я буду очень рада, если наша дружба никогда не прервется, но прошу вас — не пишите мне больше.

Имею честь...

Сесиль Воланж.

Из ***, 20 августа 17...

ПИСЬМО 20

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Ах, негодник, вы льстите мне из страха, как бы я не стала над вами насмехаться! Ладно, сменю гнев на милость. Вы мне написали столько безрассудных вещей, что приходится простить вам скромность, в которой вас держит ваша президентша. Не думаю, чтобы мой кавалер проявил такую же снисходительность. Мне кажется, он не такой человек, чтобы одобрить возобновление нашего с вами договора и найти вашу безумную мысль забавной. Я, однако, вволю посмеялась над нею, и мне было очень жаль, что приходится смеяться в одиночестве. Если бы вы были здесь, право, не знаю, куда бы завела меня эта веселость. Но у меня было время поразмыслить, и я вооружилась строгостью. Это не значит, что я отказываю навсегда, но я считаю нужным повременить, и совершенно права. Сейчас меня, пожалуй, одолело бы тщеславие, и в увлечении игрой я бы зашла слишком далеко. Я ведь такая женщина, что снова привязала бы вас к себе, и вы, чего доброго, забыли бы свою президентшу. А какой это был бы скандал, если бы я, недостойная, отвратила вас от добродетели! Во избежание этой опасности — вот мои условия. Как только вы овладеете вашей богомольной красавицей и сможете представить какое-нибудь тому доказательство, приезжайте — и я ваша. Но вам хорошо известно, что в серьезных делах принимаются лишь письменные доказательства. В таком случае, с одной стороны, я окажусь для вас наградой, вместо того чтобы служить утешением, а это мне куда приятнее. С другой стороны, успех ваш будет гораздо острее на вкус, ибо сам явится поводом для неверности. Так приезжайте же, привезите мне как можно скорее залог вашего торжества, подобно нашим храбрым рыцарям, которые клали к ногам своих дам блестящие плоды воинских побед. Говорю не шутя, мне было бы любопытно знать, что́ может написать недотрога после такой оказии и в какой покров облекает она свои речи после того, как совлекла все покровы с самой себя. Ваше дело рассчитать, не слишком ли дорого я себя ценю; но предупреждаю — никакой скидки не будет. А пока, дорогой мой виконт, примиритесь с тем, что я остаюсь верной своему кавалеру и забавляюсь, даря ему счастье, несмотря на то, что вас это слегка огорчает.

Тем не менее мне кажется, что, не будь я столь нравственной, сейчас у него объявился бы опасный соперник: маленькая Воланж. Я без ума от этой девочки — тут самая настоящая страсть. Или я ошибаюсь, или она сделается одной из самых

заметных в обществе женщин. Я вижу, как развивается ее сердечко, и зрелище это — просто восхитительно. Она уже исступленно влюблена в своего Дансени, но еще понятия об этом не имеет. Он сам, хоть и сильно влюблен,— еще робкий юнец, и не осмеливается многому ее учить. Оба они меня обожают. Особенно малютка — ей ужасно хочется поверить мне свою тайну. В последние дни я замечаю, что она просто подавлена, и я оказала бы ей величайшую услугу, если бы немного помогла. Но я не забываю, что это еще ребенок, и не хочу себя компрометировать. Дансени говорил со мною несколько определеннее, но насчет него я твердо решила: я не хочу его выслушивать. Что касается малютки, меня часто берет искушение сделать ее своей ученицей. Хотелось бы оказать Жеркуру эту услугу. Но время у меня есть: он будет на Корсике до октября. Я рассчитываю воспользоваться этим сроком, и мы вручим ему вполне сформировавшуюся женщину вместо невинной пансионерки. Какая поистине наглая самоуверенность у этого человека: он осмеливается спокойно спать, когда женщина, имеющая основание жаловаться на него, еще не отомщена! Скажу откровенно: если бы малютка находилась в настоящую минуту здесь, чего только я бы ей не порассказала!

Прощайте, виконт, желаю вам доброго вечера и славных успехов, но, ради бога, продвигайтесь вперед! Подумайте, что, если эта женщина не будет принадлежать вам, другие станут стыдиться того, что вы когда-то принадлежали им.

Из ***, 20 августа 17...

ПИСЬМО 21

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Наконец-то, прелестный друг мой, сделал я шаг вперед, и значительный шаг. Хоть он и не привел меня к цели, но, по крайней мере, помог мне уяснить, что я на верном пути, и рассеял чуть было не охватившие меня опасения, что я заблудился. Я, наконец, объяснился в любви, и хотя ответом мне было упорное молчание, я все же добился и другого ответа, быть может наименее двусмысленного и самого лестного. Но не будем упреждать события и вернемся назад. Вы помните, что за мной начали слежку. Так вот, я решил обратить этот поворотный прием на общее благо и поступил следующим образом. Я поручил одному доверенному лицу найти в окрестностях какого-нибудь несчастного, нуждающегося в помощи. Выполнить это поручение было

нетрудно. Вчера днем мой доверенный доложил мне, что сегодня утром должны описать всю движимость целой семьи, которая не в состоянии уплатить податей. Я постарался убедиться, что в этом доме нет ни одной девушки или женщины, чей возраст или внешность могли бы сделать мое поведение подозрительным, и, когда все сведения были собраны, объявил за ужином, что завтра иду на охоту. Тут приходится отдать должное моей президентше. Отданное ею распоряжение следить за мной, видимо, вызвало у нее угрызения совести, и, не будучи в силах сдержать свое любопытство, она все же нашла силы воспротивиться моему желанию: завтра-де ожидается невыносимая жара, я рискую заболеть, ничего не убью и только зря утомлюсь. И во время нашего диалога глаза ее, говорившие яснее, быть может, чем она желала, дали мне понять, что она хочет, чтобы все эти полезные доводы я счел основательными. Как вы сами понимаете, я и не подумал с ней согласиться, устояв даже перед небольшим выпадом против охоты и охотников, а также перед легким облачком досады, омрачавшим весь вечер это небесное чело. Сперва я даже опасался, как бы она не отменила своего распоряжения и как бы ее деликатность не испортила мне дела. Но я просто недооценил силу женского любопытства и потому ошибся. В тот же вечер мой егерь успокоил меня на этот счет, и я улегся вполне удовлетворенный.

На рассвете я встаю и отправляюсь в путь. Отойдя на каких-нибудь пятьдесят шагов от замка, замечаю следующего за мною соглядатая. Начинаю охоту и иду прямо через поле к нужной мне деревне, развлекаясь в пути лишь тем, что вынуждаю шпионящего за мною бездельника пробегáть зачастую рысью расстояние втрое больше моего: он не решался идти напрямик и держался дороги. Заставляя его поупражняться, я сам изрядно разгорячился и присел под деревом, чтобы отдохнуть. Он же—какая наглость! — шмыгнул за кусты, находившиеся всего шагах в двадцати от меня, и тоже там примостился. На мгновение мне захотелось выстрелить в него из ружья; хоть оно и заряжено было всего лишь дробью, он получил бы достойный урок, который доказал бы ему, сколь небезопасная вещь — любопытство. На его счастье, я вспомнил, что он для моих планов весьма полезен и даже необходим; это размышление его спасло.

Вот я и в деревне. Вижу какую-то суетню, подхожу, расспрашиваю. Велю позвать сборщика податей и, уступая великодушному состраданию, благородно уплачиваю пятьдесят шесть ливров, из-за которых пяти человеческим существам предстояло быть ввергнутым в отчаяние и нищету. Вы не можете себе

вообразить, как все присутствующие хором принялись благословлять меня, после того как я совершил это простое дело, как обильно полились слезы благодарности из глаз престарелого главы этого семейства, делая привлекательным лицо патриарха, которое еще за минуту перед тем мрачная печать отчаяния просто уродовала! Я еще наблюдал все это, когда другой крестьянин, помоложе, который вел за руки женщину и двоих детей, быстрым шагом приблизился ко мне и сказал им: «Поклонимся в ноги этому ангелу божию!», и в то же мгновение я оказался окруженным всей семьей, припавшей к моим коленам. Должен признаться в своей слабости — я прослезился и почувствовал, как всего меня охватывает невольный сладостный трепет. Я просто был удивлен тем, насколько приятно делать добро, и был недалек от мысли, что заслуги людей, которые у нас именуются добродетельными, не так уж велики, как нам обычно внушают. Как бы то ни было, но я считаю вполне справедливым заплатить этим беднякам за удовольствие, которое они мне доставили. У меня было с собой десять луидоров, и я отдал им эти деньги. Снова меня стали осыпать словами благодарности, но они звучали уже не так восторженно: настоящее, сильное впечатление произведено было удовлетворением неотложной нужды, а все дальнейшее было лишь выражением признательности и удивления перед щедростью, так сказать, уже чрезмерной.

Посреди неумеренных благословений этого семейства я сильно смахивал на героя драмы в сцене развязки. Заметьте, что главным лицом в толпе был для меня мой верный соглядатай. Цель была достигнута; я освободился от них всех и вернулся в замок. Взвесив все, я остался доволен своей выдумкой. Женщина эта, безусловно, стоит всех моих хлопот. Наступит день, когда я смогу предъявить их ей, как ценные документы, и, заранее оплатив некоторым образом ее благосклонность, я буду иметь право располагать ею, как мне вздумается, ни в чем себя не упрекая.

Забыл сказать вам, что, стремясь из всего извлечь пользу, я попросил этих добрых людей молить бога об успехе всех моих замыслов. Вы вскоре увидите, не услышаны ли уже отчасти их молитвы... Но только что мне сказали, что подан ужин. Если я запечатаю это письмо лишь по возвращении, его уже нельзя будет сегодня отправить. Итак — «продолжение в следующем номере». Очень жаль, ибо осталось как раз самое лучшее. Прощайте, прелестный друг. Вы крадете у меня один миг удовольствия видеть ее.

Из ***, 20 августа 17...

ПИСЬМО 22

От президентши де Турвель к госпоже де Воланж

Вам, наверно, приятно будет, сударыня, узнать об одной черте характера господина де Вальмона, весьма, как мне кажется, отличающейся от всех тех, какими вам рисовали его облик. Как тягостно иметь нелестное мнение о ком бы то ни было, как обидно находить одни лишь пороки у тех, кто, в сущности, обладает всеми качествами, необходимейшими для того, чтобы любить добродетель! Наконец, вы сами так склонны к снисходительности, что дать вам возможность пересмотреть слишком суровое суждение о ком-то — значит оказать вам услугу. По-моему, господин де Вальмон имеет все основания надеяться на такую милость, я сказала бы даже — на подобное проявление справедливости, и вот почему я так думаю.

Сегодня утром он вышел на одну из своих прогулок, которые могут навести на мысль о каком-либо его замысле в наших окрестностях,— мысль эта действительно возникла у вас, и я, к сожалению своему, может быть, слишком живо за нее ухватилась. К счастью для него,— и прежде всего для нас, поскольку это спасает нас от несправедливых суждений,— один из моих слуг должен был идти в том же направлении [1], что и он, и, таким образом, мое неблаговидное, но оказавшееся весьма уместным любопытство было удовлетворено. Он доложил нам, что господин де Вальмон, обнаружив в деревне *** несчастное семейство, чей домашний скарб распродавался за неуплату налогов, не только поспешил уплатить долг этих бедных людей, но даже дал им довольно крупную сумму денег. Слуга мой был свидетелем этого благородного поступка, и он добавил, что, по словам крестьян, говоривших об этом между собой и с ним, чей-то слуга, на которого они ему указали и которого мой человек считает слугой господина де Вальмона, вчера собирал сведения о жителях деревни, нуждающихся в помощи. Если это так, то мы имеем здесь не мимолетное сострадание, вызванное случайными обстоятельствами, а определенное намерение сделать доброе дело, стремление к благотворительности — благороднейшая добродетель благороднейших душ. Однако случайность ли это или обдуманный поступок, деяние это похвально, и от одного рассказа о нем я расчувствовалась до слез. Добавлю,—

---

[1] Госпожа де Турвель, видимо, не решается признаться, что это было сделано по ее приказанию.

и по-прежнему в интересах справедливости,— что, когда я заговорила с ним об этом поступке, о котором сам он не проронил ни слова, он сначала стал его отрицать, а когда ему пришлось в нем признаться, заговорил о нем, как о таком ничтожном деле, что скромность лишь удваивает его заслугу.

Скажите же мне теперь, уважаемый друг мой, действительно ли господин де Вальмон столь уж нераскаянный распутник? Если он таков и в то же время способен поступать так, как сегодня, что же тогда остается на долю порядочных людей? Как злые могут разделять с добрыми священную радость благодеяний? Допустил ли бы господь, чтобы честная семья получила из рук негодяя помощь, за которую стала бы потом возносить благодарность небесному провидению? Угодно ли будет ему, чтобы чистые уста расточали благословения недостойному? Нет. Я предпочитаю думать, что, как бы продолжительны ни были эти заблуждения, они не вечны, и не могу считать человека, творящего добро, врагом добродетели. Господин де Вальмон является, может быть, лишь примером того, как опасны связи. Я кончаю на этой мысли, которая мне нравится. Если, с одной стороны, она может послужить ему оправданием в ваших глазах, то, с другой стороны, она заставляет меня все больше и больше ценить нежную дружбу, соединившую меня с вами на всю жизнь.

Имею честь... и т. д.

P. S. Мы с госпожой де Розмонд отправляемся сейчас посетить эту честную и несчастную семью и прибавить нашу запоздалую помощь к той, которая оказана была господином де Вальмоном. Мы берем его с собой. Таким образом, мы хотя бы дадим этим добрым людям возможность еще раз повидать своего благодетеля. Кажется, это все, что он оставил на нашу долю.

Из ***, 20 августа 17...

ПИСЬМО 23

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Мы остановились на моем возвращении в замок; продолжаю рассказ.

Я только успел привести себя немного в порядок и тотчас же отправился в гостиную, где моя прелестница сидела за вышиванием, в то время как местный священник читал моей

тетушке газету. Я устроился возле пяльцев. Взоры, еще более нежные, чем обычно, почти ласкающие, вскоре подсказали мне, что слуга уже доложил о выполнении порученного ему дела. И впрямь, милая моя разоблачительница не могла долго скрывать украденный у меня секрет и, не постеснявшись перебить достопочтенного пастыря,— хотя газету он читал так, словно произносил проповедь,— заявила: «А у меня тоже есть новость»,— и тут же рассказала мое приключение с точностью, делающей честь ее осведомителю. Вы сами понимаете, какую я напустил на себя скромность. Но разве можно остановить женщину, когда она расхваливает человека, которого, сама того не сознавая, любит? Я уж решил не перебивать ее. Можно было подумать, что она произносит славословие какому-нибудь святому угоднику. Я же тем временем не без надежды наблюдал все то, что служило как бы залогом любви: полный оживления взгляд, движения, ставшие гораздо свободнее, и особенно голос — он уже заметно изменился, выдавая смятенность ее души. Не успела она кончить свой рассказ, как госпожа де Розмонд сказала мне: «Подойди ко мне, племянник, подойди, дай я тебя поцелую». Тут я сразу почувствовал, что прелестная проповедница тоже не сможет устоять против поцелуя. Правда, она попыталась бежать, но вскоре оказалась в моих объятиях и не только не в силах была обороняться, но едва устояла на ногах. Чем больше я наблюдаю эту женщину, тем желаннее она мне становится. Она поспешила вернуться к пяльцам, для всех делая вид, будто снова принялась вышивать. Но я хорошо заметил, что руки у нее дрожали и она не в состоянии была продолжать работу.

После обеда дамы пожелали проведать бедняков, которым я столь благородно оказал помощь. Я сопровождал их. Избавлю вас от повторения сцены благодарности и восхвалений. Сердцу моему, трепещущему от сладостного воспоминания, не терпится возвратиться в замок. Всю дорогу моя прелестная президентша была задумчивей, чем обычно, и не вымолвила ни слова. Занятый мыслями о том, какие средства изобрести, чтобы получше использовать впечатление, произведенное событиями этого дня, я тоже хранил молчание. Говорила одна лишь госпожа де Розмонд, изредка получая от нас немногословные ответы. Мы ей, видимо, наскучили; я этого хотел и достиг своей цели. Как только мы вышли из экипажа, она удалилась к себе, оставив меня и мою прелестницу вдвоем в слабо освещенной гостиной: сладостный полусумрак, придающий смелость робкому чувству любви.

Без труда направил я беседу по желанному для меня руслу. Рвение милой проповедницы послужило мне лучше, чем вся моя ловкость. «Когда человек достоин творить добрые дела,— сказала она, устремив на меня кроткий взгляд,— как может он всю свою жизнь поступать дурно?»

«Я не заслуживаю,— возразил я,— ни этой похвалы, ни этого упрека, и не могу представить себе, чтобы вы с вашим умом еще не разгадали меня. Пусть моя откровенность даже повредит мне в ваших глазах,— вы настолько достойны ее, что я не могу вам в ней отказать. Ключ к моему поведению вы найдете в моем характере — слишком, к сожалению, слабом. Окруженный людьми безнравственными, я подражал их порокам, я даже, может быть, из ложного самолюбия старался их перещеголять. Здесь же, покоренный примером добродетели, я попытался хотя бы следовать вам, не имея надежды с вами сравняться. И, может быть, поступок, за который вы меня сегодня хвалите, потеряет всякую цену в ваших глазах, если вы узнаете подлинные мои побуждения. (Видите, прелестный друг мой, как недалек я был от истины!) Не мне,— продолжал я,— обязаны были эти несчастные помощью, которую оказал им я. В том, в чем вы усматриваете похвальное деяние, я искал лишь средства понравиться. Я оказался,— раз уж нужно говорить все до конца,— ничтожным служителем божества, которому поклоняюсь. (Тут она попыталась прервать меня, но я не дал ей этого сделать.) И сейчас,— добавил я,— лишь по слабости своей выдал я тайну. Я давал себе слово умолчать о ней, для меня счастьем было поклонение вашим добродетелям, равно как и вашим прелестям,— поклонение, о котором вы никогда не должны были узнать. Но, имея перед глазами пример чистосердечия, я не в силах быть обманщиком и не хочу упрекать себя в неблаговидном притворстве по отношению к вам. Не думайте, что я оскорблю вас преступной надеждой. Я буду несчастен, знаю это, но даже страдания мои будут мне дороги: они послужат доказательством беспредельности моей любви. К вашим ногам, к сердцу вашему повергну я свои муки, там почерпну я силы для новых страданий, там обрету сострадание и почту себя утешенным, так как вы меня пожалели. О обожаемая, выслушайте меня, пожалейте, помогите мне». Я бросился к ее ногам, сжимая ее руки в своих. Но она внезапным движением вырвала их у меня и, прижав к глазам с выражением отчаянья, вскричала: «О, я несчастная!» — и тотчас же зарыдала. К счастью, я довел себя до того, что и сам плакал: вновь завладев ее руками, я омывал их слезами. Эта

предосторожность оказалась необходимой, ибо она была так поглощена своим страданием, что не заметила бы моего, если бы я не прибег к этому способу обратить на него ее внимание. При этом я выиграл то, что получил возможность вдоволь налюбоваться ее прелестным лицом, еще похорошевшим благодаря покоряющему очарованию слез. Я настолько разгорячился и так мало владел собой, что едва не поддался искушению воспользоваться этой минутой.

Как же велика наша слабость, как сильна власть обстоятельств, если даже я, позабыв о своих замыслах, рисковал тем, что преждевременное торжество могло отнять у меня прелесть долгой борьбы с нею и все подробности ее тяжкого поражения, если в порыве юношеского желания я едва не обрек победителя госпожи де Турвель на то, что плодом его трудов оказалось бы только жалкое преимущество обладания лишней женщиной! Да, она должна сдаться, но пусть поборется, пусть у нее не хватит сил для победы, но окажется достаточно для сопротивления, пусть она испытает всю полноту ощущения собственной слабости и вынуждена будет признать свое поражение. Предоставим жалкому браконьеру возможность убить из засады оленя, которого он подстерег: настоящий охотник должен загнать дичь. Возвышенный замысел, не правда ли? Но, может быть, сейчас я сожалел бы, что не осуществил его, если бы случай не помог моей предусмотрительности.

Мы услышали шум: кто-то шел в гостиную. Госпожа де Турвель испугалась, быстро вскочила, схватила один из подсвечников и вышла. Воспрепятствовать ей было невозможно. Оказалось, что это был слуга. Убедившись в этом, я последовал за нею. Не успел я сделать несколько шагов, как услышал, что, либо узнав их, либо поддавшись неясному ощущению страха, она побежала быстрее и не вошла, а скорее влетела в свою комнату, закрыв за собою дверь. Я подошел к двери, но она была заперта на ключ. Стучать я, разумеется, не стал: это дало бы ей возможность без труда оказать сопротивление. Мне пришла в голову простая и удачная мысль попытаться увидеть ее через замочную скважину, и я действительно увидел эту обворожительную женщину — она стояла на коленях, вся в слезах, и горячо молилась. К какому богу дерзала она взывать? Есть ли бог столь могущественный, чтобы противиться любви? Тщетно прибегает она теперь к помощи извне: ныне я один властен над ее судьбой.

Полагая, что для одного дня мною вполне достаточно сделано, я тоже удалился в свою комнату и принялся вам писать.

Я надеялся увидеть ее за ужином, но она велела передать, что плохо себя чувствует, и легла. Госпожа де Розмонд хотела подняться к ней в комнату, но коварная больная сослалась на головную боль, при которой ей просто невозможно кого бы то ни было видеть. Вы, конечно, понимаете, что после ужина мы сидели недолго и что у меня тоже разболелась голова. Удалившись к себе, я написал ей длинное письмо, жалуясь на ее суровость, и лег спать, решив передать его сегодня утром. Из даты этого письма вы легко можете заключить, что спал я плохо. Рано встав, я перечел свое письмо и сразу же заметил, что плохо владел собой, проявив в нем больше пыла, чем любви, и больше досады, чем грусти. Надо будет его переделать, но в более спокойном состоянии.

Вижу, что уже светает, и надеюсь, что утренняя свежесть поможет мне уснуть. Сейчас я снова лягу и, как ни велика власть этой женщины надо мной, обещаю вам не заниматься ею настолько, чтобы у меня не оставалось времени подолгу думать о вас. Прощайте, прелестный мой друг.

Из ***, 21 августа 17...

ПИСЬМО 24

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Ах, сударыня, хотя бы из жалости соблаговолите успокоить смятение моей души; соблаговолите сказать мне, на что я могу надеяться и чего мне страшиться. Я нахожусь все время в неизвестности между чрезмерностью счастья и чрезмерностью страдания, и это для меня жестокая пытка. Зачем я говорил с вами? Почему не устоял я перед властным очарованием, заставившим меня открыть вам свои мысли? Пока я довольствовался тем, что безмолвно поклонялся вам, любовь была для меня радостью, и чистое это чувство, еще не омраченное видом вашего страдания, казалось вполне достаточным для моего счастья. Но этот источник радости стал источником отчаянья с того мгновенья, когда я увидел ваши слезы, когда я услышал это жестокое: «О, я несчастная!» Сударыня, эти три слова долго будут звучать в моем сердце. По воле какого рока нежнейшее из чувств внушает вам один лишь ужас? Чего вы страшитесь? Ах, не того, что разделите мое чувство: сердце ваше, которое я плохо знал, не создано для любви. Лишь мое, на которое вы беспрестанно клевещете, способно чувствовать. Ваше же не

ощущает даже жалости. Если бы это было не так, вы не отказали бы хоть в одном слове утешенья несчастному, открывшему вам свои страдания, вы не скрылись бы от его взоров, тогда как видеть вас — его единственная отрада, вы не стали бы так жестоко играть его тревогой, сообщив, что вы больны, и не дав ему разрешения прийти к вам, чтобы узнать о вашем самочувствии, вы поняли бы, что та самая ночь, которая для вас была лишь двенадцатью часами отдыха, для него должна была стать целым веком страданий.

Чем, скажите мне, заслужил я эту убийственную суровость? Я не боюсь сделать вас своим судьей. Что же я совершил? Лишь поддался невольному чувству, внушенному вашей красотой и оправданному вашей добродетелью; оно всегда сдерживалось почтительностью, и невинное признание в нем явилось следствием доверчивости, а отнюдь не надежды. Обманете ли вы мое доверие, которое, казалось, сами вы поощряли и которому я беззаветно отдался? Нет, я не могу так думать. Это значило бы предположить, что в вас есть хотя бы один недостаток, а сердце мое негодует при одной мысли об этом; я отрекаюсь от своих упреков; я мог написать эти слова, но я их не имел в виду. Ах, позвольте мне верить в ваше совершенство: это единственная оставшаяся мне радость. Докажите, что вы действительно таковы, великодушно проявив заботу обо мне. Вы оказывали помощь несчастным, а кто из них нуждался в ней больше, чем я? Вы повергли меня в безумие — не оставляйте же меня в нем. Вы похитили мой рассудок — одолжите же мне свой и, исправив меня, просветите, дабы завершить ваше дело.

Я не хочу обманывать вас: победить мою любовь вам не удастся, но вы нау́чите меня сдерживать ее. Руководя моими поступками, внушая мне, что́ я должен говорить, вы хотя бы избавите меня от ужасного несчастья быть вам неугодным. А главное — рассейте мой убийственный страх. Скажите, что жалеете, что прощаете меня, дайте мне уверовать в вашу снисходительность. В той мере, в какой я этого желал бы, у вас ее никогда не будет; но я прошу лишь того, что мне крайне необходимо; откажете ли вы мне в этом?

Прощайте, сударыня. Примите благосклонно выражение моих чувств: они не умаляют моей почтительности.

Из ***, 20 августа 17...

ПИСЬМО 25

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Вот вчерашний бюллетень.

В одиннадцать часов я зашел к госпоже де Розмонд и под ее охраной введен был к мнимой больной, которая еще лежала в постели. Под глазами у нее были круги: надеюсь, она спала не больше моего. Я улучил минутку, когда госпожа де Розмонд отошла, и протянул свое письмо. Его не взяли, но я оставил его на постели и принялся заботливо пододвигать к ней кресло моей тетушки, пожелавшей сесть поближе *к своей милой девочке,* которой пришлось зажать письмо в руке, чтобы предотвратить скандал. Больная, на свою беду, заявила, что у нее, кажется, небольшой жар. Госпожа де Розмонд попросила меня пощупать ей пульс, всячески расхваливая мои познания в медицине. Прелестница моя испытала двойную неприятность: ей пришлось протянуть мне свою руку, испытывая в то же время опасение, что ее маленькая ложь сейчас обнаружится. Я действительно взял ее руку и зажал в одной из своих, а другой принялся ощупывать эту свежую пухлую ручку от кисти до локтя. Лицемерка оставалась невозмутимой, и я, отойдя от кровати, сказал: «Пульс нисколько не учащен». Предполагая, что взор ее был суров, я, чтобы наказать ее, не старался поймать его. Вскоре она сказала, что хочет встать, и мы оставили ее одну. Она спустилась к обеду, который прошел весьма уныло, и заявила, что не пойдет на прогулку, давая этим понять, что случая поговорить с нею у меня не будет. Я понял, что тут надо прибегнуть к вздоху и страдальческому взгляду. Видимо, она этого ждала, ибо за весь день это был единственный раз, что мне удалось встретиться с ее взором. Хоть она и скромница, а у нее, как у всякой другой, есть свои хитрости. Я уловил минуту, чтобы спросить ее, *соблаговолила ли она известить меня, какая мне уготована участь,* и несколько удивился, услыхав в ответ: «Да, сударь, я вам написала». Мне не терпелось получить это письмо, но — хитрость ли снова, или неловкость, или робость — она передала мне его лишь вечером, перед отходом ко сну. Посылаю вам его вместе с черновиком моего письма к ней. Прочтите и судите сами, с каким поразительным лицемерием она уверяет, что не испытывает любви, в то время как я убежден в противном. А ведь если я потом обману ее, она станет негодовать, хотя обманула меня первая! Прелестный друг мой, даже самый изворотливый мужчина может в лучшем случае лишь сравниться

с самой правдивой женщиной. Придется мне, однако, сделать вид, будто я верю всем этим россказням, и выбиваться из сил, разыгрывая отчаяние, потому что сударыне угодно изображать суровость! Ну, как не мечтать о возмездии за все эти козни?.. Но — терпение... Пока же прощайте. Мне надо еще много писать.

Кстати, письмо бесчеловечной вы мне верните. Может случиться, что впоследствии она вздумает набивать цену всем этим пустякам, и нужно, чтоб у меня все было в порядке.

Я ничего не говорю о маленькой Воланж. Мы побеседуем о ней при первой же встрече.

Из замка ***, 22 августа 17...

ПИСЬМО 26

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Никогда, милостивый государь, вы не получили бы от меня ни одного письма, если бы глупое мое поведение вчера вечером не вынудило меня объясниться с вами сегодня. Да, признаюсь, я плакала. Возможно, что вырвались у меня и слова, на которые вы так настойчиво ссылаетесь. Вы заметили и слезы мои, и слова. Приходится разъяснить вам все.

Я привыкла вызывать лишь благопристойные чувства, слышать лишь речи, которым могу внимать не краснея, и, следовательно, ощущать себя в безопасности, которой, смею это утверждать, я вполне заслуживаю. Поэтому я не умею ни притворяться, ни противостоять нахлынувшим на меня впечатлениям. Ваше поведение изумило меня и повергло в растерянность; положение, в которое я не должна была бы попасть, внушило мне какой-то непонятный страх; может быть, вызвала во мне негодование и мысль, что я могу оказаться смешанной с женщинами, которых вы презираете, и подвергнуться столь же легкомысленному обращению. Все это, вместе взятое, исторгло у меня слезы и, возможно, заставило — не без основания, полагаю,— сказать, что я несчастна. Выражение это, которое вы находите таким сильным, наверно, звучало бы весьма слабо, если бы причина моих слез и моих слов была другая, если бы, вместо того чтобы осуждать чувства, которые должны быть для меня оскорбительными, я могла бы опасаться, что способна их разделить.

Нет, сударь, такого опасения я не испытываю. Будь оно у меня, я бежала бы за сотни лье от вас и удалилась бы куда-

нибудь в пустыню оплакивать злосчастную встречу с вами. Может быть, даже несмотря на полнейшую уверенность мою, что я не люблю вас и не полюблю никогда, может быть, я поступила бы правильнее, если бы послушалась совета друзей — не подпускать вас близко к себе.

Я верила,— и это единственная моя ошибка,— я верила, что вы отнесетесь с уважением к честной женщине, которая больше всего стремилась видеть и в вас честного человека и отдать вам должное, которая защищала вас в то время, как вы оскорбляли ее своими преступными желаниями. Вы не знаете меня. Нет, сударь, вы меня не знаете. Иначе вы не возомнили бы, что заблуждения ваши дают вам какие-то права. На том основании, что вы вели со мной речи, которых мне не следовало слушать, вы вообразили, что вам позволено написать мне письмо, которого я не должна была читать. И при всем этом вы просите меня *руководить вашими поступками, внушать вам, что́ вы должны говорить!* Так вот, сударь, молчание и забвение — единственный совет, который мне подобает вам дать и которому вам подобает следовать. Тогда, действительно, вы обретете некоторое право на мою снисходительность, и лишь от вас зависело бы приобрести право даже на мою благодарность... Но нет, я не стану обращаться с просьбой к человеку, не проявившему ко мне уважения. Я не окажу доверия тому, кто посягнул на мою безопасность.

Вы заставляете меня остерегаться вас, может быть, даже ненавидеть, чего я отнюдь не желала. Я хотела видеть в вас лишь племянника самого уважаемого моего друга, и голос дружбы возвышала я против обвинявшего вас голоса общественного мнения. Вы все разрушили и, как я предвижу, ничего не захотите восстановить.

Мне остается, сударь, заявить вам, что чувства ваши меня оскорбляют, что признание в них является дерзким вызовом и, прежде всего, что я не только не способна когда-либо разделить их, но что вы заставите меня никогда больше с вами не видеться, если не принудите себя в дальнейшем к молчанию на этот счет. Молчанию, которого я, по-моему, имею право от вас ожидать и даже требовать. К этому письму я присовокупляю то, которое вы написали мне, и надеюсь, что вы соблаговолите в свою очередь возвратить мне настоящее мое письмо. Мне было бы крайне тягостно, если бы остался какой-либо след происшествия, которое вообще не должно было иметь места. Имею честь... и т. д.

Из *, 21 августа 17...**

ПИСЬМО 27

От Сесили Воланж к маркизе де Мертей

Боже мой, сударыня, как вы добры! Как хорошо вы поняли, что мне гораздо легче написать вам, чем говорить с вами! Только вот очень уж трудно все это сказать; но ведь вы мне друг, не правда ли? О да, вы мой добрый, добрый друг! Я постараюсь не бояться. И, кроме того, мне так нужны вы, ваши советы! Я ужасно от всего огорчаюсь; мне кажется, все догадываются, что́ я думаю, а главное — когда он присутствует, я краснею, как только кто-нибудь на меня взглянет. Вчера, когда вы заметили, что я плачу, дело было в том, что я хотела с вами поговорить, а потом не знаю уж, что меня остановило, и когда вы спросили, что́ это со мной, слезы хлынули сами собой. Я не смогла бы и слова вымолвить. Если бы не вы, мама все заметила бы, и что бы тогда было со мной? А ведь так я все время и живу, особенно последние четыре дня!

Все началось с того дня, сударыня,— да, я уж вам скажу,— с того дня, когда кавалер Дансени написал мне. О, уверяю вас, когда я обнаружила его письмо, я и представления не имела, что это такое. Но я не хочу лгать и не могу сказать, что не получила очень большого удовольствия, когда читала его. Понимаете, я предпочла бы всю жизнь иметь одни огорчения, чем если бы он мне не написал. Но я хорошо знала, что не должна ему этого говорить, и могу вас уверить, я даже сказала ему, что очень на него за это сержусь, но он говорит, что это было сильнее его, и я ему охотно верю. Я ведь сама решила не отвечать ему и, однако, не смогла удержаться. О, я написала ему один лишь разок и даже отчасти, чтобы сказать ему, чтоб он мне больше не писал. Но, несмотря на это, он все время пишет, а так как я ему не отвечаю, я вижу, что он грустит, и меня это печалит еще больше. Я уже не знаю, что мне делать, что со мной станется, и, по правде сказать, меня можно пожалеть.

Скажите мне, пожалуйста, сударыня, очень ли было бы плохо, если бы я ему время от времени отвечала? Только до тех пор, пока он сам не решит прекратить мне писать и все не станет, как было прежде. Ибо, что касается меня, то, если это будет продолжаться, я не знаю, что со мной будет. Вы знаете, когда я читала его последнее письмо, я так плакала, что никак не могла успокоиться, и я уверена, что, если я ему и теперь не отвечу, мы совсем измучимся.

Я вам пришлю его письмо или сделаю копию, и вы сами сможете судить. Вы увидите, он ничего худого не просит. Однако, если вы найдете, что отвечать нельзя, я обещаю вам удержаться. Но я думаю, вы со мной согласитесь, что ничего дурного тут нет. Раз уж зашла об этом речь, сударыня, позвольте мне задать вам еще один вопрос: мне говорили, что любить кого-нибудь — дурно. Но почему? Я потому спрашиваю, что господин кавалер Дансени утверждает, будто ничего плохого в этом нет и что почти все люди любят. Если это так, то не вижу, почему бы я не должна была себе этого позволять. Или, может быть, это дурно только для девиц? Ведь я слышала, как мама говорила, что мадемуазель Д*** любит господина М***, и говорила она об этом совсем не как о чем-то особенно дурном. Однако я уверена, что она рассердилась бы на меня, если бы узнала о моих дружеских чувствах к господину Дансени. Она, мама, до сих пор обращается со мной, как с ребенком, и ничего мне не говорит. Когда она взяла меня из монастыря, я думала, она хочет выдать меня замуж, а теперь мне кажется, что нет. Не то чтобы меня это очень волновало, уверяю вас, но вы с ней в такой дружбе и, может быть, знаете, как обстоит дело, а если знаете, я надеюсь, вы мне скажете.

Длинное получилось письмо, сударыня, но вы ведь позволили мне писать вам. Я и воспользовалась этим, чтобы все вам поведать, и очень рассчитываю на вашу дружбу.

Имею честь и т. д.

Париж, 23 августа 17...

ПИСЬМО 28

От кавалера Дансени к Сесили Воланж

Итак, мадемуазель, вы по-прежнему отказываетесь отвечать мне? Ничто не может поколебать вас, и каждый новый день уносит с собой надежду, которую он мне сулил! Вы признаёте как будто, что между нами существует дружба, но что это за дружба, если она недостаточно сильна, чтобы растрогать вас моими страданиями, если вы все так же холодны и невозмутимы, в то время как меня сжигает мучительный пламень, которого я не в силах погасить; если она не только не внушает вам доверия, но ее не хватает и на то, чтобы пробудить в вас жалость? Как, друг ваш страдает, а вы ничего не делаете, чтобы ему помочь! Он просит одного лишь слова, а вы ему отказываете! И вы хотите, чтобы он довольствовался таким слабым

чувством, в котором вы ко всему еще боитесь лишний раз заверить его!

Вчера вы сказали, что не хотели бы быть неблагодарной. Ах, поверьте мне, мадемуазель, стремление заплатить за любовь дружбой означает не боязнь быть неблагодарной, а лишь страх показаться ею. Однако я больше не решаюсь говорить вам о чувстве, которое может быть лишь тягостным для вас, если оно вам чуждо. Я должен уметь хотя бы таить его, пока не научусь побеждать. Я хорошо понимаю, как это будет трудно; я не скрываю от себя, что мне понадобятся все мои силы; я испробую все средства; одно из них будет особенно мучительным для моего сердца: без конца повторять себе, что ваше сердце бесчувственно. Я постараюсь даже видеться с вами как можно реже и уже изыскиваю для этого подходящий предлог.

Как! Я вынужден буду отказаться от сладостной привычки видеть вас каждый день! Ах, во всяком случае, я никогда не перестану сожалеть об этом. Вечное горе будет расплатой за нежнейшую любовь, и это случится по вашей вине, и это будет делом ваших рук. Я чувствую, что никогда не обрету вновь счастья, которое сейчас теряю. Лишь вы одна созданы были для моего сердца. С какой радостью дал бы я клятву жить только ради вас. Но вы не хотите принять ее. Ваше молчание ясно говорит мне, что в вашем сердце я не рождаю никакого отклика, оно лучше всего доказывает ваше равнодушие и одновременно самым жестоким способом дает мне это понять. Прощайте, мадемуазель.

Я не смею уже надеяться на ответ: любовь написала бы его, не медля ни минуты, дружба — с радостью, и даже жалость — с добрым чувством. Но и жалость, и дружба, и любовь равно чужды вашему сердцу.

Париж, 23 августа 17...

ПИСЬМО 29

От Сесили Воланж к Софи Карне

Я ведь говорила тебе, Софи, бывают случаи, когда писать можно, и, уверяю тебя, раскаиваюсь, что последовала твоему совету, причинившему нам — кавалеру Дансени и мне — столько горя. В доказательство, что я была права, скажу тебе, что госпожа де Мертей — женщина, во всех этих вещах уж наверно отлично разбирающаяся,— в конце концов стала думать, как я.

Я ей во всем призналась. Сперва она, правда, говорила то же, что и ты, но, когда я ей все объяснила, она согласилась, что это совсем другое дело. Она лишь требует, чтобы я показывала ей все мои письма и все письма кавалера Дансени, так как хочет быть вполне уверенной, что я пишу только так, как нужно. И теперь я совершенно спокойна. Боже мой, как я люблю госпожу де Мертей! Она так добра! И к тому же она женщина весьма уважаемая. Таким образом, против этого нечего и возразить.

С какой радостью напишу я господину Дансени, и как он будет доволен! Он обрадуется даже больше, чем думает, так как до сих пор я говорила ему только о дружбе, а он все время хотел, чтобы я сказала о своей любви. Я-то считаю, что это одно и то же, но все же не решалась, а он настаивал. Я сказала об этом госпоже де Мертей, и она ответила, что я права, что признаваться в любви нужно лишь тогда, когда молчать уже нет возможности. А я как раз уверена, что больше у меня не хватит сил сдерживаться. В конце концов это ведь все равно, а ему будет приятнее.

Госпожа де Мертей сказала мне также, что даст мне книги, в которых обо всем этом говорится и которые научат меня правильно вести себя и писать лучше, чем я это делаю. Ибо, видишь ли, она указывает мне все мои недостатки, а это значит, что она меня крепко любит. Она только посоветовала мне ничего не говорить об этих книгах маме, потому что кто-нибудь, пожалуй, еще скажет, что она пренебрегла моим воспитанием, а это может ей быть неприятно. О, конечно, я ей ничего не скажу.

Как все же странно, что женщина, почти мне чужая, больше заботится обо мне, чем родная мать! Какое счастье для меня, что я с ней познакомилась!

Она попросила также у мамы позволения взять меня послезавтра в Оперу, в свою ложу. Мне она сообщила, что мы там будем одни и сможем все время беседовать, не опасаясь, что нас услышат. Это даже лучше, чем сама опера. Мы поговорим о моем замужестве, так как, по ее словам, я действительно вскоре должна выйти замуж, но нам не удалось пока поговорить об этом подробнее. Кстати, не удивительно ли и то, что мама ни слова мне об этом не сказала?

Прощай, моя Софи. Иду писать кавалеру Дансени. О, я ужасно рада.

Из ***, 24 августа 17...

ПИСЬМО 30

От Сесили Воланж к кавалеру Дансени

Наконец, сударь, соглашаюсь я написать вам и заверить вас в моей дружбе, в моей *любви,* раз уж без этого вы будете несчастны. Вы говорите, что у меня нет сердечной доброты. Уверяю вас, что вы ошибаетесь, и надеюсь, что теперь у вас уж не осталось никаких сомнений. Если вы страдали оттого, что я вам не писала, то неужели вы думаете, что и я тоже не огорчалась? Но дело в том, что я ни за что на свете не хотела бы сделать чего-либо дурного, и я даже, наверно, не призналась бы в любви к вам, если бы могла удержаться, но ваша печаль была для меня слишком мучительной. Надеюсь, что теперь вы уж перестанете грустить и мы будем очень счастливы.

Я рассчитываю на удовольствие видеть вас сегодня вечером и на то, что вы придете пораньше; все равно это никогда не будет так рано, как мне хотелось бы. Мама ужинает дома, и я думаю, что она пригласит вас остаться. Надеюсь, что вы не будете заняты, как позавчера. На том ужине, куда вы отправлялись, было, наверно, очень весело? Ведь вы поторопились уйти очень рано. Но не будем об этом говорить. Я надеюсь, что теперь, когда вы знаете, что я вас люблю, вы будете оставаться со мной так долго, как только сможете. Я ведь радуюсь только тогда, когда бываю с вами, и хотела бы, чтобы и для вас это было так же.

Я очень огорчена, что сейчас вы еще грустны, но это уж не по моей вине. Я попрошу вас принести мне арфу, как только вы придете, чтобы вы тотчас же получили мое письмо. Ничего лучшего придумать не могу.

Прощайте, сударь. Я очень люблю вас, всем сердцем. И чем чаще я об этом говорю, тем становлюсь счастливее. Надеюсь, что и вы будете счастливы.

Из ***, 24 августа 17...

ПИСЬМО 31

От кавалера Дансени к Сесили Воланж

Да, разумеется, мы будем счастливы. Счастье мое обеспечено, раз вы любите меня; вашему никогда не будет конца, если оно продлится столько же, сколько любовь, которую вы мне внушили. Как! Вы любите меня, вы уже не боитесь уверить меня в своей *любви! Чем чаще вы мне об этом говорите,*

тем вы счастливее! Прочтя это прелестное *я люблю вас,* написанное вашей рукой, я тут же услышал это признание из ваших прекрасных уст. Я увидел, как на мне остановился пленительный этот взор, который нежное чувство сделало еще восхитительней. Я получил от вас клятву жить только для меня. Примите же и мою — посвятить всю мою жизнь вашему счастью, примите ее и будьте уверены, что я никогда ей не изменю.

Какой блаженный день провели мы вчера! Ах, почему у госпожи де Мертей не каждый день есть что сказать по секрету вашей маме? Почему мысль об ожидающих нас препятствиях должна примешиваться к сладостному воспоминанию, которое владеет мною? Почему не могу я беспрерывно держать в своих руках прелестную ручку, начертавшую мне слова: *Я люблю вас!* — покрывать ее поцелуями, хоть этим вознаграждая себя за ваш отказ в большей милости!

Скажите, моя Сесиль, когда ваша мама вернулась, когда ее присутствие вынудило нас обмениваться лишь равнодушными взглядами, когда вы уже не могли уверениями в своей любви утешать меня в том, что не хотите мне ее доказать,— неужели не испытали вы ни малейшего сожаления, не сказали себе: «Поцелуй сделал бы его счастливее, но я сама лишила его этого счастья?» Обещайте мне, милый мой друг, что при первом же удобном случае вы окажетесь менее суровой. В этом обещании обрету я мужество перенести все превратности, уготованные нам судьбою, и жестокие лишения будут смягчены хотя бы уверенностью, что вы также сожалеете о них.

Прощайте, прелестная моя Сесиль, наступило время идти к вам. Я не в состоянии был бы сейчас покинуть вас, если бы не мысль, что я делаю это лишь для того, чтобы увидеться с вами. Прощайте, столь мною любимая! Вы, которую я буду любить все больше и больше!

Из ***, 25 августа 17...

ПИСЬМО 32

От госпожи де Воланж к президентше де Турвель

Итак, вы хотите, сударыня, чтобы я поверила в добродетель господина де Вальмона? Признаюсь, что не могу на это решиться и что мне так же трудно считать его порядочным человеком на основании одного лишь факта, о котором вы рассказали, как и счесть порочным какого-нибудь благородного человека, узнав об одном лишь неблаговидном его поступке. Род

человеческий не совершенен ни в чем — ни в дурном, ни в хорошем. Негодяй может иметь свои достоинства, как и честный человек — свои слабости. Мне представляется, что считать это истиной тем более важно, что именно отсюда вытекает необходимость снисхождения к злым так же, как и к добрым, и что истина эта одних предохраняет от гордыни, а других — от отчаяния. Вы, наверно, найдете, что в данном случае я не очень-то следую снисходительности, которую проповедую. Но я считаю ее лишь пагубной слабостью, если она ведет к тому, что мы начинаем одинаково относиться и к порочному и к благородному человеку.

Я не позволю себе доискиваться, по каким причинам господин де Вальмон совершил свой поступок. Готова верить тому, что они похвальны, как и сам этот поступок, но разве, несмотря на это, господин де Вальмон не занимался всю свою жизнь тем, что вносил в честные семьи смятение, бесчестие и позор? Прислушивайтесь, если хотите, к голосу несчастного, которому господин де Вальмон оказал помощь, но пусть голос этот не заглушает вопли сотен жертв, которых он погубил. Если он, как вы говорите, лишь пример того, как опасны бывают связи, то разве от этого он сам перестает быть опасной связью? Вы считаете его способным возвратиться на путь истинный? Пусть так; предположим даже, что чудо это совершилось. Но ведь общественное мнение будет по-прежнему против него, и разве этого недостаточно для того, чтобы руководить вашим поведением? Одному господу дано прощать в миг раскаянья: ведь он читает в сердцах. Но люди могут судить о намерениях лишь по поступкам, и никто из них, потеряв уважение других людей, не имеет права жаловаться на законное недоверие, вследствие которого утраченное уважение восстанавливается с таким трудом. Подумайте в особенности, юный друг мой, что иногда для того, чтобы потерять его, достаточно лишь напустить на себя вид, будто слишком мало его ценишь. И не считайте подобную строгость несправедливою, ибо, с одной стороны, есть все основания полагать, что человек не отказывается от столь ценного блага, если имеет право на него притязать, а с другой стороны, действительно, тот, кого не сдерживает эта мощная узда, всегда находится ближе к злу. А ведь именно такой вид имели бы вы в глазах общества, если бы у вас завязалась близкая дружба с господином де Вальмоном, как бы она ни была невинна.

Меня испугала горячность, с какою вы его защищаете, и потому я спешу предвосхитить вероятные ваши возражения. Вы назовете мне госпожу де Мертей, которой простили эту связь.

Вы спросите, почему я его принимаю. Вы скажете, что он не только не отвергнут порядочными людьми, но что он принят и даже пользуется успехом в так называемом избранном обществе. Я думаю, что смогу ответить вам на все.

Что до госпожи де Мертей, то она, будучи действительно достойной всяческого уважения, имеет, может быть, лишь тот недостаток, что чрезмерно уверена в собственных силах: она ловкий возница, которому забавно ехать, лавируя среди скал и над пропастями, и которого оправдывает лишь успех. Справедливо хвалить ее за это, но опасно было бы следовать ее примеру: она сама согласна с этим и порицает себя. По мере того как увеличивается ее жизненный опыт, она становится строже, и я не побоюсь заверить вас, что в данном случае она была бы со мной согласна.

Что до меня лично, то я не стану оправдывать себя больше, чем других. Конечно, я принимаю господина де Вальмона, и он всеми принят: это еще одна непоследовательность наряду с тысячью других, которые управляют обществом. Вы не хуже меня знаете, что все замечают их, сетуют на них и продолжают им подчиняться. Господин де Вальмон — человек с хорошим именем, большим состоянием, множеством приятных качеств — рано осознал, что для того чтобы подчинить себе общество, достаточно уметь с одинаковой ловкостью пользоваться похвалой и насмешкой. Никто не владеет в такой степени этим двойным даром: при помощи одного он обольщает, другой внушает к нему страх. Его не уважают, но ему льстят. Таково положение, занимаемое им в нашем свете, который, будучи более осторожным, чем мужественным, предпочитает не бороться с ним, а жить в мире.

Но ни сама госпожа де Мертей и никакая другая женщина, наверно, не осмелилась бы запереться где-то в деревне почти наедине с подобным человеком. И самой скромной, самой благонравной из всех суждено было подать пример такой беззаботности! Простите мне это слово: оно продиктовано дружбой. Милый мой друг, сама ваша честность, внушая вам чувство безопасности, предает вас. Подумайте, что судьями будут, с одной стороны, люди ветреные, не склонные верить в добродетель, которой им не обнаружить в своей среде, а с другой — злонамеренные, которые станут делать вид, что не верят в нее, чтобы отомстить вам за то, что вы ею обладаете. Подумайте: на то, что вы сейчас делаете, не решились бы и многие мужчины. Право же, среди молодых людей, чьим слишком уж бесспорным оракулом является господин де Вальмон, наиболее благоразум-

ные опасаются казаться слишком близко связанными с ним. А вы, вы этого не боитесь! Ах, возвращайтесь, возвращайтесь скорей, заклинаю вас... Если доводов моих недостаточно, чтобы убедить вас, уступите хотя бы моему дружескому чувству. Это оно заставляет меня возобновлять настояния, и оно должно оправдать их. Вам оно покажется слишком строгим, а я хотела бы, чтобы призыв его оказался излишним. Но я предпочитаю, чтобы вы больше жаловались на чрезмерную заботливость моей дружбы, чем на ее нерадивость.

Из ***, 24 августа 17...

ПИСЬМО 33

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Раз вы страшитесь успеха, любезный виконт, раз вы сами намерены снабдить противника оружием и меньше стремитесь победить, чем сражаться, мне больше нечего сказать вам. Поведение ваше — верх осмотрительности. Не будь так, оно было бы верхом глупости. По правде сказать, я боюсь, что вы сами себя обманываете.

Упрекаю я вас не за то, что вы упустили момент. С одной стороны, я не очень уверена, что он наступил, а с другой стороны, несмотря на все, что по этому поводу говорится, я отлично знаю, что упущенный случай всегда может снова представиться, меж тем как опрометчивый шаг не всегда удается исправить.

Но настоящий ваш промах в том, что вы затеяли переписку. Сомневаюсь, чтобы вы в состоянии были предусмотреть сейчас, к чему это может привести. Уж не рассчитываете ли вы доказать этой женщине, что она должна сдаться? Мне представляется, что истиной этой проникаются под влиянием чувства, а не силою рассуждения, и чтобы убедить в ней, надо не доказывать, а растрогать. Но какой смысл растрогать письмами, раз вас самого не будет тут же, чтобы воспользоваться случаем? Пусть даже ваши красноречивые фразы вызовут любовное опьянение,— уж не обольщаете ли вы себя надеждой, что оно продлится достаточно долго, чтобы размышление не успело воспрепятствовать признанию? Подумайте, сколько времени потребуется для письма и сколько времени пройдет, пока письмо передадут по назначению, и прежде всего поразмыслите, может ли женщина с правилами, вроде этой вашей ханжи, долго хотеть того, чего она старается никогда не хотеть. Этот способ годится

с девчонками, которые могут писать «я люблю вас», не сознавая, что тем самым говорят «я готова сдаться». Но, по-моему, рассудительная добродетель госпожи де Турвель отлично понимает значение слов. Вот почему, несмотря на преимущество, которое вы над ней получили в беседе, она нанесла вам поражение в письме. А знаете ли вы, что происходит в дальнейшем? Из-за одного того, что начал спорить, не хочешь уступать. Подыскивая все время убедительные доводы, находишь их, а потом держишься за них не столько потому, что они так уж хороши, сколько для того, чтобы не проявить непоследовательности.

К тому же — удивляюсь, как вы этого сами не заметили! — труднее всего в любовных делах — это писать то, чего не чувствуешь. Я имею в виду — правдоподобно писать: пользуешься ведь все одними и теми же словами, но располагаешь их не так, как следует, или, вернее сказать, располагаешь их по порядку — и всё тут. Перечитайте свое письмо: оно написано так последовательно, что каждая фраза выдает вас с головой. Охотно верю, что президентша ваша достаточно неопытна, чтобы этого не заметить, но разве это важно? Должного впечатления оно все равно не произведет. Это как в большинстве романов: автор из сил выбивается, стараясь изобразить пыл, а читатель остается холодным. Единственное исключение — «Элоиза». И, несмотря на весь талант ее автора, именно это наблюдение всегда внушало мне мысль, что в основе «Элоизы» лежит истинное происшествие. Не то, когда говоришь. Имея привычку владеть своим голосом, легко придаешь ему чувствительность, а к этому добавляется уменье легко проливать слезы. Взгляд горит желанием, но оно сочетается с нежностью. Наконец, при некоторой бессвязности живой речи легче изобразить смятение и растерянность, в которых и состоит подлинное красноречие любви. В особенности же присутствие предмета нашей любви мешает нам рассуждать и заставляет желать поражения. Поверьте мне, виконт, раз вас просят больше не писать, воспользуйтесь этим, чтобы исправить свою ошибку, и ждите случая заговорить. Знаете ли, эта женщина сильнее, чем я думала. Она умело защищается, и если бы письмо не было таким длинным и фразой насчет благодарности она не давала вам повод начать все заново, то совсем не выдала бы себя.

Мне кажется, вы можете быть уверены в успехе уже потому, что она тратит слишком много сил сразу. Я предвижу, что она исчерпает их в словесной защите, а на защиту самой себя у нее уже ничего не останется.

Возвращаю вам оба ваши письма, и, если вы склонны соблюдать осторожность, они будут последними до мгновения, когда вы обретете счастье. Жаль, уже поздний час, а то я поговорила бы с вами о маленькой Воланж,— она делает большие успехи, и я ею очень довольна. Кажется, я добьюсь своего раньше, чем вы; радуйтесь этому, виконт. На сегодня — прощайте.

Из ***, 24 августа 17...

ПИСЬМО 34

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Вы необыкновенно красноречивы, прелестный мой друг, но зачем так выбиваться из сил, доказывая всем известные вещи? Чтобы добиться успеха в любви, лучше говорить, чем писать: вот, кажется, все, к чему сводится содержание вашего письма. Но ведь это же самые азы искусства обольщения. Замечу только, что вы делаете лишь одно исключение из этого правила, а между тем их два. К девочкам, которые вступают на этот путь из робости и отдаются по неведению, надо прибавить умничающих, которые вступают на него из самолюбия и которых тщеславие заманивает в силки. Так, например, я уверен, что графиня де Б***, сразу ответившая на мое первое письмо, тогда любила меня не больше, чем я ее, и что она усматривала в переписке лишь возможность с некоторым блеском поговорить на тему любви.

Как бы то ни было, любой адвокат скажет вам, что общее правило отнюдь не всегда применимо к каждому данному случаю. Вы вот полагаете, что у меня имеется выбор между перепиской и живой речью, а дело обстоит не так. После того, что произошло девятнадцатого, бесчеловечная заняла оборонительные позиции и принялась избегать встреч, проявляя гораздо больше ловкости, чем я. Если так будет продолжаться, она вынудит меня всерьез подумать о способах получить в этом деле перевес. Ибо я, безусловно, не допущу, чтобы она хоть в чем-либо одержала победу. Даже письма мои служат поводом для маленькой войны. Не довольствуясь тем, что она оставляет их без ответа, она отказывается даже принимать их. При каждом письме надо прибегать к какой-нибудь хитрости, и они далеко не всегда удаются.

Вы помните, каким простым способом я передал ей первое письмо. Со вторым тоже было не труднее. Она попросила меня вернуть ей ее письмо, а я вместо того передал мое, не возбу-

дав ни малейшего подозрения. Но то ли от досады, что я провел ее, то ли по капризу, то ли, наконец, из-за своей добродетели — ибо в конце концов она заставит меня в эту добродетель поверить, — она упорно отказывается принять третье. Однако я надеюсь, что неудобное положение, в которое ее едва не поставил этот отказ, исправит ее на будущее время.

Я был не слишком удивлен, когда она отказалась принять письмо, которое я ей просто подал: это уже означало бы пойти на известную уступку, а я ожидаю более длительной обороны. После этой попытки, предпринятой, так сказать, мимоходом, для пробы, я вложил свое письмо в другой конверт и, избрав час ее туалета, когда с нею находилась госпожа де Розмонд и служанка, послал его с моим егерем, велев ему сказать ей, что это бумага, которую она у меня просила. Я верно угадал, что она побоится неудобного объяснения, к которому принудил бы ее отказ. И действительно, она взяла письмо, и мой посланец, которому сказано было приглядеться к выражению ее лица, заметил лишь легкий румянец — скорее смущения, чем гнева.

Поэтому я радовался, вполне уверенный, что либо она оставит это письмо у себя, либо, если пожелает вернуть его, ей придется побыть со мной наедине, что дало бы мне возможность поговорить с ней. Но примерно через час один из ее слуг является в мою комнату и передает мне от своей госпожи пакет иного вида, чем был мой; на конверте же я узнаю столь желанный мне почерк. Поспешно распечатываю...

В пакете находилось мое же собственное письмо, не распечатанное и лишь сложенное вдвое. Подозреваю, что на эту дьявольскую хитрость натолкнуло ее опасение, как бы я не оказался менее, чем она, щепетильным насчет огласки.

Вы знаете меня, и вам незачем описывать мое бешенство. Пришлось, однако, вновь обрести хладнокровие и изыскивать новые способы. Вот что я придумал.

Отсюда каждый день посылают за письмами на почту, находящуюся примерно в трех четвертях лье от замка. Для этой цели пользуются запертым ящиком, наподобие церковной кружки для сбора пожертвований, один ключ от которого хранится у начальника почты, а другой — у госпожи де Розмонд. Каждый из обитателей замка опускает в него свои письма в любое время в течение дня, и вечером их относят на почту, а утром приносят с почты письма, адресованные в замок. Все слуги, как хозяйские, так и посторонние, выполняют эту обязанность поочередно. Была очередь не моего слуги, но он вызвался пойти на почту под предлогом, что в ту сторону ему надо по делу.

Я же написал свое письмо. На конверте я изменил почерк и довольно удачно подделал дижонский почтовый штемпель, потому что мне казалось забавным, добиваясь тех же прав, что и муж, писать оттуда, где он находится, а также и потому, что прелестница моя весь день говорила, что очень хотела бы получить письма из Дижона. Я счел за благо доставить ей это удовольствие.

Приняв все эти меры предосторожности, легко было присоединить это письмо к прочим. Благодаря такому способу я выиграл и возможность быть свидетелем того, как оно будет принято, ибо здесь в обычае, собравшись к завтраку, ждать доставки писем прежде, чем разойтись. Наконец принесли письма.

Госпожа де Розмонд открыла ящик. «Из Дижона»,— сказала она, передавая письмо госпоже де Турвель. «Это не почерк мужа»,— заметила та с беспокойством, поспешно ломая печать. С первого же взгляда она поняла, в чем дело, и лицо ее так изменилось, что госпожа де Розмонд обратила на это внимание и спросила: «Что с вами?» Я тоже подошел со словами: «В этом письме что-нибудь ужасное?» Робкая богомолка глаз не смела поднять, не произносила ни слова и, чтобы скрыть смущение, делала вид, что пробегает глазами послание, которого не в состоянии была прочесть. Я наслаждался ее смятением и, будучи не прочь слегка подразнить ее, добавил: «Вы как будто успокоились. Можно надеяться, что это письмо скорее удивило, чем огорчило вас». Тогда гнев вдохновил ее лучше, чем могла бы сделать осторожность. «В этом письме,— ответила она,— содержатся вещи, которые меня оскорбляют, и я удивляюсь, как мне осмелились их написать».— «Кто же это?» — прервала госпожа де Розмонд. «Оно без подписи,— ответила разгневанная красавица,— но и письмо и автор его вызывают во мне одинаковое презрение. Меня бы очень обязали, если бы больше не заговаривали со мной о нем». С этими словами она разорвала дерзновенное послание, сунула клочки в карман, встала и вышла из комнаты. Но сколько бы она ни гневалась, а письмо все же было у нее, и я надеюсь, что любопытство побудило ее прочитать его целиком.

Подробное описание этого дня завело бы меня слишком далеко. Приложу черновики обоих моих писем: вы будете осведомлены не хуже меня самого. Если вы хотите быть в курсе этой переписки, придется вам научиться разбирать мои каракули, ибо ни за что на свете не соглашусь я на скуку еще раз переписывать их набело. Прощайте, мой милый друг.

Из ***, 25 августа 17...

ПИСЬМО 35

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Я должен повиноваться вам, сударыня, я должен доказать вам, что, несмотря на все мои прегрешения, в которые вам угодно верить, у меня все же достаточно чуткости, чтобы не позволить себе ни единого упрека, и довольно мужества, чтобы заставить себя принести самые тяжкие жертвы. Вы предписываете мне молчание и забвение! Что ж, я заставлю свою любовь молчать и позабуду, если окажусь в силах, жестокость, с которой вы к ней отнеслись. Разумеется, желание быть вам угодным еще не давало мне на это права, и я готов признать: одно лишь то, что мне так нужна ваша снисходительность, не было еще достаточным основанием добиться ее от вас. Но, усматривая в любви моей оскорбление, вы забываете, что если это грех, то вы сами одновременно и причина его и оправдание. Забываете вы также, что я уже привык открывать вам свою душу даже тогда, когда доверчивость могла принести мне вред, и уже не в состоянии был скрывать от вас обуревающие меня чувства. Вы же считаете следствием моей дерзости то, что порождено чистосердечной откровенностью. В награду за любовь самую нежную, самую благоговейную, самую подлинную вы отбрасываете меня далеко от себя. Вы говорите мне даже о своей ненависти... Кто бы не стал жаловаться на подобное обращение? Один я покоряюсь и безропотно все переношу: вы наносите мне удары, а я продолжаю поклоняться вам. Немыслимая власть ваша надо мною делает вас самодержавной владычицей моих чувств, и если противостоит вам одна лишь любовь моя, если ее вы не в силах разрушить, то лишь потому, что она — ваше творение, а не мое.

Я не прошу взаимности, ибо никогда не обольщался надеждой на нее. Я не жду даже и жалости, хотя мог бы на нее надеяться, помня о внимании, которое вы ко мне порой проявляли. Но, признаюсь, мне кажется, я могу просить о справедливости.

Я узнал от вас, сударыня, что кто-то постарался повредить мне в ваших глазах. Если бы вы следовали советам друзей, то не позволили бы мне даже приблизиться к вам — таковы собственные ваши слова. Кто же эти столь ревностные друзья? Несомненно, люди столь строгие, столь неподкупно добродетельные не стали бы возражать, если бы вы их назвали. Несомненно, они не пожелали бы остаться в тени, что смешало бы

их с самыми низкими клеветниками, и мне не останутся неизвестными ни имена их, ни обвинения. Подумайте, сударыня, что раз вы судите меня на этом основании, я имею право узнать и то, и другое. Подсудимому не выносят приговора, не сказав, в чем он обвиняется, и не назвав обвинителей. Я не прошу никакой иной милости и заранее ручаюсь, что сумею оправдаться, сумею заставить их отречься от своих обвинений.

Если я, быть может, слишком презирал пустую молву людей, чьим мнением мало дорожу, то ваше уважение — дело совсем иное, и если я готов всю жизнь посвятить тому, чтобы завоевать его, то не позволю никому безнаказанно отнять его у меня. Оно для меня тем драгоценнее, что ему я буду, без сомнения, обязан просьбой, с которой вы опасаетесь ко мне обратиться и которая, по вашим словам, дала бы мне право на вашу признательность. Ах, я не только не стал бы домогаться ее, я, напротив, вам был бы обязан ею, если бы вы дали мне возможность сделать вам приятное. Начните же с того, чтобы отнестись ко мне более справедливо, и не скрывайте, чего бы вы от меня желали. Если бы я мог догадаться, в чем дело, то освободил бы вас от труда самой заговаривать об этом. К радости видеть вас добавьте счастье послужить вам, и я стану восхвалять вашу доброту. Что может останавливать вас? Не боязнь же отказа, надеюсь? Я чувствую, что этого не в силах был бы вам простить. То, что я не возвращаю вам вашего письма,— не отказ. Больше, чем вы, хотел бы я, чтобы оно не было мне необходимо. Но я, привыкнув верить, что у вас нежная душа, я лишь в этом письме обретаю вас такой, какой вы стремитесь казаться. Когда я молю небо о том, чтобы вы стали чувствительней,— из вашего письма заключаю я, что вы скрылись бы за сотню лье от меня скорее, чем согласились бы на это. Когда все в вас усиливает и оправдывает мою любовь, оно снова повторяет мне, что любовь моя для вас — оскорбление; и когда, видя вас, любовь эту я считаю высшим благом, мне надо прочитать написанное вами, чтобы убедиться, что она — лишь жестокая пытка. Теперь вам будет понятно, что самым большим счастьем для меня было бы иметь возможность вернуть вам это роковое письмо. Требовать его у меня и теперь — означало бы разрешить мне не верить больше тому, что́ в нем написано. Надеюсь, вы не сомневаетесь, с какой готовностью вернул бы я вам его.

Из ***, 25 августа 17...

ПИСЬМО 36

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель
(С дижонским штемпелем)

С каждым днем, сударыня, усиливается ваша суровость, и, смею сказать, вы, по-видимому, менее страшитесь быть несправедливой, чем проявить снисходительность. После того как вы осудили меня, даже не выслушав, вы, надо полагать, почувствовали, что вам проще будет не читать моих доводов, чем отвечать на них. Вы упорно отказываетесь принимать мои письма и с презрением возвращаете их. Вы, наконец, принуждаете меня хитрить именно тогда, когда единственная моя цель — убедить вас в моем чистосердечии. Вы довели меня до необходимости защищаться, и пусть это будет достаточным извинением для тех средств защиты, к которым я прибегаю. Кроме того, искренность моего чувства убеждает меня, что для его оправдания в ваших глазах достаточно будет, если вы лучше его узнáете, и лишь потому я позволил себе эту небольшую хитрость. Смею надеяться также, что вы мне ее простите и вас не удивит, что любовь более изобретательна в способах проявить себя, чем равнодушие — в преградах, которые оно ставит любви.

Позвольте же, сударыня, сердцу моему до конца открыться перед вами. Оно принадлежит вам, и нужно, чтобы вы его знали.

Приехав к госпоже де Розмонд, я ни в малейшей степени не предвидел ожидающей меня участи. Я понятия не имел, что вы у нее гостите, и со свойственной мне правдивостью добавлю, что, знай я даже об этом, мой душевный покой отнюдь не был бы нарушен. Не то чтобы я не отдавал красоте вашей то должное, в чем ей невозможно отказать, но, привыкший к тому, чтобы испытывать одни только желания и предаваться лишь тем из них, которые поощряет надежда, я не знал мук настоящей любви.

Вы были свидетельницей настоятельных просьб и уговоров госпожи де Розмонд, желавшей удержать меня на некоторое время. Я уже провел один день в вашем обществе; тем не менее я уступил, или же мне казалось, что я уступил лишь естественному и законному стремлению оказать внимание уважаемой мною родственнице. Образ жизни, который мы здесь вели, разумеется, весьма отличался от привычного для меня. Однако я безо всякого труда приспособился к нему, и, не пытаясь разобраться в причинах происшедшей во мне перемены, я опять же

приписывал ее лишь легкости своего характера, о которой, кажется, вам уже говорил.

К несчастью (но почему это должно было быть несчастьем?), ближе познакомившись с вами, я вскоре понял, что чарующий облик, поразивший меня сперва, был наименьшим из ваших достоинств: ангельская душа ваша изумила, покорила мою душу. Я восхищался красотой, я стал поклоняться добродетели. Не притязая на обладание вами, я старался вас заслужить. Прося вашей снисходительности за прошлое, я мечтал о сочувствии на будущее. Я искал его в ваших речах, подстерегал у вас во взоре, в этом взоре, источавшем яд тем более губительный, что изливался он не намеренно, а принимался мною бево всякого подозрения.

Тогда и познал я любовь. Но как далек был я от того, чтобы на это жаловаться! Твердо решив наложить на нее печать молчания, я без опасений и без удержу отдался этому сладостному чувству. С каждым днем власть его надо мной увеличивалась. Вскоре радость видеть вас превратилась для меня в необходимость. Стоило вам на мгновение удалиться, и сердце мое сжимала тоска; от звука шагов, возвещавших мне ваше возвращение, оно радостно трепетало. Я существовал лишь благодаря вам и для вас. И, однако,— призываю вас же в свидетели — посреди резвых игр или в пылу беседы о вещах значительных вырвалось ли у меня когда-нибудь хоть одно слово, которое выдавало бы тайну моего сердца?

Наконец наступил день, положивший начало моему злосчастью, и по воле некоего непостижимого рока сигналом для него явился великодушный поступок. Да, сударыня, именно среди бедняков, которым я оказал помощь, вы, поддавшись благороднейшей чувствительности, которая украшает самое красоту и делает еще драгоценнее добродетель, вы окончательно смутили сердце, и без того опьяненное неукротимой любовью. Может быть, вы припомните, какая озабоченность охватила меня по возвращении? Увы! Я пытался бороться с влечением, становившимся уже сильнее меня.

После того как силы мои уже иссякли в неравной борьбе, случай, которого нельзя было предвидеть, оставил меня наедине с вами. Тут — признаюсь в этом — я поддался искушению. Переполненное сердце мое не смогло сдержать речей и слез. Но разве это преступление? А если и так, то разве я не достаточно наказан за него одолевающими меня жестокими муками?

Пожираемый безнадежной любовью, я молю вас о жалости, а в ответ получаю ненависть. У меня нет иного счастья, как видеть вас, глаза мои невольно обращаются к вам, но я трепещу при мысли, что могу встретиться с вами взглядом. Вы повергли меня в мучительное состояние: днем я стараюсь не обнаруживать своих терзаний, а ночами предаюсь им. Вы же в своем невозмутимом спокойствии узнаёте об этих страданиях лишь постольку, поскольку являетесь их причиной, и радуетесь им. И при этом жалобы исходят от вас, а оправдываться вынужден я.

Однако же таков, сударыня, правдивый рассказ о том, что вы именуете моими прегрешениями и что, может быть, справедливее было бы назвать бедствием. Чистая, искренняя любовь, неизменная почтительность, полная покорность — вот чувства, мне вами внушенные! Я не побоялся бы повергнуть их даже перед божеством. О вы, лучшее его творение, подражайте ему в милосердии! Подумайте о моих жестоких мучениях, подумайте в особенности о том, что благодаря вам разрываюсь я между отчаянием и блаженством и что первое же произнесенное вами слово навсегда решит мою участь.

Из ***, 23 августа 17...

ПИСЬМО 37

От президентши де Турвель к госпоже де Воланж

Я подчиняюсь, сударыня, советам, которые дает мне ваша дружба. Я настолько привыкла руководствоваться во всем вашими мнениями, что охотно верю в их неизменную правоту. Готова даже признать, что господин де Вальмон, по-видимому, действительно крайне опасный человек, раз он может одновременно и притворяться таким, каким он кажется здесь, и быть на самом деле таким, каким вы его рисуете. Как бы то ни было, но раз вы настаиваете, я удалю его от себя, во всяком случае — сделаю для этого все возможное, ибо зачастую вещи, которые по существу должны были бы быть вполне простыми, оказываются весьма затруднительными.

По-прежнему я считаю невозможным просить об этом его тетушку. Такая просьба явилась бы обидной для них обоих. Не хотелось бы мне и уезжать самой: если, помимо относящихся к господину де Турвелю причин, о которых я вам уже говорила, мой отъезд, что вполне возможно, раздосадует господина

«Опасные связи»
А. Фрагонар

де Вальмона, ему ведь очень легко будет последовать за мною в Париж. И разве его возвращение, причиной которого я буду или представлюсь в глазах общества, не покажется более странным, чем встреча в деревне у особы, являющейся, как всем известно, его родственницей и моим другом?

Мне, следовательно, остается лишь одно: добиться от него, чтобы он сам соблаговолил уехать. Я понимаю, что предложить ему это довольно трудно. Однако поскольку он, видимо, хочет доказать мне, что в нем больше порядочности, чем все полагают, я не отчаиваюсь в успехе. Я даже не против того, чтобы попытаться это сделать и таким образом получить возможность убедиться, действительно ли, как он часто говорит, подлинно честные женщины не имеют и никогда не будут иметь поводов жаловаться на его поведение. Если он уедет, как я того желаю, это и вправду будет из внимания ко мне, ибо я не сомневаюсь, что он хотел бы провести здесь бóльшую часть осени. Если на просьбу мою он ответит отказом и, проявив упрямство, останется, я всегда успею сама уехать и обещаю вам, что сделаю это.

Вот, сударыня, кажется, и все, чего требовала от меня ваша дружба. Спешу исполнить ваше желание и доказать вам, что, несмотря на *горячность,* с которой я защищала господина де Вальмона, я тем не менее готова не только прислушиваться к советам моих друзей, но и следовать им.

Имею честь и т. д.

Из ***, 25 августа 17...

ПИСЬМО 38

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Только что я получила от вас огромный пакет, любезный виконт. Если дата на нем верна, его должны были бы доставить на сутки раньше. Во всяком случае, если я выберу время ознакомиться с ним, то уж не успею ответить. Поэтому я предпочитаю лишь уведомить вас о получении его, а поговорим сегодня мы о другом. Это отнюдь не значит, что мне есть чем с вами поделиться. Осенью в Париже почти не остается мужчин, имеющих человеческий облик. Из-за этого я уже с месяц, как веду себя убийственно благонравно, и всякий другой на месте моего кавалера устал бы от доказательств моего постоянства. Не занятая настоящим делом, я развлекаюсь маленькой Воланж, и о ней-то и хочу с вами поговорить.

Знаете ли, что вы потеряли больше, чем думаете, отказавшись заняться этой девочкой? Она поистине очаровательна! Ни характера, ни правил; судите же, как легко и приятно находиться в ее обществе. Не думаю, чтобы она когда-нибудь блеснула силой чувства, но все свидетельствует о натуре, жадной до ощущений. Не имея ни ума, ни хитрости, она обладает известной, если можно так выразиться, природной лживостью, которой я сама иногда удивляюсь и которой уготован тем больший успех, что обликом своим эта девушка — само простодушие и невинность. От природы она очень ласкова, и порою это меня забавляет. Ее маленькую головку необыкновенно легко разгорячить, и тогда она становится тем более занятной, что не знает ничего, абсолютно ничего о том, что ей так хотелось бы знать. Ее охватывает пресмешное нетерпение: она смеется, сердится, плачет, а затем с совершенно пленительным простодушием начинает просить меня просветить ее. Право же, я почти ревную ее к тому, на чью долю выпадет это удовольствие.

Не знаю, сообщала ли я вам, что вот уже четыре или пять дней, как я имею честь быть ее наперсницей. Вы, конечно, догадываетесь, что сперва я напустила на себя строгость, но, как только заметила, что она вообразила, будто меня убедили ее шаткие доводы, я сделала вид, что считаю их превосходными. Она же всей душой убеждена, что достигла такого успеха своим красноречием: мне пришлось принять эту меру предосторожности, чтобы не скомпрометировать себя. Я позволила ей написать и даже употребить в письме слово «люблю», и в тот же день, хоть она об этом даже не подозревала, я устроила ей свидание наедине с ее Дансени. Но он, представьте себе, настолько еще простачок, что не добился от нее даже поцелуя! И, однако, мальчик этот пишет премилые стихи! Бог мой, до чего же все такие умники глупы! Этот глуп настолько, что я просто теряюсь: им-то я ведь руководить не могу.

Вот сейчас вы были бы мне очень полезны. Вы достаточно дружны с Дансени, чтобы он мог вам довериться, а если бы он это сделал, мы бы сразу сильно продвинулись вперед. Расшевелите же свою президентшу; я ни за что не хочу, чтобы для Жеркура все обошлось благополучно. Впрочем, вчера я поговорила о нем с этой юной особой и так его расписала, что он стал ей ненавистен не меньше, чем если бы она уже десять лет была его женой. Однако я произнесла целую проповедь насчет супружеской верности: в этом вопросе я непримиримо строга. Таким образом, я, с одной стороны, восстанавливаю в

ее глазах свою добродетельную репутацию, которой могла бы повредить чрезмерная снисходительность, с другой — усиливаю в ней ненависть к будущему мужу, которой хочу его наградить. И, наконец, я надеюсь, что, если удастся убедить ее в том, что ей дозволено предаваться любви лишь в течение ее уже недолгого девичества, она тем скорее решит не терять оставшегося времени.

Прощайте, виконт. Сейчас я приступаю к своему туалету и начну читать присланный вами том.

Из ***, 27 августа 17...

ПИСЬМО 39

От Сесили Воланж к Софи Карне

Меня одолевают грусть и тревога, дорогая моя Софи. Почти всю ночь я проплакала. Не то чтобы в данный момент я не была счастлива, но только я предвижу, что это ненадолго.

Вчера я была в Опере с госпожой де Мертей; мы много говорили насчет моего замужества, и ничего хорошего я от нее не узнала. Выйти я должна за графа де Жеркура, и это будет в октябре. Он богат, знатен, командует полком. Пока все это отлично. Но, во-первых, он стар: представь себе, ему не менее тридцати шести лет! И, кроме того, госпожа де Мертей говорит, что он человек хмурый, строгий, и она опасается, что счастлива я с ним не буду. Я даже заметила, что она в этом вполне уверена, а прямо говорить не хочет, чтобы не огорчать меня. Почти весь вечер она говорила мне об обязанности жен по отношению к мужьям. Она признает, что господин де Жеркур человек совсем неприятный, и все же говорит, что я должна буду любить его. И еще она сказала, что, когда я выйду замуж, мне уже нельзя будет любить кавалера Дансени. Да разве же это возможно! О, уверяю тебя, я всегда буду его любить. Знаешь, я уж лучше предпочла бы совсем не выходить замуж. Пусть этот господин де Жеркур устраивается, как знает, я ведь его не искала. Сейчас он на Корсике, очень далеко отсюда; пусть бы он там оставался десять лет. Если бы я не боялась очутиться в монастыре, я бы уже сказала маме, что не пойду за него. Но это было бы только хуже. Не знаю, право, что и делать. Я чувствую, что никогда не любила господина Дансени так, как сейчас, и когда подумаю, что мне остается лишь месяц жить по-старому, у меня на глаза тотчас же навертываются слезы. Единственное мое утешение — дружба с госпожой де Мертей.

У нее такое доброе сердце! Она разделяет все мои горести и так мила, что когда я с нею, то почти перестаю о них думать. К тому же она мне очень полезна, ибо тому немногому, что я знаю, научила меня она, и она такая добрая, что мне нисколько не стыдно делиться с нею всеми моими мыслями. Если она найдет что-нибудь нехорошим, то иногда и пожурит меня, но ласково, а потом я целую ее от всего сердца, пока она не перестанет сердиться. Ее-то я уж могу любить, сколько захочу, и ничего дурного тут не будет, чему я ужасно рада. Однако мы условились, что я не стану показывать, как сильно люблю ее, на людях, особенно же при маме, чтобы она ничего не заподозрила по поводу кавалера Дансени. Уверяю тебя, что если бы я могла всегда жить, как сейчас, мне кажется, я была бы совсем счастлива. Только вот этот противный господин де Жеркур... Но не стану больше вспоминать о нем, а то опять загрущу. Вместо того сяду писать кавалеру Дансени: буду говорить ему только о своей любви, а не о горестях, так как не хочу огорчать его.

Прощай, мой милый друг. Ты сама видишь, что жаловаться тебе не на что и, несмотря на мою *занятость*, как ты выражаешься, у меня остается время и любить тебя, и писать тебе [1].

Из ***, 27 августа 17...

ПИСЬМО 40

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Моей жестокосердой мало того, что она не отвечает на мои письма и отказывается их принимать. Она хочет лишить меня возможности видеть ее, она требует, чтобы я уехал. И еще больше удивит вас, что я подчинюсь этой жестокости. Вы меня осудите. Однако я счел, что не должен упускать случая получить от нее приказание, ибо убежден, что, с одной стороны, тот, кто повелевает, сам себя отчасти связывает, а с другой — что кажущаяся власть, которую мы будто бы предоставляем над собой женщинам, является одной из тех ловушек, в которые им особенно трудно не попасться. Вдобавок она с такой ловкостью избегала всех случаев остаться со мной наедине, что это поставило меня в опасное положение, из которого мне, по-моему, следовало выбраться любой ценой, ибо я беспрестанно находился в ее обществе, не имея в то же время возможности

[1] Мы по-прежнему опускаем письма Сесили Воланж и кавалера Дансени, как малоинтересные и не содержащие никаких событий.

занять ее своей любовью, и можно было опасаться, что под конец она привыкнет видеть меня без волнения. А вы сами знаете, как трудно изменить такое расположение духа.

Впрочем, вы догадываетесь, что, подчинившись, я поставил свои условия. Я даже позаботился о том, чтобы среди них оказалось одно невыполнимое. Это нужно мне для того, чтобы я волен был или сдержать свое слово, или нарушить его, а также для того, чтобы затеять устный или письменный спор в момент, когда прелестница моя особенно довольна мной или когда ей нужно, чтобы я был доволен ею. Не говорю уж о том, что я проявил бы слишком большую неловкость, если бы не сумел добиться какой-нибудь награды за отказ от данного притязания, как бы оно ни было невыполнимо.

Изложив вам в этом длинном вступлении свои доводы, сообщаю о событиях последних дней. В качестве документов прилагаю письмо моей прелестницы и мой ответ. Согласитесь, что мало найдется летописцев столь точных, как я.

Вы помните, какое впечатление произвело позавчера утром мое письмо *из Дижона*. Остаток дня прошел довольно бурно. Прекрасная недотрога явилась лишь к самому обеду и сказала, что у нее сильнейшая мигрень,— под этим скрывался самый отчаянный приступ раздражения, какой только может быть у женщины. Лицо у нее и впрямь было совсем другое. Известное вам выражение кротости сменилось строптивостью, придавшей ему новую прелесть. Я твердо решил использовать впоследствии это открытие и заменять иногда нежную любовницу строптивой. Предвидя, что остаток дня пройдет уныло, я решил избежать скуки и под предлогом писания писем удалился к себе. Около шести часов снова спустился в гостиную. Госпожа де Розмонд предложила прогуляться, что и было принято. Но в момент, когда мы садились в экипаж, мнимая больная с адским коварством выставила в свою очередь в качестве предлога — может быть, чтобы отомстить мне за мое отсутствие — новый приступ головной боли и безжалостно вынудила меня остаться вдвоем с моей тетушкой. Не знаю, были ли услышаны мои проклятья этому демону в женском образе, но по возвращении мы узнали, что она слегла.

На следующий день за завтраком это была совсем другая женщина. Природная кротость вернулась к ней, и я уже думал, что прощен. Едва дождавшись окончания завтрака, эта кроткая особа с безмятежным видом поднялась с места и направилась в парк. Вы сами понимаете, что я последовал за ней. «Почему это вам захотелось гулять?» — спросил я, подойдя к ней

поближе. «Я много писала сегодня утром,— ответила она,— и голова у меня устала».— «Может быть, и я настолько счастлив, что могу поставить себе в вину эту усталость?» — продолжал я. «Да, я вам написала,— ответила она снова,— но не решаюсь отдать письмо. В нем содержится одна просьба, а вы не приучили меня рассчитывать на исполнение моих просьб».— «Ах, клянусь, что если только это окажется в пределах возможного...» — «Нет ничего легче,— прервала она меня,— и хотя, может быть, вы по справедливости обязаны были бы ее исполнить, я готова принять ваше согласие, как милость». С этими словами она подала мне письмо. Я взял его, а одновременно и ее руку, которую она тотчас же отняла, но без гнева и скорее со смущением, чем с поспешностью. «Сегодня жарче, чем я думала, надо идти в дом». И она направилась в замок. Тщетно старался я убедить ее погулять еще немного, и лишь мысль о том, что нас могут увидеть, заставила меня ограничиться одним лишь красноречием.

Она вошла в дом, не проронив ни слова, и я отлично понял, что мнимая прогулка имела одну лишь цель — передать мне письмо. В замке она сразу же поднялась к себе, а я ушел в свою комнату, чтобы познакомиться с ее посланием. Вам тоже следует прочесть его, равно как и мой ответ, прежде чем мы пойдем дальше...

Из ***, 27 августа 17...

ПИСЬМО 41

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Судя по вашему поведению в отношении меня, сударь, вы только и делали, что каждодневно старались умножить причины моего недовольства вами. Упорство, с каким вы все время стремились говорить мне о чувстве, о котором я не хочу и не должна ничего слышать, злоупотребление моей доверчивостью или робостью, на которое вы решились, чтобы передавать мне письма, в особенности же тот, смею сказать, неблаговидный прием, к которому вы прибегли, чтобы до меня дошло последнее из этих писем, причем не побоялись даже, что, пораженная вашей дерзостью, я не сумею ничего скрыть и буду скомпрометирована,— все это могло бы вызвать с моей стороны самые резкие и вполне заслуженные вами упреки. Однако вместо того, чтобы возвращаться к своим обидам, я ограничусь лишь тем, что обращусь к вам с просьбой столь же простой, сколь и вполне законной, и если вы согласитесь ее исполнить, готова буду со своей стороны предать все забвению.

Вы сами сказали мне, сударь, что я могу не бояться отказа. И хотя вы, со свойственной вам непоследовательностью, сразу же после этой фразы отказали мне в единственном, что могли для меня сделать [1], я хочу верить, что вы тем не менее сдержите сейчас слово, торжественно данное вами лишь несколько дней назад.

Итак, я желаю, чтобы вы оказали мне любезность удалиться от меня, покинули этот замок, где дальнейшее ваше пребывание могло бы лишь еще больше повредить мне в глазах людей, которые всегда готовы плохо думать о своем ближнем и которых вы к тому же слишком уж приучили наблюдать за женщинами, допускающими вас в свое общество.

Друзья мои давно предупреждали меня об этой опасности, но я пренебрегала их советами и даже спорила с ними, пока ваше поведение со мной позволяло мне думать, что вы соблаговолили не смешивать меня с толпой женщин, имевших основания для жалоб на вас. Теперь же, когда вы обращаетесь со мной, как с ними,— и мне это стало ясно — я обязана и перед общественным мнением, и перед самою собой принять это неизбежное решение. Я могла бы добавить, что вы ничего не выиграете, отказав мне в моей просьбе, ибо я твердо решила уехать сама, если вы проявите упорство и останетесь. Но я отнюдь не намереваюсь умалить свою признательность за вашу любезность, если вы мне ее окажете, и хочу, чтобы вы знали, что, вынудив меня уехать отсюда, вы нарушили бы мои планы. Докажите же мне, сударь, что, как вы меня часто уверяли, честным женщинам на вас жаловаться не приходится, докажите мне хотя бы, что, даже провинившись пред ними, вы умеете искупать свою вину.

Если бы я считала нужным как-то оправдать перед вами свою просьбу, мне достаточно было бы сказать, что вы всю свою жизнь вели себя так, чтобы сделать это необходимым, и что тем не менее вовсе не от меня зависело не обращаться к вам с такой просьбой. Но не будем вспоминать события, о которых я хочу забыть и которые вынудили бы меня судить вас сурово как раз в то время, когда я даю вам возможность заслужить мою признательность. Прощайте, сударь, поведение ваше покажет мне, с какими чувствами должна я буду неизменно пребывать глубоко уважающей вас...

Из ***, 25 августа 17...

---

[1] См. письмо 35.

ПИСЬМО 42

От вицконта де Вальмона к президентше де Турвель

Как ни жестоки, сударыня, поставленные вами условия, я не отказываюсь их выполнить. Я чувствую себя неспособным противоречить ни единому вашему желанию. Поскольку в этом вопросе все ясно, я смею льстить себя надеждой, что вы и мне разрешите обратиться к вам с кое-какими просьбами. Их исполнить гораздо легче, чем то, о чем вы меня просите, и, однако, я хочу заслужить этой милости лишь своей совершенной покорностью вашей воле.

Первая — и я надеюсь, что вы сами найдете ее справедливой,— состоит в том, чтобы вы соблаговолили назвать мне моих обвинителей: они, как я полагаю, причиняют мне достаточно зла, чтобы я имел право знать их. Вторая — и ее исполнения я жду от вашего милосердия — заключается в том, чтобы вы дали мне позволение хоть изредка напоминать вам о своей любви, которая теперь более чем когда-либо заслуживает вашей жалости.

Подумайте, сударыня, о том, что я спешу повиноваться вам, хоть и вынужден поступиться ради этого своим счастьем, более того — хоть я убежден, что вы хотите моего отъезда лишь для того, чтобы избавиться от всегда неприятного присутствия человека, к которому вы несправедливы.

Признайте, сударыня, вы не столько опасаетесь общества человека, слишком привыкшего питать к вам уважение и потому не смеющего неблагоприятно судить о вас, сколько тяготитесь присутствием того, кого вам легче покарать, чем осудить. Вы удаляете меня с глаз своих, как отвращают взор от страждущего, которому не хотят оказать помощи.

Но теперь, когда разлука с вами удвоит мои мучения, к кому, как не к вам, смогу я обращать свои жалобы? От кого другого смогу я ждать утешений, которые будут мне так необходимы? Откажете ли вы мне, когда являетесь единственной причиной моих горестей?

Наверно, не будете вы удивлены и тем, что перед отъездом я горячо желаю оправдать перед вами чувство, которое вы мне внушили, а также и тем, что мужество для отъезда я могу обрести, лишь получив повеление о нем из ваших уст.

Эта двойная причина заставляет меня просить вас уделить минуту времени для беседы со мной. Заменять ее перепиской было бы бесполезно. Можно написать целые тома, а всё не

изложишь как следует того, что так легко уразуметь в пятнадцатиминутном разговоре. Вам легко будет выбрать время для этого, ибо, как бы ни спешил я исполнить вашу волю, госпоже де Розмонд известно, что я предполагал провести у нее часть осени, а мне, во всяком случае, придется подождать хотя бы письма, чтобы выставить в качестве предлога некое дело, требующее моего отъезда.

Прощайте, сударыня. Никогда не было мне так тяжело писать это слово, как в миг, когда оно вызывает во мне мысль о нашей разлуке. Если бы вы могли только представить себе, как я от этого страдаю, вы бы, смею верить, вменили мне в некоторую заслугу мою покорность.

Примите же с большей хотя бы снисходительностью уверения в нежнейшей и почтительнейшей любви.

Из ***, 26 августа 17..

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИСЬМА 40

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

А теперь, прелестный мой друг, давайте рассуждать. Вы, как и я, хорошо понимаете, что щепетильная и честная госпожа де Турвель не может согласиться на мою первую просьбу и обмануть доверие друзей, назвав мне моих обвинителей. Таким образом, обещая под этим условием, все, что угодно, я себя ничем не связываю. Но вы понимаете также, что этот отказ послужит основанием для того, чтобы получить все остальное, и тогда, уехав, я выигрываю возможность вступить с нею — и притом с полного ее согласия — в регулярную переписку, ибо я не придаю никакого значения свиданию, о котором я ее просил: почти единственная его цель — приучить ее заранее к тому, чтобы она не отказывала мне в других свиданиях, когда у меня в них будет уже настоящая надобность.

Единственное, что мне остается сделать до отъезда,— это узнать, кто же именно занимается тем, что вредит мне в ее глазах. Полагаю, что это ее скучный муж, и хотел бы, чтобы было так: помимо того, что исходящее от супруга запрещение лишь подстрекает желания, я мог бы быть уверен, что, коль скоро моя прелестница согласится мне писать, мужа ее опасаться больше не придется, ибо тем самым она уже оказалась бы вынужденной обманывать его.

Но если у нее есть приятельница настолько близкая, что она ей доверяется, и если приятельница эта против меня,

значит, их необходимо поссорить, и я рассчитываю в этом преуспеть.

Вчера я уже думал, что вот-вот все узнаю, но эта женщина ничего не делает, как другие. Мы находились в ее комнате, как раз когда доложили, что подан обед. Она еще только заканчивала свой туалет, и я успел заметить, что, торопясь и извиняясь, она оставила в секретере ключ от него, а мне хорошо известно, что ключа от своей комнаты она никогда с собой не берет. Во время обеда я обдумывал это обстоятельство, а потом услышал, как спускается сверху ее горничная. Тут же я принял решение: сделал вид, что у меня кровотечение из носа, и вышел из-за стола. Я полетел прямо к ее секретеру, но обнаружил все ящики незапертыми, а в них — ни единой исписанной бумажки. Между тем в такое время года не представляется случая сжигать их. Куда же она девает письма, которые получает? А получает она их часто. Я ничего не упустил. все было открыто, и я все обыскал, но убедился только в том, что сокровище это она хранит у себя в кармане.

Как же выудить его оттуда? Со вчерашнего дня я тщетно ищу какого-нибудь способа, но побороть в себе это желание никак не могу. Ужасно жалею, что не дано мне воровских талантов. И правда, разве обучение этому делу не должно входить в воспитание человека, занимающегося интригами? Разве не забавно было бы стащить письмо или портрет соперника или вытащить из кармана недотроги то, что может ее разоблачить? Но родители наши не думают ни о чем, а я хоть и думаю обо всем, но только убеждаюсь, как я неловок и как мало могу помочь делу.

Но что бы там ни было, я вернулся к столу крайне недовольный. Все же прелестница моя несколько успокоила мою досаду, с участливым видом расспрашивая меня о моем мнимом нездоровье. Я же не преминул уверить ее, что с некоторых пор испытываю приступы волнения, расстраивающие мое здоровье. Она ведь убеждена, что является их причиной,— не следовало ли ей, по совести говоря, постараться их успокоить? Но она хоть и набожна, но не слишком милосердна: отказывает во всяком любовном подаянии, и, по-моему, отказа этого вполне достаточно для оправдания кражи того, чего не дают. Но прощайте, ибо, беседуя с вами, я думаю только об этих проклятых письмах.

Из *, 27 августа 17...**

ПИСЬМО 43

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Зачем, сударь, стремитесь вы уменьшить мою признательность? Зачем соглашаетесь вы повиноваться мне лишь наполовину и словно делаете достойное поведение предметом торга? Вам недостаточно, чтобы я чувствовала, чего оно вам стоит? Вы требуете не только многого — вы требуете невозможного. Если мои друзья и говорили со мной о вас, то они делали это лишь из участия ко мне. Пусть они даже ошибались, намерения у них были самые благие, а вы предлагаете мне в благодарность за этот знак внимания выдать вам их секрет! Заговорив с вами об этом, я уже сделала оплошность, и сейчас вы отлично дали мне это понять. То, что с другим человеком было бы простой откровенностью, с вами превращается в легкомыслие и могло бы довести меня до гнусности, если бы я согласилась на вашу просьбу. Я взываю к вам же, к вашему благородству: могли ли вы считать меня на это способной, могли ли вы мне это предложить? Разумеется, нет, и я уверена, что по зрелом размышлении вы не возобновите этой просьбы!

Вторая просьба — о разрешении писать мне — столь же трудно исполнима и, говоря по всей справедливости, не на меня следует за это пенять. Не хочу оскорблять вас, но при той репутации, которую вы приобрели и которую, по вашим же словам, отчасти заслужили, какая женщина может признаться, что состоит с вами в переписке? И разве порядочная женщина может решиться на нечто такое, что — как она сама отлично понимает — ей пришлось бы скрывать?

Если бы еще я могла быть уверена в том, что у меня никогда не будет оснований жаловаться на содержание ваших писем и я всегда смогу оправдаться перед самою собой в их получении! Тогда, может быть, стремление доказать вам, что руководит мною не ненависть, а разум, возобладало бы над всеми столь вескими соображениями и заставило бы меня сделать гораздо больше, чем мне следовало бы, разрешив вам изредка писать мне. Если вы действительно желаете этого так сильно, как говорите, то охотно подчинитесь единственному условию, которое могло бы побудить меня на это согласиться, и если вы испытываете хоть какую-нибудь признательность за то, что я сейчас для вас делаю, вы не замедлите уехать.

Позвольте мне заметить вам по этому поводу, что сегодня утром вы получили письмо, но не воспользовались им для того, чтобы объявить госпоже де Розмонд о своем отъезде, как вами

было обещано. Надеюсь, что теперь ничто не помешает вам сдержать свое слово. Особенно же рассчитываю я на то, что для этого вы не станете дожидаться беседы со мной, о которой вы меня просите и на которую я решительно не могу согласиться, и что вместо устного повеления моего, якобы столь вам необходимого, вы удовольствуетесь моей вторичной просьбой. Прощайте, сударь.

Из *, 27 августа 17...**

ПИСЬМО 44

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Порадуйтесь вместе со мной, прелестный мой друг: я любим, я победил это строптивое сердце. Тщетно пыталось оно притворяться — мне удалось проникнуть в его тайну. Я не пожалел усилий и теперь знаю все, что меня интересует: со вчерашней ночи, счастливой вчерашней ночи, я вновь обрел свою сущность, вновь зажил полной жизнью; я разоблачил двойную тайну — любви и подлости, я буду наслаждаться одной и отомщу за другую, я стану порхать от удовольствия к удовольствию. При одной мысли об этом меня охватывает такое ликование, что я не без труда вспоминаю об осторожности и о том, что мне, быть может, придется приложить некоторые старания для того, чтобы рассказ мой получился связным. Однако попытаемся.

Еще вчера, закончив свое письмо к вам, я в свою очередь получил письмо от божественной святоши. Посылаю вам его; вы увидите, что в нем она дает мне — наиболее для себя удобным способом — позволение писать ей, но зато торопит меня с отъездом. И я понял, что не могу его особенно откладывать, не повредив себе.

Меня, однако, мучило желание узнать, кто же мог писать ей против меня, но я не был уверен в том, что́ именно мне следует предпринять. Я пытался подкупить горничную, чтобы она опорожнила для меня карманы своей госпожи: ей нетрудно было бы сделать это вечером, а утром она могла бы аккуратно положить все на прежнее место, не возбудив ни малейших подозрений. За эту ничтожную услугу я предложил ей десять луидоров, но наткнулся на слишком честную или слишком робкую тупицу: ее не поколебали ни мое красноречие, ни деньги. Я продолжал уговаривать ее, когда позвонили к ужину. Пришлось оставить ее в покое, и счастье еще, что она обещала мне сохранить наш разговор в тайне; я, как вы сами понимаете, даже на это не особенно рассчитывал.

Никогда еще не был я в таком дурном настроении. Я чувствовал, что сам себя скомпрометировал, и весь вечер упрекал себя за неосторожный шаг.

Удалившись к себе и не находя покоя, поговорил я со своим егерем: в качестве счастливого любовника он должен был иметь известное влияние на свою милую. Я хотел, чтобы он уговорил эту девушку либо сделать то, что я просил, либо промолчать насчет моей просьбы. Но он, обычно ни в чем не сомневающийся, тут как будто усомнился в успехе и высказал по этому поводу суждение, удивившее меня своей глубиной.

«Господин виконт лучше меня знает,— сказал он,— что, когда спишь с девушкой, то заставляешь ее делать только то, чего ей самой хочется, а заставить ее делать то, чего вам хочется,— до этого частенько еще весьма далеко».

Ах, ум негодника порой меня пугает [1].

«За эту я еще и потому не ручаюсь,— добавил он,— что, по-моему, у нее есть другой любовник, а со мной она водится лишь от деревенской скуки. И если бы не то, что уж очень хочется мне услужить вам, сударь, я бы больше одного раза и не побывал у нее. (Этот парень — настоящее сокровище!) Что же до молчания,— добавил он еще,— какой смысл просить ее о нем, когда она может безо всякого риска нас обмануть? Заговорить с ней об этом еще раз значило бы навести ее на мысль, что это очень важно, и вызвать в ней еще бóльшую охоту подладиться к своей госпоже».

Чем справедливее были эти доводы, в тем большее смущение они меня повергали. К счастью, бездельник разболтался, а так как он был мне нужен, я не стал ему мешать. Рассказывая мне свою интрижку с этой девушкой, он, между прочим, упомянул, что ее комната отделяется от комнаты ее госпожи лишь тонкой перегородкой, через которую можно услышать любой подозрительный шум, и что поэтому каждую ночь девушка приходит к нему. У меня тотчас же возник план, который я сообщил ему и который мы успешно осуществили.

Я дождался двух часов ночи и, как мы с ним договорились, направился со свечой в комнату, где происходило свидание,— под предлогом, будто я несколько раз тщетно вызывал его звонком. Наперсник мой, превосходно разыгравший свою роль, изобразил целую сценку: он застигнут врасплох, он в отчаянии,

---

[1] Пирон, «Метромания».

рассыпается в извинениях; все это я прервал, отправив его согреть воду, которая якобы мне была нужна. Щепетильной же служанке было тем более стыдно, что негодник, еще добавивший к моей выдумке от себя, убедил ее пребывать в туалете, который ко времени года вполне подходил, но отнюдь им не оправдывался.

Понимая, что чем более униженной будет себя чувствовать эта девица, тем легче я добьюсь от нее своего, я помешал ей изменить и позу и наряд и, приказав слуге дожидаться меня в моей комнате, уселся рядом с нею на кровать и начал заранее приготовленную речь. Мне необходимо было удержать власть, которую обстоятельства дали мне над нею, и потому я сохранил хладнокровие, достойное стойкости Сципиона: не позволив себе с нею ни малейшей вольности, на что она могла надеяться, учитывая ее миловидность и удобный случай, я завел с нею деловой разговор так же невозмутимо, как если бы беседовал с чиновником.

Условия мои сводились к тому, что я добросовестно сохраню все в тайне, если назавтра приблизительно в это же время она доставит мне содержимое карманов своей госпожи. «Кстати,— добавил я,— вчера я вам предлагал десять луидоров,— обещаю вам их и сегодня: не хочу злоупотреблять положением, в котором вы очутились». Как вы сами понимаете, мы отлично поладили, после чего я удалился, предоставив счастливой парочке наверстывать потерянное время.

Свое же время я посвятил сну, а наутро, желая иметь предлог, чтобы не отвечать на письмо прелестницы, пока не просмотрю ее бумаг, чего не мог бы сделать до следующей ночи, решил отправиться на охоту и отсутствовал почти весь день.

По возвращении меня приняли довольно холодно. Имею основание полагать, что тут сказалось уязвленное самолюбие: как это я не поторопился воспользоваться оставшимся мне временем, особенно после написанного мне более ласкового письма. Думаю так потому, что, когда госпожа де Розмонд слегка упрекнула меня за долгое отсутствие, моя прелестница возразила несколько едким тоном: «Ах, не станем упрекать господина де Вальмона за то, что он предается единственному удовольствию, которое может здесь найти». Я посетовал на подобную несправедливость и воспользовался случаем заверить дам, что их общество мне до крайности приятно и что я даже пожертвовал ради него важным письмом, которое должен был написать. К этому я добавил, что уже много ночей страдаю бессонницей и что мне пришло в голову — не вернет ли мне сон физическая

усталость. При этом взгляды мои красноречиво говорили и о содержании письма, и о причинах бессонницы. В течение всего вечера я старался сохранить нежно-меланхолический вид; по-моему, мне превосходно удалось скрыть за ним нетерпеливое ожидание того часа, когда я узнаю тайну, которую от меня так упорно скрывают. Наконец, мы разошлись по своим комнатам, и немного времени спустя верная служанка принесла мне условленную награду за мое молчание.

Завладев этим сокровищем, я приступил к ознакомлению с ним с известной вам осторожностью, ибо крайне важно было, чтобы все оставалось в том виде, как оно было. Сперва я напал на два письма от мужа — неудобоваримую смесь из подробностей судебного процесса и супружеских излияний; у меня хватило терпения прочитать эти письма от начала до конца, но я не обнаружил ни одного упоминания обо мне. Я с досадой положил их на место, но раздражение мое смягчилось, когда в руках у меня оказались старательно собранные клочки пресловутого дижонского письма. К счастью, мне пришло на ум пробежать его глазами. Судите о моей радости, когда я заметил отчетливые следы слез моей пленительной святоши. Признаюсь, я поддался юношескому порыву и расцеловал это письмо с пылом, на который уже не считал себя способным. Продолжая столь удачно начатое обследование, я нашел все свои письма, собранные вместе и разложенные по числам. Но приятнее всего удивило меня то, что там оказалось и самое первое, которое, как я полагал, неблагодарная мне вернула: оно было старательно переписано ее рукой, притом неровным, дрожащим почерком, явно свидетельствовавшим о сладостном волнении ее сердца во время этого занятия.

До сих пор я был весь охвачен любовью, но вскоре ее сменила ярость. Как вы думаете, кто хочет погубить меня в глазах обожаемой мною женщины? Какая фурия, по-вашему, настолько злобна, что могла замыслить такую подлость? Вы ее знаете: это ваша приятельница, ваша родственница, госпожа де Воланж. Вы не представляете себе, каких только дьявольских гнусностей не написала ей обо мне эта мегера. Она, она одна нарушила душевный мир этого ангела в образе женщины. Из-за ее советов, из-за ее зловредного подстрекательства я оказался вынужденным удалиться; словом, это ради нее жертвуют мною! Да, без сомнения, надо соблазнить ее дочь, но этого недостаточно,— ее самое надо погубить, и если уже по возрасту своему эта проклятая женщина вне опасности, надо поразить ее в той, к кому она привязана.

Так она желает, чтобы я вернулся в Париж? Она принуждает меня к этому? Хорошо, я вернусь, но она поплачет из-за моего возвращения. Жаль, что героем этого приключения явится Дансени: в нем есть глубокая порядочность, которая будет нам помехой. Однако он влюблен, мы с ним часто видимся — может быть, мы извлечем из него пользу. Но в гневе своем я совсем забылся и не думаю о том, что должен изложить вам сегодняшние события. Вернемся к рассказу.

Утром я снова увиделся с чувствительной святошей. Никогда еще она не казалась мне столь прекрасной. Так оно и должно быть: лучшее мгновение для женщины, единственное, когда она может вызвать в нас опьянение души, о котором так много говорят и которое так редко испытывают, это мгновение, когда, уже убедившись в ее любви, мы еще не уверены в ее милостях, и именно в таком состоянии я теперь нахожусь. Может быть, украшала ее в моих глазах и мысль, что я вскоре лишусь удовольствия видеть ее. Наконец, принесли почту, я получил ваше письмо от 27-го, и, читая его, я еще не был уверен, что сдержу свое слово. Но я встретился глазами с моей прелестницей и почувствовал, что ни в чем не могу ей отказать.

Итак, я объявил о своем отъезде. Почти сразу же после этого госпожа де Розмонд оставила нас наедине, но я был еще не менее чем в четырех шагах от недотроги, а она, вдруг вскочив с испуганным видом, промолвила: «Не прикасайтесь ко мне, сударь, не прикасайтесь! Ради бога, не прикасайтесь ко мне!» Эта горячая мольба, выдававшая душевное смятение, могла лишь еще более возбудить меня. Я был уже подле нее и держал за руки, которые она так трогательно сложила, когда какой-то злой демон вновь привел госпожу де Розмонд. Робкая святоша, у которой сейчас и впрямь имеются основания для страха, воспользовалась этим и решила удалиться.

Все же я предложил ей руку, и она ее приняла. Я же, усмотрев в этом дружелюбном порыве, которого у нее уже давно не было, благие предзнаменования, вновь начал свои любовные жалобы и даже попытался пожать поданную мне руку. Сперва она хотела вырвать ее, но я проявил бóльшую настойчивость, и она довольно охотно подчинилась, хотя не ответила ни на мое пожатие, ни на мои слова. У дверей ее комнаты я хотел, прощаясь, поцеловать эту ручку. Сперва защита была довольно решительной, но я так нежно произнес: «Подумайте, ведь я уезжаю»,— что это сделало ее вялой и слабой. Однако едва лишь поцелуй коснулся руки, та вновь обрела свою силу и вырвалась из моей, а прелестница ушла в свою

комнату, где уже находилась ее горничная. Тут и конец рассказу.

Я предполагаю, что завтра вы будете у маршальши де ***, где я, наверно, не стану с вами встречаться, так как думаю, что во время первой нашей встречи нам нужно будет поговорить о многих делах, и прежде всего о деле маленькой Воланж, которую я отнюдь не теряю из виду. Поэтому я решил до личного с вами свидания написать это письмо, и как бы оно ни было длинно, запечатаю его лишь перед самой отправкой почты, ибо при нынешнем положении моих дел все может зависеть от благоприятного случая, и я отправляюсь искать его, а потому расстаюсь с вами.

P. S. Восемь часов вечера. Ничего нового. У нее — ни одной свободной минутки, и она даже старается быть все время занятой. При этом, однако, столько грусти, сколько позволяют приличия,— не менее того. Другая новость, может быть, немаловажная: госпожа де Розмонд поручила мне передать госпоже де Воланж приглашение провести некоторое время у нее в деревне.

Прощайте, мой прелестный друг. До завтра или, самое позднее, до послезавтра.

Из ***, 28 августа 17...

ПИСЬМО 45

От президентши де Турвель к госпоже де Воланж

Господин де Вальмон сегодня утром уехал, сударыня. Вы, казалось мне, так желали этого отъезда, что я сочла своим долгом уведомить вас о нем. Госпожа де Розмонд очень грустит о своем племяннике, и, надо сознаться, общество его действительно очень приятно. Все утро она говорила мне о нем с чувствительностью, которая, как вам известно, ей столь свойственна. Я считала своим долгом по отношению к ней слушать ее любезно, без возражений, тем более что во многих отношениях она была совершенно права. К тому же я чувствовала себя виновной в том, что являюсь причиной этой разлуки, и у меня нет надежды, что я сумею как-то вознаградить ее за радость, которой я же ее лишила. Вы знаете, что по натуре своей я не слишком весела, а тот образ жизни, который нам предстоит вести здесь, тоже будет не из веселых.

Если бы я в данном случае не следовала вашему совету, то опасалась бы, что поступила несколько необдуманно, так

огорчила меня печаль моего уважаемого друга. Я была до того растрогана, что охотно смешала бы с ее слезами свои.

Теперь мы живем надеждой, что вы примете приглашение госпожи де Розмонд приехать к ней погостить, которое вам должен передать господин де Вальмон. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я с радостью увижу вас здесь, и, по правде говоря, вы просто должны вознаградить нас таким способом. Я была бы очень рада также воспользоваться этим случаем, чтобы ближе познакомиться с мадемуазель де Воланж и иметь возможность еще больше уверить вас в моем глубоком уважении и пр.

Из ***, 29 августа 17...

ПИСЬМО 46

От кавалера Дансени к Сесили Воланж

Что такое случилось с вами, обожаемая Сесиль? Кто мог вызвать в вас столь внезапную и столь жестокую перемену? Куда девались ваши клятвы, что вы никогда не изменитесь? Еще вчера вы с такой радостью повторяли их! Что же заставило вас позабыть их сегодня? Тщетно заглядываю я в себя — в самом себе причины этого я обнаружить не могу, и ужасно мне искать ее в вас. Ах, вы, разумеется, не ветреная обманщица, и даже сейчас, в миг отчаяния, души моей не запятнает оскорбительное подозрение. И, однако, что за злой рок сделал вас уже не той, какой вы были? Да, жестокая, вы уже не та! Нежная Сесиль, обожаемая мною Сесиль, от которой я слышал клятвы, не стала бы избегать моих взглядов, не препятствовала бы счастливому случаю, благодаря которому мы очутились рядом. Если же какая-нибудь непонятная мне причина и побудила ее обращаться со мной так сурово, она, во всяком случае, не преминула бы сообщить мне о ней.

Ах, вы не знаете, вы никогда не узнаете, моя Сесиль, как вы заставили меня страдать сегодня и как я страдаю до сих пор. Неужто вы думаете, что я могу жить, если больше не любим вами? А между тем, когда я молил у вас об одном слове, об одном только слове, которое могло бы рассеять мои страхи, вы вместо того, чтобы мне ответить, сделали вид, будто боитесь, как бы вас не услышали. И препятствие, которого еще не было, вы сами же создали, выбрав то место, которое заняли в собравшемся обществе. Когда, вынужденный вас покинуть, я спросил, в какое время смогу завтра увидеться с вами, вы сделали вид, что не расслышали, и назначить мне время пришлось госпоже де

Воланж. Итак, это столь желанное мгновение, сближающее меня с вами, завтра породит во мне одно лишь беспокойство. И столь дорогую моему сердцу радость видеть вас сменит опасение быть вам докучным.

Я чувствую, как этот страх уже останавливает меня, и я не смею говорить вам о своей любви. Слова *я люблю вас,* которые мне было так сладостно повторять, когда я в свою очередь мог услышать их, эти столь нежные слова, которых мне было достаточно для счастья, теперь, раз вы изменились, рождают во мне лишь образ вечного отчаяния. Я не могу верить, однако, что этот талисман любви потерял силу, и еще пытаюсь воспользоваться им [1]. Да, моя Сесиль, *я люблю вас.* Повторите же вместе со мной эти слова, в которых — все мое счастье. Подумайте, что вы приучили меня внимать им и что лишать меня их — значит подвергнуть меня пытке, которая, как и любовь моя, кончится лишь вместе с моей жизнью.

Из ***, 29 августа 17...

ПИСЬМО 47

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Сегодня мы с вами еще не увидимся, прелестный мой друг, и вот по каким причинам, к которым я прошу вас проявить снисхождение.

Вместо того чтобы возвратиться прямо в Париж, я задержался у графини де ***: замок ее находится почти что по пути, и я напросился к ней отобедать. Я прибыл в Париж лишь около семи вечера и сошел у Оперы, в надежде, что, может быть, там находитесь и вы.

По окончании спектакля я отправился в фойе повидаться с друзьями. Там я нашел мою старую приятельницу Эмили, окруженную многочисленной свитой, состоявшей как из мужчин, так и из женщин, которых она в тот же вечер угощала ужином в П***. Не успел я попасть в эту компанию, как все хором стали просить меня участвовать в ужине. Пригласил меня также плотный, приземистый человек, пробормотав несколько французских слов с голландским акцентом; я догадался, что он и есть истинный виновник торжества. Я принял приглашение.

---

[1] Те, кому не представлялся случай чувствовать порой значение какого-нибудь слова или выражения, освященного любовью, не найдут в этой фразе никакого смысла.

По дороге я узнал, что дом, куда мы направлялись, являлся условленной наградой за благосклонность Эмили к этой чудаковатой личности и что ужин был самым настоящим свадебным пиром. Человек этот был вне себя от радости в предвкушении блаженства, которым ему предстояло наслаждаться и от которого он был до того счастлив, что мне захотелось это блаженство нарушить. Я так и сделал.

Единственная трудность заключалась в том, чтобы уговорить Эмили: богатство бургомистра делало ее несколько щепетильной. Однако, немного поломавшись, она согласилась с моим планом наполнить этот пивной бочонок вином и таким образом вывести его на всю ночь из строя.

Из-за своего преувеличенного представления о том, сколько может выпить голландец, мы применили все известные средства и настолько успешно, что за десертом он уже не в состоянии был держать в руке стакан, но сострадательная Эмили и я напаивали его взапуски. Наконец, он свалился под стол, так упившись, что, казалось, ему понадобится неделя, чтобы оправиться. Тогда мы решили отослать его обратно в Париж, а так как свою карету он отпустил, я велел погрузить его в мою, а сам остался вместо него. Затем я принял поздравления от всей компании, которая вскоре разошлась, оставив меня победителем на поле сражения. Благодаря этому веселому приключению, а может быть, и длительному воздержанию, я нашел Эмили настолько привлекательной, что обещал ей остаться до воскресения голландца из мертвых.

Эта моя любезность была наградой за любезность, оказанную мне ею: она согласилась послужить мне пюпитром, на котором я написал письмо моей прелестной святоше. Мне показалось забавным послать ей письмо, написанное в кровати и почти что в объятиях потаскушки: в письме этом, прерывавшемся мною для полного совершения измены, я давал ей самый обстоятельный отчет в своем положении и поведении. Эмили прочитала это послание и хохотала, как безумная. Надеюсь, что вы тоже повеселитесь. Так как нужно, чтобы на письме был парижский штемпель, я посылаю его вам: оно не запечатано. Вы уж соблаговолите прочесть его, запечатать и отправить на почту. Только не ставьте своей печати или вообще печати с любовной эмблемой, пусть будет просто какая-нибудь головка. Прощайте, прелестный мой друг.

P. S. Распечатываю письмо. Я уговорил Эмили поехать в Итальянский театр. Этим временем я воспользуюсь, чтобы пойти

повидаться с вами. Я буду у вас самое позднее в шесть часов, и, если это вам удобно, около семи часов мы вместе отправимся к госпоже де Воланж. Неудобно откладывать передачу ей приглашения госпожи де Розмонд. К тому же я был бы не прочь поглядеть на маленькую Воланж.

Прощайте, распрекрасная дама. Хочу расцеловать вас с таким удовольствием, чтобы кавалер мог приревновать.

Из П***, 30 августа 17...

ПИСЬМО 48

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель (С парижским штемпелем)

После бурной ночи, в течение которой я не сомкнул глаз; после того, как меня пожирали приступы неистового страстного пыла, сменявшиеся полным упадком всех душевных сил, я прибегаю к вам, сударыня, в поисках столь нужного мне покоя, которого, впрочем, я еще не надеюсь обрести. И правда, положение, в котором я сейчас пишу вам, более чем когда-либо убеждает меня во всемогуществе любви. Мне трудно владеть собою настолько, чтобы привести мои мысли хоть в некоторый порядок, и я уже сейчас предвижу, что еще до окончания этого письма вынужден буду его прервать. Как! Неужели я не могу надеяться, что вы когда-нибудь разделите смятение, обуревающее меня в настоящий миг! Смею, однако, думать, что, если бы оно было вам знакомо, вы не остались бы к нему нечувствительны. Поверьте, сударыня, холодное спокойствие, сон души, являющийся подобием смерти,— все это не есть путь к счастью; только живые страсти ведут к нему, и, несмотря на муки, которые я из-за вас испытываю, я могу без колебаний утверждать, что в настоящее мгновение я счастливее вас. Напрасно угнетаете вы меня своей беспощадной суровостью — она не мешает мне всецело отдаваться любви и забывать в любовном исступлении отчаяние, в которое вы меня ввергаете. Вот чем пытаюсь я отомстить вам за изгнание, на которое вы меня осудили. Ни разу еще за письмом к вам не испытывал я такой радости, ни разу это занятие не сопровождалось чувством столь сладостным и вместе с тем столь пылким: я дышу воздухом, полным сладострастия; даже стол, на котором я вам пишу, впервые для этого употребленный, превращается для меня в священный алтарь любви. Насколько прекраснее становится он в моих глазах: ведь на нем начертал я клятву вечной любви к вам! Простите,

молю вас, беспорядочность моих чувств. Может быть, мне следовало бы менее предаваться восторгам, не разделяемым вами; на мгновение я вынужден покинуть вас, чтобы рассеять опьянение, с которым я уже не могу совладать,— так усиливается оно с каждым мгновением.

Возвращаюсь к вам, сударыня, и, разумеется, возвращаюсь все с тем же пылом. Однако ощущение счастья покинуло меня — его сменило ощущение жестоких лишений. Для чего мне говорить вам о моих чувствах, если тщетно я ищу каких-либо средств убедить вас? После стольких многократных усилий я начинаю слабеть. Если в памяти моей продолжают возникать любовные образы, то тем живее ощущаю я горечь их утраты. Единственное прибежище мое — ваша снисходительность, и в данную минуту я слишком хорошо чувствую, насколько она мне нужна, чтобы дерзать на нее надеяться. И, однако, никогда моя любовь не была более почтительной, никогда она не была менее оскорбительной для ваших чувств. Она — смею сказать — такова, что даже самая суровая добродетель не должна была бы ее опасаться. Но сам я боюсь занимать вас больше страданиями, которые испытываю. Когда знаешь с уверенностью, что существо, вызвавшее твои терзания, не разделяет их, не надо хотя бы злоупотреблять его добротой, а ведь так и было бы, если бы я потратил еще больше времени, рисуя вам эту скорбную картину. Сейчас я отниму его у вас лишь столько, сколько понадобится на то, чтобы умолять вас ответить мне и никогда не сомневаться в подлинности моих чувств.

Написано из П***, помечено Парижем, 30 августа 17...

ПИСЬМО 49

От Сесили Воланж к кавалеру Дансени

Я не ветреница и не обманщица, сударь, но достаточно было, чтобы мне разъяснили мои чувства, и я тотчас же поняла необходимость их изменить. Я дала в этом обет богу, а затем я принесу в жертву ему и мои чувства к вам, которые из-за вашего духовного звания становятся еще преступнее. Я отлично чувствую, как мне это будет больно, и не стану скрывать, что с позавчерашнего дня плачу всякий раз, как о вас думаю. Но я надеюсь, что милосердный бог пошлет мне нужные силы, чтобы вас забыть, ибо я молю его об этом и утром и вечером. Я даже

жду от вашей дружбы и порядочности, что вы не станете пытаться поколебать благое решение, которое мне внушили и в котором я стараюсь оставаться непреклонной. В соответствии с этим я прошу вас быть столь любезным и больше мне не писать, тем более что — предупреждаю заранее — отвечать я вам не буду, и вы только принудите меня сообщить обо всем маме, а это уж совсем лишит меня удовольствия видеть вас.

Это не помешает мне сохранить к вам всю привязанность, какую можно питать, не делая ничего дурного, и я всей душой желаю вам всяческого счастья. Я отлично чувствую, что вы уже не станете любить меня так, как раньше, и что, может быть, вы вскоре полюбите другую больше, чем меня. Но это будет только лишней карой за проступок, который я совершила, отдав вам мое сердце, которое я должна отдать лишь богу и моему мужу, когда я выйду замуж. Надеюсь, что милосердие божие сжалится над моей слабостью и на мою долю выпадут лишь такие страдания, какие я в силах буду перенести.

Прощайте, сударь. Могу уверить вас, что, если бы мне позволено было любить кого-нибудь, я любила бы только вас. Вот и все, что я могу вам сказать, и, может быть, это даже больше, чем следовало бы.

Из***, 31 августа 17...

ПИСЬМО 50

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Так-то, милостивый государь, выполняете вы условия, на которых я согласилась получать иногда от вас письма? И как могу я *«не иметь причин на них жаловаться»*, когда вы говорите в них лишь о чувстве, которому я опасалась бы отдаться даже в том случае, если бы могла это сделать, не нарушая своего долга? Впрочем, если бы мне нужны были новые причины для сохранения этого спасительного страха, то, думается мне, я могла бы найти их в вашем последнем письме. И действительно, что делаете вы, воображая, будто произносите апологию любви? Показываете мне ее в самом бурном и грозном обличье. Кто может хотеть счастья, купленного ценою утраты рассудка, счастья, недолгие радости которого сменяются в лучшем случае сожалением, если не раскаянием?

Вы сами, у кого привычка к этому пагубному исступлению должна ослаблять его последствия, разве не вынуждены признать, что оно зачастую оказывается сильнее вас, разве не вы

первый жалуетесь на вызываемое им невольное смятение чувств? Какую же ужасающую бурю поднимет оно в сердце, непривычном к нему и чувствительном, тем более что власть его над ним станет еще сильнее из-за громадных жертв, которые сердце это вынуждено будет ему принести?

Вы думаете, сударь,— или делаете вид, будто думаете,— что любовь ведет к счастью, я же глубоко убеждена, что она сделает меня несчастной, и потому хотела бы никогда и не слышать этого слова. Мне кажется, что даже речь о ней лишает спокойствия, и не меньше, чем чувство долга, мои душевные склонности побуждают меня просить вас, чтобы вы соблаговолили больше не упоминать об этом.

В конце концов теперь вам нетрудно согласиться на эту просьбу. По возвращении в Париж вам представится достаточно много поводов позабыть о чувстве, которое, быть может, порождено лишь привычкой заниматься подобного рода вещами, а своей силой обязано лишь деревенской скуке. Разве сейчас вы не там, где взирали на меня вполне равнодушно? Можете вы сделать там хоть один шаг, не встретив примера такой же легкой готовности к переменам? И разве не окружены вы там женщинами, которые гораздо привлекательнее меня и потому имеют гораздо больше прав на внимание с вашей стороны? Мне чуждо тщеславие, в котором укоряют мой пол. Еще меньше у меня той ложной скромности, которая представляет собою лишь утонченную гордыню. И потому я совершенно искренне говорю вам, что нахожу в себе очень мало таких качеств, которыми могла бы нравиться. Да будь у меня избыток их, я и то не считала бы, что имею достаточно их для того, чтобы привязать вас к себе. Просить вас не заниматься мною больше — значит только просить вас сделать то, что вы уже не раз делали и что вы, наверно, сделали бы еще раз в самом скором времени, если бы даже я добивалась от вас обратного.

Одна эта правда, о которой я забыть не могу, сама по себе была бы достаточно веской причиной для того, чтобы отказываться вас слушать. Имеются у меня и тысячи других. Но, не желая вступать в бесконечный спор, я ограничусь тем, что прошу вас, как мне уже случалось это делать, не говорить со мной о чувстве, о котором я и слушать не должна, а не то что отвечать на него.

Из *, 1 сентября 17...**

ПИСЬМО 51

От маркизы де Мергей к виконту де Вальмону

Право же, виконт, вы просто невыносимы. Вы обращаетесь со мной так бесцеремонно, словно я ваша любовница. Да знаете ли вы, что я рассержусь и что в настоящий момент я ужасно зла? Как! Завтра утром вы должны повидать Дансени,— вы знаете, как важно, чтобы я поговорила с вами до этой встречи,— и при этом заставляете меня ждать вас целый день, а сами невесть где бегаете! Из-за вас я приехала к госпоже де Воланж до неприличия поздно, и все старухи нашли, что я «поразительна». Мне пришлось подлаживаться к ним весь вечер, чтобы их умиротворить, ибо старух сердить нельзя: от них зависит репутация молодых женщин.

Сейчас уже час ночи, а я, вместо того чтобы лечь спать, чего мне до смерти хочется, должна писать вам длинное письмо, от которого спать захочется вдвойне, такая меня одолевает скука. Счастье ваше, что у меня нет времени бранить вас дольше. Но не подумайте, что вы прощены: мне просто некогда. Слушайте же, ибо я тороплюсь.

Проявив хоть немного ловкости, вы должны завтра добиться полного доверия Дансени. Время для откровенности самое подходящее: он несчастен. Девочка была на исповеди. Она все рассказала, как ребенок, и с тех пор ее до того мучит страх перед дьяволом, что она решила во что бы то ни стало пойти на разрыв. Все свои ничтожные сомнения она поведала мне так горячо, что я поняла, насколько ее сбили с толку. Она показала мне письмо, в котором объявляет о разрыве,— это сплошное ханжество. Целый час она прощебетала со мной, не сказав при этом ни одного разумного слова, но тем не менее весьма смутила меня, так как не могу же я откровенничать с таким недалеким созданием.

Из всей этой болтовни я, однако, поняла, что она по-прежнему любит своего Дансени. Усмотрела я тут и одну из тех уловок, которых у любви всегда достаточно и которой девочка эта самым забавным образом поддалась. Мучимая и желанием все время заниматься своим возлюбленным, и страхом, занимаясь им, погубить свою душу, она придумала молиться богу, чтобы он помог ей забыть любимого, а так как она поминутно молится об этом, то и находит способ беспрестанно думать о нем.

Для человека, более искушенного, чем Дансени, это маленькое обстоятельство явилось бы скорее подмогой, нежели помехой. Но этот юноша такой Селадон, что, если ему не помочь, у него

на преодоление самых пустяковых препятствий уйдет столько времени, что у нас на осуществление нашего замысла времени уже не останется. Вы правы: это очень жаль, и я не менее вас раздосадована тем, что именно он является героем этого приключения, но что поделаешь? Сделанного не поправить, а вина тут ваша. Я попросила показать мне его ответ [1] и даже разжалобилась. Он из сил выбивается, убеждая ее, что невольное чувство не может быть преступным: как будто оно не перестает быть невольным с того мгновения, как с ним прекращают борьбу. Мысль эта до того проста, что пришла в голову даже девочке. Он в довольно трогательных выражениях жалуется на свое несчастье, но скорбь его полна такой нежности и, по-видимому, так сильна и искренна, что мне кажется невероятным, чтобы женщина, которой представился случай довести мужчину до такого отчаяния и притом со столь малой опасностью для себя, не поддалась бы соблазну потешиться этим в дальнейшем. Словом, он объяснил ей, что он совсем не монах, как думала девочка, и, несомненно, это — лучшее из всего, что он сделал. Ибо если уж заниматься любовью с монахами, то господа мальтийские рыцари предпочтения тут не заслуживают.

Как бы то ни было, но, вместо того чтобы терять время на разговоры, которые меня бы только поставили в неудобное положение, не убедив, быть может, ее, я одобрила решение о разрыве, но сказала, что в подобных случаях гораздо честнее излагать свои доводы не письменно, а устно, что существует, кроме того, обычай возвращать письма и другие мелочи, которыми могли обмениваться влюбленные, и, сделав таким образом вид, будто я вполне согласна с этой юной особой, я убедила ее назначить Дансени свидание. Мы тотчас обсудили, как это осуществить, и я взяла на себя уговорить мамашу выехать из дому без дочки. Завтра после полудня и наступит сей решительный момент. Дансени уже предупрежден. Но ради бога, если вам представится возможность, убедите этого прелестного пастушка быть менее томным и научите его, раз уж надо говорить прямо, что настоящий способ побеждать сомнения — это постараться сделать так, чтобы тем, у кого они имеются, больше нечего было терять.

Впрочем, для того чтобы нелепая эта сцена больше не повторялась, я не преминула заронить в сознание девочки подозрение, так ли уж строго соблюдают исповедники тайну исповеди, и уверяю вас, что за страх, который она мне внушила, она теперь

[1] Письмо это не было нами найдено.

платит своей собственной боязнью, как бы ее исповедник не рассказал все мамаше. Надеюсь, что после того как я с ней поговорю еще разок-другой, она перестанет рассказывать о своих глупостях первому встречному [1].

Прощайте, виконт. Займитесь Дансени и будьте его руководителем. Стыдно нам было бы не сделать с этими двумя детьми всего, что нам нужно. А если это окажется для нас труднее, чем мы первоначально рассчитывали, вспомним, чтобы подхлестнуть свое рвение, вы — о том, что речь идет о дочери госпожи де Воланж, а я — о том, что она должна стать женою Жеркура. Прощайте.

Из ***, 2 сентября 17...

ПИСЬМО 52

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Вы запрещаете мне, сударыня, говорить вам о любви, но где я найду мужество, необходимое для того, чтобы вам повиноваться? Поглощенный чувством, которое должно было быть столь сладостным, но которое вы делаете столь мучительным; томясь в изгнании по вашему приказу; испытывая в жизни одни только лишения и сожаления; терзаясь муками тем более жестокими, что они все время напоминают мне о вашем равнодушии,— неужели должен я в довершение всего поступиться единственным оставшимся мне утешением, а что же мне остается, как не возможность изредка открывать вам душу, которую вы наполняете тревогой и горечью? Неужели вы отвратите свой взор, чтобы не видеть слез, вами же вызванных? Неужели откажетесь вы даже от поклонения со стороны того, кто приносит требуемые вами жертвы? Разве не было бы более достойно вас, вашей благородной и кроткой души пожалеть страждущего из-за вас, вместо того чтобы отягчать его страдания запретом и несправедливым и чрезмерно суровым?

Вы притворяетесь, что любовь страшит вас, а не хотите понять, что только вы и являетесь причиной зла, которое ей приписываете! Ах, разумеется, чувство это мучительно, когда оно не разделено существом, его внушившим. Но где найти счастье, если его не дает взаимная любовь? Где, как не в любви,

---

[1] По нравам госпожи де Мертей читатель, наверно, уже давно догадался, как мало она уважает религию. Весь этот отрывок можно было бы опустить, но мы считали, что, показывая результаты, не следует также пренебрегать раскрытием причин.

обрести нежную дружбу, сладостное и подлинно беспредельное доверие, облегчение страданий, умножение радостей, восхитительные воспоминания? Вы клевещете на любовь, а ведь для того чтобы насладиться всеми благами, которые она сулит, вам надо лишь не отвергать их. Я же, защищая ее, забываю о претерпеваемых мною муках.

Вы заставляете меня защищать и себя самого, ибо, хотя я посвятил всю свою жизнь поклонению вам, вы заняты в жизни лишь тем, что ищете у меня прегрешений: вы уже считаете, что я вероломник и обманщик и, обращая против меня кое-какие заблуждения, в которых я же сам и признался, готовы видеть во мне, каким я стал теперь, того самого человека, каким я был прежде. Не довольствуясь тем, что я обречен вами на муку жить вдали от вас, вы добавляете к ней жестокое издевательство по поводу наслаждений, к которым — вы сами это отлично знаете — я из-за вас же стал нечувствительным. Вы не верите ни обещаниям моим, ни клятвам. Так вот, у меня есть перед вами свидетель, которого вы уж никак не сможете отвергнуть: это вы сами. Я только прошу вас спросить чистосердечно самое себя,— и если вы не верите в мою любовь, если вы хоть на миг усомнитесь, что единовластно царите в моей душе, если вы не уверены, что приковали к себе сердце, бывшее дотоле и впрямь слишком изменчивым,— тогда я согласен нести ответ за это ваше заблуждение. Я буду стенать от горя, но не пророню ни единой жалобы. Если же, напротив, вы, отдавая должное нам обоим, вынуждены будете в глубине души признать, что у вас нет и никогда не будет соперницы, тогда, молю вас, не заставляйте меня сражаться с призраками и оставьте мне хотя бы одно утешение,— что вы не сомневаетесь в чувстве, которому действительно наступит, действительно сможет наступить конец, но лишь с концом моей жизни. Разрешите мне, сударыня, просить вас дать положительный ответ на эту часть моего письма. Хотя я и готов осудить ту пору моей жизни, которая, видимо, так вредит мне в ваших глазах, но вовсе не потому, чтобы у меня на худой конец не было доводов для ее защиты.

Не в том ли в конце концов была вся моя вина, что я не сопротивлялся водовороту, в который был ввергнут? В свет я вступил совсем еще юным и неопытным, меня, можно сказать, из рук в руки передавала целая толпа женщин, каждая из которых своей готовностью на все спешит предупредить размышление, для нее, как она прекрасно понимает, наверняка невыгодное. Мог ли я сам подать пример стойкости, которой мне отнюдь не противопоставляли, или должен был за миг заблуж-

дения, в которое зачастую бывал вовлечен помимо воли, показать себя постоянством, наверпяка бесполезным и даже смехотворным в глазах людей? Вступив в постыдную связь, можно ли оправдать себя иначе, как быстрым разрывом?

Но я могу смело сказать, что это опьянение чувств — может быть, даже исступленное тщеславие — не проникло глубоко в мое сердце. Оно рождено было для любви, волокитство же могло его развлечь, но не занять. Я был окружен созданиями привлекательными, но заслуживающими презрения, и ни одно из них не затронуло моей души. Мне предлагали наслаждения, а я искал добродетелей, и потому лишь, что я был нежным и чувствительным, я стал считать себя непостоянным.

Но когда я увидел вас, все стало мне ясным: вскоре я понял, что подлинный источник любовных чар — душевные качества, что лишь они могут порождать и оправдывать безумие любви. Словом, я понял, что для меня равно невозможно не любить вас и полюбить кого-либо, кроме вас.

Вот, сударыня, каково то сердце, которому вы боитесь довериться и судьба которого зависит от вашего решения. Но какую бы участь вы ему ни уготовили, вы не измените чувств, привязывающих его к вам: они так же непоколебимы, как и добродетели, их породившие.

Из ***, 3 сентября 17...

ПИСЬМО 53

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Я виделся с Дансени, но добился от него лишь полупризнания. Особенно упорно замалчивал он имя маленькой Воланж, о которой говорил мне, как о женщине очень целомудренной и даже немного святоше. В остальном же он рассказал мне свое приключение довольно правдиво, особенно же последнее событие. Я подогревал его, как только мог, и всячески вышучивал его скромность и щепетильность, но, по-видимому, он не намерен с ними расставаться, и я за него не отвечаю; впрочем, я надеюсь, что послезавтра я могу осведомить вас на этот счет подробнее. Завтра я везу его в Версаль и по дороге постараюсь выведать у него все, что можно.

Кое-какие надежды возлагаю я и на свидание влюбленных, которое состоится сегодня. Может быть, там все произойдет согласно вашим пожеланиям, и нам с вами останется лишь вырвать признание и собрать доказательства. Сделать это будет

легче вам, чем мне, ибо юная особа более доверчива или — что, в сущности, одно и то же — более болтлива, чем ее скромный поклонник. Однако и я сделаю все, что смогу.

Прощайте, мой прелестный друг, я очень тороплюсь. Я не смогу повидать вас ни сегодня, ни завтра. Если со своей стороны вы что-нибудь узнаете, напишите мне два слова к моему возвращению. Я, наверно, к ночи вернусь в Париж.

Из ***, 3 сентября 17.., вечером

ПИСЬМО 54

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Ну, уж как будто у Дансени нам есть что выведывать! Если он вам и намекнул на что-нибудь, то просто из хвастовства. Не знаю никого, кто был бы в любовных делах глупее, и все больше упрекаю себя за свою доброту к нему. Известно ли вам, что я едва не скомпрометировала себя из-за него! И что все это понапрасну. О, я ему отомщу, будьте уверены!

Когда я вчера заехала за госпожой де Воланж, она не захотела выезжать, сославшись на нездоровье. Мне пришлось употребить все свое красноречие, чтобы убедить ее, и я уже стала бояться, как бы Дансени не явился до нашего с ней отъезда; это было бы особенно неудачно, так как госпожа де Воланж сказала ему накануне, что ее дома не будет. Ее дочь и я — мы обе сидели как на иголках. Наконец, мы вышли, и малютка с таким чувством пожала мне руку, прощаясь со мной, что, несмотря на ее решение о разрыве и искреннюю ее уверенность, что она продолжает твердо держаться этого решения, я ожидала от этого вечера настоящих чудес.

Но тревоги мои на этом не кончились. Не провели мы у госпожи де *** и получаса, как госпожа де Воланж на самом деле почувствовала себя плохо, даже очень плохо, и, вполне естественно, стала собираться домой. Меня же это отнюдь не устраивало, так как я боялась, что, если мы застанем молодых людей вдвоем, в чем вполне можно было поручиться, матери покажутся подозрительными мои настоятельные уговоры отправиться вместе с нею в гости. Я решила запугать ее ухудшением нездоровья, что, к счастью, было нетрудно, и в продолжение полутора часов не соглашалась везти ее домой, делая вид, что боюсь, как бы ей не повредила тряска в экипаже. В конце концов мы возвратились домой в условленное время. Когда мы

приехали, я заметила, что у девочки очень уж смущенный вид, и, признаюсь, стала надеяться, что труды мои не пропали даром.

Мне так хотелось хорошенько все разузнать, что я задержалась подле госпожи де Воланж, которая тотчас же легла. Отужинав у ее постели, мы рано оставили ее под предлогом, что ей нужен покой, и отправились в комнату дочки. Та, оказывается, сделала все, чего я от нее ожидала: исчезли сомнения, были возобновлены клятвы в вечной любви и т. д. и т. п. В общем, она охотно пошла на все, но дуралей Дансени ни на шаг не сдвинулся с места, на котором пребывал. О, с таким красавцем можно ссориться сколько угодно: примирения не таят никаких опасностей.

Малютка, впрочем, уверяет, что он хотел большего, но что она сумела защититься. Бьюсь об заклад, что она либо хвастается, либо старается найти ему оправдание. Я даже почти убедилась в этом. Должна сказать, что на меня нашла прихоть удостовериться, на какую такую защиту она способна, и я, всегонавсего женщина, от слова к слову, до того вскружила ей голову, что... Словом, можете мне поверить, нет существа, более способного поддаться внезапному порыву чувства. Эта крошка и впрямь исключительно мила! Она заслуживала бы другого поклонника! Во всяком случае, у нее будет хороший друг, ибо я к ней уже искренне привязалась. Я обещала ей, что завершу ее воспитание, и, кажется, сдержу слово. Я часто ощущала необходимость иметь наперсницей женщину, и эта подошла бы мне больше всякой другой. Но я не могу ничего из нее сделать, пока она не станет... тем, чем должна стать. Еще одна причина быть недовольной Дансени.

Прощайте, виконт. Завтра ко мне не являйтесь, разве что утром. Я уступаю настояниям кавалера провести с ним вечер в моем домике.

Из ***, 4 сентября 17...

ПИСЬМО 55

От Сесили Воланж к Софи Карне

Ты была права, дорогая моя Софи. Твои пророчества удачнее, чем советы. Как ты и предсказывала, Дансени оказался сильнее исповедника, тебя, даже меня самой — и вот мы снова там же, где были. Ах, я не раскаиваюсь, а ты если и станешь меня бранить, то лишь потому, что не знаешь, какая это

радость — любить Дансени. Легко тебе говорить, как себя следует вести, тебе ведь ничто не мешает. Но если бы ты почувствовала, какую боль причиняет нам горе того, кого мы любим, как его радость становится нашей радостью и до чего трудно говорить «нет», когда так хочется сказать «да»,— ты бы перестала чему-либо удивляться. Я и сама почувствовала это, и почувствовала очень живо, хотя как следует еще не понимаю, почему это так. Думаешь ли ты, например, что я могу видеть слезы Дансени и сама при этом не плакать? Уверяю тебя, что это совершенно немыслимо. А когда он доволен, я так же счастлива, как он сам. Можешь говорить все, что хочешь: никакие слова не изменят того, что есть, и я совершенно уверена, что это именно так.

Хотела бы я видеть тебя на моем месте... Нет, я не то хотела сказать, так как уж, наверно, не согласилась бы уступить кому-либо свое место, но я хотела бы, чтобы ты кого-нибудь полюбила. И не только ради того, чтобы ты меня лучше понимала и меньше бранила, а дело в том, что ты тоже стала бы счастливее, или, вернее сказать, ты бы только начала становиться счастливой.

Наши игры, наше веселье, все это, видишь ли, детские забавы: кончатся они, и после них ровно ничего не остается. Но любовь, ах, любовь!.. Одно слово, один взгляд, сознание, что он тут, рядом,— вот что такое счастье. Когда я вижу Дансени, мне больше ничего не хочется. А когда я его не вижу, так только его и хочу. Не знаю, как это получилось, но можно подумать, что все, что мне нравится, похоже на него. Когда его со мной нет, я о нем думаю, и когда я могу думать только о нем, не отвлекаясь,— например, когда я совсем одна,— я тоже счастлива. Я закрываю глаза, и мне сразу начинает казаться, что он передо мной, я вспоминаю его слова, я его как бы слышу. От этого я вздыхаю, а потом ощущаю какой-то жар, волнение... Не нахожу себе места. Это — как бы мука, но мука, доставляющая невыразимое наслаждение.

Я даже думаю, что, когда любишь, это распространяется и на дружбу. Однако моя дружба к тебе нисколько не изменилась: все — как было в монастыре. Но то, о чем я тебе говорю, я испытываю по отношению к госпоже де Мертей. Мне сдается, что я люблю ее скорее, как люблю Дансени, чем, как тебя, и иногда мне хочется, чтобы она была им. Может быть, так получается оттого, что это не детская дружба, как у меня с тобой, а может быть, и оттого, что я часто вижу их вместе, и получается, что я как бы ошибаюсь. Словом, вся суть в том, что они оба делают меня счастливой, и в конце концов я не думаю, чтобы

«Опасные связи»
А. Фрагонар

мое поведение было очень дурным. Вот почему лучше всего для меня было бы, чтобы все оставалось, как оно есть, и меня удручает только мысль о замужестве, ибо если господин де Жеркур действительно такой, как мне говорили,— а я в этом не сомневаюсь,— я просто не знаю, что со мной будет. Прощай, милая Софи, я по-прежнему нежно люблю тебя.

Из ***, 4 сентября 17...

ПИСЬМО 56

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Для чего вам, сударь, ответ, которого вы у меня просите? Верить в ваши чувства — не значит ли иметь лишнее основание опасаться их? Не отрицая их искренности и не признавая ее, разве не достаточно мне — и не должно ли быть достаточно и для вас — знать, что я не хочу и не имею права на них отвечать?

Если и предположить, что вы в самом деле меня любите (я соглашаюсь на это предположение лишь для того, чтобы уж больше к этому не возвращаться), разве препятствия, разделяющие нас, не останутся столь же непреодолимыми? И что́ иное должна была бы я делать, как не желать, чтобы вы сумели поскорее побороть в себе это чувство, а главное — как не помочь вам в этом всеми моими силами, решительно отняв у вас всякую надежду? Вы сами соглашаетесь с тем, *что чувство это мучительно, когда оно не разделяется существом, его внушившим.* Между тем вы отлично знаете, что разделить его — для меня невозможно. А если бы даже такое несчастье со мной случилось, я стала бы лишь еще более достойной сожаления, вы же — отнюдь не сделались бы счастливее. Надеюсь, вы меня достаточно уважаете, чтобы ни на миг не усомниться в этом. Прекратите же, заклинаю вас, прекратите попытки смутить сердце, которому так нужен покой. Не заставляйте меня жалеть о том, что я вас узнала.

Муж, которого я люблю и уважаю, меня лелеет и чтит. В одном человеке сосредоточены и мои обязанности, и мои радости. Я счастлива, я должна быть счастлива с ним. Если и существуют более острые наслаждения, я к ним не стремлюсь, я не хочу их познать. Есть ли что-нибудь более радостное, чем пребывать в мире с самою собой, знать лишь ясные дни, засыпать безмятежно и просыпаться без угрызений совести? То же, что вы называете счастьем, есть лишь смятение чувств, буря

страстей, которая страшит, даже если ее созерцаешь с берега. Как можно бросить вызов этим бурям? Как можно дерзнуть выйти в море, усеянное обломками бесчисленных кораблекрушений? И с кем? Нет, сударь, я остаюсь на суше, мне дóроги узы, привязывающие меня к ней. Я не пожелала бы разорвать их, даже если бы имела возможность это сделать. А если бы их у меня не было, я постаралась бы как можно скорее завязать подобные узы.

Зачем вы следуете за мной по пятам? Зачем упрямо ведете это преследование? Письма ваши, которые вы должны были бы посылать изредка, приходят одно за другим. Им следовало бы быть более скромными, а вы в них говорите лишь о своей безумной любви. Мысль о себе вы делаете более навязчивой, чем прежде были сами. Я отстранила вас от себя в одном облике — вы появляетесь в другом. Я прошу вас не говорить о некоторых вещах — вы вновь о них говорите, только на иной лад. Вы тешитесь, смущая меня коварными доводами,— мои же доводы проходят мимо вас. Я не хочу и не стану больше отвечать вам... Как отзываетесь вы о женщинах, которых соблазнили! С каким презрением вы о них говорите! Охотно верю, что некоторые из них этого заслуживают, но неужели же все они до такой степени презренны? Ах, без сомнения, это так, ведь они пренебрегли своим долгом, отдаваясь преступной любви. И с этого мгновения они потеряли все, вплоть до уважения со стороны того, кому они всем пожертвовали. Казнь эта справедлива, но одна мысль о ней повергает меня в трепет. А, впрочем, какое мне до этого дело? Почему бы стала я заниматься ими или же вами самим? По какому праву нарушаете вы мой покой? Оставьте меня, не пытайтесь увидеть, не пишите,— прошу вас, требую. Письмо это — последнее, которое вы от меня получите.

Из ***, 5 сентября 17...

ПИСЬМО 57

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Вчера по возвращении я нашел ваше письмо. Ваш гнев меня донельзя развеселил. Если бы Дансени провинился против вас лично, вы, пожалуй, были бы не сильнее возмущены. Видимо, из мести приучаете вы его возлюбленную изменять ему по мелочам. И злодейка же вы! Да, вы очаровательны, и я не удивляюсь, что вам сопротивляются меньше, чем кавалеру Дансени.

Ну, этот прекрасный герой романа изучен мною наизусть. У него больше нет от меня тайн. Я усиленно проповедовал ему, что честная любовь есть высшее благо, что сильное чувство стоит больше, чем десять приключений, да так усиленно, что сам становился в эту минуту робким влюбленным. Под конец он уверился, что мы с ним одинаково смотрим на вещи, и, придя в полный восторг от моего чистосердечия, рассказал мне все и поклялся в безграничной дружбе. Это, однако, нисколько не продвигает вперед нашего плана.

Прежде всего он, по-моему, придерживается того взгляда, что к девице надо относиться бережнее, чем к женщине, ибо она больше теряет. А главное, он считает, что ничто не оправдывает мужчину, своим поведением вынудившего девушку либо выйти за него замуж, либо оставаться обесчещенной, когда девушка много богаче мужчины, как в данном случае. Доверие матери, невинность дочери — все его смущает и останавливает. Трудность для меня — не в том, чтобы опровергнуть его взгляды, несмотря на всю их справедливость. С некоторой ловкостью и с помощью его страсти их скоро можно разбить, тем более что они делают его смешным, а я в этом случае опирался бы на общее мнение. Трудно с ним справиться потому, что и в настоящем своем положении он чувствует себя счастливым. И действительно, если первая любовь кажется нам вообще более благородным и, как говорят, более чистым чувством, если она, во всяком случае, более медленно развивается, то причина этому вовсе не чувствительность или робость, как принято считать. Дело в том, что сердце, пораженное чувством, дотоле не изведанным, как бы останавливается на каждом шагу, чтобы насладиться очарованием, которое оно испытывает, и очарование это обладает такой властью над неискушенным сердцем, что совершенно поглощает его и заставляет забывать обо всех других радостях. Это настолько верно, что даже влюбленный распутник,— если распутник может быть влюблен,— с этой минуты не так сильно рвется к наслаждению и что, наконец, между поведением Дансени с маленькой Воланж и моим с недотрогой госпожой де Турвель разница только в степени.

Чтобы распалить нашего юношу, надо было бы, чтобы на пути его встало куда более серьезное препятствие и, прежде всего, чтобы ему приходилось соблюдать бóльшую таинственность, ибо таинственность ведет к дерзновению. Я не далек от мысли, что вы повредили нашим замыслам, оказав ему такую помощь. Ваше поведение было бы превосходным по отношению к человеку бывалому, испытывающему одни лишь вожделения,

но вам следовало предвидеть, что для юноши порядочного и влюбленного главная ценность внешних проявлений любви в том, чтобы они являлись ее залогом, и что, следовательно, чем более он уверен во взаимности, тем менее будет предприимчив. Что же теперь делать? Не знаю. Но я не надеюсь, что малютка потеряет невинность до брака; мы с вами останемся ни при чем. Очень жаль, но я не вижу, чем тут можно помочь. Пока я тут разглагольствую, вы со своим кавалером занимаетесь настоящим делом. Это напоминает мне о том, что я получил от вас обещание изменить ему со мной. У меня имеется письменное ваше обещание, и я вовсе не желаю, чтобы оно превратилось в долгосрочный вексель. Я согласен, что срок платежа еще не наступил, но с вашей стороны великодушно было бы не дожидаться этого. Я с вас не потребую лишних процентов. Неужели вам не надоело постоянство? Кавалер, видимо, и в самом деле творит чудеса? О, разрешите мне действовать, я хочу заставить вас признать, что если вы находили в нем какие-то достоинства, то лишь потому, что забыли меня.

Прощайте, прелестный друг, целую вас так же крепко, как желаю вас. И не сомневайтесь, что все поцелуи кавалера, вместе взятые, не так пламенны, как мой.

Из ***, 5 сентября 17...

ПИСЬМО 58

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Чем заслужил я, сударыня, ваши упреки и гнев, который вы на меня обрушили? Самая горячая и вместе с тем самая почтительная привязанность, самая безропотная покорность малейшей вашей воле — вот в двух словах вся история моих чувств и моего поведения. Меня терзали муки неразделенной любви, и единственным утешением моим было видеть вас. Ваш приказ лишал меня этого — и я подчинился, не позволив себе роптать. В награду за принесенную жертву вы разрешили мне писать вам, а теперь хотите отнять у меня и эту единственную радость. Неужели я должен примириться с этим лишением, не пытаясь даже защищаться. Разумеется, нет! Разве не дорога эта радость моему сердцу? Она — единственное, что у меня осталось, и даровали ее мне вы.

Вы говорите, что письма мои «слишком часты»? Но подумайте только, прошу вас, что изгнание мое длится уже десять дней — и не было мгновения, чтобы мысли мои не были заняты

вами, а между тем вы получили от меня всего два письма. «Я говорю в них только о своей любви»? Но о чем же могу я говорить, как не о том, о чем все время помышляю? Единственное, что я мог сделать,— это ослабить выражения, и, можете поверить мне, я открыл вам лишь то, что скрыть было просто невозможно. Вы, наконец, угрожаете, что перестанете отвечать? Значит, вы не довольствуетесь тем, что так сурово обращаетесь с человеком, который дорожит вами превыше всего и чтит вас даже больше, чем любит,— вы его еще и презираете! Но почему эти угрозы, этот гнев? Разве в них есть нужда? Разве не уверены вы в моем повиновении даже самым несправедливым вашим требованиям? Могу ли я противиться любому вашему желанию, и разве не доказал я уже, что не могу? Неужели же вы злоупотребите своей властью надо мной? Сможете ли вы с легким сердцем вкушать столь необходимый для вас, по вашим словам, покой, после того как из-за вас я стану окончательно несчастным, после того как вы совершите несправедливость? Неужто вы никогда не скажете себе: «Он сделал меня владычицей своей судьбы, а я сделала его несчастным; он молил о помощи, а я не бросила на него сострадательного взгляда!» Знаете ли вы, до чего может довести меня отчаяние? Нет, вы не знаете.

Чтобы облегчить мои страдания, вы должны были бы знать, до какой степени я вас люблю; но сердца моего вы не знаете.

Чему вы приносите меня в жертву? Призрачным опасениям. И кто у вас их вызывает? Человек, обожающий вас, человек, над которым вы всегда сохраните безграничную власть. Чего же вы боитесь? Чего можете вы опасаться от чувства, которым всегда будете вольны управлять по своему желанию? Но воображение ваше создает себе каких-то чудовищ, и ужас, который вы перед ними ощущаете, вы приписываете любви. Немного доверия ко мне — и призраки эти исчезнут.

Один мудрец сказал, что, для того чтобы рассеялись страхи, достаточно осознать их причину [1]. Истина эта особенно применима к любви. Полюбите, и страхам вашим придет конец. На месте того, что вас ужасает, вы найдете сладостное чувство нежного и покорного вам возлюбленного, и во все дни ваши, отмеченные счастьем, у вас не возникнет иных сожалений, кроме того, что вы потеряли те дни, которые провели в равнодушии. И я сам, с тех пор как раскаялся в своих заблуждениях

[1] Кажется, это Руссо в «Эмиле», но цитата неточна, и Вальмон ее неправильно применяет. Да и читала ли госпожа де Турвель «Эмиля»?

и существую лишь для любви, я сожалею о времени, которое проводил, как казалось мне, в наслаждениях, и чувствую, что лишь вам дано сделать меня счастливым. Но, молю вас, пусть радость, которую я испытываю, когда пишу вам, не замутнена будет страхом прогневить вас! Я не хочу ослушаться вас, но, припадая к ногам вашим, прошу сохранить мне счастье, которое вы желаете у меня отнять. Я взываю к вам: услышьте мои мольбы, поглядите на мои слезы. Ах, сударыня, неужели же вы откажете?

Из ***, 7 сентября 17...

ПИСЬМО 59

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Растолкуйте мне, если можете, что означает этот вздор, который несет Дансени? Что такое случилось и что он потерял? Уж не рассердилась ли его красотка на его нескончаемую почтительность? Говоря по всей справедливости, давно уже можно было рассердиться. Что мне сказать ему сегодня вечером на свидании, о котором он меня просил и которое я ему на всякий случай назначил? Разумеется, я не стану терять времени на выслушивание его сетований, если это нас ни к чему не приведет. Любовные жалобы можно слушать лишь в облигатном речитативе или в ариях. Сообщите мне, в чем дело, скажите, как я должен поступать, или же я сбегу, чтобы избежать маячащей передо мною скуки. Смогу ли я поговорить с вами сегодня утром? Если вы заняты, то хотя бы черкните мне словечко и дайте мне указания насчет моей роли.

Где вы были вчера? Мне никак не удается с вами увидеться. Право же, незачем было оставаться в Париже в сентябре. Однако надо вам на что-то решиться, ибо я только что получил весьма настоятельное приглашение от графини де Б*** погостить у нее в деревне, и вот в какой забавной форме она меня приглашает: у ее мужа есть, мол, очаровательный лес, который он заботливо предназначает «для приятного времяпрепровождения своих друзей». Вы же хорошо знаете, что на этот лес я имею некоторые права, и я поеду взглянуть на него еще раз, если не могу быть вам ничем полезным.

Прощайте и не забудьте, что Дансени будет у меня часов около четырех.

Из ***, 8 сентября 17...

ПИСЬМО 60

От кавалера Дансени к виконту де Вальмону
(Вложено в предыдущее)

Ах, сударь, я в отчаянии, я потерял все. Я не решаюсь доверить бумаге тайну моих страданий, но мне необходимо излить их перед надежным и верным другом. В котором часу мог бы я увидеться с вами и получить у вас утешение и совет? Я был так счастлив в тот день, когда открыл вам свою душу! А теперь — какая разница! Все для меня изменилось. То, что приходится претерпевать лично мне, есть лишь незначительная доля моих терзаний. Тревога за существо, бесконечно более дорогое,— вот чего я перенести не в силах. Вы счастливее меня и сможете ее увидеть, и я жду от вашей дружбы, что вы не откажетесь исполнить мое поручение к ней. Но для этого мне нужно повидать вас и объяснить вам, что надо сделать. Вы пожалеете меня, вы мне поможете. Вся моя надежда — на вас. Вы человек чувствительный, вы знаете любовь, и только вам одному я имею возможность довериться. Не отказывайтесь же помочь мне.

Прощайте, сударь. Единственное облегчение в моем горе — это сознание, что я имею такого друга, как вы. Сообщите мне, прошу вас, в котором часу я могу вас застать. Если нельзя сегодня утром, то я хотел бы как можно раньше после полудня.

Из ***, 8 сентября 17...

ПИСЬМО 61

От Сесили Воланж к Софи Карне

Дорогая моя Софи, пожалей свою Сесиль, свою бедную Сесиль: она очень несчастна! Мама все знает. Не понимаю, каким образом у нее могли возникнуть подозрения, однако она все обнаружила. Вчера вечером мне показалось, будто мама немного раздражена, но я не обратила на это особого внимания и, дожидаясь, пока она кончит игру в карты, даже вела очень веселый разговор с госпожой де Мертей, которая у нас ужинала, и мы много беседовали о Дансени. Не думаю, чтобы нас могли услышать. Она ушла, и я удалилась к себе.

Я раздевалась, когда мама вошла и велела моей горничной выйти. После этого она потребовала у меня ключ от моего

секретера. Говорила она таким тоном, что я затрепетала и едва могла держаться на ногах. Я делала вид, что не могу найти ключ, но в конце концов пришлось повиноваться. Первый же ящик, который она открыла, оказался как раз тот, где находились письма кавалера Дансени. Я была в таком смятении, что, когда она меня спросила, что это такое, в состоянии была ответить только: «Ничего». Но когда я увидела, что она начала читать первое письмо, какое ей попалось на глаза, мне стало так худо, что я потеряла сознание. Как только я пришла в себя, мама, позвавшая мою горничную, удалилась, велев мне ложиться спать. Она забрала все письма Дансени. Я дрожу всякий раз, как подумаю, что должна буду снова показаться ей на глаза. Всю ночь я проплакала. Пишу на рассвете, так как надеюсь, что появится Жозефина. Если я смогу поговорить с ней с глазу на глаз, то попрошу, чтобы она передала госпоже де Мертей записку, которую я ей напишу. Если нет, то я вложу записку в письмо к тебе, а ты уж, будь добра, отправь ее как будто бы от себя. Только она одна способна хоть немного меня утешить. Мы хоть поговорим о нем, так как я уже не надеюсь его увидеть. Я очень несчастна! Может быть, она будет так добра, что возьмется передать Дансени мое письмо. Я не решаюсь довериться в таком деле Жозефине, а еще меньше моей горничной: ведь это, может быть, она сказала маме, что в секретере у меня спрятаны письма.

Я кончаю, так как мне еще нужно написать госпоже де Мертей, а также Дансени, чтобы письмо к нему было готово на случай, если она согласится его отослать. Затем я опять лягу, чтобы меня застали в постели, когда придут в мою комнату. Чтобы не пришлось идти к маме, я скажусь больной. Я не так уж солгу: мне ведь хуже, чем если бы у меня был жар. Глаза горят от слез, и так давит под ложечкой, что трудно дышать. Когда я думаю, что больше не увижу Дансени, мне хочется умереть. Прощай, дорогая моя Софи. Не могу больше писать, слезы душат меня.

Из ***, 7 сентября 17...

Примечание. Письмо Сесили Воланж к маркизе выпущено, так как в нем излагаются те же обстоятельства, что в предыдущем письме, только менее подробно. Письмо к кавалеру Дансени найдено не было: причину читатель узнает из письма 63 госпожи де Мертей к виконту.

ПИСЬМО 62

От госпожи де Воланж к кавалеру Дансени

После того как вы, милостивый государь, злоупотребили доверием матери и невинностью ребенка, вас, конечно, не удивит, что вас больше не будут принимать в доме, где на доказательства искреннейшей дружбы вы ответили лишь забвением всех правил пристойного поведения. Я предпочитаю просить вас впредь не являться ко мне, вместо того чтобы дать соответствующее распоряжение привратнику, что в равной мере скомпрометировало бы всех нас, ибо среди слуг наших тотчас же начнутся пересуды. Я имею право рассчитывать, что вы не вынудите меня прибегнуть к этому способу. Предупреждаю вас также, что, если в будущем вы сделаете хоть малейшую попытку удержать мою дочь в том заблуждении чувств, в которое вы ее завлекли, суровое и вечное заточение избавит ее от ваших преследований. От вас, сударь, зависит, так ли мало побоитесь вы стать причиной ее несчастья, как мало побоялись попытки ее обесчестить. Что до меня, то выбор мой сделан, и я ей его сообщила.

При сем вы найдете пачку ваших писем. Я рассчитываю, что в обмен вы пришлете мне все письма моей дочери и что вы не воспротивитесь тому, чтобы не оставалось ни малейших следов происшествия, о котором я не смогу вспомнить без негодования, она — без стыда, а вы — без угрызений совести.

Имею честь быть и т. д.

Из ***, 7 сентября 17...

ПИСЬМО 63

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Да, конечно, я объясню вам записку Дансени. Происшествие, из-за которого он вам ее написал, дело моих рук и, полагаю, самое удачное из всех моих деяний. После вашего последнего письма я не теряла времени даром — я сказала себе, подобно одному афинскому архитектору: «Я совершу то, о чем он говорил».

Ему, значит, нужны препятствия, этому герою романа, счастье усыпляет его! О, пусть положится на меня, я уж задам ему работу, и либо я очень ошибаюсь, либо спокойно почивать ему уж не придется. Надо было научить его ценить время, и я льщу себя надеждой, что он сейчас горько жалеет о тех часах, которые потерял. Вы также говорили, что ему не хватало таинственности. Так вот, теперь-то ее уж будет хватать с избытком.

Во мне то хорошо, что достаточно указать мне на допущенную мною ошибку,— и я не успокоюсь, пока всего не поправлю. Узнайте же, что я сделала.

Вернувшись к себе позавчера утром, я прочитала ваше письмо, и мне все стало ясно как день. Убедившись, что вы превосходно определили причину зла, я занялась исключительно поисками средств для его искоренения. Начала я, однако, с того, что легла, ибо неутомимый кавалер не дал мне уснуть ни на мгновение, и я думала, что мне захочется спать. Ничего подобного, все мысли мои были заняты Дансени: желание вывести его из бездействия или его за это бездействие наказать не давало мне глаз сомкнуть, и лишь после того как я разработала свой план во всех подробностях, удалось мне отдохнуть часа два.

В тот же вечер я отправилась к госпоже де Воланж и, согласно своему замыслу, доверительно сообщила ей, что, как я почти убеждена, между ее дочерью и Дансени существует опасная связь. Эта женщина, столь проницательная в отношении вас, оказалась до того ослепленной, что сперва она ответила мне, что я, наверно, ошибаюсь: дочь ее, мол, совсем ребенок и т. д. и т. п. Я не могла рассказать ей всего, что мне известно, но я ссылалась на перехваченные мною взгляды, обрывки речей, *которые внушали тревогу и моей добродетели, и моему дружескому чувству*. Словом, я говорила почти так же хорошо, как любая святоша, и, нанося окончательный удар, решилась даже сказать, что мне показалось, будто я видела, как они передавали из рук в руки письмо. «Тут мне припомнилось,— добавила я,— что она как-то открыла при мне ящик своего секретера, и я увидела там много каких-то бумаг, которые она, видимо, хранит. Не знаете ли вы, с кем она ведет оживленную переписку?» Тут госпожа де Воланж изменилась в лице, и я заметила, что на глазах у нее выступили слезы. «Благодарю вас, достойный мой друг,— произнесла она, пожимая мне руку.— Я все разузнаю».

После этого разговора, слишком короткого, чтобы он мог вызвать подозрения, я подошла к юной особе. Вскоре я, однако, покинула ее и попросила мать не выдавать меня дочери. Мать обещала тем охотнее, что я заметила ей, как было бы удачно, если бы девочка возымела ко мне доверие и открывала мне свое сердце, а у меня появилась бы таким образом возможность давать ей *благоразумные советы*. Обещание свое она сдержит — я не сомневаюсь в этом хотя бы потому, что ей захочется произвести на дочь впечатление своей проницательностью. Тем самым я получала возможность поддерживать с малюткой обыч-

ный дружеский тон и не показаться двуличной в глазах госпожи де Воланж, чего я хотела избежать. Выиграла я вдобавок и то, что в дальнейшем смогу оставаться наедине и сколько угодно секретничать с юной особой, не вызывая у матери и тени подозрения.

Я воспользовалась этим в тот же вечер и, кончив свою партию, уединилась с малюткой в укромном уголке и завела разговор о Дансени: тут она совершенно неиссякаема. Я забавлялась, разжигая ее по поводу той радости, которую она испытает от завтрашней встречи с ним; какого только вздора я не заставила ее наговорить! Надо же было вернуть ей хотя бы в виде надежды то, что в действительности я у нее отнимала. Вдобавок от всего этого она еще сильнее ощутит удар, а я убеждена, что чем больше она будет страдать, тем скорее поспешит вознаградить себя при первом же благоприятном случае. К тому же полезно приучать к сильным переживаниям того, кого предназначаешь для жизни, полной приключений.

В конце концов, разве она не может заплатить двумя-тремя слезинками за счастье обладать своим Дансени? Она от него без ума. Что ж, могу ей поручиться, что она его получит и даже раньше, чем получила бы без этой бури. Это лишь дурной сон, за которым последует сладостное пробуждение, и я полагаю, что в общем она должна быть мне даже благодарна. А если я и проявила немного коварства, надо же позабавиться:

Ведь на забаву нам и созданы глупцы [1].

Наконец, я удалилась, весьма собою довольная. Либо, говорила я себе, Дансени, разгоряченный препятствиями, воспылает еще сильнее и тогда я сделаю для него все, что будет в моей власти, либо, если это просто дурень, как мне порою кажется, он придет в отчаяние и признает себя побежденным. В этом случае я, по крайней мере, отомщу ему, как только смогу, и заодно приобрету еще большее уважение матери, еще более глубокую дружбу дочери и полное доверие их обеих. Что же касается Жеркура, главного предмета всех моих забот, то мне уж очень не повезет или же я окажусь уж очень неловкой, если, пользуясь огромным влиянием на его жену, которое в дальнейшем еще усилится, я не найду тысячи способов сделать из него то, во что я хочу его превратить. С этими приятными мыслями я заснула, и потому отлично спала и очень поздно проснулась.

---

[1] Грессе, комедия «Злюка».

Моего пробуждения уже дожидались две записки: одна от матери, другая от дочери, и я не могла удержаться от смеха, обнаружив в обеих буквально одну и ту же фразу: «От вас одной могу я ждать хоть некоторого утешения». Не забавно ли, в самом деле, утешать и за и против и оказаться единственным пособником двух совершенно противоположных устремлений? Вот я и уподобилась божеству; слепые смертные обращаются ко мне с совершенно противоположными пожеланиями, а мои непоколебимые решения остаются неизменными. Однако я оставила эту возвышенную роль, приняв на себя другую — ангела-утешителя, и, согласно заповеди, посетила ближнего в его горестях.

Я начала с матери, которую я нашла столь удрученной, что этим вы уже отчасти отомщены за неприятности, постигшие вас по ее вине со стороны вашей прекрасной недотроги. Все удалось как нельзя лучше. Беспокоило меня только одно: как бы госпожа де Воланж не воспользовалась этой минутой, чтобы приобрести доверие дочери, что было бы очень легко, если бы она заговорила с ней ласково и дружелюбно и придала советам разума вид и тон прощающей нежности. К счастью, она вооружилась строгостью и в конце концов повела себя так неудачно, что я могла только радоваться. Правда, она чуть не нарушила всех наших планов, решив сперва водворить свою дочь обратно в монастырь, но я отвела удар и посоветовала лишь пригрозить этим в том случае, если Дансени будет продолжать свои преследования; это заставит обоих влюбленных быть осторожными, что, по-моему, необходимо для успеха.

Затем я прошла к дочери. Вы бы не поверили, как она похорошела от горя! Как бы мало ни было ей свойственно кокетство, ручаюсь вам,— она будет частенько прибегать к слезам. Но на этот раз слезы были самые бесхитростные. Пораженная этим новым очарованием, которого я за нею не знала и которое теперь наблюдала с удовольствием, я сперва давала ей лишь неудачные советы, скорее усиливающие страдания, чем облегчающие их, и таким образом довела ее до полного изнеможения. Она уже не плакала, и я даже опасалась судорог. Я посоветовала ей лечь в постель, и она согласилась. Я принялась ухаживать за ней вместе с горничной. С утра она не одевалась и не причесывалась, и вскоре ее растрепанные волосы рассыпались по совершенно обнаженным плечам и груди. Я поцеловала ее, она упала в мои объятия, и слезы полились вновь сами собой. Боже, как она была хороша! Ах, если Магдалина походила на нее, она должна была быть опаснее в покаянии, чем во грехе.

Когда огорченная красотка оказалась в постели, я принялась утешать ее уже по-настоящему. Сперва я успокоила ее насчет водворения в монастырь. Я заронила в нее надежду на тайные свидания с Дансени. Усевшись на край постели, я сказала: «А что, если бы он был здесь!», затем, вышивая тот же узор, отвлекала ее то одним, то другим, и, в конце концов, добилась того, что она позабыла о своем горе. Мы расстались бы вполне довольные друг другом, если бы она не попросила меня передать Дансени письмо, на что я упорно не соглашалась. И вот по каким соображениям — полагаю, вы их одобрите.

Прежде всего это скомпрометировало бы меня в глазах Дансени, и если это был единственный довод, который я могла привести малютке, то для вас у меня есть еще множество других. Разве я не рисковала бы плодами всех своих трудов, если бы с самого начала дала нашим молодым людям такой легкий способ смягчать их страдания? Кроме того, я была бы не прочь заставить их замешать в это приключение кого-нибудь из слуг, ибо если оно, как я надеюсь, придет к вожделенному концу, нужно, чтобы о нем узнали тотчас же после замужества, а ведь нет более верного способа его разгласить. Если же каким-либо чудом слуги станут молчать, заговорим мы с вами, а для нас удобнее всего будет отнести огласку за их счет.

Поэтому вам следует сегодня же подать эту мысль Дансени, а так как я не уверена в горничной малютки Воланж — она и сама, кажется, ей не доверяет,— укажите ему на мою преданную Виктуар. Я уж постараюсь, чтобы она согласилась. Мысль эта мне тем более по душе, что посвящение ее в их тайну окажется выгодным только нам, а отнюдь не им, ибо я еще не окончила своего рассказа.

Упорно отказываясь взять от малютки письмо, я все время опасалась, что она попросит меня отправить его по городской почте, в чем я никак не могла бы ей отказать. К счастью, то ли по растерянности своей, то ли по неосведомленности, а может быть, и потому, что письмо ей было не так важно, как ответ, которого таким же путем она получить не смогла бы, но она об этом не заговорила. Но для того чтобы эта мысль вообще не пришла ей в голову и, во всяком случае, для того, чтобы путь этот был для нее закрыт, я тотчас же приняла решение и, вернувшись к матери, убедила ее на некоторое время удалить дочь, увезя ее в деревню. Куда же? Сердце у вас не забилось от радости? К вашей тетушке, к старушке Розмонд. Она должна сегодня же предупредить ее об этом. Таким образом, вы получаете право возвратиться к своей святоше: теперь уже она не

может ссылаться на скандальность пребывания с вами вдвоем, и, благодаря моим заботам, госпожа де Воланж сама исправит зло, которое она вам причинила.

Только слушайтесь меня и не будьте поглощены своими делами настолько, чтобы потерять из виду это дело: помните, что я в нем заинтересована.

Я хочу, чтобы вы стали посредником между молодыми людьми и их советчиком. Сообщите Дансени о предстоящем отъезде и предложите ему свои услуги. Единственное затруднение усмотрите в том, как передать в руки красотки доверительную грамоту, но тотчас же отведите это препятствие, указав на мою горничную. Нет сомнения, что он согласится, и в награду за свои хлопоты вы получите доверие неискушенного сердца, что всегда занимательно. Бедняжечка! Как она покраснеет, передавая вам свое первое письмо! По правде говоря, роль наперсника, против которой имеется столько предрассудков, мне представляется прелестным развлечением, когда вообще занимаешься другими, как это и будет в данном случае. Развязка этой интриги будет зависеть от ваших стараний. Вы должны сообразить, какой момент окажется наиболее подходящим для того, чтобы соединить всех действующих лиц. Жизнь в деревне дает к тому тысячи возможностей, и уж, наверно, Дансени готов будет появиться там по первому же вашему сигналу. Ночь, переодевание, окно... да мало ли что еще? Но знайте, что, если девочка возвратится оттуда такой же, какой туда отправилась, виновником я буду считать вас. Если вы найдете, что она нуждается в каком-либо поощрении с моей стороны, сообщите мне. Правда, я дала ей достаточно хороший урок, как опасно хранить письма. и сейчас просто не осмелюсь писать ей, но я по-прежнему намерена сделать ее своей ученицей.

Кажется, я забыла рассказать вам, что свои подозрения насчет того, кто выдал переписку, она направила сперва на горничную, я же отвела их на исповедника. Таким образом, одним выстрелом убиты два зайца. Прощайте, виконт, я уже очень долго пишу вам, и даже обед мой из-за этого запоздал. Но письмо мне диктовали самолюбие и дружба, а оба эти чувства болтливы. Жалуйтесь теперь на меня, если посмеете, и отправляйтесь снова, если это вас соблазняет, прогуляться по лесу графа де Б***. Вы говорите, что он «предназначает его для приятного времяпрепровождения своих друзей»! Этот человек, видно, всему свету друг? Однако прощайте, я проголодалась.

Из *, 9 сентября 17...**

ПИСЬМО 64

От кавалера Дансени к госпоже де Воланж
(Копия, приложенная к письму 66 виконта к маркизе)

Не пытаясь, сударыня, оправдать свое поведение и не жалуясь на ваше, я могу лишь скорбеть о происшествии, сделавшем несчастными трех людей, хотя все трое достойны лучшей участи. Быть причиной этой беды для меня еще огорчительнее, чем являться ее жертвой, и потому я со вчерашнего дня часто порывался иметь честь ответить вам, но у меня не хватало на это сил. Между тем мне необходимо сказать вам так много, что я должен в конце концов сделать над собой усилие, и если это письмо беспорядочно и бессвязно, то вы, наверно, поймете, в каком я сейчас горестном положении, и проявите некоторую снисходительность.

Разрешите прежде всего возразить против первой фразы вашего письма. Смею утверждать, что я не злоупотребил ни вашим доверием, ни невинностью мадемуазель де Воланж. В поступках своих я с уважением относился и к тому и к другому; но зависели от меня лишь мои поступки, и если вы даже возложите на меня ответственность за непроизвольно возникшее чувство, то я безо всякого опасения добавлю, что чувство это, внушенное мне вашей дочерью, может, конечно, быть вам неугодным, но отнюдь не оскорбит вас. В этом вопросе, затрагивающем меня больше, чем я могу вам сказать, я хотел бы иметь судьей лишь вас, а свидетелями лишь мои письма.

Вы запрещаете мне впредь появляться у вас, и, разумеется, я подчинюсь всему, что вам угодно будет на этот счет предписать, но разве столь внезапное и полное мое исчезновение не даст столько же пищи для пересудов, которых вы стремитесь избежать, как и приказ, который по этим именно соображениям вы не желаете давать своему привратнику? Я тем более могу настаивать на этом обстоятельстве, что для мадемуазель де Воланж оно гораздо существеннее, чем для меня лично. Поэтому я умоляю вас все внимательно учесть и не допускать, чтобы строгость ваша заглушила осторожность. Убежденный, что в решениях своих вы будете руководствоваться лишь интересами вашей дочери, я буду ждать от вас дальнейших приказаний.

Однако, если вы позволите мне изредка лично свидетельствовать вам свое почтение, я обязуюсь, сударыня (и вы можете полагаться на мое слово), не злоупотреблять этими случаями для того, чтобы заводить беседу наедине с мадемуазель де

Воланж или же передавать ей какие-либо письма. Я готов на эту жертву из страха хоть чем-либо повредить ее доброму имени, а счастье изредка видеться с нею будет служить мне наградой.

Этот пункт моего письма является единственным возможным для меня ответом на то, что вы мне говорите об участи, которую готовите мадемуазель де Воланж и которую вам угодно ставить в зависимость от моего поведения. Обещать вам большее — значило бы обманывать вас. Какой-нибудь низкий обольститель может подчинять свои намерения обстоятельствам и строить свои расчеты в зависимости от событий, но любовь, одушевляющая меня, внушает мне лишь два чувства: мужество и постоянство.

Как, примириться с тем, что я буду забыт мадемуазель де Воланж и сам ее позабуду? Нет, нет, никогда. Я останусь ей верен. Она получила от меня клятву в верности, и сейчас я подтверждаю ее. Простите, сударыня, я отклонился в сторону, вернемся к делу.

Мне остается обсудить с вами еще один вопрос: о письмах, которые вы просите меня вернуть. Я искренне огорчен тем, что к поступкам, в которых вы считаете меня виновным, вынужден присовокупить еще и отказ. Но, умоляю вас, выслушайте мои доводы и, для того чтобы принять их, соблаговолите вспомнить, что единственным утешением в несчастии утратить вашу дружбу для меня является надежда на сохранение вашего уважения.

Письма мадемуазель де Воланж, которые всегда были для меня столь драгоценными, стали в настоящую минуту еще драгоценнее. Они — единственное, что у меня осталось, они — единственное вещественное свидетельство чувства, в котором заключается вся радость моей жизни. Можете, однако, не сомневаться, что я ни на миг не поколебался бы принести вам эту жертву и что сожаление о том, что я их лишаюсь, уступило бы стремлению доказать вам, насколько я чту и уважаю вас, но меня удерживают от этого весьма веские доводы, и я уверен, что даже вы не сможете против них возразить.

Вы, действительно, раскрыли тайну мадемуазель де Воланж, но позвольте мне сказать, я имею все основания думать, что это произошло лишь по случайности, а не потому, чтобы она вам сама призналась. Я не позволю себе осудить ваш поступок, быть может вполне оправдываемый материнской заботливостью. Я уважаю ваши права, но они не простираются настолько далеко, чтобы освободить меня от моего долга. А самый священный долг состоит в том, чтобы никогда не обманывать

оказанного нам доверия. Я изменил бы ему, если бы выставил напоказ кому бы то ни было другому тайны сердца, пожелавшего открыться лишь одному мне. Если ваша дочь согласится доверить их вам, пусть она сама расскажет все. В таком случае письма вам не нужны. Если же, напротив, она пожелает оставить тайну своего сердца нераскрытой, вы, конечно, не можете ожидать, что именно я вам ее открою.

Что же касается вашего желания, чтобы все случившееся не предавалось огласке, то будьте, сударыня, совершенно спокойны: во всем, затрагивающем интересы мадемуазель де Воланж, моя заботливость может поспорить даже с материнским сердцем. Чтобы у вас не оставалось и тени беспокойства, я все предусмотрел. На драгоценном пакете раньше было надписано: «Эти бумаги сжечь»; теперь на нем стоит надпись: «Бумаги, принадлежащие мадемуазель де Воланж». Это мое решение должно послужить вам доказательством, что отказ мой вызван отнюдь не опасением, будто в этих письмах вы найдете хоть одно чувство, на которое вы лично могли бы пожаловаться.

Письмо мое, сударыня, оказалось весьма длинным, но ему следовало бы быть еще длиннее, если бы в данном своем виде оно оставило в вас хоть малейшее сомнение насчет благородства моих чувств, насчет искреннего моего сожаления о том, что я вызвал вашу немилость, и глубочайшего уважения, с коим имею честь и пр.

Из ***, 7 сентября 17...

ПИСЬМО 65

От кавалера Дансени к Сесили Воланж
(Послано незапечатанным маркизе де Мертей в письме виконта)

О моя Сесиль, что же с нами будет? Какое божество спасет нас от грозящих нам бед? Пусть же любовь даст нам, во всяком случае, мужество перенести их! Как изобразить вам мое изумление и отчаяние, когда я увидел мои письма и прочел записку госпожи де Воланж! Кто мог выдать нас? Кого подозревать? Уж не совершили ли вы какой-нибудь неосторожности? Что вы теперь делаете? Что было вам сказано? Я хотел бы все знать, а мне ничего не известно. Может быть, вы и сами знаете не больше моего.

Посылаю вам записку вашей матушки и копию моего ответа. Надеюсь, вы одобрите то, что я ей пишу. Мне просто необходимо, чтобы вы одобрили также и те шаги, которые я предпри-

нял после этого рокового события; цель их — получать от вас известия, давать вам знать о себе и — кто знает? — может быть, даже видеться с вами, и притом более свободно, чем прежде.

Чувствуете ли вы, моя Сесиль, какая радость снова оказаться вместе, иметь возможность снова клясться друг другу в вечной любви и видеть в глазах, ощущать в душах, что клятва эта никогда не будет нарушена? Какие муки не позабудутся в столь сладостный миг? Так вот, у меня есть надежда, что он наступит, и я буду обязан этим как раз тем шагам, которые я умоляю вас одобрить. Но что я говорю? Я обязан этим заботе самого нежного друга и утешителя, и единственная моя просьба к вам состоит в том, чтобы он стал и вашим другом.

Может быть, мне не следовало без вашего согласия вынуждать вас довериться ему? Но меня извиняют необходимость и наше бедственное положение. Ведет меня любовь, это она взывает к вашему снисхождению, это она просит вас простить необходимое признание, без которого мы, возможно, остались бы разлученными навеки [1]. Вы знаете друга, о котором я говорю. Он также друг женщины, которую вы любите больше всех,— это виконт де Вальмон.

Обращаясь к нему, я сперва хотел просить его убедить маркизу де Мертей, чтобы она передала вам мое письмо. Он высказал сомнение в том, чтобы это удалось. Но, не полагаясь на госпожу, он отвечает за горничную, которая ему чем-то обязана. Она вручит вам это письмо, а вы можете передать с ней ответ.

Эта помощь будет для вас бесполезной, если, как полагает господин де Вальмон, вы в ближайшее время отправитесь в деревню. Но тогда вам станет помогать он сам. Дама, к которой вы поедете, его родственница. Он воспользуется этим предлогом, чтобы отправиться туда же в одно время с вами, и через него будет проходить наша переписка. Он даже утверждает, что, если вы ему вполне доверитесь, он доставит нам возможность увидеться там таким образом, что при этом вы не будете ни в малейшей степени скомпрометированы.

А теперь, моя Сесиль, если вы любите меня, если вы жалеете меня в моем горе, если, как я надеюсь, вы разделяете мою скорбь, неужели откажете вы в доверии человеку, который станет нашим ангелом-хранителем? Не будь его, я был бы доведен до полного отчаяния невозможностью хотя бы смягчить страдания, которые я же вам причинил. Они кончатся — обещаю вам

---

[1] Дансени говорит неправду. Он уже и до этого события все рассказал господину де Вальмону. См. письмо 57.

это; но, нежный мой друг, обещайте мне не слишком предаваться им, не допустить, чтобы они вас сразили. Мысль, что вы страдаете, для меня невыносимо мучительна. Я отдал бы жизнь за то, чтобы сделать вас счастливой! Вы хорошо это знаете. Пусть же уверенность в том, что вас обожают, вольет в вашу душу хоть некоторое утешение! Моей же душе необходимо, чтобы вы заверили меня в том, что не будете корить мою любовь за муки, которые она вам причинила.

Прощайте, моя Сесиль, прощайте, мой нежный друг.

Из ***, 9 сентября 17...

ПИСЬМО 66

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Ознакомившись с двумя прилагаемыми письмами, вы увидите, прелестный друг мой, хорошо ли выполнил я ваш план. Хотя оба помечены сегодняшним днем, написаны они были вчера у меня и на моих глазах; в письме к девочке содержится все, что нам было нужно. Если судить по успеху ваших замыслов, то можно лишь преклоняться перед глубиной вашего прозрения. Дансени просто пылает, и я уверен, что при первом же благоприятном случае он поведет себя так, что вам уже не в чем будет его упрекать. Если его прелестная простушка окажется послушной, все будет закончено в скором времени по прибытии ее в деревню: у меня наготове множество способов. Благодаря вашим заботам я выступаю теперь в качестве «друга Дансени». Ему не хватает только быть «Принцем» [1].

Очень он еще зелен, этот Дансени! Поверите ли, я так и не мог добиться от него, чтобы он обещал матери отказаться от своей любви! Как будто так уж трудно обещать, когда заведомо решаешь не сдержать обещания! «Это значило бы обмануть»,— повторял он все время; что за назидательная щепетильность, особенно когда стремишься соблазнить дочь! Вот каковы люди! Равно бессовестные по своим намерениям, они называют честностью слабость, которую проявляют в их осуществлении.

Ваше дело не допустить, чтобы госпожу де Воланж встревожили неосторожные выпады, которые наш юноша позволил себе в своем письме. Избавьте нас от монастыря. Постарайтесь также, чтобы она перестала требовать возвращения писем малютки. Прежде всего, он их не отдаст, он их не хочет отдать, и я с ним

[1] Выражение из одной поэмы господина де Вольтера.

согласен: здесь и любовь и разум единодушны. Я прочел эти письма, преодолевая скуку. Они могут быть полезны. Сейчас объяснюсь.

Несмотря на всю осторожность, с которой мы будем действовать, все может внезапно обнаружиться. Замужество не состоится — не так ли? — и провалится весь наш замысел относительно Жеркура. Но так как я, со своей стороны, намерен отомстить матери, мне на этот случай остается обесчестить дочь. Если искусно подобрать эти письма и пустить в оборот только часть их, можно представить дело так, будто маленькая Воланж сделала все первые шаги и сама лезла на рожон. Некоторые письма могли бы скомпрометировать даже мать и, во всяком случае, *запятнать* ее, как виновную в вопиющем попустительстве. Я предвижу, что совестливый Дансени сперва возмутится. Но так как он оказался бы лично задетым, думаю, что его можно будет уломать. Тысяча вероятностей против одной, что дело не примет такого оборота. Однако следует все предусмотреть.

Прощайте, прелестный друг. С вашей стороны было бы очень мило приехать завтра ужинать к маршальше де ***. Я не смог отказаться.

Полагаю, что незачем просить вас не сообщать госпоже де Воланж мой план приехать в деревню. Она тотчас же решит остаться в городе. А раз уж прибыв в деревню, на следующий же день она оттуда не уедет. Если же она даст нам хотя бы неделю срока, я за все ручаюсь.

Из ***, 9 сентября 17...

ПИСЬМО 67

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Я не хотела больше отвечать вам, милостивый государь, и, быть может, смущение, которое я сейчас испытываю, само по себе является доказательством того, что мне и впрямь не следует этого делать. Однако я не хочу, чтобы у вас оставался хоть какой-нибудь повод на меня жаловаться. Я хочу убедить вас, что сделала для вас все, что могла.

Я разрешила вам писать мне, говорите вы? Согласна. Но, напоминая мне об этом позволении, уже не думаете ли вы, что я забыла, на каких условиях оно было вам дано? Если бы я так же твердо придерживалась этих условий, как вы их нарушаете, неужели вы получили бы от меня хоть один ответ? И, однако, сейчас я отвечаю вам уже в третий раз. И когда вы все делаете,

чтобы заставить меня прервать эту переписку, это я изыскиваю способ продолжать ее. Такой способ есть, но он единственный. И если вы откажетесь от него, это будет, что бы вы ни говорили, доказательством того, как мало вы ею дорожите.

Прекратите же говорить со мною языком, которого я не могу и не хочу слышать. Отрекитесь от чувства, которое оскорбляет и пугает меня и за которое вы должны были бы держаться не столь упорно, зная, что оно-то и является разделяющим нас препятствием. Неужели же это единственное чувство, на которое вы способны, и неужели любовь приобретет в моих глазах еще и тот недостаток, что она исключает дружбу? И неужели вы сами окажетесь виновным в том, что не захотите обрести друга в той, у кого вам желательно было бы вызвать более нежное чувство? Я не хочу так думать. Эта унизительная для вас мысль возмутила бы меня и безвозвратно отдалила бы от вас.

Я предлагаю вам свою дружбу, сударь. И это — все, что мне принадлежит, все, чем я имею право располагать. Чего же вам желать больше? Чтобы отдаться этому чувству, столь сладостному и столь соответствующему моему сердцу, я жду лишь вашего согласия и вашего слова — этого я требую! — что дружбы будет достаточно для вашего счастья. Я позабуду все, что мне могли о вас говорить, и буду рассчитывать на то, что вы сами постараетесь оправдать мой выбор.

Видите, насколько я с вами откровенна. Пусть это послужит доказательством моего к вам доверия. Только от вас будет зависеть увеличить его. Но предупреждаю вас, что первое же слово любви навеки разрушит его и вернет мне все мои опасения и что прежде всего оно послужит мне сигналом, чтобы не произносить с вами ни одного слова.

Если вы, как утверждаете, *отказались от своих заблуждений,* неужели не предпочтете вы быть предметом дружеских чувств честной женщины, чем стать причиной угрызений совести грешницы? Прощайте, сударь. Вы, конечно, поймете, что после этих моих слов я не могу сказать ничего, пока не получу ответа.

Из ***, 9 сентября 17...

ПИСЬМО 68

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Как ответить, сударыня, на ваше последнее письмо? Как осмелиться быть правдивым, если искренность может погубить меня в вашем мнении? Что поделаешь, так нужно. Мужества у

меня хватит. Я говорю, я беспрестанно повторяю себе, что лучше заслужить вас, чем просто обладать вами. И даже если вы всегда будете отказывать мне в счастье, к которому я неизменно буду стремиться, надо вам доказать хотя бы, что сердце мое его достойно.

Как жаль, что, как вы выразились, я отказался от своих заблуждений! С каким восторженным упоением читал бы я это ваше письмо, на которое с трепетом отвечаю. В нем вы говорите со мной *искренне*, вы проявляете ко мне *доверие*, вы, словом, предлагаете мне свою *дружбу*. Сколько благ, сударыня, и как жаль, что я не могу ими воспользоваться! Почему я не тот, каким был!

Если бы я им был, если бы у меня было к вам обычное легкое влечение, порождаемое обольщением и жаждой удовольствий, но именуемое в наши дни любовью, я поспешил бы извлечь выгоду из всего, чего сумел бы добиться. Не слишком разбираясь в средствах, лишь бы они обеспечивали успех, я поощрял бы вас откровенничать со мной, чтобы разгадать, я добивался бы полного вашего доверия, чтобы его обмануть, я принял бы вашу дружбу в надежде ввести вас в заблуждение... Как, сударыня, эта картина пугает вас? Знайте же, что она была бы списана с меня, если бы я сказал, что соглашаюсь быть только вашим другом...

Кто? Я? Я согласился бы разделить с кем-либо чувство, возникшее в вашей душе? Если я и скажу вам это, тотчас же перестаньте мне доверять. С этого мгновения я пытался бы вас обмануть. Я мог бы еще желать вас, но уж, наверно, не любил бы.

Не то чтобы милая искренность, сладостное доверие, трогательная дружба не имели в моих глазах цены... Но любовь! Любовь истинная, та любовь, которую внушаете вы, сочетая в себе все эти чувства, придавая им еще бóльшую силу, не могла бы, подобно им, обрести спокойствие и душевный холод, позволяющий сравнивать и даже оказывать те или иные предпочтения. Нет, сударыня, не стану я вашим другом! Я буду любить вас любовью самой нежной, самой пламенной, хотя и полной глубочайшего почтения. Вы можете ввергнуть ее в отчаяние, но не уничтожить.

По какому праву притязаете вы на то, чтобы распоряжаться сердцем, чье поклонение отвергаете? Какая утонченнейшая жестокость заставляет вас завидовать даже счастью любить вас? Оно принадлежит мне, и вы над ним не властны. Я сумею его

защитить. И если оно — источник моих страданий, то в нем же найду я и исцеление.

Нет, еще раз нет! Упорствуйте в своих жестоких отказах, но оставьте мне мою любовь. Вам доставляет радость делать меня несчастным. Пусть так. Попробуйте поколебать мое мужество, я сумею принудить вас хотя бы к тому, чтобы вы решили мою участь. И, может быть, наступит день, когда вы станете ко мне более справедливы. Не то чтобы я надеялся пробудить в вас чувствительность. Но даже не покорившись убеждению, вы проникнетесь им, вы скажете: «Я о нем неверно судила».

Скажем точнее,— вы несправедливы к себе самой. Узнать вас и не полюбить, полюбить и не быть постоянным, и то и другое — равно невозможно. И несмотря на украшающую вас скромность, вам, должно быть, легче жаловаться, чем удивляться чувствам, вами порожденным. Что до меня, чья единственная заслуга состоит в том, что я оценил вас, я не хочу утратить этой заслуги. И, отказываясь принять лукавые ваши дары, я возобновляю у ног ваших клятву любить вас вечно.

Из *, 10 сентября 17...**

ПИСЬМО 69

От Сесили Воланж к кавалеру Дансени
(Записка карандашом, переписанная Дансени)

Вы спрашиваете, что я делаю: я люблю вас и плачу. Моя мать со мной не разговаривает. Она отняла у меня бумагу, перья и чернила. Я пользуюсь карандашом, который, на счастье, у меня сохранился, и пишу на обрывке вашего письма. Мне только и остается, что одобрить все, предпринятое вами. Я слишком люблю вас, чтобы не ухватиться за любой способ получать известия о вас и сообщать вам что-нибудь о себе. Мне не нравился господин де Вальмон, и я не думала, что он такой уж вам друг. Постараюсь привыкнуть к нему и полюбить его ради вас. Я представления не имею, кто нас выдал. Это могут быть только моя горничная или священник, которому я исповедовалась. Я очень несчастна. Завтра мы уезжаем в деревню, на сколько времени — не знаю. Боже мой! Не видеть вас! Мне больше не на чем писать. Прощайте. Постарайтесь разобрать, что я написала. Эти слова, написанные карандашом, может быть, сотрутся, но чувства, запечатленные в моем сердце,— никогда.

Из *, 10 сентября 17...**

ПИСЬМО 70

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Дорогой мой друг, я должен дать вам один очень важный совет. Как вы знаете, я вчера ужинал у маршальши де ***. Зашел разговор о вас, и я сказал не все то хорошее, что думаю, а все то, чего отнюдь не думаю. Все, по-видимому, были со мной согласны, и беседа продолжалась уже довольно вяло, как бывает всегда, когда о ближнем говорят только хорошее, но вдруг нашелся один возражающий. Это был Преван.

«Боже меня сохрани,— произнес он, вставая,— чтобы я усомнился в добродетели госпожи де Мертей! Но, смею думать, она обязана ею скорее своему легкомыслию, чем правилам. Может быть, ухаживать за ней труднее, чем ей понравиться. И так как, волочась за одной женщиной, по пути встречаешь множество других, и так как в конце концов эти другие могут оказаться не хуже, а быть может, и лучше ее, то одни поклонники отвлекаются какой-либо иной прихотью, а другие просто устают добиваться ее, и возможно, что из всех женщин Парижа ей меньше всего приходилось защищаться. Что касается меня,— добавил он, ободряемый улыбками кое-кого из дам,— я уверую в добродетель госпожи де Мертей лишь после того, как загоню, ухаживая за нею, шестерку лошадей».

Эта пошлая шутка имела успех, выпадающий обычно на долю всего, что отдает клеветой. Все рассмеялись, Преван сел на свое место, и беседа приняла другое направление. Но обе графини де П***, подле которых сидел наш маловер, завели с ним на эту тему приватный разговор, который я, к счастью, имел возможность слышать.

Вызов пробудить в вас чувство был принят. Слово «ничего не скрывать» было дано, и из всех обещаний, которые будут даны по этому поводу, его-то, наверно, особенно свято сдержат. Но вы предупреждены, а пословицу вы знаете. Должен лишь добавить, что этот Преван, с которым вы незнакомы, необыкновенно любезен, а еще более ловок. Если иногда вы и слышали от меня обратное, то лишь потому, что я его недолюбливаю и мне приятно препятствовать его успехам, а кроме того, потому, что я хорошо знаю, какой вес имеет мое мнение для нескольких десятков самых модных наших дам.

Мне, действительно, удавалось таким образом довольно долгое время мешать ему появляться на так называемой большой сцене. И он совершал чудеса, а знать об этом никто не знал. Но шум, поднятый по поводу его тройного приключения, обратил на

него всеобщее внимание, породил в нем самоуверенность, которой ему не хватало, и сделал его по-настоящему опасным. Словом, сейчас это, может быть, единственный человек, которого я побоялся бы встретить на своем пути. И, не говоря уже о вашей личной заинтересованности, вы окажете мне большую услугу, если попутно выставите его в смешном виде. Оставляю его в хороших руках и надеюсь, что к моему возвращению он будет конченым человеком.

Взамен обещаю вам довести до вожделенного конца приключение вашей подопечной и заняться ею так же прилежно, как и моей прекрасной недотрогой.

Последняя только что прислала мне план своей капитуляции. Во всем ее письме сквозит желание быть обманутой. Невозможно предложить более удобный и вместе с тем избитый способ: она хочет, чтобы я был ее *другом*. Но я, поклонник новых и более трудных приемов, не согласен, чтобы она так дешево отделалась, и уж, наверно, я не для того так с нею вожусь, чтобы все завершилось обычным обольщением.

Согласно моему плану, она должна почувствовать, хорошо почувствовать и цену и размер каждой жертвы, которую мне принесет. Я не намерен привести ее к цели настолько быстро, чтобы раскаяние за нею не угналось. Я хочу, чтобы добродетель ее умирала медленной смертью, а сама она не спускала глаз с этого жалостного зрелища, и чтобы счастье держать меня в своих объятиях она испытала лишь после того, как уже будет вынуждена не скрывать своего желания. И, правда, не многого я стоил бы, если бы не стоил того, чтобы меня упрашивали. И такая ли это жестокая месть высокомерной женщине, краснеющей от признания, что она кого-то боготворит?

Посему я отверг драгоценную дружбу и упорно держусь за звание возлюбленного. Так как я не скрываю, что речь тут идет не о словесном различии и приобретение звания существенно важно, я проявил в своем письме много стараний и позаботился, чтобы в нем наличествовала та беспорядочность, которая одна лишь умеет выразить чувство. Наконец, я нагородил в нем столько вздора, сколько мог, ибо без вздора не бывает нежности. Я полагаю, что по этой именно причине женщины так превосходят нас в искусстве писания любовных писем.

Свое письмо я закончил лестью, и тоже вследствие сделанных мною глубоких наблюдений. После того как женское сердце некоторое время было возбуждено чувством, ему необходим отдых, а я заметил, что для всякой женщины самая мягкая подушка — лесть.

Прощайте, прелестный мой друг. Завтра я уезжаю. Если вам угодно передать через меня что-нибудь графине де ***, я у нее остановлюсь хотя бы для того, чтобы пообедать. Я огорчен, что уезжаю, не повидав вас. Посылайте мне ваши возвышенные наставления и помогите своими мудрыми советами в сей решающий момент.

В особенности же защищайтесь от Превана, и дай мне бог когда-нибудь отблагодарить вас за эту жертву! Прощайте.

Из ***, 11 сентября 17...

ПИСЬМО 71

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Этот разиня егерь, разумеется, забыл в Париже мой портфель! Письма моей прелестницы, письмо Дансени малютке Воланж — все осталось там, все, что мне сейчас так нужно! Он возвращается, чтобы исправить свою глупость, а пока он седлает лошадь, я расскажу вам свое сегодняшнее ночное приключение, ибо прошу вас не сомневаться в том, что я не теряю времени даром.

Само по себе оно — пустяковое: подогретое вчерашнее блюдо виконтессы де М***; но кое-какие подробности в нем занимательны. К тому же я рад случаю показать вам, что если у меня и есть дар губить женщин, то обладаю я и не меньшим даром спасать их, если мне заблагорассудится. Я всегда выбираю либо самый трудный, либо самый веселый путь, и я отнюдь не раскаиваюсь в хорошем поступке, если он для меня — полезное упражнение или забава.

Итак, я застал здесь виконтессу, а когда все находившиеся в замке начали приставать ко мне, чтобы я остался ночевать, и она присоединилась к этим настояниям, я ей сказал: «Что ж, я согласен, но при условии, что проведу ночь с вами».— «Для меня это невозможно,— ответила она,— здесь Врессак». До этого момента я считал, что просто говорю ей любезность, но слово «невозможно», как всегда, вывело меня из себя. Мне показалось унизительным быть принесенным в жертву Врессаку, и я решил, что не потерплю этого. Поэтому я принялся настаивать. Обстоятельства складывались неблагоприятно для меня. Этот Врессак оказался так неловок, что вызвал ревность виконта, так что виконтесса не могла принимать его у себя, и оба они сговорились насчет этой совместной поездки к доброй графине, чтобы попытаться урвать несколько ночей. Виконт сперва даже проявил некоторое раздражение, встретив Врессака, но, будучи еще более

страстным охотником, чем ревнивцем, он тем не менее остался. Графиня же, верная своему обычаю, устроила жену в комнате, выходящей в главный коридор, а мужа и любовника поместила в комнатах, смежных с этой, и предоставила им устраиваться между собой, как они знают. Злой рок судил и тому и другому, чтобы я оказался помещенным как раз напротив.

В тот же самый день, то есть вчера, Врессак, который, как вы сами понимаете, старается всячески угождать виконту, отправился с ним на охоту, хотя не имеет к ней ни малейшей склонности, рассчитывая ночью в объятиях жены вознаградить себя за скуку, которую весь день должен был испытывать в обществе мужа. Но я рассудил, что он нуждается в отдыхе, и позаботился о том, чтобы убедить его любовницу дать ему время отдохнуть.

Мне это удалось, и я добился, что она затеяла с ним ссору как раз из-за этой охоты, на которую он несомненно согласился лишь ради нее. Нельзя было и придумать более неудачного предлога, но ни одна женщина не обладает в большей степени, чем виконтесса, общим для всех женщин талантом заменять логику раздражением и возвращаться к благодушию с тем бо́льшим трудом, чем более она не права. Впрочем, момент для объяснений был крайне неблагоприятный, а я добивался лишь одной ночи и потому не возражал против того, чтобы они на следующий день помирились.

Итак, по возвращении Врессака с охоты на него стали дуться. Он пожелал узнать причину, и тут его осы́пали упреками. Он попытался оправдаться, но присутствие мужа послужило поводом к тому, чтобы прервать разговор. Под конец он попытался воспользоваться моментом, когда муж удалился, и попросить, чтобы вечером его выслушали. Тут-то виконтесса и достигла подлинных высот. Она принялась возмущаться дерзостью мужчин, которые, воспользовавшись разок милостями женщины, воображают, будто им дано право злоупотреблять этим даже тогда, когда женщина ими недовольна. Весьма ловко переведя таким образом весь разговор на другую тему, она так хорошо стала распространяться насчет чуткости и чувствительности, что Врессак не нашелся что ответить, смутился, и даже я сам готов был признать ее правоту, ибо — знайте это — как приятель их обоих я присутствовал при разговоре в качестве третьего лица.

Наконец, она решительно заявила, что не может допустить, чтобы он, утомленный охотой, утомлялся еще от любовных утех, и не простит себе, если окажется помехой столь приятному

развлечению. В это время возвратился муж. Разгоряченный Врессак, потерявший всякую возможность отвечать, обратился ко мне и долго излагал свои доводы, которые я знал не хуже его самого, а в заключение попросил меня поговорить с виконтессой, что я ему и обещал. Я, действительно, поговорил, но лишь для того, чтобы поблагодарить ее и условиться о часе нашего свидания и о способах осуществить его.

Она сказала мне, что так как ее комната расположена между комнатами ее мужа и любовника, она сочла более осторожным пойти самой к Врессаку, чем принять его у себя. Поскольку я помещаюсь как раз напротив нее, она полагает, что и в данном случае более безопасно свидеться у меня и что она явится, как только горничная уйдет из ее комнаты,— мне же надо только приоткрыть свою дверь и ждать.

Все произошло так, как мы условились, и она пришла ко мне около часу ночи —

..... в простой наряд облачена
Красавицы, едва разбуженной от сна[1].

Не будучи тщеславным, я не задерживаюсь на подробностях этой ночи. Но вы меня знаете, а я остался доволен собой.

На рассвете надо было расстаться. Здесь-то и начинается самое занятное. Этой ветренице казалось, будто она оставила свою дверь полуоткрытой, но мы нашли ее запертой, и ключ был изнутри. Вы не представляете себе отчаяния, с которым виконтесса сказала мне: «Я погибла!» Нельзя отрицать, что было бы забавно оставить ее в таком положении. Но мог ли я потерпеть, чтобы женщина погибла из-за меня, не будучи погублена мною? И мог ли я, подобно обыкновенным людям, покориться обстоятельствам? Значит, надо было что-то придумать. Что бы вы сделали, прелестный друг мой? А вот как поступил я — и с полным успехом.

Я вскоре убедился, что означенную дверь можно выставить, но лишь наделав при этом много шума. Поэтому я — правда не без труда — уговорил виконтессу поднять пронзительный крик, словно она в ужасе, словно на нее напали «грабители», «убийцы» и т. д. и т. п. Мы условились, что при первом же ее крике я взломаю дверь, и она тотчас же бросится на свою кровать. Вы и вообразить себе не можете, сколько времени понадобилось на то, чтобы окончательно убедить ее даже после того, как она уже согласилась. Пришлось, однако, пойти на это, и при первом же ударе дверь подалась.

[1] Расин, трагедия «Британик».

Виконтесса хорошо сделала, что не стала терять времени, ибо в то же мгновение виконт и Врессак очутились в коридоре, да и горничная тоже устремилась в комнату госпожи.

Я один сохранил хладнокровие и сообразил, что надо потушить ночник и сбросить его на пол: ведь вы понимаете, как нелепо было бы изображать панический ужас, когда в комнате горит свет. Затем я принялся бранить мужа и любовника за их летаргический сон, уверяя, что крики, на которые я поспешил, и усилия, которых мне стоило взломать дверь, продолжались никак не менее пяти минут.

Виконтесса, обретшая в постели все свое мужество, довольно хорошо подпевала мне и клялась всеми святыми, что у нее в комнате был вор. Более правдивы были ее уверения, что никогда в жизни не испытывала она такого страха. Мы принялись повсюду искать, ничего не находя, но тут я обратил общее внимание на опрокинутый ночник и высказал предположение, что, без сомнения, виновником всего переполоха и страха была крыса. Мое мнение было поддержано всеми, и после нескольких обычных шуток по поводу крыс виконт первый вернулся к себе в комнату и улегся, попросив жену иметь в будущем дело с более спокойными крысами.

Врессак, оставшись с нами наедине, подошел к виконтессе и с нежностью сказал ей, что это — мщение любви, на что она, глядя на меня, ответила: «Ну, так любовь была, видимо, очень разгневана, ибо она отомстила жестоко. Однако,— добавила она,— я изнемогаю от усталости и хочу спать».

Я находился в самом благодушном расположении духа, и потому, перед тем как мы разошлись по своим комнатам, вступился за Врессака и добился примирения между любовниками. Они поцеловались, а затем оба облобызали меня. Поцелуи виконтессы были мне уже безразличны, но должен признаться, что поцелуй Врессака доставил мне удовольствие. Мы вместе вышли из ее комнаты; он еще долго рассыпался в благодарностях, а затем мы направились каждый в свою постель.

Если вы найдете эту историю забавной, можете не держать ее в секрете. После того как потешился я, надо же, чтобы и другие свое получили. Сейчас я имею в виду приключение, но, может быть, вскоре то же самое мы скажем и о его героине?

Прощайте, мой егерь уже целый час ожидает. Еще мгновение, чтобы послать вам поцелуй и совет прежде всего остерегаться Превана.

Из замка *, 15 сентября 17...**

ПИСЬМО 72

От кавалера Дансени к Сесили Воланж
(Передано только 14-го)

О моя Сесиль! Как я завидую Вальмону! Завтра он вас увидит. Он и передаст вам это письмо. Я же, томясь в разлуке с вами, буду по-прежнему влачить это мучительное существование в горе и сожалениях. Подруга моя нежная, подруга моя, пожалейте меня за мои страдания и особенно за те, что я причинил вам. Ибо из-за них-то я теряю мужество.

Какой ужас для меня быть виновником вашего несчастья! Не будь меня, вы жили бы безмятежно и счастливо. Прощаете ли вы мне? Скажите, ах, скажите, что прощаете. Скажите мне также, что любите меня, что любите меня по-прежнему. Мне нужно, чтобы вы это повторяли снова и снова. Не то чтобы я сомневался, но мне кажется, что чем ты уверенней, тем сладостнее слышать, когда тебе это повторяют. Вы любите меня, ведь правда? Да, вы любите меня всей душой. Я не забыл, что это были последние слова, которые я от вас слышал. Как глубоко запали они в мое сердце, как глубоко они запечатлелись в нем! И с каким восторженным трепетом отозвалось оно на них!

Увы! В этот миг счастья я был бесконечно далек от того, чтобы предвидеть ожидавшую нас жестокую участь. Поищем же, моя Сесиль, какими бы средствами нам ее облегчить. Если верить моему другу, для этого достаточно, чтобы вы возымели к нему заслуженное им доверие. Признаться, я был огорчен тем, что у вас как будто создалось о нем неблагоприятное мнение. Узнаю в данном случае предубеждение вашей матушки. Лишь подчиняясь ей, я в течение некоторого времени избегал этого любезнейшего человека, который в настоящий момент делает для меня все и в конце концов старается соединить нас теперь, когда мы разлучены вашей матушкой. Заклинаю вас, милая подруга моя, взирайте на него более благосклонно. Подумайте, что он мой друг, что он хочет быть и вашим, что он, возможно, вернет мне счастье увидеть вас вновь. Если доводы эти не убедят вас, моя Сесиль, значит, вы любите меня не так, как я вас, значит, вы любите меня не так, как любили прежде! Ах, если когда-нибудь вы станете меньше любить меня... Но нет, сердце моей Сесили принадлежит мне, оно мое на всю жизнь, а если мне суждены муки любви несчастной, то постоянство его, во всяком случае, избавит меня от пыток любви неверной.

Прощайте, прелестная моя подруга. Не забывайте, что я страдаю и что лишь от вас зависит сделать меня счастливым, совершенно счастливым. Внемлите призывам моего сердца и примите самые нежные поцелуи любви.

Париж, 11 сентября 17...

ПИСЬМО 73

От виконта де Вальмона к Сесили Воланж (Приложено к предыдущему)

Друг, готовый служить вам, узнал, что у вас нет никаких письменных принадлежностей, и уже обо всем позаботился. В прихожей перед своей комнатой, под большим шкафом, слева, вы найдете пачку бумаги, перья и чернила. Он возобновит запас их по первому же вашему требованию и полагает, что вы можете хранить их в этом же месте, если не найдете другого, еще более надежного.

Он просит вас не обижаться, если будет делать вид, что не обращает на вас внимания в обществе и считает просто ребенком. Такое поведение представляется ему необходимым для того, чтобы не вызвать никаких подозрений и получить возможность наилучшим образом действовать ради счастья своего друга и вашего счастья. Когда у него будет что сообщить или передать вам, он постарается устроить так, чтобы представилась возможность поговорить с вами, и надеется на успех, если вы со своей стороны будете ревностно содействовать ему в этом.

Он советует вам также возвращать ему одно за другим письма, которые вы будете получать, дабы уменьшить риск подвести себя.

Он, наконец, уверяет вас, что, если вы окажете ему доверие, он приложит все усилия к тому, чтобы смягчить преследования слишком жестокой матери, от которых страдают двое· его друг и еще одно существо, заслуживающее, по его мнению, самого ласкового внимания.

В замке ***, 14 сентября 17..

ПИСЬМО 74

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Э, друг мой, с каких это пор вы стали так пугливы? Значит, Преван этот так уж страшен? Но поглядите-ка, до чего я скромна и простовата! Я его часто встречала, этого несравнен-

ного победителя, и едва удостаивала окинуть его взглядом! Чтобы заставить меня обратить на него внимание, потребовалось ваше письмо — ни больше, ни меньше. Вчера я исправила допущенную мною несправедливость. Он сидел в Опере почти напротив меня, и я им занялась. Он, во всяком случае, красив, и даже очень красив: тонкие, изящные черты лица! Вблизи он, должно быть, выглядит еще лучше. И вы говорите, что он хочет мною обладать? Несомненно, это будет для меня и честью и радостью. Кроме шуток, мною завладела эта прихоть, и — сообщаю вам доверительно — я уже сделала первые шаги. Не знаю, окажутся ли они успешными. Но вот что произошло.

Когда мы выходили из Оперы, он оказался в двух шагах от меня, и я очень громким голосом условилась с маркизой *** встретиться с ней в пятницу за ужином у маршальши. Кажется, это единственный дом, где мы с ним можем друг друга повстречать. Я не сомневаюсь, что он меня слышал... Неужели неблагодарный не явится? Скажите мне, как вы думаете, он придет? Знаете, если его не окажется, я целый вечер буду в дурном настроении! Как видите, ему не так уж трудно будет за мной *ухаживать*. А еще больше удивит вас, что не так уж трудно будет ему и *понравиться* мне. Он говорит, что готов загнать шестерку лошадей, ухаживая за мной? О, я спасу этим лошадям жизнь! Да у меня и терпения не хватит так долго ждать. Вы знаете, что не в моих правилах тянуть, раз уж я на что-то решилась, а в данном случае решение у меня принято.

Ну, что же, согласитесь, что говорить мне дело — вещь приятная. Разве ваш «важный совет» не возымел огромного успеха? Да и как могло быть иначе? Я уж так давно прозябаю! Вот уже больше полутора месяцев, как я не позволяю себе повеселиться. И вдруг подвертывается случай — могу ли я отказать себе? И разве предмет того не стоит? И есть ли другой, более приятный, какой бы смысл вы ни придавали этому слову?

Даже вы сами принуждены отдать ему должное: вы не просто хвалите его, вы ему завидуете. Ну, так вот, я буду судьей между вами, и этим-то я и намереваюсь заняться. Я буду судьей справедливым и взвешу обоих на одних весах. Что до вас лично, то материал на вас уже собран, и следствие может считаться законченным. Не будет ли справедливо заняться сейчас вашим противником? Ну же, подчинитесь добровольно и для начала сообщите мне, пожалуйста, героем какого такого тройного приключения он является? Вы говорите о нем так, будто я ничем другим не занималась, а я ровно ничего об этом не знаю. По всей видимости, оно произошло во время моей

поездки в Женеву, а зависть ваша помешала вам сообщить мне о нем. Как можно скорее исправьте свою вину. Не упускайте из виду, что *ничто, касающееся его, мне не безразлично.* Насколько я помню, по моем возвращении об этом еще толковали, но я была занята другим и вообще редко прислушиваюсь к таким историям, если они старше сегодняшнего или вчерашнего дня.

Даже если то, о чем я вас прошу, вам и не очень приятно, разве это не самое ничтожное вознаграждение за все мои заботы о вас? Не они ли приблизили вас к вашей президентше, когда допущенные вами глупости вас от нее отдалили? И не я ли дала вам средство отомстить за неблаговидное рвение госпоже де Воланж? Как часто вы жаловались на то, сколько времени приходится вам терять на поиски приключений! Теперь они у вас под рукой. Любовь, ненависть — выбирайте, что угодно: все спит под одной крышей. И вы можете жить в двойном обличье — одной рукой ласкать, а другой наносить раны. Даже приключением с виконтессой вы обязаны мне. Оно мне по вкусу, но, как вы сами сказали, надо, чтобы о нем заговорили. Ибо, если в данном случае — с этим я согласна — вы пока должны были предпочесть тайну огласке, надо признать, что эта женщина не заслуживала столь великодушного отношения.

К тому же я лично тоже ею недовольна. Кавалер де Бельрош находит ее более привлекательной, чем я бы того хотела, и по многим причинам мне желательно было бы иметь предлог, чтобы прекратить с ней отношения. А есть ли предлог более благовидный, чем возможность заявить: «С этой женщиной невозможно больше встречаться».

Прощайте, виконт. Имейте в виду, что в вашем положении времени даром терять нельзя. Я же свое время употреблю на заботы о счастье Превана.

Париж, 15 сентября 17...

ПИСЬМО 75

От Сесили Воланж к Софи Карне

Примечание. В этом письме Сесиль Воланж сообщает подробнейшим образом все, что связано с нею в событиях, известных читателю из письма 61 и последующих. Мы полагали, что повторяться нет смысла. Приведем лишь то, что она говорит о виконте де Вальмоне.

...Уверяю тебя, что это человек совершенно исключительный. Мама говорит о нем много дурного, но кавалер Дансени — много хорошего, и мне кажется, что прав он. Никогда не видела

я такого ловкого человека. Он передал мне письмо Дансени при всех, и никто ничего не заметил. Правда, я очень испугалась, так как ни о чем не была предупреждена, но теперь я буду настороже. Я уже отлично поняла, каким образом он хочет, чтобы я передала ему ответ. С ним очень легко столковаться, по одному взгляду его понимаешь, что́ он хочет сказать. Не знаю, как это у него получается. В записке, о которой я тебе уже говорила, он писал, что при маме будет делать вид, будто совсем меня не замечает. И действительно, всегда кажется, что он меньше всего думает обо мне. А между тем всякий раз, что я стараюсь поймать его взгляд, я могу быть вполне уверена, что тотчас же встречусь с ним глазами. Здесь живет одна мамина приятельница, которой я прежде не знала; она, видимо, тоже не любит господина де Вальмона, хотя он к ней очень внимателен. Боюсь, как бы ему не наскучила жизнь, которую тут ведут, и он не вернулся в Париж; это было бы до крайности огорчительно. Доброе же у него должно быть сердце, если он приехал сюда исключительно для того, чтобы оказать услугу своему приятелю и мне! Я хотела бы как-нибудь выразить ему свою благодарность, но просто не знаю, как с ним заговорить, а если бы даже мне и представилась такая возможность, я бы до того смутилась, что, наверное, не сумела бы слова вымолвить.

Только с госпожой де Мертей мне легко говорить о моей любви. Может быть, даже с тобой — хотя я тебе все говорю — в живой беседе меня бы это смущало. И с самим Дансени я часто, словно помимо своей воли, ощущала какую-то робость. Я себя за это жестоко корю и все на свете отдала бы за то, чтобы найти минутку, когда я могла бы хоть один раз, один-единственный раз сказать ему, как я его люблю. Господин де Вальмон обещал устроить нам возможность свидеться, если я соглашусь во всем следовать его указаниям. Я готова сделать все, чего он потребует, но не могу понять, как это можно было бы осуществить.

Прощай, милый друг, мне больше не на чем писать [1].

Из замка ***, 14 сентября 17...

---

[1] Так как мадемуазель де Воланж вскоре после этого нашла себе другую наперсницу, как читателю станет известно из дальнейшей переписки, в этом сборнике он не найдет уже ни одного из тех писем, которые она продолжала писать своей монастырской подруге: эти письма не сообщили бы ему ничего нового.

ПИСЬМО 76

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Либо письмо ваше насмешка, которой я не понял, либо вы писали его, находясь в состоянии пагубного безумия. Если бы я знал вас не так хорошо, прелестный мой друг, то и впрямь очень испугался бы, хотя, что бы вы там ни говорили, я не из пугливых.

Читаю ваше письмо, перечитываю, но это не продвигает меня ни на шаг, ибо понять его в буквальном смысле просто невозможно. Что же вы все-таки хотели сказать?

Только ли, что не стоит тратить таких усилий против столь неопасного врага? Но в данном случае вы, может быть, ошибаетесь. Преван действительно обаятелен — более, чем вы думаете. Он прежде всего обладает весьма выгодным для себя даром привлекать к своей любви внимание ее предмета, так как очень ловко умеет воспользоваться любой беседой — и в узком кругу, и в большом обществе,— чтобы о ней заговорить. Мало таких женщин, которые не попали бы в эту западню и удержались от ответа, ибо все притязают на тонкость ума, и ни одна не захочет упустить случая проявить ее. А вы достаточно хорошо знаете, что женщина, согласившаяся говорить о любви, вскоре кончает тем, что заражается любовью или, по крайней мере, ведет себя так, как если бы была увлечена. Этим способом, который доведен им до подлинного совершенства, он достигает и того, что ему часто удается заставить самих женщин свидетельствовать об их собственном поражении. Говорю так, ибо сам это наблюдал.

Я был осведомлен о его секрете лишь из вторых рук, так как никогда не был близок с Преваном. Но вот однажды мы сидели вшестером, и графиня де П ***, считая, что говорит очень тонко, и действительно производя на непосвященных такое впечатление, будто она ведет общий разговор, рассказала нам со всеми подробностями, как она отдалась Превану и все, что между ними произошло. Она говорила с такой уверенностью, что ее не смутила даже улыбка, появившаяся на губах у всех нас одновременно. И я никогда не забуду, как один из нас в виде оправдания прикинулся, будто то, что она говорит, или, вернее, то, что она якобы говорит, вызвало у нас сомнение, а она самым серьезным образом возразила, что уж, наверно, никто из нас не осведомлен лучше ее, и даже не постеснялась обратиться к Превану и спросить его, ошиблась ли она хоть в чем-либо.

Поэтому я мог считать этого человека опасным для всех. Но разве вам, маркиза, недостаточно того, чтобы он был *красив, очень красив,* как вы сами говорите, или, чтобы он *повел одну из тех атак, которые вам угодно вознаграждать лишь по той единственной причине, что уж очень они были искусны,* или чтобы вы нашли забавным отдаться по какому-либо иному случайному поводу, или... да откуда мне знать? Могу ли я угадать тысячи всевозможных причуд, которые царят в голове у женщин и лишь благодаря которым вы все же являетесь представительницей своего пола? Теперь, когда вы предупреждены об опасности, я не сомневаюсь в том, что вы легко убережетесь, но ведь надо же было вас предостеречь. Однако возвращаюсь к своей главной теме: что, собственно, хотели вы сказать?

Если это насмешка над Преваном, то она не только слишком громоздка, но и высмеивать его передо мной не стоит: надо, чтобы он оказался смешным в глазах света, и я вновь обращаюсь к вам с просьбой об этом позаботиться.

Ах, я, кажется, нашел разгадку! Ваше письмо — предсказание не того, как вы поступите на самом деле, а того, на что он будет считать вас готовой в минуту, когда именно его постигнет крах, который вы ему подготовляете. Я, пожалуй, одобрил бы этот план. Он, однако, требует величайшей осмотрительности. Вы не хуже меня знаете, что для общественного мнения иметь любовника или только принимать чьи-то ухаживания — это совершенно одно и то же, если, конечно, мужчина не дурак, а уж Превáн-то далеко не таков! Если он добьется хотя бы видимости, то начнет хвастать, а этого будет достаточно. Глупцы поверят, недоброжелатели сделают вид, что поверили. А вы что станете делать? Знаете, я боюсь. Не то чтобы я усомнился в вашей ловкости. Но ведь именно хорошие пловцы и тонут.

Я не считаю себя глупее других. Я находил сотни, тысячи способов обесчестить женщину, но когда задумался над тем, как бы она могла избежать беды, то не мог усмотреть никакой возможности. Даже относительно вас, моя прелестница, ведущей себя с таким безупречным искусством, я очень часто считал, что вы не столько умело играли, сколько вам везло.

Но в конце концов я, быть может, ищу какого-то особого смысла там, где его вовсе и нет. Даже забавно, как это я уже битый час всерьез обсуждаю то, что, наверно, только шутка с вашей стороны. Вы станете надо мной смеяться! Что ж, пусть так. Но торопитесь, и поговорим о другом. О другом! Нет, я оши-

баюсь. Всегда об одном и том же: как овладеть женщиной или как ее погубить, а нередко и о том и о другом вместе.

Здесь, как вы вполне правильно заметили, у меня есть возможность проявить себя на обоих поприщах, однако же не с равной легкостью. Предвижу, что с мщением дело пойдет скорее, чем с любовью. Маленькая Воланж сдалась, я за это ручаюсь. Понадобится теперь только подходящий случай, и я берусь ей его предоставить. Но с госпожой де Турвель обстоит иначе. Эта женщина может привести в отчаяние, ее просто не поймешь. У меня сотни доказательств ее любви и вместе с тем тысячи — ее упорства. Я и впрямь опасаюсь, что она от меня ускользнет.

Первое впечатление, произведенное на нее моим возвращением, позволяло надеяться на лучшее. Вы догадываетесь, что я хотел сам обо всем судить и, чтобы наверняка уловить первые же порывы ее души, никого не посылал предупредить о себе и так рассчитал время в пути, чтобы явиться как раз тогда, когда все будут за столом. Я, действительно, упал с неба, как оперное божество в финале спектакля.

Наделав достаточно шуму, чтобы привлечь все взоры, я с одного взгляда уловил радость моей старой тетушки, досаду госпожи де Воланж и радостное смущение ее дочери. Моя прелестница сидела спиной к двери. В этот момент она разрезала что-то на тарелке и даже не повернула головы, но я заговорил с госпожой де Розмонд, и при первом же слове чувствительная святоша узнала мой голос, и у нее вырвался крик, в котором, как мне почудилось, было больше любви, чем удивления и страха. Тогда я приблизился настолько, что мог увидеть ее лицо: смятение души, борьба чувств и помыслов отражались на нем на самый различный лад! Я сел за стол рядом с нею: она в полном смысле слова не отдавала себе отчета в том, что делала и что говорила. Попыталась продолжать есть и не в состоянии была это сделать. Наконец, не прошло и четверти часа, как, не в силах будучи совладать с радостью и смятением, она не придумала ничего удачнее, чем попросить позволения выйти из-за стола, и убежала в парк под предлогом, что ей надо подышать воздухом. Госпожа де Воланж хотела сопровождать ее. Нежная недотрога воспротивилась этому: наверно, она была счастлива найти предлог, чтобы остаться одной и беспрепятственно отдаться сладостному волнению сердца.

Я старался, как только мог, чтобы обед поскорее кончился. Не успели подать десерт, как эта дьявольская Воланж, явно торопясь навредить мне, встала с места, чтобы идти к прелест-

ной больной. Но я предвидел этот замысел и расстроил его. Я притворился, будто понял сделанное ею одной движение — как общее, и поднялся одновременно с нею, а нашему двойному примеру последовали малютка Воланж и местный кюре, так что госпожа де Розмонд осталась за столом одна со старым командором де Т***; тогда и они решили встать. Итак, мы все отправились вслед за моей прелестницей, которую нашли в боскете неподалеку от замка. А так как она нуждалась в одиночестве, а не в прогулке, то ей уже было безразлично, вернуться с нами в дом или сидеть с нами в саду.

Убедившись, что госпоже де Воланж не удастся поговорить с нею наедине, я решил, что надо приняться за выполнение ваших поручений, и занялся делами вашей подопечной. Как только выпили кофе, я поднялся к себе, но зашел и к другим, дабы произвести разведку. Я принял меры, чтобы обеспечить малютке возможность вести переписку, и, совершив это первое благодеяние, написал ей пару слов, чтобы уведомить об этом и попросить доверия ко мне: записку свою я приложил к письму Дансени. Затем я вернулся в гостиную. Прелестницу свою я застал полулежащей в шезлонге в пленительно-непринужденной позе.

Зрелище это пробудило во мне желание и оживило мой взор. Я почувствовал, что он становится нежным и настойчивым, и сел так, чтобы ему не пришлось пропасть даром. Первое его действие выразилось в том, что он заставил опуститься непорочные очи божественной недотроги. Некоторое время я созерцал ее ангельское лицо, а затем, окинув взглядом всю ее фигуру, стал забавляться угадыванием очертаний и форм сквозь легкое, но, как всегда, докучное одеяние. Спустившись от головы к ногам, я стал подыматься от ног до головы... Прелестный друг мой, на меня устремлен был нежный взор. Он тотчас же опустился, но, желая способствовать его возвращению, я поглядел в сторону. И тут между нами установилось то молчаливое соглашение, тот первый договор еще робкой любви, который, удовлетворяя обоюдную потребность видеть друг друга, дает взглядам чередоваться в ожидании, пока им дано будет слиться.

Убедившись, что моя прелестница целиком поглощена этой новой утехой, я взял на себя заботу о нашей с нею безопасности. Но, удостоверившись в том, что общая довольно оживленная беседа отвлекает от нас внимание собравшихся, я стал добиваться, чтобы глаза ее заговорили откровенным языком. Для этого я сперва поймал несколько взглядов, но был при этом так

сдержан, что никакая скромность не могла бы этим оскорбиться, а чтобы эта робкая особа почувствовала себя непринужденнее, я прикинулся таким же смущенным, как и она. Мало-помалу наши глаза, привыкнув встречаться, стали реже отрываться друг от друга, а под конец уже не расставались, и я заметил в ее глазах сладостную томность, счастливый знак любви и желания, но это длилось лишь мгновение,— вскоре она пришла в себя и, слегка застыдившись, изменила свою позу и взгляд. Не желая, чтобы она усомнилась в том, что я заметил смену ее настроений, я сразу вскочил и с испуганным видом спросил, не почувствовала ли она себя плохо. Тотчас же все ее окружили. Я пропустил их всех мимо себя, а так как малютке Воланж, занятой у окна вышиванием, потребовалось время, чтобы оставить свои пяльцы, я воспользовался этим моментом и передал ей письмо Дансени.

Я находился не слишком близко от нее, и потому бросил послание ей на колени. Она, правду сказать, не знала, что ей с ним делать. Вы бы со смеху покатились, увидев ее удивление и растерянность. Мне, однако, было не до смеха — очень уж я опасался, чтобы такая несообразительность нас не выдала. Но один мой взгляд и выразительный жест заставили ее, наконец, понять, что пакет надо сунуть в карман.

Остаток дня не представлял никакого интереса. То, что произошло затем, повлечет за собою, может быть, события, которые вас порадуют,— во всяком случае, в отношении вашей подопечной. Но лучше употреблять время на выполнение замыслов, чем на разговор о них. К тому же я кончаю уже восьмую страницу и устал от писания. Поэтому — прощайте.

Вы и без моих слов догадаетесь, что́ малютка ответила Дансени [1]. От своей прелестницы, которой написал на другой же день по приезде, я тоже получил ответ. Посылаю вам оба письма. Прочтите их или не читайте, ибо это беспрерывное переливание из пустого в порожнее, которое и меня-то не слишком забавляет, должно казаться несносным всякому постороннему.

Еще раз — прощайте. Я по-прежнему очень вас люблю. Но прошу, если вы и в дальнейшем будете говорить со мной о Преване, постарайтесь сделать так, чтобы я вас понял.

Из замка ***, 17 сентября 17...

---

[1] Письмо это не найдено.

ПИСЬМО 77

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Почему, сударыня, вы столь безжалостно упорствуете, избегая меня? Как возможно, чтобы самое нежное внимание к вам вызывало с вашей стороны лишь действия, едва допустимые и в отношении человека, на которого есть все основания жаловаться? Как! Любовь возвращает меня к вашим ногам, и, когда счастливый случай дает мне возможность занять место подле вас, вы предпочитаете притвориться больной, взволновать своих друзей, только бы не оказаться со мной рядом. Сколько раз вчера отводили вы глаза в сторону, чтобы не удостоить меня хотя бы одним взглядом! А если я на миг уловил взор менее строгий, то миг этот был так краток, что, кажется, вы хотели не столько дать мне насладиться им, сколько заставить меня ощутить, что́ я теряю, лишаясь его.

Не такого обращения, осмелюсь сказать вам, заслуживает любовь, и не на такое может согласиться дружба. А если говорить об этих двух чувствах, то вы знаете, как одушевляет меня одно из них; я же, казалось мне, имел право думать, что вы не отказываете мне и в другом. Вы сами предложили мне эту драгоценную дружбу, сочтя меня, видимо, достойным ее. Что же совершил я такого, чтобы теперь ее потерять? Не повредил ли я себе своей доверчивостью, и покараете ли вы меня за чистосердечие? Не страшитесь вы разве обмануть и то и другое? Разве тайну своего сердца излил я не на груди друга? Не перед ним ли одним мог я считать себя обязанным отвергнуть условия, приняв которые я бы с легкостью мог потом их нарушить и, быть может, с выгодой ими злоупотреблять? Неужели же вы хотели бы столь незаслуженной суровостью заставить меня думать, будто мне было бы достаточно обмануть вас, чтобы добиться большей снисходительности?

Я не раскаиваюсь в своем поведении, ибо вести себя так считаю своим долгом перед вами и перед самим собою. Но какой рок судил, чтобы каждый мой похвальный поступок становился для меня знамением новой беды?

Ведь именно после того, как я заслужил единственную похвалу, которой вы соблаговолили удостоить мое поведение, пришлось мне впервые стенать, ибо я навлек на себя ваш гнев. Ведь именно после того, как я доказал вам совершенную свою покорность, лишив себя счастья видеть вас единственно из

стремления успокоить вашу совестливость, вы пожелали прекратить со мною всякую переписку, отнять у меня слабое утешение за жертву, которой вы у меня потребовали, и лишить меня всего, вплоть до любви, которая одна лишь могла дать вам такие права. И, наконец, именно после того, как я говорил с вами с откровенностью, не ослабленной даже расчетами этой любви, вы избегаете меня сейчас, как опасного обольстителя, чье вероломство испытали на себе.

Неужели никогда не устанете вы быть несправедливой? Сообщите мне хотя бы, какие новые проступки мои заставили вас проявлять подобную суровость, и не откажите продиктовать повеления, которым вы желали бы, чтобы я подчинился. Раз я готов все исполнить, неужели просьба сообщить мне их — чрезмерное притязание?

Из ***, 15 сентября 17...

ПИСЬМО 78

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Вы, сударь, кажется, удивлены моим поведением, и вы готовы даже потребовать от меня в нем отчета, словно у вас есть право порицать его. Признаюсь, что считала бы себя в большем праве удивляться и жаловаться. Но после отказа, содержавшегося в вашем последнем ответе, я приняла решение замкнуться в равнодушии, не оставляющем места ни для замечаний, ни для упреков. Однако, поскольку вы просите у меня объяснений и поскольку я, хвала небу, не ощущаю в себе ничего, что помешало бы мне дать их вам, я готова еще раз объясниться с вами.

Всякий, кто прочитал бы ваши письма, счел бы меня несправедливой или странной. Я же полагаю, что имею право на то, чтобы обо мне так не думали. В особенности, кажется мне, что у вас было меньше оснований, чем у кого бы то ни было, думать обо мне таким образом. Вы, разумеется, поняли, что, ставя меня в необходимость оправдываться, принуждали тем самым припомнить все, что между нами произошло. По-видимому, вы решили, что от моих размышлений на этот счет только выиграете. Так как я со своей стороны тоже считаю, что ничего потерять не могу, по крайней мере, в ваших глазах, то нисколько не боюсь предаться этому занятию. Может быть, это, действительно, лучший способ выяснить, кто из нас имеет право жаловаться на другого.

Если мы начнем со дня вашего приезда в этот замок, то, я думаю, вы признáете, что даже одна ваша репутация давала мне основания к сдержанности в отношении вас и что я могла, не боясь прослыть чрезмерной святошей, держаться в границах самой холодной вежливости. Вы сами отнеслись бы ко мне снисходительно и нашли бы вполне понятным, что женщина, так мало развитая, не имеет качеств, необходимых для того, чтобы оценить ваши. Человек осторожный поступил бы именно так, и мне это было бы тем легче, что — не стану этого от вас скрывать — когда госпожа де Розмонд пришла сообщить мне о вашем приезде, я принуждена была вспомнить всю мою любовь к ней и всю ее любовь к вам, чтобы не дать ей заметить, как неприятно было мне это известие.

Охотно признаю, что сперва вы показали себя так, что произвели на меня впечатление более благоприятное, чем я ожидала. Но и вы должны согласиться с тем, что длилось это весьма недолго и что вам вскоре надоело совершать над самим собою насилие: по всей видимости, вы не сочли себя достаточно вознагражденным за него тем хорошим мнением, которое я благодаря ему о вас составила.

И вот тогда, злоупотребляя моей доверчивостью, вы не постеснялись заговорить со мной о чувстве, которое — вы не могли в этом сомневаться — должно было меня оскорбить. И в то время как вы, умножая свои провинности, отягчали их, я искала лишь предлога, чтобы о них позабыть, предоставляя вам возможность искупить их хотя бы отчасти. Просьба моя была настолько справедлива, что вы сами не сочли возможным не исполнить ее; однако, сочтя мою доброту своим правом, вы воспользовались ею, чтобы попросить у меня некоего позволения, которого мне не следовало давать, но которое вы тем не менее получили. Из тех условий, которые я вам при этом поставила, вы не выполнили ни одного и переписку свою вели таким образом, что каждое ваше письмо вменяло мне в обязанность не отвечать вам более. И даже в тот момент, когда упорство ваше принудило меня удалить вас от себя, я, проявив достойную, может быть, осуждения снисходительность, испробовала единственное средство, которое могло бы позволить мне вновь приблизить вас к себе; но разве благопристойное чувство имеет цену в ваших глазах? Вы пренебрегаете дружбой и в своем безумном опьянении, считая ни во что несчастье и позор, гонитесь лишь за наслаждениями и жертвами.

Столь же легкомысленный в поступках, как и непоследовательный в упреках, вы забываете свои обещания или, вернее,

забавляетесь тем, что нарушаете их, и, согласившись сперва удалиться от меня, возвращаетесь сюда незваным. Без всякого внимания к моим просьбам, к моим доводам и даже не потрудившись предупредить меня, вы не побоялись поразить меня неожиданностью своего появления, а ведь впечатление, которое оно произвело, хотя и вполне естественное, могло быть истолковано окружающими весьма для меня неблагоприятно. И, не подумав о том, чтобы как-нибудь вывести меня из смущения или хотя бы рассеять его, вы, кажется, все сделали для того, чтобы оно усилилось. За столом вы заняли место рядом со мной. Когда легкое недомогание заставило меня выйти из-за стола раньше всех прочих, вы, вместо того чтобы проявить уважение к моему одиночеству, побудили всех нарушить его. Я вернулась в гостиную, и, стоит мне сделать шаг,— вы оказываетесь рядом со мной. Скажу я хоть одну фразу — отвечаете всегда вы. Самое безразличное слово служит для вас предлогом возобновить разговор, которого я не желаю слушать, который даже мог бы меня скомпрометировать. Ибо в конце-то концов, сударь, какую бы ловкость вы ни проявляли, то, что понимаю я, думаю — могут понять и другие.

Принудив меня таким образом к неподвижности и молчанию, вы тем не менее продолжаете свои преследования. Я не могу поднять глаз, не встретив вашего взгляда. Мне все время приходится глядеть в сторону, и по какой-то совершенно необъяснимой непоследовательности вы привлекаете ко мне взоры всех окружающих как раз в тот миг, когда мне хотелось бы скрыться от своих собственных.

И вы еще жалуетесь на мое поведение! И вы удивляетесь, что я так усердно стараюсь избегать вас! Нет, скорее осуждайте меня за мою снисходительность, изумляйтесь тому, что я не уехала тотчас же после вашего приезда. Может быть, мне и следовало это сделать, и вы принудите меня к этой крайней, но необходимой мере, если не прекратите, наконец, своих оскорбительных преследований. Нет, я не забываю, я никогда не забуду своего долга перед самой собою, перед теми узами, которыми я связала себя, которые я уважаю, которые мне дороги, и прошу вас не сомневаться, что, если когда-нибудь я окажусь перед злосчастным выбором — принести в жертву их или себя, я не поколеблюсь ни мгновения. Прощайте, сударь.

Из ***, 16 сентября 17...

ПИСЬМО 79

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Я рассчитывал отправиться нынче утром на охоту. Но погода отвратительная. Для чтения у меня имеется лишь один новый роман, который показался бы скучным даже пансионерке. Завтрак будет, самое раннее, часа через два. Поэтому, несмотря на мое вчерашнее длинное письмо, я намереваюсь еще поболтать с вами. Уверен, что не наскучу вам, ибо говорить буду об *очень красивом Преване*. Как это вы не знали о его знаменитом приключении, о том, которое разлучило *неразлучных?* Бьюсь об заклад, что припомните его с первого же слова. Но раз вам так угодно — вот оно.

Вы, наверно, не забыли, как весь Париж изумлялся тому, что три женщины, все очень хорошенькие, равно одаренные и имеющие права на равные притязания, оставались в самой тесной дружбе с момента вступления своего в свет. Сперва причину этого усматривали в их крайней застенчивости. Но вскоре их стала окружать толпа поклонников, чьи ухаживания они как бы делили между собой, и они хорошо узнали себе цену благодаря знакам внимания, которые им расточались. Их дружба, однако, стала еще теснее, и можно было сказать, что торжество одной из них становилось всегда торжеством двух других. Все надеялись хотя бы на то, что, когда придет любовь, она вызовет между ними соперничество. Наши прелестники оспаривали друг у друга честь стать яблоком раздора, и я сам вступил бы в ряды соревнующихся, если бы высшая благосклонность, которой как раз в это же время одарила меня графиня де ***, позволила мне стать неверным еще до того, как я получил согласие на то, чего домогался.

Между тем наши три красавицы, словно сговорившись, сделали на одном и том же карнавале свой выбор, но вместо того чтобы вызвать бурю, как того ожидали, он сделал их дружбу лишь более увлекательной благодаря прелести взаимных признаний.

Толпа неудачливых претендентов объединилась тогда с завистницами, и раздражающее всех постоянство подверглось всеобщему осуждению. Одни утверждали, что в этой компании *неразлучных* (так их тогда прозвали) основным законом была общность имущества и распространялся он даже на любовь. Другие уверяли, что хотя три любовника и не имеют соперни-

ков, зато у них есть соперницы. Доходило даже до того, что говорили, будто они взяты лишь для отвода глаз и получили одно только звание без обязанностей.

Слухи эти, правдивые или ложные, не привели к желанным последствиям. Напротив, три пары поняли, что им несдобровать, если они теперь разделятся,— они приняли решение смело встретить бурю. Обществу, которому все надоедает, надоело и бесплодное злословие. Уступая своему природному легкомыслию, оно занялось чем-то другим. Затем, вернувшись к прежнему, с обычной своей непоследовательностью от осуждения перешло к похвалам. Так как здесь на всё — мода, энтузиазм охватил всех. Он превращался уже в настоящее безумие, когда Преван решил проверить эти чудеса и твердо установить и общественное, и свое личное мнение на их счет.

Итак, он постарался свести близкое знакомство с этими образцами совершенства. Его приняли без труда, и он усмотрел в этом благоприятное предзнаменование, так как хорошо знал, что к людям счастливым подступиться не так-то легко. И вскоре он, действительно, убедился, что это столь хваленое счастье подобно счастью царей: ему больше завидуют, чем желают им обладать. Он заметил, что в среде этих якобы неразлучных начинается тяга к удовольствиям на стороне, начинают даже искать других развлечений. Из этого он сделал вывод, что узы любви и дружбы ослабели или даже распались и что некоторую силу имели еще только узы самолюбия и привычки.

Женщины, однако, по необходимости сохраняя между собою связь, сохраняли и видимость прежней тесной дружбы. Но мужчины, более свободные в своих действиях, уже находили какие-то обязанности, которые надо было выполнять, или дела, которыми нельзя было пренебречь. Пока они только жаловались на это, но уже не освобождались от них и редко проводили вечера в полном составе.

Такое их поведение оказалось выгодным настойчивому Превану, который, естественным образом находясь каждый раз подле той, которая в тот день оставалась покинутой, получал возможность оказывать попеременно и в зависимости от обстоятельств равное внимание всем трем подругам. Он быстро сообразил, что сделать какой-то выбор между ними — значит погубить себя; что ту, кого он предпочтет, испугает ложный стыд первой совершить измену, что уязвленное тщеславие двух других вызовет у них вражду к новому любовнику и что они не преминут обратить против него всю строгость возвышенных правил; и, наконец, что ревность наверняка заставит соперника,

возможно, еще опасного, снова приняться за ухаживания. Все превращалось в препятствие, но при его тройном замысле все становилось легким: каждая из женщин проявляла снисходительность потому, что была заинтересована, каждый из мужчин — потому, что полагал, что ему-то все равно.

Превану, которому тогда надо было пожертвовать лишь одной женщиной, повезло в том отношении, что она стала знаменитостью. Будучи иностранкой и довольно ловко отвергнув ухаживания одного высокородного принца, она привлекла к себе внимание двора и города. Любовник ее разделил с нею почет и воспользовался этим у своих новых возлюбленных. Единственная трудность состояла в том, что надо было одновременно провести все три интриги, причем равняться по необходимости приходилось на ту, которая запаздывала. И действительно, от одного из его наперсников я знаю, что труднее всего ему было повременить с одной, которая готова была расцвести почти на две недели раньше других.

Наконец, настал великий день. Преван, добившийся трех признаний, мог теперь действовать, как ему заблагорассудится, и вы сейчас увидите, как он поступил. Из трех мужей один отсутствовал, другой должен был уехать на рассвете следующего дня, третий находился в городе. Неразлучные подруги должны были ужинать у будущей вдовы, но новый господин не допустил, чтобы приглашенными оказались прежние поклонники. Утром того же дня он делит на три пачки письма своей прелестницы, к одной прикладывает полученный от нее портрет, к другой — любовный вензель, нарисованный ее рукой, к третьей — локон ее волос. Каждая приняла эту треть жертвы за целое и в обмен согласилась послать отвергнутому любовнику резкое письмо о разрыве. Это было много, но еще недостаточно. Та, чей муж находился в городе, имела в своем распоряжении только день. С ней Преван условился, что мнимое нездоровье избавит ее от необходимости ужинать у подруги и что ему будет принадлежать вечер. Ночь подарила та, чей муж был в отсутствии, а последняя назначала часом любви рассвет, когда должен был уехать третий супруг.

Преван, который ничего не упускает из виду, спешит к прекрасной иностранке; он является в дурном расположении духа, вызывает в ней ответное раздражение, которого ему и требовалось, и удаляется лишь после того, как затеял ссору, обеспечивающую ему свободу на целые сутки. Он устроил все, как было нужно, и возвратился домой, рассчитывая немного отдохнуть. Но здесь его ждали другие дела.

Письма о разрыве внезапно раскрыли опальным любовникам глаза на все. Ни один из них не мог сомневаться, что принесен в жертву Превану. Досада, что их провели, соединилась с раздражением, почти всегда порождаемым в нас несколько унизительным ощущением, что нас бросили. И вот все трое, не сговариваясь, но действуя как бы заодно, захотели получить удовлетворение и решили потребовать его от счастливого соперника.

Последний нашел у себя три вызова и принял их, как подобало. Но не желая поступиться ни удовольствием, ни славой этого приключения, он назначил поединки на завтрашнее утро и указал всем троим одно и то же время и место у одних из ворот Булонского леса.

С наступлением вечера он принялся за свое тройное дело и выполнил его с равным успехом. Во всяком случае, он впоследствии хвастал, что каждая из его новых любовниц трижды получила залог и доказательство его любви. Здесь, как вы хорошо понимаете, истории не хватает доказательств. Единственное, что может сделать беспристрастный историк, это обратить внимание маловерного читателя на то, что возбужденное тщеславие и воображение могут творить чудеса, и к тому же что наутро после этой блестящей ночи могло создаться положение, при котором никакой осторожности на будущее время уже не было бы нужно. Как бы то ни было, нижеследующие факты более достоверны.

Преван точно явился в назначенное им самим время. Он застал своих трех соперников, несколько удивленных общей встречей, причем каждый из них уже, быть может, несколько утешился, увидев, что у него есть товарищи по несчастью. Он подошел с любезным и непринужденным видом и обратился к ним с нижеследующей речью, которую мне передали вполне точно.

«Господа,— сказал он,— встретившись здесь, вы, конечно, догадались, что у всех вас одна и та же причина быть мною недовольными. Я готов дать вам удовлетворение. Решите между собою жребием, кто из вас первый попытается совершить мщение, на которое все трое имеют равное право. Я не привел сюда ни секунданта, ни свидетеля. У меня не было их, когда я нанес вам обиду, не нужны мне они и для искупления». И тут, уступая своим привычкам игрока, он добавил: «Я знаю, что редко удается сорвать два банка подряд. Но какова бы ни была уготованная мне участь, человек вообще достаточно пожил, если успел завоевать любовь женщин и уважение мужчин».

Пока его удивленные противники молча переглядывались и совестливость их, может быть, соображала, что при тройном поединке шансы очень уж неравны, Преван снова заговорил: «Не стану от вас скрывать,— продолжал он,— что проведенная мною ночь сильно меня утомила. С вашей стороны было бы великодушно позволить мне восстановить мои силы. Я велел, чтобы здесь приготовили завтрак. Окажите мне честь разделить его со мной. Позавтракаем же, а главное — позавтракаем весело. Из-за подобных пустяков можно драться, но мне кажется, что они не должны портить нам настроение».

Приглашение было принято. Говорят, что никогда еще Преван не был более любезен. Он ухитрился не унизить ни одного из своих соперников, убедить их, что все они легко добились бы такого же успеха, а главное, заставить их признать, что они, так же, как и он, не упустили бы случая. Как только все это было признано, остальное уладилось само собой. Таким-то образом еще до окончания завтрака было раз десять повторено, что подобные женщины не заслуживают, чтобы порядочные люди из-за них дрались. Мысль эта пробудила сердечность, вино ее укрепило, и через несколько минут не только не оставалось уже вражды, но даны были даже клятвы безграничной дружбы.

Преван, которому уж, наверно, такая развязка была не менее по душе, чем иная, не хотел, однако, поступиться своей славой. И поэтому, применяя свои замыслы к обстоятельствам, он сказал оскорбленным любовникам: «И право, мстить вы должны бы не мне, а своим неверным любовницам. Я предоставлю вам эту возможность. Я уже не меньше вас самих чувствую оскорбление, которое вскоре разделю. Ведь если каждый из вас не сумел удержать одну, могу ли я рассчитывать на то, что удержу всех трех? Ваша обида стала моей. Согласитесь отужинать сегодня вечером в моем домике, и я надеюсь, что мщению вашему дольше ждать не придется». Его хотели заставить объясниться, но он ответил с оттенком превосходства, на которое давало ему право все, что произошло: «Господа, я, кажется, доказал вам, что соображаю, как следует действовать. Положитесь на меня». Все трое согласились и, расцеловавшись со своим новым другом, расстались до вечера в ожидании исполнения его обещаний.

Он же, не теряя времени, возвращается в Париж и, согласно обычаю, навещает своих новых любовниц. От всех трех он добился обещания, что они в тот же вечер придут отужинать *наедине с ним* в его домике. Две из них, правда, немного поломались, но в чем откажешь на другой день после того, как все

уже отдано? Он назначил свидания через час одно после другого, как и требовали его замыслы. После этих приготовлений он удалился, предупредил трех других заговорщиков, и все четверо весело отправились поджидать свои жертвы.

Вот услышали, как прибывает первая. Преван встречает ее один, принимает с самым пылким видом, ведет в святилище, божеством которого она себя считает, а затем, исчезнув под каким-то ничтожным предлогом, подменяет себя оскорбленным любовником.

Вы понимаете, что смущение женщины, еще не привыкшей к любовным похождениям, давало возможность без труда восторжествовать над ней. Каждый непроизнесенный упрек был принят за милость, и беглая раба, возвращенная прежнему господину, была счастлива, что, надев на себя те же цепи, получает прощение. Мирный договор был утвержден в более укромном месте, а опустевшую сцену заняли в свою очередь другие актеры приблизительно таким же образом, а главное — с той же самой развязкой.

Однако каждая из женщин считала, что она одна участвует в игре. Их изумление и растерянность усилились, когда за ужином все три пары соединились. Но смущение достигло предела, когда вновь появившийся среди них Преван имел жестокость принести трем неверным любовницам извинения, которые, разоблачая их секрет, полностью открывали им, до какой степени их разыграли.

Всё же уселись за стол, и вскоре ко всем вернулось самообладание. Мужчины были откровенно веселы, женщины смирились. У всех затаилась в сердце ненависть, но речи тем не менее велись ими самые нежные. Веселость пробудила желание, которое в свою очередь придало ей дополнительную прелесть. Эта удивительная оргия длилась до самого утра, а когда все разошлись, женщины могли думать, что прощены. Мужчины, однако, затаив злобу, на следующий же день объявили о разрыве, оказавшемся безвозвратным. Не удовлетворившись тем, что бросили своих легкомысленных любовниц, они завершили мщение, предав это приключение огласке. С тех пор одна из женщин ушла в монастырь, а две другие изнывают от скуки в своих имениях.

Вот история Превана. Решайте сами — угодно ли вам увеличить его славу и впрячься в его триумфальную колесницу. Письмо ваше меня и вправду обеспокоило, и я с нетерпением жду ответа более разумного и ясного на то, что я писал вам в своем последнем письме.

Прощайте, прелестный друг, остерегайтесь забавных или причудливых мыслей, которые вас слишком легко соблазняют. Подумайте о том, что на избранном вами поприще недостаточно одного лишь ума и что один неосторожный шаг становится непоправимой бедой. Разрешите, наконец, дружескому предостережению руководить иногда вашими забавами.

Прощайте. Все же я люблю вас так, словно вы стали благоразумной.

Из ***, 18 сентября 17...

ПИСЬМО 80

От кавалера Дансени к Сесили Воланж

Сесиль, дорогая Сесиль, когда же наступит время нам снова свидеться? Кто научит меня существовать вдали от вас? Кто даст мне на это сил и мужества? Никогда, нет, никогда не перенести мне этой роковой разлуки! С каждым днем становлюсь я все несчастнее, и конца этому не видно! Вальмон, посуливший мне помощь и утешение, Вальмон пренебрегает мною и, может быть, даже забыл обо мне. Он находится подле той, кого любит. Он уже не помнит, как страдаешь вдали от любимого существа. Переслав мне ваше последнее письмо, сам он не написал ни строчки. А ведь именно он должен сообщить мне, когда я смогу вас увидеть и каким способом. Что ж, ему нечего на этот счет сказать? Сами вы тоже ничего об этом не говорите. Не потому ли, что не разделяете моего желания увидеться? Ах, Сесиль, Сесиль, как я несчастен! Я люблю вас больше, чем когда-либо, но любовь эта, в которой заключена вся радость моей жизни, превращается в муку.

Нет, я не могу больше так жить, я должен вас увидеть, это необходимо, хоть на один миг. Вставая ото сна, я говорю: «Я ее не увижу». Ложусь и думаю: «Я ее не видел». Дни мои такие долгие, и нет в них ни одного отрадного мгновения. Всё — только лишения, сожаления, отчаяние. И все эти горестные слова оттуда, откуда я ожидал радостей. Добавьте к этим смертельным мукам тревогу о том, как мучитесь вы, и вы получите представление о моем душевном состоянии. Я думаю о вас беспрерывно и никогда не думаю без смятения. Если я представляю себе вас удрученной, несчастной,— я страдаю от ваших горестей, а если вижу вас спокойной и утешившейся — мое страдание усиливается. Всегда и всюду я несчастен.

Ах, не так было, когда вы находились там, где живу я. Все тогда было утехой. Уверенность, что я увижу вас, украшала

даже часы разлуки. Время этой разлуки самим своим движением приближало меня к вам. То, как я его проводил, всегда было связано с вами. Если я выполнял какие-то обязанности, это делало меня более достойным вас; если я упражнял какие-либо свои дарования, то в надежде больше выиграть в ваших глазах. Даже когда светские развлечения уносили меня от вас, я не был разлучен с вами. В театре я старался угадать, что́ могло бы вам понравиться, концерт напоминал мне о вашем таланте и о наших столь сладостных занятиях музыкой. В светском кругу и на прогулках я старался уловить в женщинах малейшее сходство с вами. Я сравнивал вас со всеми, и всегда вы имели преимущество. Каждое мгновение дня отмечалось новой данью восхищения перед вами, и каждый вечер приносил я эту дань к вашим ногам.

А теперь что мне остается? Мучительные сожаления, вечные лишения и слабая надежда, которую уменьшает молчание Вальмона и превращает в тревогу ваше. Всего десять лье разделяют нас, и это расстояние, которое так легко пройти, для меня одного становится непреодолимым препятствием! А когда я молю моего друга и мою возлюбленную помочь мне осилить его, оба они холодны и спокойны. Они не только не помогают мне, они даже не отвечают.

Что же сталось с деятельной дружбой Вальмона? А главное, что́ сталось с вашими столь нежными чувствами, которые помогали вам так искусно находить способы ежедневно видеться друг с другом? Иногда, помнится мне, продолжая стремиться к этому, я принужден бывал жертвовать своим желанием ради каких-либо иных соображений или обязанностей. Что вы тогда мне говорили? Какие только предлоги не выставляли вы против моих доводов! И припомните, моя Сесиль, всегда мои доводы уступали вашим желаниям. Я не ставлю себе этого в заслугу: у меня даже нет той заслуги, что я чем-то жертвовал. Ведь я горел желанием дать вам то, чего вы добивались. Но теперь моя очередь просить. И в чем моя просьба? Увидеть вас хоть на миг, повторить вам и услышать от вас клятву вечной любви. Разве ваше счастье, как и мое, теперь уже не в этом? Я отталкиваю эту приводящую в отчаяние мысль,— она была бы последней каплей моих страданий. Вы любите меня, вы будете любить меня всегда — я верю в это, я убежден в этом, я не хочу когда-либо усомниться. Но положение мое ужасно, и я не смогу его дольше переносить. Прощайте, Сесиль.

Париж, 18 сентября 17...

ПИСЬМО 81

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Как мне жалки все ваши опасения! Как доказывают они мое превосходство над вами. А вы еще хотите учить меня, руководить мною! Ах, бедненький Вальмон, как вам еще далеко до меня! Нет, даже всей гордыни, свойственной вашему полу, недостаточно, чтобы заполнить разделяющую нас пропасть. Вы не сумели осуществить моих замыслов — и потому считаете их невыполнимыми! Существо слабое и полное гордыни, тебе ли подобает рассчитывать, какие у меня средства, и судить о моих возможностях! Говоря по правде, виконт, советы ваши меня раздражили, и я не могу этого от вас скрыть.

Пусть для того чтобы замаскировать свою невероятную неловкость в отношениях с вашей президентшей, вы изображаете как победу то, что вам удалось на минуту смутить застенчивую и любящую вас женщину — ничего не могу против этого возразить; что вы добились от нее взгляда, одного только взгляда,— я усмехаюсь и спускаю вам это. Пусть, невольно сознавая, как ничтожно ваше поведение, вы рассчитываете отвлечь от него мое внимание, похваляясь передо мною своими необычайными усилиями сблизить двух детей, которые просто горят жаждой свидеться и, к слову сказать, одной мне обязаны пылом своего желания,— готова и на это согласиться. Пусть, наконец, опираясь на эти блистательные деяния, вы наставительным тоном заявляете мне: «Лучше употреблять время на осуществление своих планов, чем на разговоры о них»,— это тщеславие мне не вредит, и я вам его прощаю. Но чтобы вы могли думать, будто я нуждаюсь в вашем благоразумии, будто я собьюсь с верного пути, если не стану внимать вашим советам, что я должна жертвовать им удовольствием, причудой,— ну, знаете, виконт, вы уж чересчур возгордились доверием, которое мне благоугодно к вам питать.

Что совершили вы такого, чего бы я тысячу раз не превзошла? Вы соблазнили и даже погубили множество женщин. Но трудно ли давалась вам победа? Какие препятствия вы преодолевали? В чем заслуга, которая действительно была бы вашей? Красивая внешность — дар случая; изящные манеры, которые почти всегда приобретаешь опытом; несомненный ум, но такой, который в случае нужды можно подменить краснобайством; довольно похвальная дерзость, но ей вы, может быть, обязаны легкости, с которой одержали свои первые успехи. Если не ошибаюсь, то вот и все, чем вы можете похвалиться. Ибо что до

славы, которую вам удалось стяжать, то, полагаю, вы не станете требовать, чтобы я высоко оценила умение поднимать шум или им пользоваться.

Что же касается осторожности, проницательности, то о себе я уже не говорю, но у какой другой женщины их не окажется больше, чем у вас? Да что говорить: ваша президентша делает с вами что хочет — как с ребенком.

Поверьте мне, виконт, редко приобретаешь те качества, без которых можешь обойтись. Сражаясь без риска, вы и действовать будете без предосторожностей. Для вас, мужчин, поражение — всего-навсего отсутствие успеха. В этой, столь неравной, игре мы выигрываем, если ничего не теряем, а вы теряете, если ничего не выиграли. Даже признай я за вами те же таланты, которыми обладаем мы, насколько мы все же будем превосходить вас хотя бы потому, что вынуждены беспрерывно прибегать к их помощи?

Предположим — соглашаюсь на это,— что вы должны применять для победы над нами такую же ловкость, какую мы проявляем, обороняясь или даже уступая,— признайте, по крайней мере, что, достигнув успеха, вы уже в ней не нуждаетесь. Поглощенные исключительно своим новым увлечением, вы отдаетесь ему без удержу, без опасений; но для вас не имеет значения, долго ли оно продлится.

И правда ведь, только вам дано вязать и разрешать по своему усмотрению эти — выражаясь языком любви — взаимные узы. И мы еще счастливы, если вы, в непостоянстве своем предпочитая тайну огласке, удовлетворяетесь унизительным забвением и из вчерашнего кумира не делаете на следующий день жертву! Но если несчастная женщина первой ощутит тяжесть цепей, каким только опасностям не подвергается она, когда пробует сбросить их или хотя бы немного облегчить? Лишь с трепетом пытается она отдалить от себя человека, которого ее сердце уже резко отталкивает. А если он упорно не желает уходить, ей приходится из страха давать ему то, что она отдавала по любви:

Объятья открывать, когда закрыто сердце.

Ее благоразумию приходится со всевозможными ухищрениями распутывать узы, которые вы попросту порвали бы. Она во власти своего врага и ничего поделать не может, если у него нет великодушия. А как рассчитывать на великодушие? Ведь если порою считается похвальным, когда оно есть, то никого не осуждают за его отсутствие.

Вы, разумеется, не станете оспаривать эти истины, настолько очевидные, что они стали уже общим местом. И если тем не менее вы были свидетелем того, как я, пользуясь обстоятельствами и мнениями людей, делала этих столь грозных мужчин игрушкой своих причуд или прихотей, лишая одних воли, а других возможности вредить мне, если я, повинуясь изменчивости своих вкусов, умела то включать в число своих поклонников, то далеко отталкивать от себя

Тиранов свергнутых, что сделались рабами [1],—

если среди этих частых перемен добрая слава моя оставалась непоколебленной, не пришли ли вы к выводу, что, созданная для того, чтобы мстить за свой пол и порабощать ваш, я сумела изобрести и средства, до меня неизвестные?

Ах, приберегите же ваши советы и опасения для тех женщин, которые свое сумасбродство выдают за *чувство*, у которых воображение столь необузданно, что начинаешь думать, будто природа поместила им чувства в голову. Никогда ни о чем не размышляя, они смешивают любовника и любовь, в безумном своем заблуждении воображают, будто лишь тот, с кем они искали наслаждения, и есть единственный, от кого оно может исходить, и как суеверные дикарки питают к жрецу благоговение и веру, которых достойно лишь само божество.

Опасайтесь также и за тех, более тщеславных, чем благоразумных, которые не умеют в случае необходимости мириться с тем, что их бросают.

Но особенно бойтесь за тех женщин, деятельных в своей праздности, которых вы именуете *чувствительными* и которыми любовь овладевает столь легко и с такой огромной силой. Они ощущают потребность заниматься любовью даже тогда, когда не наслаждаются ею, и, безудержно отдаваясь брожению своих мыслей, сочиняют под их воздействием нежные, но крайне пагубные письма, не страшась доверять эти доказательства своей слабости ее предмету. Со свойственной им неосторожностью они не способны предугадать в нынешнем любовнике завтрашнего врага.

---

[1] Неизвестно, является ли этот стих так же, как и приведенный выше «Объятья открывать, когда закрыто сердце», цитатой из каких-то малоизвестных произведений или же они — только проза госпожи де Мертей. Легче предположить последнее, ибо во всех письмах настоящей переписки попадается множество таких же плохих стихов. Нет их лишь в письмах кавалера Дансени — может быть, потому, что ему случалось заниматься поэзией и его более изощренный слух облегчил ему возможность избежать этого недостатка.

Но у меня-то что общего с этими безрассудными женщинами? Видели ли вы когда-нибудь, чтобы я отступила от правил, которые себе предписала, чтобы я изменила своим принципам? Я говорю о принципах и говорю так вполне сознательно, ибо они не отдаются, как у других женщин, на волю случая, не приняты необдуманно, и я не следую им только по привычке. Они — плод глубоких размышлений: я создала их и могу сказать, что я — собственное свое творение.

Вступив в свет еще юной девушкой, по положению своему обреченной на молчаливое бездействие, я воспользовалась этим, чтобы наблюдать и думать. Меня считали ветреной и рассеянной, ибо, по правде сказать, я почти не слушала речей, с которыми ко мне наперебой обращались, зато старательно прислушивалась ко всему, что от меня желали утаить.

Это весьма плодотворное любопытство не только помогло мне узнать жизнь, но вдобавок научило и притворяться. Вынужденная часто скрывать от глаз окружающих, что́ именно привлекло мое внимание, я упражнялась в способности управлять собственными своими взорами и с тех пор научилась придавать своим глазам по желанию то рассеянное выражение, за которое вы меня так часто хвалили. Ободренная первым успехом, я постаралась подобным же образом подчинить своей воле все разнообразные выражения своего лица. Если мне было почему-нибудь грустно, я старалась принять безмятежный, даже веселый вид. Рвение мое зашло так далеко, что я даже причиняла себе нарочно боль, чтобы научиться изображать в этот миг удовольствие. Столь же тщательно, но с бо́льшим трудом училась я подавлять проявления неожиданной радости. Таким-то образом и приобрела я над своим лицом ту власть, которая вас, видимо, порою так сильно изумляла.

Я была еще очень молода и почти не привлекала к себе внимания, мне принадлежали только мои мысли, и меня возмущало, что можно уловить их, овладеть ими вопреки моей воле. Получив в руки это первое оружие, я стала его испытывать. Не довольствуясь тем, что теперь меня было уже не разгадать, я забавлялась, надевая самые разные личины. Уверенная в своих движениях, я следила за своими речами. Я управляла и тем и другим, смотря по обстоятельствам и даже лишь по случайной прихоти. С того времени мой истинный образ мыслей стал лишь моим личным достоянием, людям же я показывала лишь то, что мне было выгодно.

Эта работа над собой заставила меня внимательно следить за выражением лиц и характером физиономий, и таким образом

приобрела я тот проницательный взгляд, которому, впрочем, жизненный опыт научил меня доверять не всецело, но который в общем редко меня обманывал.

Мне не исполнилось еще пятнадцати лет, а я уже обладала способностями, которым большинство наших политиков обязаны своей славой, а между тем постигла лишь основные начала науки, которою стремилась овладеть.

Вы понимаете, что, подобно другим девушкам, я старалась узнать все о любви и ее радостях, но, не бывши никогда в монастыре, не имея близкой подруги и живя под наблюдением бдительной мамаши, имела лишь самые общие на этот счет представления, лишенные какой-либо определенности. Даже природа, на которую с тех пор мне, конечно, жаловаться не приходилось, не давала мне еще ни малейших указаний. Можно было подумать, что она безмолвно трудится над совершенствованием своего творения. Брожение шло лишь у меня в голове: я хотела не наслаждаться, а знать. Стремление просветиться подсказало мне средства.

Я почувствовала, что единственный мужчина, с которым я могла об этом заговорить, не скомпрометировав себя, был мой духовник. Тотчас же я приняла решение: преодолев легкий стыд и похвастав проступком, которого даже и не совершала, я обвинила себя в том, что сделала все, *что делают женщины.* Так я выразилась, но, говоря это, я, по правде сказать, сама не знала, что означали мои слова. Надежды мои не были ни целиком обмануты, ни вполне удовлетворены: страх выдать себя помешал мне высказаться яснее. Но добрый священник объявил мой грех столь великим, что я сообразила, как же велико должно быть наслаждение, и желание знать, что́ оно такое, сменилось жаждой вкусить его.

Трудно сказать, как далеко завело бы меня это желание. Тогда я была совершенно неопытна, и, может быть, какая-нибудь случайность могла меня погубить. На мое счастье, через несколько дней мамаша объявила мне, что я выхожу замуж. Уверенность, что вскоре я все узнаю, сразу же охладила мое любопытство, и в объятия господина де Мертей я попала девственницей.

Я уверенно ждала мгновения, которое должно было меня просветить, и мне пришлось поразмыслить, прежде чем я изобразила смущение и страх. Пресловутая первая ночь, о которой обычно создается представление столь ужасное или столь сладостное, для меня была только случаем приобрести некоторый опыт: боль, наслаждение — я за всем тщательно наблюдала и в

этих разнообразных ощущениях видела лишь факты, которые надо было воспринять и обдумать.

Вскоре этот род занятий стал мне нравиться; однако, верная своим принципам и, может быть, инстинктивно чувствуя, что никому не следует так мало доверять, как мужу, я — именно потому, что была чувственной,— решила в его глазах казаться бесстрастной. Кажущаяся моя холодность стала впоследствии непоколебимым основанием его слепого доверия. Поразмыслив еще, я добавила к ней шаловливость, естественную в моем возрасте, и никогда не считал он меня ребенком больше, чем в те минуты, когда я его беззастенчивее всего разыгрывала.

Должна, впрочем, сознаться, что на первых порах меня увлекла светская суета, и я всецело отдалась ее ничтожным развлечениям. Но когда через несколько месяцев господин де Мертей увез меня в свою унылую деревню, страх соскучиться пробудил во мне вновь вкус к занятиям. Там я была окружена людьми, стоявшими настолько ниже меня по положению, что подозрение не могло меня коснуться, и, воспользовавшись этим, я расширила поле своих опытов. Именно там я убедилась, что любовь, которую расхваливают, как источник наслаждений, самое большее — лишь повод для них.

Болезнь господина де Мертея прервала эти приятные занятия. Пришлось сопровождать его в столицу, где он искал врачебной помощи. Немного времени спустя он, как вам известно, умер, и хотя, в сущности, мне не приходилось на него жаловаться, я тем не менее весьма живо ощутила цену свободы, которую обеспечивало мне вдовство, и твердо решила воспользоваться ею.

Мать моя полагала, что я удалюсь в монастырь или вернусь жить с нею. Отказавшись и от того и от другого, я принесла лишь одну дань приличиям: возвратилась в ту самую деревню, где мне оставалось сделать еще несколько наблюдений.

Я подкрепила их чтением, но не думайте, что оно было исключительно такого рода, какой вы предполагаете. Я изучала наши нравы по романам, а наши взгляды — по работам философов. Я искала даже у самых суровых моралистов, чего они от нас требуют, и, таким образом, достоверно узнала, что́ можно делать, что́ следует думать, какой надо казаться. Получив вполне ясное представление об этих трех предметах, я поняла, что лишь третий представляет некоторые трудности, но надеялась преодолеть их и стала обдумывать, какие необходимы для этого средства.

Мне начинали уже надоедать сельские удовольствия, слишком однообразные для моего живого ума. У меня возникла

потребность кокетничать, и она примирила меня с любовью, но, по правде сказать, мне хотелось не испытывать чувство любви, а внушать его и изображать. Напрасно твердили мне,— и я читала об этом,— что чувство это нельзя подделать. Я отлично видела, что для этого нужно сочетать ум писателя с талантом комедианта. Я стала упражняться на обоих поприщах и, пожалуй, не без успеха, но вместо того, чтобы добиваться пустых рукоплесканий зрительного зала, решила использовать на благо себе то, чем другие жертвуют тщеславию.

В этих разнообразных занятиях прошел год. Так как траур мой пришел к концу и мне опять можно было появиться в свете, я возвратилась в столицу, полная своих великих замыслов, но первое же препятствие, с которым я столкнулась, явилось для меня неожиданностью.

Длительное одиночество и строгая затворническая жизнь как бы покрыли меня налетом неприступности, смущающим наших самых любезных волокит. Они держались поодаль и предоставили меня скучной толпе всевозможных претендентов на мою руку. Отказывать им было делом несложным, но нередко эти отказы раздражали мою семью, и в семейных разногласиях я теряла время, которое надеялась проводить столь приятно. И вот для того чтобы привлечь одних и отвадить других, мне пришлось несколько раз открыто проявлять легкомыслие и употреблять во вред своей доброй славе старания, с помощью которых я рассчитывала ее сохранить. Можете не сомневаться, что в этом я легко преуспела. Но так как меня не увлекала никакая страсть, я сделала лишь то, что считала необходимым, и осмотрительно дозировала свою ветреность.

Достигнув желаемой цели, я принялась за прежнее и при этом дала возможность некоторым женщинам, уже не имеющим данных притязать на наслаждения и потому ударившимся в добродетель, приписывать себе честь моего обращения на путь истинный. Этот искусный ход дал мне больше, чем я надеялась. Благородные дуэньи стали моими ярыми защитницами, и их слепая забота о том, что они именовали делом своих рук, доходила до того, что при малейшем замечании по моему адресу вся орава ханжей поднимала крик о злословии и клевете. Тот же самый прием обеспечил мне благосклонность женщин, добивающихся успеха у мужчин: уверившись, что я не собираюсь подвизаться на том же поприще, они принимались расточать мне похвалы всякий раз, когда хотели доказать, что они злословят далеко не о всех.

Между тем прежнее мое поведение вернуло мне поклонников. Чтобы не терять ни их, ни моих довольно неверных покровительниц, я стала выказывать себя женщиной чувствительной, но очень требовательной, которой крайняя душевная утонченность дает в руки оружие против любви.

Тогда-то я и начала демонстрировать на большой сцене дарования, которые сама в себе развила. Прежде всего позаботилась я о том, чтобы прослыть непобедимой. Для достижения этой цели я делала вид, что принимаю ухаживания только тех мужчин, которые на самом деле мне вовсе не нравились. Они были очень полезны мне для того, чтобы я могла снискать честь успешного сопротивления, тем временем вполне безопасно отдаваясь любовнику, которого предпочитала. Но ему-то я, притворяясь скромницей, никогда не разрешала проявлять ко мне внимание в свете, и на глазах у общества оказывался всегда несчастливый поклонник.

Вы знаете, как быстро я выбираю любовника; но дело в том, что, по моим наблюдениям, тайну женщины почти всегда выдают предварительные ухаживания. Как себя ни веди, но тон до и тон после успеха — всегда разный. Различие это никогда не ускользнет от внимательного наблюдателя, и я нашла, что ошибиться в выборе не так опасно, как дать себя разгадать постороннему. Этим я выигрывала и то, что выбор мой представлялся неправдоподобным, а судить о нас можно только на основании правдоподобия. Все эти предосторожности, а также и то, что я никогда не писала любовных писем и никогда не давала никаких вещественных доказательств своего поражения, могут показаться чрезмерными. Я же никогда не считала их достаточными. Заглянув в свое сердце, я по нему изучала сердца других. Я увидела, что нет человека, не хранящего в нем тайны, которой ему важно было бы не раскрывать. Истину эту в древности знали, кажется, лучше, чем теперь, и искусным символом ее является, по-видимому, история Самсона. Новая Далила, я, подобно ей, всегда употребляла свою власть на то, чтобы выведать важную тайну. О, немало у нас современных Самсонов, над чьими волосами занесены мои ножницы! Этих-то я перестала бояться, и лишь их одних позволяла я себе изредка унижать. С другими приходилось быть изворотливей: умение делать их неверными, чтобы самой не показаться непостоянной, притворная дружба, кажущееся доверие, кое-когда великодушные поступки, лестное представление, сохранявшееся у каждого, что он был единственным моим любовником,— вот чем добивалась я их молчания. Наконец, если средств этих у меня почему-либо

не было, я умела, заранее предвидя разрыв, заглушить насмешкой или клеветой то доверие, какое эти опасные для меня мужчины могли приобрести.

Вы хорошо знаете, что я непрестанно осуществляю то, о чем сейчас говорю, и вы еще сомневаетесь в моем благоразумии! Ну, так вспомните то время, когда вы только начали за мной ухаживать. Ничье внимание не льстило мне так, как ваше. Я жаждала вас еще до того, как увидела. Ваша слава обольстила меня, и мне казалось, что только вас не хватает славе моей. Я горела нетерпением вступить с вами в единоборство. Вы — единственное из моих увлечений, которое на миг приобрело надо мною власть. И все же, пожелай вы меня погубить, какие средства удалось бы вам пустить в ход? Пустые, не оставляющие никаких следов разговоры, которые именно благодаря вашей репутации вызвали бы подозрения, да ряд не слишком правдоподобных фактов, даже правдивый рассказ о которых показался бы плохо сотканным романом.

Правда, с тех пор я стала поверять вам все свои тайны, но вы знаете, какие интересы нас связывают, и меня ли из нас двоих можно обвинять в неосторожности? [1]

Раз уж я даю вам отчет, то хочу, чтобы он был точным. Я так и слышу, как вы говорите мне, что уж, во всяком случае, я завишу от своей горничной. И правда, если она не посвящена в тайну моих чувств, то поступки мои ей хорошо известны. Когда в свое время вы мне это говорили, я вам только ответила, что уверена в ней. Доказательством, что этот мой ответ вас тогда вполне успокоил, служит то, что с тех пор вы не раз доверяли ей свои собственные и довольно опасные тайны. Теперь же, когда Преван внушает вам подозрения и у вас от этого голова идет кругом, я думаю, что вы не поверите мне на слово. Итак, надо вам все объяснить.

Прежде всего, девушка эта — моя молочная сестра, а эта связь, которой мы не признаём, имеет известное значение для людей ее звания. Вдобавок я владею ее тайной, и даже больше того: став жертвой любовного увлечения, она погибла бы, если бы я ее не спасла. Ее родители со своим высоким понятием о чести кипели гневом и хотели ни более, ни менее, как заточить ее. Они обратились ко мне. Я в один миг сообразила, какую выгоду могу извлечь из их ярости. Я поддержала их, исходатай-

[1] Ниже, из письма 152, читатель узнает если не самую тайну господина де Вальмона, то какого рода она приблизительно была, и согласится с нами, что не было никакой возможности внести в это больше ясности.

ствовала приказ об аресте и получила его. Затем я внезапно перешла на сторону милосердия, склонила к нему родителей и, пользуясь своим влиянием на старого министра, убедила их всех вручить этот приказ мне на хранение, дав мне право оставить его без последствий или же потребовать его исполнения, в зависимости от того, как я стану в будущем судить о поведении девушки. Она, следовательно, знает, что участь ее в моих руках, и если бы — что совершенно невероятно — даже столь мощное средство не удержало бы девушку, не очевидно ли, что огласка ее поведения и наказание, которое она непременно понесла бы, вскоре лишило бы ее разговоры обо мне всякого доверия?

К этим предосторожностям, которые я считаю основными, можно присовокупить великое множество других, местного или случайного характера, которые мне по мере надобности подсказывают сообразительность и привычка. Подробно излагать их вам было бы слишком кропотливо, но уметь пользоваться ими очень важно, и если вам так хочется знать, в чем они заключаются, вы уже не поленитесь извлечь их из моего поведения в целом.

Но как вы могли решить, что я, приложив столько стараний, допущу, чтобы они остались бесплодными; что, тяжкими усилиями высоко поднявшись над другими женщинами, я соглашусь, подобно им, пресмыкаться, то делая глупости, то излишне робея; что — это самое главное — я способна буду настолько испугаться какого-нибудь мужчины, чтобы видеть единственное свое спасение в бегстве? Нет, виконт, никогда! Или победить, или погибнуть! Что же касается Превана, то я хочу, чтобы он оказался в моих руках, и он в них попадет. Он хочет сказать то же самое обо мне, но не скажет: вот, в двух словах, наш роман. Прощайте.

Из ***, 20 сентября 17...

ПИСЬМО 82

От Сесили Воланж к кавалеру Дансени

Боже мой, до чего огорчило меня ваше письмо! Стоило с таким нетерпением его ждать! Я надеялась найти в нем хоть какое-нибудь утешение, а теперь мне еще тяжелее, чем до него. Читая его, я горько заплакала. Но не за это я вас упрекаю: я уж и раньше, бывало, плакала из-за вас, но это не было для меня мукой. Сейчас, однако, дело совсем другое.

Что вы хотите сказать, когда пишете, что любовь становится для вас пыткой, что вы больше не можете так жить и переносить такое положение? Неужели вы перестанете любить меня потому, что это стало не так приятно, как прежде? Кажется, я не счастливее вас, даже напротив того, и, однако, я люблю вас еще больше. Если господин де Вальмон вам не написал, так это не моя вина. Я не могла его попросить, потому что мне не довелось быть с ним наедине, а мы условились, что никогда не будем говорить друг с другом при посторонних. И это ведь тоже ради нас с вами, чтобы он поскорее смог устроить то, чего вы хотите. Я не говорю, что сама не хотела бы того же, и вы должны этому поверить; но что я могу поделать? Если вы думаете, что это так легко, придумайте способ, я только этого и хочу.

Как, по-вашему, приятно мне, что мама каждый день бранит меня,— мама, которая мне прежде ни одного худого слова не говорила — совсем напротив. А сейчас мне хуже, чем в монастыре. Я все-таки утешалась тем, что все это — ради вас. Бывали даже минуты, когда мне от этого было радостно. Но когда я вижу, что вы тоже сердитесь, и уж совсем ни за что, ни про что, я огорчаюсь из-за этого больше, чем из-за всего, что перенесла до сих пор.

Затруднительно даже получать ваши письма. Если бы господин Вальмон не был такой любезный и изобретательный, я бы просто не знала, что делать. А писать вам — еще того труднее. По утрам я не осмеливаюсь этого делать, так как мама всегда поблизости и то и дело заходит ко мне в комнату. Иногда удается в середине дня, когда я ухожу под предлогом, что хочу попеть или поиграть на арфе. И то приходится все время прерывать писание, чтобы слышно было, что я упражняюсь. К счастью, моя горничная иногда по вечерам рано ложится спать, и я ей говорю, что отлично улягусь без ее помощи, чтобы она ушла и оставила мне свет. А тогда надо забираться за занавеску, чтобы не видели огня, и прислушиваться к малейшему шуму, чтобы все спрятать в постель, если придут. Хотела бы я, чтобы вы все это видели! Вы бы поняли, что нужно уж очень крепко любить, чтобы все это делать. Словом, святая правда, что я делаю все возможное и хотела бы иметь возможность делать еще больше.

Конечно же, я не отказываюсь говорить вам, что люблю вас и всегда буду любить. Никогда я не говорила этого чистосердечнее, а вы сердитесь! А ведь вы уверяли меня до того, как я это сказала, что этих слов вам было бы достаточно для счастья. Вы не можете отрицать: так написано в ваших пись-

мах. Хоть их у меня сейчас и нет, но я помню их так, словно перечитываю каждый день. А вы из-за того, что мы в разлуке, стали думать иначе! Но, может быть, разлука наша — не навсегда? Боже, как я несчастна, и причина тому — вы!..

Кстати, о ваших письмах: надеюсь, вы сохранили те, которые мама забрала у меня и переслала вам; наступит же день, когда я не буду так стеснена, как сейчас, и вы мне все их вернете. Как я буду счастлива, когда смогу хранить их всегда и никто не сможет найти в этом ничего дурного! Новые ваши письма я возвращаю господину де Вальмону, иначе можно попасть в беду; несмотря на это, всякий раз, как я их ему отдаю, мне ужасно больно.

Прощайте, мой дорогой друг. Я люблю вас всем сердцем. Надеюсь, что теперь вы уже не сердитесь, и будь я в этом уверена, то и сама бы не грустила. Напишите мне как можно скорее, ибо я чувствую, что до тех пор не перестану грустить.

Из замка ***, 21 сентября 17...

ПИСЬМО 83

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Молю вас, сударыня, возобновим наш так давно прерванный разговор! Пусть же дано мне будет окончательно доказать вам, насколько отличаюсь я от того гнусного портрета, который вам с меня написали, а главное, пусть дано мне будет и дальше пользоваться милым доверием, которое вы начали мне оказывать! Какое очарование умеете вы придавать добродетели! Какими прекрасными представляете вы все благородные чувства и как заставляете их любить! Ах, в этом ваше главное очарование. Оно сильнее всех других. Только оно и властно покоряет, и в то же время внушает почтение.

Разумеется, достаточно увидеть вас, чтобы захотеть вам понравиться, достаточно услышать вас в обществе, чтобы желание это усилилось. Но тот, кому выпало счастье узнать вас ближе, кто хоть изредка может заглянуть вам в душу, отдается вскоре более благородному пылу и, проникнувшись не только любовью, но и благоговением, поклоняется в вашем лице образу всех добродетелей. Может быть, более, чем кто другой, был я создан, чтобы любить их и следовать за ними, хотя некоторые заблуждения и отдалили меня от них. Вы снова приблизили меня к ним, вы снова заставили меня ощутить их прелесть. Неужто сочтете вы преступной эту вновь обретенную любовь?

Осудите ли дело своих же рук? Упрекнете ли себя за участие, которое могли к нему проявить? Какого зла можно опасаться от столь чистого чувства и неужто не сладостно его вкусить?

Любовь моя вас пугает? Вы считаете ее бурной, неистовой? Укротите ее более нежной любовью. Не отказывайтесь от власти, которую я вам предлагаю, которой обязуюсь вечно покоряться и которая — смею в это верить — отнюдь не несовместима с добродетелью. Какая жертва покажется мне слишком тягостной, если я буду уверен, что сердце ваше знает ей цену? Есть ли человек настолько несчастный, чтобы не суметь наслаждаться лишениями, которым он сам себя подверг, и чтобы не предпочесть одного слова, одного добровольно данного ему взгляда всем наслаждениям, которые он мог бы взять силой или обманом? И вы подумали, что я такой человек! И вы меня опасались! Ах, почему не зависит от меня ваше счастье? Как отомстил бы я вам, сделав вас счастливой! Но бесплодная дружба не дарит этой власти: ею мы обязаны одной только любви.

Это слово пугает вас? Но почему? Более нежная привязанность, более тесный союз, единство мысли, общее счастье, как и общие страдания,— разве есть во всем этом что-либо чуждое вашей душе? А ведь именно такова любовь, во всяком случае та, которую вы внушаете и которую я ощущаю. Но прежде всего она, бескорыстно взвешивая наши деянья, умеет судить о них по их истинному достоинству, а не по рыночной ценности. Она — неисчерпаемое сокровище чувствительных душ, и все, содеянное ею или ради нее, становится драгоценным.

Что же страшного в этих истинах, которые так легко уразуметь и так сладостно осуществлять в жизни? И какие же опасения может вызвать у вас чувствительный человек, которому любовь не позволяет и представить себе иного счастья, кроме вашего? Ныне это единственное мое желание: чтобы оно исполнилось, я готов пожертвовать всем, исключая чувство, которым оно вызвано, а раздели вы это чувство — и вы станете руководить им по своему усмотрению. Но не допустим же, чтобы оно отдаляло нас друг от друга, когда ему надлежало бы нас соединять. Если предложенная вами дружба не пустое слово, если, как вы мне вчера говорили, это самое нежное из чувств, доступных вашей душе, пусть оно и будет основой нашего соглашения; я не отвергну его власти, но, будучи судьей любви, пусть оно согласится выслушать любовь: отказ здесь был бы несправедливостью, а дружбе несправедливость чужда.

Для второго нашего разговора встретится не больше препятствий, чем для первого; эту возможность нам мог бы пре-

«Опасные связи»
А. Фрагонар

доставить случай, и вы сами могли бы назначить подходящее время. Я готов поверить, что не прав. Но неужто вы не предпочтете вразумить меня вместо того, чтобы изгонять, и неужто вы сомневаетесь в моей покорности? Если бы не докучное появление третьего лица, я, возможно, уже вполне согласился бы с вами. Кто знает, как далеко может простираться ваша власть?

Признáюсь ли вам? Эта неодолимая власть, которой я предаюсь, не осмеливаясь ее измерить, это непобедимое очарование, которое сделало вас владычицей моих мыслей и поступков,— иногда я начинаю их бояться. Увы! Не мне ли опасаться беседы, о которой я вас прошу? Может быть, потом, связанный обещаниями, я обречен буду сгорать от любви, которая — я это чувствую — не сможет угаснуть, не дерзнув воззвать к вам о помощи! Ах, сударыня, будьте милосердны, не злоупотребляйте своей властью. Но что я говорю! Любые страдания мои, если вы от них станете счастливее и будете считать меня более достойным вас, облегчит эта утешительная мысль! Да, я чувствую, что поговорить с вами еще раз означает дать вам против меня еще более сильное оружие и еще полнее отдаться на вашу волю. Легче сопротивляться вашим письмам. Они, конечно, то же, что ваши речи, но тут нет вас самой, ибо ведь ваше присутствие и придает им настоящую силу. Однако радость слышать ваш голос заставляет меня презирать эту опасность. У меня, по крайней мере, останется счастливое сознание, что я все для вас сделал, даже во вред себе, и жертвы, мною принесенные, будут выражением моего благоговения. Я был бы беспредельно счастлив доказать вам тысячью способов,— как я на тысячу ладов чувствую,— что вы являетесь и навеки останетесь, даже больше, чем я сам, существом, наиболее дорогим моему сердцу.

Из замка ***, 23 сентября 17...

ПИСЬМО 84

От виконта де Вальмона к Сесили Воланж

Вы видели, как нам вчера мешали. В течение всего дня я не мог передать вам письмо, которое для вас получил. Не знаю, будет ли это легче сделать сегодня. Боюсь подвести вас, проявив больше стараний, чем ловкости, и не прощу себе какой-либо неосторожности, которая станет для вас роковой и, сделав вас навеки несчастной, приведет в отчаяние моего друга. Мне, однако, хорошо известно, как нетерпелива любовь. Я понимаю, как должна быть тягостна в вашем положении малей-

шая отсрочка в получении единственного доступного для вас теперь утешения. Непрестанно размышляя, какими способами можно было бы одолеть препятствия, я придумал один, который легко осуществим, если и вы приложите некоторые старания.

Насколько мне удалось заметить, ключ от вашей двери, выходящей в коридор, всегда находится на камине в комнате вашей матушки. Вы сами понимаете, что завладей мы этим ключом — и все сразу станет легко. Но за неимением этого я раздобуду для вас второй, точно такой же. Для этого мне достаточно будет получить в свое распоряжение на час-другой тот первый ключ. Вам, конечно, легко представится случай взять его, а чтобы не заметили его отсутствия, прилагаю другой, принадлежащий мне ключ, довольно похожий на тот; тогда разницы не заметят, если, конечно, не станут его пробовать, чего, однако, не случится. Нужно только, чтобы вы привязали к нему голубую ленточку, продернув ее таким же образом, как она продернута на вашем.

Надо постараться добыть этот ключ завтра или послезавтра к моменту, когда сядут за утренний завтрак. Тогда вам будет легче передать мне его, и он сможет быть положен на место уже к вечеру, то есть ко времени, когда ваша матушка, возможно, могла бы обратить на него больше внимания, чем обычно. Я мог бы вернуть его вам перед самым обедом, если мы хорошо обо всем договоримся.

Вы знаете, что, когда мы направляемся из гостиной в столовую, позади всех идет госпожа де Розмонд. Она будет идти под руку со мной. Вам надо будет только помешкать за своими пяльцами или же обронить что-нибудь, чтобы задержаться: тогда вы сможете взять ключ, который я буду держать в руке, заложенной за спину. Только не забудьте тотчас же после того, как возьмете ключ, подойти к моей тетушке и как-нибудь приласкаться к ней. Если вы случайно оброните ключ, не теряйтесь: я сделаю вид, что обронил его я, и отвечаю за все.

Вообще же эту маленькую хитрость вполне оправдывает недоверие вашей матушки к вам и ее суровое обращение с вами. К тому же это единственный способ получать и впредь письма Дансени и передавать ему ваши. Всякие другие способы были бы действительно крайне опасны и могли бы безвозвратно погубить вас обоих. Осторожность и дружеские чувства к вам не дозволяют мне пользоваться ими в дальнейшем.

Раз уж мы будем иметь ключ, нам останется лишь принять кое-какие меры против скрипа двери и ключа в замке, но это дело простое. Под тем же шкафом, куда я прятал для вас

бумагу, вы найдете склянку с маслом и перо. Иногда вы захóдите к себе в комнату в такие часы, когда бываете там совсем одна; надо воспользоваться этим и смазать замок и дверные петли. Только позаботьтесь о том, чтобы не наделать пятен, которые могут вас выдать. Следует также подождать наступления ночи, ибо если все будет сделано с должной осмотрительностью, на которую вы вполне способны, утром уже никто ничего не заметит.

Если же все это будет замечено, говорите, не колеблясь, что сделал это полотер замка. В этом случае надо будет точно указать время и даже передать ваш с ним разговор — например, сказать, что он хотел предохранить от ржавчины замки, которыми не пользуются. Вы сами понимаете, что было бы неправдоподобно, если бы все это делалось в вашем присутствии, а вы бы не спросили, в чем дело. Ведь как раз мелкие подробности способствуют правдоподобию, а правдоподобие охраняет ложь от неприятных последствий, так как не вызывает никакой потребности что-либо проверять.

После того как вы прочтете это письмо, прошу вас перечитать его и даже обдумать. Прежде всего, надо основательно знать то, что собираешься основательно сделать, а затем для того, чтобы убедиться, что я ничего не упустил. Непривычный хитрить в своих личных интересах, я не имею в таких делах большого опыта. И нужны были по меньшей мере моя горячая дружба к Дансени и сочувствие, которое вы мне внушаете, чтобы я решился пользоваться подобными средствами, сколь бы невинными они ни были. Мне ненавистно все, что напоминает обман, такой уж у меня характер... Но несчастья ваши до того растрогали меня, что я все сделаю для того, чтобы их облегчить.

Вы хорошо понимаете, что раз уж между нами установится возможность постоянного общения, мне гораздо легче будет устроить вам с Дансени свидание, которого он так добивается. Однако пока вы ему обо всем этом не сообщайте. Он только станет нетерпеливее, а между тем возможность удовлетворить его нетерпение все же еще не наступила. По-моему, вы должны не раздражать его, а успокаивать. Полагаюсь в этом отношении на вашу душевную тонкость. Прощайте, моя прелестная подопечная, ибо я теперь как бы ваш опекун. Полюбите хоть немного своего опекуна, а главное, будьте ему послушны,— и вы от этого лишь выиграете. Я забочусь о вашем счастье и, верьте мне, найду в этих заботах и свое.

Из ***, 24 сентября 17...

ПИСЬМО 85

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Наконец-то вы успокоитесь, а главное — отдадите мне должное. Слушайте же и не смешивайте меня с другими женщинами. Я довела до конца свое приключение с Преваном. *До конца!* — понимаете ли вы, что это значит? Теперь вы сможете рассудить, кто же из нас — он или я — имеет право хвалиться. Рассказ об этом будет не так забавен, как сама история. Но было бы даже несправедливо, если бы вы, только рассуждавший — удачно или неудачно — обо всем этом, получили такое же удовольствие, как я, отдавшая этому делу столько времени и стараний.

Впрочем, если вы задумали какое-нибудь большое предприятие, если вы намереваетесь осуществить какой-нибудь замысел, при котором вы имели бы основание опасаться этого соперника, приезжайте. Он оставил вам открытым поле битвы, во всяком случае на некоторое время. А может быть, он и никогда не оправится от удара, который я ему нанесла.

Как повезло вам, что вы имеете такого друга, как я! Я для вас добрая фея. Вы томитесь вдали от прельстившей вас красавицы — я произношу одно слово, и вот вы уже подле нее. Вы хотите отомстить женщине, которая вам вредит,— я указываю, куда нанести удар, и отдаю ее в полную вашу власть. Наконец, когда вам нужно удалить с ристалища опасного соперника, вы взываете ко мне же, и я снисхожу. Право же, если вы не благодарите меня всю свою жизнь, значит, вам чужда признательность. Но возвращаюсь к своему приключению и расскажу о нем с самого начала.

Свидание, назначенное так громко при выходе из Оперы [1], было принято. Преван явился, и когда маршальша любезно сказала ему, что она очень рада видеть его два раза подряд в свои приемные дни, он не преминул ответить, что со вторника он только и делал, что перетасовывал часы своих визитов, чтобы освободить себе сегодняшний вечер. *Имеющий уши да слышит!* Так как мне хотелось с полной точностью знать, являюсь ли именно я объектом этого лестного усердия, я решила заставить нового воздыхателя сделать выбор между мною и его главной страстью и заявила, что не стану играть. И действи-

---

[1] См. письмо 74.

тельно, он, со своей стороны, нашел тысячи предлогов, чтобы тоже не играть, и, таким образом, первая победа одержана была мною над ландскнехтом.

Для разговора я завладела епископом ***ским. Выбор мой остановился на нем из-за близости его с героем дня, которому я всячески старалась облегчить возможность подойти ко мне. Мне также очень удобно было иметь уважаемого всеми свидетеля, который в случае необходимости мог бы дать показания о моем поведении и речах. Все устроилось отлично.

После первых неопределенных и обычных фраз Преван вскоре завладел разговором и стал придавать ему то один, то другой тон, ища того, который бы мне понравился. Я отказалась от чувствительного тона, заявив, что не верю в чувства, и серьезностью своей сдержала его веселость, показавшуюся мне для начала слишком легкомысленной. Тогда он ударился в заботливо-дружеский тон, и под этим затрепанным знаменем начали мы вести атаку друг против друга.

Ужинать епископ не пошел. Руку мне, следовательно, предложил Преван, который, естественно, очутился и за столом рядом со мной. Надо отдать ему справедливость, он с большим искусством поддерживал наш с ним частный разговор, делая в то же время вид, будто занят лишь общей беседой и вдобавок принимает в ней главное участие. За десертом зашла речь о новой пьесе, которую должны были давать в ближайший понедельник во Французском театре. Я высказала некоторое сожаление, что у меня там нет ложи. Он предложил мне свою, от чего я, как принято, сперва отказалась. На это он довольно забавно ответил, что я его не поняла, что он не пожертвовал бы своей ложей лицу малознакомому, а только хотел предупредить меня, что ею будет располагать маршальша. Она благосклонно приняла эту шутку, и я согласилась.

Когда все снова поднялись в гостиную, он, как вы сами понимаете, попросил и для себя место в ложе. Маршальша, которая всегда очень добра к нему, обещала допустить его, *если он будет умником.* Он ухватился за эти слова и завел одну из тех двусмысленных бесед, за блестящую способность к которым вы его так хвалили. Действительно, примостившись у ее колен, как послушный мальчик, по его собственному выражению — для того, чтобы спрашивать у нее советов и умолять о наставлениях,— он наговорил кучу лестных вещей, не лишенных и нежности; мне нетрудно было принять их на свой счет. Так как после ужина кое-кто перестал участвовать в игре, разговор стал более общим и менее для нас интересным. Зато глаза наши

говорили весьма красноречиво. Я говорю — наши глаза, но должна была бы сказать — его, ибо мои выражали только одно — удивление. По-видимому, он думал, что я удивлялась ему и поглощена была исключительно произведенным им на меня необычайным впечатлением. Кажется, он остался вполне удовлетворен. Я была не менее довольна.

В следующий понедельник я, как и было условлено, отправилась во Французский театр. Хотя вы и увлекаетесь литературой, я ничего не могу сказать вам о представлении, кроме того, что у Превана необычайное искусство улещивать и что пьеса провалилась. Вот все, что я узнала в театре. Мне жаль было, что этот вечер, который мне так понравился, идет к концу, и, чтобы продолжить его, предложила маршальше поужинать у меня, что дало мне возможность предложить то же самое любезному льстецу, который попросил только дать ему время съездить к графине де П *** [1] и освободиться от обещания быть у них. Когда он произнес это имя, меня вновь охватил гнев. Я сразу сообразила, что он начнет свои признания, но припомнила ваши мудрые советы и дала себе слово... продолжать приключение в полной уверенности, что излечу его от этой опасной нескромности.

В собравшемся у меня обществе, в этот вечер немногочисленном, он был чужим и должен был оказывать мне обычные знаки внимания. Поэтому, когда пошли ужинать, он предложил мне руку. Принимая ее, я имела коварство постараться, чтобы моя рука слегка дрогнула, и идти рядом с ним, опустив глаза и глубоко вздыхая. Я напустила на себя такой вид, будто предчувствую свое поражение и опасаюсь победителя. Он это отлично заметил, предатель, и тотчас же изменил тон и манеру себя держать. Он был любезным, а теперь стал нежным. Не в том дело, что речи наши сколько-нибудь заметно изменились — в данных обстоятельствах это было бы невозможно,— но взгляд его, сделавшись менее живым, стал более ласкающим, голос приобрел мягкость, улыбка из проницательной превратилась в удовлетворенную. Наконец, и в речах его огонь насмешки, остроумие уступили место чувствительности. Скажите мне, можно ли было действовать лучше?

Я со своей стороны впала в задумчивость, и притом настолько, что окружающие это заметили. Когда же меня в этом упрекнули, я имела ловкость защищаться довольно неловко и бросить на Превана взгляд быстрый, но робкий и растерян-

[1] См. письмо 70.

ный — так, чтобы он подумал, что боюсь я только одного: как бы он не разгадал причину моего смущения.

После ужина, воспользовавшись тем, что добрая маршальша начала рассказывать одну из своих вечных историй, я раскинулась на оттоманке в небрежной позе, свойственной нежной мечтательности. Я ничего не имела против того, чтобы Преван увидел меня в таком положении, и он, действительно, удостоил меня особым вниманием. Вы сами понимаете, что робкие мои взоры не осмеливались встречаться с глазами моего победителя. Но когда я обратила их к нему более смиренным образом, они вскоре открыли мне, что я добилась впечатления, которое хотела произвести. Оставалось еще убедить его, что и я разделяю это впечатление. Поэтому, когда маршальша объявила, что собирается уезжать, я воскликнула мягким и нежным голоском: «Ах, боже мой, мне было здесь так хорошо!» Все же я встала, но, прежде чем расстаться с ней, спросила о ее планах на ближайшие дни, чтобы иметь предлог поговорить о моих и оповестить кого следует, что послезавтра буду находиться дома. На этом все разошлись.

Тут я принялась размышлять. Я не сомневалась в том, что Преван обязательно воспользуется свиданием, которое я ему вроде как бы назначила, что он явится достаточно рано, чтобы застать меня одну, и что нападение будет энергичным. Но я была также уверена, что благодаря моей репутации он не будет вести себя с тем легкомыслием, которое человек мало-мальски воспитанный позволяет себе лишь с искательницами приключений и женщинами совершенно неопытными, и успех казался мне обеспеченным, если он произнесет слово «любовь» и в особенности если он станет добиваться, чтобы его произнесла я.

Как удобно иметь дело с вами, людьми, у которых есть *твердо выработанные правила поведения!* Порой какой-нибудь сумасбродный поклонник то смутит своей робостью, то приведет в замешательство своим бурным пылом,— это ведь своего рода лихорадка с ознобом, жаром, имеющая иногда и другие симптомы. Но ваши размеренные шаги так легко угадать! Появление, манеру держаться, тон, разговоры — я все знала еще накануне. Поэтому не стану передавать вам нашей беседы — вы ее легко воссоздадите. Отметьте только, что, изображая сопротивление, я помогала ему изо всех сил: терялась, чтобы он мог разговориться, приводила жалкие доводы, чтобы их было легко опровергнуть, проявляла страх и подозрительность, чтобы слышать беспрестанные заверения. А неизменный его припев:

«Я прошу у вас только одного слова», и мое молчание, которое как будто заставляло его выжидать лишь для того, чтобы он сильнее ощутил желание, и в продолжение всего этого — рука моя, которую он сто раз хватает и которую я столько же раз вырываю, не отказывая в ней по-настоящему... Так можно провести целый день. Мы провели один смертельно скучный час и, может быть, еще и теперь занимались бы тем же самым, если бы не услышали, как ко мне во двор въезжает карета. Эта своевременная помеха, естественно, сделала его настойчивее, я же, видя, что наступает момент, когда меня уже нельзя будет поймать врасплох, глубоко вздохнула в качестве подготовки, а затем обронила драгоценное слово. Пришли доложить о гостях, и вскоре у меня собрался довольно многочисленный круг знакомых.

Преван попросил разрешения прийти завтра утром, и я дала согласие, но, позаботившись о защите, велела горничной в продолжение всего его визита оставаться в моей спальне, откуда, как вы знаете, видно все, что происходит в туалетной, а приняла я его именно там. Имея возможность вполне свободно говорить и охваченные оба одним и тем же желанием, мы скоро пришли к полному согласию, но надо было избавиться от докучной свидетельницы, и тут-то я его и подстерегла.

Нарисовав ему на свой лад картину моей домашней жизни, я без труда убедила его, что мы никогда не найдем свободной минутки и что та, которой мы воспользовались вчера, была настоящим чудом, да и тогда мне, в сущности, нельзя было подвергаться такой опасности — ведь ко мне в гостиную в любой миг кто-нибудь мог войти. Не преминула я и добавить, что все эти порядки установились оттого, что до последнего времени они мне нисколько не мешали, и настаивала на полной невозможности изменить их, не скомпрометировав себя в глазах моих слуг. Он попробовал напустить на себя скорбный вид, сердиться, говорить мне, что я мало его люблю, и вы сами понимаете, как меня это все ужасно трогало. Но тут, желая нанести решительный удар, я призвала на помощь слезы. Ну, в точности — «Вы плачете, Заира?» Власть надо мной, которой он в своем воображении обладал, и надежда, пользуясь этой властью, погубить меня в любой миг — заменили ему всю любовь Оросмана.

Разыграв эту сцену, мы вернулись к вопросу, как же нам быть. Так как днем мы располагать не могли, то обратились к ночи. Но тут непреодолимым препятствием оказался мой швейцар, а попытаться подкупить его я не разрешала. Он предложил

воспользоваться калиткой моего сада, но, предвидя это, я придумала собаку, которая днем вела себя спокойно и не лаяла, зато ночью превращалась в настоящего демона. Я входила во все эти подробности так охотно, что он совсем осмелел и предложил мне самый нелепый из способов. На него-то я и согласилась.

Прежде всего он заявил, что на слугу его можно положиться, как на него самого. Тут он говорил правду — один другого стоит. Я собираю гостей на званый ужин, он на нем присутствует и устраивается так, чтобы уйти в одиночестве. Находчивый и верный слуга позовет карету, откроет дверцу, а он, Преван, вместо того чтобы войти в карету, ловко улизнет. Кучер не имел бы никакой возможности заметить это. Таким образом, для всех он удалился бы от меня, на самом же деле остался бы, и теперь надо было только решить, как ему пробраться в мою спальню. Признаюсь, что сперва я затруднялась, как мне выдвинуть против этого плана доводы достаточно нелепые, чтобы он не сомневался, что успешно опроверг их. Он возражал, приводя примеры. Послушать его, так это было самое обычное средство: и сам он им часто пользовался, даже чаще всего как наименее опасным!

Покоренная его неопровержимыми доводами, я чистосердечно призналась, что у меня в доме очень близко от моего будуара есть потайная лестница; я могу оставить в дверях будуара ключ, а ему легко будет запереться там и ждать, не подвергая себя особому риску, пока мои горничные уйдут спать. Затем, чтобы мое согласие показалось более правдоподобным, я через минуту пошла на попятный и вновь согласилась лишь под условием полнейшей покорности с его стороны, благоразумия... Ах, такого благоразумия! Словом, доказать ему *свою* любовь я соглашалась, но так, чтобы не удовлетворить *его* любви.

Забыла сказать вам, что уйти от меня он должен был через садовую калитку. Надо было лишь дождаться рассвета: тогда цербер и не пикнет. В этот час никто не входит и не выходит, люди мои спят мертвым сном. Если вас удивит эта куча бессмыслиц, то вспомните о наших с ним настоящих взаимоотношениях. Зачем нам было рассуждать умнее? Он только и хотел, чтобы все об этом узнали, я же была уверена, что никто ничего не узнает. Свидание назначено было через день.

Заметьте, что дело наше уже совсем налажено, а между тем никто не видел Превана в моем обществе. Я встречаюсь с ним за ужином у одной из своих приятельниц, он предлагает

ей воспользоваться его ложей на представлении новой пьесы, а я принимаю ее приглашение в эту ложу. Затем я со своей стороны приглашаю ее отужинать у меня, приглашаю во время спектакля и в присутствии Превана, так что даже как будто нельзя не пригласить и его. Он принимает мое приглашение, а затем через два дня наносит мне, как принято в обществе, визит. Правда, он приехал ко мне и на следующее утро. Но, во-первых, утренние визиты не считаются, а во-вторых, лишь от меня зависит счесть это излишней вольностью, и действительно, я причисляю Превана к кругу лиц, не слишком со мной близких, ибо посылаю ему письменное приглашение на званый ужин. Я могу сказать, как Аннетта: «Вот, однако, и всё!»

Наступил роковой день, день, когда мне предстояло потерять свою добродетель и репутацию. Я дала все указания своей верной Виктуар, и, как вы сейчас увидите, она их выполнила.

Настал вечер. У меня собралось уже много народа, когда доложили о Преване. Я приняла его с подчеркнутой учтивостью, явно свидетельствующей, как мало мы с ним связаны, и усадила за игру вместе с маршальшей, как той, через кого я с ним познакомилась. В течение вечера не произошло ничего особенного, кроме разве того, что осторожный поклонник изловчился передать мне записку, которую я по своей привычке сожгла. В ней говорилось, что я могу на него рассчитывать, и это существенное сообщение было окружено ничего не значащими словами насчет любви, счастья и т. п.; слова эти в подобных торжественных случаях никогда не заставляют себя ждать.

В полночь, когда игра за всеми столами кончилась, я предложила коротенький маседуан[1]. При этом у меня была двойная цель: дать возможность Превану ускользнуть и сделать так, чтобы это было замечено, что обязательно должно было случиться, принимая во внимание его репутацию игрока. Меня также очень устраивало, чтобы все могли в случае необходимости припомнить, что я отнюдь не торопилась остаться одна.

Игра затянулась дольше, чем я рассчитывала. Бес искушал меня, и я едва не поддалась желанию поскорее утешить нетерпеливого пленника. И я уже шла навстречу гибели, как вдруг

[1] Возможно, кое-кто и не знает, что маседуаном называется соединение нескольких азартных игр, в которых каждый, кому приходит черед сдавать карты, выбирает ту игру, какая ему по вкусу. Это одно из изобретений нашего века.

меня осенило, что, раз отдавшись ему, я уже настолько потеряю над ним власть, что не смогу принудить его оставаться все время одетым по всем правилам приличия, а для моих планов это было совершенно необходимо. Я уже было поднялась, но тут не без раздражения снова заняла свое место за этой нескончаемой игрой. Однако вот она и кончилась, и все разошлись. Я позвонила своим служанкам, поскорее разделась и быстро отослала их.

Представляете вы себе, виконт, меня в легком ночном туалете, идущей робкими, осторожными шагами открыть дрожащей рукой дверь своему победителю? Он увидел меня — удар молнии не бывает стремительнее! Что вам сказать? Я была побеждена, совсем побеждена, не успела и слова сказать, чтобы остановить его и защититься. Затем он пожелал устроиться более удобным и подходящим к случаю образом. Он проклинал свое одеяние, которое, как он уверял, отдаляло его от меня. Он хотел сразиться со мною равным оружием, но моя крайняя робость воспротивилась этому, а нежные мои ласки не дали ему времени. Он занялся другим.

Теперь права его удвоились и притязания тоже возобновились. Но тут я произнесла: «Послушайте-ка, что я вам скажу: до сих пор вы могли бы рассказать обеим графиням де П*** и еще многим другим очень занятную историю. Но мне любопытно знать, как вы станете рассказывать конец приключения?» И с этими словами я принялась изо всех сил звонить. Теперь настала моя очередь, и действия мои были быстрее его слов. Он еще только бормотал что-то, когда я услышала, как ко мне бежит Виктуар, громко скликая слуг, которых она собрала у себя, как я ей велела. Тогда, возвысив голос, я продолжала тоном королевы: «Выйдите вон, сударь, и никогда больше не показывайтесь мне на глаза!» Как раз в этот момент и вошла толпа моих слуг.

Бедняга Преван потерял голову и, сочтя западней то, что, в сущности, было не более, чем шуткой, схватился за шпагу. Но сделал это на свою беду, ибо мой лакей, храбрый и сильный парень, охватил его поперек туловища и повалил. Тут я, признаюсь, смертельно перепугалась. Я закричала, чтобы ему не причиняли вреда, дали свободно уйти, но только убедились бы, что он ушел из дома. Слуги повиновались, но между ними поднялся ропот: они возмущены были, что кто-то осмелился покуситься *на их добродетельную госпожу*. Все, как я и хотела, пошли с шумом и угрозами выпроваживать злосчастного кавалера. Со мной осталась одна Виктуар, и мы поспешили привести

в порядок мою постель. Слуги снова поднялись ко мне, продолжая шумно возмущаться, а я, *все еще взволнованная,* стала расспрашивать их, каким чудом оказалось, что они еще не спали, и Виктуар сообщила мне, что она пригласила к ужину двух приятельниц, они у нее засиделись, словом, все то, о чем мы с ней заранее условились. Я поблагодарила их всех и велела им идти спать, послав, однако, одного из них привести немедленно врача. Я решила, что имею основание опасаться последствий *своего смертельного испуга,* и к тому же это был верный способ дать новости шумную и широкую огласку.

Врач явился, весьма посочувствовал мне и прописал отдых. Я же вдобавок велела Виктуар с самого раннего утра судачить о случившемся по соседству.

Все так превосходно удалось, что еще до полудня и как только у меня в доме начался день моя набожная соседка уже сидела у моего изголовья, чтобы узнать всю правду об этом приключении и все его подробности. Битый час была я вынуждена сокрушаться вместе с нею об испорченности нашего века. Через минуту мне принесли записку от маршальши, которую я прилагаю к этому письму. Наконец, около пяти часов, к моему великому изумлению, появился М *** [1]. По его словам, он приехал извиниться за то, что офицер, служащий под его начальством, осмелился так оскорбить меня. Он узнал об этом только на обеде у маршальши и тотчас же послал Превану приказание находиться под арестом. Я стала просить о его помиловании, но мне было в этом отказано. Тогда я решила, что в качестве сообщницы сама должна наложить на себя наказание и хотя бы пребывать в строгом заключении. Я велела никого не принимать и всем говорить, что больна.

Этим длинным письмом вы как раз и обязаны моему одиночеству. Я напишу также госпоже де Воланж. Она, конечно, прочтет письмо мое вслух, и вы познакомитесь с этой историей в том виде, в каком ее следует рассказывать.

Забыла сказать вам, что Бельрош считает себя тоже оскорбленным и во что бы то ни стало хочет драться с Преваном. Бедняга! К счастью, у меня будет время успокоить его горячую голову. Пока же я дам отдых своей голове, уставшей от писания. Прощайте, виконт.

Из замка ***, 25 сентября 17.., вечером.

---

[1] Командир части, в которой служил господин де Преван.

ПИСЬМО 86

*От маршальши де *** к маркизе де Мертей*
(Записка, вложенная в предыдущее письмо)

Боже мой, что я слышу, дорогая маркиза? Возможно ли, чтобы этот маленький Преван совершил подобные гнусности, да еще в отношении вас? Чему только не приходится подвергаться! Даже у себя в доме нельзя чувствовать себя в безопасности. Поистине, такие происшествия могут примирить со старостью! Но с чем я никогда не примирюсь, так это с одним: я сама до некоторой степени явилась виновницей того, что вы стали принимать это чудовище. Обещаю вам, если все то, что о нем говорят,— правда, он не переступит больше порога моего дома. И так должны будут поступить с ним все порядочные люди, если они захотят поступать, как должно.

Мне передавали, что вы очень плохо себя чувствуете, и я крайне обеспокоена состоянием вашего здоровья. Прошу вас, дайте о себе дорогую для меня весточку или пришлите кого-нибудь из ваших служанок, если сами вы не в состоянии будете написать... Я прошу у вас только одного слова, чтобы мне быть спокойной. Я бы сама приехала к вам нынче утром, если бы не мои ванны, которых врач не разрешает мне прерывать, и, кроме того, сегодня днем придется поехать в Версаль все по тому же делу моего племянника.

Прощайте, дорогая маркиза, верьте в мою вечную и искреннюю дружбу.

Париж, 25 сентября 17...

ПИСЬМО 87

От маркизы де Мертей к госпоже де Воланж

Пишу вам, лежа в постели, мой дорогой, добрый друг. Случилось крайне неприятное и совершенно непредвиденное происшествие, которое потрясло и опечалило меня так, что я заболела. Разумеется, себя мне упрекнуть не в чем, но женщине, привыкшей блюсти приличную своему полу скромность, всегда так неприятно привлекать к себе внимание общества, что я отдала бы все на свете за то, чтобы избежать этого злосчастного происшествия. Не знаю, может быть, в конце концов приму

решение уехать в деревню и жить там, пока о нем позабудут. Вот что произошло.

Я познакомилась у маршальши де *** с неким господином де Преваном, о котором вы, наверно, слыхали, да и я знала его понаслышке. Но, встретив его в таком доме, я, кажется мне, имела основания считать его принадлежащим к хорошему обществу. Внешность у него довольно приятная, и он мне показался неглупым. Случайно, не желая участвовать в игре, я оказалась единственной женщиной между ним и епископом *** ским, в то время как все другие заняты были ландскнехтом. Мы беседовали втроем до ужина. За столом речь зашла об одной новой пьесе; он воспользовался этим и предложил маршальше свою ложу — она согласилась, и мы условились, что я тоже там буду. Представление назначено было на прошлый понедельник во Французском театре. Так как маршальша ужинала у меня после театра, я пригласила этого господина составить нам компанию, и он приехал. Через день он явился ко мне с визитом, во время которого велся обычный разговор и ничего примечательного не произошло. На следующий день он опять явился, притом утром, что показалось мне несколько вольным, но я сочла, что лучше будет, если я дам ему это понять не холодным приемом, а проявлю какую-нибудь официальную любезность и тем самым покажу, что мы еще не так близко знакомы, как ему кажется. С этой целью я в тот же день послала ему сухое и очень церемонное приглашение на ужин, который назначен был у меня на позавчера. За весь вечер я и четырех раз к нему не обратилась, он же, со своей стороны, удалился, как только закончилась игра, в которой он участвовал. Согласитесь, что все это ни в малейшей степени не похоже на завязку любовного приключения. После окончания партий мы поиграли еще немного в маседуан, затянувшийся почти до двух часов, и, наконец, я легла.

После ухода моих служанок я еще с полчаса томилась без сна, как вдруг услышала в своей спальне шум. Перепуганная, я откинула занавеску кровати и увидела, как из дверей моего будуара появляется какой-то мужчина. Я пронзительно закричала и тут же, при свете ночника, увидела этого господина де Превана, который с невероятной наглостью сказал, чтобы я не тревожилась, что он сейчас объяснит мне свое загадочное появление и умоляет меня не поднимать шума. С этими словами он зажег свечу. Я была так поражена, что и слова не могла вымолвить. Но не успел он сказать и двух фраз, как я поняла, что́ представляет собой эта пресловутая загадка, и, как вы

можете поверить, единственным моим ответом было схватиться за звонок.

На мое совершенно исключительное счастье, вся прислуга находилась в гостях у одной из моих горничных — никто еще не ложился. Моя горничная, подходя к двери, услышала, что я с кем-то очень запальчиво говорю, испугалась и позвала всех на помощь. Можете себе представить, какой получился скандал! Люди мои пришли в ярость. Один лакей едва не убил Превана. Признáюсь, я тогда обрадовалась, что у меня оказалось много защитников. Но теперь, поразмыслив, я предпочла бы, чтобы пришла только одна горничная. Ее было бы вполне достаточно, и я, может быть, избежала бы огласки этого происшествия, мне до крайности неприятной.

Вместо этого шум разбудил соседей; люди мои стали повсюду болтать, и со вчерашнего дня весь Париж только об этом и судачит. Господин де Преван сидит под арестом по приказу командира своей части, который проявил такое внимание, что приехал ко мне принести, как он выразился, свои извинения. Арест этот вызовет еще больше толков, но я не могла добиться его отмены. Город и двор — все явились ко мне, но я никого не могла принять. Те немногие, кого я видела, говорили, что все мне отдают должное, а негодованию против Превана нет предела. Конечно, он его вполне заслужил, но история эта тем не менее весьма неприятна.

К тому же у этого человека, наверно, имеются друзья, а они, должно быть, злые люди; кто знает, кто может знать, чего только они не выдумают, чтобы мне повредить! Боже мой, какое несчастье быть молодой женщиной! Она еще ничего не достигла, если сумела стать недосягаемой для злословия. Ей надо заставить молчать клеветников.

Пожалуйста, сообщите мне, как бы вы поступили на моем месте, что бы вы сделали,— словом, все, что вы об этом думаете. Ведь это от вас получала я всегда самые ласковые утешения, самые благоразумные советы, и именно от вас они мне особенно дороги.

Прощайте, дорогой, добрый друг. Вы знаете чувства, которые привязывают меня к вам навсегда. Целую вашу милую дочку.

Париж, 26 сентября 17...

ПИСЬМО 88

От Сесили Воланж к виконту де Вальмону

Несмотря на всю радость, которую доставляют мне, сударь, письма кавалера Дансени, и хотя я не менее, чем он, желала бы, чтобы мы с ним могли беспрепятственно увидеться, я не осмелилась сделать то, что вы мне предлагаете. Во-первых, это слишком опасно. Ключ, который вы хотите, чтобы я положила на место того, другого, правда, довольно похож на него, однако различие все же есть, а мама за всем следит, все замечает. К тому же, хотя с тех пор, как мы здесь находимся, им еще не пользовались, может произойти какая-нибудь беда, а если заметят, что ключ подменен, я погибла навеки. А затем, мне все-таки кажется, что это было бы очень дурно — подделать таким образом ключ. Это уж слишком! Правда, вы так добры, что взяли бы это на себя, но тем не менее, если бы все раскрылось, виноватой оказалась бы я: ведь сделали бы вы это ради меня. Наконец, я уже два раза пыталась взять ключ; конечно, это было бы очень легко, если бы речь шла о чем-либо другом, но, не знаю почему, я всякий раз начинала дрожать, и у меня так и не хватило на это мужества. Мне поэтому думается, что лучше уж пусть все остается по-прежнему.

Если вы и впредь будете так же добры и любезны, как были до сих пор, у вас всегда найдется возможность передать мне письмо. Даже в том, что касается последнего письма, все обошлось бы очень удачно, если бы вы, на несчастье, не отвернулись в самый подходящий момент. Я отлично понимаю, что вы не можете, как я, думать только об этом, но я предпочитаю вооружиться терпением, чем так рисковать. Я убеждена, что господин Дансени сказал бы то же самое: ведь всякий раз, когда он хотел чего-нибудь, что мне было очень трудно, он всегда соглашался, чтобы мы этого не делали.

Вместе с этим письмом, сударь, я передам вам ваше письмо, письмо от господина Дансени и ваш ключ. Это нисколько не уменьшает моей благодарности за вашу доброту, и я прошу вас не лишать меня ее и впредь. Ведь, право же, я очень несчастна, а без вас была бы еще несчастнее. Но в конце концов это ведь моя мать, и надо набраться терпения. Лишь бы только господин Дансени любил меня по-прежнему и вы не оставляли бы меня на произвол судьбы, и, может быть, еще наступят лучшие времена.

Остаюсь, сударь, покорнейше преданной вам...

Из ***, 26 сентября 17...

ПИСЬМО 89

От виконта де Вальмона к кавалеру Дансени

Если дела ваши подвигаются не всегда так быстро, как вам хотелось бы, друг мой, то не на меня одного следует вам пенять. Здесь мне приходится преодолевать немало препятствий. И дело не в одной бдительности и строгости госпожи де Воланж. Ваша юная подруга тоже чинит мне препятствия. То ли по холодности, то ли из робости, но она не всегда делает то, что я ей советую, а между тем я, по-моему, уж, наверно, лучше ее знаю, что́ надо делать.

Я нашел простой, удобный и верный способ передавать ей ваши письма и даже облегчить впоследствии желанные вам свидания. Однако я не смог убедить ее воспользоваться им. Мне это тем прискорбнее, что я не вижу иного способа сблизить вас с нею и даже постоянно опасаюсь, как бы и в деле с вашей перепиской мы не попались все трое. Вы, конечно, понимаете, что я не хочу и сам подвергнуться этой опасности и вас обоих подвергнуть ей.

Я был бы, однако, крайне огорчен, если бы недостаток доверия со стороны вашей маленькой подруги помешал мне быть вам полезным. Может быть, вы хорошо сделали бы, если бы написали ей об этом. Подумайте, как вам поступить. Только вам одному и решать: ведь недостаточно служить друзьям, надо служить им на их лад. Это могло бы также дать вам возможность убедиться в ее чувствах к вам, ибо женщина, которая желает сохранить свою волю, любит не так сильно, как уверяет.

Не то, чтобы я сомневался в постоянстве вашей возлюбленной. Но она еще очень юна и смертельно боится своей матушки, которая, как вы знаете, только и делает, что старается вам повредить. И, может быть, было бы даже небезопасно слишком долго не занимать ее вашей особой. Пусть, однако, то, что я вам говорю, не внушает вам каких-то чрезмерных опасений. В сущности, у меня нет поводов к недоверию. Это лишь проявление моей дружеской заботливости.

Я кончаю свое письмо, так как у меня есть и кое-какие личные дела. Я не настолько продвинулся, как вы, но люблю так же сильно, и это меня утешает. А если бы я и не добился успеха для себя, но оказался бы полезен вам, то считал бы, что не потерял времени даром. Прощайте, друг мой.

Замок ***, 26 сентября 17...

ПИСЬМО 90

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Я очень хочу, сударь, чтобы это письмо вас не огорчило. Если же вы все же будете огорчены, то пусть вашу боль смягчит та, которую испытываю я, когда пишу. Теперь вы, наверно, знаете меня достаточно и можете быть вполне уверены, что у меня нет никакого желания причинить вам страдание. Но и вы, конечно, вы тоже не захотели бы погрузить меня в безысходное отчаяние. Во имя нежной дружбы, которую я вам обещала, во имя даже тех, может быть, более горячих, но уж, наверно, не более искренних чувств, которые вы питаете ко мне, заклинаю вас, перестанем видеться. Уезжайте, а пока вы находитесь здесь, будем избегать этих опасных бесед наедине, когда на меня находит непонятное наваждение и, будучи не в состоянии высказать вам все, что хотела бы, я все время слушаю то, чего не должна была бы слушать.

И вчера еще, когда вы подошли ко мне в парке, я хотела лишь одного — сказать вам то, что сейчас пишу. А что я делала? Слушала о вашей любви... вашей любви, на которую не должна отвечать! Ах, молю вас, оставьте меня.

Не бойтесь, что мое отсутствие изменит когда-либо мои чувства к вам: как могла бы я возобладать над ними, если у меня не хватает даже мужества бороться? Вы видите, я вам все говорю. Я меньше опасаюсь признаться в своей слабости, чем уступить ей; но, потеряв власть над своими чувствами, я сохраню ее над поступками. Да, я сохраню ее, таково мое твердое решение, сохраню, даже если бы для этого нужно было пожертвовать жизнью.

Увы! Недавно еще я была уверена, что мне не придется вести такую борьбу. Я радовалась этому, я, может быть, даже слишком тешилась этой мыслью. Небо покарало, жестоко покарало эту гордыню. Но, полное милосердия, оно, даже поражая нас, предупреждает о бездне, в которую мы можем упасть. И я была бы вдвойне виновна, если бы продолжала упорствовать в неблагоразумии, хорошо зная, что сил у меня остается мало.

Сотни раз вы твердили мне, что не хотели бы счастья, купленного ценою моих слез. Ах, не будем уж говорить о счастье, дайте мне вновь обрести хоть немного покоя.

Разве, удовлетворив мою просьбу, вы не приобрели бы новых властных прав на мое сердце? И в этих правах, зиждущихся

щихся на добродетели, я не стала бы вам отказывать. Как бы радовалась я своей благодарности! Я обязана была бы вам наслаждением вкушать без угрызений совести сладостные чувства. Теперь же, напротив, я, напуганная своими чувствами, своими мыслями, в равной степени боюсь думать и о вас, и о самой себе. Одна только мысль о вас приводит меня в ужас. Когда я не могу бежать от нее, то вступаю с нею в борьбу. Я не отдаляю ее, а отталкиваю.

Не лучше ли для нас обоих покончить с этим смятением и тревогой? О, вы, чья душа, неизменно чувствительная, даже посреди заблуждений осталась другом добродетели,— вы сжалитесь над моим горестным положением, вы не отвергнете моей мольбы. Чувство более мягкое, но не менее нежное сменит бурные волнения страсти. Тогда, свободно вздохнув благодаря вашей доброте, я буду радоваться существованию и с умиротворенным сердцем скажу: этим я обязана другу.

Неужто считали бы вы, что слишком дорого купили для меня освобождение от мук, если бы ради этого пошли на кое-какие лишения, которых я от вас не требую, но о которых прошу. Ах, если бы для того, чтобы дать вам счастье, я должна была бы согласиться лишь на то, чтобы стать несчастной, я не колебалась бы ни одного мгновения... Но стать преступной!.. Нет, друг мой, нет, тысячу раз лучше смерть.

Уже снедаемая стыдом, уже готовясь к раскаянию, я опасаюсь и других, и себя самой. Я краснею, находясь в обществе, и трепещу в одиночестве. Жизнь моя — сплошное мучение. И покой мне может вернуть только ваше согласие. Собственных моих решений, даже самых похвальных, уже недостаточно для того, чтобы меня успокоить. Уже вчера приняла я эти решения и тем не менее всю ночь провела в слезах.

Вы видите: ваш друг, та, кого вы любите, смущенная, молящая, просит вас дать ей покой и невинность. О боже! Если бы не вы, разве пришлось бы ей обращаться к кому-нибудь с этой унизительной просьбой! Я ни в чем вас не упрекаю. Мне самой слишком хорошо известно, как трудно противиться властному чувству. Жалоба ведь не ропот. Сделайте из великодушия то, что я делаю из чувства долга,— и ко всем чувствам, которые вы мне внушили, я добавлю еще вечную признательность. Прощайте, сударь, прощайте.

Из ***, 27 сентября 17...

ПИСЬМО 91

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Расстроенный вашим письмом, сударыня, я не знаю даже, как мне на него ответить. Конечно, если надо выбирать между вашим несчастьем и моим, я должен принести себя в жертву, и я готов сделать это без колебаний. Но дело это столь важное, что, мне кажется, оно заслуживает предварительного обсуждения и выяснения. А как это сделать, если нам нельзя будет ни говорить друг с другом, ни видеться?

Подумайте только. Нас связуют самые нежные чувства, а между тем достаточно будет какого-то пустого страха, чтобы разлучить нас и, может быть, навсегда! Тщетно нежная дружба, пламенная любовь станут заявлять свои права — голос их не будет услышан. А почему? Какая близкая опасность грозит вам? Ах, поверьте мне, подобные опасения, притом возникающие даже без всякого повода, сами по себе дают, на мой взгляд, достаточное основание для безопасности.

Позвольте мне сказать, что здесь я усматриваю признаки того неблагоприятного представления обо мне, которое вам внушили. Если уважают человека, то в его присутствии не дрожат, а главное — не гонят от себя того, кого сочли достойным дружеских чувств. Страшатся и избегают человека опасного.

А между тем, был ли когда-нибудь человек более почтительный и покорный, чем я? Вы видите, я уже слежу за собой, я не разрешаю себе употреблять этих имен, столь нежных, столь дорогих моему сердцу, которыми оно не перестает называть вас про себя! Я уже не тот верный и несчастный обожатель, получающий советы и утешения от нежной и чувствительной подруги, я — обвиняемый, представший перед судьей, раб перед лицом господина. В этом новом положении у меня появились, конечно, и новые обязанности, и я даю слово все их выполнять. Выслушайте, и, если вы осудите меня, я подчинюсь и уеду. Я обещаю и больше. Предпочитаете вы деспотизм, который обвиняет, не выслушивая? Чувствуете ли вы в себе мужество быть несправедливой? Прикажите, и я снова подчинюсь.

Но это решение или этот приказ я должен услышать из ваших уст. А почему? — спросите вы в свой черед. Ах, если вы зададите этот вопрос, значит — вы плохо знаете любовь и мое сердце! Разве увидеть вас еще хоть раз — это пустяк? Ах, когда вы внесете отчаяние в мою душу, может быть, ваш взгляд-утешитель не даст ей окончательно погибнуть. Наконец, если я должен отказаться от любви, от дружбы, для которых только и

существую, вы, по крайней мере, увидите дело рук своих, и мне останется ваша жалость. Даже если я не заслужил этой незначительной милости, я все же могу на нее надеяться: ведь я готов заплатить за нее дорогой ценой.

Возможно ли? Вы удаляете меня от себя! Вы, стало быть, согласны на то, чтобы мы стали чужими друг другу? Да что я говорю? Конечно, вы этого хотите, и, уверяя меня, что мое отсутствие не изменит ваших чувств, вы торопите меня с отъездом лишь для того, чтобы вам легче было их совсем уничтожить.

Вы уже говорите о замене их благодарностью. Значит, вы предлагаете мне то, что получил бы от вас любой посторонний человек за самую мелкую услугу, даже ваш враг за то, что он перестал бы вам вредить! И вы хотите, чтобы мое сердце удовлетворилось этим? Но загляните в свое собственное сердце. Если бы ваш возлюбленный или ваш друг пришли к вам когда-нибудь говорить о своей признательности, разве не сказали бы вы с возмущением: уйдите, неблагодарные!

Я умолкаю и молю вас о снисходительности. Простите за порыв скорби, вами же порожденной: она не умалит полной моей покорности вашей воле. Но я заклинаю вас в свою очередь во имя тех же сладостных чувств, к которым и вы взываете, не отказывайтесь выслушать меня и хотя бы из жалости к той смертельной тоске, в которую вы меня погрузили, не отдаляйте этого мгновения. Прощайте сударыня.

Из ***, 27 сентября 17.., вечером.

ПИСЬМО 92

От кавалера Дансени к виконту де Вальмону

О друг мой, ужас оледенил меня, когда я прочел ваше письмо! Сесиль... Боже, возможно ли это? Сесиль больше не любит меня. Да, я вижу эту страшную правду сквозь покров, в который облекло ее ваше дружеское чувство. Вы хотели подготовить меня к этому смертельному удару; благодарю вас за заботу обо мне, но можно ли ввести в заблуждение любовь? Она спешит навстречу тому, что ее волнует, она не узнаёт о своей участи, она угадывает ее заранее. Теперь я уже не сомневаюсь в моей судьбе — говорите со мной без обиняков, вы можете это сделать, я вас об этом прошу. Сообщите мне все: и отчего у вас возникли подозрения, и что их укрепило. Для меня драгоценны и самые ничтожные подробности. Но в особенности постарайтесь

запомнить ее слова. Заменив одно слово другим, можно изменить смысл целой фразы, а порой одно и то же слово имеет два смысла... Может быть, вы ошиблись: увы, я и теперь пытаюсь надеяться. Что именно она вам сказала? Упрекает она меня в чем-либо? Не отрицает она хотя бы и своей вины? Я должен был предвидеть эту перемену — ведь недаром она с некоторых пор во всем находит затруднения. А для любви стольких препятствий не существует.

На что же должен я решиться? Что вы мне посоветуете? Не попытаться ли увидеться с ней? Неужели это так невозможно? Разлука столь жестока, столь пагубна... А она отвергла возможность увидеть меня! Вы не сообщаете мне, что́ это была за возможность. Если действительно опасность была слишком велика, Сесиль знает, что я не хотел бы, чтобы она чрезме́рно рисковала. Но я также знаю вашу осторожность и, к несчастью своему, не могу в ней сомневаться.

Что же мне теперь делать? Как ей написать? Если я дам ей понять, что у меня возникли подозрения, они, может быть, огорчат ее. А если они несправедливы, простит ли она мне обиду? Если же я скрою их от нее, это означает обман, а с ней я притворяться не умею.

Ах, если бы она могла знать, как я страдаю, мои муки тронули бы ее. Я знаю, как она чувствительна. У нее золотое сердце, и у меня тысячи доказательств ее любви. Она чрезмерно робка, легко теряется, но это от того, что она так молода! А мать обращается с ней так сурово! Я напишу ей. Буду держать себя в руках и только попрошу ее во всем довериться вам. Даже если она снова откажет, то уж, во всяком случае, не сможет рассердиться на мою просьбу, а может быть, она и согласится.

Что до вас, друг мой, то приношу вам тысячи извинений и за нее, и за себя самого. Уверяю вас, что она знает цену вашей заботливости и благодарна вам за нее. С ее стороны нет недоверия, только робость. Имейте к ней снисхождение — это ведь самое прекрасное свойство дружбы. Ваша дружба для меня бесценна, и я не знаю, как отблагодарить вас за все, что вы для меня делаете. Прощайте, сейчас я буду писать ей.

Ко мне возвращаются все мои опасения; кто бы мог сказать, что письмо к ней будет мне когда-нибудь стоить такого труда! Увы! Еще вчера это было для меня сладостью и счастьем.

Прощайте, друг мой. Не оставляйте меня и впредь своими заботами и имейте жалость к моей участи.

Париж, 27 сентября 17...

ПИСЬМО 93

От кавалера Дансени к Сесили Воланж
(Приложено к предыдущему)

Не могу скрыть от вас, как был я огорчен, узнав от Вальмона, что вы ему по-прежнему так мало доверяете. Вы же знаете, что он мой друг, что он единственный человек, который может сблизить нас друг с другом. Я полагал, что этого для вас будет достаточно, но с грустью убеждаюсь, что ошибался. Могу я надеяться, что вы хотя бы известите меня о причине? Или, может быть, и тут вы найдете какие-нибудь препятствия, которые помешают вам это сделать? Однако без вашего содействия я не могу разрешить загадку вашего поведения. Я не осмеливаюсь заподозрить вашу любовь, и вы тоже, конечно, не решились бы обмануть мою. Ах, Сесиль...

Неужели вы и впрямь отказались от какой-то возможности увидеть меня. От какого-то способа, *простого, удобного и верного* [1]. Так-то вы меня любите. Наша столь еще краткая разлука весьма изменила ваши чувства. Но зачем обманывать меня? Зачем говорить, что вы любите меня по-прежнему, больше прежнего? Неужели ваша матушка, убив в вас любовь ко мне, уничтожила и ваше чистосердечие? Если она все же оставила в вас хоть немного жалости, вы не сможете без боли узнать об ужасных муках, которые мне причинили. Ах, даже смерть была бы для меня легче.

Скажите мне все же, безвозвратно ли закрыто для меня ваше сердце? Безнадежно ли я забыт? Из-за вашего отказа я даже не знаю, когда дойдут до вас мои жалобы и когда вы на них ответите. Дружеская помощь Вальмона обеспечивала нам переписку, но вы ее не захотели, вы нашли ее тягостной, вы предпочли, чтобы мы реже обменивались письмами. Нет, не могу я больше верить любви, искренности. Да и кому можно верить, если Сесиль меня обманула?

Ответьте же мне: правда ли, что вы меня больше не любите? Нет, это невозможно. Вы сами себя вводите в заблуждение, вы клевещете на собственное сердце. Был мимолетный страх, минута отчаяния, но любовь вскоре рассеяла их — ведь правда, моя Сесиль? Ах, это без сомнения так, и я не имею права обвинять вас. Как счастлив был бы я, если бы оказался

---

[1] Дансени не знает, что́ это за способ,— он просто повторяет выражение Вальмона.

не прав. Как сладостно было бы мне принести вам самые нежные извинения и искупить эту минутную несправедливость целой вечностью любви!

Сесиль, Сесиль, сжальтесь надо мной! Согласитесь повидаться со мной, согласитесь на любые для этого средства! Видите, до чего доводит разлука? Страхи, подозрения, может быть — охлаждение! Но один только взгляд, одно лишь слово, и мы будем счастливы. Но что я говорю? Может ли еще быть речь о счастье? Уж не потеряно ли оно для меня, потеряно навсегда? Истерзанный страхом, мучительно разрываясь между напрасными подозрениями и еще более мучительной правдой, я не могу остановиться ни на одной мысли — живу лишь своим страданием и любовью к вам. Ах, Сесиль, от вас одной зависит сделать мне жизнь милой, и первое же слово, которое вы произнесете и которого я так жду, вернет мне счастье или же повергнет в вечное отчаяние.

Париж, 27 сентября 17...

ПИСЬМО 94

От Сесили Воланж к кавалеру Дансени

Кроме горя, которое причинило мне ваше письмо, я ничего в нем не поняла. Что такое сообщил вам господин де Вальмон и почему вы вообразили, будто я вас больше не люблю? Может быть, это было бы и лучше для меня, так как тогда бы я, наверно, меньше страдала. Очень ведь тяжело, когда я вас так крепко люблю, видеть, что вы всегда считаете меня неправой, и вместо утешения получать от вас только самые для меня мучительные страдания. Вы думаете, что я вас обманываю и говорю вам не то, что есть на самом деле! Хорошего же вы мнения обо мне! Но даже если бы я и была лжива, в чем вы меня упрекаете, то с какой целью стала бы лгать? Уж, наверно, если бы я вас больше не любила, мне стоило бы только сказать об этом, и все стали бы меня хвалить. Но, к несчастью, любовь сильнее меня, да вдобавок еще любовь к человеку, который мне за это нисколько не признателен!

Что же я сделала, чтобы так вас рассердить? Я не посмела взять ключ — я боялась, что мама это заметит и получится только новая беда и для меня и для вас из-за меня, и еще потому, что мне это казалось очень уж дурным. Но ведь об этом говорил со мной только господин де Вальмон. Я не могла знать, хотите вы этого или нет, раз вам ничего об этом не было

известно. Теперь, когда я знаю, что вы так хотите, разве я отказываюсь взять его, этот самый ключ? Завтра же возьму его, и тогда посмотрим, что еще вздумается вам говорить.

Пусть господин де Вальмон вам друг. Мне кажется, я люблю вас уж, во всяком случае, не меньше, чем он. А по-вашему, выходит, что он всегда прав, а я всегда виновата. Уверяю вас, что очень на вас сердита. Вам-то это безразлично, вы ведь знаете, что я очень отходчива. Но теперь, когда у меня будет ключ, я смогу видеться с вами, когда захочу; так вот, знайте, что я не захочу, если вы будете так поступать. Я предпочитаю самой быть причиной своих горестей, чем переносить их от вас. Подумайте только, до чего вы доводите.

Если бы вы только хотели, как бы мы любили друг друга! И, во всяком случае, горе причиняли бы нам только другие! Уверяю вас, если бы я была сама себе хозяйка, вам бы не пришлось на меня жаловаться. Но если вы не станете мне верить, мы всегда будем несчастны, и не по моей вине. Надеюсь, что вскоре мы сможет увидеться, и тогда у нас не будет таких поводов для огорчений, как сейчас.

Если бы я могла это предвидеть, я сразу же взяла бы тот ключ. Но, право же, я думала, что поступаю, как надо. Так прошу вас, не сердитесь на меня. Не грустите больше и любите меня всегда так же, как я вас люблю. Тогда я буду счастлива. Прощайте, милый мой друг.

Из замка ***, 28 сентября 17...

ПИСЬМО 95

От Сесили Воланж к виконту де Вальмону

Прошу вас, сударь, будьте добры, передайте мне тот ключик, который вы мне уже давали, чтобы положить на место ключа от моей комнаты. Раз уж все этого хотят, приходится и мне согласиться.

Не знаю, почему вы сообщили господину Дансени, будто я его больше не люблю: кажется, я никогда не давала вам повода так думать. А его это ужасно огорчило, и меня тоже. Я знаю, что вы его друг, но это ведь не причина, чтобы огорчать его, да заодно и меня. Пожалуйста, в первом же своем письме к нему сообщите, что это совсем не верно, и добавьте, что вы в этом убеждены, ибо он доверяет вам больше, чем кому-либо другому. Я же сама не знаю уж, что и делать, если говорю что-нибудь, а мне не верят.

Что касается ключа, то будьте совершенно спокойны: я отлично запомнила все, что вы мне советовали делать в своем письме. Однако, если это письмо вы сохранили и пожелали бы передать мне его вместе с ключом, обещаю вам отнестись к нему с величайшим вниманием. Если бы вы смогли это сделать, когда мы все будем идти к обеду, я бы передала вам другой ключ послезавтра за утренним завтраком, а вы вернули бы мне его тем же способом, что и первый ключ. Я хотела бы, чтобы проволочек было как можно меньше,— тогда меньше будет и опасность, что мама все это заметит.

Затем, раз уж этот ключ останется у вас, будьте так добры, воспользуйтесь им, чтобы брать мои письма, и тогда господин Дансени чаще станет получать от меня известия. Верно, что так будет гораздо удобнее, но сперва я очень уж боялась. Прошу вас простить меня и надеюсь, что вы, несмотря ни на что, по-прежнему будете так же любезны, как и раньше. Я же, со своей стороны, тоже буду всегда вам признательна.

Остаюсь, сударь, покорнейше преданной вам...

Из ***, 28 сентября 17...

ПИСЬМО 96

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Держу пари, что после своего приключения вы каждый день ждете от меня похвал и славословий. Не сомневаюсь даже, что мое долгое молчание вас несколько рассердило. Но что делать? Я всегда считал, что, когда женщина заслуживает только похвал, она уж сама о себе позаботится, и можно заняться другими делами. Однако поздравляю вас с тем, что вы сделали для себя, и благодарю за услугу, оказанную мне. Чтобы вас совсем осчастливить, готов даже признать, что на этот раз вы превзошли мои ожидания. А затем посмотрим, не оправдал ли я хотя отчасти ваших.

Я намереваюсь говорить с вами не о госпоже де Турвель. Слишком медленный ход этого дела вам не нравится. Вы любите только законченные дела. Тягучие сцены внушают вам скуку. Я же никогда не испытывал такого удовольствия, как в этих мнимых проволочках.

Да, мне нравится видеть, наблюдать, как эта благоразумная женщина, сама того не замечая, вступила на тропу, с которой возврата нет, как крутой и опасный склон невольно увлекает ее, заставляя следовать за мной. Вот, испугавшись грозящей

гибели, она хотела бы остановиться, но уже не в состоянии удержаться на месте. Благодаря своим стараниям и ловкости она может двигаться медленней, но ей все же неизбежно приходится идти вперед. Иногда, не смея взглянуть в лицо опасности, она закрывает глаза и перестает бороться, всецело полагаясь на меня. Но чаще какое-нибудь новое опасение заставляет ее возобновить усилия: в смертельном ужасе она еще хочет сделать попытку возвратиться вспять, изнемогает в мучительных стараниях проползти хоть немного вверх, но вскоре какая-то таинственная сила опять приближает ее к опасности, которой она тщетно пыталась избежать. Тогда, не имея никого, кроме меня, в качестве поводыря и опоры и уже не помышляя о каких-либо упреках за свое неизбежное падение, она умоляет меня хотя бы отсрочить его. Горячие мольбы, смиренные просьбы — все, с чем устрашенные смертные обращаются к божеству, получаю от нее я. А вы хотите, чтобы, оставаясь глухим к ее мольбам, я собственноручно разрушил культ, который она создала вокруг меня, и для ускорения ее гибели использовал ту власть, от которой она ждет поддержки. Ах, дайте же мне, по крайней мере, время понаблюдать эту трогательную борьбу между любовью и добродетелью.

Неужели же зрелище, ради которого вы жадно спешите в театр, которому вы там пылко рукоплещете, представляется вам менее увлекательным в жизни? Вы ведь с восторгом внимаете чувствам чистой и нежной души, страшащейся желанного ей счастья и не перестающей обороняться даже после того, как она прекратила сопротивление. Так не драгоценны ли эти чувства для того, кто виновник их появления? Но именно подобные восхитительные услады, именно их дарит мне каждодневно это божественное создание. А вы упрекаете меня за то, что я ими наслаждаюсь! Ах, слишком скоро наступит время, когда, униженная своим падением, она станет для меня лишь самой обыкновенной женщиной.

Но, говоря о ней, я забываю, что совсем не собирался вам о ней говорить. Какая-то непонятная сила приковывает меня, беспрестанно возвращает к ней даже тогда, когда я ее оскорбляю. Отгоним же опасные думы об этой женщине. Надо мне стать самим собой, чтобы заговорить на более веселую тему. Речь идет о вашей подопечной, ныне попавшей под мою опеку, и надеюсь, что тут вы отдадите мне должное.

Так как за последние несколько дней моя нежная святоша стала обращаться со мной несколько лучше и, следовательно, мне не пришлось так много заниматься ею, я заметил, что маленькая Воланж и впрямь очень хорошенькая. Тут я сообразил,

что если влюбиться в нее, подобно Дансени, было бы глупостью, то, может быть, с моей стороны не менее глупо не поразвлечься с нею, ибо я в своем одиночестве весьма нуждаюсь в развлечении. Справедливым казалось мне также вознаградить себя за хлопоты, которых она мне стоит, к тому же я вспомнил, что вы мне предлагали ее еще до того, как у Дансени появились какие-то притязания. И я счел, что имею некоторые основания предъявлять кое-какие права на добро, которым он завладел лишь вследствие моего отказа и пренебрежения. Хорошенькое личико юной особы, ее ротик, такой свежий, ее ребяческий вид и даже сама неловкость — все это укрепило меня в моих мудрых размышлениях. Я решил действовать в соответствии с ними, и предпринятое мною увенчалось успехом.

Вы уже, наверно, стараетесь угадать, какие средства избрал я, чтобы так скоро подменить собою столь нежно любимого избранника, какие способы обольщения более всего подходят для такого возраста и неопытности. Не утруждайте себя, никакого обольщения не было. В то время как вы, ловко пользуясь оружием своего пола, восторжествовали благодаря хитрости, я, вернув мужчине его непререкаемые права, покорил силой. Уверенный, что завладею добычей, если смогу ее настичь, я применил хитрость лишь для того, чтобы к ней приблизиться, и, в сущности, даже хитрость, к которой я прибег, почти не заслуживает этого названия.

Я воспользовался первым же письмом, которое получил от Дансени для его красотки. Предупредив ее о получении письма условленным между нами знаком, я принялся стараться не о том, как поскорее вручить его, а напротив — как бы не находить для этого удобных способов. Порождая в ней нетерпение, я делал вид, что разделяю его, и, причинив зло, сам указал на лекарство.

Молоденькая особа помещается в комнате, у которой одна дверь выходит в коридор. Вполне естественно, что ключ от этой двери забрала себе мать. Все дело сводилось к тому, чтобы завладеть этим ключом. А завладеть им было пустяком: мне он нужен был лишь часа на два, и я ручался, что буду иметь другой точно такой же. Тогда все — и переписка, и свидания, и ночные посещения,— все становилось удобным и вполне осуществимым. Однако — поверите ли? Робкая девица испугалась и отказала. Любой другой расстроился бы. Я же усмотрел в этом лишь возможность получить еще более тонкое удовольствие. Я написал Дансени, пожаловался на ее отказ, да так успешно, что неосмотрительный поклонник не угомонился, пока не убедил

свою робкую возлюбленную согласиться на мое требование и полностью мне во всем довериться.

Признáюсь, мне очень понравилось, что мы с молодым человеком поменялись таким образом ролями и что он сделает для меня то, что, по его расчетам, я должен был сделать для него. Эта мысль, на мой взгляд, делала приключение вдвое более приятным. И вот, едва заполучив драгоценный ключ, я поспешил воспользоваться им — случилось это прошлой ночью.

Убедившись, что в замке все тихо, я вооружился потайным фонарем и в туалете, соответствовавшем позднему часу и подходящем к данным обстоятельствам, отправился с первым визитом к вашей подопечной. Я все подготовил (ее же руками) так, чтобы войти бесшумно. Она спала первым самым крепким сном и к тому же так, как спят в ее возрасте, и потому не проснулась даже тогда, когда я подошел к самой ее постели. Сперва меня соблазняла мысль сразу же приступить к действиям и постараться сойти за сновидение. Но, боясь последствий неожиданности и шума, который она вызвала бы, я предпочел осторожно разбудить спящую красотку, и, действительно, мне удалось предотвратить крик, которого я опасался.

Я успокоил ее первые проявления испуга, но, придя сюда не для разговоров, решился на некоторые вольности. В монастыре ей, несомненно, не разъяснили, каким разнообразным опасностям может подвергнуться робкая невинность и чтó именно она должна охранять, чтобы ее не застигли врасплох. Ибо, собрав все свое внимание и все силы на защиту от поцелуя, который был лишь отвлекающим маневром, все прочее она оставила незащищенным. Как можно было не воспользоваться этим! Поэтому я переменил направление удара и тотчас же занял позиции. Тут мы оба едва не погибли: девочка, перепугавшись по-настоящему, подняла было крик. К счастью, голос ее заглушили слезы. Она схватилась также и за шнурок звонка, но мне удалось вовремя задержать ее руку.

«Что вы хотите сделать? — сказал я ей тогда.— Погубить себя навсегда? Пусть приходят, мне-то что? Кого убедите вы, что я здесь не с вашего согласия? Кто, кроме вас, дал бы мне возможность проникнуть сюда? А ключ, который я получил от вас и ни от кого другого не мог получить,— вы станете объяснять, для какой цели он предназначался?» Эта краткая речь не успокоила ни ее огорчения, ни ее негодования, но привела к покорности. Не знаю, был ли красноречив мой тон, но жесты мои, во всяком случае, красноречием не отличались. Какой оратор может притязать на изящество в положении, когда одна его

рука — рука насильника, а другая — рука любви? Если вы ясно представляете себе это положение, то согласитесь, что оно, по крайней мере, благоприятствует нападению. Но ведь я совершенный несмышленыш, и, как вы сами говорите, последняя простушка, пансионерка может обращаться со мной как с младенцем.

Данная же простушка, в каком отчаянье она ни была, все же уразумела, что надо на что-то решиться и идти на соглашение. Так как мольбы оставляли меня непреклонным, ей пришлось перейти к предложениям. Вы, может быть, думаете, что я за дорогую цену уступил эту важную позицию? Нет, я все обещал за один поцелуй. Правда, когда поцелуй был получен, я не сдержал обещания; но на то у меня имелись основательные причины. Как мы условились — будет ли он принят или дан? Торговались мы, торговались и пришли к соглашению насчет второго поцелуя, с тем, что он будет ею принят. Тогда я обвил ее несмелые руки вокруг своего тела, а своей рукой любовно прижал ее к себе, и поцелуй мой был действительно принят, принят самым настоящим, самым исправным образом, так что даже с любовью нельзя было бы сделать это лучше.

Такая добросовестность заслуживала награды, поэтому я тотчас же исполнил ее просьбу. Рука моя отдернулась, но, не знаю уж, как это получилось,— сам я очутился на ее месте. Вы полагаете, что тут я стал стремителен, пылок — не правда ли? Ничего подобного. Уверяю вас, у меня появился вкус к медлительности. Раз ты уверен, что придешь к цели, для чего торопиться в пути?

Нет, кроме шуток, я не прочь был понаблюдать, какова может быть сила случайности, и здесь она предстала мне в чистом виде, без всякой посторонней примеси. А ведь ей пришлось преодолеть любовь, и к тому же любовь, поддержанную целомудрием или стыдливостью, а главное — подкрепленную мною же вызванным и весьма сильным раздражением. У случайности не было союзников. Но она все время представлялась, все время присутствовала, а любовь была далеко.

Чтобы обеспечить себе свободу наблюдения, я схитрил и пользовался силой только в той мере, в какой лишь ею можно было чего-то достичь. Но если мой прелестный противник, злоупотребляя моим попустительством, готов был от меня ускользнуть, я удерживал его тем же самым страхом, который, как я мог уже убедиться, имел столь благоприятное воздействие. Так вот, безо всякого иного принуждения, нежно влюбленная, позабыв свои клятвы, сперва уступила, а затем согласилась. Правда, после этого первого мгновения снова дружно хлынули упреки и

слезы. Не знаю, искренни они были или притворны, но, как всегда бывает, они прекратились, как только я занялся тем, что действительно стал давать к ним повод. Так слабость сменялась упреками, упреки — слабостью, но в конце концов расстались мы вполне довольные друг другом и в столь же полном согласии насчет свидания на сегодняшний вечер.

Я удалился к себе лишь на рассвете, изнемогая от усталости и желания спать. Однако и тем и другим я пожертвовал стремлению встать к утреннему завтраку. Я до страсти люблю наблюдать, какой вид имеет женщина на другой день после события. Вы и не представляете, какой он был у Сесили! Она с трудом передвигала ноги, все жесты были неловкие, растерянные, глаза все время опущенные, опухшие, с темными кругами! Круглое личико так вытянулось! Ничто не могло быть забавнее. И мать ее, встревоженная этой сильной переменой, впервые проявила к ней довольно ласковое внимание! И президентша тоже хлопотала вокруг нее. О, что касается ее забот, то она отпускает их лишь в долг. Наступит день, когда ей можно будет вернуть их, и день этот недалек. Прощайте, прелестный друг.

Из замка *, 1 октября 17...**

ПИСЬМО 97

От Сесили Воланж к маркизе де Мертей

Ах, боже мой, сударыня, как я огорчена, как я несчастна! Кто утешит меня в моих страданиях? Кто поможет мне советом в моей растерянности и смятении? Этот господин де Вальмон... а Дансени! Нет, мысль о Дансени приводит меня в отчаяние... Как рассказать вам? Как вымолвить?.. Не знаю, что и делать. А между тем сердце мое переполнено... Мне надо с кем-нибудь поговорить, а вы — единственная, кому я могла бы, кому я осмелилась бы довериться. Вы ко мне так добры! Но сейчас вам не следует быть доброй: я этого недостойна. Больше того: я даже не хотела бы этого. Сегодня здесь все оказали мне столько внимания... но из-за него мне стало только хуже, настолько ощущала я, что не заслужила его! Напротив, браните меня, браните меня хорошенько, ибо я очень виновна.

Но потом спасите меня. Если вы не будете так добры, чтобы дать мне совет, я умру от горя.

Узнайте же... рука моя дрожит, как вы сами видите, я почти не в силах писать, лицо у меня все в огне... Ах, это и впрямь краска стыда. Что ж, я пересилю стыд: пусть это будет первым

наказанием за мой грех. Да, я вам расскажу все. Итак, знайте, что господин де Вальмон, который до сих пор передавал мне письма господина Дансени, вдруг нашел, что это слишком трудное дело, и захотел иметь ключ от моей комнаты. Могу уверить вас, что я не соглашалась; но он об этом написал Дансени, и Дансени потребовал того же. А я — ведь мне так больно отказывать ему в чем-либо, особенно с тех пор, как мы в разлуке, от которой он так несчастен,— я в конце концов согласилась. Я не предвидела несчастья, которое из-за этого произошло.

Вчера господин де Вальмон, воспользовавшись этим ключом, пришел ко мне в комнату, когда я спала. Для меня это было такой неожиданностью, что я страшно испугалась, когда он меня разбудил. Но он сразу заговорил, я узнала его и не стала кричать. И, кроме того, сперва мне пришло в голову, что он принес мне письмо от Дансени. Однако это было далеко не так. Вскоре он захотел поцеловать меня, и в то время как я, вполне естественно, стала защищаться, он изловчился и сделал то, на что я не согласилась бы ни за что на свете... Он стал требовать вместо этого поцелуя. Пришлось уступить. Что я могла сделать? Я попыталась звать на помощь. Но, во-первых, у меня не хватило сил, а во-вторых, он убедил меня, что, если кто-нибудь придет, он сумеет свалить всю вину на меня. И, правда, легко было бы это сделать из-за ключа. После этого он все-таки не ушел. Он захотел второго поцелуя, который — уж не знаю как и почему — всю меня взволновал. А потом стало еще хуже, чем вначале. О, это, разумеется, очень дурно. Ну, а под конец... избавьте меня от необходимости досказывать, но я несчастна так, что несчастнее быть нельзя.

В одном я себя больше всего упрекаю и все же обязана вам об этом сказать — боюсь, я защищалась не так решительно, как могла бы. Не знаю, как это получилось. Разумеется, я не люблю господина де Вальмона, совсем наоборот. И все же были мгновения, когда я вроде как бы любила его. Вы сами понимаете, что это не мешало мне все время говорить: «Нет», но я чувствовала, что поступаю не так, как говорю. И это было как бы вопреки моей воле. И ко всему еще я была в таком смятении! Если в подобных случаях всегда так трудно защищаться, надо выработать привычку к этому! Правда и то, что господин де Вальмон умеет говорить таким образом, что просто не знаешь, как ему ответить. Словом — поверите ли, когда он ушел, я даже как будто жалела об этом и имела слабость согласиться, чтобы он пришел и сегодня вечером; и это расстраивает меня больше всего прочего.

«Опасные связи»
А. Фрагонар

О, несмотря на это, будьте уверены, что я не позволю ему прийти. Он еще не успел выйти из комнаты, как я поняла, что мне ни в коем случае не следовало этого обещать. А потому я до самого утра проплакала. Больше же всего я страдаю из-за Дансени. Каждый раз, как я вспоминала о нем, рыдания мои усиливались до того, что я просто задыхалась, а не думать о нем я не могла... Вот и сейчас, вы сами видите, к чему это приводит: бумага вся мокрая от слез. Нет, я никогда не утешусь, хотя бы из-за него одного. Словом, я совсем изнемогла и все же ни на одну минуту не уснула. А утром, встав с постели, я посмотрелась в зеркало: можно было в ужас прийти, так я изменилась.

Мама заметила это, как только увидела меня, и тотчас же спросила, что со мной. Я же сразу начала плакать. Я думала, она станет бранить меня, и, может быть, мне от этого было бы легче. А она, напротив, стала говорить со мной ласково! Я этого совсем не заслужила. Она сказала, чтобы я не огорчалась до такой степени! Она ведь не знала причину моего горя. Не знала, что я от этого больна! Бывают минуты, когда мне хотелось бы не жить. Я не смогла удержаться. Я бросилась в ее объятья, рыдая и повторяя: «Ах, мама, мама, ваша дочка очень несчастна!» Мама тоже не смогла удержаться от слез, от всего этого горе мое только усилилось. К счастью, она не спросила меня, почему я до такой степени несчастна, я ведь не смогла бы ей ничего сказать.

Умоляю вас, сударыня, напишите мне как можно скорее и скажите, что я должна делать. Ибо у меня нет мужества собраться с мыслями, и я только страдаю и страдаю. Письмо свое пошлите через господина де Вальмона, но прошу вас, если вы будете писать и ему, не говорите, что я вам хоть что-нибудь рассказала.

Остаюсь, сударыня, покорнейше и с самыми дружескими чуствами глубоко преданной вам...

Я не осмеливаюсь подписать это письмо.

Из замка ***, 1 октября 17...

ПИСЬМО 98

От госпожи де Воланж к маркизе де Мертей

Еще немного дней назад вы, прелестный друг мой, просили у меня утешений и советов — пришла моя очередь, и я обращаюсь к вам с той же просьбой, с какой вы обращались ко мне. Я по-настоящему удручена и боюсь, что приняла далеко не

самые лучшие меры для того, чтобы избежать своих нынешних горестей.

Причина моего беспокойства — моя дочь. После нашего отъезда в деревню я, конечно, заметила, что она все время грустит и хандрит, но ожидала этого и вооружила свое сердце строгостью, которую считала необходимой. Я надеялась, что разлука, развлечения вскоре уничтожат любовь, которая, на мой взгляд, являлась скорее детским заблуждением, чем настоящей страстью. Однако за время моего пребывания здесь я не только ничего подобного не добилась, но замечаю даже, что девочка все глубже и глубже погружается в пагубную меланхолию, и начинаю всерьез опасаться, как бы ее здоровье не пострадало. Особенно за последние дни она меняется просто на глазах. Но сильнее всего она поразила меня вчера, и все кругом были тоже весьма встревожены.

Сейчас ей до крайности тяжело. И доказательство этого я вижу в том, что она готова даже преодолеть свою обычную робость по отношению ко мне. Вчера утром я только спросила ее, не больна ли она, и в ответ на это она бросилась в мои объятия, говоря, что она очень несчастна, и при этом навзрыд плакала. Не могу передать вам, как это меня расстроило. На глазах у меня тотчас же выступили слезы, и я успела только отвернуться, чтобы она не заметила их. К счастью, я благоразумно не стала ее расспрашивать, а она не решилась сказать мне больше, тем не менее совершенно очевидно, что ее мучит эта злосчастная страсть.

Что же предпринять, если так будет продолжаться? Сделаюсь ли я виновницей несчастья моей дочери? Обращу ли я против нее драгоценнейшие качества души — чувствительность и постоянство? Для того ли я — ее мать? А если я заглушу в себе естественное чувство, внушающее нам желать счастья своих детей, если я стану расценивать как слабость то, что, напротив, считаю самым первым, самым священным долгом, если я насильно заставлю ее сделать выбор, не придется ли мне отвечать за пагубные последствия, которые он может иметь? Разве поставить дочь свою между преступлением и несчастьем — это правильно применить материнскую власть?

Друг мой, я не стану подражать тому, что так часто порицала. Конечно, я могла попытаться сделать выбор и за свою дочь: в этом я лишь помогала ей своей опытностью, не пользовалась правом, а выполняла долг. Но я изменила бы долгу, если бы принуждала ее вопреки склонности, зарождения которой я не сумела предотвратить, а глубину и длительность ни она сама,

ни я еще не можем предвидеть. Нет, я не потерплю, чтобы она вышла замуж за одного для того, чтобы любить другого, и предпочитаю поступиться своей властью, чем пожертвовать ее добродетелью.

Итак, думаю, что надо будет принять наиболее мудрое решение и взять назад слово, данное господину де Жеркуру. Я только что изложила вам свои доводы: по-моему, они должны взять верх над данным мною обещанием. Скажу даже больше: при настоящем положении вещей выполнить это обязательство означало бы, по существу, нарушить его. Ибо в конце концов если я не имею права открывать господину де Жеркуру тайну своей дочери, то по отношению к нему я не имею также права злоупотребить неведением, в котором оставляю его, и должна сделать за него все, что, как я полагаю, он сам сделал бы, если бы был осведомлен. Могу ли я, наоборот, недостойным образом предать его, когда он доверился мне, и в то время как он оказал мне честь, избрав меня своей второй матерью,— обмануть его при выборе им матери для своих будущих детей? Все эти столь правдивые размышления, от которых я не могу отмахнуться, расстраивают меня до такой степени, что я не в силах вам даже передать.

Бедам, которые они мне рисуют, я противопоставляю счастье моей дочери с мужем, избранником ее сердца, в супружеских обязанностях обретающей одну лишь сладость, счастье моего зятя, ежечасно радующегося своему выбору. Вижу, наконец, как каждый из них обретает свое счастье в счастье другого и как общее их счастье лишь увеличивает мое. Можно ли надежду на столь сладостное будущее приносить в жертву всяким пустым соображениям? А что же удерживает меня? Исключительно соображения расчета. Но какое же преимущество даст моей дочери то, что она родилась богатой, если она, несмотря на это, должна стать рабой денег?

Согласна, что господин де Жеркур, может быть, даже лучшая партия, чем я смела надеяться для моей дочери. Признáюсь даже, что я была крайне польщена тем, что он остановил на ней свой выбор. Но в конце концов Дансени такого же хорошего рода, как и он, ничем не уступает ему по личным своим качествам и даже имеет перед ним преимущество любить и быть любимым. Правда, он не богат. Но разве дочь моя не достаточно богата для обоих? Ах, зачем отнимать у нее сладостное удовлетворение принести богатство любимому существу?

И разве эти браки, заключающиеся по расчету, а не по взаимной склонности, браки, которые называются подходящими

и в которых, действительно, подходит друг к другу все, кроме вкусов и характеров, разве не становятся они главным источником скандальных происшествий, случающихся все чаще и чаще? Я предпочитаю обождать. По крайней мере, у меня будет время изучить мою дочь, которой я по-настоящему не знаю. У меня вполне хватит мужества причинить ей мимолетное огорчение, если благодаря этому она достигнет более прочного счастья. Но пойти на риск обречь ее на вечное отчаяние — на это сердце мое не способно.

Вот, дорогой друг мой, мысли, которые меня волнуют и по поводу которых я прошу у вас совета. Эти невеселые темы резко противостоят вашей милой жизнерадостности и не очень-то соответствуют вашему возрасту; но рассудительность ваша так его обогнала! К тому же благоразумию помогут в данном случае и дружеские чувства ко мне. И я не боюсь, что и то и другое откажутся помочь материнской заботливости, которая к ним взывает.

Прощайте, мой милый друг. Никогда не сомневайтесь в искренности моих чувств.

Из замка ***, 2 октября 17...

ПИСЬМО 99

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Еще маленькое происшествие, мой прелестный друг, но только сцены, без всякого действия. Так что вооружитесь терпением, его понадобится много, ибо в то время как моя президентша подвигается вперед мелкими шажками, ваша подопечная отступает, а это еще хуже. Так вот, я настолько благодушен, что эти пустяки меня просто забавляют. Право же, я отлично привыкаю к своей здешней жизни и могу сказать, что в унылом замке своей старой тетушки не скучал ни минуты. И верно ведь — разве нет у меня здесь услад, лишений, надежды, неуверенности? Что еще можно иметь и на более обширной сцене? Зрителей? Э, дайте мне только время, и их будет достаточно. Если они не видят меня за работой — я покажу им все, когда мой труд будет завершен. Им останется лишь восхищаться и рукоплескать. Да, они станут рукоплескать. Ибо я могу, наконец, с полной уверенностью предсказать, когда именно совершится падение моей суровой святоши. Сегодня вечером я присутствовал при агонии добродетели. На ее месте воцарится нежная слабость. Я назначаю для этого срок не позд-

нее нашего ближайшего свидания, но уже слышу, как вы кричите о моей гордыне. Объявлять о своей победе, хвастать наперед! Ну, ну, успокойтесь! Чтобы доказать, насколько я скромен, начну с рассказа о своем поражении.

Правду говоря, подопечная ваша — презабавная молодая особа. Это, действительно, ребенок, с которым и надо обращаться, как с ребенком: поставить ее в угол — самое милостивое обхождение, какого она заслуживает. Вообразите себе только, что после всего имевшего место позавчера между нею и мною, после того, как вчера утром мы так по-дружески расстались, сегодня вечером, когда я хотел, как было условлено, прийти к ней в комнату, я нашел дверь запертой изнутри! Что вы на это скажете? Подобное ребячество позволяют себе иногда накануне, но на другой день! Не забавно ли?

Однако сперва мне было не до смеха. Никогда еще характер мой не управлял мною так властно. Разумеется, я шел на это свидание без особого удовольствия: я лишь отдавал дань обычаю. Мое ложе, в котором я очень нуждался, казалось мне в тот момент желаннее всякого другого, и я покинул его с сожалением. И тем не менее, едва встретилось мне препятствие, как я уже горел желанием преодолеть его. Унизительнее всего было то, что меня провела девчонка. Поэтому удалился я в сильном раздражении. И, решив не возиться больше с этой глупой девчонкой и со всеми ее делами, тотчас же написал ей записку, которую намеревался передать нынче же утром и в которой давал ей подобающую оценку. Но, как говорится, утро вечера мудренее. Утром я рассудил, что здесь выбирать развлечения не приходится и надо не упускать хоть этого, а потому уничтожил суровую записку. Теперь, хорошенько поразмыслив, я диву даюсь, как это могло прийти мне в голову закончить приключение, не имея в руках ничего, что давало бы мне возможность погубить его героиню. Куда, однако, может завести нас первый порыв! Счастлив тот, кто, подобно вам, прелестный мой друг, приучил себя никогда ему не поддаваться! Словом, я отсрочил свое мщение, принес эту жертву вашим намерениям относительно Жеркура.

Теперь, когда гнев мой остыл, поведение вашей подопечной кажется мне всего-навсего смешным. Право же, хотел бы я знать, что́ она рассчитывает таким образом выиграть? Никак не уразумею: если это лишь самозащита, то надо признать — несколько запоздалая. Необходимо, чтобы она когда-нибудь разъяснила мне эту загадку. Очень уж хочется знать, в чем тут дело. А может быть, все дело лишь в том, что она ощущала

переутомление. Право, это вполне возможно. Ибо ей несомненно еще невдомек, что стрелы любви, подобно копью Ахилла, несут с собою и лекарство для тех ран, которые наносят. Но нет, весь день у нее была кислая мина, и на этом основании я, пожалуй, готов поручиться, что тут не без раскаянья... да... чего-то вроде добродетели... Добродетели!.. Вот уж кому пристало ее иметь! Ах, пусть она предоставит добродетель единственной рожденной для этого женщине, единственной, которая способна украсить добродетель и даже, пожалуй, заставить ее полюбить!.. Простите, прелестный мой друг, но как раз в тот же вечер между госпожой де Турвель и мною произошла сцена, о которой я должен дать вам отчет, и я все еще чувствую некоторое волнение. Мне необходимо сделать над собой усилие, чтобы рассеялось впечатление, которое она на меня произвела. Я и писать-то вам начал для того, чтобы себе в этом помочь. Это первое мгновение все же простительно.

Вот уже несколько дней, как мы с госпожой де Турвель пришли к полному согласию насчет наших чувств и спорим теперь только о словах. Правда, на *мою любовь* по-прежнему отвечала *ее дружба,* но этот условный язык не менял сути вещей. И если бы мы на том и оставались, я все же шел бы к цели, может быть, более медленным, но не менее верным путем. Уже больше не поднимался вопрос о моем удалении, как она того сперва хотела. А что касается наших ежедневных бесед, то, если я стараюсь предоставить ей возможность вести их, она со своей стороны старается этой возможности не упустить.

Так как наши свиданьица обычно происходят во время прогулки, а сегодня стояла отвратительная погода, я уже ни на что не надеялся. Я был даже по-настоящему расстроен и отнюдь не предвидел, какой удачей обернется для меня это препятствие.

Так как гулять было нельзя, все, встав из-за стола, сели за игру. Поскольку я не бог весть какой игрок и теперь уже без меня можно обойтись, я на это время ушел к себе в комнату, без определенной цели — только подождать окончания партии.

Я уже возвращался в гостиную, как вдруг увидел эту очаровательную женщину в тот миг, когда она входила в свою комнату. То ли по неосторожности, то ли по слабости, она сказала мне своим мягким голосом: «Куда это вы идете? В гостиной никого нет». Как вы сами понимаете, этого мне было вначале достаточно, чтобы попытаться войти к ней, причем я встретил гораздо меньше сопротивления, чем ожидал. Правда, я предусмотрительно начал разговор еще у двери, и притом разговор

самый безразличный. Но едва только мы уселись, как я перешел к настоящей теме и начал говорить *своему другу о любви к нему.* Первый же ответ ее, хотя ничего особенного в нем как будто не было, показался мне весьма выразительным: «О, послушайте,— сказала она,— не будем говорить об этом здесь». При этом она дрожала. Бедная женщина! Она предчувствует свою гибель.

Однако опасения ее были напрасны. Уверенный с некоторых пор, что не сегодня, так завтра меня ожидает полный успех, и видя, что она тратит в тщетной борьбе столько сил, я решил беречь свои и спокойно ждать, чтобы она сдалась, устав бороться. Вы понимаете, что в данном случае мне нужна полная победа, и я ничем не хочу быть обязанным случаю. Следуя именно этому плану и для того, чтобы проявлять настойчивость, не слишком себя утруждая, я вернулся к этому слову «любовь», в котором мне так упорно отказывали. Не сомневаясь, что в мой пыл вполне верят, я испробовал более нежный тон: отказ-де не сердит меня, а огорчает, неужто мой чувствительный друг не считает, что я заслужил хоть некоторое утешение?

И вот, чтобы утешить меня, ручка ее задержалась в моей ладони, прелестный стан опирался на мою руку, и мы оказались в самой тесной близости друг к другу. Вы несомненно замечали, как в таком положении, когда защита слабеет, промежутки между просьбами и отказами становятся все короче, как отворачивают голову, как опускают очи долу и как слова, произносимые тем же слабым голосом, делаются все реже и прерывистей. Драгоценные эти признаки недвусмысленным образом свидетельствуют, что душа уже уступила, но согласия чувств большей частью еще нет. Я даже считаю, что в таких случаях всегда опасно проявлять чрезмерную решительность. Ибо подобная расслабленность всегда сопровождается неким сладостным ощущением и вывести из него невозможно, не вызвав раздражения, которое неизменно идет на пользу защите.

В данном же случае осторожность была тем необходимее, что мне следовало опасаться главным образом страха, который должно было вызвать это самозабвение у моей нежной мечтательницы. Поэтому, моля ее о признании, я не требовал даже, чтобы оно высказано было в словах: меня удовлетворил бы даже взгляд. Один только взгляд — и я счастлив.

Милый друг мой, прекрасные очи и впрямь обратились на меня, небесные уста даже произнесли: «Ну да, да я...» Но внезапно взгляд померк, голос прервался, и эта восхитительная женщина упала в мои объятия. Но не успел я обхватить ее, как она, вырвавшись судорожным порывом, вскричала с блуждаю-

щим взором и подняв руки к небу: «Боже... о боже, спаси»,— и тотчас же быстрее молнии упала на колени шагах в десяти от меня. Я слышал, как рыдания душили ее. Я приблизился, чтобы помочь ей, но она схватила меня за руки, омывая их слезами, порою даже обнимая мои колени, и при этом твердила: «Да, это вы, это вы меня спасете! Вы не хотите моей смерти, оставьте меня, спасите меня, оставьте меня во имя божие, оставьте меня!» И эти бессвязные речи с трудом вырывались из ее уст, так часто прерывали их все усиливающиеся рыдания. Между тем она удерживала меня с такой силой, что я просто не мог бы удалиться. Тогда, собрав все силы, я поднял ее на руки. Тотчас же рыдания прекратились, она умолкла, но все члены ее словно одеревенели, и буря эта сменилась жестокими судорогами.

Признаться, я был очень взволнован и, кажется, исполнил бы ее просьбу, даже если бы не был вынужден к тому обстоятельствами. Во всяком случае, оказав ей кое-какую помощь, я оставил ее, как она просила, и очень этому рад. Я уже почти вознагражден за это.

Я ожидал, что, как и в день первого моего признания, она не появится в течение всего вечера. Однако часам к восьми она спустилась в гостиную и только сообщила собравшимся, что чувствовала себя очень плохо. Вид у нее был подавленный, голос слабый, все движения — какие-то принужденные. Но взгляд был мягкий и часто останавливался на мне. Так как она отказалась играть, я должен был занять ее место, и она подсела ко мне. Во время ужина она одна оставалась в гостиной. Когда все туда возвратились, мне показалось, что она плакала. Чтобы выяснить это, я сказал ей, что, по-моему, у нее опять приступ нездоровья, на что она не преминула ответить: «Эта болезнь проходит не так скоро, как появляется». Наконец, когда все стали расходиться, я подал ей руку, и у своей двери она с силой пожала ее. Правда, в этом движении мне почудилось что-то непроизвольное; но тем лучше: лишнее доказательство моей власти.

Бьюсь об заклад, сейчас она очень рада, что все так обстоит: все положенное сделано, остается лишь пользоваться достигнутым. Может быть, пока я вам пишу, она уже тешится этой сладостной мыслью! А даже если бы ее, напротив, занимал какой-нибудь новый план самозащиты, разве мы не знаем, чего стоят все подобные планы? Я вас спрашиваю, продержатся ли они дольше нашего ближайшего свидания? Конечно, я готов к тому, что со мной поломаются, прежде чем уступить. Но — ладно! Труден лишь первый шаг, а потом этих святош и не остановить! Их любовь — настоящий взрыв: от сопротивления он

только сильнее. Моя святоша и недотрога побежала бы за мной, если бы я перестал бегать за нею.

И, наконец, прелестный мой друг, я немедленно являюсь к вам потребовать исполнения данного вами слова. Вы, наверно, не забыли того, что обещали мне после моего успеха — измены вашему кавалеру? Готовы ли вы? Я-то жду этого так, словно мы никогда друг друга не знали. К тому же знать вас, может быть,— лишняя причина желать.

Я справедлив, а не любезник льстивый [1].

Это у меня будет первая неверность моей суровой добыче. И обещаю вам воспользоваться первым же попавшимся предлогом, чтобы на сутки от нее отлучиться. Это будет ей кара за то, что она так долго держала меня в отдалении от вас. Знаете ли вы, что я занят этим приключением уже больше двух месяцев? Да, два месяца и три дня. Правда, я считаю и завтрашний день, так как по-настоящему завершится оно только тогда. Это напоминает мне, что госпожа де Б*** сопротивлялась полных три месяца. Я очень рад убедиться, что откровенное кокетство защищается лучше, чем суровая добродетель.

Прощайте, прелестный мой друг. Пора с вами расставаться, ибо уже поздно. Письмо это завело меня дальше, чем я рассчитывал. Но так как завтра утром я посылаю в Париж курьера, то хотел воспользоваться этим и дать вам возможность на один день раньше разделить радость вашего друга.

Из замка ***, 2 октября 17.., вечером.

ПИСЬМО 100

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Друг мой, меня одурачили, предали, погубили. Я в отчаянии: госпожа де Турвель уехала. Она уехала, а я об этом не знал. Я не был при этом и не смог воспротивиться ее отъезду, укорить ее за гнусное предательство! Нет, не думайте, что я отпустил бы ее. Она бы не уехала, да, она осталась бы, даже если бы мне пришлось применить силу. Но что получилось? Доверчиво, ни о чем не тревожась, я спокойно спал, я спал, а в это время меня поразила молния. Нет, ничего не пойму я в этом отъезде. Женщин так никогда и не узна́ешь.

[1] Вольтер, комедия «Нанина».

Вспомнить только вчерашний день! Да что я говорю: хотя бы вчерашний вечер! Взгляд ее — такой ласковый, голос — такой нежный. А пожатие руки! И в это самое время она замышляла побег от меня! О женщины, женщины! Вы еще жалуетесь, что вас обманывают! А на деле каждый наш вероломный поступок — это кража из ваших же запасов.

С каким наслаждением стану я мстить! Я разыщу эту коварную женщину, я восстановлю свою власть над нею. Если одной любви достаточно было, чтобы достичь этого, чего же любовь не сможет добиться с помощью мести! Я снова увижу ее у своих ног, дрожащую, заплаканную, молящую о пощаде своим лживым голосом. Но я буду безжалостен.

Что она сейчас делает? О чем думает? Может быть, радуется, что обманула меня, и, верная вкусам своего пола, находит это удовольствие самым сладостным. Хитрость без всякого труда совершила то, что не удавалось пресловутой добродетели. Безумец! Я опасался ее целомудрия, а надо было бояться коварства.

И вдобавок я вынужден подавлять свой гнев! Не осмеливаться выказывать ничего, кроме нежной грусти, когда сердце полно ярости! Я вынужден снова умолять непокорную женщину, ускользнувшую из-под моей власти! Неужто должен был я испытать такое унижение? И от кого? От робкой женщины, совершенно неопытной в борьбе. Какая польза мне в том, что я воцарился в ее сердце, распалил ее пламенем любви, довел до исступления ее смятенные чувства, если сейчас она, спокойная в своем уединении, может гордиться бегством больше, чем я победами? И я это стерплю? Друг мой, вы не можете так думать, вы не столь низкого мнения обо мне!

Но какой же рок привязывает меня к этой женщине? Разве сотня других не жаждет моего внимания? Разве они не поспешат отозваться на него? Даже если бы каждая из них не стоила этой, разве прелесть разнообразия, очарование новых побед, слава их множества не обеспечивают достаточно сладостных утех? Зачем же преследовать ту, что убегает, и пренебрегать теми, что идут к тебе сами. Да, зачем? Не знаю, но этот разлад мучит меня.

Нет мне ни счастья, ни покоя, пока я не буду обладать этой женщиной, которую ненавижу так же пылко, как и люблю. С судьбой своей я примирюсь лишь в ту минуту, когда стану распорядителем ее судьбы. Тогда, спокойный, удовлетворенный, я увижу, как она, в свою очередь, отдана во власть тех же бурь, которые играют мною в этот миг. И я нашлю на нее еще тысячи

других. Я хочу, чтобы надежда и страх, подозрение и уверенность, все беды, изобретенные ненавистью, все блага, даруемые любовью, наполняли ее сердце, сменяясь в нем по моей воле. Такое время настанет... Но сколько еще предстоит труда! А вчера я уже был так близок к цели! Сегодня же так далек от нее! Как теперь приблизиться к ней? Я не знаю, на что решиться. Я чувствую, что, для того чтобы принять какое-то решение, нужно быть спокойнее, а у меня в жилах кровь прямо кипит.

Мои муки еще усиливаются от хладнокровия, с которым все отвечают на мои вопросы об этом происшествии, о его причинах, обо всем, что в нем есть необычайного... Никто ничего не знает, да и не хочет знать: об этом едва упоминали бы, если бы я соглашался говорить о чем-либо другом. С утра, узнав эту новость, я побежал к госпоже де Розмонд, но она с холодным спокойствием своего возраста ответила, что это — естественное следствие вчерашнего нездоровья госпожи де Турвель, что она испугалась серьезной болезни и предпочла находиться дома. При этом тетушка добавила, что вполне ее понимает и сама поступила бы точно так же. Как будто есть что-то общее между ними: одной только и остается, что умереть, а в той, другой, вся радость и вся мука моей жизни. Госпожа де Воланж, которую я сперва подозревал в сообщничестве, по-видимому, несколько задета тем, что об этом шаге с ней не посоветовались. Признаюсь, я очень рад, что она не доставила себе удовольствия навредить мне. Это мне доказывает к тому же, что она пользуется доверием этой женщины не в той мере, как я опасался: всегда лучше иметь одним врагом меньше. Как бы она радовалась, если бы знала, что побег совершен из-за меня! Как бы она пыжилась от гордости, если бы это сделано было по ее совету! Как бы она заважничала! Боже мой, до чего я ее ненавижу! О, я возобновлю связь с ее дочерью, обработаю эту девицу на свой лад! Поэтому я, по-видимому, на некоторое время задержусь здесь. Во всяком случае, те немногие раздумья, на которые я оказался способен, приводят меня к такому именно решению.

Не кажется ли вам, что после столь решительного шага неблагодарная должна опасаться моего приезда? Поэтому, если ей и приходила в голову мысль, что я могу за нею последовать, она уже, наверно, распорядилась не принимать меня. Я же не хочу ни приучать ее к таким приемам, ни терпеть столь унизительное обращение. Я, наоборот, предпочитаю сообщить ей, что остаюсь здесь, и даже не буду настаивать, чтобы она вернулась. Когда же она будет твердо убеждена, что меня нет и не будет, я внезапно появлюсь,— посмотрим, как перенесет она эту встре-

чу. Но чтобы усилить впечатление, надо обождать, а я не знаю, хватит ли у меня выдержки: сегодня я раз двадцать собирался потребовать лошадей. Однако я сумею с собой совладать и обязуюсь ждать вашего ответа здесь. Я только прошу вас, мой прелестный друг, не заставлять меня ждать слишком долго.

Больше всего меня удручало бы не знать, что́ у нее происходит; но мой егерь, находящийся сейчас в Париже, имеет некоторые права на доступ к ее горничной и может мне помочь. Я посылаю ему указания и деньги. Прошу вас благосклонно отнестись к тому, что и то и другое я присовокуплю к этому письму, а также взять на себя заботу отослать их ему с кем-либо из ваших слуг, приказав передать все ему лично. Я принимаю эту предосторожность, потому что бездельник всегда делает вид, будто не получает писем, которые я ему пишу, если в них содержатся распоряжения, которые его затрудняют, и еще потому, что, сдается мне, он не так сильно увлечен своей победой, как мне того хотелось бы.

Прощайте, прелестный друг. Если вам придет в голову какая-нибудь удачная мысль, какой-нибудь способ ускорить мое продвижение к цели, сообщите мне их. Я уже не раз убеждался, как может быть полезна ваша дружба, убеждаюсь и в настоящую минуту, ибо несколько успокоился с тех пор, как начал вам писать: по крайней мере, я говорю с человеком, который меня понимает, а не с автоматами, рядом с которыми прозябаю с сегодняшнего утра. Право же, чем дальше, тем более расположен я считать, что в мире только вы да я чего-нибудь стоим.

Из замка ***, 3 октября 17...

ПИСЬМО 101

От виконта де Вальмона к Азолану, егерю
(Приложено к предыдущему)

Надо быть таким дурнем, как вы, чтобы, уезжая отсюда сегодня утром, не заметить, что госпожа де Турвель тоже уезжает, или, если вы это знали, не предупредить меня. Какой же смысл в том, чтобы вы тратили мои деньги, пьянствуя с лакеями, а то время, которое должны были служить мне, проводили, любезничая с горничными, если я от этого нисколько не лучше осведомлен о происходящем? А все — ваше нерадение! Но предупреждаю вас, что, если в этом деле вы допустите еще какую-нибудь небрежность, она будет последней, которую вы совершите у меня на службе.

Вы должны осведомлять меня обо всем, что происходит у госпожи де Турвель: здорова ли она, спит ли, грустна или весела, часто ли выезжает и к кому, принимает ли у себя гостей и кто у нее бывает; как она проводит время; раздражительна ли со служанками, особенно с той, которую привозила сюда; что она делает, когда у нее никого нет; если она занимается чтением, то читает ли все время или прерывает чтение, чтобы помечтать; то же самое — если она пишет. Позаботьтесь также о том, чтобы подружиться с тем из слуг, кто относит ее письма на почту. Почаще предлагайте ему выполнять это поручение вместо него, и в тех случаях, когда он будет соглашаться, отправляйте только те письма, которые покажутся вам незначительными, другие же пересылайте мне, в особенности письма к госпоже де Воланж, если такие попадутся.

Устройтесь таким образом, чтобы еще некоторое время оставаться счастливым любовником вашей Жюли. Если у нее есть кто-нибудь другой, как вы полагали, уговорите ее делить свою благосклонность и не вздумайте проявлять нелепую щепетильность: в таком положении бывают многие другие и получше вас. Если, однако, ваш сотоварищ оказался бы слишком докучливым, если вы, например, заметите, что он отнимает у Жюли слишком много времени днем и она из-за этого менее часто бывает со своей хозяйкой, устраните его каким-либо способом или заведите с ним хорошую ссору; последствий не бойтесь, я вас поддержу. Главное же — не покидайте этого дома, ибо только постоянные посещения дают возможность все видеть, и притом хорошо видеть. Если случайно кто-нибудь из слуг будет уволен, предложите заменить его, как если бы вы больше у меня не служили. В этом случае скажите, что вы меня оставили, чтобы найти место в более спокойном и порядочном доме. Словом, постарайтесь сделать так, чтобы вас приняли. Одновременно вы будете состоять на службе и у меня, как было у герцогини де***, а впоследствии госпожа де Турвель тоже вознаградит вас.

При достаточной ловкости и рвении с вашей стороны этих указаний вам было бы вполне достаточно. Но чтобы возместить недостаток того и другого, посылаю вам деньги. Прилагаемая записка даст вам право, как вы увидите, получить у моего поверенного двадцать пять луидоров, ибо я не сомневаюсь, что у вас нет ни гроша. Из этой суммы вы употребите, сколько будет нужно, на то, чтобы склонить Жюли вступить со мной в переписку. Остальное — на попойки со слугами. Постарайтесь, елико возможно, чтобы они происходили у швейцара — тогда

ему приятно будет видеть вас в этом доме. Но не забывайте, что стремлюсь я оплачивать не удовольствия ваши, а услуги.

Приучите Жюли все подмечать и обо всем сообщать, даже о том, что покажется ей пустяками. Лучше пусть она напишет десять бесполезных фраз, чем опустит одну существенную: зачастую то, что кажется безразличным, на самом деле совсем не таково. Если бы случилось что-либо, на ваш взгляд стоящее внимания, необходимо, чтобы я был немедленно предупрежден; поэтому, как только вы получите это письмо, пошлите Филиппа на наемной лошади в *** [1]. Пусть он поселится там до новых распоряжений: это будет у нас подстава на случай нужды. Для текущей переписки достаточно будет почты.

Смотрите не потеряйте этого письма. Перечитывайте его ежедневно как для того, чтобы убедиться, что вы ничего не забыли, так и для того, чтобы удостовериться, что оно при вас. Словом, делайте все, что должен делать человек, которому оказана честь моего доверия. Вы знаете, что, если я буду доволен вами, вы будете довольны мною.

Из замка ***, 3 октября 17...

ПИСЬМО 102

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Вы будете очень удивлены, сударыня, узнав, что я покинула вас столь внезапно. Поступок этот покажется вам крайне странным, но как возрастет ваше изумление, когда вы узнаете его причину. Может быть, вы найдете, что, поверяя ее вам, я недостаточно уважаю необходимый в вашем возрасте покой и даже пренебрегаю благоговейной почтительностью, на которую у вас столько неоспоримых прав? Ах, сударыня, простите, но сердцу моему очень тяжело, оно должно излить свою муку на груди друга, и нежного, и в то же время благоразумного. Кого же было избрать ему, как не вас? Смотрите на меня, как на свою дочь. Отнеситесь ко мне с материнской добротой, молю вас о ней. Быть может, у меня есть и некоторое право на нее из-за моей любви к вам.

Где то время, когда, всецело отдавшись этому похвальному чувству, я не ведала тех, которые, внося в душу пагубное смятение, овладевшее мною сейчас, лишают меня сил бороться и

[1] Деревня на полпути между Парижем и замком госпожи де Розмонд.

в то же время предписывают борьбу как долг? Ах, эта роковая поездка погубила меня!

Словом, что мне сказать вам? Я люблю, да, люблю безумно. Увы! За это слово, которое я пишу впервые, слово, которого у меня так часто и тщетно добивались, за сладость хоть один раз сказать его тому, кто его внушил, я готова была бы заплатить жизнью, а между тем беспрестанно должна в нем ему отказывать. Он опять усомнится в моих чувствах, сочтет, что у него есть основания пенять на меня. Как я несчастна! Почему он, царящий в моем сердце, не может читать в нем? Да, я меньше страдала бы, если бы он знал, как я страдаю. Но даже вы, которой я говорю об этом, можете составить себе лишь слабое представление о моих муках.

Через несколько минут я покину его и этим причиню ему горе. Он будет еще думать, что находится подле меня, а я буду уже далеко: в час, когда я обычно виделась с ним каждый день, я буду в тех местах, где он никогда не был и куда я не должна его допускать. Все приготовления уже закончены: всё здесь, у меня на глазах; я не могу остановить взгляда ни на чем, что не предвещало бы этого жестокого отъезда. Все готово, кроме самой меня!.. И чем больше сердце мое противится ему, тем очевиднее доказывает оно мне необходимость подчиниться.

Я, разумеется, подчинюсь. Лучше умереть, чем жить во грехе. Я чувствую, что и без того достаточно грешна. Я сохранила лишь свое целомудрие, добродетели больше нет. Признаться ли вам: тем, что у меня еще осталось, я обязана ему. Опьяненная радостью видеть его, слышать, сладостным ощущением близости, еще бóльшим счастьем сделать его счастливым, я уже не имела ни власти, ни силы над собой. Едва хватило сил для борьбы, но их было недостаточно, чтобы устоять. Я трепетала перед опасностью и не могла от нее бежать. Так вот, он увидел, как я страдаю, и сжалился надо мной. Как же мне не любить его? Я обязана ему больше, чем жизнью.

Ах, неужто думаете вы, что я когда-нибудь согласилась бы удалиться от него, если бы, оставаясь с ним, опасалась только за жизнь? Что мне она без него, я была бы безмерно счастлива пожертвовать ею. Я обречена быть вечным источником мук его, беспрерывно защищаться от него, от себя самой, отдавать все свои силы на то, чтобы доставлять ему страдания, когда я хотела бы посвятить их только его счастью,— разве жить так это не значит без конца умирать? И, однако, такой будет отныне моя участь. Тем не менее я перенесу ее, у меня хватит на это мужества. О вы, которую я избрала своей

матерью, примите от меня эту клятву. Примите также клятву в том, что я никогда не скрою от вас ни единого своего поступка. Примите ее, заклинаю вас об этом, как о помощи, в которой нуждаюсь; дав обещание все вам говорить, я привыкну считать, что вы всегда со мной. Ваша добродетель заменит мою. Никогда, разумеется, не соглашусь я на то, чтобы краснеть перед вами. И, сдерживаемая этой мощной уздой, я буду любить в вас снисходительного друга, наперсницу моей слабости и в то же время чтить ангела-хранителя, спасающего меня от позора.

Достаточно стыда и в том, что мне приходится обращаться к вам с этой просьбой. Роковое следствие самонадеянности! Почему не остереглась я этой склонности раньше, едва почувствовала, что она возникает? Почему льстила себя мыслью, что могу по воле своей обуздать ее или одолеть? Безумная! Как мало я знала любовь! Ах, если бы я боролась с нею более рьяно, может быть, она не завладела бы мною с такой силой. Может быть, тогда и отъезд мой не оказался бы необходимым. Или даже, если бы я все-таки приняла это горестное решение, мне можно было бы не порывать окончательно этой связи — достаточно было бы реже встречаться. Но все сразу потерять! И навсегда! О друг мой!.. Но что это я? Даже в письме к вам я еще блуждаю во власти этих преступных желаний! Ах, уехать, уехать, и пусть, по крайней мере, этот невольный грех искуплен будет принесенными мною жертвами.

Прощайте, уважаемый друг мой. Любите меня, как свою дочь, возьмите меня в дочери и будьте уверены, что, несмотря на мою слабость, я предпочла бы умереть, чем оказаться недостойной вашего выбора.

Из замка ***, 3 октября 17.., час полуночи.

ПИСЬМО 103

От госпожи де Розмонд к президентше де Турвель

Меня больше огорчил ваш отъезд, красавица вы моя милая, чем удивила его причина. Долгого жизненного опыта и участия к вам, которое вы мне внушили, достаточно было, чтобы я поняла, что творится в вашем сердце. И если все досказывать до конца, то письмо ваше не сообщило мне ничего или почти ничего нового. Если бы я узнала обо всем только из него, мне бы не было известно, кто вами любим. Ибо говоря мне все время о *нем,* вы ни одного раза не написали его имени. Но я в этом

не нуждалась. Я хорошо знаю, кто он. Отметила я это лишь потому, что язык любви всегда таков. Я вижу, что и теперь влюбленные говорят так же.

Я отнюдь не думала, что мне когда-либо придется возвращаться к воспоминаниям, столь далеким от меня и столь не свойственным моим летам. Однако со вчерашнего дня я часто погружалась в эти воспоминания, так как очень хотела найти в них что-либо для вас поучительное. Но что я могу сделать? Лишь восхищаться вами и жалеть вас. Я одобряю принятое вами мудрое решение. Но оно же и пугает меня, ибо из него я делаю вывод, что вы сочли его необходимым. А если уж дело зашло так далеко, очень трудно находиться все время вдали от того, к кому нас беспрерывно влечет сердце.

И все-таки не отчаивайтесь. Для вашей благородной души не может быть ничего невозможного. И если когда-либо вас постигнет несчастье пасть в борьбе (от чего упаси вас бог!), поверьте мне, красавица моя, пусть у вас остается все же утешение, что боролись вы изо всех сил. И к тому же, разве милость господа нашего по святой его воле не совершает того, что недоступно человеческой мудрости? Может быть, уже завтра он окажет вам свою помощь. И ваша добродетель, испытанная в этих тяжких битвах, выйдет из них еще более чистой и сияющей. Надейтесь на то, что силы, которых вам сейчас не хватает, вы обретете завтра. И рассчитывайте на это не для того, чтобы только на них положиться, а для того, чтобы мужественно их использовать.

Пусть провидение позаботится о вас и окажет вам помощь перед лицом опасности, от которой я не могу вас уберечь! Я же берусь поддерживать вас и утешать в меру своих возможностей. Я не облегчу ваших горестей, но разделю их. Ради этого я охотно буду выслушивать ваши признания. Я понимаю, что ваше сердце испытывает потребность излиться. Мое же вам открыто: годы не настолько оледенили его, чтобы оно оказалось недоступно дружбе. Оно всегда готово будет принять ваши признания. Это небольшое утешение в ваших страданиях, но, по крайней мере, плакать вы будете не одна. И когда злосчастная эта любовь, забрав над вами слишком большую власть, заставит вас говорить о ней, лучше, чтобы разговор был со мною, а не с *ним*. Вот я и заговорила, как вы. Кажется даже — мы с вами вместе не решимся назвать его по имени. Впрочем, мы же отлично понимаем друг друга.

Не знаю, правильно ли я поступаю, рассказывая вам, что он, по-видимому, был глубоко взволнован вашим отъездом.

Может быть, благоразумнее было бы умолчать об этом, но я не люблю благоразумия, причиняющего боль друзьям. Однако я вынуждена больше об этом не говорить. Зрение у меня слабое, рука дрожит, и я не в состоянии писать длинных писем, когда я должна делать это без посторонней помощи.

Прощайте же, красавица моя, прощайте, любимое мое дитя. Да, я охотно удочерю вас: вы обладаете всем, что нужно материнской гордости и радости.

Из замка ***, 3 октября 17...

ПИСЬМО 104

От маркизы де Мертей к госпоже де Воланж

Поистине, дорогой и добрый друг мой, с большим трудом поборола я чувство гордости, читая ваше письмо. Как! Вы удостаиваете меня полного своего доверия настолько, что даже спрашиваете у меня совета? Ах, я бесконечно счастлива, если заслужила с вашей стороны столь благосклонное мнение, если не обязана им только дружескому предубеждению в мою пользу. Впрочем, какова бы ни была причина, оно в равной степени драгоценно моему сердцу. И если я удостоилась его, это в глазах моих будет лишним побуждением еще больше стараться быть его достойной. Поэтому я (без всяких притязаний давать вам совет) свободно выскажу все, что думаю. Я не очень доверяю себе, так как мое мнение расходится с вашим. Но когда я изложу вам свои доводы, вы их рассмóтрите, и, если не одобрите, я заранее подписываюсь под вашим решением. Во всяком случае, у меня хватит разумения не считать себя разумнее вас.

Если же, однако,— и притом лишь в данном случае — мое мнение вы предпочтете своему, причину мы, по-видимому, найдем в иллюзиях материнской любви. Чувство это — похвальное, и поэтому его не может не быть у вас. Как, действительно, сказывается оно в решении, которое вы намереваетесь принять? Таким образом, если вам порою и случается заблуждаться, то лишь в выборе добродетелей.

Предусмотрительность — на мой взгляд, та из них, которую следует предпочитать, когда решаешь судьбу ближнего, и в особенности — когда скрепляешь ее такими неразрывными и священными узами, как узы брака. Именно тогда мать, в равной мере мудрая и любящая, должна, как вы прекрасно выразились, «помочь дочери своим жизненным опытом». Но, спрошу я вас,

что она должна сделать для достижения этой цели, если не установить ради нее различие между тем, что больше по сердцу, и тем, что должно?

Разве мы не роняем материнский авторитет, разве мы не уничтожаем его, если подчиняем легкомысленной склонности, кажущуюся мощь которой испытывают лишь те, кто ее опасается, но которая исчезает, как только решаешь не придавать ей значения? Что до меня, то, признаюсь, я никогда не верила в эти непреодолимые, страстные увлечения, в которых мы, словно сговорившись, готовы, по-видимому, находить оправдание своему неблаговидному поведению. Не понимаю, каким образом склонность, внезапно возникающая и столь же внезапно исчезающая, может значить больше, чем непоколебимые правила целомудрия, честности и скромности. И так же точно непонятно мне, почему женщина, поправшая их, может быть оправдана своей так называемой страстью с бóльшим правом, чем вор — страстью к деньгам, а убийца — жаждой мести.

Кто может сказать, что ему никогда не приходилось бороться? Но я всегда старалась убедить себя, что для того, чтобы устоять, достаточно захотеть этого, и до сих пор, по крайней мере, опыт мой всегда подтверждал это убеждение. Чего стоила бы добродетель без налагаемых ею обязанностей? Служение ей — в приносимых нами жертвах, а награду мы обретаем в своем сердце. Истины эти могут отрицаться лишь теми, кому выгодно их обесценить и кто, будучи уже развращен, рассчитывает хоть ненадолго обмануть других, пытаясь дурными доводами оправдать свое дурное поведение.

Но можно ли опасаться этого со стороны простого и робкого ребенка, со стороны ребенка, рожденного вами и воспитанного в чистоте и скромности, что должно было лишь укрепить его благие природные качества? А ведь именно из-за таких опасений, которые я осмелилась бы назвать унизительными для вашей дочери, хотите вы отказаться от выгодного замужества, которое уготовано ей вашим благоразумием. Мне очень нравится Дансени, а с господином де Жеркуром я, как вы знаете, с довольно давних пор редко встречаюсь. Но дружеское чувство к одному и безразличие к другому не мешают мне понимать, как велика разница между двумя этими партиями.

Согласна, что по рождению они равны. Но один без состояния, а другой настолько богат, что даже и без родовитости достиг бы чего угодно. Готова признать, что счастье — не в деньгах, но следует согласиться и с тем, что они весьма ему способствуют. Мадемуазель де Воланж, как вы говорите, достаточно богата

для двоих. Однако шестидесяти тысяч ливров дохода, которые у нее будут, не так уж много, когда носишь имя Дансени и надо в соответствии с этим поставить и содержать дом. Мы живем не во времена госпожи де Севинье. Роскошь поглощает все: ее порицают, но приходится за нею тянуться, и в конце концов излишества лишают необходимого.

Что касается личных качеств, которым вы с полным основанием придаете большое значение, то с этой стороны господин де Жеркур несомненно безупречен, и он уже это доказал. Я хочу верить и верю, что Дансени ему ни в чем не уступает, но имеем ли мы тому доказательства? Правда, до сих пор он как будто бы свободен был от свойственных его возрасту недостатков и вопреки духу нашего времени стремился вращаться в хорошем обществе, что является благоприятным для него предзнаменованием. Но кто знает — не обязан ли он этим скромным поведением лишь ограниченности своих средств? Даже если не боишься прослыть игроком или распутником, для игры и для распутства нужны деньги, и можно любить пороки, даже остерегаясь их крайностей. Словом, он не первый и не последний из тех, кто вращается в приличном обществе лишь потому, что не имеет возможности жить по-другому.

Я не говорю (упаси боже!), что так о нем думаю. Но здесь есть известный риск, и как вы стали бы упрекать себя, если бы все сложилось неудачно! Что ответили бы вы дочери, если бы она сказала вам: «Матушка, я была молода, неопытна, поддалась даже простительному в моем возрасте заблуждению. Но небо, предвидя мою слабость, даровало мне в помощницы и хранительницы мудрую мать. Почему же, позабыв свою предусмотрительность, согласились вы на то, что сделало меня несчастной? Разве мне подобало самой выбирать себе супруга, когда я понятия не имела о том, что такое брачная жизнь? Даже если я и хотела этого, разве вы не должны были воспрепятствовать? Но у меня и не было никогда этого безумного желания. Твердо решив повиноваться вам, я почтительно и безропотно ждала вашего выбора. Я никогда не отступала от должной покорности вам и, однако, переношу теперь страдания, выпадающие на долю непокорных детей. Ах, меня погубила ваша слабость...» Может быть, уважение к вам заглушило бы ее жалобы, но материнская любовь догадается о них, как бы дочь ни скрывала своих слез. Они все равно попадут в ваше сердце. Где тогда станете вы искать утешение? Не в безрассудной ли любви, против которой должны были вооружить ее и которой, напротив, допустили ее соблазниться?

Не знаю, друг мой, не слишком ли во мне сильно предубеждение против этой самой страсти, но я считаю ее опасной даже в браке. Не то чтобы я не одобряла достойного и нежного чувства, которое украшает брачные узы и облегчает налагаемые ими обязанности, но не ему подобает скреплять их: не этому преходящему наваждению решать при выборе, определяющем всю нашу жизнь. И действительно, для того чтобы выбирать, надо сравнивать, а как это возможно, если мы увлечены одним лишь предметом, если и его-то нельзя по-настоящему узнать, находясь в состоянии опьянения и ослепления?

Поверьте мне, я не раз встречала женщин, зараженных этим пагубным недугом, и некоторые из них делали мне немало признаний. Послушать их, так нет ни одного возлюбленного, который не являлся бы образцом совершенства. Но совершенства эти существуют только в их воображении. Их взбудораженные головы только и грезят, что о прелестях и добродетелях: они наслаждаются, украшая ими своих избранников. Это — облачение божества, надетое часто на отвратительных идолов. Но каким бы он ни был, раз уж они облачили его таким образом, то, одураченные творением своих же рук, падают пред ним ниц и поклоняются. Или дочь ваша не любит Дансени, или испытывает тот же обман чувств; они оба подпали ему, если их чувство взаимно. Итак, ваше основание для того, чтобы соединить их навеки, сводится к уверенности, что они друг друга не знают и знать не могут. Но, скажете мне вы, разве ваша дочь и господин де Жеркур лучше знают друг друга? Нет, конечно, но тут нет хотя бы самообмана, они просто совсем друг друга не знают. Что в таком случае происходит между супругами, которые, как я полагаю, люди порядочные? То, что каждый из них изучает другого, наблюдает за самим собой и сравнивает, старается выяснить и вскоре соображает, какими из своих вкусов и желаний ему надо пожертвовать, чтобы совместная жизнь была спокойна. Эти небольшие жертвы отнюдь не тягостны, ибо приносятся взаимно и были заранее предусмотрены. Вскоре они порождают взаимную доброжелательность, а привычка, укрепляющая те склонности, которых она не разрушает, постепенно приводит мужа и жену к той сладостной дружбе, к тому нежному доверию, которые в сочетании с уважением и составляют, по-моему, подлинное и прочное супружеское счастье.

Увлечения любви, может быть, и более сладостны. Но кому не известно, что они зато менее устойчивы, и каких только опасностей не таит мгновение, которое их разрушает. Именно тогда малейшие недостатки представляются убийственными, непере-

носимыми из-за полной своей противоположности покорившему нас образу совершенства. Каждый из супругов, однако, думает, что изменился лишь другой, сам же он, как и раньше, стоит того, во что был оценен минутным заблуждением. Он уже не ощущает былого очарования, но удивляется тому, что сам его не порождает. Это унижает его, оскорбленное тщеславие ожесточает души, усиливает взаимные обиды, вызывает раздражение, а затем и ненависть, и в конце концов за мимолетные наслаждения приходится платить годами несчастья.

Вот, дорогой друг, мой образ мыслей по поводу того, что нас занимает. Я не защищаю его, а лишь излагаю. Решать должно вам. Но если вы останетесь при своем мнении, прошу вас сообщить мне доводы, оказавшиеся сильнее моих. Я была бы рада поучиться у вас, а главное — успокоиться относительно судьбы вашей милой дочери, ибо горячо желаю ей счастья и из дружеских чувств к ней, и из тех, которые навеки соединили меня с вами.

Париж, 4 октября 17...

ПИСЬМО 105

От маркизы де Мертей к Сесили Воланж

Итак, малютка, вы очень огорчены, вам ужасно стыдно! А этот господин де Вальмон очень злой человек, не так ли? Как! Он смеет обращаться с вами, как с женщиной, как с самой любимой женщиной! Он учит вас тому, что вам до смерти хотелось узнать! Вот это уж, поистине, непростительно. А вы со своей стороны, вы хотите сохранить целомудрие для своего возлюбленного (который на него не посягает); в любви вам дороги одни лишь страдания, а не радости. Лучшего не придумаешь, вы годитесь прямо в героини романа. Страсть, несчастье, а ко всему еще и добродетель — сколько превосходных вещей! Среди этого блеска, правда, порой становится скучно, но он так благородно выглядит в романе.

Посмотрите-ка на эту бедную девочку, как ее жалко! На следующий день у нее были темные круги под глазами! А что вы скажете, когда это будут глаза вашего любимого? Полноте, ангел мой, не всегда у вас будут такие глаза, не все мужчины — Вальмоны. А потом — не осмеливаться поднимать таких глаз! О, на этот раз вы были правы: все прочитали бы в них, что́ именно с вами приключилось. Однако, поверьте мне, что, если бы это было так, у наших женщин и даже у наших девиц взоры были бы поскромнее.

Несмотря на похвалы, которые, как видите, я все-таки вынуждена вам расточать, надо признать, что самого лучшего вы не сделали: не сказали всего своей мамаше. Вы же так хорошо начали: бросились в ее объятия, рыдали, она тоже плакала. До чего трогательная сцена! И как жаль, что она осталась недоконченной. Ваша нежная мать вне себя от радости: она на всю жизнь заточила бы вас в монастырь, чтобы помочь вам сохранить добродетель. А уж там вы любили бы Дансени, сколько вам было бы угодно, без соперников и без греха. Вы бы предавались скорби, сколько могли, и уж, наверно, Вальмон не явился бы, чтобы нарушать вашу печаль докучными наслаждениями.

Но, кроме шуток, можно ли на шестнадцатом году жизни быть таким ребенком, как вы? Вы совершенно правы, когда говорите, что не заслуживаете моего доброго отношения. А ведь я хотела быть вам другом: с такой матерью, как ваша, и с таким мужем, как тот, которого она собирается вам дать, вы, пожалуй, нуждаетесь в друге. Но если вы не станете взрослее, что прикажете с вами делать? На что можно надеяться, когда то, что обычно приводит девушек в разум, у вас его, по-видимому, отнимает?

Если бы вы способны были поразмыслить хоть минутку, вы бы сразу поняли, что вам надо радоваться вместо того, чтобы хныкать. Но вы ведь стыдитесь, и вам это неприятно! Ну так успокойтесь: стыд, порождаемый любовью, все равно что ее боль; его испытываешь только один раз. Потом можно изображать его, но уже его не ощущаешь. Между тем наслаждение остается, а это чего-нибудь да стоит! Сквозь вашу болтовню я, кажется, разобрала, что вы, может быть, очень способны оценить его. Ну же, проявите немного искренности. Скажите, волнение, которое мешало вам *поступать так, как вы говорили, заставляло защищаться не так решительно, как вы могли бы, и* даже *как будто жалеть,* что Вальмон удалился,— волнение это было вызвано стыдом или наслаждением? А уменье Вальмона *говорить таким образом, что просто не знаешь, как ему ответить,* не следствие ли его *уменья действовать?* Ах, малютка, вы лжете и притом лжете своему другу! Это нехорошо. Но хватит об этом.

То, что для всех было бы удовольствием и могло бы только им и остаться, в вашем положении — настоящее счастье. В самом деле, находясь между матерью, чья любовь вам необходима, и возлюбленным, чью любовь вы хотели бы сохранить навсегда, вы сами должны понять, что единственная возможность достичь

этих двух противоположных целей — это заняться кем-то третьим. Новое приключение отвлечет вас, в глазах вашей мамы все будет иметь такой вид, будто из покорности ее воле вы пожертвовали неугодной ей склонностью, а возлюбленный станет высоко чтить вас за способность доблестно от него защищаться. Беспрестанно уверяя его в своей любви, вы не дадите ему последних ее доказательств. Отказ ваш, столь нетрудный в вашем положении, он не преминет отнести за счет вашей добродетели. Может быть, он станет сетовать на него, но полюбит вас еще сильнее. А за то, что вы обретете двойную заслугу — в глазах одной, пожертвовав любовью, а в глазах другого, сопротивляясь любви,— вам придется заплатить недорогой ценой: вкушать наслаждения любви. О, скольким женщинам пришлось потерять свою добрую славу, которую они отлично сохранили бы, если бы могли поддержать ее подобным способом!

Разве выход, который я вам предлагаю, не кажется вам самым разумным, равно как и самым приятным? А знаете, чего вы добились нынешним своим поведением? Мама ваша, приписавшая усиление вашей тоски усилению любовного чувства, крайне разгневана этим и, чтобы наказать вас, ждет только случая окончательно в этом убедиться. Мне она сообщила, что, может быть, пойдет даже на то, чтобы предложить вам выйти за него,— с единственной целью вырвать у вас признание. И если, поддавшись на эту коварную нежность, вы ответите согласно велению сердца, то вас вскоре надолго, может быть даже навсегда, заточат, и уже тогда вы наплачетесь из-за своей слепой доверчивости.

На хитрость, которую она намерена против вас применить, надо ответить хитростью. Начните же с того, что, выказывая меньше грусти, заставьте ее поверить, будто вы меньше думаете о Дансени. Она тем легче убедится в этом, что таково обычно действие разлуки. И она будет тем более довольна вами, что усмотрит в этом лишний повод порадоваться своему благоразумию, подсказавшему ей такое средство. Но если, сохраняя еще кое-какие сомнения, она все же решит испытать вас, сделайте вид, что вы, как девушка из благородной семьи, готовы ей во всем повиноваться. Да и чем вы в таком случае рискуете? В отношении того, что вообще представляет собою муж, один другого стоит. Самый нудный и назойливый не так докучен, как мать.

Успокоившись насчет вас, ваша мама наконец-то выдаст вас замуж. И тогда, обладая уже большей свободой действий, вы сможете — по желанию — оставить Вальмона и взять Дансени

или даже сохранить их обоих. Ибо советую вам быть осмотрительной: ваш Дансени очень мил, но он из тех мужчин, которых можно иметь, когда вздумается, и на столько времени, на сколько вздумается,— с ним поэтому можно не стесняться. С Вальмоном дело обстоит иначе: сохранить его нелегко, а бросить опасно. С ним надо вести себя очень ловко, а если ловкости нет, нужна большая податливость. Но зато, если бы вы сумели привязать его к себе, как друга, это было бы большим счастьем! Он тотчас бы выдвинул вас в первые ряды наших самых модных женщин. Вот каким образом достигают положения в обществе, а не краснея и плача, как тогда, когда ваши монахини заставляли вас обедать, стоя на коленях.

Итак, если вы будете умницей, то постараетесь помириться с Вальмоном, который, наверно, очень на вас рассержен. А так как надо уметь исправлять свои оплошности, то не бойтесь первой пойти ему навстречу. Вскоре вы сами узнаете, что если первые авансы делают мужчины, то затем почти всегда наступает наша очередь. У вас для этого есть отличный предлог: вы не должны оставлять у себя мое письмо, и я требую, чтобы вы передали его Вальмону, как только прочтете. Однако не забудьте сперва запечатать его снова. Во-первых, вам надо оставить за собою заслугу первого шага к примирению с ним, чтобы не получилось, будто вы действуете по моему совету. А во-вторых, на всем свете нет, кроме вас, никого, с кем бы я была настолько дружна, чтобы говорить так, как с вами.

Прощайте, ангел мой. Следуйте моим советам и сообщите мне, пошли ли они вам на благо.

P. S. Кстати, забыла... еще одно слово. Вам надо обратить сугубое внимание на свой стиль. Вы продолжаете писать по-детски. Я понимаю, отчего это происходит: вы говорите все, что думаете, и ничего такого, чего бы не думали. Между нами двумя это вполне допустимо: ведь мы не должны ничего скрывать друг от друга. Но со всеми прочими! Особенно с вашим возлюбленным! Вы всегда будете казаться дурочкой. Поймите, что когда вы кому-нибудь пишете, то делаете это для него, а не для себя. Поэтому вам надо стараться говорить ему не столько то, что вы думаете, сколько то, что ему больше понравится.

Прощайте, мой ангелочек, целую вас, вместо того чтобы бранить, в надежде, что вы станете благоразумнее.

Париж, 4 октября 17...

ПИСЬМО 106

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Замечательно, виконт, и на этот раз я от вас просто без ума! Впрочем, после первого из ваших двух писем можно было ожидать второго, поэтому оно меня не удивило. Уже гордясь своим будущим успехом, вы требовали награды и спрашивали, готова ли я расплачиваться, но я-то отлично видела, что мне вовсе незачем торопиться. Да, честное слово, читая ваш изумительный рассказ об этой нежной сцене, которая вас *так взволновала,* при виде вашей сдержанности, достойной самых лучших времен нашего рыцарства, я раз двадцать подумала: дело проиграно!

Но ведь иначе и быть не могло. Как же, по-вашему, должна поступить несчастная женщина, которая отдается, а ее не берут? Право же, в подобных случаях надо спасать хотя бы честь, что и сделала ваша президентша. Относительно себя могу сказать, что, на мой взгляд, ее образ действий производит известное впечатление, и, что касается меня, я намерена применить его при первом же достойном того случае. Но даю себе слово, что если тот, ради кого я потрачу усилия, не воспользуется обстоятельствами лучше, чем вы, он уж, наверно, должен будет навсегда от меня отказаться.

Так, значит, вы остались решительно ни при чем? И это с двумя женщинами, из которых одна уже пережила великое событие, а другая только о нем и мечтала! Знайте же — хотя вы будете считать, что я хвастаю, и скажете, что легко пророчествовать задним числом,— могу поклясться, что я этого ожидала. Дело в том, что вы лишены настоящей одаренности в своем искусстве: вы умеете лишь то, чему научились, а сами ничего изобрести не способны. Поэтому, как только обстоятельства не укладываются в рамки того, что вы считаете обычным правилом, и вам надо сойти с привычной дороги, вы становитесь беспомощным, как школьник. Словом, для того чтобы вы растерялись, оказалось достаточно, с одной стороны, ребяческой выходки, а с другой — нового приступа целомудрия, и все только потому, что это случается не каждый день. И вы не сумели ни предвидеть их, ни устранить. Ах, виконт, виконт! Вы учите меня не судить о мужчинах по их успехам. Вскоре придется о вас говорить: вот тогда-то он был молодец. И теперь, нагромоздив глупость на глупость, вы обращаетесь за советом ко мне! Словно у меня только и дел, что исправлять ваши глупости. Право, это может потребовать очень много времени.

Как бы то ни было, но одно из этих приключений начато вопреки моему желанию, и в него я вмешиваться не стану. Что касается другого, то в нем вы и мне хотели сделать приятное, и потому я считаю его своим делом. Прилагаемого к сему письма, которое вы сперва прочтете, а потом передадите малютке Воланж, будет более чем достаточно, чтобы она вернулась в ваши объятия. Но, прошу вас, уделите этой девочке настоящее внимание, и сделаем сообща так, чтобы она довела до отчаяния свою мать и Жеркура. Можете, не опасаясь, увеличивать дозы. Я вполне ясно вижу, что ими юную особу не испугаешь. А когда мы добьемся того, что нам нужно, пусть уж из нее выходит то, что выйдет.

Меня она уже совершенно не интересует. Сперва мне хотелось сделать из нее интриганку хотя бы второго разряда и взять ее на *вторые роли* при себе. Но теперь я вижу, что материал неподходящий. В ней есть какое-то глупое простодушие, которое не поддалось даже лекарству, примененному вами, а уж оно-то обычно производит должное действие. На мой взгляд, это самая опасная для женщин болезнь. Она прежде всего свидетельствует о почти неизлечимой и все портящей слабохарактерности. Поэтому, пытаясь выработать из этой девочки интриганку, мы сделаем из нее всего-навсего доступную женщину. А я считаю, что нет ничего более пошлого, чем легкомыслие по глупости, когда отдаешься, не зная как и почему, лишь потому, что тебя атакуют, а ты не умеешь обороняться. Такого рода женщины — только инструменты для удовольствия.

Вы скажете, что из нее только это и требуется сделать и что для наших целей этого вполне достаточно. Пусть так. Но не надо забывать, что все очень скоро узна́ют, какие пружины и двигатели приводят в действие такого рода инструменты. Поэтому, чтобы использовать этот без опасности для самих себя, мы должны поспешить, остановиться вовремя, а затем сломать его. По правде сказать, у нас не будет недостатка в средствах избавиться от нее: Жеркур без труда добьется ее заточения, когда мы того пожелаем. И действительно, раз уж он убедится, что надежды его обмануты, раз это станет всем известно, не все ли нам будет равно, если он захочет ей мстить, лишь бы он оставался безутешен? То, что я говорю о муже, вы, наверно, думаете о матери,— значит, игра стоит свеч!

Это решение, которое я в конце концов приняла, так как считаю его наилучшим, побудило меня повести молодую особу быстрым темпом, как вы увидите из моего письма к ней. Поэтому очень важно не оставлять у нее в руках ничего такого, что могло

бы нас выдать, и я прошу вас быть в этом отношении внимательным. При соблюдении этой предосторожности я беру на себя заботу о нравственном воздействии, а остальное — ваше дело. Если, однако, впоследствии мы обнаружим, что простодушие поддается лечению, то всегда успеем переменить план. Все равно рано или поздно нам пришлось бы заняться тем, что мы собираемся сделать, так что ни при каких обстоятельствах труды наши даром не пропадут.

Знаете ли вы, что с моими трудами это едва не случилось и что звезда Жеркура едва не оказалась сильнее моей предусмотрительности. Ведь у госпожи де Воланж в некий момент проявилась вдруг материнская слабость! Она возымела желание выдать свою дочь за Дансени! Вот что означало это более нежное внимание к ней, которое вы заметили *на другой день*. И это опять вы оказались бы причиной такого венчающего дело конца! К счастью, нежная мать мне об этом написала, и я надеюсь, что мой ответ отрезвит ее. В нем я так распространяюсь о добродетели, а главное, так льщу ей самой, что она должна уверовать в мою правоту.

Мне очень жаль, что у меня не было времени снять копию со своего письма, чтобы вы убедились в строгости моих нравственных правил. Вы увидели бы, до чего я презираю женщин, достаточно испорченных, чтобы завести себе любовника! Как легко быть строгой на словах! Это вполне безвредно для других и нисколько не стесняет нас. К тому же мне небезызвестно, что милейшая дама, как и всякая другая, обладала в молодые годы кое-какими маленькими слабостями, и я ничего не имела против того, чтобы она почувствовала себя униженной хотя бы перед своей собственной совестью: меня это несколько вознаграждало за похвалы, которые я расточала ей против совести моей. Точно так же и в том же самом письме мысль, что я причиняю зло Жеркуру, дала мне мужество хорошо о нем отозваться.

Прощайте, виконт. Я весьма одобряю ваше решение задержаться на некоторое время там, где вы находитесь. Я не имею никакой возможности ускорить ваше продвижение, но советую вам развлечься с общей нашей подопечной. Что же касается меня, то, несмотря на вашу любезную цитату, вы сами видите,— придется обождать и, без сомнения, согласитесь — не по моей вине.

Париж, 4 октября 17...

ПИСЬМО 107

От Азолана к виконту де Вальмону

Сударь! Согласно вашему приказанию, я, как только получил ваше письмо, отправился к господину Бертрану, который и передал мне двадцать пять луидоров, как вы распорядились. Я попросил его дать мне еще два для Филиппа, которому я велел тотчас же выезжать, как вы изволили мне написать, и у которого денег не было. Но господин ваш поверенный отказал мне в этом, сказав, что на этот счет от вас распоряжения нет. Поэтому я вынужден был дать Филиппу из своих денег, и если на то будет ваша милость, вы мне их зачтете.

Филипп уехал вчера вечером. Я строго-настрого наказал ему не отлучаться из придорожного кабачка, чтобы его всегда можно было найти, ежели бы он понадобился.

После того я немедленно отправился к госпоже президентше, чтобы повидать мадемуазель Жюли, но ее не было дома, и я поговорил только с Ла-Флером, от которого ничего узнать не смог, так как после своего приезда он бывал в доме лишь в часы трапез. Всю службу нес второй лакей, а вам, сударь, известно, что его я не знаю. Но сегодня я снова занялся этим делом.

Утром я опять зашел к мадемуазель Жюли, и она, по-видимому, была мне очень рада. Я спросил ее о причине возвращения ее хозяйки, но она сказала, что ничего об этом не знает, и я думаю, что она говорит правду. Я упрекнул ее за то, что она не предупредила меня о своем отъезде, но она стала уверять, что сама узнала о нем лишь накануне вечером, когда пришла помочь своей госпоже раздеться на ночь. Таким образом, бедняжка всю ночь укладывала вещи и спала не более двух часов. Из комнаты госпожи она вышла лишь во втором часу ночи, и в это время та еще только принималась что-то писать.

Утром перед самым отъездом госпожа де Турвель вручила привратнику замка какое-то письмо. Мадемуазель Жюли не знает, кому оно было адресовано. Она говорит, что, может быть, вашей милости, но вы ничего не изволили мне сказать.

В дороге лицо у госпожи де Турвель все время скрыто было капюшоном, и поэтому его не было видно. Но мадемуазель Жюли почти уверена, что она часто плакала. Пока они ехали, она не произнесла ни слова и не пожелала остановиться в *** [1], как сделала на пути в замок, что не очень-то понравилось мадемуазель Жюли, которая уехала, не позавтракав. Но, как я ей сказал, на то уж господская воля.

---

[1] Все та же деревня на полдороге.

По приезде госпожа де Турвель тотчас же легла, но оставалась в постели всего часа два. Встав, она вызвала к себе швейцара и велела никого не принимать. Одеваться она не стала. Она вышла к обеду, но съела только немного супа и тотчас же встала из-за стола. Кофе ей подали в спальню, и тогда же к ней зашла мадемуазель Жюли. Она застала свою хозяйку за разборкой бумаг в секретере и увидела, что это все были письма. Готов поручиться — письма вашей милости. А из трех, которые пришли днем, одно она не выпускала из рук до самого вечера! Я уверен, что и оно от вашей милости. Но почему же она тогда взяла да уехала? Меня это удивляет. Впрочем, ваша милость, наверно, изволите это знать, и к тому же это не мое дело.

После обеда госпожа президентша прошла в библиотеку, взяла две книги и отнесла их в свой будуар. Но мадемуазель Жюли уверяет, что за весь день она и пятнадцати минут не смотрела в книгу, а все перечитывала то письмо да мечтала, подперев щеку рукой. Так как мне пришло в голову, что вашей милости приятно было бы знать, что это за книги, а мадемуазель Жюли сказать мне не сумела, я попросил сегодня провести меня в библиотеку под тем предлогом, будто я хочу ее осмотреть. На полках не хватает лишь двух книг: одна — это второй том «Христианских мыслей», а другая — первый том произведения под названием «Кларисса». Пишу так, как там значится. Вы, может быть, сами изволите догадаться, что это такое.

Вчера вечером госпожа де Турвель не ужинала, она пила только чай.

Сегодня утром она очень рано позвонила, велела тотчас же подать лошадей, и не было еще девяти часов, как она слушала у Фельянов обедню. Хотела также исповедоваться, но духовник ее отсутствовал; он вернется только через неделю или через десять дней. Мне кажется, что и об этом следует доложить вашей милости.

Потом она вернулась домой, позавтракала, а затем села что-то писать и занималась этим около часа. Вскоре мне представился случай сделать то, что так желательно было вашей милости: письма на почту отнес я. Писем госпоже де Воланж не обнаружилось, но одно я все же посылаю вам, сударь,— письмо господину президенту; мне казалось, что оно должно быть наиболее интересным. Имелось и письмо на имя госпожи де Розмонд, но я подумал, что ваша милость всегда сможете прочесть его, если пожелаете, и потому отправил. Впрочем, вашей милости и без того все станет известно, так как госпожа президентша написала и вам. В дальнейшем я смогу получать все письма, с ко-

торыми пожелает ознакомиться ваша милость. Ибо слугам почти всегда их передает мадемуазель Жюли, а она уверяет меня, что из симпатии ко мне, а также к вашей милости охотно сделает все, что я захочу.

Она даже не захотела брать денег, которые я ей предложил. Но я думаю, ваша милость не откажетесь сделать ей какой-нибудь подарочек, и, если вам будет угодно, я без труда узнаю, что́ доставило бы ей удовольствие.

Надеюсь, ваша милость не скажете, что я нерадиво служу вам, и мне очень хотелось бы оправдаться от упреков, которые вы изволили мне сделать. Если я не знал об отъезде госпожи президентши, то как раз по причине моего пылкого желания послужить вашей милости,— оно-то и заставило меня выехать в три часа пополуночи, и я не смог повидать мадемуазель Жюли накануне вечером, как обычно, так как отправился ночевать во флигель для приезжей прислуги, чтобы не разбудить никого в замке.

Что до упрека вашей милости насчет моего частого безденежья, так оно происходит оттого, что, во-первых, я люблю, как вы сами изволите видеть, содержать себя в чистоте, а во-вторых, надо же поддерживать честь ливреи, которую носишь. Я, конечно, знаю, что мне следовало бы хоть немножко откладывать на черный день, но я целиком полагаюсь на щедрость вашей милости, как очень доброго господина.

Что же до того, чтобы поступить на службу к госпоже де Турвель, оставаясь в то же время и на службе у вашей милости, то я уповаю, что ваша милость не станете этого от меня требовать. У госпожи герцогини было совсем иное дело, но уж совсем не годится мне носить ливрею судейского дворянина, после того как я имел честь быть егерем вашей милости. Во всем же прочем вы, сударь, можете располагать тем, кто имеет честь пребывать со всем почтением и любовью нижайшим вашим слугой

Ру Азолан, егерь.

Париж, 5 октября 17.., одиннадцать часов вечера.

ПИСЬМО 108

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

О моя снисходительная матушка, как я вам благодарна и как нужно мне было ваше письмо! Я читала и перечитывала его без конца, будучи не в силах от него оторваться. Ему обязана я

единственными не столь уж тягостными минутами, которые провела со времени отъезда. Как вы добры! Значит, мудрость и добродетель могут сочувствовать слабости! Вы сжалились над моими страданиями! О, если бы вы их знали!.. Они невыносимы. Я думала, что уже изведала все муки любви, но самая неизъяснимая мука, которую нужно ощутить, чтобы иметь о ней представление, это разлучиться с любимым человеком, и разлучиться навсегда!.. Да, страдание, гнетущее меня сейчас, возобновится завтра, будет длиться всю мою жизнь! Боже мой, как я еще молода, сколько мне еще предстоит страдать!

Самой стать виновницей своего несчастья, собственными руками разрывать себе сердце и, испытывая эту невыносимую боль, ежесекундно ощущать, что ее можно прекратить одним только словом, но слово это — преступно. Ах, друг мой!

Приняв столь тягостное для меня решение удалиться от него, я надеялась, что разлука укрепит мое мужество и силы. Но как я ошиблась! Кажется, она вместо этого окончательно их уничтожит. Правда, мне приходилось сильнее бороться, но даже когда я сопротивлялась, то не была лишена всего: я с ним иногда виделась. Часто даже, не решаясь поднять на него глаза, я чувствовала, как его взгляд пристально устремлен на меня. Да, друг мой, я его ощущала; казалось, он согревал мне душу и, минуя даже мои глаза, доходил все же до моего сердца. Теперь же в тяжком моем одиночестве, когда я разлучена с тем, кто мне всего дороже, когда я наедине со своим горем, все мгновения моего безрадостного существования насыщены слезами, и ничто не смягчает их горечь. Никакое утешение не облегчает моих жертв, а жертвы, которые я до сих пор принесла, делают только более мучительными те, которые мне осталось еще принести.

Не далее как вчера я это очень живо почувствовала. Среди полученных мною писем одно было от него. Слуга, который принес их, находился еще в двух шагах от меня, а я уже узнала это письмо среди всех других. Я невольно встала с места; я дрожала, с трудом подавляя волнение. Однако в этом состоянии было нечто приятное. Но когда через мгновение я оказалась одна, обманчивая эта сладость тотчас же улетучилась, и мне только пришлось принести лишнюю жертву. И действительно, могла ли я распечатать это письмо, которое в то же время жаждала прочесть. Меня преследует какой-то злой рок, по воле которого все, что, казалось бы, могло утешить меня, превращается, напротив, в необходимость переносить новые лишения, а они становятся еще более жестокими из-за мысли о том, что их разделяет господин де Вальмон.

Вот, наконец, это имя, которое владеет моими мыслями и которое мне так трудно было написать. Вы меня как будто упрекнули за это, и я ужасно огорчилась. Умоляю вас не сомневаться, что ложный стыд не поколебал моего к вам доверия. А почему бы мне стыдиться назвать его? Ах, я краснею за свои чувства, а не за вызвавший их предмет. Кто более достоин внушать их, чем он? И все же, не знаю, почему имя это с таким трудом выходит из-под моего пера. И даже сейчас мне пришлось поразмыслить, прежде чем написать его. Но возвращаюсь к нему.

Вы сообщили мне, что *он, по-видимому, был глубоко взволнован моим отъездом.* Что же он сделал? Что сказал? Заговорил ли о возвращении в Париж? Прошу вас, убеждайте его, как только сможете, не делать этого. Если он правильно судит обо мне, то не должен пенять на меня за этот шаг. Но он должен зато понять, что решение мое бесповоротно. Одно из самых глубоких моих терзаний,— то, что я не знаю, что́ он думает. Правда, у меня есть его письмо... Но вы, наверно, согласны со мной, что мне не следует его распечатывать.

Лишь благодаря вам, снисходительный друг мой, я не полностью разлучена с ним. Я не хочу злоупотреблять вашей добротой. Я отлично понимаю, что ваши письма не могут быть длинными, но не откажете же вы написать два слова своей дочери: одно — чтобы поддержать в ней мужество, другое — чтобы ее утешить. Прощайте, мой высокочтимый друг.

Париж, 5 октября 17...

ПИСЬМО 109

От Сесили Воланж к маркизе де Мертей

Лишь сегодня, сударыня, передала я господину де Вальмону письмо, которое имела честь от вас получить. Я хранила его четыре дня, хотя часто меня и брал страх, как бы его не обнаружили. Однако я очень старательно прятала его, а когда мне становилось уж очень горько на душе, я запиралась и перечитывала его.

Теперь я вижу, что то, что я считала такой ужасной бедой, почти даже и не беда. И надо признаться, что это доставляет большое удовольствие, так что я даже почти уже не огорчаюсь. Вот только мысль о Дансени иногда меня все же мучит. Но теперь очень часто бывают минуты, когда я о нем вовсе не думаю! К тому же господин де Вальмон очень, очень мил!

Я помирилась с ним уже два дня тому назад. Это было совсем нетрудно: не успела я произнести и двух слов, как он мне сказал, что, если я хочу с ним о чем-нибудь поговорить, он зайдет вечером в мою комнату, и мне оставалось только ответить, что я согласна. А когда он пришел, то можно было подумать, что он вовсе и не сердится, словно я ему ничего не сделала. Он побранил меня только потом, да и то ласково и как-то так... Ну, совсем, как вы, из чего я заключила, что он тоже ко мне очень хорошо относится.

Не могу даже передать вам, сколько забавных вещей он мне рассказал, таких, что я даже не поверила бы, особенно про маму. Я буду очень рада, если вы напишете мне, правда ли все это. А что я не могла удержаться от смеха, так это истинная правда. Дошло до того, что я один раз громко расхохоталась, и мы очень испугались: мама ведь могла услышать, и что бы со мной сталось, если бы она пришла посмотреть, в чем дело! Тут уж она, наверно, водворила бы меня обратно в монастырь.

Приходится соблюдать величайшую осторожность, и, так как господин де Вальмон сам сказал мне, что он ни за что не хотел бы меня скомпрометировать, мы условились, что впредь он будет приходить только для того, чтобы открыть дверь, а потом мы будем уходить в его комнату. Там-то уж совсем нечего бояться. Я уже была там вчера, и сейчас, когда я вам пишу, я опять жду, чтоб он пришел. Теперь, сударыня, я надеюсь, что вы больше не станете меня бранить.

В вашем письме меня очень удивило только одно: то, что вы мне говорите относительно Дансени и господина де Вальмона,— как мне вести себя с ними после замужества. Помнится мне, что как-то, когда мы с вами были в Опере, вы мне говорили совсем обратное — что, выйдя замуж, я уже никого не смогу любить, кроме своего мужа, и что мне даже придется забыть Дансени. Впрочем, я, может быть, не так поняла, и я даже предпочла бы, чтобы это было иначе, ибо теперь я уже не буду так бояться замужества. Я даже хочу, чтоб это наступило,— ведь тогда у меня будет больше свободы. И я надеюсь, что смогу устроиться таким образом, чтобы думать лишь о Дансени. Я уверена, что по-настоящему счастлива буду только с ним. Ибо теперь меня постоянно мучит мысль о нем, и я счастлива лишь тогда, когда могу о нем не думать. Но это очень трудно, а стоит мне только подумать о нем, как мне тотчас же становится грустно.

Немножко утешает меня то, что, как вы уверяете, Дансени будет меня от этого сильнее любить. Но вполне ли вы в этом

уверены? О да, ведь вы не стали бы меня обманывать. Забавно, однако, что люблю я Дансени, а между тем с господином де Вальмоном... Но, как вы говорите, может быть, это к лучшему! Словом, там будет видно.

Я не очень уразумела то, что вы мне говорите насчет моей манеры писать. Кажется, Дансени мои письма нравятся такими, какие они есть. Однако я хорошо понимаю, что не должна ничего говорить ему о том, что́ у меня происходит с господином де Вальмоном. Так что на этот счет не беспокойтесь.

Мама еще не говорила со мной о замужестве. Но я готова: когда она заговорит, даю вам слово, что сумею солгать, если она захочет поймать меня.

Прощайте, мой добрый друг. Я очень вам благодарна и обещаю, что никогда не забуду всей вашей доброты ко мне. Пора кончать: уже около часу, и господин де Вальмон скоро придет.

Из замка ***, 10 октября 17...

ПИСЬМО 110

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Силы небесные, у меня хватило душевных сил для страдания, дайте же мне душевные силы для счастья [1]. Кажется, именно так изъясняется чувствительный Сен-Пре. Природа одарила меня щедрее: я владею и тем и другим бытием. Да, друг мой, я одновременно и очень счастлив, и очень несчастен. И раз вы пользуетесь моим полным доверием, я расскажу вам повесть моих страданий и моих радостей.

Знайте же, что моя неблагодарная святоша ко мне по-прежнему сурова: я получил обратно четвертое свое письмо. Может быть, не следует говорить — четвертое. Ибо, когда я получил обратно первое, то сразу догадался, что за этим последуют многие другие, и, не желая тратить даром времени, решил изливать свои сетования в самых общих выражениях и не ставить чисел, так что со второй почты туда и сюда ходит одно и то же письмо, и меняется только конверт. Если прелестница моя кончит тем, чем обычно кончают прелестницы, и в один прекрасный день смягчится хотя бы от усталости и оставит у себя мое послание,— тогда и настанет время приглядеться к тому, как обстоят дела. Вы сами понимаете, что при этом новом способе переписки я не могу быть очень хорошо осведомлен.

---

[1] «Новая Элоиза».

Впрочем, я обнаружил, что непостоянная эта особа переменила наперсницу: во всяком случае, я смог убедиться, что со времени ее отъезда из замка не было доставлено от нее ни одного письма госпоже де Воланж, но целых два пришло на имя старухи де Розмонд. А так как та ничего нам об этом не сказала, так как рта не раскрывает по поводу *своей красавицы,* о которой прежде говорила без умолку, я вывел из этого заключение, что в наперсницы попала именно она. Предполагаю, что эта великая перемена произошла, с одной стороны, из-за потребности говорить обо мне, а с другой — из-за некоторого стыда обнаружить перед госпожой де Воланж чувство, которое так долго отрицалось. Боюсь, что от этой перемены я только проиграл, ибо чем старее женщины, тем они жестче и строже. Первая наговорила бы ей, конечно, больше дурного обо мне, эта наговорит больше дурного о любви. А чувствительная святоша гораздо больше боится чувства, чем его предмета.

Для меня единственный способ оказаться в курсе дел — это, как вы сами видите, перехватить держащуюся в тайне переписку. Я уже послал соответствующие распоряжения своему егерю и со дня на день жду их исполнения. До тех же пор я могу действовать только наугад. Поэтому уже целую неделю я тщетно перебираю в уме все известные способы,— и те, что содержатся в романах, и те, что отмечены в моих секретных записках,— но не нахожу ни одного, подходящего к данным обстоятельствам и к характеру героини. Трудность для меня не в том, чтобы к ней проникнуть, хотя бы даже ночью, не в том даже, чтобы усыпить ее и превратить в новую Клариссу. Но прибегать после более чем двух месяцев забот и трудов к способам, мне совершенно чуждым! Рабски влачиться по чужим следам и восторжествовать бесславно!.. Нет, ей не иметь *утех порока вместе со славою добродетели!* [1] Мне мало обладать ею — я хочу, чтобы она мне отдалась. А для этого надо не только проникнуть к ней, но достигнуть этого с ее же согласия, застать ее одну и готовую выслушать меня, а самое главное — закрыть ей глаза на опасность, ибо если она ее увидит, то сумеет или победить ее, или умереть. Но чем лучше я представляю себе, что́ именно следует делать, тем труднее мне это выполнять. И даже если вы станете снова издеваться надо мной, я все же призна́юсь вам, что чем больше я занимаюсь этим делом, тем сильнее мое замешательство.

Я думаю, что совсем потерял бы голову, если бы не приятные развлечения, которыми дарит меня наша с вами общая

[1] «Новая Элоиза».

подопечная. Ей обязан я тем, что мне пришлось заняться еще кое-чем, помимо сочинения элегий.

Поверите ли, эта девочка была до того перепугана, что прошло целых три дня, прежде чем ваше письмо произвело должное действие! Вот как одно только ложное представление может исказить самые благоприятные природные наклонности!

Словом, лишь в субботу девица эта стала вертеться около меня и лепетать какие-то слова, сперва еле слышные — до того заглушал их стыд. Но они вызывали краску на лице, и по этому признаку я догадался об их смысле. До тех пор я держался надменно, но, поколебленный столь забавным раскаянием, соблаговолил пообещать, что в тот же вечер приду отпустить красотке грехи. И эта моя милость принята была со всей благодарностью, подобающей столь великому благодеянию.

Так как я никогда не упускаю из виду ни ваших замыслов, ни своих, то решил воспользоваться этим случаем и узнать, чего по-настоящему стоит эта девочка, а также поторопиться с завершением ее образования. Но для того чтобы свободнее заняться этим делом, мне нужно было сначала переменить место наших свиданий, ибо ее комнату от комнаты матери отделяет лишь чуланчик, и она не чувствовала себя в достаточной безопасности, чтобы развернуться вовсю. Поэтому я решил произвести якобы нечаянно какой-нибудь шум, который напугал бы ее настолько, чтобы она решилась избрать на будущее какое-нибудь более надежное убежище. Но она сама избавила меня и от этого труда.

Малютка смешлива. Чтобы поощрить ее веселость, я решил рассказывать ей в перерывах между нашими занятиями все скандальные приключения, какие только приходили мне в голову. А чтобы они были поострее и произвели на нее особенное впечатление, все их относил за счет ее мамаши, с большим удовольствием наделяя эту даму всевозможными пороками и выставляя в смешном виде.

Выбор этот я сделал не без тайного умысла: подобные рассказы лучше чего бы то ни было другого придавали смелость моей робкой ученице, в то же время внушая ей глубочайшее презрение к ее матери. А я давно заметил, что, если это средство не всегда необходимо для того, чтобы соблазнить девушку, оно незаменимо и часто наиболее действенно, если хочешь ее развратить. Ибо та, кто не уважает своей матери, потеряет и всякое уважение к себе — вот нравственное правило, которое я считаю настолько назидательным, что очень рад был найти пример для его подтверждения.

Между тем ваша подопечная, отнюдь не думая о нравственности, беспрестанно подавляла смех и, наконец, не выдержала и громко расхохоталась. Мне без труда удалось уверить ее, что она наделала *ужасающий шум*. Я притворился, что перепуган, и мой страх тотчас же передался ей. Чтобы она получше это запомнила, я не допустил возобновления удовольствий и покинул ее на три часа раньше обычного. Итак, расставаясь, мы условились, что с завтрашнего дня будем встречаться у меня.

Я принимал ее в своей комнате уже дважды. За этот короткий срок ученица стала почти такой же сведущей, как ее учитель. Да, это правда,— я обучил ее всему, вплоть до утонченностей. Исключил лишь предосторожности.

Занятый таким образом по ночам, я выгадываю то, что могу спать значительную часть дня. А так как общество, находящееся сейчас в замке, для меня нисколько не привлекательно, я за весь день появляюсь в гостиной на какой-нибудь час. С сегодняшнего дня я решил даже обедать у себя в комнате и намерен покидать ее лишь для коротких прогулок. Странности эти относят за счет моего нездоровья. Я объявил, что у меня *приступы ипохондрии*, а также сказал, что меня слегка лихорадит. Для убедительности мне приходится только говорить медленно, упавшим голосом. Что же до изможденного вида, то уж доверьтесь своей подопечной. *Любовь об этом позаботится* [1].

На досуге я раздумываю, какими способами вновь приобрести те преимущества над своей неблагодарной, которые я утратил, а также сочиняю своего рода «катехизис распутства» для своей ученицы. Мне доставляет удовольствие называть там все специальными терминами, и я заранее веселюсь при мысли о занятной беседе, которая должна будет произойти между ней и Жеркуром в их первую брачную ночь. Нет ничего забавнее непосредственности, с которой она уже пользуется тем немногим, что знает на этом языке! Она и представления не имеет, что можно выражаться иначе. Девочка и впрямь обольстительна! Этот контраст наивного простодушия с бесстыдством в речах производит впечатление, а — я уж не знаю почему — мне теперь нравятся только необычные вещи.

Может быть, я уж чересчур увлекся этим приключением, на которое трачу и время и здоровье. Но я надеюсь, что моя мнимая болезнь не только спасает меня от скуки, царящей в гостиной, но и сослужит мне службу у моей суровой святоши, чья свирепая добродетель уживается, однако, с нежной чувствительностью! Я не сомневаюсь, что ее уже осведомили о сем великом событии,

[1] Реньяр, «Любовное безумие».

и мне ужасно хочется знать, что́ она о нем думает, тем более, что — ручаюсь в этом — она не преминет приписать себе честь быть его причиной. Состояние моего здоровья будет теперь зависеть от впечатления, которое оно станет на нее производить.

Теперь, прелестный друг мой, вы знаете о моих делах не меньше меня самого. Хотел бы в ближайшее время сообщить вам более интересные новости, и прошу вас верить, что среди наслаждений, которые я надеюсь от них вкусить, большое место занимает ожидаемая от вас награда.

Из замка ***, 11 октября 17...

ПИСЬМО 111

От графа де Жеркура к госпоже де Воланж

В наших краях, сударыня, все, кажется, уже успокоилось, и мы со дня на день ожидаем разрешения вернуться во Францию. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что я по-прежнему стремлюсь очутиться на родине и скрепить там узы, которые должны соединить меня с вами и с мадемуазель де Воланж. Между тем герцог де ***, мой двоюродный брат, которому, как вы знаете, я столь многим обязан, только что известил меня о своем отозвании из Неаполя. Он сообщает мне также, что намеревается проследовать через Рим и по дороге осмотреть ту часть Италии, с которой он еще не знаком. Он предлагает мне сопровождать его в этом путешествии, которое продлится полтора-два месяца. Не скрою от вас, что мне было бы приятно воспользоваться этим случаем, ибо я отлично понимаю, что, будучи женат, лишь с трудом смогу выбрать время для каких бы то ни было отлучек, кроме служебных. Может быть, было бы также более удобно повременить со свадьбой до зимы, поскольку лишь к тому времени в Париж съедутся все мои родственники, и прежде всего маркиз де ***, которому я обязан надеждой породниться с вами. Несмотря, однако, на все эти соображения, планы мои в данном случае я полностью подчиняю вашим. И если вы хотя бы в самой малой степени были склонны предпочесть свои прежние намерения, я готов отказаться от своих. Прошу вас только сообщить мне как можно скорее ваше на этот счет решение. Я буду ждать здесь вашего ответа, и лишь он один определит мои действия.

Остаюсь, сударыня, с глубоким уважением и всеми чувствами, подобающими сыну, вашим покорнейшим и проч.

Граф *де Жеркур*

Бастиа, 10 октября 17...

ПИСЬМО 112

От госпожи де Розмонд к президентше де Турвель
(Написано под диктовку)

Только сейчас, красавица вы моя, получила я ваше письмо от 11-го [1], полное нежных упреков. Признайтесь, вам хотелось бы упрекнуть меня посильнее, и если бы вы не вспомнили, что вы моя *дочь*, то побранили бы меня по-настоящему. Но как это было бы несправедливо! Если я откладывала письмо со дня на день, то лишь потому, что хотела и надеялась ответить вам собственноручно; однако, как вы сами можете убедиться, я и теперь вынуждена пользоваться для этого услугами моей камеристки. Злосчастный ревматизм одолел меня: на этот раз он забрался в мою правую руку, и я сейчас — совершенная калека. Вот что значит для вас, юной и свежей, иметь другом старуху! Приходится страдать от ее недугов.

Как только боли дадут мне передышку, я даю себе слово обстоятельно побеседовать с вами. Пока же знайте только, что я получила оба ваши письма, что они лишь увеличили бы, если бы это было возможно, мои нежные чувства к вам и что я никогда не перестану живейшим образом входить во все, что вас касается.

Племянник мой тоже не совсем здоров, но ничего сколько-нибудь опасного у него нет, и беспокоиться по этому поводу не приходится. Это совсем легкое недомогание, и, на мой взгляд, оно больше отражается на его расположении духа, чем на здоровье. Мы его почти совсем не видим.

Его отчужденность и ваш отъезд не делают наше маленькое общество веселее. Особенно же недостает вас малютке Воланж: она весь день так зевает, что вот-вот проглотит свои кулачки. А в самые последние дни она оказывает нам честь погружаться после обеда в глубокий сон.

Прощайте, красавица моя дорогая. Я неизменно остаюсь вашим любящим другом, вашей *мамой*, даже сестрой, если бы называться так позволял мне мой возраст. Словом, я привязана к вам самыми нежными чувствами.

Подписано Аделаидой за госпожу де Розмонд.

Из замка ***, 14 октября 17...

---

[1] Письмо это не обнаружено.

ПИСЬМО 113

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Считаю себя обязанной предупредить вас, виконт, что в Париже вами уже начинают заниматься, что ваше отсутствие замечено и о причине его уже догадались. Вчера я была на очень многолюдном званом ужине, и там самым определенным образом говорилось, что в деревне вас задерживает романтическая несчастная любовь; тотчас же на лицах всех мужчин, завидующих вашим успехам, и всех покинутых вами женщин изобразилась радость. Послушайтесь моего совета — не давайте укрепиться этим опасным слухам и немедленно приезжайте, чтобы своим присутствием прекратить их.

Подумайте, если хоть раз будет поколеблено представление, что перед вами нельзя устоять, вы вскоре увидите, что вам и действительно начнут гораздо успешнее сопротивляться, что соперники ваши тоже утратят уважение к вам и наберутся смелости для борьбы с вами, ибо кто из них не воображает, что он уж, во всяком случае, сильнее добродетели? В особенности же подумайте хорошенько, что из множества женщин, связью с которыми вы похвалялись, те, которых вы в действительности не имели, будут стараться рассеять заблуждение общества на свой счет, а другие сделают все, чтобы его обмануть. Словом, будьте уж готовы к тому, что вас, быть может, станут в такой же мере недооценивать, в какой доныне переоценивали.

Возвращайтесь же, виконт, не жертвуйте своей славой ребяческому капризу. С малюткой Воланж вы сделали все, как мы хотели, а что до вашей президентши, то уж, конечно, оставаясь в десяти лье от нее, вы ее из головы не выбросите. Уж не считаете ли вы, что она устремится за вами? Может быть, она и думать-то о вас забыла, а если и вспоминает, то лишь для того, чтобы порадоваться вашему унижению. Здесь же, по крайней мере, вы сможете найти случай с блеском проявить себя, в чем сильно нуждаетесь. А если бы вы стали упорствовать в желании продолжать свое нелепое приключение, то не вижу, чем возвращение может вам повредить...— даже напротив.

Право же, если ваша президентша *обожает* вас, о чем вы мне так много говорили, но что так мало доказывали,— единственным ее утешением, единственной радостью должна быть сейчас возможность беседовать о вас, знать, что́ вы делаете, что́ говорите, что́ думаете, знать, наконец, о вас все до мельчайших подробностей. Все эти пустяки приобретают цену из-за лишений, которые испытываешь. Это крохи хлеба, упавшие со

стола богача: тот ими пренебрегает, но бедняк жадно подбирает их и поглощает. Так вот, бедняжка-президентша и питается теперь этими крохами. И чем больше она их получит, тем меньше будет стремиться насытиться остальным. К тому же, с тех пор как вы знаете, кто наперсница, вы можете не сомневаться, что в каждом письме от нее содержится по меньшей мере одна небольшая проповедь и все назидания, способные, по ее мнению, содействовать укреплению целомудрия и поддержанию добродетели [1]. Зачем же предоставлять одной средства для защиты, а другой — возможность вредить вам?

Я не сказала бы, что разделяю ваше мнение относительно ущерба, который вы якобы потерпели от перемены наперсницы. Во-первых, госпожа де Воланж вас ненавидит, ненависть же всегда проницательнее и изобретательнее, чем симпатия, а вся добродетель вашей старой тетки не заставит ее хотя бы один-единственный раз сказать что-либо дурное о любимом племяннике, ибо и добродетели свойственны слабости. А во-вторых, ваши страхи основаны на совершенно неверном наблюдении.

Неправда, что *чем женщины старше, тем они жестче и строже*. Между сорока и пятьюдесятью годами, когда женщины с отчаянием видят, как увядает их лицо, и с бешенством убеждаются, что надо отказаться от притязаний и наслаждений, которые им еще так дороги, они, действительно, почти всегда становятся желчными ханжами. Этот длительный промежуток времени им необходим для того, чтобы примириться с неизбежностью великой жертвы. Но как только жертва полностью принесена, они разделяются на две категории.

К первой относится бóльшая часть женщин: это те, у которых не было ничего, кроме привлекательной внешности и молодости,— они впадают в тупую апатию, из которой их выводят лишь карты да какие-либо проявления благочестия. Такие женщины почти всегда скучны, зачастую ворчливы, иногда придирчивы, но редко бывают злы. Нельзя также сказать, строги они или нет: лишенные собственных мыслей и чувств, они повторяют безо всякого понимания и без разбора все, что слышат от других, сами же остаются полными ничтожествами.

Вторую категорию, гораздо более редкую, но поистине драгоценную, составляют женщины, обладавшие характером и заботившиеся о том, чтобы давать пищу своему уму, а потому умеющие создать себе жизнь даже тогда, когда им уже нечего ждать от природы: они принимаются украшать свои духовные

[1] «Всего не предусмотришь!». Комедия.

качества, как раньше украшали свою внешность. Такие женщины обычно весьма здраво рассуждают, а ум у них твердый, веселый и изящный. Чары внешней прелести они заменяют привлекающей к ним добротой, а также оживленностью, которая тем пленительнее, чем они старше; таким образом и удается им в какой-то мере сблизиться с молодежью, заслуживая ее любовь. Но в таких случаях они весьма далеки от того, чтобы, как вы говорите, быть *жесткими и строгими:* привычка к снисходительности, длительные размышления о человеческих слабостях, в особенности же воспоминания о своей молодости,— единственное, что привязывает их к жизни,— делают их скорее даже чрезмерно терпимыми.

Словом, я хочу сказать вам, что постоянно стараюсь бывать в обществе старух, ибо очень рано поняла, как важно им понравиться, и среди них мне встречалось немало таких, к которым меня влекли не только соображения выгоды, но и склонность. Тут я останавливаюсь. Ибо теперь вы загораетесь так быстро и в то же время увлечения ваши так целомудренны, что я опасаюсь, как бы вы не влюбились внезапно в свою старую тетушку и не сошли бы вместе с нею в могилу, где, впрочем, уже давно пребываете. Возвращаюсь поэтому к делу.

Несмотря на то, что вы, по-видимому, в восторге от своей ученицы, я не могу представить себе, чтобы она занимала хоть какое-нибудь место в ваших планах. Она оказалась под рукой, и вы ею овладели: превосходно! Но ведь это же не может быть увлечением. По правде сказать, даже и обладание тут не полное: ведь вы завладели только ее телом. Я не говорю о сердце ее, ибо не сомневаюсь, что оно вам глубоко безразлично; но даже и помыслы ее заняты отнюдь не вами. Не знаю, заметили ли вы это, но у меня есть доказательство в последнем полученном от нее письме;[1] посылаю вам его, чтобы вы сами могли судить. Обратите внимание, она всегда говорит о вас — «господин де Вальмон»: все мысли ее, даже те, которые пробуждены вами, в конце концов устремлены к Дансени, а его-то она не величает «господином»; он всегда просто *Дансени.* Этим она отличает его от всех других и, даже отдаваясь вам, близость ощущает только к нему. Если такая любовница кажется вам *обольстительной,* если наслаждения, которые она вам дарит, вас *привлекают,* вы, действительно, скромны и нетребовательны! Если вам хочется сохранить ее — согласна: это даже соответствует моим планам. Но мне кажется, что все это не стоит даже пятиминутных хло-

[1] См. письмо 109.

пот и что надо все же проявить некоторую власть и, к примеру, не допускать ее увидеться с Дансени до тех пор, пока вы ее не заставите хоть немного позабыть его.

Прежде чем я перестану заниматься вами и перейду к себе, должна вам еще сказать, что прием, к которому вы, по вашим словам, намереваетесь прибегнуть,— болезнь — хорошо известен и очень распространен. Право же, виконт, вы не особенно изобретательны! Я, как вы сейчас увидите, тоже иногда повторяюсь, но стараюсь при этом разнообразить хотя бы подробности, а главное — меня оправдывает успех. Я намереваюсь еще раз попытать счастья и затеваю новое приключение. Признаю́, что трудностей здесь не представится и славы будет немного. Но, по крайней мере, это меня развлечет,— а я умираю от скуки.

Не знаю уж почему, но после приключения с Преваном Бельрош стал мне просто невыносим. Он до того усугубил внимание, нежность, *поклонение,* что нет сил терпеть. Сперва гнев его показался мне забавным. Пришлось, однако, успокоить его, ибо предоставить ему свободу действий означало бы — скомпрометировать себя. Но урезонить его не было никакой возможности. Поэтому я решила проявить побольше чувств, чтобы легче было с ним справиться. Но он принял все за чистую монету и с тех пор бесит меня своей беспрерывной восторженностью. Особенное раздражение вызывает его оскорбительное доверие ко мне и уверенность, что теперь я принадлежу ему навсегда. Я чувствую себя поистине униженной. Недорого же он меня ценит, если считает себя достойным того, чтобы я остановила на нем свой окончательный выбор! Однажды он даже заявил мне, что я-де и не могла бы полюбить никого, кроме него. Ну, уж на этот раз потребовалось все мое благоразумие, чтобы я сразу же не разуверила его и не рассказала, как все обстоит на самом деле. Ведь вот чудак: подавай ему исключительные права! Охотно признаю́, что он хорошо сложен и внешность у него довольно привлекательная, но в конце концов он в любви не более чем ремесленник. Словом, пришло время нам расставаться.

Вот уже две недели, как я начала осуществлять этот замысел и поочередно испробовала холодность, капризы, дурное настроение, ссоры. Но упрямец вцепился в меня мертвой хваткой. Придется прибегнуть к более сильному средству, и для этого я увожу его к се́бе в деревню. Мы отправляемся послезавтра. С нами там будет всего несколько посторонних лиц — не любопытствующих и не слишком проницательных, и мы будем почти так же свободны, как если бы находились в полном одиночестве. Там я уж до такой степени перегружу его любовью и ласками

и мы будем так исключительно жить друг для друга, что, ручаюсь,— он еще больше, чем я, захочет положить конец этому путешествию, которое сейчас представляет себе как величайшее счастье. И если он вернется не пресыщенным мною еще больше, чем я им, можете говорить — разрешаю вам это,— что я смыслю в подобных вещах так же мало, как вы.

Предлогом для этого, некоторым образом, затворничества служит намерение по-настоящему заняться моим большим процессом, который, действительно, будет наконец-то слушаться в начале зимы. Я чрезвычайно этому рада, ибо и впрямь крайне неприятно, когда все твое благосостояние, можно сказать, висит в воздухе. Не то чтобы меня беспокоил исход тяжбы; прежде всего, правда на моей стороне — так уверяют все мои адвокаты, а если бы даже все обстояло иначе, я была бы уж очень неловкой, когда не сумела бы выиграть процесс, в котором против меня одни малолетние да их старый опекун! Но так как в столь важном деле ничего нельзя упускать из виду, со мною будут оба мои адвоката. Как, по-вашему,— веселенькое путешествие? Однако, если оно поможет мне выиграть дело и избавиться от Бельроша, я не пожалею о потерянном времени.

А теперь, виконт, угадайте, кто будет преемником. Даю вам сто очков форы. А впрочем, разве я не знаю, что вы не способны что-либо угадать? Так вот: это Дансени. Вы удивлены, не правда ли? Ведь я еще не дошла до того, что мне остается лишь воспитывать детей. Но этот ребенок заслуживает стать исключением: он обладает только прелестью юности, без ее легкомыслия. Сдержанность, с которой он ведет себя в обществе, устраняет всякие подозрения, и она же делает его особенно приятным, когда остаешься с ним наедине. Разумеется, у меня лично с ним таких свиданий еще не было: сейчас я всего лишь его наперсница, но, сдается мне, под покровом дружбы у него заметно очень острое влечение ко мне. Жаль было бы, если бы весь этот ум и тонкость чувств оказались принесенными в жертву и отупели подле этой дурочки Воланж. Надеюсь, он ошибается, воображая, что любит ее: она этого далеко не заслуживает. Я отнюдь не ревную к ней,— но ведь это было бы убийством, а я хочу спасти Дансени. Прошу вас поэтому, виконт, приложить все усилия к тому, чтобы он не смог увидеться со *своей Сесилью* (у него еще сохранилась дурная привычка называть ее так). Первое увлечение всегда сохраняет над нами бóльшую власть, чем думаешь, и я ни в чем не буду уверена, если он увидится с нею теперь, особенно же в мое отсутствие. По возвращении же я беру на себя все и за все ручаюсь.

Я сперва было думала взять молодого человека с собой, но принесла эту мысль в жертву своему привычному благоразумию. Кроме того, я боялась бы, что он заметит что-нибудь между мною и Бельрошем, и была бы в отчаянии, если бы у него возникло хоть малейшее представление о том, что происходит. Пусть — по крайней мере, в его воображении — я останусь чистой и незапятнанной, словом такой, какой следует быть, чтобы оказаться достойной его.

Париж, 15 октября 17...

ПИСЬМО 114

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Дорогой друг мой, я не в силах побороть беспокойства и, не зная даже, будете ли вы в состоянии ответить мне, не могу не расспросить вас. Хотя вы и считаете, что у господина де Вальмона *нет ничего опасного,* я не разделяю той уверенности в хорошем его состоянии, какой, видимо, проникнуты вы. Нередко случается, что меланхолия и стремление уклониться от общения с людьми оказываются предвестниками серьезного заболевания. Телесные страдания так же, как и душевные, вызывают потребность в одиночестве, и часто мы упрекаем за дурное расположение духа тех, кого можно только жалеть, как больных.

Мне кажется, что ему все же следовало бы с кем-нибудь посоветоваться. Как это вы сейчас, тоже болея, не имеете подле себя врача? Мой врач, который был у меня сегодня утром и с которым — не скрою от вас — я косвенным образом посоветовалась, полагает, что внезапной апатией у людей от природы деятельных пренебрегать не следует. Он же добавил, что болезнь, если ее вовремя не захватить, не поддается лечению. Зачем же подвергать такому риску столь дорогое вам существо?

Беспокойство мое усиливается тем, что вот уже четыре дня, как я не получаю от него известий. Боже мой! Уж не обманываете ли вы меня насчет его состояния? Почему бы он вдруг перестал писать мне? Если только из-за того, что я неизменно возвращала ему письма, то мне кажется, что он гораздо раньше принял бы такое решение. Наконец, хотя смешно верить предчувствиям, я уже в течение нескольких дней погружена в такую тоску, что мне просто страшно становится. Ах, может быть, я накануне величайшей беды!

Вы не поверили бы — и мне стыдно вам в этом признаться,— какое для меня огорчение не получать больше тех писем, которые я сама же отказывалась читать. Я все-таки имела уверенность в том, что он обо мне думает! И я хотя бы видела что-то, исходящее от него. Я не распечатывала этих писем, но я плакала, глядя на них; слезы мои текли легче и были не столь горькими, и только эти слезы хоть немного рассеивали уныние, в котором я нахожусь со дня возвращения. Заклинаю вас, снисходительный друг мой, напишите мне своей рукой, как только сможете, а пока распорядитесь, чтобы мне ежедневно сообщали о вас и о нем.

Я вижу, что почти ни слова не сказала лично вам, но вы знаете мои чувства, мою безграничную привязанность, мою нежную благодарность за вашу чувствительную дружбу. Вы простите мне смятение, в котором я нахожусь, мои смертельные страдания, ужаснейшую муку — страшиться бедствий, причина которых, возможно, я же сама. Великий боже! Эта доводящая до отчаяния мысль преследует меня, раздирает мне сердце. Не хватало мне только этого несчастья, и я чувствую, что рождена лишь для того, чтобы испытать их все.

Прощайте, дорогой друг, любите меня, жалейте меня. Получу ли я сегодня от вас письмо?

Париж, 16 октября 17...

ПИСЬМО 115

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Удивительная вещь, прелестный друг мой: стоит только расстаться — и сразу как-то перестаешь понимать друг друга. Пока я был подле вас, у нас всегда было полное единство чувств и взглядов. А из-за того, что вот уже около трех месяцев я вас не вижу, мы по поводу всего расходимся во мнениях. Кто из нас двоих не прав? Разумеется, вы-то ответили бы, не колеблясь, но я, более рассудительный или более вежливый, не могу решиться. Ограничусь тем, что отвечу на ваше письмо и сообщу вам о дальнейшем своем поведении.

Прежде всего благодарю вас за совет, который вы даете мне по поводу распространяющихся обо мне слухов. Но пока я на этот счет не тревожусь, ибо, кажется, могу с уверенностью сказать, что вскоре у меня будет полная возможность заставить их смолкнуть. Будьте спокойны: в свете я появлюсь не иначе, как завоевав еще бóльшую славу и будучи еще более достоин вас.

Надеюсь, что мне зачтут даже в какой-то степени приключение с малюткой Воланж, к которому вы относитесь столь пренебрежительно. Как будто это такие уж пустяки — за один вечер отбить девушку у ее возлюбленного, которого она любит, тут же попользоваться ею сколько тебе угодно и совершенно беспрепятственно, как будто это твоя собственность, получить от нее то, чего осмелишься потребовать не у каждой девицы, сделавшей себе из этих вещей ремесло, и при этом ни в малейшей степени не нарушить ее нежной любви, не сделать ее ни непостоянной, ни даже неверной, ибо я и впрямь нисколько не занимаю ее мыслей! Таким образом, когда эта прихоть у меня пройдет, я возвращу ее в объятия возлюбленного, и при этом окажется, что она ничего, если можно так выразиться, не заметила. Уж такое ли это обычное дело? К тому же, поверьте мне, раз уж она прошла через мои руки, нача́ла, внушенные мной, получат дальнейшее развитие, и могу предсказать, что робкая ученица вскоре так покажет себя, что сделает честь учителю.

Тем же, кто предпочитает героический жанр, я покажу президентшу — сей признанный образец добродетели! — уважаемую даже отъявленными распутниками, словом ту, на кого покуситься никто бы и не подумывал. Я, повторяю вам, покажу ее женщиной, забывшей свой долг и добродетель, жертвующей своей репутацией и двумя годами целомудренного супружества ради счастья понравиться мне, ради опьянения счастьем любить меня и считающей, что за все эти жертвы она достаточно вознаграждена одним словом, одним взглядом, которых ей к тому же и не всегда удается добиться. Я сделаю больше — я ее брошу, и, если у меня окажется преемник, значит, я не знаю эту женщину. Она устоит и перед потребностью в утешении, и перед привычкой к наслаждению, и даже перед жаждой мести. Словом, она будет существовать лишь для меня, и каков бы ни был этот ее путь — короток или длинен, никто, кроме меня, не откроет и не закроет перед ней шлагбаума. А достигнув этого триумфа, я скажу своим соперникам: «Взгляните на содеянное мною и найдите в наше время второй такой же пример!»

Вы спросите, откуда у меня сейчас такая безграничная самоуверенность? Дело в том, что уже с неделю я проник в тайны моей прелестницы: она мне их не открывает, но я их похищаю. Два письма от нее к госпоже де Розмонд сказали мне вполне достаточно, и все прочие я стану читать только из любопытства. Чтобы достигнуть своего, мне надо только увидеться с ней, а способ я уже нашел и тотчас же пущу его в ход.

Вам, кажется, любопытно?.. Нет, в наказание за неверие в мою изобретательность вы его не узнаете. Право же, вы заслуживаете, чтобы я перестал с вами быть откровенным, во всяком случае на время этого приключения. И знайте, что, если бы не сладостная награда, которую вы обещали мне за успех в этом деле, я бы перестал вам о нем говорить. Как видите, я рассержен. Однако в надежде на то, что вы исправитесь, я готов ограничиться этим легким наказанием и, вновь обретя снисходительность, забываю на миг свои великие планы, чтобы обсудить с вами ваши.

Так, значит, вы у себя в деревне, скучной, как чувство, и унылой, как верность! А бедняга Бельрош! Вы не довольствуетесь тем, что поите его водой забвения, вы превращаете это в пытку. Как же он себя чувствует? Хорошо ли переносит он тошноту от любовного пресыщения? Очень хотел бы я, чтобы от всего этого он только крепче привязался бы к вам. Мне любопытно, какое же еще более действенное лекарство умудритесь вы применить. Право же, мне жаль, что вы оказались вынуждены прибегать к таким средствам. Сам я лишь раз в жизни воспользовался любовью как приемом. Причина была, разумеется, достаточно веская: ведь речь идет о графине де ***. Раз двадцать, когда я находился в ее объятиях, меня подбивало сказать: «Сударыня, я отказываюсь от места, которого домогаюсь; позвольте же мне оставить то, которое я занимаю сейчас». Должен сказать, что из всех женщин, которыми я обладал, только о ней мне было по-настоящему приятно злословить.

Что касается ваших побуждений, то, по правде говоря, я нахожу их на редкость нелепыми, и вы были правы, думая, что я не догадаюсь, кто будет преемником Бельроша. Как! Все эти ваши хлопоты — ради Дансени! Э, милый друг мой, предоставьте ему обожать свою *добродетельную Сесиль* и не компрометируйте себя участием в этих детских играх. Пусть школьники получают воспитание у *нянек* или играют с пансионерками в *невинные игры*. Неужели вы станете обременять себя новичком, который не сумеет ни взять вас, ни покинуть и с которым вам придется все делать самой? Не шутя говорю вам: этого выбора я не одобряю. И какую бы строгую тайну вы в данном случае ни соблюдали, он унизил бы вас хотя бы в моих глазах и перед собственной вашей совестью.

Вы говорите, что начинаете испытывать к нему сильное влечение; уверяю вас, вы наверняка заблуждаетесь, и, кажется, я даже сообразил, в чем причина этого самообмана. Пресловутое отвращение к Бельрошу овладело вами в дни, когда кругом

было пусто, и Париж не мог предоставить вам никакого выбора; ваше чрезмерно пылкое воображение и заставило вас остановиться на первом попавшемся предмете. Но примите же во внимание, что по возвращении вы сможете выбирать из тысяч, а если вы опасаетесь, что вам придется бездействовать и скучать, откладывая свой выбор, я готов развлечь вас в свободное время.

Ко времени вашего возвращения главные мои дела окажутся так или иначе законченными, и уж, наверно, ни крошка Воланж, ни даже сама президентша не будут тогда занимать меня настолько, чтобы я не мог быть в вашем распоряжении всякий раз, как вы этого пожелаете. Может случиться, что к тому времени я уже передам девочку в руки ее несмелого возлюбленного. Несмотря на все, что вы говорили, я не могу согласиться с вами, что в наслаждениях с нею нет ничего *притягательного*. Так как я хочу, чтобы у нее на всю жизнь сохранилось обо мне воспоминание, как о лучшем из мужчин, я усвоил с нею такой тон, которого не смогу долго выдержать без ущерба для здоровья. И отныне меня с ней связывают только те заботы, которые посвящаешь семейным делам...

Вы не понимаете? Дело в том, что сейчас я жду только второго срока, чтобы укрепиться в своих надеждах и убедиться, что расчеты мои полностью оправдались. Да, прелестный друг мой, у меня имеются уже первые указания на то, что муж моей ученицы не умрет без потомства и что в будущем глава дома Жеркуров будет лишь младшим отпрыском Вальмонов. Но дайте мне завершить по своей прихоти это приключение, которое начато было мною лишь по вашей просьбе. Подумайте, что, если из-за вас Дансени окажется непостоянным, вся острота этой истории пропадет. Примите, наконец, во внимание, что если я предлагаю вам себя в качестве замены его подле вашей особы, то имею некоторое право на предпочтение.

И я так сильно рассчитываю на него, что не побоялся пойти наперекор вашим замыслам и сам содействовал усилению нежной страсти несмелого влюбленного к первому и столь достойному предмету его выбора. Итак, застав вчера вашу подопечную за письмом к нему и оторвав ее сперва от этого сладостного занятия для другого, еще более сладостного, я затем попросил ее показать мне начатое письмо. Найдя тон его холодным и принужденным, я дал ей понять, что не таким способом сможет она утешить возлюбленного, и убедил ее написать другое под мою диктовку. В нем, подражая, насколько мог, ее простодушной болтовне, я постарался укрепить любовь юноши более определенной надеждой. Молодая особа, как она сама заявила, пришла

в полный восторг от того, что умеет так хорошо выражаться, и отныне переписка поручается мне. Чего я только не делаю для этого Дансени! Я одновременно и приятель его, и наперсник, и соперник, и возлюбленная! И даже в настоящий миг я оказываю ему услугу, спасая от ваших пагубных уз. Да, разумеется, пагубных: ибо обладать вами, а затем потерять вас — значит, заплатить за мгновение счастья вечными сожалениями.

Прощайте, мой прелестный друг. Соберитесь с силами и разделайтесь с Бельрошем как можно скорее. Оставьте мысль о Дансени и приготовьтесь вновь обрести и вновь подарить мне сладостные утехи нашей первой связи.

P. S. Поздравляю вас с предстоящим слушанием вашего дела. Я был бы рад, если бы это великое событие совершилось в мое царствование.

Из замка ***, 19 октября 17...

ПИСЬМО 116

От кавалера Дансени к Сесили Воланж

Госпожа де Мертей уехала сегодня утром в деревню. Таким образом, моя прелестная Сесиль, я лишился единственной радости, которая оставалась мне в ваше отсутствие — говорить о вас с вашим и моим другом. С некоторых пор она разрешила мне называть ее так, и я воспользовался разрешением, тем более охотно, что — казалось мне — я таким образом становлюсь ближе к вам. Боже мой, до чего эта женщина мила! Какое пленительное очарование умеет она придавать дружбе! Кажется, что это нежное чувство украшается и укрепляется в ней всем тем, чего она не отдает любви. Если бы вы знали, как она вас любит, как ей приятно слушать, когда я говорю о вас!.. Какое счастье жить только ради вас обеих, беспрестанно переходя от упоения любовью к нежным восторгам дружбы, посвятив им все свое существование, быть в некотором смысле точкой пересечения вашей взаимной привязанности и постоянно ощущать, что когда я стараюсь сделать счастливой одну, то в равной мере делаю это и для другой! Любите, мой прелестный друг, крепко любите эту очаровательную женщину. Разделяйте мою привязанность к ней, чтобы придать этому чувству больше ценности. С тех пор как я вкусил прелесть дружбы, мне хочется, чтобы и вы ее испытали. Мне кажется, что, если какая-нибудь радость не разделена с вами, я наслаждаюсь ею лишь наполовину. Да,

моя Сесиль, я хотел бы овеять ваше сердце самыми сладостными чувствами, чтобы каждое из этих душевных движений доставляло вам счастье. И при этом я считал бы, что отдаю вам лишь часть того блаженства, которое получаю от вас.

Почему же все эти восхитительные планы должны оставаться лишь волшебной игрой моей фантазии, а действительность, напротив, приносит мне лишь одни мучительные, нескончаемые лишения? Вы ласкали меня надеждой, что я смогу увидеться с вами в деревне, где вы находитесь,— теперь я вижу, что от этого надо отказаться. Единственное мое утешение — убеждать себя, что для вас это и в самом деле невозможно. А вы даже не хотите сказать мне этого сами, посетовать на это вместе со мною! Уже дважды мои жалобы по этому поводу остались без ответа. Ах, Сесиль, Сесиль, я готов верить, что вы любите меня всеми силами души, но душа ваша не пылает, подобно моей! Почему не от меня зависит преодолевать препятствия? Почему не дано мне жертвовать своими интересами вместо ваших? Я вскоре сумел бы доказать вам, что для любви нет ничего невозможного.

Вы не сообщаете мне также, когда может кончиться эта жестокая разлука; здесь я, может быть, смог бы все же повидаться с вами. Ваш восхитительный взор оживил бы мою угнетенную душу, его трогательное выражение успокоило бы мое сердце, которое порою так в этом нуждается. Простите, моя Сесиль, в этом опасении нет никакой подозрительности. Я верю в вашу любовь, в ваше постоянство. Ах, я стал бы чересчур несчастным, если бы усомнился в них. Но нас разделяет столько препятствий! И их становится все больше и больше! Друг мой, я тоскую, жестоко тоскую. Кажется, из-за отъезда госпожи де Мертей у меня обострилось ощущение всех моих несчастий.

Прощайте, моя Сесиль, прощайте, моя любимая. Подумайте о том, что ваш возлюбленный страдает и что лишь вы одна можете вернуть ему счастье.

Париж, 17 октября 17...

ПИСЬМО 117

От Сесили Воланж кавалеру Дансени
(Продиктовано Вальмоном)

Неужели вы думаете, милый мой друг, что надо бранить меня, чтобы я стала грустить, когда я знаю, что вы тоскуете? И неужели вы сомневаетесь, что я страдаю всем тем, что вас мучит? Я разделяю даже те ваши страдания, которые сама вынуждена вам причинять, а, помимо всего этого, мучусь еще и от-

того, что вы ко мне так несправедливы. О, это нехорошо! Я понимаю, отчего вы рассердились: оба последних раза, когда вы просили разрешения приехать сюда, я вам не ответила. Но разве так легко на это ответить? Вы думаете — я не понимаю, что то, чего вы хотите, очень дурно? А ведь если мне и заочно так трудно вам отказывать, что было бы, если бы вы находились здесь? И еще: пожелай я утешить вас на один миг, мне потом пришлось бы всю жизнь раскаиваться.

Видите, я ничего от вас не скрываю. Таковы мои причины — судите о них сами. Я бы, может быть, и сделала то, чего вы хотите, если бы не обстоятельства, о которых я вам сообщала: этот господин де Жеркур, виновник всех наших несчастий, приедет еще не так скоро, а так как с некоторых пор мама со мной гораздо мягче и я со своей стороны ласкова с ней, насколько это возможно, кто знает — чего я не смогу от нее добиться? А разве не было бы для нас гораздо лучше, если бы мы могли быть счастливы, ни в чем себя не упрекая? Если верить тому, что мне часто говорили, мужчины гораздо меньше любят своих жен, когда они слишком сильно любили их до женитьбы. И это опасение удерживает меня больше всего прочего. Друг мой, разве вы не уверены в моем сердце, и разве время так уж не терпит?

Слушайте: обещаю вам, что, если мне не удастся избежать этого злосчастного замужества с господином де Жеркуром, которого я так ненавижу, еще даже не узнав его,— ничто не удержит меня, и я стану вашей, насколько это будет в моей власти, и даже до свадьбы. Так как для меня важно лишь одно — чтобы вы любили меня, и так как вы хорошо поймете, что если я поступаю дурно, то не по своей вине,— все остальное мне безразлично, лишь бы вы обещали мне любить меня всегда так же, как сейчас. Но, друг мой, пока предоставьте мне действовать, как сейчас, и не требуйте от меня того, чего я не могу сделать по весьма веским причинам, но в чем мне очень тягостно вам отказывать.

Я хотела бы также, чтобы господин де Вальмон не так настоятельно уговаривал меня уступить вам: это лишь сильнее растравляет мое горе. О, у вас в его лице очень добрый друг, могу вас уверить! Он делает все так, как вы сами делали бы. Но прощайте, милый мой друг, я начала вам писать очень поздно и провела за письмом немалую часть ночи. Иду скорее ложиться, чтобы наверстать потерянное время. Целую вас, но не браните меня больше.

Из замка ***, 18 октября 17...

ПИСЬМО 118

От кавалера Дансени к маркизе де Мертей

Если верить календарю, обожаемый друг мой, вы отсутствуете всего два дня, если же верить моему сердцу — то два столетия. А ведь следует верить, как вы сами мне говорили, прежде всего своему сердцу. Значит, давно пришла вам пора возвращаться, и все дела ваши должны быть более чем закончены. Как вы хотите, чтобы я интересовался вашим процессом, если — выиграете вы его или проиграете — я все равно должен платить издержки тоской от разлуки с вами? О, как мне хотелось бы побраниться с вами, и какая досада — иметь такую основательную причину сердиться и не иметь права на это.

А разве не подлинная неверность, не самая черная измена — оставить друга вдали от себя, после того как вы приучили его не уметь без вас обходиться? Сколько бы вы ни советовались со своими адвокатами,— для такой жестокости они оправдания не отыщут. И, кроме того, эти люди знают только доводы, идущие от разума, а их недостаточно, чтобы ответить на запросы чувства.

Что касается меня, то после всех ваших уверений, что поездку эту вы предприняли, повинуясь голосу разума, я совсем рассорился с этим разумом. Я не желаю больше его слушать, даже тогда, когда он велит мне забыть вас. Совет этот, однако, очень разумный и, кстати сказать, не такой уж неосуществимый, как вам может показаться. Для этого достаточно было бы потерять привычку беспрестанно думать о вас, а здесь — будьте уверены — ничто бы мне о вас не напоминало.

Наши самые красивые женщины, которые считаются наиболее очаровательными, настолько все же не могут сравниться с вами, что по ним нельзя составить о вас ни малейшего представления. Я даже думаю, что на изощренный взгляд между ними и вами окажется тем больше различий, чем больше по первому впечатлению было сходства; что бы они ни делали, как бы ни напрягали силы и уменье, им всегда будет не хватать одного — быть именно вами, а ведь в этом-то и состоит ваше очарование. К сожалению, когда дни так долго тянутся и нет никакого дела, начинаешь мечтать, строить воздушные замки, создавать себе химеры. Мало-помалу воображение воспламеняется, стараешься как можно лучше разукрасить творение своей мечты, собираешь в уме все, что особенно привлекает, наконец, рож-

дается совершенный образ, и тут воображаемый портрет возвращает мысль к оригиналу, и с удивлением убеждаешься, что все время только одно и делал: думал о вас. Вот и в настоящую минуту я впал почти в такое же заблуждение. Может быть, вы думаете, что я принялся писать вам, чтобы говорить о вас? Нисколько: я хотел от вас отвлечься. Мне нужно было поговорить с вами о многих вещах, непосредственно к вам не относящихся и, как вы знаете, весьма и весьма для меня важных. А отвлекся я как раз от них. С каких же это пор очарование дружбы отвлекает от чар любви? Ах, если приглядеться повнимательней, может быть, мне есть в чем себя упрекнуть! Но — тсс! Забудем этот легкий грех, чтобы вновь не впасть в него, и пусть о нем не узна́ет даже мой друг.

Но почему, почему вас нет здесь, чтобы ответить мне, чтобы вернуть меня на путь истинный, чтобы говорить со мной о моей Сесили и увеличивать, если это только возможно, счастье любви к ней сладостной мыслью, что люблю я вашего друга? Да, нечего скрывать, любовь, которую она мне внушает, стала для меня еще драгоценней с тех пор, как вы соблаговолили выслушать мое признание в ней. Мне так радостно открывать перед вами мое сердце, занимать ваше сердце моими чувствами, вверять ему их все без остатка! Мне кажется, что они становятся дороже для меня по мере того, как вы благоволите принимать их. А потом я гляжу на вас и думаю: «Вот кто хранит все мое счастье».

О своих делах я ничего нового сообщить не могу. Последнее полученное от *нее* письмо увеличивает и укрепляет мои надежды, но вместе с тем отдаляет их. Однако доводы ее так чувствительны и благородны, что я не могу ни порицать ее, ни жаловаться. Может быть, вы не вполне понимаете то, что я пишу, но почему вас здесь нет? Хотя другу можно все сказать, не все, однако, напишешь. Любовным же тайнам свойственна особая хрупкость: их нельзя отдавать на волю ветра. Если их порою и выпускаешь на свет божий, за ними все же надо присматривать; надо, если можно так выразиться, своими глазами проследить за тем, как они войдут в новую свою обитель. Ах, возвращайтесь же, мой пленительный друг. Вы сами видите, как необходимо ваше присутствие. Забудьте, наконец, *тысячи разумных доводов,* удерживающих вас там, где вы сейчас находитесь, или же научите меня жить там, где вас нет.

Имею честь и проч.

Париж, 19 октября 17...

ПИСЬМО 119

От госпожи де Розмонд к президентше де Турвель

Хотя боли мои еще не прекратились, красавица моя, пытаюсь все же писать вам собственноручно, чтобы мне можно было поговорить с вами о том, что вас так занимает. Племянник мой по-прежнему погружен в мизантропию. Он неизменно справляется о моем здоровье, но сам ни разу не зашел узнать о нем, хотя я и велела просить его зайти; я вижу его не больше, чем если бы он находился в Париже. Сегодня утром, однако, я встретилась с ним в месте, где никак не думала его увидеть: в своей домашней часовне, куда я сошла впервые после того, как начался мучительный мой припадок. Сегодня я узнала, что уже в течение четырех дней он не пропускает мессы. Дал бы бог, чтобы так продолжалось!

Когда я вошла в часовню, он подошел ко мне и очень сердечно поздравил меня с улучшением здоровья. Так как служба началась, я прервала разговор, рассчитывая затем возобновить его, но племянник мой исчез до того, как я смогла к нему приблизиться. Не скрою от вас, что на мой взгляд он несколько изменился. Но, красавица моя, не предавайтесь чрезмерному беспокойству и не заставляйте меня раскаяться в моем доверии к вашему разуму, а главное, будьте уверены, что я предпочла бы огорчить вас, чем обмануть.

Если племянник мой будет по-прежнему так же отчужден от меня, я, как только мне станет лучше, пойду повидаться с ним в его комнату и постараюсь выяснить причину этого странного наваждения, к которому, я думаю, вы несколько причастны. Все, что мне удастся узнать, я вам сообщу. А сейчас покидаю вас: нет больше сил шевелить пальцами. К тому же, если Аделиада узнает, что я писала, она будет бранить меня весь вечер. Прощайте, моя красавица.

Из замка ***, 20 октября 17...

ПИСЬМО 120

От виконта де Вальмона к отцу Ансельму
(В монастырь Фельянов на улице Сент-Оноре)

Я не имею чести быть вам известным, сударь, но знаю, какое безграничное доверие питает к вам госпожа президентша де Турвель, и знаю также, как глубоко это доверие обосновано. Поэтому я решаюсь, не боясь показаться нескромным, обра-

титься к вам с просьбой об услуге весьма существенной и, поистине, достойной вашего святого служения, в которой к тому же госпожа де Турвель заинтересована так же, как и я сам.

В моих руках имеются важные касающиеся ее документы, которые я не должен и не хочу передавать ей через посредников,— только в ее собственные руки. У меня нет никакой возможности известить ее об этом, так как по причинам, которые, быть может, известны вам непосредственно от нее, но о которых, мне кажется, я не имею права сообщать вам, она приняла решение отказаться от какой бы то ни было переписки со мною. Решение это — охотно признаюсь — я в настоящее время не мог бы осудить, ибо она не могла предвидеть событий, которых сам я отнюдь не ожидал и в которых мы вынуждены признать вмешательство сил более могущественных, чем силы человеческие.

Итак, прошу вас, сударь, сообщить ей новые мои намерения и ходатайствовать перед нею о назначении мне, ввиду особых обстоятельств, личного свидания. Тогда я смог бы отчасти искупить мою вину перед нею мольбой о прощении и в качестве последней жертвы уничтожить на ее глазах единственные сохранившиеся свидетельства моей ошибки или проступка, в котором перед нею повинен.

Лишь после этого предварительного искупления осмелюсь я повергнуть к ногам вашим постыдное признание в длительных заблуждениях и умолять вас о посредничестве в примирении еще гораздо более важном и, к несчастью, гораздо более трудном. Могу ли я надеяться, сударь, что вы не откажете мне в помощи, столь насущной и столь для меня драгоценной, и что вы соизволите поддержать мою слабость и направите стопы мои по новому пути, которого я пламенно жажду, но — признаюсь в этом, краснея от стыда,— сам отыскать не способен!

Ожидаю вашего ответа с нетерпением человека, кающегося и стремящегося загладить содеянное им, и прошу принять уверения в признательности и глубоком почтении вашего покорнейшего слуги и проч.

P. S. Предоставляю вам право, сударь, если вы найдете нужным, дать это письмо полностью прочесть госпоже де Турвель, которую я буду считать долгом своим уважать всю жизнь и в чьем лице я не перестану чтить ту, кого небо избрало своим орудием, чтобы вернуть мою душу на стезю добродетели, явив мне трогательное зрелище ее души.

Из замка ***, 22 октября 17...

ПИСЬМО 121

От маркизы де Мертей к кавалеру Дансени

Я получила ваше письмо, мой слишком юный друг, но прежде чем выразить вам благодарность за него, я должна вас пожурить и предупреждаю, что если вы не исправитесь, то я перестану вам отвечать. Послушайте меня, оставьте этот умиленно-ласковый тон, который превращается в какой-то условный язык, когда он не является выражением любовного чувства. Разве дружба говорит таким стилем? Нет, друг мой, у каждого чувства есть свой, подобающий ему язык, а пользоваться другим — значит искажать мысль, которую стремишься высказать. Я хорошо знаю, что наши дамы не понимают обращенных к ним речей, если они не переложены до некоторой степени на этот общепринятый жаргон. Но признаюсь, мне казалось, что я заслуживаю того, чтобы вы меня с ними не смешивали. Я не на шутку огорчена — быть может, больше, чем следовало бы,— что вы обо мне так неверно судили.

Поэтому в моем письме вы найдете лишь то, чего недостает вашему: искренность и простоту. Например, я скажу вам, что мне было бы очень приятно видеть вас подле себя, что мне досадно быть окруженной только людьми, нагоняющими на меня скуку, вместо тех, кто мне нравится. А вы эту же самую фразу переводите так: *научите меня жить там, где вас нет!* Таким образом, если, предположим, вы будете находиться подле своей любовницы, то не сможете существовать в ее обществе без меня в качестве третьего лица? Какой вздор! А эти женщины, *которым не хватает только одного — быть мною,* может быть, вы находите, что и вашей Сесили этого не хватает? Но вот куда заводит язык, которым сейчас злоупотребляют настолько, что он становится бессмысленнее жаргона комплиментов и превращается в сплошные формулы, в которые веришь не больше, чем в *покорнейшего слугу.*

Друг мой, пишите мне лишь для того, чтобы высказывать свои подлинные мысли и чувства, и не посылайте мне набора фраз, которые я найду сказанными лучше или хуже в любом модном романе. Надеюсь, вы не рассердитесь на то, что я вам сейчас говорю, даже если обнаружите в моих словах некоторую долю раздражения. Ибо я не отрицаю, что испытываю его, но, чтобы избежать даже намека на недостаток, в котором я вас только что упрекнула, я не скажу вам, что это раздражение,

быть может, усилилось от разлуки с вами. Мне кажется, что при всех обстоятельствах вы стоите больше, чем один процесс и два адвоката, и, может быть, даже больше, чем *преданный* Бельрош.

Как видите, вместо того чтобы огорчаться моим отсутствием, вам следовало бы радоваться: ведь никогда еще я не говорила вам таких любезностей. Кажется, я заразилась вашим примером и принимаю с вами жеманно-умиленный тон. Но нет, я предпочитаю держаться своего чистосердечия: лишь оно одно может быть свидетельством моей нежной дружбы и участия, ею внушенного. Как радостно иметь юного друга, чье сердце отдано другой женщине! Не все женщины со мной согласятся, но таково мое мнение. Мне кажется, что с гораздо бо́льшим удовольствием отдаешься чувству, которое тебе ничем не угрожает. Поэтому я приняла на себя, может быть и слишком рано, роль вашей наперсницы. Но вы выбираете себе столь юных возлюбленных, что заставили меня впервые почувствовать, что я начинаю стареть! Вы хорошо делаете, что готовите себя к такому длительному постоянству, и я всем сердцем желаю, чтобы оно оказалось взаимным.

Вы правы, подчиняясь *чувствительным и благородным доводам,* которые, как вы сообщаете, *отдаляют ваше счастье.* Длительная самозащита — единственная заслуга, остающаяся тем, кто не всегда может устоять. Для всякой другой, кроме такого ребенка, как малютка Воланж, я считала бы непростительным не уметь уклониться от опасности, о которой она достаточно предупреждена, раз уж сама признается в своей любви. Вы, мужчины, понятия не имеете о том, что такое добродетель и чего стоит поступиться ею! Но мало-мальски рассудительная женщина должна понимать, что, не говоря уже о грехе, даже слабость для нее — величайшее несчастье. И я не допускаю мысли, чтобы женщина могла ей поддаться, если хоть минутку над этим поразмыслила.

Не ополчайтесь против этой мысли, ибо она-то главным образом и привязывает меня к вам. Вы спасаете меня от опасностей любви. И хотя я доселе и без вас умела от нее защищаться, я согласна быть вам благодарной за помощь и буду за это любить вас еще больше и крепче.

А затем, любезный мой кавалер, да хранит вас господь.

Из замка ***, 22 октября 17...

ПИСЬМО 122

От госпожи де Розмонд к президентше де Турвель

Я надеялась, милая дочь моя, что смогу, наконец, успокоить вас, но с огорчением вижу, что лишь усилю вашу тревогу. И все же не беспокойтесь: племяннику моему отнюдь не грозит опасность и нельзя даже сказать, чтобы он был по-настоящему болен. Но с ним действительно происходит что-то странное. Ничего не могу в этом понять, но я вышла из его комнаты крайне опечаленная, может быть, даже в некотором страхе, и теперь раскаиваюсь в том, что заставляю вас разделять со мной этот страх, хотя и не могу удержаться от того, чтобы не побеседовать с вами о нем. Вот мой рассказ о происшедшем: можете не сомневаться в его точности, ибо, проживи я еще восемьдесят лет, мне не забыть впечатления, которое произвела на меня эта грустная сцена.

Итак, сегодня утром я была у племянника. Когда я вошла, он писал: стол его завален был разными бумагами, над которыми он, видимо, работал. Он был так поглощен этим делом, что я уже дошла до середины комнаты, а он еще даже не повернул головы, чтобы посмотреть, кто вошел. Я сразу заметила, что, едва увидев меня, он постарался придать своему лицу спокойное выражение, и, может быть, именно это обстоятельство и заставило меня приглядеться к нему повнимательней. Правда, он был полуодет и не причесан, но я нашла его бледным и изможденным; особенно изменились черты его лица. В глазах его, обычно, как вы знаете, живых и веселых, были видны печаль и тоска. Словом, говоря между нами, я не хотела бы, чтобы вы видели его в таком состоянии. Ибо зрелище это было очень трогательным и, думаю, весьма способным вызвать в женщине нежную жалость — одну из самых опасных ловушек любви.

Хотя все это и поразило меня, я тем не менее начала разговор так, словно ничего не заметила. Сперва спросила его о здоровье; он не ответил мне, что чувствует себя хорошо, но и не сказал определенно, что болен. Тогда я стала жаловаться на его затворничество, которое начинает походить на своего рода манию, и старалась при этом придать своему упреку некоторую шутливость. Но на это он только произнес проникновенным тоном: «Да, не отрицаю, это лишняя моя вина, но я искуплю ее вместе с прочими». Вид его еще больше, чем эти слова, несколько сбил с меня напускную веселость, и я тотчас же поспешила сказать ему, что он слишком много значения придает простому дружескому упреку.

Затем мы продолжали мирно беседовать. Немного времени спустя он сказал, что одно дело, быть может, *самое важное в его жизни,* вскоре призовет его в Париж. Так как я опасалась, красавица вы моя, что угадываю, в чем дело, и что такое начало могло бы привести к исповеди, которой я не хотела допустить, я только ответила, что для его здоровья полезны были бы развлечения. К этому я добавила, что на этот раз не стану его удерживать, так как люблю своих друзей ради них самих. И вот, в ответ на эту простую фразу, он сжал мои руки и заговорил с горячностью, которой я просто не в силах передать: «Да, милая моя тетя, любите, крепко любите племянника, который тоже любит вас и чтит, и, как вы сами сказали, любите его ради него самого. Не заботьтесь о его благополучии и никакими сожалениями не нарушайте вечного мира, который он надеется вскоре обрести. Повторите, что вы любите меня и прощаете. Да, вы мне прощаете, я ведь знаю вашу доброту; но как надеяться на такое же снисхождение со стороны тех, кого я так оскорбил?» Тут он положил голову мне на грудь, чтобы скрыть слезы или страдальческое выражение, но самый звук его голоса не мог не выдать его.

Чем больше я обо всем этом думаю, тем меньше понимаю, что́ он хотел сказать. Какое это дело, *самое важное в жизни?* За что он просит у меня прощения? Откуда взялся этот невольный прилив нежности, когда он со мной говорил? Уже тысячу раз задавала я себе эти вопросы, не в силах будучи найти ответ. Здесь я даже не нахожу ничего, что имело бы отношение к вам. Однако любовь проницательнее дружбы, и потому я хочу, чтобы вы знали все, что произошло между моим племянником и мною.

Я четыре раза принималась за это длинное письмо, которое было бы еще длиннее, если бы не моя усталость. Прощайте, моя красавица.

Из замка ***, 25 октября 17....

ПИСЬМО 123

От отца Ансельма к виконту де Вальмону

Я имел честь получить ваше письмо, господин виконт, и, выполняя вашу просьбу, вчера же отправился к особе, о которой в нем идет речь. Я изложил ей причины и сущность дела, по которому вы просили меня к ней обратиться. Как ни твердо стояла она сперва на принятом ею мудром решении, все же, когда я обратил ее внимание на то, что своим отказом она может

воспрепятствовать счастливому вашему обращению на путь истинный и, следовательно, милосердным намерениям провидения, она согласилась принять вас с тем, однако, условием, что это будет в последний раз, и поручила мне сообщить вам, что будет дома в следующий четверг 28-го. Если этот день почему-либо вам не подходит, соблаговолите назначить другой. Письмо ваше будет прочитано.

Все же, господин виконт, разрешите мне посоветовать вам не откладывать этой встречи без достаточно веских причин, дабы вы могли как можно скорее и всецело посвятить себя выполнению тех похвальных намерений, о которых вы мне писали. Подумайте о том, что тот, кто медлит воспользоваться осенившей его благодатью, подвергает себя опасности утратить ее, что если милосердие божие беспредельно, то злоупотреблять им недопустимо, и может наступить мгновение, когда милосердная десница божия превратится в десницу карающую.

Если вы по-прежнему будете оказывать мне честь своим доверием, прошу вас не сомневаться, что я всегда к вашим услугам, если только вы их пожелаете. Как бы и чем бы я ни был занят, самым важным делом для меня всегда явится выполнение святого служения, которому я себя посвятил, и самым радостным мгновением моей жизни будет то, когда я увижу, как труды мои по милости всевышнего увенчались успехом. Все мы — слабые грешники и сами по себе ничего не можем! Но бог, которого вы призываете, может всё, и только благости его будем обязаны мы оба, вы — неустанным стремлением соединиться с ним, я — возможностью привести вас к нему. С его помощью надеюсь я вскоре убедить вас, что лишь святая наша вера и в этой земной юдоли может обеспечить нам прочное и длительное счастье, которого мы тщетно ищем в ослеплении страстей человеческих.

Остаюсь с глубочайшим уважением и проч.

Париж, 25 октября 17...

ПИСЬМО 124

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Хотя новость, которую я вчера узнала, повергла меня в крайнее изумление, я не забываю, какое удовлетворение вы должны от нее получить, и потому тороплюсь ею с вами поделиться. Господин де Вальмон не занят больше ни мной, ни любовью и хочет лишь искупить более достойной жизнью

проступки или, вернее, заблуждения своей юности. Об этом важном обстоятельстве сообщил мне отец Ансельм, к которому он обратился с просьбой руководить им в дальнейшем, а также устроить ему свидание со мной. Насколько я понимаю, цель этого свидания — вернуть мне мои письма, которые он до последнего времени не возвращал, несмотря на все мои просьбы.

Я, разумеется, могу только приветствовать эту счастливую перемену в его чувствах и радоваться за себя, если, как он уверяет, я действительно ей способствовала. Но почему надо было, чтобы именно я стала ее орудием и это стоило мне покоя всей моей жизни? Неужели господин де Вальмон мог достигнуть душевного благополучия лишь ценой моего счастья? О, снисходительный друг мой, простите мне эти жалобы! Я знаю, что не мне судить о предначертаниях божиих; но в то время, как я беспрестанно и тщетно молю его дать мне силы одолеть мою злосчастную любовь, он даровал эту силу тому, кто о ней не просил, меня же оставляет без помощи, в полной власти чувства, с которым я не могу совладать.

Но мне следует заглушить этот греховный ропот. Разве не знаю я, что блудный сын по возвращении в отчий дом больше получил от щедрого своего отца, чем сын, никогда не отлучавшийся? А если бы у нас и могли быть какие-то права на благодать божию, что́ могла бы предъявить я для обоснования своих прав? Похвалюсь ли я тем, что сохранила свою честь, когда и этим обязана только Вальмону? Он спас меня, а я осмеливаюсь жаловаться на то, что страдаю из-за него! Нет, даже страдания мои будут сладостны, если они — цена его счастья. Разумеется, надо было, чтобы и он вернулся в лоно нашего общего отца. Ведь бог сотворил его, и он должен возлюбить свое творение. Он не мог создать это восхитительное существо лишь для того, чтобы сделать из него отверженного. Наказание за свою дерзкую неосторожность должна нести я. Не обязана ли я была понять, что раз мне не дозволено его любить, я не должна была позволять себе видеться с ним?

Мой грех или моя беда — в том, что я слишком долго не сознавала этой истины. Вы свидетельница, мой дорогой, достойный друг, что я покорно принесла эту жертву, как только поняла, насколько она необходима. Но для полноты этой жертвы недоставало лишь одного — чтобы для господина де Вальмона наша разлука не была жертвой. Признаться ли вам, что сейчас именно эта мысль терзает меня больше всего? О, нестерпимая гордыня, заставляющая нас находить облегчение своих страда-

ний в тех страданиях, которые мы причиняем другим! Нет, я смирю это мятежное сердце, я приучу его к унижениям.

И главным образом с этой целью я, наконец, согласилась на мучительную встречу с господином де Вальмоном в следующий четверг. Тогда я услышу от него самого, что я для него больше ничего не значу, что слабое, беглое впечатление, которое я на него произвела, совсем изгладилось! Я встречу взгляд его, устремленный на меня безмятежно, и мне придется опустить глаза, чтобы моего смятения они не выдали.

Те самые письма, которые он отказывался вернуть мне, несмотря на мои постоянные просьбы, мне теперь возвратит его равнодушие. Он передаст их мне, как нечто ненужное, нисколько его не занимающее. И дрожащие мои руки, принимая эту постыдную пачку бумаг, почувствуют, что они переданы им рукою спокойной и твердой! И, наконец, я увижу, как он удаляется... удаляется навсегда, и мой неотступно следящий за ним взор не встретит его взора, ибо он ко мне не обернется!

И на такое унижение я ныне обречена! Так пусть же оно принесет мне пользу, заставив меня проникнуться сознанием своей слабости... Да, я бережно сохраню эти письма, которые ему уже не нужны. Я обреку себя на позор ежедневно перечитывать их, пока слезы мои не сотрут с бумаги последних следов моего почерка, а его письма я сожгу, как нечто пропитанное губительным ядом, растлившим мою душу. О, что же такое любовь, если мы вынуждены сожалеть даже об опасностях, которым она нас подвергает, а главное — если можно опасаться, что будешь испытывать это чувство, даже когда его уже не внушаешь! Надо бежать от этой гибельной страсти, предоставляющей нам лишь один выбор — позор или несчастье — и зачастую соединяющей для нас то и другое. И пусть хотя бы благоразумие заменит нам добродетель.

Как еще далеко до этого четверга! Как желала бы я без промедления завершить свое жертвоприношение и забыть одновременно и то, что приносится в жертву, и то, ради чего она приносится! Это посещение мне тягостно, и я раскаиваюсь в том, что согласилась на него. Зачем ему еще раз видеться со мной? Что мы теперь друг для друга? Если он оскорбил меня, я его прощаю. Я даже готова приветствовать его решение искупить свои грехи. Я хвалю его за это. Я сделаю даже больше: я поступлю, как он. И так как в соблазн ввели меня те же самые заблуждения, то и пример его приведет меня на истинный путь. Но если он решил бежать от меня, зачем ему искать встречи со мной? Разве для каждого из нас не самое неотлож-

«Опасные связи»
А. Фрагонар

ное — забыть другого? Ах, отныне и впредь это станет моей главной заботой.

Если вы позволите, любезный мой друг, то за этот тяжкий труд я примусь подле вас. Если мне понадобится помощь, может быть, даже утешение, я хотела бы получить их только от вас. Одна вы умеете понимать меня и говорить моему сердцу на понятном ему языке. Ваша драгоценная дружба заполнит все мое существование. Ничто не покажется мне трудным ради того, чтобы ваша забота обо мне не пропала даром. Я буду обязана вам покоем, счастьем, добродетелью, и плодом вашей доброты ко мне будет то, что я наконец-то окажусь достойной ее.

Кажется, письмо мое получилось очень бессвязным. Так я предполагаю хотя бы по тому смятению, в котором я находилась все время, пока писала вам. Если в этом письме проглядывают чувства, которых мне следует стыдиться, прикройте их своей снисходительной дружбой. Я всецело на нее полагаюсь. И от вас я не скрою ни одного движения своего сердца.

Прощайте, достойный друг мой. Надеюсь, что через несколько дней смогу известить вас о своем приезде.

Париж, 25 октября 17...

ПИСЬМО 125

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Итак, она побеждена, эта гордая женщина, осмелившаяся вообразить, что она сможет передо мной устоять! Да, друг мой, она моя, всецело моя: она отдала мне все, что могла.

Я еще слишком полон счастья, чтобы оценить его как должно, но дивлюсь неведомому доселе очарованию, которое мне довелось ощутить. Может быть, и вправду, добродетель украшает женщину даже в миг слабости? Но, впрочем, пусть эта ребяческая мысль остается достоянием бабушкиных сказок. Разве, одерживая первую победу, не встречаешь всегда более или менее искусно разыгранное сопротивление? И, может быть, я все же когда-нибудь уже испытывал очарование, о котором говорю? Однако это и не очарование любви. Ибо если подле этой изумительной женщины на меня иногда и находили минуты слабости, напоминавшей эту малодушную страсть, я всегда умел преодолевать их и следовать своим обычным правилам. Даже если то, что произошло вчера, завело меня несколько дальше, чем я рассчитывал, даже если я на мгновение разделил трепет и опьянение, которые вызывал у нее, это мимолетное наважде-

ние теперь уже рассеялось бы. А между тем очарование не покидает меня. Признáюсь даже, что мне было бы сладостно отдаться ему, если бы оно не вызывало у меня некоторого беспокойства. Неужели я в мои годы мог, словно школьник, оказаться во власти непроизвольного и неведомого мне чувства? Нет, прежде всего надо побороть его и хорошенько изучить.

Впрочем, я, быть может, уже догадался, откуда оно возникло. Во всяком случае, мысль эта меня тешит, и я хотел бы, чтобы она была правильной.

Среди множества женщин, подле которых я доселе играл ролъ и выполнял обязанности любовника, я не встретил еще ни одной, которая сдаться не желала бы по меньшей мере так же сильно, как я — склонить ее к этому. Я даже привык называть недотрогами тех, кто останавливался на полпути в противоположность стольким другим, чья вызывающая самозащита лишь очень слабо затушевывала то обстоятельство, что первые шаги были сделаны ими.

Здесь же, напротив, я сперва столкнулся с неблагоприятным для меня предубеждением, подкрепленным затем советами и сообщениями женщины мне враждебной, но проницательной, затем с необычайно сильной природной робостью, поддержанной вполне сознательным целомудрием, с приверженностью к добродетели, руководимой религиозным чувством и непоколебимо торжествовавшей уже в течение двух лет, наконец, с решительными поступками, внушенными этими различными побуждениями и имевшими всегда одну цель — избежать моих преследований.

Итак, сейчас это не просто, как в прежних моих приключениях, более или менее выгодная для меня капитуляция, которой легче воспользоваться, чем гордиться: это полная победа, купленная ценой тяжких военных действий и достигнутая благодаря искусным маневрам. Поэтому и не удивительно, если успех, которым я обязан исключительно самому себе, стал для меня особенно дорогим, а избыток наслаждения, который я пережил в миг победы и чувствую еще сейчас,— лишь сладостное ощущение торжества. Мне нравится такой взгляд на вещи, ибо он избавляет меня от унижения думать, что я могу хоть в малейшей степени зависеть от покоренной мною рабы, что не во мне одном полнота моего счастья и что возможность моя испытывать от него полное наслаждение зависит от какой-то определенной женщины преимущественно перед всеми прочими.

Эти здравые рассуждения будут руководить моими поступками в данном столь важном случае. И вы можете быть уверены, что я не настолько закабалюсь, чтобы не суметь, шутя,

по первой прихоти порвать эти новые узы. Но вот, я говорю с вами о разрыве, а вы еще не знаете, каким образом я получил на него право: читайте и убеждайтесь, чему подвергает себя целомудрие, когда оно пытается прийти на помощь исступлению страсти. Я так внимательно следил за своими собственными речами и за полученными на них ответами, что, кажется, смогу передать вам и те и другие с точностью, которой вы будете удовлетворены.

По прилагаемым копиям двух моих писем[1] вы сами увидите, какого посредника нашел я для того, чтобы встретиться с моей прелестницей, и как усердно этот святой человек постарался нас соединить. К этому надо еще добавить, что, как я узнал из одного перехваченного обычным способом письма, страх оказаться покинутой и некоторое чувство унижения от этого несколько ослабили осторожность строгой святоши и наполнили ее сердце и ум чувствами и мыслями, хотя и лишенными какого бы то ни было здравого смысла, но тем не менее любопытными. Все это были необходимые предварительные сведения, теперь же вы можете узнать, что вчера, в четверг 28-го, в день, назначенный самóй неблагодарной, я явился к ней в качестве робкого, кающегося раба, чтобы выйти от нее увенчанным славой победителем.

В шесть часов вечера я прибыл к прекрасной затворнице, ибо со дня своего возвращения в Париж она никого не принимала. Когда обо мне доложили, она попыталась встать, но колени у нее до того дрожали, что она не могла держаться на ногах и тотчас же снова опустилась в кресло. Слуге, который ввел меня к ней, пришлось задержаться в комнате для того, чтобы кое-что прибрать, и это ее, по-видимому, раздражало. Пока он находился с нами, мы обменивались обычными светскими любезностями. Но чтобы не терять времени, ибо дорог был каждый миг, я внимательно изучал местность и сразу же наметил те пункты, где должен был одержать победу. Будь у меня выбор, я нашел бы что-нибудь поудобнее, ибо хотя в этой комнате имелась оттоманка, напротив нее оказался портрет мужа. Признаóсь, я опасался, принимая во внимание странности этой женщины, как бы один ее взгляд, случайно брошенный в эту сторону, не свел на нет все мои труды и старания. Наконец, мы остались одни, и я приступил к делу.

Напомнив ей в нескольких словах, что отец Ансельм должен был уведомить ее о цели моего посещения, я стал жало-

[1] Письма 120 и 123.

ваться на чрезмерную ее ко мне суровость и особенно подчеркнул презрение, которое ко мне выказывалось. Как я и ожидал, она стала защищаться, но я, как вы несомненно угадываете, привел в качестве доводов вызываемые мною у нее страх и недоверие, скандальное бегство, которое за этим последовало, отказ не только отвечать на мои письма, но даже принимать их и т. д. и т. п. Так как она тоже начала приводить в свое оправдание доводы, найти которые было нетрудно, я счел необходимым прервать ее, а чтобы загладить свою резкость, тотчас же прибегнул к лести. «Если,— продолжал я,— прелесть ваша оставила в моем сердце столь глубокое впечатление, то душу мою покорила ваша добродетель. И, наверно, соблазненный желанием приблизиться к ней, я осмелился счесть себя достойным этого. Я не упрекаю вас за то, что вы судили иначе, но караю себя за свою ошибку». Так как она смущенно молчала, я продолжал: «Я хотел, сударыня, либо оправдаться в ваших глазах, либо получить от вас прощение за прегрешения, в которых вы меня подозревали, для того чтобы, по крайней мере, с некоторым душевным спокойствием окончить свои дни, которые не имеют для меня никакой цены, раз вы отказались украсить их».

Тут она все же попыталась ответить: «Долг мой не позволял мне этого». Но договорить до конца ложь, которой требовал от нее этот долг, было слишком трудно, и она не закончила фразу. Я же продолжал самым нежным тоном: «Значит, правда, что бежали вы от меня?» — «Отъезд мой был необходим».— «Значит, правда, что вы удаляете меня от себя?» — «Так надо».— «И навсегда?» — «Я должна это сделать». Нет нужды говорить вам, что в течение этого краткого диалога голос влюбленной недотроги звучал сдавленно, а глаза на меня не поднимались. Тогда я, решив, что надо внести некоторое оживление в эту тягучую сцену, с негодующим видом встал и произнес: «Ваша твердость возвращает мне мою. Пусть будет так, сударыня, мы расстанемся; разлука наша будет даже большей, чем вы думаете, и вы сможете сколько угодно радоваться делу рук своих». Несколько удивленная укоризной, звучавшей в моем голосе, она пыталась возразить: «Решение, вами принятое...» — начала она. «Оно лишь следствие моего отчаяния,— с горячностью прервал я ее.— Вы пожелали, чтобы я стал несчастным, и я докажу вам, что это удалось вам больше, чем вы рассчитывали».— «Я хочу вашего счастья»,— ответила она. И дрожь в ее голосе выдавала довольно сильное волнение. Тут я бросился перед ней на колени и вскричал трагическим голосом, который

вам хорошо знаком: «Ах, жестокая, может ли быть для меня счастье, если вы его не разделяете? Как могу я обрести его вдали от вас? Нет, никогда, никогда!» Признаюсь, что, зайдя так далеко, я весьма рассчитывал, что мне помогут слезы, но потому ли, что я не сумел достаточно взвинтить себя, потому ли только, что слишком напряженно и неустанно следил за каждым своим движением,— разрыдаться мне не удалось.

К счастью, я вспомнил, что, когда хочешь покорить женщину, любое средство хорошо, и достаточно вызвать в ней изумление каким-нибудь сильным порывом, чтобы произвести глубокое и выгодное впечатление. И вот, за недостатком чувствительности я решил прибегнуть к запугиванию. С этой целью я и продолжал, изменив только звук голоса, но оставаясь в прежней позе: «Здесь, у ваших ног, клянусь я либо обладать вами, либо умереть!» Когда я произносил эти последние слова, взгляды наши встретились. Не знаю, что́ эта робкая особа увидела или вообразила, что увидела в моих глазах, но она с испуганным видом вскочила с места и вырвалась из моих рук, уже обвивших ее. Правда, я и не пытался ее удержать, так как неоднократно замечал, что сцены отчаяния, разыгрываемые чересчур пылко, становятся, затягиваясь, смешными или же требуют уже подлинно трагического исхода, к чему я отнюдь не стремился. Однако, пока она выскальзывала из моих рук, я пробормотал зловещим шепотом, но так, чтобы она могла меня расслышать: «Итак, значит, смерть!»

Затем я поднялся и, умолкнув, стал бросать на нее дикие взоры, которые хотя и казались безумными, но на самом деле не утратили ни зоркости, ни внимательности. Ее неуверенные движения, тяжелое дыхание, судорожное сокращение всех мускулов, дрожащие поднятые руки — все достаточно явно доказывало, что я добился желаемого действия. Но так как в любовных делах все совершается лишь на очень близком расстоянии, мы же были довольно далеко друг от друга, надо было прежде всего сблизиться. С этой целью я как можно скорее постарался обрести кажущееся спокойствие и тем самым умерить выражение своего неистовства, не ослабляя, однако, впечатления, которое оно должно было производить.

Переход мой был таков: «Я очень несчастен. Я хотел жить для вашего счастья — и нарушил его. Я приношу себя в жертву ради вашего душевного мира — и опять же смущаю его». Затем, со спокойствием, но явно напускным, я произнес: «Простите, сударыня, я так не привык к бурным проявлениям страсти, что плохо умею их обуздывать. Если мне не следовало пре-

даваться столь неистовому порыву, примите во внимание, что это в последний раз. Ах, успокойтесь, заклинаю вас, успокойтесь!..» И во время этой довольно длинной речи я незаметно приближался. «Если вы хотите, чтобы я успокоилась,— ответила взволновавшаяся прелестница,— то и сами держитесь спокойнее».— «Хорошо, обещаю вам это,— ответил я и добавил более тихим голосом: — Придется сделать над собою большое усилие, но, во всяком случае,— ненадолго. Однако,— продолжал я с таким видом, словно спохватился,— я пришел, чтобы вернуть вам письма, не так ли? Ради бога, соблаговолите принять их от меня. Мне остается принести эту последнюю мучительную жертву, не оставляйте у меня ничего, что могло бы ослабить мое мужество». И, вынув из кармана драгоценный пакет, я сказал: «Вот они, эти обманные уверения в вашей дружбе! Они еще привязывали меня к жизни; возьмите их обратно и, значит, сами дайте знак, который нас с вами навеки разлучит...»

Тут несмелая возлюбленная окончательно поддалась нежному беспокойству: «Но, господин де Вальмон, что с вами? Что вы хотите сказать? Разве вы поступаете не по своей доброй воле? Разве вы не приняли вполне обдуманное решение? И разве не размышления ваши заставили вас же одобрить тот выход, который мне подсказало чувство долга?» — «Да,— сказал я,— и этот выход определил решение, принятое мною».— «Какое же?» — «Единственное, которое может не только разлучить меня с вами, но и положить конец моим мучениям».— «Но скажите же мне, на что вы решились?» Тут я заключил ее в объятия, причем она не оказала ни малейшего сопротивления. Столь полное забвение приличий показало мне, как глубоко и сильно она взволнована. «Обожаемая,— сказал я, рискнув высказать восторженность,— вы не представляете себе, какова моя любовь к вам; вы никогда не узнаете, до какой степени я боготворил вас и насколько чувство это было мне дороже моей жизни! Да протекут дни ваши блаженно и мирно! Пусть украсятся они всем тем счастьем, которого вы меня лишили! Вознаградите же это чистосердечное пожелание хоть одним знаком сожаления, хоть одной слезинкой, и верьте, что последняя принесенная мною жертва не будет самой тягостной моему сердцу. Прощайте...» Говоря все это, я ощущал, как неистово билось ее сердце, замечал, как она менялась в лице, а главное — видел, как слезы душат ее, падая из глаз редкими тяжелыми каплями. Только тут я принял решение сделать вид, что окончательно ухожу. «Нет, выслушайте, что я вам скажу»,— горячо

произнесла она, с силой удерживая меня. «Пустите меня»,— ответил я. «Вы меня выслушаете, я так хочу».— «Я должен бежать от вас, должен!» — «Нет!» — вскричала она, и при этом последнем слове устремилась, или, вернее, упала без чувств в мои объятия. Так как я еще сомневался в столь великом успехе, то изобразил крайний испуг; но, продолжая притворяться испуганным, вел ее или нес к месту, заранее избранному в качестве арены моего торжества. И действительно, в себя она пришла уже покоренной, уже полностью отдавшейся своему счастливому победителю.

Доселе, прелестный друг мой, вы, я думаю, признавали за мной такую безупречность метода, которая доставит вам удовольствие, и вы убедитесь, что я ни в чем не отступил от истинных правил ведения этой войны, столь схожей, как мы часто замечали, с настоящей войной. Судите же обо мне, как о Тюренне или Фридрихе. Я заставил принять бой врага, стремившегося лишь выиграть время. Благодаря искусным маневрам я добился того, что сам выбрал поле битвы и занял удобные позиции, я сумел усыпить бдительность противника, чтобы легче добраться до его укрытия. Я сумел внушить страх еще до начала сражения. Я ни в чем не положился на случай, разве лишь тогда, когда риск сулил большие преимущества в случае успеха и когда у меня была уверенность, что я не останусь без ресурсов в случае поражения. Наконец, я начал военные действия, лишь имея обеспеченный тыл, что давало мне возможность прикрыть и сохранить все завоеванное раньше. Это, я полагаю, все, что можно сделать. Но сейчас я боюсь, что изнежился, как Ганнибал среди утех Капуи. Вот что затем произошло.

Я готов был к тому, что столь значительное событие не обойдется без обычных слез и выражений отчаяния. И если сперва я заметил у нее немного больше смущения и какую-то внутреннюю сосредоточенность, то приписал их тому, что она ведь — недотрога. Поэтому, не обращая внимания на эти легкие отклонения, которые считал чисто случайными, я пошел проторенной дорогой привычных утешений, вполне уверенный, что, как это обычно бывает, чувственность поможет чувству и что одним действием добьешься больше, чем любыми речами, которых я, впрочем, не жалел. Однако я столкнулся с сопротивлением, поистине ужасным, и не столько по его силе, сколько по форме, в которой оно проявилось.

Представьте себе женщину, сидящую неподвижно, словно окаменевшую, с застывшим лицом, с таким видом, будто она не

думает, не слышит, не внемлет ничему, а из устремленных в одну точку глаз ее непрерывно и словно сами по себе льются слезы. Такою была госпожа де Турвель, пока я разглагольствовал. Но если я делал попытку привлечь ее внимание к себе какой-нибудь лаской, каким-либо самым невинным жестом, эта кажущаяся бесчувственность сменялась тотчас же страхом, удушьем, судорогами, рыданиями и порою криками, но без слов.

Приступы эти возвращались несколько раз, становясь все сильнее и сильнее. Последний был до того неистовым, что я совершенно пал духом и даже одно мгновение опасался, что победа, мною одержанная, бесполезна. Тогда я перешел на принятые в подобных случаях общие места, и среди них оказалось следующее: «И вы пришли в такое отчаяние, потому что сделали меня счастливым?» При этом слове восхитительная женщина обернулась ко мне, и лицо ее, еще несколько растерянное, обрело уже свое небесное выражение. «Счастливым!» — повторила она. Что я ответил, вы сами можете догадаться. «Значит, вы счастливы?..» Я стал еще с бóльшим пылом расточать уверения. «Вы счастливы благодаря мне!» Я присовокупил ко всему, что говорилось раньше, восхваления и всяческие нежности. Пока я говорил, все тело ее как-то размягчилось, она томно откинулась на спинку кресла и, не вырывая у меня руки, которую я решился взять, сказала: «Я чувствую, что эта мысль утешает и облегчает меня...»

Вы сами понимаете, что, снова выбравшись таким образом на верный путь, я уже не сходил с него: путь был и впрямь верный, может быть, даже единственно возможный. Решив снова попытать счастье, я сперва встретил некоторое сопротивление: ведь то, что произошло раньше, вынуждало к осторожности. Но, призвав на помощь себе ту же мысль о моем счастье, я вскоре ощутил всю ее благотворность. «Вы правы,— сказала мне эта чувствительная женщина,— отныне жизнь станет для меня выносимой лишь в той мере, в какой она может послужить для вашего счастья. Я всецело посвящу себя ему: с этого мгновения я — ваша, и вы не услышите от меня ни отказа, ни сожалений...» И вот, с этим самозабвением, простодушным или величавым, она отдала мне себя, все свои прелести и увеличила мое блаженство тем, что разделила его. Опьянение было полным и взаимным. И впервые за всю мою жизнь оно сохранилось для меня и после наслаждения. Я высвободился из ее объятий лишь для того, чтобы упасть к ее ногам и поклясться ей в вечной любви. И — надо во всем признаться — я взаправду думал то,

что говорил. Словом, даже когда мы расстались, мысль о ней не покидала меня, и мне пришлось сделать над собой усилие воли, чтобы отвлечься.

Ах, почему вы не здесь, чтобы упоение тем, чего я добился, уравновесить упоением обещанной вами наградой? Но ведь я ничего не потеряю, если немного подожду, не так ли? И, надеюсь, я могу считать, что вами приняты те сладостные условия, которые я предложил вам в своем последнем письме? Вы видите, что я со своей стороны их уже выполняю, и, как я вам обещал, дела мои вскоре настолько продвинутся, что я смогу уделять вам часть своего времени. Избавьтесь же поскорее от вашего тяжеловесного Бельроша, оставьте в покое слащавого Дансени и займитесь лишь мною одним. Но что вы такое делаете в своей деревне, что не имеете даже времени ответить мне? Мне, знаете ли, хочется вас побранить. Однако счастье располагает к снисходительности. И, кроме того, я не забываю, что, вновь вступая в число ваших поклонников, должен вновь подчиниться вашим мелким прихотям. Помните все же, что новый любовник не хочет ничего терять из прав, которые приобрел в качестве друга.

Прощайте, как некогда... Да, *прощай, ангел мой! Шлю тебе все поцелуи любви.*

P. S. Известно ли вам, что, просидев месяц под арестом, Преван затем вынужден был уйти из своего полка? Это — последняя светская новость в Париже. Вот уж, поистине, жестоко поплатился он за проступок, которого не совершал, и торжество ваше — полное!

Париж, 29 октября 17...

ПИСЬМО 126

От госпожи де Розмонд к президентше де Турвель

Я бы ответила вам раньше, милая моя дочь, если бы не переутомилась, когда писала свое последнее письмо, и ко мне не вернулись мои боли, лишив меня все эти дни возможности пользоваться своей рукой. Я очень торопилась поблагодарить вас за хорошие вести о моем племяннике и заодно принести вам самые искренние поздравления. Здесь уж никак нельзя не признать вмешательства провидения, которое, озарив благодатью одного из вас, спасло другую. Да, красавица моя, господь, пожелавший только испытать вас, послал вам помощь в миг, когда

силы ваши были на исходе. И, несмотря на ваш легкий ропот, мне кажется, вам есть за что возблагодарить его. Я, разумеется, понимаю, что вам было бы приятнее, если бы решение это зародилось сперва у вас, а решение Вальмона явилось бы уже следствием вашего. С общечеловеческой точки зрения, в этом случае были бы, видимо, лучше соблюдены права нашего пола; мы ведь не желаем поступаться ни одним из своих прав. Но какое значение имеют эти малосущественные соображения по сравнению с важностью достигнутого? Разве спасшийся после кораблекрушения станет жаловаться на то, что он лишен был возможности выбирать средства спасения?

Вскоре, дорогая моя дочь, вы убедитесь, что муки, которых вы страшились, сами собою облегчатся. А если бы даже они и продолжали терзать вас с прежней силой, вы бы все же ощущали, что их легче переносить, нежели угрызения совести и презрение к самой себе. Раньше мне было бы бесполезно говорить вам эти слова, кажущиеся столь строгими: любовь — чувство, против которого мы бессильны, и благоразумие может помочь нам избежать его, но не победить. Раз уж оно возникло, то может умереть лишь естественной смертью или же от полной безнадежности. Ваш случай — как раз второй, и это дает мне право и мужество свободно высказать свое мнение. Жестоко пугать безнадежного больного, которому нужны только утешения да болеутоляющие средства; но полезно просветить выздоравливающего насчет опасности, которой он подвергался, чтобы внушить ему необходимое благоразумие и готовность подчиниться советам, которые могут ему еще понадобиться.

Раз уж вы избрали меня своим врачом, я и говорю с вами как врач.— говорю, что легкое недомогание, которое вы еще испытываете, может быть, нуждаясь в кое-каких лекарствах, ничто по сравнению с ужасной болезнью, полное излечение от которой вам уже обеспечено. Затем, как ваш друг, как друг женщины разумной и добродетельной, я позволю себе присовокупить, что овладевшую вами страсть, злосчастную самое по себе, делал еще более злосчастной предмет ее. Если верить тому, что мне твердят, то племянник мой, к которому, признаюсь, я, может быть, питаю чрезмерную слабость и в котором, действительно, многие похвальные качества сочетаются с величайшей обходительностью, представляет для женщин известную опасность и не свободен от вины перед многими из них: губить их доставляет ему почти такое же удовольствие, как и соблазнять. Я верю, что вы обратили бы его на путь истинный: для такого дела нет никого более достойного, чем вы. Но, рас-

считывая на это, столько других женщин уже пережили горькое разочарование, что я предпочла бы, чтобы с вами этого не случилось.

Теперь, красавица моя, подумайте о том, что вместо многих опасностей, подстерегавших вас, вы, кроме чистой совести и душевного спокойствия, будете чувствовать также удовлетворение, оттого что оказались главным орудием возвращения Вальмона на праведный путь. Что до меня, то я не сомневаюсь, что это главным образом следствие вашего доблестного сопротивления и что один миг слабости с вашей стороны, может быть, оставил бы моего племянника в вечном заблуждении. Мне хочется так думать и хочется также, чтобы и вы так думали. В этом обретете вы первые утешения, а я основание любить вас еще сильнее.

Жду вас к себе в ближайшие дни, дорогая моя дочь, как вы мне обещали. Вы найдете мир и счастье в тех самых местах, где потеряли их. Придите прежде всего порадоваться вместе с вашей любящей матерью тому, что вы так счастливо сдержали данное вами слово не совершить ничего, что не было бы достойно ее и вас!

Из замка ***, 30 октября 17...

ПИСЬМО 127

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Если я не ответила, виконт, на ваше письмо от 29-го, то не потому, что у меня не было времени: просто-напросто оно меня рассердило, и я нашла его лишенным какого бы то ни было здравого смысла. Поэтому я сочла самым лучшим предать его забвению. Но раз уж вы к нему возвращаетесь, раз вы, видимо, настаиваете на высказанных в нем мыслях и принимаете мое молчание за знак согласия,— придется мне изложить вам мое мнение.

Иногда у меня появлялись притязания на то, чтобы собою одной заменить целый сераль, но я никогда не соглашалась быть просто одной из одалисок. Я думала, что вам это известно. Но, во всяком случае, теперь, когда вы уже не можете не знать этого, вам легко будет сообразить, насколько нелепым должно было показаться мне ваше предложение. Как! Чтобы я пожертвовала влечением, и вдобавок влечением нежданным, ради того, чтобы заниматься вами? И притом еще как именно заниматься? Ожидая в качестве покорной рабы своей очереди

на благосклонную милость вашего величества? Когда, к примеру, вам благоугодно будет на миг отвлечься от *неведомого очарования,* которое дала вам ощутить одна лишь *восхитительная, божественная* госпожа де Турвель, или когда вы вдруг станете опасаться, как бы не поколебалось в глазах *привлекательной Сесили* то возвышенное представление о вашей особе, которое вы хотели бы, чтобы она сохранила? Тогда, снизойдя до меня, вы станете в моем обществе искать наслаждений — правда, не столь острых, но зато ни к чему не обязывающих, и ваши драгоценные знаки внимания, хотя бы и довольно редкие, сделают меня в конце концов достаточно счастливой!

О да, у вас, разумеется, весьма высокое мнение о своей особе. Но, видимо, мне зато недостает скромности, ибо, как внимательно я себя ни разглядываю, я не нахожу, что до такой степени опустилась. Может быть, это мой недостаток, но предупреждаю вас, что у меня их вообще немало.

И вот главный из них: я полагаю, что *школьник, слащавый* Дансени, занятый сейчас исключительно мной, пожертвовавший ради меня, не делая из этого особой заслуги, своей первой страстью еще до того, как удовлетворил ее, словом — любящий меня, как любят только в его возрасте, может, несмотря на свои двадцать лет, дать мне больше счастья и больше радостей, чем вы. Я позволила бы себе даже добавить, что если бы мне пришла в голову прихоть взять ему помощника, то им были бы не вы, во всяком случае в настоящий момент.

А по каким таким причинам, спросите вы меня? Но, прежде всего, причин может и вовсе не быть, ибо каприз, благодаря которому я могу предпочесть вас, способен точно так же сделать вас совершенно нежеланным. Однако из вежливости я готова привести вам свои доводы. Мне кажется, что вам пришлось бы слишком многим ради меня пожертвовать. Я же, вместо того, чтобы оказаться вам за это благодарной, как вы стали бы, разумеется, ожидать, вполне способна была бы считать, что вы должны и дальше приносить мне жертвы! Вы видите, у нас настолько несхожий образ мыслей, что мы никак не сможем сблизиться, а я опасаюсь, что мне понадобилось бы много, очень много времени, прежде чем переменились бы мои чувства. Когда я исправлюсь, обещаю вас об этом известить. А до того, послушайтесь меня, устраивайтесь как-нибудь иначе и приберегите свои поцелуи: ведь у вас столько возможностей найти им лучшее применение!..

Прощайте, как прежде, говорите вы? Но прежде, кажется, я значила для вас несколько больше. Я не была у вас на третьих

ролях, а главное, вы, прежде чем быть уверенным в моем согласии, благоволили дожидаться, пока я скажу «да». Примиритесь же с тем, что вместо того, чтобы говорить вам «прощайте», как говорила прежде, я скажу вам «прощайте», как могу сказать теперь.

Остаюсь, господин виконт, преданной вам...

Из замка ***, 31 октября 17...

ПИСЬМО 128

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Лишь вчера, сударыня, получила я ваш запоздалый ответ. Он убил бы меня на месте, если бы жизнь моя принадлежала мне. Но ею владеет другой, и это — господин де Вальмон. Видите, я от вас ничего не скрываю. Наверно, вы более не считаете меня достойной вашей дружбы, но я не так боюсь потерять ее, как обманным образом пользоваться ею. Вот единственное, что я могу сказать вам: господин де Вальмон поставил меня перед выбором — или его смерть, или его счастье, и я решилась на последнее. Я не хвалюсь и не обвиняю себя: я просто говорю, как обстоит дело.

После этого вы легко поймете, какое впечатление могло произвести на меня ваше письмо и те суровые истины, которые в нем высказаны. Однако не думайте, что оно может вызвать во мне какие-либо сожаления или заставить меня изменить свои чувства и свои поступки. Это не означает, что у меня не бывает жестоких минут. Но даже когда мое сердце разрывается на части, когда мне кажется, что я уже не в силах переносить свои муки, я говорю себе: Вальмон счастлив, и перед этой мыслью отступает все, или, вернее, она все превращает в радость.

Итак, я посвятила свою жизнь вашему племяннику, ради него я погубила себя. Он стал целью всех моих мыслей, всех моих чувств, всех моих поступков. Пока жизнь моя необходима для его счастья, я буду дорожить ею и считать, что судьба ко мне милостива. Если в некий день он помыслит иначе... он не услышит от меня ни жалобы, ни укора. Я уже дерзнула представить себе этот роковой миг, и решение мое принято.

Теперь вы видите, как мало могут волновать меня опасения, видимо тревожащие вас, опасения, как бы господин де Вальмон не погубил меня. Ибо если бы у него возникло такое желание, он, значит, уже разлюбил бы меня. А что для

меня тогда пустые разговоры, которых я уже не услышу? Только он будет моим судьей. И так как я жила лишь для него, память обо мне будет жить в нем, и если он будет вынужден признать, что я его любила, я буду достаточно оправдана.

Читая эти строки, сударыня, вы читали в моем сердце. Несчастье потерять из-за своей откровенности ваше уважение я предпочла несчастью стать недостойной его, унизившись до лжи. Я считала, что к полному чистосердечию по отношению к вам меня обязывают ваши прежние дружеские ко мне чувства. Если я добавлю еще хоть слово, вы можете заподозрить, что я имею дерзость и сейчас рассчитывать на них, а между тем мой собственный строгий суд над собою уже возбраняет мне притязать на это.

Остаюсь, сударыня, нижайше преданной вам...

Париж, 1 ноября 17...

ПИСЬМО 129

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Скажите мне, прелестный друг мой, откуда взялся едкий и издевательский тон, который господствует в вашем последнем письме? Какое совершил я, очевидно сам того не подозревая, преступление, столь вас разгневавшее? Вы упрекаете меня за то, что я говорил с вами так, будто вполне рассчитываю на ваше согласие, хотя еще не получил его. Но — так я полагал — в том, что в отношениях с кем угодно могло бы показаться дерзостью, между нами двумя следует видеть лишь знак доверия. А с каких пор это чувство вредит дружбе или любви? Соединив желание с надеждой, я лишь поддался естественному для человека порыву оказаться как можно ближе к счастью, которого он домогается. Вы же приняли за проявление гордыни то, что явилось лишь следствием моего нетерпения. Я отлично знаю, что, согласно принятым обычаям, в подобных случаях полагается выказывать почтительную недоверчивость. Но вы так же хорошо знаете, что это лишь церемонная формальность, и, думается мне, я имел право считать, что подобное мелочное жеманство между нами уже лишнее.

Мне кажется даже, что такая свобода и откровенность, когда они основаны на давнишней связи, гораздо ценнее нелепого улещивания, из-за которого в любовные отношения так часто вносится какая-то приторность. Может быть, впрочем,

моя манера обращения нравится мне больше лишь потому, что напоминает о пережитом счастье. Но именно поэтому мне было бы еще обиднее видеть, что вы придерживаетесь иного мнения.

Это, однако, по-моему, единственная моя вина. Ибо я не представляю себе, что вы могли бы всерьез думать, будто я способен предпочесть вам какую бы то ни было другую женщину, и еще меньше — что я мог ценить вас так мало, как вы якобы думаете. По этому поводу вы говорите, что внимательно разглядывали себя и не нашли, что до такой степени опустились. Нисколько не сомневаюсь, и это лишь доказывает, что у вас хорошее зеркало. Но разве вам не было бы легче сделать тут же более справедливый вывод, что я-то уж, наверно, не думал о вас так, как вы вообразили?

Тщетно стараюсь я понять, откуда у вас взялась такая странная мысль. Все же мне думается, что она имеет какое-то отношение к похвальным отзывам, которые я осмелился сделать по адресу других женщин. Так, по крайней мере, заставляет думать ваше подчеркнутое повторение эпитетов *восхитительная, божественная, привлекательная,* которые я употребил, говоря о госпоже де Турвель или о малютке Воланж. Но разве вы не знаете, что эти слова, по большей части выбираемые случайно, а не обдуманно, выражают не столько отношение к данной особе, сколько положение, в котором находишься в тот момент, когда о ней говоришь? И если в то самое время, когда я был увлечен той или другой, желание обладать вами у меня не ослабевало, если я совершенно явно оказывал вам предпочтение перед теми двумя,— ибо ведь не могу же я возобновить нашу былую связь иначе, как пренебрегши ими,— мне кажется, что вам не в чем меня особенно упрекнуть.

Не многим труднее будет мне оправдаться и по поводу *неведомого очарования,* которое вас, кажется, тоже задело: ибо прежде всего, ежели что-то неведомо, это отнюдь не значит, что оно привлекательнее. О, что может превзойти восхитительные наслаждения, которые одна лишь вы способны всегда делать новыми и всегда более острыми? Я, значит, хотел сказать только одно,— что это наслаждение было такого рода, какого я еще не испытывал, и я вовсе не намеревался определять его сравнительную ценность. При этом я даже добавил то, что и сейчас повторяю: каким бы оно ни было, я сумею бороться с ним и превозмочь его. И в это нетрудное дело я внесу еще больше рвения, если оно окажется данью моего служения вам.

Что же касается малютки Сесили, то говорить вам о ней считаю просто ненужным. Вы же не забыли, что я занялся этой

девочкой по вашей просьбе и, чтобы развязаться с ней, жду только вашего разрешения. Я мог отметить ее простодушие и свежесть, я мог даже на мгновение счесть ее *привлекательной*,— ведь творение твоих рук всегда доставляет тебе известное удовольствие. Но, разумеется, она еще ни в какой области не созрела настолько, чтобы удержать внимание.

А теперь, прелестный друг мой, я взываю к вашему чувству справедливости, к доброте, с которой вы в свое время ко мне отнеслись, к нашей долгой, ничем не омрачаемой дружбе, к полному взаимному доверию, которое скрепило нашу связь,— разве заслужил я жесткий тон вашего последнего письма? Но как легко будет вам вознаградить меня за него, едва только вы этого пожелаете! Скажите лишь слово, и вы увидите, удержат ли меня здесь не то что на один день, но на одну минуту любые очарования, любая привязанность. Я полечу к вашим ногам, в ваши объятия и докажу вам тысячу раз тысячью способами, что вы и есть истинная владычица моего сердца и всегда останетесь ею.

Прощайте, прелестный друг мой. С нетерпением жду вашего ответа.

Париж, 3 ноября 17...

ПИСЬМО 130

От госпожи де Розмонд к президентше де Турвель

А почему, моя красавица, не хотите вы больше оставаться моей дочерью? Почему вы как будто намекаете на то, что переписка наша должна прекратиться? Уж не хотите ли вы наказать меня за то, что я не догадалась об обстоятельстве совершенно неправдоподобном? Уж не подозреваете ли вы, что я умышленно огорчила вас? Нет, я слишком хорошо знаю ваше сердце, чтобы поверить, что оно так мыслит о моем. Вот почему, прочтя ваше письмо, я страдаю больше за вас, чем за себя.

О юный друг мой, говорю вам это с душевной скорбью — вы слишком достойны любви, чтобы любовь когда-либо дала вам счастье. Какая по-настоящему нежная и чувствительная женщина не обрела несчастья в том самом чувстве, от которого ожидала столько блаженства! Разве мужчина способен оценить женщину, которой он обладает?

Конечно, многие мужчины ведут себя порядочно и проявляют постоянство в своих чувствах. Но даже и в их числе как мало таких, чье сердце способно биться в лад с нашим! Не

думайте, милая моя дочь, что их любовь подобна нашей. Да, они испытывают то же опьянение, зачастую даже вносят в него больше, но они не знают тревожного рвения, нежной внимательности, из-за которых мы отдаемся непрерывным нежным заботам, единственная цель которых — любимый человек. Мужчина наслаждается счастьем, которое испытывает он сам, женщина — тем, которое дает она. Различие это, столь важное и очень редко замечаемое, весьма ощутительно влияет на поведение каждого из них. Для одного — наслаждение в том, чтобы удовлетворить свои желания, для другой — прежде всего в том, чтобы их вызвать. Для него нравиться — один из способов добиться успеха, в то время как для нее в этом и состоит успех. И кокетство, в котором так часто упрекают женщин, есть не что иное, как некоторое злоупотребление подобного рода чувствами, являющееся, однако, доказательством их истинности. И, наконец, исключительная страсть к одному существу, характерная для любви вообще, у мужчины есть всего лишь предпочтение, служащее самое большее для того, чтобы усилить удовольствие, которое ослабело бы, может быть, появись новый предмет, но отнюдь не исчезло бы. В то время как в женщинах это — глубокое чувство, не только уничтожающее какое-либо постороннее влечение, но более властное, чем природа, и не подчиняющееся ее законам и потому заставляющее женщин испытывать мучительное отвращение там, где, казалось бы, должно было возникнуть желание.

И не думайте, что более или менее многочисленные исключения, которые можно было бы привести в данном случае, могут успешно опровергнуть эту общеизвестную истину! Ее опора — взгляды общества, которое лишь для мужчин делает различие между неверностью и непостоянством. Этим различием они похваляются, а между тем оно унизительно, и среди представительниц нашего пола его принимали только те развращенные женщины, которые позорят наш пол и для которых хорошо любое средство, подходящее, по их мнению, для того, чтобы избавить их от тягостного сознания собственной низости.

Мне представлялось, моя красавица, что вам было бы полезно внять этим моим доводам: вы противопоставите их неосуществимым мечтам о безоблачном счастье, которыми любовь беспрестанно морочит наше воображение. Это обманчивая надежда, за которую цепляешься даже тогда, когда ясно видишь, что от нее приходится отказаться, и утрата ее обостряет и умножает те вполне реальные муки, которые всегда сопутствуют сильной страсти.

Единственное, что я могу и хочу сейчас делать,— это облегчить ваши страдания, постараться, чтобы их стало меньше. При неизлечимой болезни можно давать советы только относительно режима. Я прошу вас лишь об одном: помните, что жалеть больного — не значит порицать его. Да кто мы все такие, чтобы осуждать друг друга? Предоставим право судить тому, кто один читает в сердцах человеческих, и я дерзаю даже верить, что много добродетелей могут в отеческих глазах его искупить одну слабость.

Но заклинаю вас, милый друг мой, остерегайтесь превыше всего опрометчивых решений, говорящих не столько о силе духа, сколько о полном отчаянии. Не забывайте, что, сделав кого-то властелином вашей жизни — пользуюсь вашим же выражением,— вы тем не менее не смогли лишить своих друзей того, чем они владели раньше и от чего никогда не откажутся.

Прощайте, дорогая моя дочь. Думайте иногда о своей нежно любящей матери и не сомневайтесь, что вам она отдает всегда и прежде всего прочего свои самые заветные мысли.

Из замка ***, 4 ноября 17...

ПИСЬМО 131

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Вот и отлично, виконт, на этот раз я более довольна вами. Но теперь поговорим по-дружески, и я надеюсь убедить вас, что тот сговор между нами, которого вы, видимо, так желаете, был бы чистейшим безумием и для вас и для меня.

Неужели вы еще не уразумели, что наслаждения, действительно являющегося единственным толчком для соединения двух полов, все же недостаточно для того, чтобы между ними возникала связь, и что если ему предшествует сближающее их желание, то после него наступает отталкивающее их друг от друга пресыщение? Таков закон природы, и нарушать его властна только любовь. А разве любовь приходит по заказу? Но ведь нужна-то она всегда. И это было бы до крайности неудобно, если бы люди не сообразили, что, к счастью, достаточно, когда любовь есть у одной из сторон. Трудность таким образом уменьшилась наполовину, и притом почти ничего не было утеряно: действительно — один счастлив тем, что любит, другой тем, что его любят, хотя, правда, счастье это не так велико, но

зато ему сопутствует удовольствие измены; выгоды уравновешены, и все устраивается.

Но скажите мне, виконт, кто из нас двоих возьмет на себя труд изменять другому? Помните рассказ о двух мошенниках, которые поймали друг друга во время игры. «Ничего у нас не получится,— сказали они,— заплатим за карты пополам». И они бросили игру. Поверьте мне, последуем их благоразумному примеру и не станем терять совместно времени, которое с таким успехом можем провести каждый в отдельности.

Чтобы доказать вам, что в данном случае я руководствуюсь вашей выгодой не меньше, чем своей собственной, что я действую так не из каприза, ни оттого, что раздражена, я не отказываю вам в условленной между нами награде. Я отлично понимаю, что на один вечер мы останемся вполне довольны друг другом, и я даже не сомневаюсь в том, что мы сумеем так усладить его, что нам будет жаль, когда он кончится. Но не будем забывать, что сожаление это необходимо для счастья. И как бы сладостны ни были наши иллюзии, не поддадимся заблуждению, будто они могут быть длительны.

Как видите, я тоже выполняю свои обязательства, и даже не дожидаясь, чтобы вы совершенно точно выполнили ваши. Ибо я ведь должна была получить первое же после ее падения письмо божественной недотроги. А между тем то ли потому, что вы им еще дорожите, то ли потому, что забыли об условиях сделки, которая, может быть, интересует вас меньше, чем вы стараетесь показать, я ничего, совершенно ничего не получила. Между тем или я ошибаюсь, или нежная святоша усиленно пишет письма. Ибо что ей делать, когда она одна? Уж, наверно, у нее не хватит ума развлекаться. Словом, у меня было бы в чем вас упрекнуть, если бы мне этого хотелось. Но я молчу в качестве воздаяния за некоторое раздражение, которое, может быть, допустила в своем последнем письме.

Теперь же, виконт, у меня есть к вам просьба, и даже больше ради вас, чем ради меня самой: отложим ненадолго мгновение, желанное мне, быть может, не менее, чем вам. Я думаю, что отложить его следует до моего возвращения в город. С одной стороны, здесь у нас не было бы достаточной свободы, а с другой — для меня имелась бы некоторая опасность, так как довольно, может быть, капли ревности, чтобы привязать ко мне постылого Бельроша, хотя сейчас он держится, можно сказать, на волоске. Он уже выбивается из сил, стараясь в проявлениях любви не ударить лицом в грязь. Дело дошло уже до того, что, перенасыщая его ласками, я вынуждена не только быть осто-

рожной, но и хитрой. В то же время вы сами понимаете, что Бельрош может считаться жертвой, которую я вам приношу. Обоюдная неверность еще больше усилит очарование.

А знаете ли, я иногда жалею, что мы вынуждены прибегать к таким средствам. В дни, когда мы любили друг друга,— ибо я думаю, что то была любовь,— я была счастлива... а вы, виконт? Но зачем думать о счастье, которому нет возврата? Нет, что бы там ни говорили, возврат невозможен. Прежде всего, я потребовала бы жертв, которых вы, наверно, не смогли бы или не захотели принести и которых я, возможно, вовсе и не достойна. А затем — как вас удержать? О нет, нет, я и думать об этом не хочу. И хотя писать вам доставляет мне сейчас радость, я предпочитаю внезапно покинуть вас.

Прощайте, виконт.

Из замка ***, 6 ноября 17...

ПИСЬМО 132

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Глубоко растроганная вашей ко мне добротой, сударыня, я целиком отдалась бы ей, если бы меня не останавливала в какой-то мере боязнь осквернить ее этим. Почему, когда ваша доброта мне так драгоценна, я в то же время должна ощущать, что недостойна ее? Ах, но, во всяком случае, я осмелюсь высказать вам всю свою благодарность. Особенно восхищает меня в вас снисходительность добродетели, которой наши слабости ведомы лишь постольку, поскольку она им сострадает,— так сильна и так сладостна власть ее чар над нашими сердцами, что выдержит сравнение даже с чарами любви.

Но могу ли я и теперь заслуживать дружбу, которой уже недостаточно для моего счастья? То же самое могу я сказать и о ваших советах: я сознаю всю их мудрость, но не могу им следовать. И как не верить мне в совершенное счастье, когда я его сейчас ощущаю? Да, если мужчины такие, как вы о них говорите, надо бежать от них, надо их ненавидеть. Но насколько же не схож с ними Вальмон! Если у него, как и у них, есть то неистовство страсти, которое вы называете необузданностью, то насколько же в нем сильнее этой необузданности беспредельная нежность! О друг мой! Вы говорите, что разделяете мои страдания, но порадуйтесь со мной и моему счастью! Я обязана им любви, а как увеличивает его самый предмет этой любви! Вы говорите, что любовь ваша к племяннику — быть

может, проявление слабости. О, если бы вы знали его, как я! Я его обожаю, боготворю, и все же меньше, чем он заслуживает. Конечно, он мог порою впадать в заблуждения, в чем он и сам признаётся. Но кто лучше его познал истинную любовь? Что мне сказать вам больше? Он внушает ее, но и сам ощущает с не меньшей силой.

Вы подумаете, что я одержима *неосуществимой мечтой, которой любовь беспрестанно смущает наше воображение.* Но если так, то почему же он стал более нежным, более внимательным с тех самых пор, как ему уже нечего добиваться? Должна признаться, что раньше рассудительность и сдержанность редко покидали его, и это часто, даже против воли, вызывало в моем сознании все те лживые и жестокие представления о нем, которые существуют у его недоброжелателей. Но с тех пор как он беспрепятственно может отдаваться порывам своего сердца, он словно угадывает все желания моего. Кто знает, не были ли мы созданы друг для друга! Не суждено ли было мне счастье стать необходимой для его счастья! Ах, если это самообман, пусть я умру прежде, чем он рассеется. Нет, я хочу жить, чтобы лелеять, чтобы обожать его. Почему бы перестал он любить меня? Какая другая женщина сделает его счастливее? А я чувствую по собственному опыту, что счастье, которое порождаешь в другом, это самая крепкая, единственно подлинная связь. Да, это и есть то упоительное чувство, которое облагораживает любовь, которое в некотором смысле очищает ее и делает действительно достойной такой нежной и благородной души, как душа Вальмона.

Прощайте, мой дорогой, уважаемый, снисходительный друг. Тщетно пыталась бы я продолжать это письмо: настал час, когда он обещал прийти, и у меня уже нет других мыслей. Простите! Но вы хотите моего счастья, а оно в этот миг так велико, что меня едва хватает, чтобы ощущать его.

Париж, 7 ноября 17...

ПИСЬМО 133

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Что же это за жертвы, мой прелестный друг, на которые я, по вашему мнению, не пойду, хотя наградой за них мне было бы ваше благоволение? Скажите, прошу вас, и если я хоть на мгновение поколеблюсь — принести их или нет,— разрешаю вам

отказать мне в следуемой за них награде. Хорошо же вы судите обо мне с некоторых пор, если, даже проявляя снисходительность, сомневаетесь в моих чувствах или же силе воли! Жертвы, которых я не смогу или не захочу принести! Итак, вы считаете меня влюбленным, порабощенным, вы думаете, что если я так добивался успеха, то мне дорог самый предмет? Ах, нет, слава богу, я еще не пал так низко и берусь вам это доказать. Да, я докажу это, хотя бы и за счет госпожи де Турвель, и тогда у вас уж, наверно, не останется никаких сомнений.

Я полагаю, что мог, не становясь смешным, посвятить некоторое время женщине, у которой есть хотя бы то достоинство, что она принадлежит к довольно редкой породе. Может быть, я особенно увлекся этим приключением потому, что оно совпало с мертвым сезоном. Нечего дивиться, что и сейчас я почти целиком поглощен им,— ведь общество только-только начинает съезжаться. Подумайте к тому же, что я всего какую-нибудь неделю вкушаю плоды трехмесячных трудов,— а мне приходилось и дольше задерживаться около женщин, гораздо менее стоящих, на которых и труда было затрачено гораздо меньше! Однако тогда вы не делали никаких позорящих меня выводов.

И наконец — хотите знать истинную причину моего упорства в этом деле? Вот она. Женщина эта по природе своей робка; в первое время она беспрестанно сомневалась в своем счастье, и этого было достаточно, чтобы спугнуть его, вследствие чего я лишь сейчас едва начинаю выяснять, как далеко простирается моя власть над такого рода женщинами. А мне ведь очень любопытно было узнать это, подходящий же случай подвертывается не так легко, как можно думать.

Прежде всего, для очень многих женщин наслаждение есть наслаждение, и больше ничего. У них, как бы они нас ни именовали, мы только поставщики, передатчики, и в их глазах все наше достоинство — активность: кто делает больше, тот и лучше.

Другую категорию женщин, в наши дни, может быть, самую многочисленную, интересует почти исключительно известность их любовника, удовольствие от того, что он отбит у соперницы, страх в свою очередь потерять его. Сами мы тоже занимаем некоторое место в том подобии счастья, которое они испытывают, однако, в первую очередь, оно зависит от обстоятельств, а не от личности любовника. Они получают счастье благодаря нам, но не от нас.

Мне же хотелось для своих наблюдений найти женщину нежной и чувствительной души, для которой любовь стала бы

всепоглощающей и которая в самой любви видела бы лишь возлюбленного: в ней чувство, уклоняясь от обычного пути, шло бы от сердца к желанию, и я, например, видел, как такая женщина (притом не в первый день) после наслаждения лила слезы, а через мгновение вновь предавалась страсти из-за какого-нибудь моего слова, нашедшего отзвук в ее душе. Наконец, мне надо было, чтобы ко всему этому присоединялось и природное чистосердечие, ставшее настолько привычным, что его уже не преодолеть и что оно не дает скрыть ни единого чувства, живущего в сердце. Вы должны согласиться, что подобные женщины встречаются очень редко, и я уверен, что, если бы не эта именно женщина, другой такой я, быть может, никогда бы уже не встретил.

Поэтому было бы не удивительно, если бы я оставался верен ей больше, чем какой-либо другой женщине. Если для наблюдений моих, которые я произвожу с ее помощью, нужно, чтобы я сделал ее счастливой, совершенно счастливой, почему я должен от этого отказываться, в особенности раз это мне помогает вместо того, чтобы препятствовать? Но если ею занят мой ум, значит ли, что сердце мое порабощено? Нет, конечно. Вот почему, хотя я и впрямь дорожу этим приключением, оно не помешает мне искать других и даже пожертвовать им чему-либо более приятному.

Я настолько свободен, что не пренебрегаю даже малюткой Воланж, которой, в сущности, почти не придаю значения. Через три дня мать привезет ее в Париж. Я же со вчерашнего дня позаботился о том, чтобы сохранить с ней связь: немного денег привратнику, несколько любезностей его жене — и дело в шляпе. Подумайте только, что Дансени не сумел додуматься до такого простого средства! И еще говорят, что любовь делает людей изобретательными. Напротив, она превращает в полных тупиц тех, над кем забрала власть. И это я не сумею от нее защититься! Нет, будьте покойны. В самые ближайшие дни я нарочно ослаблю слишком, быть может, сильное впечатление, которое испытал: я перебью его другими, а если этого будет недостаточно, постараюсь, чтобы новых впечатлений было побольше.

Тем не менее я готов передать юную пансионерку ее робкому возлюбленному, как только вы найдете это удобным. Мне кажется, у вас уже нет причин препятствовать этому, я же согласен оказать столь существенную услугу бедняге Дансени. По правде сказать, это пустяки по сравнению с тою, какую он оказал мне. Сейчас его крайне тревожит мысль, будет ли он

принят у госпожи де Воланж. Я успокаиваю его как только могу, уверяя, что так или иначе, но я с первого же дня устрою его счастье, пока же продолжаю заботиться о переписке, которую он хочет возобновить тотчас же по прибытии *своей Сесили*. У меня уже имеются от него письма, и до наступления блаженного дня прибавится, конечно, еще одно или два. Этому малому, видно, совсем нечего делать!

Но оставим эту ребяческую парочку и вернемся к своим делам: мне бы только целиком отдаться сладостной надежде, которое дало мне ваше письмо! Да, разумеется, вы меня удержите подле себя, и непростительно вам сомневаться в этом. Разве я когда-либо переставал быть вам верным? Узы наши ослабли, но не порвались. Наш так называемый разрыв был лишь обманом воображения: связь наших чувств и интересов сохранялась. Подобно путешественнику, возвратившемуся умудренным, я, как и он, признáю, что покинул счастье в погоне за обманчивой надеждой, и скажу, как д'Аркур:

Чем больше видишь стран, тем родина милее [1].

Не боритесь же больше с мыслью или, вернее, чувством, которое возвращает вас ко мне. После того как, идя каждый своим путем, мы отведали всех удовольствий, насладимся теперь счастьем сознавать, что ни одно из них не сравнится с теми, которые мы испытали друг с другом и которые покажутся нам еще более сладостными!

Прощайте, мой пленительный друг. Я согласен ждать вашего возвращения. Но поторопитесь и не забывайте, как я его жажду.

Париж, 8 ноября 17...

ПИСЬМО 134

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Право же, виконт, вы — совсем как ребенок, в присутствии которого ничего нельзя говорить и которому ничего нельзя показать, чтобы он тотчас же не пожелал этим завладеть! Мне пришла в голову случайная мысль, я даже предупредила вас, что не намерена придавать ей значения, но только потому, что я ее высказала, вы ею злоупотребляете, пытаетесь привлечь

[1] Дю Белляу, трагедия «Осада Кале».

к ней мое внимание, заставить меня сосредоточиться на ней, когда я стремлюсь к совершенно обратному, и в некотором смысле разделить вопреки моей собственной воле ваши безрассудные желания! Великодушно ли с вашей стороны взваливать на меня одну все бремя благоразумия? Повторяю вам — себе же самой повторяю еще чаще: придать нашим отношениям тот характер, какой вы желали бы, совершенно невозможно. Даже если вы вложите в них все великодушие, которое проявляете в данный момент, то — как вы думаете? — нет ли у меня известной щепетильности и соглашусь ли я принять жертвы, которые лишат вас счастья?

Неужели, виконт, вы обманываетесь насчет чувства, привязывающего вас к госпоже де Турвель? Если это не любовь, то любви вообще не существует. Вы отрицаете это на сто ладов, а доказываете на тысячу. Что, например, означает эта попытка хитрить с самим собою (ибо я не сомневаюсь, что со мною вы искренни), заставляющая вас объяснять своей любознательностью желание удержать эту женщину, желание, которого вы не можете ни скрыть, ни подавить? Можно подумать, что и впрямь не бывало другой женщины, которой вы дали бы счастье, полное счастье! Ах, если вы в этом сомневаетесь, то плохая же у вас память! Но, конечно, дело не в этом. Просто сердце ваше поработило рассудок и заставляет его выдумывать слабые доводы. Но меня-то, весьма заинтересованную в том, чтобы не обманываться, не так легко ввести в заблуждение.

Например, я обратила внимание на вашу предупредительность, заставившую вас старательнейшим образом опустить все эпитеты, которые, как вы вообразили, пришлись мне не по вкусу, однако тут же заметила, что, может быть, сами того не замечая, вы остались верны тем же мыслям. И действительно, госпожа де Турвель уже не восхитительная и не божественная, но зато она *удивительная женщина, с нежной и чувствительной душой,* притом в противоположность всем прочим женщинам, словом — *женщина редкая, второй такой уж не встретишь.* Так же обстоит и с неведомым очарованием, *которое вы сумеете преодолеть.* Пусть так; но раз вы доселе никогда не встречали его, то весьма вероятно, что и в будущем не встретите, а значит, утрата его окажется все же непоправимой. Или, виконт, все это явные признаки любви, или таких признаков вообще невозможно обнаружить.

Поверьте, что сейчас я говорю без всякого раздражения. Я дала себе слово не допускать себя до него, ибо отлично поняла, какую опасную ловушку оно собой представляет. Послу-

шайтесь меня, будем только друзьями, остановимся на этом. И будьте благодарны мне за то мужество, с каким я защищаюсь: да, за это мужество, ибо его надо иметь порою и для того, чтобы не стать на путь, который сам же признаёшь дурным.

Поэтому на ваш вопрос о жертвах, которых я потребовала бы, а вы не смогли бы принести, отвечаю лишь для того, чтобы убедить вас разделить мою точку зрения. Я нарочно употребляю выражение *потребовала бы,* ибо уверена, что сейчас вы и впрямь найдете меня чрезмерно требовательной, но тем лучше. И я не только не рассержусь на вас за отказ, но даже буду вам за него благодарна. Более того — не перед вами же мне притворяться — он мне, может быть, просто необходим.

Я потребовала бы — вот ведь жестокость! — чтобы эта редкая, удивительная госпожа де Турвель стала для вас самой обыкновенной женщиной, такой, какова она на самом деле. Ибо не следует обманываться: чары, которые якобы обретаешь в другом, находятся в нас самих, и только одна любовь делает столь прекрасным любимое существо. Как бы ни было неосуществимо то, чего я требую, вы, может быть, заставите себя пообещать мне это и даже клятву дадите, хотя, откровенно говоря, я не поверю пустым словам. Меня сможет убедить лишь поведение ваше в целом.

Это еще не все, у меня будут капризы. Вы с такой готовностью предлагаете принести мне в жертву малютку Сесиль, но я в этом нисколько не заинтересована. Я пожелала бы, напротив, чтобы вы продолжали нести эту нелегкую службу до новых моих распоряжений, потому ли, что мне угодно было бы злоупотреблять таким образом своей властью, потому ли, что, пожелав стать снисходительной или справедливой, я довольствовалась бы возможностью распоряжаться вашими чувствами, не лишая вас наслаждений. Как бы то ни было, но я потребовала бы повиновения, а приказания мои были бы весьма суровы!

Правда, тогда я считала бы себя обязанной отблагодарить вас и, кто знает, может быть, даже наградить. Я, например, сократила бы срок разлуки, которая и для меня самой стала бы невыносимой. Словом, я увиделась бы с вами, виконт, увиделась... в качестве кого?.. Но вы все же помните, что это всего лишь разговор, описание неосуществимого плана, а мне не хотелось бы забывать об этом одной...

Знаете ли, что я несколько обеспокоена своим процессом? Я захотела, наконец, точно узнать, на что могу рассчитывать.

Мои адвокаты ссылаются на какие-то законы, а еще больше на *авторитеты,* как они их именуют, но все это не представляется мне столь же разумным и справедливым, как им. Я почти жалею, что отказалась пойти на мировую. Все же успокаиваю себя тем, что прокурор ловок, адвокат красноречив, а истица хороша собой. Если эти три средства не окажутся действенными, значит, надо изменить весь порядок ведения дел. Но что же станет тогда с уважением к старым обычаям?

В настоящее время только процесс удерживает меня здесь. Процесс Бельроша закончен: в иске отказано, судебные издержки уплачены. Он уже сожалеет, что не попадет на сегодняшний бал. Вот уж, поистине, сожаление человека, оказавшегося не у дел! Когда мы возвратимся в Париж, я верну ему полную свободу. Я приношу ему эту горестную для меня жертву, но нахожу утешение в том, что он считает мое поведение великодушным.

Прощайте, виконт, пишите мне почаще. Подробные отчеты о ваших забавах отвлекут меня хотя бы до некоторой степени от одолевающих меня забот.

Из замка ***, 11 ноября 17...

ПИСЬМО 135

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Пытаюсь писать вам, сама еще не зная, смогу ли. О боже, подумать только, что предыдущее мое письмо не дал мне закончить избыток счастья! Теперь же я сражена предельным отчаянием — у меня остались лишь силы ощущать свою муку, но нет сил выразить ее.

Вальмон... Вальмон больше не любит меня и никогда не любил. Любовь так не уходит. Он обманывает меня, предает, оскорбляет. На меня обрушились все несчастья, все унижения, какие только могут быть, и исходят они от него!

Не думайте, что это простое подозрение: я ведь была так далека от каких бы то ни было подозрений! Но сейчас мне не дано счастья сомневаться. Я это видела — что же он может сказать в свое оправдание?.. Но разве ему не безразлично? Он даже и не попытается этого сделать... Несчастная! Что ему твои упреки, слезы? Очень ты ему нужна!..

Итак, он действительно пожертвовал мною, даже предал... и кому?.. Низкой твари... Но что я говорю? Ах, я потеряла даже право презирать ее. Она не так виновна, как я, она в меньшей

мере нарушила свой долг. О, как мучительны страдания, обостренные угрызениями совести! Но вот муки мои усиливаются. Прощайте, дорогой друг мой, как ни мало достойна я вашей жалости, вы все же проявите ее ко мне, если только подумаете о том, как я страдаю.

Перечитала это письмо и вижу, что оно вам ничего не объяснит. Поэтому попытаюсь найти достаточно мужества, чтобы рассказать вам это жестокое для меня событие. Оно произошло вчера. В первый раз после возвращения в Париж я должна была ужинать не дома. Вальмон зашел ко мне в пять часов и никогда еще не казался мне более нежным! Он дал мне понять, что мое намерение ехать в гости ему неприятно, и вы сами понимаете, что вскоре я переменила решение и осталась дома. Однако часа через два и вид его и тон заметно изменились. Не знаю, может быть, у меня вырвалось что-либо такое, что ему не понравилось. Как бы то ни было, через некоторое время он заявил, что совсем позабыл об одном деле, вынуждающем его покинуть меня, и удалился. При этом он, однако, выражал самые живые сожаления, показавшиеся мне тогда очень нежными и вполне искренними.

Оставшись одна, я решила, что приличнее будет не изменять ранее данному обещанию, раз я свободна и могу сдержать его. Я закончила свой туалет и села в карету. К несчастью, кучер поехал мимо Оперы, я оказалась в самой сутолоке разъезда, и тут, в четырех шагах от себя, в ближайшем к своей карете ряду, узнала карету Вальмона. Сердце у меня тотчас же забилось, но не от какого-либо страха: мне хотелось лишь одного — чтобы моя карета поскорее двинулась вперед. Вместо этого его карете пришлось податься назад, и она поравнялась с моей. Я тотчас же высунулась, и каково же было мое изумление, когда рядом с ним я увидела особу, хорошо известную в качестве девицы легкого поведения! Как вы сами понимаете, я откинулась назад; того, что я увидела, было вполне достаточно, чтобы ранить мое сердце. Но, вероятно, вам нелегко будет поверить, что эта девица, которой он, видимо, самым гнусным образом все обо мне рассказал, продолжала смотреть в окно кареты прямо на меня и при этом громко, вызывающе хохотала.

Уничтоженная всем, что произошло, я тем не менее позволила довезти меня до того дома, где должна была ужинать. Но оставаться там оказалось для меня невозможным: каждое мгновение я ощущала, что вот-вот потеряю сознание, а главное — я не могла удержать слез.

Вернувшись домой, я написала господину де Вальмону и тотчас же отослала ему письмо; его не оказалось дома. Желая любой ценой либо выйти из этого состояния смертной муки, либо уже знать, что буду пребывать в нем вечно, я вновь послала слугу со своим письмом, велев ему дождаться возвращения Вальмона. Но еще до полуночи слуга мой возвратился с сообщением, что кучер вернулся один и сказал ему, что хозяин не будет ночевать дома. Утром я рассудила, что мне остается лишь одно — вторично потребовать возвращения всех моих писем и просить Вальмона больше у меня не бывать. Я и дала соответствующие распоряжения, но они, видимо, были совершенно излишни: уже около полудня, а он еще не явился, и я не получила от него хотя бы записки.

Теперь, дорогой друг мой, мне добавлять нечего. Вы в курсе дела, и вы хорошо знаете мое сердце. Единственная моя надежда — что мне уже недолго придется огорчать такого друга, как вы.

Париж, 15 ноября 17...

ПИСЬМО 136

От президентши де Турвель к виконту де Вальмону

Наверно, сударь, после того, что произошло вчера, вы не рассчитываете больше быть принятым у меня, да и не очень к этому стремитесь! Поэтому пишу вам не столько даже для того, чтобы просить вас у меня больше не появляться, сколько для того, чтобы вновь потребовать у вас возвращения писем, которых мне не следовало писать. Если они когда-либо могли иметь для вас некоторое значение, как свидетельство порожденного вами ослепления, то сейчас, когда оно прошло, они не могут не быть для вас безразличными, ибо выражают только чувство, вами же во мне уничтоженное.

Признаюсь, что с моей стороны ошибкой было проникнуться к вам доверием, жертвами которого оказалось до меня столько других женщин. В этом я обвиняю лишь себя. Однако я полагала, что, во всяком случае, не заслуживаю того, чтобы вы отдавали меня на осмеяние и позор. Я думала, что, пожертвовав ради вас всем и потеряв из-за вас одного право на уважение со стороны других людей и даже на самоуважение, я могла рассчитывать, что вы-то не станете судить меня строже, чем общество, в чьих глазах существует все же огромная разница между женщиной, виновной в слабости, и женщиной, вконец

испорченной. Вот почему я упоминаю здесь лишь о тех проступках ваших, которые всегда и всеми осуждаются. О проступках против любви я умалчиваю: вашему сердцу все равно не понять моего. Прощайте, сударь.

Париж, 15 ноября 17...

ПИСЬМО 137

От виконта де Вальмона к президентше де Турвель

Мне только что вручили, сударыня, ваше письмо. Я содрогнулся, прочтя его, и у меня едва хватает сил написать ответ. Какого же вы обо мне ужасного мнения! Ах, конечно, я совершал проступки такие, каких не прощу себе всю жизнь, даже если бы вы покрыли их своей снисходительностью. Но насколько же всегда было чуждо моей душе то, в чем вы меня упрекаете! Как, это я унижаю, оскорбляю вас, я, который чтит вас не меньше, чем любит, который узнал чувство гордости лишь в тот миг, когда вы сочли его достойным себя? Вас ввели в заблуждение внешние обстоятельства, и я не отрицаю, что они могли быть против меня. Но разве в сердце вашем не было того, что нужно для борьбы с заблуждением? И почему оно не возмутилось от одной мысли о том, что может на меня сетовать? А вы поверили! Значит, вы не только сочли меня способным на такую гнусность и безумие, но у вас даже возникла мысль, что жертвой его вы стали из-за своей доброты ко мне! Ах, если вы себя считаете до такой степени униженной любовью, то до чего же я низок в ваших глазах!

Удрученный мукой, которую причиняет мне эта мысль, я, отгоняя ее, теряю время, которое следовало бы употребить на то, чтобы изгладить ее из вашего сознания. Буду откровенен — меня удерживает еще один довод. Нужно ли говорить о событиях, которые я хотел бы предать полному забвению? Нужно ли задерживать ваше внимание — да и мое тоже — на миге заблуждения, которое я хотел бы искупить всей своей остальной жизнью,— причина его мне самому еще не совсем ясна, и воспоминание о нем всегда будет для меня унизительным и постыдным? Ах, если, обвиняя себя самого, я еще больше распалю ваш гнев, мщение у вас под рукой: достаточно будет предать меня терзаниям моей же совести.

И все же — кто поверил бы? — первопричиной этого происшествия было то всемогущее очарование, которое я испытываю,

находясь подле вас. Именно оно заставило меня позабыть о важном деле, не терпевшем отлагательства. Я ушел от вас слишком поздно и не встретился с человеком, которого искал. Я надеялся застать его в Опере, но и эта попытка оказалась тщетной. Там находилась Эмили, которую я знал в дни, когда не имел никакого представления ни о вас, ни о настоящей любви. У Эмили не было кареты, и она попросила меня подвезти ее — она жила в двух шагах от театра. Я не придал этому никакого значения и согласился. Но тогда-то мы с вами и встретились, и я тотчас же почувствовал, что вы можете поставить мне это в вину.

Страх вызвать ваше неудовольствие или огорчить вас имеет надо мной такую власть, что его нельзя не заметить, и на него, действительно, вскоре обратили внимание. Признáюсь, что он даже вынудил меня попросить эту девицу не показываться. Но предосторожность, вызванная моей любовью, обратилась против любви. Привыкшая, подобно всем таким женщинам, считать свою власть, всегда незаконную, прочной лишь тогда, когда ею можно злоупотребить, Эмили, конечно, решила не упускать столь блестящей возможности. Чем больше замечала она, что мое замешательство усиливается, тем больше старалась она, чтобы ее увидели в моей карете. А ее безумный смех, из-за которого я теперь краснею при одной мысли, что вы хоть на мгновение могли счесть себя его причиной, вызван был лишь моей жестокой мукой, проистекавшей опять же от моей любви и уважения к вам.

До сих пор я, как мне кажется, более несчастен, чем виновен, и те проступки, *единственные, о которых вы упоминаете и которые всегда и всеми осуждаются,*— их не существует, и за них меня укорять нельзя. Но напрасно умалчиваете вы о проступках против любви. Я не стану этого делать: нарушить молчание вынуждают меня слишком важные соображения.

Этим своим поступком, для меня самого невероятным, я смущен и пристыжен настолько, что мне крайне мучительно напоминать о нем. Проникнутый сознанием вины, я готов был бы нести за нее кару или же дожидаться поры, когда время, моя неиссякаемая нежность и мое раскаяние принесут мне ваше прощение. Но как могу я молчать, раз то, что мне остается сказать вам, важно именно для вас, касается ваших чувств?

Не подумайте, что я ищу каких-либо увертoк, чтобы оправдать или прикрыть свою вину: нет, я ее признаю! Но я не при-

знаю и никогда не призна́ю, что это унизительное заблуждение может быть сочтено преступлением против любви. Что́ может быть общего между порывами чувственности, минутным ослеплением, которое вскоре сменяется стыдом и раскаянием, и чистым чувством, способным возникнуть лишь в душе, исполненной нежности, поддерживаться лишь уважением и в конце концов дать полное счастье? Ах, не унижайте таким образом любви. А главное — бойтесь унизить себя, смотря с единой точки зрения на вещи несоединимые. Предоставьте женщинам низким, падшим страшиться соперничества, которое, как они невольно чувствуют, всегда им угрожает, и ощущать муки ревности настолько же жестокой, сколь и унизительной; но вы, вы отвращайте свой взор от того, что может его осквернить, и, чистая, как божество, карайте, подобно ему же, за оскорбления, оставаясь к ним нечувствительной.

Но какую кару назначите вы мне, более тягостную, чем то, что я сейчас испытываю? Что можно сравнить с сожалением о проступке, вызвавшем ваш гнев, с отчаянием от того, что доставил вам огорчение, с гнетущей мыслью о том, что я стал менее достойным вас? Вы ищете, чем бы покарать меня, я же прошу у вас утешений, и не потому, что заслуживаю их, а потому, что они мне необходимы, и получить их я могу только от вас.

Если вдруг, забыв о моей и о своей собственной любви и не дорожа более моим счастьем, вы, напротив, желаете ввергнуть меня в вечную муку — это ваше право: наносите удар. Но если, проявляя снисходительность или отзывчивость, вы все же вспомните о нежности, соединявшей наши сердца, о страстном томлении душ, вечно возрождающемся и все более и более жгучем, о сладостных и счастливых днях, которыми каждый из нас был обязан другому, о всех радостях, которые дает одна любовь,— может быть, вы предпочтете употребить свою власть на то, чтобы воскресить все это, вместо того, чтобы уничтожать. Что мне сказать вам еще? Я все потерял, и все потерял по своей же вине. Но я все могу обрести вновь, если на то будет ваша благая воля. Теперь вам решать. Добавлю лишь одно слово. Еще вчера вы клялись мне, что мое счастье обеспечено, если оно зависит от вас! Ах, сударыня, неужели вы повергнете меня теперь в безысходное отчаянье?

Париж, 15 ноября 17...

«Опасные связи»
А. Фрагонар

ПИСЬМО 138

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Настаиваю на своем, прелестный мой друг: нет, я не влюблен, и не моя вина, если обстоятельства вынуждают меня изображать влюбленность. Дайте только согласие и возвращайтесь: вы вскоре сами убедитесь, насколько я искренен. Я доказал это вчера, а то, что происходит сегодня, не опровергает вчерашнего.

Итак, я был у чувствительной недотроги, и никакое другое дело меня не отвлекало, ибо малютка Воланж, невзирая на свое положение, должна была всю ночь провести на балу, который госпожа В*** давала, несмотря на то, что сезон еще не наступил. От нечего делать я сперва захотел продлить свое посещение и даже потребовал в связи с этим маленькой жертвы. Но как только я получил согласие, удовольствие, которого я ожидал, было нарушено мыслью о том, что вы упорно продолжаете считать меня влюбленным или, во всяком случае, беспрестанно ставите мне это в укор. Так что единственным моим желанием стало убедить и самого себя и вас, что с вашей стороны это чистейшая клевета.

Тут я принял смелое решение и под довольно пустяковым предлогом покинул свою прелестницу, крайне изумленную и несомненно в еще большей степени огорченную. Я же преспокойно отправился в Оперу на свидание с Эмили, и она может отчитаться перед вами в том, что до нынешнего утра, когда мы расстались, ни единое сожаление не смутило наших утех.

У меня, однако, был бы достаточный повод для беспокойства, если бы не мое полнейшее равнодушие. Ибо да станет вам известно, что не успели мы с Эмили, сидевшей со мной в карете, отъехать за четыре дома от Оперы, как с нами поравнялась карета суровой святоши и, вследствие образовавшегося затора, простояла рядом с нашей минут семь-восемь. Мы видели друг друга, как в ясный полдень, и избежать этого не было никакой возможности.

Но это еще не все: мне пришло в голову сообщить Эмили, что эта дама — та самая, которой я писал пресловутое письмо (вы, может быть, припомните эту мою выходку, когда сама Эмили служила пюпитром) [1]. Она-то этого не забыла и, смешливая по натуре, не успокоилась, пока не нагляделась вдосталь на эту, по ее выражению, *ходячую добродетель,* хохоча при этом так непристойно, что можно было действительно выйти из себя.

---

[1] Письма 47 и 48.

Но и это не все: может быть, вы сомневаетесь в том, что ревнивица послала ко мне в тот же вечер? Меня не оказалось дома, но она в своем упорстве отправила слугу вторично, велев ему дождаться моего возвращения. Я же, решив остаться у Эмили, отослал карету домой, а кучеру велел только приехать за мной утром. Застав посланца любви в моем доме, кучер безо всяких околичностей сообщил ему, что я не возвращусь до утра.

Вам легко догадаться, что эта новость возымела свое действие и что по возвращении я получил полную отставку, объявленную мне со всей подобающей торжественностью.

Таким образом, история эта, по вашему мнению нескончаемая, могла бы закончиться хоть сегодня утром. Если же она не закончилась, то не потому, чтобы я, как вы, наверно, вообразите, дорожил ею, а лишь вследствие того, что, с одной стороны, я считаю неподобающим делом, чтобы меня бросали, а с другой — потому, что честь этой жертвы хотел оказать вам.

Итак, на суровую записку я ответил пространным и весьма чувствительным посланием. Я привел обстоятельнейшие объяснения, а чтобы они были приняты за чистую монету, решил опереться на любовь. Мне это уже удалось. Только что я получил вторую записку, по-прежнему весьма суровую и подтверждающую разрыв навеки, как и следовало ожидать, но тон ее, однако, иной. Самое главное — меня не хотят видеть: это решение объявляется раза четыре и самым непреклонным образом. Из этого я заключил, что надо, не теряя времени, явиться. Я уже послал егеря, чтобы заручиться швейцаром, а через минуту отправлюсь сам заставить ее подписать мне прощение. Ибо при такого рода проступках существует лишь одна церемония отпущения, и она может быть совершена только в личном присутствии.

Прощайте, очаровательный друг мой, бегу по этому важному делу.

Париж, 15 ноября 17...

ПИСЬМО 139

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Как я упрекаю себя, отзывчивый друг мой, за то, что поторопилась посвятить вас во все подробности своих мимолетных горестей! Из-за меня вы теперь огорчены. Печаль ваша, в которой повинна я, еще длится, я же в это время счастлива. Да, все забыто, прощено, лучше того — восстановлено. Скорбь и тоска сменились спокойствием и отрадой. О, как мне выразить тебя,

радость моего сердца! Вальмон не виноват. Нельзя быть виноватым, когда любишь так, как он. Тяжкие, оскорбительные для меня проступки, в которых я его обвиняла с такой горечью,— он их не совершал, а если в одном-единственном пункте я должна была выказать снисходительность, то разве не было и с моей стороны несправедливостей, которые надлежит искупить?

Не стану вдаваться в подробности о фактах или о причинах, его оправдывающих. Может быть, рассудок и не очень внимал бы им: лишь сердцу дано их понять. Но если вы все же заподозрите меня в слабости, я призову себе на помощь ваши же рассуждения. Ведь вы сами говорите, что у мужчин неверность еще не означает непостоянства.

Это вовсе не значит, что я не понимаю, до какой степени это различие, хотя бы оно и было узаконено мнением общества, оскорбляет истинную чувствительность. Но моей ли чувствительности жаловаться, когда еще сильнее страдают чувства Вальмона? Я-то забываю его проступок, но не думайте, что он прощает его себе сам или находит какое-нибудь утешение. А ведь как искупил он эту легкую вину избытком любви ко мне, избытком моего счастья!

Или же счастье мое теперь полнее, или я больше ценю его после того, как боялась, что оно мною утрачено. Но могу вам сказать, что, если бы у меня хватило сил переносить горести такие же тяжкие, как те, что я сейчас пережила, я не считала бы, что слишком дорого плачу за полноту счастья, которую с тех пор вкусила. О нежная моя матушка, побраните свою неразумную дочь за то, что она огорчила вас своей поспешностью, побраните ее за то, что она слишком дерзновенно судила и оклеветала того, кого должна была неизменно боготворить. Но, признав ее неблагоразумие, знайте, что она счастлива, и увеличьте это счастье, разделив его с нею.

Париж, 15 ноября 17.., вечером.

ПИСЬМО 140

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Почему это, прелестный мой друг, я не получаю от вас ответа? Между тем последнее мое письмо, как мне кажется, его заслуживало. И я должен был получить его уже три дня тому назад, а все жду и жду! Мягко говоря, я на вас сердит, и потому ничего не стану рассказывать вам о самых важных своих делах.

Ни слова не скажу я о том, что состоялось самое полное примирение, что вместо упреков и недоверия оно породило новые ласки, что теперь уже передо мною извиняются, и я получаю возмещение за то, что была заподозрена моя невинность. Я вообще не стал бы вам писать, не случись прошлой ночью совершенно непредвиденного события. Но так как оно касается вашей подопечной и она, по всей вероятности, не сочтет подходящим оповещать вас о нем, во всяком случае на первых порах,— об этом позабочусь я.

По причинам, о которых вы догадаетесь или не догадаетесь, последние несколько дней я не мог быть занят госпожой де Турвель. А так как этих причин у малютки Воланж не могло быть, я стал чаще навещать ее. Благодаря любезности швейцара мне не приходилось преодолевать никаких препятствий, и мы с вашей подопечной вели спокойный и размеренный образ жизни. Но привычка ведет к небрежности. В первые дни мы никак не могли успокоиться, принимая все новые и новые меры предосторожности, и дрожали за всеми запорами. Но вчера непостижимая рассеянность вызвала то происшествие, о котором я хочу вам сообщить. И если я со своей стороны отделался страхом, то девочке оно обошлось несколько дороже.

Мы предавались отдыху и истоме, которые сменяют сладострастие, как вдруг услышали, что дверь нашей комнаты внезапно отворилась. Тотчас же я схватился за шпагу, столько же для самозащиты, сколько для того, чтобы защитить нашу с вами подопечную. Устремляюсь вперед, но никого не вижу. Дверь, однако, действительно оказалась открытой. Так как мы не тушили света, я пошел на разведку, но не обнаружил ни единой живой души. Тогда я вспомнил, что мы пренебрегли обычными предосторожностями, видимо, лишь слегка притворили или же плохо закрыли дверь, и она сама распахнулась.

Возвратившись к своей пугливой подруге, чтобы успокоить ее, я не нашел ее в постели. Упала ли она между кроватью и стеной или спряталась туда, во всяком случае она лежала там без сознания и в сильнейших судорогах. Можете судить о моем замешательстве! Мне, однако, удалось снова уложить ее в кровать и даже привести в чувство. Но, падая, она ушиблась, и последствия не замедлили сказаться.

Боли в пояснице, жестокие колики и другие еще менее двусмысленные признаки вскоре окончательно прояснили мне ее положение. Но, чтобы сообщить о нем ей, надо было сперва осведомить ее и о том, в которое она попала несколько раньше, ибо она об этом даже не подозревала. Может быть, ни одна

девица до нее не сохраняла подобной невинности, так прилежно делая все, чтобы эту невинность потерять! О, эта особа не тратит времени на размышления!

Но зато очень много его она тратила, предаваясь отчаянью, и я почувствовал, что надо на что-то решаться! Поэтому мы с ней договорились, что я тотчас же отправлюсь за их домашним врачом и за их домашним хирургом и что, предупреждая их, что за ними пришлют, я под строгим секретом посвящу их во все. Она же, со своей стороны, позвонит горничной, доверится ей или нет, по своему усмотрению, но, во всяком случае, пошлет за врачебной помощью, а паче всего — запретит будить госпожу де Воланж — трогательная и вполне естественная заботливость дочери, боящейся побеспокоить мать.

Я постарался закончить оба мои визита и оба доверительных сообщения как можно скорее, а затем возвратился к себе и до сих пор еще не выходил из дома. Но хирург, которого я, впрочем, и раньше знал, в полдень явился известить меня о состоянии больной. Я не ошибался, но он надеется, что, если не произойдет осложнений, дома у нее ничего не заметят. Горничная посвящена в тайну, доктор дал болезни подходящее название, и дело это устроится, как бесчисленное множество других,— разве что впоследствии нам с вами понадобится, чтобы о нем заговорили.

Но имеются ли у нас с вами сейчас какие-либо общие интересы? Молчание ваше вызывает у меня на этот счет сомнения. Я бы уже перестал и верить в это, если бы желание сохранить их не побуждало меня всеми правдами и неправдами сохранить надежду.

Прощайте, прелестный мой друг. Целую вас, хотя все еще сержусь.

Париж, 21 ноября 17...

ПИСЬМО 141

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Боже мой, виконт, до чего мне надоело ваше упорство! Не все ли вам равно, что я молчу? Уж не думаете ли вы, что я молчу потому, что мне нечего сказать в свою защиту? Если бы все было в этом! Но дело в том, что мне трудно об этом писать!

Скажите мне правду: сами вы себя обманываете или меня хотите обмануть? Ваши слова и поведение настолько противо-

речат друг другу, что у меня остается выбор лишь между этими двумя мнениями: какое из них — истинное? Что вы хотите от меня услышать, когда я сама не знаю, что и думать?

Вы, как видно, вменяете себе в великую заслугу последнюю сцену между вами и президентшей. Но что она доказывает в пользу вашей системы или против моей? Уж наверно, я никогда не говорила вам, что вы любите эту женщину настолько, чтобы не изменять ей, чтобы не пользоваться любым случаем, который покажется вам приятным или удобным. Я не сомневалась даже, что вам более или менее безразлично утолять с другой, с первой попавшейся женщиной даже такие желания, которые могла возбудить в вас только эта. И я не удивлена, что благодаря своему душевному распутству, оспаривать которое у вас было бы несправедливо, вы однажды совершили вполне обдуманно то, что сотни раз делали просто так, при случае. Кому не ведомо, что так вообще принято в свете, что таков обычай, которому следуете вы все, от негодяя до *самого избранного?* Кто в наши дни от этого воздерживается, слывет *мечтательным.* А я, кажется, вас за этот порок не упрекаю!

Тем не менее я говорила, и думала, и теперь еще думаю, что вы свою президентшу любите. Конечно, не слишком чистой и не слишком нежной любовью, но такой, на какую вы способны. Такой, к примеру, которая заставляет вас обнаруживать в женщине прелести и качества, коих на самом деле у нее нет, ставить ее на особое место, а всех других отодвигать во второй разряд. Словом, такой, какую, по-моему, султан может питать к любимой султанше, что не мешает ему порою предпочесть обыкновенную одалиску. Сравнение это представляется мне тем более верным, что, подобно восточному султану, вы никогда не бываете возлюбленным или другом женщины, а всегда ее тираном или рабом. Поэтому я совершенно уверена, что вы бесконечно унижались и раболепствовали, чтобы вновь войти в милость у этого предмета вашей страсти, и, охваченный ликованием, что это вам удалось, вы, как только, по вашему мнению, наступила минута прощения, оставляете меня ради этого великого события.

И если в своем последнем письме вы не говорите исключительно об этой женщине, то потому, что не хотите беседовать со мной — *о самых важных своих делах.* Они представляются вам столь значительными, что в своем молчании на этот счет вы усматриваете какое-то наказание мне. И после того как вы дали сотни доказательств решительного предпочтения, отдаваемого вами другой женщине, вы спокойно спрашиваете меня, *имеются*

ли у вас со мной сейчас какие-либо общие интересы? Берегитесь, виконт, уж если я вам отвечу, то сказанного обратно не возьму. И я уже слишком много говорю, если остерегаюсь давать сейчас ответ. Поэтому я твердо решаю умолкнуть.

Все, что я могу сделать,— это рассказать вам одну историю. Может быть, у вас не хватит времени прочесть ее или уделить ей внимание, необходимое для того, чтобы понять ее как должно? Что ж, воля ваша. В худшем случае мой рассказ пропадет даром.

Один мой знакомый, подобно вам, вступил в связь с женщиной, не доставлявшей ему много чести. Временами у него хватало ума понимать, что рано или поздно от этого приключения ему будет один вред. Но хоть он и стыдился, а мужества для разрыва у него не хватало. И положение его оказывалось тем сложнее, что он хвастался перед своими друзьями, будто ничто не стесняет его свободы, а ведь он отлично знал, что чем яростнее защищаешься от обвинения, что сделал глупость, тем становишься смешней. Так он и жил, не переставая изображать собою дурака, а затем говорить: *«Не моя в том вина»*. У этого человека была приятельница, которая едва не поддалась соблазну выставить его всем напоказ в этом состоянии опьянения и тем самым раз и навсегда сделать его смешным. Все же великодушие пересилило в ней коварные поползновения, а может быть, оказались иные причины — и она попыталась использовать последнее средство, чтобы при всех обстоятельствах иметь право сказать, как ее друг: *«Не моя в том вина»*. С этой целью она послала ему без всяких пояснений нижеследующее письмо, как лекарство, которое могло бы оказаться полезным при его недуге:

«Все приедается, мой ангел, таков уж закон природы: не моя в том вина.

И если мне наскучило приключение, полностью поглощавшее меня четыре гибельных месяца,— не моя в том вина.

Если, например, у меня было ровно столько любви, сколько у тебя добродетели — а этого, право, немало,— нечего удивляться, что первой пришел конец тогда же, когда и второй. Не моя в том вина.

Из этого следует, что с некоторых пор я тебе изменял, но надо сказать, что к этому меня в известной степени вынуждала твоя неумолимая нежность. Не моя в том вина.

А теперь одна женщина, которую я безумно люблю, требует, чтобы я тобою пожертвовал. Не моя в том вина.

Я понимаю, что это — отличный повод обвинить меня в клятвопреступлении. Но если природа наделила мужчин только искренностью, а женщинам дала упорство,— не моя в том вина.

Поверь мне, возьми другого любовника, как я взял другую любовницу. Это хороший, даже превосходный совет. А если он придется тебе не по вкусу,— не моя в том вина.

Прощай, мой ангел, я овладел тобой с радостью и покидаю без сожалений: может быть, я еще вернусь к тебе. Такова жизнь. Не моя в том вина».

Сейчас не время, виконт, рассказывать вам о том действии, которое возымела эта последняя попытка, и о ее последствиях, но обещаю сообщить вам об этом в ближайшем же письме. В нем же вы найдете и мой ультиматум касательно вашего предложения возобновить наш с вами договор. А до того — говорю вам просто: прощайте...

Кстати, благодарю за подробности относительно малютки Воланж. Это — статейка для газеты злословия, мы пустим ее на другой день после свадьбы. Пока же примите мои соболезнования по случаю утраты наследника. Добрый вечер, виконт.

Из замка ***, 24 ноября 17...

ПИСЬМО 142

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Честное слово, прелестный друг мой, не знаю, право, плохо ли я прочел, плохо ли понял и ваше письмо, и рассказанную в нем историю, и приложенный к ней образчик эпистолярного стиля. Единственное, что я могу вам сказать,— это то, что последний показался мне оригинальным и вполне способным произвести должное впечатление, поэтому я его просто-напросто переписал и столь же просто послал божественной президентше. Я не потерял ни минуты времени — нежное послание было отправлено вчера же вечером. Я предпочел не медлить, ибо, во-первых, обещал написать ей вчера, а во-вторых, подумал, что ей, пожалуй, и целой ночи не хватит на то, чтобы углубиться в себя и поразмыслить *над этим великим событием*, пусть бы вы даже вторично упрекнули меня за это выражение.

Я надеялся, что еще сегодня утром успею переслать вам ответ моей возлюбленной. Но сейчас уже около полудня, а я

еще ничего не получил. Я подожду до пяти часов, и, если к тому времени не будет никаких известий, сам за ними отправлюсь. Ибо только первый шаг труден, особенно когда оказываешь внимание.

А теперь, как вы сами понимаете, я тороплюсь узнать конец истории этого вашего знакомого, на которого пало ужасное подозрение, будто он в случае надобности не способен пожертвовать женщиной. Исправится ли он? Простит ли ему великодушная приятельница?

Однако я не в меньшей степени желаю получить ваш *ультиматум,* как вы выразились на языке высокой дипломатии! Особенно же любопытно мне знать, не обнаружите ли вы любви и в этом последнем моем поступке. О, конечно, она в нем есть, и в большом количестве! Но к кому? Впрочем, я не хочу хвастаться и все свои надежды возлагаю на вашу доброту.

Прощайте, прелестный друг мой. Письмо это я запечатаю не раньше двух, в надежде, что смогу присовокупить к нему желанный ответ.

В два часа пополудни.

По-прежнему ничего, а ждать больше нельзя — нет времени добавить хоть одно слово. Но отвергнете ли вы и на этот раз нежные поцелуи любви?

Париж, 27 ноября 17...

ПИСЬМО 143

От президентши де Турвель к госпоже де Розмонд

Сорвана завеса, сударыня, на которой написана была обманчивая картина моего счастья. Роковая правда открыла мне глаза, и я вижу перед собой неминуемую близкую смерть, путь к которой лежит между стыдом и раскаянием. Я пойду по этому пути... и мучения мои будут мне дороги, если они сократят мое существование. Посылаю вам полученное мною вчера письмо. Добавлять к нему ничего не стану: оно само за себя говорит. Сейчас уже не до жалоб — остается лишь страдать. Мне нужна не жалость, а силы.

Примите, сударыня, мое последнее прости — прощаюсь я только с вами,— и исполните мою последнюю просьбу: предоставьте меня моей участи, позабудьте обо мне, не числите меня больше среди живых. В горе есть некая черта, за которой даже дружба лишь усиливает наши страдания и не может их исцелить. Когда раны смертельны, всякая попытка лечить их бесче-

ловечна. Мне отныне чужды все чувства, кроме отчаяния. Для меня теперь нет ничего — только глубокая ночь, в которой я хочу похоронить свой позор. Там стану я плакать о грехах своих, если еще смогу плакать! Ибо со вчерашнего дня я не пролила и слезинки. В моем увядшем сердце их больше нет.

Прощайте, сударыня. Не отвечайте мне. Я дала клятву на этом жестоком письме — больше их не получать.

Париж, 27 ноября 17...

ПИСЬМО 144

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Вчера в три часа пополудни, прелестный мой друг, потеряв в ожидании известий терпение, я явился к покинутой прелестнице; мне сказали, что ее нет дома. Усмотрев в этой фразе только отказ принять меня, чем я не был ни удивлен, ни задет, я удалился в надежде, что мое появление вынудит столь учтивую женщину удостоить меня хотя бы одним ответным словом. Мне так хотелось получить его, что я нарочно зашел домой около девяти часов вечера, но так ничего и не нашел. Удивленный этим молчанием, которого отнюдь не ожидал, я послал своего егеря за новостями и поручил ему узнать, уж не умерла ли эта чувствительная особа или, быть может, умирает? Словом, когда я окончательно вернулся домой, он сообщил мне, что госпожа де Турвель действительно уехала в одиннадцать утра в сопровождении горничной, что везти себя она велела в монастырь *** и в семь часов вечера отослала обратно карету и своих людей, велев передать, чтобы дома ее не ждали. Разумеется, это полное соблюдение приличий. Монастырь — лучшее убежище для вдовы. И если она станет упорствовать в столь похвальном намерении, я смогу прибавить ко всему, чем я ей уже обязан, еще и огласку, которую несомненно получит это приключение.

Я ведь не так давно говорил вам, что, вопреки всем вашим тревогам, возвращусь на сцену большого света лишь в ореоле новой славы. Пусть же они покажутся, строгие критики, обвинявшие меня в том, что я поддался мечтательной и несчастной любви, пусть они похвалятся более стремительным и блестящим разрывом, нет — пусть они сделают больше и предстанут в качестве утешителей, тропа для них проторена. Так вот, пусть они решатся сделать хотя бы один шаг на том пути, который я про-

шел до конца, и если хоть один из них добьется малейшего успеха, я уступлю им пальму первенства. Но все они на собственном опыте узна́ют, что, когда я берусь за что-нибудь основательно, оставленное мною впечатление неизгладимо. А уж это впечатление будет таковым, и если подле этой женщины у меня появится счастливый соперник, я сочту все свои прежние победы за ничто.

Решение, которое она приняла, конечно, льстит моему самолюбию, но мне досадно, что она нашла в себе достаточно силы, чтобы так отдалиться от меня. Значит, между нами могут быть не только те препятствия, которые поставил бы я сам! Как, если бы я захотел снова сблизиться с нею, она могла бы не захотеть? Что я говорю? Она могла бы не испытывать такого желания? Не считать нашей близости высшим для себя блаженством? Да разве так любят? И вы полагаете, прелестный друг мой, что я должен это стерпеть? Разве не смог бы я, например, и разве не было бы лучше попытаться вернуть эту женщину к мысли о возможности примирения, которое всегда желанно, пока есть надежда? Я мог бы сделать такую попытку, не придавая этому особого значения и, следовательно, не вызывая у вас каких-либо сомнений. Напротив! Это был бы опыт, проведенный нами совместно, и даже если бы он удался, то явился бы только лишним поводом вторично принести по вашему повелению жертву, которая вам как будто показалась угодной. А теперь, прелестный друг мой, мне остается только получить за нее награду, и единственное, чего я желаю,— это ваше возвращение. Вернитесь же поскорее к своему возлюбленному, к своим забавам, к своим друзьям и к дальнейшим приключениям.

Приключение с малюткой Воланж приняло отличнейший оборот. Вчера, когда беспокойство не давало мне усидеть на одном месте, я, побывав в самых различных местах, забежал и к госпоже де Воланж. Вашу подопечную я нашел уже в гостиной: она была еще в туалете больной, но уже на пути к полному выздоровлению и от этого еще более свежая и привлекательная. Вы, женщины, в подобном случае целый месяц валялись бы в шезлонге. Честное слово, да здравствуют девицы! Эта, по правде говоря, вызвала во мне желание узнать, завершено ли выздоровление.

Должен еще сообщить вам, что беда, случившаяся с девочкой, едва не свела с ума вашего чувствительного Дансени. Сперва от горя, теперь — от радости. *Его Сесиль* была больна! Вы сами понимаете, что от такой беды голова пойдет кругом. Трижды в день он посылал за новостями, и не проходило дня,

чтобы он не явился лично. Наконец, он написал мамаше витиеватое послание с просьбой разрешить поздравить ее с выздоровлением столь дорогого ее сердцу создания. Госпожа де Воланж изъявила согласие, и я застал молодого человека водворившимся на прежних основаниях,— недоставало лишь непринужденности, на которую он пока не решался.

Эти подробности я узнал от него самого, ибо вышел от них вместе с ним и вызвал его на разговор. Вы и представить себе не можете, какое воздействие оказал на него этот визит. Его радость, желания, восторги — непередаваемы. Я же такой любитель сильных переживаний, что окончательно вскружил ему голову, пообещав, что очень скоро устрою ему возможность увидеть его красотку еще ближе.

И правда, я решил передать ему ее, как только завершу свой опыт. Ибо я хочу целиком посвятить себя вам. И потом — стоило ли вашей подопечной стать моей ученицей, если ей предстояло бы обманывать лишь своего мужа? Высшее достижение — изменить любовнику, притом первому своему любовнику! Ибо я не могу упрекнуть себя в том, что произнес слово *любовь*.

Прощайте, прелестный друг мой. Возвращайтесь как можно скорее упиться вашей властью надо мною, получить от меня выражение преданности и уплатить мне положенную награду.

Париж, 28 ноября 17...

ПИСЬМО 145

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Это правда, виконт, вы бросили президентшу? Вы послали ей письмо, которое я вам для нее сочинила? Право же, вы очаровательны и превзошли все мои ожидания! Чистосердечно признаю, что эта победа льстит мне больше всех, которые я когда-либо одерживала. Вы, может быть, найдете, что я очень уж высоко ценю эту женщину, которую прежде так недооценивала? Нисколько. Ведь победу-то я одержала вовсе не над ней, а над вами. Вот что забавно и поистине восхитительно.

Да, виконт, вы сильно любили госпожу де Турвель, вы даже и теперь любите ее, безумно любите, но из-за того, что меня забавляло стыдить вас этой любовью, вы мужественно пожертвовали ею. Вы бы и тысячью женщин пожертвовали, лишь бы не снести насмешку. Вот ведь куда заводит нас тщеславие! Лесаж прав, когда говорит, что оно — враг счастья.

Хороши были бы вы теперь, если бы я намеревалась только подшутить над вами! Но я не способна обманывать, вы это хорошо знаете. И даже если бы вы и меня довели до отчаяния, до монастыря, я готова идти на риск и сдаюсь своему победителю.

Однако если я и капитулирую, то это — чистейшее проявление слабости, ибо, захоти я прибегнуть к увертками, сколько бы их у меня нашлось! И, может быть, даже вполне обоснованных. Меня, например, восхищает, как тонко или, наоборот, как неловко предлагаете вы мне потихоньку-полегоньку разрешить вам возобновить связь с президентшей. Как было бы удобно, не правда ли, сохранить за собой заслугу разрыва, не теряя всех радостей обладания? И так как эта кажущаяся жертва уже ничего бы вам не стоила, вы предлагаете принести ее вторично, как только я потребую! Такая сделка позволяла бы божественной святоше по-прежнему считать себя единственной избранницей вашего сердца, а мне — гордиться тем, что я счастливая соперница: обе мы были бы обмануты, но зато вы — довольны, а что вам до всего остального?

Жаль, что при таких способностях к составлению планов вы столь слабы насчет их осуществления и что одним лишь необдуманным поступком сами поставили непреодолимое препятствие к тому, чего вам больше всего хотелось бы.

Как! Вы думали возобновить свою связь и все же послали ей сочиненное мною письмо! Верно, вы и меня тоже сочли очень уж неловкой! Ах, поверьте мне, виконт, когда одна женщина наносит удар в сердце другой, она редко не попадает в самое уязвимое место, и такая рана не заживает. Нанося удар этой женщине или, вернее, направляя ваши удары, я не забывала, что она — моя соперница, что была минута, когда вы предпочли ее мне, и, наконец, что вы сочли меня ниже ее. Если мщение мое не удалось, я готова признать свою вину. Так, я согласна, чтобы вы испробовали все способы вернуть ее, я даже призываю вас к этому и обещаю не сердиться на ваши успехи, если вы их одержите. На этот счет я настолько спокойна, что не хочу больше заниматься этим. Поговорим о чем-нибудь другом.

Например, о здоровье малютки Воланж. По моем возвращении вы дадите мне самые точные сведения о нем, не правда ли? Я очень хотела бы иметь их. А затем предоставлю вам самому решать, передадите ли вы девочку ее возлюбленному или же вторично попытаетесь стать родоначальником новой ветви Валь-

монов под именем Жеркуров. Мысль эта представляется мне забавной, и, оставляя за вами право выбора, я все же прошу вас ничего не решать окончательно, пока мы с вами об этом не переговорим. До этого недалеко, ибо я очень скоро буду в Париже. Не могу назвать вам точно дня, но не сомневайтесь, что по приезде моем вы будете извещены о нем первый.

Прощайте, виконт. Несмотря на мои ссоры с вами, мои козни и упреки, я по-прежнему очень люблю вас и намереваюсь это доказать. До свидания, друг мой.

Из замка ***, 29 ноября 17...

ПИСЬМО 146

От маркизы де Мертей к кавалеру Дансени

Наконец я уезжаю отсюда, мой юный друг, и завтра к вечеру буду в Париже. Перемена местожительства всегда вызывает беспорядок, поэтому я никого не намерена принимать. Однако, если вы хотите сообщить мне что-либо неотложное, я готова сделать для вас исключение из общего правила, но сделаю его только для вас, и потому прошу сохранить мой приезд в секрете. Даже Вальмону о нем не будет известно.

Если бы совсем немного времени назад мне сказали, что вскоре вы станете пользоваться у меня исключительным доверием, я бы просто посмеялась. Но ваша доверчивость вызвала и мою. Начинаешь невольно думать, что вы проявили какую-то ловкость и даже как бы обольстили меня. Это было бы по меньшей мере неблаговидно! Впрочем, обольщение это теперь не представляло бы для меня опасности: у вас есть дела и поважнее! Когда на сцене появляется героиня, никто не обращает внимания на наперсницу.

Итак, у вас не хватило даже времени сообщить мне о последних ваших успехах. Когда ваша Сесиль отсутствовала, все дни были слишком короткими для ваших чувствительных жалоб. Если бы я не выслушивала их, вы жаловались бы эху. Когда она потом заболела, вы тоже оказывали мне честь, поверяя свои тревоги: вам ведь надо было изливать их кому-нибудь. Но теперь, когда та, кого вы любите, в Париже, когда она здорова и в особенности когда вы ее изредка видите, она заменяет вам всех, и друзья ваши для вас уже ничто.

Говорю я это не в осуждение: вам ведь всего двадцать лет. Всем известно, что, начиная с Алкивиада и кончая вами, моло-

дые люди только в горестях ценят дружбу. Счастье порою делает их нескромными, но никогда не вызывает у них потребности в излияниях. Я сказала бы, подобно Сократу: «Я люблю, когда мои друзья прибегают ко мне в несчастии» [1], но в качестве философа он отлично без них обходился, когда они не появлялись. В этом отношении я не так мудра, как он, и, будучи слабой женщиной, несколько огорчилась вашим молчанием.

Но не считайте меня требовательной: как раз требовательности-то мне и недоставало! То же чувство, благодаря которому я замечаю эти лишения, дает мне силу мужественно переносить их, когда они являются доказательством или причиной счастья друзей. Поэтому я рассчитываю на вас завтра вечером лишь в том случае, если любовь ваша предоставит вам свободу и досуг, и запрещаю вам идти ради меня на какие-либо жертвы.

Из замка ***, 29 ноября 17...

ПИСЬМО 147

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Вы, без сомнения, будете огорчены так же, как и я, достойный мой друг, когда узнаете о состоянии, в котором находится госпожа де Турвель. Со вчерашнего дня она больна; болезнь ее началась так внезапно и с такими тяжелыми признаками, что я до крайности встревожена.

Сильнейший жар, буйный, почти не прекращающийся бред, неутолимая жажда — вот что у нее наблюдается. Врачи говорят, что предсказать пока ничего невозможно, а лечение представляется весьма затруднительным, так как больная отказывается от всякой медицинской помощи: чтобы пустить кровь, пришлось силой держать ее, и к этому же прибегнуть еще два раза, чтобы снова наложить повязку, которую она, находясь в бреду, все время старается сорвать.

Вы, как и я, привыкли считать ее слабой, робкой и кроткой, но представьте себе, что сейчас ее едва могут сдержать четыре человека, а малейшая попытка каких-либо уговоров вызывает неописуемую ярость! Я опасаюсь, что тут не просто бред, что это может оказаться настоящим умопомешательством.

Опасения мои на этот счет еще увеличились от того, что́ произошло позавчера.

---

[1] Мармонтель, «Нравоучительная история об Алкивиаде».

В тот день она в сопровождении горничной прибыла в монастырь... Так как она воспитывалась в этой обители и сохранила привычку ездить туда от времени до времени, ее приняли, как всегда, и она всем показалась спокойной и здоровой. Часа через два она спросила, свободна ли комната, которую она занимала, будучи пансионеркой, и, получив утвердительный ответ, попросила разрешения пойти взглянуть на нее. С нею пошли настоятельница и несколько монахинь. Тогда она и заявила, что хочет вновь поселиться в этой комнате, что ей вообще не следовало ее покидать, и добавила, что не выйдет отсюда *до самой смерти* — так она выразилась.

Сперва не знали, что и сказать ей, но, когда первое замешательство прошло, ей указано было, что она замужняя женщина и не может быть принята без особого разрешения. Ни этот довод, ни множество других не возымели действия, и с этой минуты она стала упорствовать в отказе не только оставить монастырь, но и эту комнату. Наконец, после долгой борьбы, в семь часов вечера дано был согласие на то, чтобы она провела в ней ночь. Карету ее и слуг отослали домой, а решение, как же быть дальше, отложили до завтра.

Уверяют, что весь вечер ни в ее внешности, ни в поведении не только не замечалось ничего странного, но что она была сдержанна, рассудительна и только раза четыре или пять погружалась в такую глубокую задумчивость, из которой ее трудно было вывести, даже заговаривая с ней, и что всякий раз, прежде чем вернуться к действительности, она подносила обе руки ко лбу, словно пытаясь как можно сильнее сжать его. Одна из находившихся тут же монахинь обратилась к ней с вопросом, не болит ли у нее голова. Прежде чем ответить, она долго и пристально смотрела на спросившую и, наконец, сказала: «Болит совсем не там!» Через минуту она попросила, чтобы ее оставили одну и в дальнейшем не задавали ей никаких вопросов.

Все удалились, кроме горничной, которой, к счастью, пришлось ночевать в той же комнате за отсутствием иного помещения!

По словам этой девушки, госпожа ее была довольно спокойна до одиннадцати вечера. В одиннадцать она сказала, что ляжет спать, но, еще не вполне раздевшись, принялась быстро ходить взад и вперед по комнате, усиленно жестикулируя. Жюли, которая видела все то, что происходило днем, не осмелилась ничего сказать и молча ждала около часа. Наконец, госпожа де Турвель дважды, раз за разом, позвала ее. Та успела

только подбежать, и госпожа упала ей на руки со словами: «Я больше не могу». Она дала уложить себя в постель, но не пожелала ничего принять и не позволила звать кого-либо на помощь. Она велела только поставить подле себя воду и сказала, чтобы Жюли ложилась.

Та уверяет, что часов до двух утра не спала и в течение всего этого времени не слышала никаких жалоб, никаких движений. Но около пяти утра ее разбудил голос госпожи, которая что-то громко и резко говорила. Жюли спросила, не нужно ли ей чего-нибудь, но, не получив ответа, взяла свечу и подошла к кровати госпожи де Турвель, которая не узнала ее, но, внезапно прервав свои бессвязные речи, с горячностью вскричала: «Пусть меня оставят одну, пусть меня оставят во мраке, я должна быть во мраке». Вчера я и сама отметила, что она часто повторяет эту фразу.

Жюли воспользовалась этим своего рода приказанием и вышла, чтобы позвать людей, которые могли бы оказать помощь, но госпожа де Турвель отвергла ее с исступленной яростью, в которую с тех пор так часто впадает.

Все случившееся повергло монастырь в такое замешательство, что настоятельница решила послать за мной вчера в семь часов утра. Было еще темно. Я примчалась тотчас же. Когда обо мне доложили госпоже де Турвель, она как будто пришла в себя и сказала: «Ах, да, пусть войдет!» Но когда я очутилась у ее кровати, она пристально посмотрела на меня, быстро схватила мою руку и, сжав ее, сказала мне громким, мрачным голосом: «Я умираю потому, что не поверила вам». И сразу вслед за тем, закрыв глаза рукой, принялась повторять одну и ту же фразу: «Пусть меня оставят одну» — и т. д., пока не потеряла сознания.

Эти обращенные ко мне слова и еще некоторые, вырвавшиеся у нее в бреду, наводят меня на мысль, что эта тяжелая болезнь имеет причину еще более тяжкую. Но отнесемся с уважением к тайне нашего друга и ограничимся состраданием к ее беде.

Весь вчерашний день прошел так же бурно, в ужасающих приступах, сменявшихся полным упадком сил, напоминающим летаргию; лишь в эти минуты она сама вкушает — и дает другим — известный покой. Я покинула изголовье ее постели лишь в десять вечера с тем, чтобы вернуться сегодня утром на весь день. Разумеется, я не оставлю моего несчастного друга, но то, что она упорно отказывается от всяких забот о ней, от всякой помощи, вызывает просто отчаяние.

Посылаю вам ночной бюллетень, только что мною полученный,— как вы увидите, он отнюдь не утешителен. Я позабочусь, чтобы и вам их аккуратно посылали.

Прощайте, достойный мой друг, спешу к больной. Моя дочь, которая, к счастью, почти совсем поправилась, свидетельствует вам свое уважение.

Париж, 29 ноября 17...

ПИСЬМО 148

От кавалера Дансени к госпоже де Мертей

О вы, любимая мною! О ты, обожаемая! О вы, положившая начало моему счастью! О ты, сделавшая его полным! Чувствительный друг, нежная любовница, почему воспоминание о печали твоей смущает очарование, которое я испытываю? Ах, сударыня, успокойтесь, это спрашивает друг. О подруга, будь счастлива, это мольба влюбленного.

В чем можете вы упрекнуть себя? Поверьте мне, чрезмерная чувствительность заставляет вас заблуждаться. Сожаления, которые она в вас вызывает, прегрешения, в которых меня винит,— равно призрачны, и сердце мое говорит мне, что между нами обоими единственным обольстителем была любовь. Не бойся же отдаться отныне чувству, которое ты внушила, не бойся, если тебя пронижет насквозь пламя, которое ты сама зажгла. Как, лишь потому, что сердца наши прозрели поздно, они стали менее чистыми? Конечно, нет. Напротив, лишь обольщение, действующее всегда обдуманно, может соразмерять свою поступь, рассчитывать средства и заблаговременно предвидеть события. Но истинная любовь не допускает таких размышлений и раздумий. Она отвлекает нас от мыслей чувствами, власть ее сильнее всего, когда она неосознанна, и во мраке, в безмолвии она опутывает нас узами, которых и не замечаешь и не можешь разорвать.

Так вот даже вчера, несмотря на волнение от мысли о вашем возвращении, несмотря на безграничную радость, которую я ощутил, увидев вас, я все же думал, что меня призывает и влечет спокойная дружба, или, вернее, всецело отдавшись сладостным ощущениям своего сердца, я очень мало заботился о том, чтобы разбираться в их причинах и истоках. И так же, как я, ты, нежная моя подруга, ощущала, не сознавая их, те властные чары, которые наполняли наши души впечатлениями сладостной нежности, и оба мы осознали, что любим, лишь

тогда, когда очнулись от опьянения, в которое погрузил нас бог любви.

Но именно это оправдывает нас, вместо того, чтобы осуждать. Нет, ты не предала дружбы, и я тоже не злоупотребил твоим доверием. Правда, оба мы не знали о своих чувствах, но эту грезу мы лишь ощущали, а вовсе не создавали сами. Ах, не будем сетовать на нее, будем думать лишь о счастье, которое она нам дает. И, не омрачая его несправедливыми укорами, постараемся лишь увеличить его чарами взаимного доверия и уверенности друг в друге. О подруга, как лелеет сердце мое эту надежду! Да, отныне, свободная от всяческого страха и всю себя посвятив любви, ты разделишь мои желания, мои восторги, исступление моих чувств, опьянение души, и каждый миг наших блаженных дней отмечен будет новым наслаждением. Прощай, о ты, обожаемая! Я увижу тебя сегодня вечером, но будешь ли ты одна? Не смею надеяться на это. Ах, ты не можешь хотеть этого так сильно, как я!

Париж, 1 декабря 17...

ПИСЬМО 149

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Почти весь вчерашний день я не теряла надежду, мой достойный друг, сообщить вам поутру более утешительные сведения о здоровье нашей дорогой больной. Но со вчерашнего вечера надежда утрачена, и у меня нет ничего, кроме сожалений об этом. Обстоятельство, на первый взгляд вполне невинное, но весьма жестокое по своим последствиям, привело больную в состояние по меньшей мере такое же тяжкое, как и раньше, если не еще худшее.

Я ничего не поняла бы в этой внезапной перемене, если бы вчера не получила полного признания от нашего несчастного друга. Так как она не скрыла от меня, что вы тоже осведомлены о всех ее несчастьях, я могу без стеснения говорить о ее горестном положении.

Когда вчера утром я приехала в монастырь, мне сказали, что больная спит уже более трех часов, и сон ее был так глубок и спокоен, что на мгновение я даже испугалась: не летаргия ли это? Через некоторое время она проснулась и сама откинула занавески кровати. Она оглядела нас всех с каким-то удивлением, а так как я встала, чтобы приблизиться к ней, она узнала меня, назвала по имени и попросила подойти поближе.

Не успела я задать ей какой-либо вопрос, как она первая спросила, где она находится, что мы все тут делаем и почему она не дома. Сперва я подумала, что это новый бред, только более тихий, но тотчас же заметила, что она отлично понимает мои ответы. И действительно, она обрела разум, хотя и не память.

Она очень обстоятельно расспросила меня обо всем, что с нею происходило с тех пор, как она в монастыре, но как она туда попала, она не помнила. Я ответила ей на все совершенно точно, не упоминая лишь о том, что могло бы ее слишком испугать. Когда же я, в свою очередь, спросила о ее самочувствии, она ответила, что в данный момент никаких страданий не ощущает, но что очень мучилась во сне и чувствует себя усталой. Я стала уговаривать ее быть спокойнее и меньше говорить, после чего полузадвинула занавески так, чтобы можно было ее видеть, и села у самой кровати. В это время принесли бульон, который она съела и нашла вкусным.

Так продолжалось около получаса. В течение этого времени она заговаривала лишь для того, чтобы поблагодарить меня за заботы о ней, вкладывая в слова благодарности всю пленительную учтивость, которая ей так свойственна. Затем на некоторое время она совершенно умолкла и прервала молчание, только чтобы сказать: «Да, теперь я помню, как приехала сюда»,— а через минуту горестно воскликнула: «Друг мой, друг мой, пожалейте меня, я вспомнила обо всех своих бедах». Так как я придвинулась к ней поближе, она схватила мою руку, прижалась к ней головой и воскликнула: «Великий боже, почему мне не дано умереть?» Выражение ее лица еще больше, чем эти слова, растрогало меня до слез, и, заметив это по дрожи в моем голосе, она сказала: «Вы жалеете меня? Ах, если бы вы знали!..» Затем, прерывая себя, добавила: «Пусть нас оставят одних, я вам все расскажу».

Кажется, я уже упоминала, что у меня были догадки о характере ее признаний. Опасаясь, чтобы эта беседа, которая, как я предполагала, должна была быть длительной и печальной, не повредила состоянию нашего друга, я сперва отказывалась ее слушать под предлогом, что ей необходим покой, но она настаивала, и я уступила. Едва мы остались наедине друг с другом, она сообщила мне все, что вы уже от нее знаете. Поэтому повторять ее исповеди не стану.

В заключение, рассказывая о том, как жестоко ее принесли в жертву, она прибавила: «Я была уверена, что умру, и на это у меня хватило бы мужества, но нет у меня сил пережить мою

беду и позор». Я постаралась побороть это уныние, или, вернее, это отчаяние, оружием веры, которая прежде так много для нее значила, но вскоре убедилась, что для столь возвышенного дела мне недостает сил, и ограничилась тем, что предложила позвать к ней отца Ансельма, которому, как мне известно, она бесконечно доверяет. Она согласилась и, по-видимому, действительно очень хотела этого. За ним послали, и он тотчас же явился. Он очень долго оставался у больной и, выйдя от нее, сказал, что, если врачи с ним согласятся, причащение святых даров можно отложить, он же завтра опять придет.

Было около трех часов пополудни, и до пяти наш друг была в довольно спокойном состоянии, так что у нас всех снова появилась надежда. К несчастью, в пять ей подали письмо. Когда ей хотели вручить его, она сперва ответила, что не желает читать никаких писем, и никто не стал ее уговаривать. Но с той минуты она стала волноваться. Вскоре вслед за тем она спросила, откуда письмо. Но на нем не оказалось штемпеля. Кто его принес? Никому это не было известно. От чьего имени его передали? Принесший ничего не сказал сестрам привратницам. Затем она на некоторое время смолкла, после чего опять начала говорить, но из бессвязных речей ее мы поняли только одно: бред возобновился.

Был все же довольно спокойный промежуток времени, но в конце концов она попросила показать ей принесенное письмо. Бросив на него лишь один взгляд, она вскричала: «От него! Боже великий!» — и затем добавила твердым, но приглушенным голосом: «Уберите его, уберите!» Тотчас же она велела задернуть занавески кровати и запретила кому-либо подходить к ней. Но почти тотчас же мы вынуждены были приблизиться. Припадок на этот раз оказался сильнее, чем раньше, и сопровождался ужасающими судорогами. Приступы следовали один за другим весь вечер, и утренний бюллетень известил меня, что и ночь прошла не менее бурно. Словом, состояние ее таково, что я удивляюсь, как она еще жива, и не скрываю от вас, что у меня осталось очень мало надежды.

Думаю, что это злосчастное письмо — от господина де Вальмона. Но о чем он решается теперь писать ей? Простите, дорогой друг мой, я стараюсь воздержаться от каких-либо рассуждений на его счет, но горько видеть, как погибает жалостным образом женщина, доселе такая счастливая и так достойная счастья.

Париж, 2 декабря 17...

ПИСЬМО 150

От кавалера Дансени к маркизе де Мертей

В предвкушении счастья увидеться с тобой, нежная моя подруга, я предаюсь радости писать тебе и, таким образом посвящая тебе хотя бы свои мысли, отгоняю сожаление о том, что мы не вместе. Описывать тебе мои чувства, припоминать твои — для меня истинное наслаждение, и благодаря ему даже время лишений дарит мне тысячи радостей, драгоценных для моей любви. Однако, если верить тебе, я не получу от тебя ответа, даже это мое письмо будет последним, и мы прекратим этот, по твоему мнению, *опасный и ненужный для нас* способ общения. Если ты будешь настаивать, я, разумеется, соглашусь с тобой, ибо, раз ты чего-нибудь желаешь, этого разве не достаточно, чтобы и я желал того же? Но прежде чем принять окончательное решение, не позволишь ли ты, чтобы мы об этом еще поговорили.

Что касается опасности, решай сама: я не способен ни на какие расчеты и ограничиваюсь только просьбой, чтобы ты позаботилась о себе, ибо я не могу быть спокойным, если нет покоя у тебя. На сей предмет нельзя даже сказать, что мы с тобой едины: просто мы оба — это ты одна.

Иное дело — ненужность. Здесь мы должны иметь одно мнение, и если мнения наши расходятся, то лишь потому, что мы не сумели объясниться и понять друг друга.

Конечно, письмо представляется отнюдь не необходимым, когда можно свободно видеться. Скажет ли оно что-либо такое, чего в сто раз лучше не выразит одно слово, один взгляд, даже само молчание? Эта мысль кажется мне настолько верной, что в ту минуту, когда ты сказала, что нам не надо больше писать друг другу, она легко скользнула по моей душе, может быть, слегка задев ее, но отнюдь не ранив. Так, если я, к примеру, хочу коснуться поцелуем того места, где у тебя бьется сердце, и встречаю ленту или кисею, я лишь отодвигаю их, но не ощущаю никакого препятствия.

Но затем мы расстались, и как только ты исчезла, мысль о письме стала вновь преследовать меня. Зачем, сказал я себе, еще это дополнительное лишение? Как, мы разделены, и потому нам нечего сказать друг другу? Предположим, что, на наше счастье, мы можем провести вместе целый день, нужно ли отнимать у наслаждения время для беседы? Да, у наслаждения, мой нежный друг. Ибо подле тебя даже мгновения отдыха дарят восхитительное наслаждение. Но ведь в конце концов сколько

времени ни пройдет, приходится расставаться, а потом чувствуешь себя таким одиноким! Вот тогда-то письмо и драгоценно: даже если не перечитываешь, то хотя бы смотришь на него... Ах, это верно — можно смотреть на письмо, не читая, так же как — представляется мне — ночью я испытывал бы радость, даже хотя бы прикасаясь к твоему портрету...

Я сказал: «К твоему портрету»! Но письмо — изображение души. В нем нет, как в холодной картине, неподвижности, столь чуждой любви. Оно воспроизводит все наши душевные движения — оно поочередно то оживляется, то наслаждается, то предается отдыху... Мне так драгоценны все твои чувства; лишишь ли ты меня хоть одной возможности запечатлеть их?

Так ли ты уверена, что потребность писать мне никогда не станет беспокоить тебя? Если в одиночестве сердце твое обрадуется чему-то или опечалится, если ощущение радости войдет в твою душу, если ее на миг смутит невольная грусть, неужели ты не захочешь излить другу свою радость или свою печаль? Неужели сохранишь ты какое-то чувство не разделенным с ним? Неужели предоставишь ему в одиночестве и задумчивости блуждать вдали от тебя? Подруга моя... нежная моя подруга! Но последнее слово принадлежит тебе. Я хотел лишь обсудить этот вопрос, а не убеждать тебя. Я приводил доводы и дерзаю верить, что просьбы мои оказались бы сильнее. Поэтому, если ты будешь настаивать на своем, я постараюсь не огорчаться, постараюсь изо всех сил мысленно произносить те слова, которые ты написала бы. Но, право же, ты сказала бы их лучше, чем я, а насколько приятнее было бы мне их слушать!

Прощай, моя пленительная подруга. Приближается, наконец, час, когда я смогу тебя увидеть. Спешу покинуть тебя сейчас, чтобы поскорее увидеться с тобой.

Париж, 3 декабря 17...

ПИСЬМО 151

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Полагаю, маркиза, что вы не считаете меня совершенным простаком, которого легко можно провести, заставив поверить в то, будто Дансени сегодня вечером по какой-то *непостижимой случайности* очутился у вас и находился вдвоем с вами, когда я пришел! Конечно, ваше искушенное в притворствах лицо отлично сумело принять невозмутимо спокойное выражение, и, конечно, вы не выдали себя ни единым словом, которое иногда

вырывается у нас в момент волнения или раскаяния. Я готов даже согласиться, что ваши послушные взоры отлично повиновались вам, и если бы они сумели заставить поверить себе, как они заставили понять себя, я не только не возымел бы и не сохранил бы ни малейшего подозрения, но даже ни на мгновение не усомнился бы, что *докучное присутствие третьего лица* вас крайне огорчает. Однако, чтобы такие замечательные таланты не пропали даром, чтобы они достигли желаемого успеха, чтобы, наконец, создать то впечатление, на которое вы рассчитывали, надо было сперва основательно обучить вашего неопытного любовника.

Раз уж вы взялись за воспитание несовершеннолетних, научите своих воспитанников не краснеть и не теряться от малейшей шутки, не отрицать с такой горячностью то самое, от чего они так вяло защищаются, когда речь идет обо всех других женщинах. Научите их также спокойно выслушивать похвалы, расточаемые их любовнице, и не считать, что им следует выказывать благодарность хвалящему, а если вы уж позволяете им смотреть на вас в обществе, пусть они хотя бы сперва научатся не выдавать себя взглядом, явно свидетельствующим о том, что они вами обладают, который они путают со взглядом, выражающим их любовь. Тогда вы сможете позволять им находиться вместе с вами в обществе и не подвергнетесь при этом опасности, что поведением своим они повредят учителю. Я сам, радуясь, что смогу посодействовать вашей известности, обещаю составить и опубликовать учебные программы этого нового колледжа. Но до того должен признаться, что удивляюсь, как это вы именно меня решили принять за школьника. О, как я уже был бы отомщен, если бы речь шла о другой женщине! Какое удовольствие доставила бы мне месть! И насколько это удовольствие превзошло бы то, которого она думала меня лишить! Да, только ради вас одной я могу предпочесть мести примирение, и не воображайте, что удерживает меня хоть малейшее колебание, хоть малейшая неуверенность.

Вы в Париже уже четыре дня, и каждый день вы виделись с Дансени и принимали только его одного. И сегодня доступ к вам тоже был закрыт, но, чтобы помешать мне добраться до вас, швейцару вашему не хватило только вашей выдержки. А ведь вы мне писали, чтобы я не сомневался, что первым буду знать о вашем приезде, том самом приезде, о точном дне которого вы еще не могли меня известить, хотя писали накануне своего отъезда. Станете ли вы отрицать эти факты или попытаетесь найти себе оправдание? И то и другое в равной степени

невозможно, а тем не менее я еще сдерживаюсь! Можете признать в этом свою власть, но послушайтесь моего совета — удовлетворитесь тем, что испытали ее, и больше ею не злоупотребляйте. Мы хорошо знаем друг друга, маркиза. Этих слов вам должно быть достаточно.

Завтра вас целый день не будет дома, сказали вы мне? Пусть так, если вас действительно дома не будет, а вы можете не сомневаться, что я это узна́ю. Но, так или иначе, вечером вы вернетесь домой, а заключить мир будет для нас делом настолько нелегким, что и до самого утра времени не хватит. Поэтому известите меня, у вас ли на дому или *там* совершатся наши взаимные и многочисленные искупительные обряды. Однако прежде всего — покончим с Дансени. Мысль о нем засела в вашей сумасбродной голове, и я могу не ревновать к этому бреду вашей фантазии. Но вы должны понять: сейчас то, что было лишь прихотью, станет явным предпочтением, а я не считаю себя созданным для такого унижения и не жду его от вас.

Надеюсь к тому же, что вы и не посчитаете это за особую жертву. Но даже если бы она вам чего-то и стоила, мне кажется, я подал вам блестящий пример! Женщина, полная чувства, красивая, жившая только для меня и, может быть, в настоящую минуту умирающая от любви и отчаяния, уж, наверно, стоит юного школьника, не лишенного, если хотите, привлекательности и ума, но еще не имеющего ни опыта, ни выдержки.

Прощайте, маркиза, не говорю вам ничего о моих чувствах к вам. Все, что я могу в данную минуту,— это не заглядывать в тайники своего сердца. Жду вашего ответа. И когда вы будете писать его, подумайте, хорошенько подумайте, что чем легче для вас заставить меня забыть нанесенную вами мне обиду, тем неизгладимее запечатлеет ее в моем сердце отказ или даже простая отсрочка.

Париж, 3 декабря 17...

ПИСЬМО 152

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону

Будьте осторожны, виконт, и щадите мою крайнюю робость! Могу ли я перенести гнетущую мысль, что заслужила ваш гнев, а главное, не сразит ли меня окончательно страх перед вашим мщением? Тем более, что — вам это отлично известно,— если вы учините мне какую-нибудь каверзу, я не буду иметь никакой возможности ответить вам тем же. Сколько бы и что бы я ни

оглашала, вы сможете по-прежнему вести ту же безмятежную блестящую жизнь. И правда, ну чего вам страшиться? Оказаться вынужденным бежать, если у вас на то будет время? Но разве за границей нельзя жить не хуже, чем здесь! И во всяком случае, если французский двор не станет тревожить вас при том дворе, где вы устроитесь, для вас это будет лишь переменой места ваших побед. Теперь, когда этими моральными соображениями я попыталась вернуть вам хладнокровие, возвратимся к нашим делам.

Знаете ли вы, виконт, почему я не вышла вторично замуж? Уж, наверно, не потому, что мне не представлялись выгодные партии, а единственно для того лишь, чтобы никто не имел права перечить моим поступкам. И дело даже не в том, что я опасалась не иметь возможности поступать, как я хочу,— в конце-то концов я бы всегда настояла на своем,— но меня бы стесняло даже то, что кто-то мог мне в чем-либо попенять. И, наконец, потому, что я хотела обманывать лишь для собственного удовольствия, а не по необходимости. И вдруг вы пишете мне самое что ни на есть супружеское письмо! Говорите в нем только о моих провинностях и о вашей снисходительности. Но как можно быть виновной перед тем, перед кем не имеешь вообще никаких обязательств? Я просто не могу этого понять!

Посудите сами, о чем идет речь? Вы застали у меня Дансени, и вам это не понравилось? На здоровье! Но какие выводы вы из этого сделали? Либо это вышло случайно, как я вам и сказала, либо на то была моя воля, чего я вам не говорила. В первом случае письмо ваше несправедливо, во втором оно смехотворно — так стоило ли его писать! Но вы приревновали, а ревность не рассуждает.

Либо у вас есть соперник, либо нет. Если он есть, надо понравиться настолько, чтобы вам оказали предпочтение. Если нет, опять же надо понравиться, чтобы соперника не появилось. В обоих случаях следует вести себя одинаково. Зачем же мучить себя? А главное — зачем мучить меня? Разве вы разучились быть самым очаровательным из поклонников? И разве вы утратили веру в себя? Нет, виконт, вы плохо судите о самом себе. Но, впрочем, это не так. Дело в том, что, по вашему мнению, я не стою таких трудов. Вам не столько нужна моя благосклонность, сколько вы хотели бы злоупотребить своей властью. Вы просто неблагодарный. Смотрите-ка, я, кажется, впадаю в чувствительность. Еще немного — и это письмо, пожалуй, станет весьма нежным. Но вы этого не заслуживаете.

Не заслуживаете вы и того, чтобы я стала оправдываться. В наказание за ваши подозрения — сохраняйте их. Поэтому ни о времени своего возвращения в Париж, ни о визитах Дансени я вам ничего не скажу. Вам, кажется, стоило немалого труда разузнать обо всем, не правда ли? Что ж, много вам это дало? Желаю от всей души, чтобы вы получили от этого как можно больше удовольствия: моему удовольствию, оно, во всяком случае, не помешало.

Вот единственное, что я могу ответить на ваше угрожающее письмо: ему не суждено было понравиться мне, а посему в настоящее время я менее всего расположена удовлетворить ваши просьбы.

По правде говоря, принять вас таким, каким вы себя показали, значило бы по-настоящему изменить вам. Это означало бы не возобновить связь с прежним любовником, а взять другого, гораздо менее стоящего. Но я не настолько забыла первого, чтобы до такой степени обмануться. Тот Вальмон, которого я любила, был очарователен. Готова даже признать, что никогда не встречала человека, более достойного любви. Ах, прошу вас, виконт, если вы с ним повстречаетесь, приведите его ко мне: он-то всегда будет хорошо принят.

Однако предупредите его, что это ни в коем случае не может быть сегодня или завтра. Его *Менехм* несколько повредил ему. Поторопившись, я боюсь ошибиться: а может быть, эти два дня обещаны Дансени? Ваше же письмо учит меня, что вы не шутите, когда мы изменяем данному нами слову. Итак, вы сами видите, что придется подождать.

Но не все ли вам равно? Вы же отлично отомстите своему сопернику. Хуже, чем вы поступили с его возлюбленной, он с вашей не поступит. И в конце концов разве одна женщина не стоит другой? Это ведь ваши же правила. И даже та, *полная чувства, красивая, которая могла бы жить только для вас и умереть от любви и отчаяния*,— даже она была бы принесена в жертву первой прихоти, опасению, что вы на миг станете мишенью случайной насмешки. И после этого вы хотите, чтобы с вами стеснялись! Знаете, это просто несправедливо.

Прощайте, виконт, станьте снова достойным любви. Право же, я больше всего хотела бы вновь найти вас очаровательным, и как только приду к такому убеждению, даю слово доказать вам это. Согласитесь, что я еще слишком добра.

Париж, 4 декабря 17...

ПИСЬМО 153

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей

Немедленно отвечаю на ваше письмо и постараюсь быть до конца ясным, хотя с вами это нелегко, раз вы решили не понимать.

Не было нужды в длинных речах для того, чтобы стало ясно, что, если у каждого из нас имеется в руках все необходимое, дабы погубить другого, обоим нам в равной степени выгодно щадить друг друга. Да и не в этом дело. Но, кроме отчаянного решения о взаимной погибели и несомненно более разумного — оставаться в союзе, как и прежде, и даже еще крепче объединиться, возобновив нашу старую связь,— кроме, повторяю, этих двух решений, может быть множество других. Поэтому вовсе не смешно было сказать вам и отнюдь не смешно повторить, что с этого дня я либо ваш любовник, либо враг.

Я отлично понимаю, что такой выбор вам не по вкусу, что вам милее всякие проволочки, и мне небезызвестно, что вы никогда не любили говорить «да» или «нет». Но и вы должны понимать, что я не могу выпустить вас из этого тесного кольца, не рискуя быть обманутым, и должны были также предвидеть, что я этого не потерплю. Теперь уже решать вам. Могу предоставить вам выбор, но не желаю оставаться в неизвестности.

Предупреждаю вас только, что вы не собьете меня с толку своими рассуждениями, удачными или неудачными, что не сумеете и опутать меня лестью, которою вы хотите приукрасить свой отказ,— словом, что наступила пора проявить чистосердечие. С полной охотой подам вам пример и с удовольствием объявлю, что предпочитаю мир и союз. Но, если придется разорвать и то и другое, мне кажется, у меня есть на это и право, и полная возможность.

Добавлю, что малейшее препятствие с вашей стороны мною будет принято, как настоящее объявление войны. Вы видите, что ответ, которого я прошу, не требует длинных и витиеватых фраз. Достаточно двух слов.

Париж, 4 декабря 17...

Ответ маркизы де Мертей, приписанный в конце того же письма:

Ну, что ж,— война!

ПИСЬМО 154

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Бюллетени извещают вас лучше, чем я, дорогой друг мой, о тяжелом состоянии нашей больной. Целиком посвятив себя заботам о ней, я отрываю от них время писать вам лишь тогда, когда случается что-либо помимо болезни. Нечто, действительно, произошло,— для меня совершенно неожиданное. Я получила письмо от господина де Вальмона, которому заблагорассудилось избрать меня своей наперсницей и даже посредницей между ним и госпожой де Турвель: он тоже написал ей письмо, присовокупив его к адресованному мне. Одно я возвратила ему, на другое ответила. Последнее пересылаю вам и думаю, что вы, как и я сама, найдете, что я не должна была, да и не могла ничего сделать из того, о чем он меня просит. Но даже если бы мне и хотелось исполнить его просьбу, наш несчастный друг не в состоянии была бы меня понять: она непрерывно в бреду. Но что скажете вы об этом отчаянии господина де Вальмона? Прежде всего — верить ли ему или он хочет всех до конца обманывать? [1] Если на этот раз он искренен, то смело может сказать, что сам явился кузнецом своего счастья. Думаю, что мой ответ не придется ему по вкусу, но признаюсь — все, что мне становится известно об этой злосчастной истории, все больше и больше восстанавливает меня против ее виновника.

Прощайте, дорогой друг мой, возвращаюсь к своим горестным обязанностям, еще более горестным оттого, что у меня так мало надежды на успех. Вы знаете о моих чувствах к вам.

Париж, 5 декабря 17...

ПИСЬМО 155

От виконта де Вальмона к кавалеру Дансени

Я заходил к вам дважды, дорогой кавалер, но, променяв роль влюбленного на роль волокиты, вы — что вполне естественно — стали неуловимы. Однако ваш камердинер заверил меня, что вы к вечеру вернетесь и приказали ему ждать вас. Правда, я, посвященный во все ваши планы, отлично понял, что вернетесь вы только на минутку, чтобы облечься в подобающий костюм, и тотчас же помчитесь одерживать новые победы.

[1] Так как в дальнейшей переписке не обнаружено ничего, что могло бы разрешить это сомнение, мы сочли правильным исключить письмо господина де Вальмона.

В добрый час, могу лишь приветствовать это. Но, может быть, сегодня вечером вы поддадитесь соблазну изменить направление. Вы знаете лишь половину касающихся вас дел, надо сообщить вам другую, а там уж решайте сами. Найдите время прочитать мое письмо. Оно не оторвет вас от наслаждений, напротив: единственная его цель — дать вам возможность выбора между ними.

Если бы я пользовался полным вашим доверием, если бы я знал от вас самого ту часть ваших тайн, о которых вы предоставили мне догадываться, я бы обо всем был осведомлен заранее, оказался бы в своем усердии гораздо более ловким, и теперь оно бы вас не стесняло. Но будем исходить из существующего положения. Каково бы ни было ваше решение, даже в худшем случае оно осчастливит, кроме вас, и еще кого-то другого.

Сегодня ночью у вас назначено свидание, не правда ли? С обаятельной и обожаемой вами женщиной? Ибо какую женщину не боготворишь в вашем возрасте, особенно в течение первой недели? Очаровательный маленький домик, *снятый исключительно ради вас*, придаст наслаждению все прелести свободы и полной тайны. Все уже условлено — вас ждут, и вы пылаете нетерпением устремиться туда! Вот что знаем мы оба, хотя мне вы об этом ничего не говорили. А теперь — вот чего вы не знаете и что я должен вам сообщить.

С момента возвращения моего в Париж я изыскивал способы сделать возможными ваши встречи с мадемуазель де Воланж. Я обещал вам это, и еще в последний раз, когда мы с вами об этом говорили, имел основание думать, судя по вашим ответам, можно сказать даже — по вашему восторгу, что стараюсь на счастье вам. Занимаясь этим трудным делом в одиночку, я не мог рассчитывать на успех и потому подготовил почву, а во всем остальном положился на рвение вашей юной возлюбленной. Чувство подсказало ей способы, которых не нашла вся моя опытность. Словом, на несчастье ваше, все ей удалось. «Вот уже два дня,— сказала она мне сегодня вечером,— как все препятствия преодолены». Таким образом, теперь ваше счастье зависит лишь от вас самих.

В течение этих же двух дней она мечтала сообщить эту новость вам лично, и, несмотря на отсутствие ее мамаши, вы были бы приняты. Но вы-то даже и не явились! И не стану от вас скрывать, что юная особа — по капризу ли, или не без основания — показалась мне несколько обиженной таким недостатком усердия с вашей стороны. Наконец, она нашла способ и мне дать возможность проникнуть к ней и взяла с меня обещание как можно скорее передать вам прилагаемое письмо. Она так

хлопотала об этом, что — пари держу — в нем идет речь о свидании на сегодняшний вечер. Как бы то ни было, но я клялся честью и дружбой, что нежное послание вы получите сегодня днем, а потому не могу и не хочу изменить данному слову.

А теперь, молодой человек, что же вы предпримете? Вам предстоит выбор между кокетством и любовью, между наслаждением и счастьем. Что вы изберете? Если бы я говорил с Дансени, каким он был три месяца назад, или даже неделю назад, то, уверенный в его чувствах, не сомневался бы и в поступках. Но нынешний Дансени, которого женщины рвут друг у друга, который жаждет приключений и стал, как это в подобных случаях бывает, до некоторой степени злодеем, предпочтет ли он робкую девушку, не имеющую за собой ничего, кроме красоты, невинности и своей любви, прелестям женщины, в полной мере обладающей *опытом?*

Что касается меня, дорогой мой друг, то мне кажется, что даже при ваших новых правилах, являющихся — не отрицаю этого — в известной мере и моими, обстоятельства заставили бы меня решить в пользу юной возлюбленной. Прежде всего здесь одной женщиной больше, затем прелесть новизны и, наконец, опасение, что, не сорвав плода стольких забот, вы навсегда потеряете эту возможность. Ибо в данном случае она действительно была бы потеряна, а новая может и не представиться, в особенности когда речь идет о первом проявлении женской слабости. Часто при этих обстоятельствах достаточно минутного раздражения, ревнивого подозрения, даже чего-нибудь еще менее значительного, чтобы помешать самой что ни на есть блестящей победе. Тонущая добродетель хватается даже за соломинку, а если ей удается спастись, она становится гораздо опасливей, и ее уже не так-то легко застигнуть врасплох.

Напротив,— чем рискуете вы в отношении другой стороны? Даже не разрывом,— самое большее — легкой размолвкой, при которой можно, чуть постаравшись, добиться всех радостей примирения. Что остается женщине, уже отдавшейся, как не снисходительность? Что она выиграет суровостью? Потеряет наслаждение без пользы и без славы.

Если, как я предполагаю, вы примете решение в пользу любви,— по-моему, это будет и требованием разума,— я полагаю, что было бы осторожнее не предупреждать заранее о том, что вы не явитесь на свидание. Пусть вас ждут: если вы рискнете дать какое-то объяснение, его, быть может, пожелают проверить. Женщины любопытны и упрямы. Все может раскрыться. Сам я, как вам известно, только что испытал это на себе. Но

если вы оставите у другой стороны надежду, тщеславие поддержит ее, и утрачена она будет лишь через немалое время после того момента, когда проверка была бы еще возможна. А на другой день вы уже можете подыскать себе любое препятствие, помешавшее вам явиться: либо вы заболели, либо, если понадобится, даже умирали, либо случилось еще что-то, приводящее вас в не меньшее отчаяние,— и все в полном порядке.

Впрочем, на что бы вы ни решились, я прошу вас только известить меня и, поскольку являюсь лицом незаинтересованным, всегда найду, что вы поступили правильно. Прощайте, любезный друг.

Могу добавить еще одно: я скорблю о госпоже де Турвель, я в отчаянии, что разлучен с нею, я полжизни отдал бы за счастье посвятить ей другую половину. Ах, поверьте мне: счастье дает одна лишь любовь.

Париж, 5 декабря 17...

ПИСЬМО 156

От Сесили Воланж к кавалеру Дансени
(Приложено к предыдущему)

Как это получилось, милый друг мой, что я перестала видеть вас, когда желать этого не перестаю? Или вам уже хочется этого не так, как мне? Ах, вот теперь-то мне и становится грустно. Гораздо грустнее, чем когда мы были совсем разлучены. Горе, которое мне раньше причиняли другие, теперь причиняете вы, и от этого мне еще больнее.

Вот уже несколько дней, как мама совсем не бывает дома,— вы это отлично знаете,— и я надеялась, что вы попытаетесь воспользоваться выпавшей нам случайно свободой. Но вы обо мне даже и не думаете. Я очень несчастна! А вы еще уверяли меня, что из нас двоих я люблю меньше! Я-то знала, что дело обстоит как раз наоборот, и вот тому доказательство. Если бы вы пришли повидаться со мной, то и повидались бы, ибо я ведь не такая, как вы,— я думаю лишь о том, как бы нам быть вместе. Вы заслуживаете, чтобы я не сказала вам ни слова обо всем, что я для этого сделала и каких трудов мне это стоило. Но я вас слишком люблю, и мне до того хочется видеть вас, что я не могу не сказать вам этого. Потом-то я уж смогу убедиться, любите ли вы меня по-настоящему.

Я постаралась переманить на нашу сторону швейцара,— он обещал мне, что каждый раз, как вы будете приходить, он ста-

нет впускать вас так, словно и не видит, и мы можем вполне довериться ему,— он человек очень честный. Значит, теперь надо только стараться, чтобы никто не увидел вас в доме, а это вовсе не трудно, если приходить только вечером и когда можно не опасаться, что с кем-нибудь встретишься. Вот, например, мама: с тех пор как она ежедневно уходит из дому, она ложится спать каждый день в одиннадцать часов; времени у нас будет достаточно.

Швейцар сказал мне, что, когда вы захотите прийти таким образом, вам надо будет, вместо того чтобы стукнуть в дверь, постучаться в окошко, и он вам тотчас же ответит. Дальше вы уж сами найдете боковую лестницу, а так как вам нельзя будет иметь при себе свечи, я оставлю дверь своей комнаты приоткрытой — это немного осветит вам дорогу. Будьте осторожны, не шумите, особенно проходя мимо маленькой двери в мамину комнату. У комнаты моей горничной это не так важно; она обещала мне не просыпаться; она тоже славная девушка! Уходить будете точно так же. Теперь посмотрим, придете ли вы ко мне.

Боже мой, почему у меня так бьется сердце, когда я вам пишу! Неужели со мной приключится какая-нибудь беда; или меня взволновала надежда увидеть вас? Но одно я чувствую: никогда еще я вас так сильно не любила и никогда еще так сильно не хотела сказать вам это. Приходите же, мой друг, мой милый друг, чтобы я сто раз повторила вам, что люблю вас, обожаю, что никогда никого, кроме вас, не полюблю.

Мне удалось дать знать господину де Вальмону, что мне надо ему кое-что сказать, и он такой хороший друг, что, наверно, завтра придет, и я попрошу его тотчас же передать вам мое письмо. Итак, я буду ждать вас завтра вечером, а вы непременно придете, если не хотите, чтобы ваша Сесиль очень страдала.

Прощайте, милый друг, целую вас от всего сердца.

Париж, 4 декабря 17.., вечером.

ПИСЬМО 157

От кавалера Дансени к виконту де Вальмону

Не сомневайтесь, любезный виконт, ни в моем чувстве, ни в моих поступках: как мог бы я устоять перед желанием моей Сесили? Ах, ее и только ее люблю я по-настоящему. Простоду-

шие и нежность ее полны для меня очарования, от которого по слабости я мог отвлечься, но которого ничто никогда не затмит. Сам того не заметив, если можно так выразиться, я увлекся другим приключением, но воспоминание о Сесили часто смущало меня в минуты сладчайших утех. И, может быть, сердце мое никогда не было полно более подлинного чувства к ней, чем в тот самый миг, когда я изменил ей. Однако, друг мой, пощадим чувствительность моей Сесили и скроем от нее мои прегрешения, не для того, чтобы ввести ее в обман, а для того, чтобы не огорчить. Счастье Сесили — самое пламенное мое желание, никогда не простил бы я себе ни одной провинности, которая стоила бы ей хоть одной слезинки.

Понимаю, что вполне заслужил ваши шутки по поводу того, что вы называете моими новыми правилами, но можете мне поверить: не ими руководствуюсь я в данный момент и решил с завтрашнего же дня доказывать это. Я приду к той, кто явилась причиной моего заблуждения и сама разделила его, покаюсь перед нею, скажу ей: «Читайте в моем сердце: оно полно к вам нежнейшей дружбы, а дружба в сочетании с желанием так похожа на любовь!.. Оба мы ошиблись; но если я могу впасть в заблуждение, то не способен на вероломство». Я знаю своего друга: она так же прямодушна, как и снисходительна, она не только согласится со мною, она меня простит. Она сама часто упрекала себя за то, что изменила дружбе, часто щепетильность ее отпугивала любовь; более умудренная, чем я, она укрепит в моем сердце спасительный страх, который я дерзновенно стремился заглушить в нем. Я буду обязан ей тем, что стану лучше, как вам обязан буду тем, что стану счастливее. О друг мой! Разделите мою благодарность. Мысль, что за свое счастье я в долгу перед вами, увеличивает для меня его ценность.

Прощайте, дорогой виконт. Избыток радости не мешает мне думать о ваших страданиях и сочувствовать вам. Почему не дано мне помочь вам? Неужели госпожа де Турвель остается неумолимой? Говорят также, что она тяжело больна. Боже мой, как мне вас жаль! Да обретет она разум, и здоровье, и снисхождение, да сделает она вас навеки счастливым! Это пожелания дружбы. Смею надеяться, что осуществит их любовь.

Я хотел бы подольше побеседовать с вами, но время не терпит: может быть, Сесиль уже меня ждет.

Париж, 5 декабря 17...

ПИСЬМО 158

От виконта де Вальмона к маркизе де Мертей
(Вручено при ее пробуждении)

Ну, как находите вы, маркиза, утехи истекшей ночи? Не ощущаете ли некоторого утомления? Согласитесь, что Дансени очарователен! Мальчик просто чудеса творит! Этого вы от него не ожидали, не правда ли? Ну, мне приходится отдать ему должное: такой соперник заслуживал того, чтобы ради него пожертвовали мною. Я не шучу, он полон превосходнейших качеств! В особенности же — сколько любви, постоянства, деликатности! Ах, если он полюбит вас когда-нибудь так, как любит свою Сесиль, можете не опасаться соперниц: нынче ночью он вам это доказал. Возможно, что, прибегнув к кокетству, какая-нибудь женщина и изловчится на миг похитить его у вас: молодые люди не способны сопротивляться, когда их умело соблазняют. Но, как вы можете убедиться, одного слова любимого существа достаточно, чтобы рассеять обман чувств. Таким образом, для полноты счастья вам не хватает только одного — быть этим существом.

Конечно, вы на этот счет не ошибетесь: у вас слишком много проницательности, чтобы следовало за вас опасаться. Однако взаимная наша дружба, столь же чистосердечная с моей стороны, сколь и признанная с вашей, заставила меня пожелать, чтобы вы подверглись испытанию минувшей ночи. Я выказал некоторое усердие, и труд мой увенчался успехом. Но не надо благодарить меня: не могло быть ничего легче.

И правда, чего мне это стоило? Небольшой жертвы и некоторой ловкости. Я согласился разделить с молодым человеком милости его возлюбленной. Но в конце концов он имел на них не меньше прав, чем я, а мне это было так безразлично! Письмо, которое написала ему юная особа, продиктовал, разумеется, я, но сделал это исключительно ради сбережения времени, которое мы с ней употребили гораздо лучше. А то послание, которое присовокупил я,— о, сущие пустяки, почти ничего: несколько дружеских соображений, чтобы помочь неопытному любовнику сделать выбор. Но, по чести говоря, они оказались совершенно бесполезными; нечего скрывать правду — он ни минуты не колебался.

Чистосердечие его при всем том таково, что он намерен сегодня явиться к вам и обо всем поведать. Уверен, что рассказ этот доставит вам огромное удовольствие! Он заявил мне, что

скажет вам: *«Читайте в моем сердце»*; вы отлично понимаете, насколько это исправит дело. Надеюсь, что, читая в нем все, что он захочет, вы также, может быть, прочитаете, что столь юные любовники представляют свои неудобства, а также и то, что лучше иметь меня другом, чем врагом.

Прощайте, маркиза, до ближайшей приятной встречи.

Париж, 6 декабря 17...

ПИСЬМО 159

От маркизы де Мертей к виконту де Вальмону
(Записка)

Я не люблю, когда скверные поступки сопровождаются скверными шутками: это и не в моем вкусе, и не в моих обычаях. Когда я недовольна кем-нибудь, я не высмеиваю его, я делаю лучше: мщу. Как бы вы ни были собою довольны в данную минуту, не забывайте, что не в первый раз вы заранее — и в полном одиночестве — рукоплещете себе в предвкушении победы, которая ускользает из ваших рук в тот самый миг, когда вы себя с нею поздравляете. Прощайте.

Париж, 6 декабря 17...

ПИСЬМО 160

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Я пишу вам из комнаты нашего несчастного друга. Положение ее приблизительно такое же, как и было. Сегодня днем должен состояться консилиум из четырех врачей. К сожалению, это, как вы знаете, чаще доказательство опасного состояния, чем средство для спасения.

Все же прошлой ночью она как будто приходила в сознание. Сегодня утром горничная сообщила мне, что около полуночи госпожа велела позвать ее, пожелала остаться с ней наедине и продиктовала ей довольно длинное письмо. Жюли добавила, что, пока она его запечатывала, госпожа де Турвель снова начала бредить, и девушка не знает, кому его адресовать. Сперва я удивилась, что она не уразумела этого из содержания письма. Но Жюли ответила, что боится что-нибудь напутать, а между тем госпожа велела отправить его немедленно. Тогда я взяла на себя ответственность и вскрыла конверт. В нем ока-

залась записка, которую я вам и посылаю и которая, действительно, никому не адресована, ибо обращена к слишком многим. Мне, впрочем, кажется, что нашему несчастному другу хотелось сперва писать Вальмону, но, сама того не замечая, она отдалась хаосу своих мыслей. Как бы то ни было, но я полагаю, что это письмо никому не следует посылать. Вам я посылаю его, потому что из него вы увидите лучше, чем я смогла бы вам рассказать, какие мысли тревожат нашу больную. Пока она будет находиться в таком сильном возбуждении, у меня не появится ни малейшей надежды. Тело с трудом поправляется, когда дух так неспокоен.

Прощайте, дорогой и достойный друг. Рада за вас, что вы далеко от печального зрелища, которое постоянно у меня перед глазами.

Париж, 6 декабря 17...

ПИСЬМО 161

От президентши де Турвель к...
(Продиктовано ею и написано рукой камеристки)

Существо жестокое и зловредное, неужели не перестанешь ты преследовать меня? Мало тебе того, что ты измучил меня, опозорил, осквернил? Ты хочешь отнять у меня даже покой могилы? Как, и в этой обители мрака, где бесчестье заставило меня похоронить себя, нет для меня отдыха от мук и надежды? Я не молю о пощаде, которой не заслуживаю: чтобы я могла страдать, не жалуясь, достаточно, чтобы муки не превышали моих сил. Но не делай моих терзаний невыносимыми. Пусть остаются страдания, но освободи меня от жестокого воспоминания об утраченных радостях. Раз ты отнял у меня их, не воссоздавай перед моим взором их горестный образ. Я была невинна и спокойна; увидела тебя — и потеряла душевный мир, услышала тебя — и стала преступницей. Виновник моих прегрешений, какое право имеешь ты карать за них?

Где друзья, которые любили меня, где они? Мое несчастное положение приводит их в ужас. Никто из них не решается ко мне приблизиться. Меня угнетают, а они оставляют меня без помощи! Я умираю, и никто меня не оплакивает. Мне отказано в малейшем утешении. Жалость останавливается на краю бездны, которая поглощает преступника. Раскаяние разрывает его на части, а криков его не слышно!

А ты, кого я оскорбила, ты, чье уважение ко мне еще усиливает мою пытку, ты, единственно имеющий право на возмездие, что ты делаешь вдали от меня? Приди, покарай неверную жену. Пусть меня постигнут заслуженные муки. Я уже готова была покорно снести твою месть, но у меня не хватило мужества оповестить тебя о твоем позоре. И не из желания скрыть свой грех, а от уважения к тебе. Пусть же хотя бы из этого письма узнаешь ты о моем раскаянии. Небо приняло твою сторону: оно мстит за обиду, о которой сам ты не знал. Это оно сковало мой язык, не дало вырваться словам: оно опасалось, как бы ты не простил греха, который оно хотело покарать. Оно не дало мне укрыться под покровом твоей снисходительности, которая нарушила бы его справедливость.

Неумолимое в своем мщении, оно выдало меня именно тому, кто меня погубил. Я страдаю из-за него и одновременно от него. Тщетно стремлюсь я бежать от него: он преследует меня, он тут, он не дает мне покоя. Но как он не схож с самим собой! Во взорах его нет ничего, кроме ненависти и презрения, на устах лишь хула и укор. Руки его обвивают меня, но лишь для того, чтобы разорвать на части. Кто избавит меня от его варварской свирепости?

Но ах, вот он!.. Я не ошибаюсь, я вновь вижу его. О мой любезный друг, прими меня в объятия, укрой меня на своей груди. Да, это ты, это, конечно, ты. Какой пагубный обман помешал мне узнать тебя? Как я страдала в разлуке с тобой! Не будем больше расставаться, не будем расставаться больше никогда. Дай мне вздохнуть. Слышишь, как бьется мое сердце? Ах, это уже не страх, это сладостное волнение любви. Почему уклоняешься ты от моих нежных ласк? Обрати ко мне свой ласковый взор! Но что это за узы, которые ты стараешься разорвать? Почему готовишь ты это орудие казни? Кто мог настолько изменить твои черты? Что ты делаешь? Оставь меня, я трепещу! Боже, это опять то же чудовище!

Друзья мои, не покидайте меня. Ведь вы уговаривали меня бежать от него — помогите же мне теперь его побороть. Вы же, более снисходительная, обещавшая облегчить мою муку, подойдите ко мне ближе! Где же вы обе? Если мне не позволено больше видеть вас, ответьте хотя бы на это письмо, чтобы я знала, что вы меня еще любите.

Оставь же меня, жестокий! Какая новая ярость вспыхнула в тебе? Или ты боишься, как бы хоть одно нежное чувство не проникло мне в душу? Ты удваиваешь мои муки, ты вынуж-

даешь меня ненавидеть тебя. О, как мучительна ненависть! Как разъедает она сердце, которое ее источает! Зачем вы мучите меня? Что вы можете еще сказать мне? Разве не вы сделали невозможным для меня и слушать вас и отвечать вам? Не ожидайте от меня больше ничего. Прощайте, сударь.

Париж, 5 декабря 17...

ПИСЬМО 162

От кавалера Дансени к виконту де Вальмону

Мне стало известно, милостивый государь, о том, как вы со мною поступили. Знаю я также, что, не довольствуясь тем, что вы так гнусно провели меня, вы не стесняетесь громогласно похваляться этим. Я видел написанное вашей рукою признание в совершенном вами предательстве. Признаюсь, сердце мое было глубоко уязвлено, и мне стало стыдно, что я сам некоторым образом способствовал вам в гнусном злоупотреблении моей слепой доверчивостью. Однако я не завидую этому постыдному преимуществу: мне только любопытно знать, во всем ли вы будете иметь надо мной подобное превосходство. И я узна́ю об этом, если, как я надеюсь, вы соблаговолите быть завтра между восемью и девятью утра у ворот Венсенского леса близ деревни Сен-Манде. Я позабочусь о том, чтобы там имелось все необходимое для тех объяснений, которые мне остается от вас получить.

Кавалер Дансени.

Париж, 6 декабря 17.., вечером.

ПИСЬМО 163

От господина Бертрана к госпоже де Розмонд

С глубочайшим прискорбием выполняю я печальную обязанность сообщить вам новость, которая причинит вам столь жестокое горе. Разрешите мне сперва призвать вас к той благочестивой покорности воле провидения, которая в вас так часто всех восхищала и лишь благодаря которой мы можем переносить бедствия, усеивающие наш горестный жизненный путь.

Господин ваш племянник (боже мой, почему должен я причинить столь мучительную боль такой почтенной даме?), господин ваш племянник имел несчастье пасть сегодня утром в поединке с господином кавалером Дансени. Мне совершенно неизвестна причина их ссоры, но, судя по найденной мною в кармане господина виконта записке, которую я имею честь вам препроводить, он, по всей видимости, не является зачинщиком. А по воле всевышнего пасть суждено было ему!

Я находился в особняке господина виконта и дожидался его возвращения как раз, когда его привезли домой. Можете представить себе мой ужас, когда я увидел, как господина вашего племянника, залитого кровью, несут двое его слуг. Он получил две глубокие раны шпагой и был уже очень слаб. Господин Дансени находился тут же, и притом даже плакал. Ах, конечно, ему подобает плакать, но не поздно ли проливать слезы, когда уже совершено непоправимое зло?

Что до меня, то я не мог совладать с собой, и хотя я и маленький человек, а высказал ему все, что по этому поводу думаю. Но тут-то господин виконт и проявил истинное величие души. Он велел мне замолчать, взял за руку того, кто стал его убийцей, назвал его своим другом, поцеловал его при всех и всем нам сказал: «Приказываю вам относиться к этому господину со всем почтением, какого заслуживает благородный и доблестный человек». Вдобавок он велел передать ему в моем присутствии объемистую пачку бумаг, содержание которых мне неизвестно, но которым, насколько я знаю, он придавал огромное значение. Затем он пожелал, чтобы их на минуту оставили одних. Между тем я тотчас же велел послать за помощью, как духовной, так и мирской. Но, увы, состояние его оказалось роковым. Не прошло и получаса, как господин виконт уже потерял сознание. Над ним успели только совершить соборование, и едва обряд окончился, как он испустил дух.

Боже правый! Когда при его рождении я принял на руки эту драгоценную опору столь славного дома, мог ли я предвидеть, что он скончается на моих руках и мне придется оплакивать его смерть? Смерть — столь преждевременную и злосчастную! Слезы невольно льются из моих глаз. Прошу у вас прощения, сударыня, за то, что осмеливаюсь смешивать таким образом мое горе с вашим. Но в любом сословии люди имеют сердце и чувства, и я был бы очень неблагодарным, если бы не оплакивал всю жизнь господина, проявлявшего ко мне такую доброту и оказывавшего мне такое доверие.

Завтра, после выноса, я все опечатаю, и в этом отношении вы можете на меня всецело положиться. Вам небезызвестно, сударыня, что горестное это событие делает ваше завещание недействительным и предоставляет вам свободный выбор наследника. Если я смогу быть вам полезным, прошу вас соизволить сообщить мне ваши распоряжения: я приложу все свои старания к тому, чтобы выполнить их точнейшим образом.

Остаюсь с глубочайшим уважением, сударыня, вашим покорнейшим... и проч.

Бертран.

Париж, 7 декабря 17...

ПИСЬМО 164

От госпожи де Розмонд к господину Бертрану

Я только что получила ваше письмо, дорогой господин Бертран, и узнала из него об ужасном происшествии, злосчастной жертвой которого стал мой племянник. Да, конечно, у меня будут для вас распоряжения, и только они принудят меня заняться чем-то иным, кроме моей смертельной скорби.

Присланная вами записка господина Дансени является убедительнейшим доказательством, что зачинщик дуэли — он, и я хочу, чтобы вы незамедлительно подали от моего имени жалобу. Прощая своему врагу, своему убийце, мой племянник мог поддаться врожденному своему великодушию; но я должна добиваться отмщения и за его смерть, и вообще во имя человеколюбия и религии. Никакой закон, направленный против этого пережитка варварства, оскверняющего наши нравы, не был бы чрезмерно суров, а я не думаю, чтобы в подобном случае нам предписывалось прощение обид. Поэтому я рассчитываю, что вы займетесь этим делом со всем рвением и со всей энергией, которые, как я знаю, вам столь свойственны.

Прежде всего вам надлежит повидаться с господином президентом *** и переговорить с ним от моего имени. Сама я ему не пишу, ибо хочу всецело отдаться своей скорби. Вы принесете ему за меня извинения и познакомите его с этим письмом.

Прощайте, дорогой Бертран, хвалю вас и благодарю за добрые чувства и остаюсь преданной вам до конца жизни.

Из замка ***, 8 декабря 17...

ПИСЬМО 165

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Я знаю, мой дорогой и достойный друг, что вы уже оповещены о постигшей вас утрате. Я знала, как нежно вы любили господина де Вальмона, и со всей искренностью разделяю ваше горе. И мне крайне мучительно, что к нынешним вашим огорчениям я должна прибавить новые. Но, увы, и о нашем несчастном друге вам остается только проливать слезы. Мы потеряли ее вчера в одиннадцать часов вечера. По воле злого рока, неустанно преследовавшего ее и словно насмехáвшегося над всеми людскими предосторожностями, короткого промежутка времени, на который она пережила господина де Вальмона, оказалось достаточным для того, чтобы она узнала о его смерти и, по собственному ее выражению, пала под бременем своих несчастий лишь после того, как мера их переполнилась.

Действительно, как вы знаете, она уже более двух суток находилась без сознания. Еще вчера, когда явился врач и мы вместе подошли к ее кровати, она не узнала ни меня, ни его, и мы не могли добиться от нее ни единого слова, ни малейшего знака. Так вот, едва мы отошли к камину и как только врач сообщил мне печальную новость о смерти господина де Вальмона, эта несчастная женщина обрела весь свой рассудок, то ли потому, что эту перемену произвела в ней сама природа, то ли потому, что ее вызвало постоянное повторение двух слов «господин де Вальмон» и «смерть», которые могли вернуть больную к единственным мыслям, занимавшим ее так долго.

Как бы то ни было, но она внезапно откинула занавески своей кровати и воскликнула: «Как, что вы говорите? Господин де Вальмон умер?» Я надеялась убедить ее, что она ошиблась, и сперва стала ее уверять, что она ослышалась. Но она отнюдь не дала себя уговорить и потребовала у врача, чтобы он повторил свой жестокий рассказ. А когда я снова попыталась разубедить ее, она подозвала меня к себе поближе и тихонько сказала: «Зачем вы пытаетесь меня обмануть? Разве и без того он не был для меня мертв?» Пришлось уступить.

Наш несчастный друг слушала сперва довольно спокойно, но вскоре прервала рассказчика. «Довольно, я уже достаточно знаю»,— сказала она, тотчас же потребовала, чтобы занавески снова задвинули, а когда врач захотел, наконец, заняться своим делом и осмотреть ее, не позволила ему подойти. Как

только он удалился, она точно так же отослала сиделку и горничную и, когда мы остались одни, попросила меня помочь ей встать на колени в постели и поддержать ее в таком положении. Некоторое время она молча стояла на коленях, лицо ее ничего не выражало, по нему только непрерывно струились слезы. Потом, сложив руки и подняв их к небу, она слабым, но проникновенным голосом заговорила: «Господи всемогущий, я покоряюсь суду твоему, но прости Вальмону. Пусть несчастья мои, которые я — каюсь — заслужила, не вменятся ему в вину, и я воздам тебе хвалу за твое милосердие».

Я позволила себе, дорогой и достойный друг мой, остановиться на всех этих подробностях, которые — прекрасно понимаю — должны обострить и усилить вашу скорбь. Делаю это, так как не сомневаюсь, что молитва госпожи де Турвель принесет душе вашей великое утешение.

Произнеся эти немногие слова, она снова упала в мои объятия, и едва я успела уложить ее в постель, как она была охвачена приступом слабости, который продолжался довольно долго, однако поддался обычным средствам. Как только больная пришла в себя, она попросила меня послать за отцом Ансельмом и добавила: «Сейчас это единственный врач, который мне нужен. Я чувствую, что скоро наступит конец моим мучениям». Она жаловалась на тяжесть в груди и говорила с трудом.

Немного времени спустя она велела горничной передать мне шкатулку, которую я вам посылаю; при этом она сказала, что там находятся ее личные бумаги, и просила меня отправить их вам тотчас же после ее смерти [1]. Затем, насколько это было для нее возможно, она с большим волнением стала говорить о вас и о вашем расположении к ней.

Около четырех часов прибыл отец Ансельм и почти целый час оставался с нею наедине. Когда мы вошли, лицо больной было ясным и спокойным, но нетрудно было заметить, что отец Ансельм много плакал. Он остался, чтобы принять участие в совершении последних церковных обрядов. Зрелище это, всегда столь торжественное и скорбное, становилось еще торжественней и печальней благодаря контрасту между спокойной покорностью больной и глубокой скорбью ее почтенного духовника, обливавшегося слезами подле нее. Все были до крайности растроганы — ни одной слезы не пролила лишь та, кого все оплакивали.

---

[1] В этой шкатулке находились все письма, освещающие ее отношения с господином де Вальмоном.

Остаток дня прошел в обычных для подобного случая молитвах, которые прерывались лишь частыми приступами слабости у больной. Наконец, часам к одиннадцати вечера мне показалось, что ей стало еще более тяжело и что она сильнее страдает. Я протянула руку, чтобы коснуться ее руки. У нее еще хватило силы взять ее и положить себе на сердце. Я не почувствовала, как оно бьется, и, действительно, в это самое мгновение нашего несчастного друга не стало.

Помните ли вы, дорогой друг мой, что в последний ваш приезд в Париж — менее года тому назад — мы с вами беседовали о некоторых лицах, счастье которых представлялось нам более или менее прочным, и с особенным удовлетворением упоминали об этой самой женщине, чьи горести и чью смерть сейчас оплакиваем. Столько добродетелей, столько похвальных качеств, столько прелести! Кроткий и легкий характер, муж, любимый ею и обожающий ее, общество, которое ей нравилось и украшением которого она была, красивая внешность, молодость, богатство — и сочетание стольких преимуществ пошло прахом только из-за неосторожности! О провидение! Мы, без сомнения, должны чтить твои предначертания, но как они порою нам непонятны! Впрочем, умолкаю: боюсь увеличить вашу скорбь, отдаваясь своей.

Покидаю вас, чтобы отправиться к своей дочери,— она немного нездорова. Узнав от меня нынче утром о столь внезапной смерти двух знакомых ей лиц, она почувствовала себя плохо, и я уложила ее в постель. Надеюсь, впрочем, что это легкое недомогание не будет иметь последствий. В таком юном возрасте нет еще привычки к несчастьям, и, вследствие этого, впечатление от них сильнее и резче. Столь острая чувствительность — конечно, похвальное качество, но как учит нас опасаться ее все, что мы каждый день видим! Прощайте, мой дорогой и достойный друг.

Париж, 9 декабря 17...

ПИСЬМО 166

От господина Бертрана к госпоже де Розмонд

Милостивая государыня!

Выполняя распоряжения, которыми вы соблаговолили меня почтить, я имел также честь повидаться с господином президентом *** и сообщил ему содержание вашего письма, предупредив его, что по выраженному вами желанию предприму что-

либо, лишь следуя его советам. Сей уважаемый магистрат поручил мне обратить ваше внимание на то, что жалоба, которую вы намереваетесь подать на господина Дансени, бросила бы в равной степени тень и на память вашего племянника и что его честь также была бы неизбежно затронута постановлением суда, а это, разумеется, явилось бы большим несчастьем. Его мнение поэтому таково, что следует воздержаться от каких-либо шагов, а уж если и предпринимать их, то с единственной целью не допускать, чтобы судебным инстанциям стало известно об этом деле, и без того слишком нашумевшем.

Замечания эти показались мне в высшей степени благоразумными, и я решил выжидать дальнейших ваших распоряжений.

Разрешите мне, сударыня, просить вас присовокупить к ним хоть словечко о состоянии вашего здоровья, на котором — я крайне этого опасаюсь — может пагубно отозваться столько огорчений. Надеюсь, что вы не сочтете слишком дерзкой эту просьбу моей привязанности и усердия.

Париж, 10 декабря 17...

ПИСЬМО 167

От неизвестного лица к кавалеру Дансени

Милостивый государь!

Имею честь предупредить вас, что сегодня утром в судебной палате среди господ королевских чиновников шла речь о деле, которое было несколько дней назад у вас с господином виконтом де Вальмоном, и что есть основания опасаться, как бы прокуратура не возбудила преследования. Я полагал, что данное предупреждение может оказаться вам полезным либо для того, чтобы вы, воспользовавшись своими связями, предотвратили пагубные последствия этой истории, либо, если бы это оказалось для вас невозможным, чтобы вы могли обеспечить себе личную безопасность.

Если бы вы разрешили дать вам совет, то мне кажется, что для вас было бы лучше некоторое время реже появляться в обществе, чем вы это делали в последние дни. Хотя к подобного рода делам принято относиться снисходительно, все же следует оказывать закону эту дань уважения.

Такая предосторожность тем более необходима, что до меня дошли сведения, будто некая госпожа де Розмонд, которая, гово-

рят, приходится теткой господину де Вальмону, собиралась подать на вас жалобу, и в этом случае прокуратура просто вынуждена была бы дать ход делу. Может быть, было бы целесообразным, если бы вам удалось вступить с этой дамой в переговоры.

Причины личного характера не позволяют мне подписать это письмо. Но я полагаю, что, хотя вам неизвестно, от кого оно, вы тем не менее воздадите должное чувствам, которыми оно продиктовано.

Имею честь и проч.

Париж, 10 декабря 17...

ПИСЬМО 168

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Здесь распространяются, мой дорогой и достойный друг, крайне странные и неприятные слухи насчет госпожи де Мертей. Разумеется, я далека от того, чтобы им верить, и даже готова биться об заклад, что это всего-навсего гнусная клевета. Но я слишком хорошо знаю, как легко укрепляются даже самые неправдоподобные наветы и как трудно изгладить потом оставленое ими впечатление, а потому в высшей степени встревожена этими слухами, как ни легко, на мой взгляд, было бы их рассеять. Особенно хотелось бы мне, чтобы им сразу был положен конец еще до того, как они смогут получить более широкое распространение. Но об этих гнусностях, которые только сейчас начинают всеми обсуждаться, я узнала лишь вчера поздно вечером. Когда же сегодня утром я послала к госпоже де Мертей, оказалось, что она на два дня уехала в деревню. Никто не мог мне сказать, к кому именно она отправилась. Ее вторая горничная, которую я вызвала к себе, сказала мне только, что госпожа велела ждать ее в ближайший четверг; никто из оставленных дома слуг ничего больше не знает. Я сама тоже понятия не имею, где она может находиться; насколько мне известно, никто из ее знакомых не засиживается так поздно в деревне.

Как бы то ни было, я надеюсь, что еще до ее возвращения вы сможете дать кое-какие разъяснения, которые могут быть для нее полезны. Ибо все эти гнусные россказни основываются на обстоятельствах, при которых погиб господин де Вальмон, по-видимому, известных вам, если они правильны. И уж, наверно, вам нетрудно будет их выяснить, о чем я вас молю, как о милости. Вот что распространяют, или, вернее, о чем пока

только шепчутся, но вскоре, разумеется, начнут говорить полным голосом.

Итак, передают, что ссора между господином де Вальмоном и кавалером Дансени есть дело рук госпожи де Мертей, обманывавшей их обоих; что, как это часто случается, соперники сперва начали драться и лишь затем объяснились, после чего произошло самое искреннее примирение, и что с целью окончательно раскрыть кавалеру Дансени глаза на госпожу де Мертей и заодно полностью оправдаться господин де Вальмон подкрепил свои слова множеством писем, представляющих собой регулярную переписку между ним и ею, в которой она рассказывает о самой себе, притом самым беззастенчивым образом, скандальные истории.

Добавляют, что в первом порыве негодования Дансени показывал эти письма всем и каждому и что теперь они ходят по всему Парижу. Больше всего говорят о двух письмах: [1] в одном она излагает историю своей жизни и свои жизненные правила, представляющие собою якобы верх гнусности; другое полностью оправдывает господина де Превана, чью историю вы, несомненно, помните: в нем содержится доказательство того, что он, напротив, лишь уступил самому откровенному заигрыванию со стороны госпожи де Мертей и что о свидании они заранее договорились.

К счастью, у меня имеются веские основания считать все эти обвинения столь же лживыми, сколь и омерзительными. Прежде всего, обе мы знаем, что господин де Вальмон отнюдь не был занят госпожой де Мертей, а я имею все данные полагать, что и господин Дансени занимался ею не больше; таким образом, мне представляется очевидным, что она не могла быть ни предметом ссоры, ни ее подстрекательницей. Не понимаю я также, какой смысл был для госпожи де Мертей, якобы сговорившейся с господином де Преваном, разыграть сцену, которая не могла не быть неприятной из-за своей громкой огласки и, безусловно, могла стать крайне для нее опасной, поскольку госпожа де Мертей приобретала таким образом непримиримого врага в человеке, частично владевшем ее тайной и имевшем тогда немало сторонников. Между тем примечательно, что после этого происшествия ни один голос не поднялся в защиту Превана, и даже он сам не решился протестовать.

Эти соображения заставляют меня заподозрить, не является ли он сам источником распространяемых сейчас слухов, и

[1] Письма 81 и 85 этого собрания.

усматривать в этой черной клевете акт ненависти и мщения со стороны человека, который, сознавая себя погибшим, надеется таким способом хотя бы посеять сомнения и, может быть, выгодным для себя образом направить внимание общества в другую сторону. Но откуда бы ни исходили все эти злостные слухи, надо прежде всего положить им конец. Они сами собой прекратились бы, если бы выяснилось,— и вернее всего так оно и есть,— что господа де Вальмон и Дансени не беседовали друг с другом после своего злосчастного поединка и никто никому не передавал никаких бумаг.

В своем нетерпении скорее проверить все это я послала сегодня утром к Дансени, но его тоже нет в Париже. Его слуги сказали моему лакею, что этой ночью он уехал, следуя полученному вчера совету, и что местопребывание его хранится в тайне. По всей видимости, он опасается возможных последствий своего дела. Поэтому лишь от вас, мой дорогой и достойный друг, могу я узнать подробности, которые меня интересуют и которые, возможно, окажутся крайне необходимыми госпоже де Мертей. Еще раз прошу вас сообщить мне их как можно скорее.

P. S. Недомогание моей дочери не имело никаких последствий. Она свидетельствует вам свое уважение.

Париж, 11 декабря 17...

ПИСЬМО 169

От кавалера Дансени к госпоже де Розмонд

Милостивая государыня!

Может быть, то, что я сейчас делаю, покажется вам весьма странным, но молю вас, выслушайте меня, прежде чем осудить, и не усматривайте дерзости и вызова там, где имеются лишь почтение и доверчивость. Я не скрываю от себя, насколько виновен перед вами, и никогда в жизни не простил бы себе этой вины, если бы хоть на мгновение подумал, что для меня возможно было ее избежать. Будьте также уверены, сударыня, что, хотя я не могу ни в чем себя упрекнуть, я, во всяком случае, ощущаю скорбь и со всей искренностью хочу добавить, что глубоко скорблю о той скорби, которую доставил вам. Для того чтобы вы поверили чувствам, в которых я осмеливаюсь вас уверять, вам достаточно отдать должное самой себе и иметь также в виду, что, хоть я не имею чести быть вам известным, я тем не менее знаю вас.

Однако в то время как я тоскую под бременем роковых обстоятельств, послуживших причиной вашего горя и моих бедствий, меня пытаются уверить, что вы, всецело отдавшись мысли о мщении, готовы с этой целью прибегнуть даже к суровости законов.

Позвольте мне прежде всего обратить ваше внимание на то, что в данном случае вы ослеплены горем, ибо тут мои интересы теснейшим образом связаны с интересами господина де Вальмона: добейся вы моего осуждения, оно затронуло бы в равной степени и его. Поэтому, сударыня, я полагал бы, что с вашей стороны могу рассчитывать скорее на содействие, чем на помехи в стараниях, которые мне, возможно, придется приложить к тому, чтобы это злосчастное происшествие осталось погребенным в молчании.

Но эта поддержка, вынужденная соучастием и оказываемая как виновному, так и невиновному, недостаточна для моей щепетильности: желая отстранить вас как истца, я прошу, чтобы вы были моим судьей! Уважение тех, кого мы чтим, для нас слишком дорого, чтобы я согласился лишиться вашего, не защищаясь, а мне кажется, что для защиты у меня есть полная возможность.

И действительно, если вы согласны с тем, что мщение дозволено или, вернее, что мы обязаны его совершить, оказавшись жертвою измены дружбе, любви, а главное, взаимному доверию,— если вы с этим согласны, моя вина перестанет для вас существовать. Не верьте моим словам, но прочитайте, если у вас хватит мужества, переписку, которую я отдаю в ваши руки[1]. Огромное количество писем, имеющихся здесь в оригинале, подтверждает, по-видимому, достоверность тех, что представлены в копиях. К тому же я получил эти бумаги в том виде, в каком имею честь вам их переслать, лично от господина де Вальмона. Я ничего к ним не прибавил и изъял только два письма, каковые позволил себе предать гласности.

Одно было необходимо для общего нашего — моего и господина де Вальмона — мщения, на которое оба мы имели право и которое он мне завещал. Кроме того, я считал, что окажу услугу обществу, разоблачив перед ним такую опасную женщину, как госпожа де Мертей, которая, как вы сами сможете

---

[1] Из этой переписки, а также из писем, переданных госпоже де Розмонд после смерти госпожи де Турвель и доверенных ей же госпожой де Воланж, составлен был настоящий сборник. Оригиналы находятся в руках наследников госпожи де Розмонд.

убедиться, является единственной, истинной причиной всего, что произошло между господином де Вальмоном и мною.

Чувство справедливости побудило меня предать гласности и второе, ради оправдания господина де Превана, которого я едва знаю, но который отнюдь не заслужил ни постигшей его суровой кары, ни даже еще более жестокой строгости общественного приговора, под тяжестью которого он с тех пор изнывает, не имея никакой возможности защититься.

Вы поэтому найдете здесь лишь копии этих двух писем, оригиналы которых я почитаю своим долгом хранить у себя. Что до всего остального, то я полагаю, что не мог бы доверить более надежным рукам архив, который, быть может, в моих интересах было бы не уничтожать, но которым я посовестился бы злоупотребить. Не сомневаюсь, сударыня, что, доверяя вам эти письма, я послужу заинтересованным в них лицам так же хорошо, как если бы их передал им самим. Тем самым я избавляю их от смущения, которое они испытали бы, получая их от меня и зная, что я осведомлен о приключениях, которые им, разумеется, хотелось бы от всех скрыть.

Считаю своим долгом предупредить, что прилагаемая переписка есть лишь часть гораздо более обширного собрания писем, из которого господин де Вальмон извлек их в моем присутствии; по снятии печатей вы несомненно найдете его под названием, которое я лично видел: «Открытый счет маркизы де Мертей и виконта де Вальмона». Решение, которое следует принять в данном случае, подскажет вам ваше благоразумие.

Остаюсь, сударыня, с уважением и проч.

P. S. Полученные мною предупреждения и советы друзей побудили меня на некоторое время покинуть Париж, но тайна моего убежища, строго охраняемая от всех, вам должна быть открыта. Если вы удостоите меня ответом, прошу адресовать его в командорство*** через П*** на имя господина командора***. От него я и имею честь писать вам.

Париж, 12 декабря 17...

ПИСЬМО 170

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Я перехожу, дорогой друг мой, от неожиданности к неожиданности, от горя к горю. Нужно быть матерью для того, чтобы представить себе, что́ я выстрадала в течение вчерашнего утра.

И хоть самая острая тревога моя с тех пор улеглась, я все же нахожусь в сильнейшем волнении и не вижу ему конца.

Вчера, около десяти часов утра, удивленная тем, что дочь моя еще не появляется, я послала свою горничную выяснить, что означает это опоздание. Через минуту она возвратилась крайне испуганная и еще больше напугала меня, сообщив, что дочери моей нет в ее комнате и что горничная тоже не нашла ее там рано утром. Представьте себе мое состояние! Я призвала всех своих слуг и прежде всего швейцара; все поклялись мне, что им ничего не известно и что они ничего не могут сообщить мне по поводу случившегося. Я тотчас же направилась в комнату дочери. По царившему там беспорядку мне стало ясно, что она покинула ее лишь утром, но никаких других указаний я не обнаружила. Я осмотрела ее шкафы, ящики секретера — все оказалось на месте, все ее платья, кроме одного, в котором она ушла. Она не взяла даже той небольшой суммы денег, которая у нее была.

Так как она лишь вчера узнала обо всем, что говорят о госпоже де Мертей, так как она к ней сильно привязана,— настолько, что весь вчерашний день проплакала,— и так как, кроме того, я вспомнила, что она не знала об отъезде госпожи де Мертей в деревню, мне прежде всего пришло в голову, что она пожелала увидеть свою приятельницу и по своему легкомыслию отправилась к ней одна. Но время шло, она не возвращалась, и мною вновь овладела тревога. С каждым мгновением муки мои усиливались, я изнывала от неизвестности и, однако, не решалась наводить какие-либо справки из опасения придать гласности поступок, который впоследствии, может быть, захочу от всех скрыть. Нет, никогда в своей жизни я так не страдала!

Наконец, только после двух часов дня я получила сразу два письма: одно от дочери, другое от настоятельницы *** ского монастыря. В письме дочери говорилось только, что она опасалась, как бы я не воспротивилась ее призванию стать монахиней, и что поэтому не осмеливалась со мной об этом заговорить. Далее она пространно извинялась, что без моего согласия приняла это решение, которое, добавляла она, я, наверно, могла бы лишь одобрить, если бы знала причины его, о которых тем не менее она меня просила не спрашивать ее.

Настоятельница сообщала, что, так как молодая девушка приехала одна, она сначала отказалась принять ее. Но, расспросив незнакомку и узнав, кто она такая, она решила, что окажет мне услугу, если прежде всего предоставит моей дочери убе-

жище, чтобы не принудить ее ехать дальше, на что та, по-видимому, твердо решилась. Предлагая, разумеется, вернуть мне дочь, если я потребую ее возвращения, настоятельница, как это и подобает в ее положении, советует мне не препятствовать призванию, которое она называет бесповоротным. Она пишет также, что не известила меня об этом событии раньше, ибо ей стоило большого труда заставить мою дочь написать мне: та хотела, чтобы никто не знал, куда она удалилась. Какая жестокая вещь — безрассудство детей!

Я тотчас же отправилась в этот монастырь. Переговорив с настоятельницей, я сказала, что хочу видеть свою дочь; та пришла очень неохотно и вся дрожала. Я говорила с ней в присутствии монахинь, говорила и наедине. Она все время обливалась слезами, и единственное, чего я от нее добилась, это то, что она может быть счастлива только в монастыре. Мне пришлось позволить ей остаться там, но еще не в качестве послушницы, как она хотела. Боюсь, что смерть госпожи де Турвель и господина де Вальмона чересчур взволновала ее юную голову. Как ни чту я монашеское призвание, мне все же было бы мучительно и даже страшно видеть, как моя дочь принимает схиму. Мне кажется, что у нас и без того довольно обязанностей и незачем налагать на себя новые, не говоря уже о том, что в столь юном возрасте мы не можем знать, что́ нам больше подходит.

Замешательство мое еще усиливается из-за предстоящего возвращения господина де Жеркура. Неужели столь выгодный брак должен расстроиться? Как же нам создавать счастье детей, раз недостаточно желать этого и прилагать все свои усилия? Вы оказали бы мне огромную услугу, если бы написали, как бы вы поступили на моем месте. Я же ни на чем не могу остановиться: самое страшное — решать судьбу других, и в данном случае я одинаково боюсь проявить и строгость судьи, и слабость матери.

Беспрестанно укоряю я себя за то, что увеличиваю ваши горести, донимая вас своими. Но я знаю ваше сердце: самое большое для вас утешение — то, которое вы можете дать другим.

Прощайте, мой дорогой и достойный друг; с нетерпением жду вашего ответа на оба мои вопроса.

Париж, 13 декабря 17...

ПИСЬМО 171

От госпожи де Розмонд к кавалеру Дансени

После того, что мне стало известно от вас, сударь, мне остается только плакать и молчать. Когда узнаёшь о подобных мерзостях, жалеешь, что еще живешь на белом свете. Стыдно быть женщиной, когда видишь, что есть женщина, способная на такое распутство.

Что касается лично меня, сударь, то я охотно соглашаюсь предать молчанию и забвению все, что может напомнить эти горестные события и привести к каким-либо их последствиям. Я хотела бы даже, чтобы они не доставили вам никаких огорчений, кроме тех, что неразрывно связаны с печальным преимуществом, которое вы получили над моим племянником. Несмотря на то, что я вынуждена признать всю его неправоту, я чувствую, что никогда не утешусь в том, что потеряла его. Но мое неиссякаемое горе — это единственная месть, которую я позволю себе по отношению к вам. Насколько она велика,— определить может ваше сердце.

Позвольте мне, во внимание к моему преклонному возрасту, высказать одно суждение, которого обычно не делают люди в ваши годы: если бы мы понимали, в чем истинное наше счастье, мы никогда не искали бы его за пределами, установленными законами божескими и человеческими.

Можете не сомневаться в том, что я охотно и добросовестно сохраню доверенные мне вами бумаги. Но я прошу вас предоставить мне право не передавать их никому и даже не возвращать вам,— разве что это стало бы необходимым для вашего оправдания. Смею надеяться, что вы не откажете в этой просьбе, ибо вам теперь понятно, как зачастую раскаиваешься в том, что предался даже самому справедливому мщению.

Просьбы мои этим не ограничиваются, ибо я уверена в вашем великодушии и чувствительности: было бы вполне достойно их, если бы вы передали мне также письма мадемуазель де Воланж, которые, по-видимому, хранятся у вас и которые теперь, без сомнения, вам уже не нужны. Я знаю, что эта молодая особа очень перед вами виновата, но я не думаю, чтобы вы намеревались наказывать ее за это; и хотя бы из уважения к самому себе вы не опозорите существо, которое так любили. Поэтому мне нет необходимости добавлять, что внимание, которого не заслуживает дочь, должно оказывать матери, женщине весьма почтенной, перед которой вы далеко не безгрешны; ибо,

в конце концов, сколько бы ни обманывать себя так называемой тонкостью чувства, тот, кто первым пытается обольстить сердце еще невинное и неопытное, тем самым становится первым виновником его порчи и всю свою жизнь несет ответственность за дальнейшие его заблуждения и грехи.

Не удивляйтесь, сударь, подобной строгости с моей стороны: именно она является величайшим доказательством моего к вам полного уважения. Вы обретете еще большее право на него, согласившись, как я и прошу вас, обеспечить сохранение тайны, разглашение которой вам самому причинило бы вред и явилось бы смертельным ударом для материнского сердца, которому вы уже нанесли рану. Словом, сударь, я желаю оказать эту услугу моему другу. И если бы я могла опасаться, что вы мне откажете в этом утешении, я попросила бы вас подумать сперва о том, что это единственное утешение, которое вы мне оставили.

Имею честь... и проч.

Из замка ***, 15 декабря 17...

ПИСЬМО 172

От госпожи де Розмонд к госпоже де Воланж

Если бы, дорогой мой друг, мне пришлось запрашивать из Парижа те сведения относительно госпожи де Мертей, которых вы у меня просите, и дожидаться их, я сейчас еще не имела бы возможности вам их дать и в конце концов получила бы нечто смутное и неопределенное. Однако мне доставлены были сведения, которых я совсем не ожидала, да и не могла ожидать. Но они, к сожалению, слишком достоверны. О друг мой! Как эта женщина вас обманула!

Мне противно разбираться в подробностях: это нагромождение всевозможных мерзостей. Но что бы об этом ни распространяли, всё — не сомневайтесь в этом — еще далеко до действительности. Надеюсь, дорогой друг мой, что вы знаете меня достаточно хорошо, чтобы поверить мне на слово и не требовать от меня никаких доказательств. Достаточно вам знать, что их множество, и в настоящее время они находятся в моих руках.

С крайним прискорбием вынуждена я обратиться к вам еще с одной такой же просьбой — не заставляйте меня приводить основания для совета, которого вы у меня просите касательно

мадемуазель де Воланж. Я советую вам не противиться призванию, которое у нее обнаружилось. Разумеется, не существует причин, по которым можно было бы заставить принять монашеский сан того, кто к этому не призван. Но иногда такое призвание — великое счастье. Видите — дочь ваша сама говорит, что вы не стали бы порицать ее, если бы знали причины, побуждающие ее стремиться к этому. Тот, кто вдохновляет наши чувства, знает лучше, чем наш суетный рассудок, что́ нужно каждому из нас. И часто то, что мы принимаем за проявление его суровости, есть на самом деле акт милосердия.

Словом, мое мнение — я понимаю, что оно вас огорчит, но именно поэтому вы не должны сомневаться, что я его тщательно обдумала,— мое мнение таково, что вам надо оставить мадемуазель де Воланж в монастыре, раз она сама сделала такой выбор, что вы должны не только не препятствовать решению, которое она, по-видимому, приняла, но и поддержать его и что в ожидании, пока оно осуществится, вам следует, не колеблясь, отказаться от задуманного вами брака.

После того как я выполнила этот печальный долг дружбы, будучи бессильна чем-либо вас утешить, я должна еще, друг мой, попросить вас об одной милости: не расспрашивать меня ни о чем, имеющем какое-либо касательство к этим грустным событиям. Предадим их заслуженному забвению и, не ища бесполезных и горьких разъяснений, подчинимся воле божией; уверуем в мудрость ее предначертаний даже тогда, когда она не дозволяет нам понять их. Прощайте, друг мой.

Из замка ***, 15 декабря 17...

ПИСЬМО 173

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

О друг мой! Каким страшным покровом окутываете вы для меня участь моей дочери! И, по всей видимости, вы боитесь, чтобы я не попыталась приподнять его! Что же такое скрывается за ним, способное огорчить сердце матери даже больше, нежели ужасные подозрения, к которым вы меня тем самым вынуждаете? Чем больше вспоминаются мне ваши дружеские чувства и снисходительность, тем сильнее становятся мои муки. Раз двадцать со вчерашнего дня хотела я избавиться от этой жестокой неуверенности и просить вас поведать мне все, как оно есть, ничего не смягчая, ни о чем не умалчивая. И всякий раз

я трепетала от страха, вспоминая о вашей просьбе не расспрашивать вас ни о чем. Наконец, я останавливаюсь на решении, оставляющем все же некоторую надежду, и от вашей дружбы жду, что вы не откажете исполнить мое желание. Ответьте мне, поняла ли я хоть приблизительно то, что вы могли мне рассказать. Не бойтесь сообщить мне все, что может принять материнская снисходительность, все, что еще можно исправить. Если же несчастья мои превышают эту меру, тогда я согласна, чтобы единственным вашим разъяснением было молчание. Так вот что я пока узнала, вот насколько могут простираться мои опасения.

Дочь моя несколько увлеклась кавалером Дансени, и, как мне сообщили, дело дошло до того, что она получала от него письма и даже отвечала ему. Но я полагала, что мне удалось воспрепятствовать каким бы то ни было опасным последствиям этого ребяческого заблуждения. Теперь же, когда я всего опасаюсь, я допускаю мысль, что моя бдительность была обманута, и боюсь, что моя обольщенная дочь дошла в своих заблуждениях до предела.

Мне припоминаются кое-какие обстоятельства, которые, может быть, подтверждают эти опасения. Я сообщала вам, что моя дочь почувствовала себя плохо, узнав о несчастии с господином де Вальмоном. Может быть, эта чувствительность объяснялась мыслью об опасности, которой в этом поединке подвергался господин Дансени. Когда затем она так сильно плакала, узнав все, что говорилось о госпоже де Мертей, может быть, то, что я считала дружеским состраданием, было лишь следствием ревности или огорчения, оттого что возлюбленный оказался неверным. И последний ее поступок может, мне кажется, объясняться той же причиной. Часто считаешь себя призванным к служению богу лишь потому, что негодуешь на людей. Словом, если предположить, что все обстоит именно так, и вы об этом узнали, вы, конечно, могли усмотреть в этих обстоятельствах достаточное основание для своего сурового совета.

Однако если даже это так, то, осуждая свою дочь, я все же считала бы, что обязана сделать все возможное, чтобы избавить ее от мучений и опасностей, которые таятся в воображаемом, необдуманно выбранном призвании. Если господин Дансени не потерял остатка порядочности, он не откажется исправить беду, единственный виновник которой он сам. И я, наконец, полагаю, что женитьба на моей дочери — дело достаточно выгодное, чтобы он и его семья были этим только польщены.

Вот, дорогой и достойный друг мой, единственная остав-

шаяся у меня надежда. Поспешите подтвердить ее, если это возможно. Вы сами понимаете, как я жду вашего ответа и каким ужасным ударом было бы для меня ваше молчание [1].

Я уже собиралась запечатать это письмо, когда меня пришел навестить один знакомый, рассказавший мне о жестокой сцене, которую пришлось пережить госпоже де Мертей. Так как в последние дни я ни с кем не виделась, то и не знала ничего об этом происшествии. Вот что сообщил мне о нем очевидец.

Вернувшись из деревни позавчера, в четверг, госпожа де Мертей велела отвезти себя в Итальянскую комедию, где у нее своя ложа. Она сидела в ней одна, и ей должно было показаться странным, что в течение всего вечера никто из мужчин к ней не зашел. По окончании спектакля она, по своему обыкновению, направилась в фойе, уже полное народа. Тотчас же поднялся шум, но, по-видимому, она не приняла его на свой счет. Заметив на одном диване свободное место, она уселась, но тотчас же все уже сидевшие там дамы поднялись, словно сговорившись, и оставили ее в полном одиночестве. Столь подчеркнутое проявление всеобщего негодования присутствующие мужчины встретили знаками одобрения, и ропот усилился, переходя, как говорят, даже в свист.

На ее беду, словно для того, чтобы чаша ее унижения переполнилась, господин де Преван, нигде не появлявшийся после своего приключения, в ту же минуту вошел в фойе. Едва завидев его, все, и мужчины и женщины, окружили его и стали наперерыв приветствовать, так что он был, если можно так выразиться, подведен к госпоже де Мертей публикой, сомкнувшейся вокруг них. Уверяют, что она сохранила невозмутимый вид,— словно ничего не видела и не слышала, и даже не изменилась в лице. Но я думаю, что уж это-то преувеличено. Как бы то ни было, но в таком, поистине позорном, положении она находилась до тех пор, пока не доложили, что ее карета подана, а когда она выходила, оскорбительный свист и выкрики еще усилились. Ужасно сознавать себя родственницей этой женщины. В тот же вечер господина де Превана весьма сердечно приняли в свой круг присутствовавшие тут офицеры его части, и нет сомнения, что ему скоро вернут и должность и чин. Лицо, так подробно рассказавшее мне обо всем этом, сообщило также, что на следующую ночь у госпожи де Мертей обнаружился сильный жар. Сперва полагали, что это следствие крайне мучительного положения, в котором она оказалась, но вчера вечером

[1] Это письмо осталось без ответа.

выяснилось, что она заболела оспой в очень злокачественной форме. Думаю, что для нее было бы истинным счастьем умереть от этой болезни. Говорят даже, что вся эта история может сильно повредить ей в процессе, который должен в ближайшее время состояться, ибо для успеха в нем ей явно потребовалась бы благосклонность тех, от кого это зависит.

Прощайте, мой дорогой и достойный друг. Я вижу, что злодеи несут в данном случае кару, но не нахожу ни малейшего утешения для их несчастных жертв.

Париж, 18 декабря 17...

ПИСЬМО 174

От кавалера Дансени к госпоже де Розмонд

Вы совершенно правы, сударыня, и разумеется, поскольку это зависит от меня, я не откажу вам ни в чем, что вы почитаете для себя важным. В пакете, который я сейчас имею честь вам препроводить, находятся все письма мадемуазель де Воланж. Если вы их прочтете, то, может быть, у вас вызовет удивление, каким образом в одном существе могут сочетаться столько простодушия и столько вероломства. Во всяком случае, именно это поразило меня, когда я в последний раз перечитывал эти письма.

Но прежде всего можно ли удержаться от самого гневного возмущения госпожой де Мертей, когда вспомнишь, с каким гнусным удовольствием она не щадила усилий, чтобы злоупотребить всей этой невинностью и простодушием?

Нет, любовь моя прошла. Ничего не осталось во мне от чувства, так ужасно поруганного, и не оно заставляет меня искать оправданий для мадемуазель де Воланж. И все же, разве это столь неискушенное сердце, столь мягкий и податливый характер не склонились бы к добру гораздо легче, чем они дали себя увлечь на путь зла? Кто из юных девиц, точно так же едва вышедших из монастыря без опыта и без всяких представлений о жизни и вступающих в свет, как это почти всегда бывает, в полнейшем неведении как добра, так и зла,— какая юная девица, повторяю, сумела бы более успешно сопротивляться столь гнусным ухищрениям? Ах, чтобы проявить снисходительность, достаточно подумать, от скольких не подвластных нам обстоятельств зависит роковой выбор — сохраним ли мы неиспорченность чувств или они станут растленными? Вы поэтому справедливо судили обо мне, сударыня, полагая, что заблужде-

ния мадемуазель де Воланж, которые меня глубоко уязвили, не внушают мне, однако, никакой жажды их покарать. Достаточно того, что я вынужден был отказаться от любви к ней; а возненавидеть ее было бы для меня слишком тяжко.

Мне незачем долго раздумывать, чтобы стремиться сохранить в полной тайне все то, что касается ее и может ей повредить. Если вам могло показаться, что я некоторое время медлил исполнить ваше на этот счет желание, то, думается мне, могу не скрывать от вас причины: я хотел сперва иметь уверенность в том, что все это злополучное дело не будет иметь для меня тягостных последствий. В то время как я домогался вашего снисхождения и осмеливался даже считать, что имею на него некоторое право, я опасался, что, проявляя в данном случае уступчивость, я как бы пытаюсь подкупить вас. Но, уверенный в чистоте своих побуждений, я возымел, не скрою этого, гордое желание, чтобы и вы в ней не усомнились. Надеюсь, что вы простите мне эту, быть может, чрезмерную щепетильность, ибо причина ее — то благоговейное чувство, которое вы мне внушаете, и то значение, которое я придаю уважению с вашей стороны.

Те же чувства заставляют меня просить вас о последней милости — благоволите сообщить мне, считаете ли вы, что я до конца выполнил свой долг в тех злосчастных обстоятельствах, в каких оказался? Успокоившись на этот счет, я приведу в исполнение то, что решил. Я уезжаю на Мальту. Там я с радостью принесу обеты, которые разлучат меня со светом, ибо, несмотря на свои юные годы, я уже немало от него настрадался,— и буду их свято блюсти. И, наконец, я буду стараться позабыть под чужим небом обо всем этом нагромождении злодеяний, память о которых может лишь омрачить и осквернить мою душу.

Остаюсь, сударыня, с глубоким уважением ваш покорнейший... и проч.

Париж, 26 декабря 17...

ПИСЬМО 175

От госпожи де Воланж к госпоже де Розмонд

Судьба госпожи де Мертей, кажется, наконец, совершилась, мой дорогой и достойный друг, и она такова, что даже злейшие враги ее испытывают не только возмущение, какого заслуживает эта женщина, но и жалость, которую она не может не внушать. Я была права, когда говорила, что, быть может, для нее

было бы счастьем умереть от оспы. Она же, правда, поправилась, но оказалась ужасно обезображенной, а главное — ослепла на один глаз. Вы сами понимаете, что я с ней не виделась, но говорят, что она стала совершенным уродом.

Маркиза де***, не упускающая ни малейшей возможности позлословить, вчера, говоря о ней, сказала, что болезнь вывернула ее наизнанку и что теперь душа ее у нее на лице. К сожалению, все нашли, что это очень удачно сказано.

Еще одно событие увеличило и несчастья ее и вину. Ее дело позавчера слушалось в суде, и она проиграла его полностью. Издержки, протори, возмещение расходов — все было присуждено в пользу несовершеннолетних наследников, так что небольшая часть состояния, относительно которой тяжба не велась, полностью поглощена издержками.

Едва только это стало ей известно, она, еще не окончательно поправившись, тотчас же собралась и уехала ночью одна в почтовой карете. Слуги ее сегодня рассказывают, что никто из них не пожелал ее сопровождать. Говорят, она отправилась в Голландию.

Этот отъезд наделал еще больше шуму, чем все остальное, так как она увезла свои бриллианты на очень крупную сумму, которые подлежали возвращению в наследство ее мужа; она увезла также серебро, драгоценности — словом, все, что могла, и оставила неуплаченными долги на 50 000 ливров. Это самое полное банкротство.

Родня ее собирается завтра на семейный совет, чтобы как-нибудь договориться с кредиторами. Хотя я и очень дальняя родственница, но тоже предложила свое участие. Однако на этом собрании я не буду, ибо должна присутствовать на церемонии еще более печальной: завтра моя дочь приносит обет послушницы. Надеюсь, вы не забыли, дорогой друг мой, что единственная для меня причина считать себя вынужденной принести столь великую жертву — это ваше молчание в ответ на мое последнее письмо.

Господин Дансени покинул Париж недели две тому назад. Говорят, он собирается на Мальту и намерен там остаться. Может быть, есть еще время удержать его?.. Друг мой!.. Неужели дочь моя настолько виновна?.. Вы, конечно, простите матери то, что ей так трудно примириться с этой ужасной уверенностью.

С некоторых пор надо мной властвует какой-то злой рок, поражая меня такими ударами по самым дорогим мне существам. Моя дочь и мой друг!

Как можно без содрогания помыслить о бедствиях, которые способна причинить хотя бы одна опасная связь! И скольких несчастий можно было бы избежать при большей рассудительности! Какая женщина не обратится в бегство при первых же словах обольстителя? Какая мать могла бы без трепета видеть, что дочь ее доверительно говорит не с нею, а с кем-то другим! Но эти запоздалые соображения приходят в голову лишь после того, как все уже случилось. И одна из самых важных, а также самых общепринятых истин не применяется в жизни, сметаемая вихрем наших неустойчивых нравов.

Прощайте, мой дорогой и достойный друг. Сейчас я на горьком опыте познаю, что разум наш, столь мало способный предотвращать наши несчастья, еще менее пригоден для того, чтобы даровать нам утешение [1].

Париж, 14 января 17...

---

[1] Причины частного характера и соображения, уважать которые мы будем всегда считать своим долгом, вынуждают нас здесь остановиться.

В настоящее время мы не можем дать Читателю ни продолжения приключений мадемуазель де Воланж, ни изложить ему мрачные события, которые переполнили чашу бедствий госпожи де Мертей и довершили ее кару.

Может быть, когда-нибудь нам и будет дозволено дополнить этот труд, но никаких обязательств в этом отношении мы на себя взять не можем. А если бы это и оказалось возможным, мы сочли бы своим долгом справиться сначала о желании читающей Публики, которая отнюдь не имеет тех же оснований, что мы, интересоваться такого рода Сочинением.

Примечание Издателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

АББАТ ПРЕВО

«МАНОН ЛЕСКО»

«История кавалера де Грие и Манон Леско» была впервые напечатана в 1731 году в Голландии как VII том «Записок и приключений знатного человека, удалившегося от света», хотя она сюжетно и не связана с «Записками знатного человека».

В 1731 году аббат Прево переехал в Голландию, куда, по-видимому, привез уже вполне законченную «Историю кавалера де Грие и Манон Леско», намереваясь предложить ее амстердамским издателям. Однако, ввиду исключительного успеха четырехтомных «Записок знатного человека», голландские книготорговцы предпочли получить от писателя продолжение этого романа. Нуждаясь в деньгах, Прево взялся написать еще два тома «Записок», к которым, из коммерческих соображений, был присоединен еще один том, содержавший в себе «Историю кавалера де Грие и Манон Леско», причем сам автор в обращении к читателю вынужден был признаться, что история эта никак не связана с событиями, о которых говорится в «Записках».

Во Франции «История кавалера де Грие и Манон Леско» была впервые выпущена в 1733 году с пометкой «Амстердам» (в действительности книга была напечатана в Руане).

С тех пор «История кавалера де Грие и Манон Леско» выходила бесчисленное количество раз и в виде дорогих книг с иллюстрациями знаменитых художников, и в массовых грошовых изданиях, и томами большого формата с широкими полями, и в виде миниатюрных карманных томиков, и малотиражными нумерованными изданиями, рассчитанными на библиофилов, и в виде «академических» изданий с предисловиями, примечаниями, библиографическими справками, вариантами и т. п.

В России повесть была впервые напечатана в 1790 году (хотя перевод «Записок знатного человека» был издан у нас еще в 1756—1764 гг.).

В дальнейшем появилось несколько новых переводов повести: анонимный под названием «История Маши Леско и Кавалера де Грие» (1859), Д. В. Аверкиева (1891 и 1892), И. Б. Мандельштама (1926), М. А. Петровского (изд. Academia, 1932 и 1936), Б. А. Кржевского (1951 и 1957).

В 1964 году издательство «Наука» выпустило в свет перевод М. А. Петровского в серии «Литературные памятники».

Для настоящего издания перевод М. А. Петровского заново сверен с оригинальным текстом 1753 года, воспроизведенным издательством Garnier и снабженным комментариями под редакцией F. Deloffre и R. Picard (Париж, 1965).

Стр. 27. *...Хотя я мог бы включить историю приключений кавалера де Грие в мои «Записки»...* — Аббат Прево приписывает «Записки знатного человека» маркизу, путешествующему по разным странам под именем господина де Рокенкура в сопровождении своего воспитанника. Первая встреча маркиза с кавалером де Грие произошла перед поездкой маркиза в Испанию, и описание этой встречи должно было бы занять место в III томе «Записок». Вторая их встреча, когда де Грие поведал маркизу свою историю, имела место два года спустя.

Стр. 28. *...развлекая, наставлять читателя...* — Одно из основных положений поэтики классицизма.

Гораций и Буало называют... — Имеются в виду следующие строки Горация («Сатиры», II, VI, 72—76): «Наш разговор не о том, хорошо ли и ловко ли пляшет Лепос,— но то, что нужнее, что вредно не знать человеку. Судим: богатство ли делает счастливым иль добродетель: выгоды или наклонности к дружбе вернее приводят; иль в чем свойство добра и в чем высочайшее благо?» (перевод М. Дмитриева), а также VI послание Буало, где поэт говорит: «Отрешившись от треволнений, потолкуем, Ламуаньон, о добродетелях, которые занимают твой ум; обсудим, какие блага истинны и какие — ложны и должен ли честный человек страдать от своих недостатков; побеседуем о том, что скорее ведет нас к славе — обширные знания или незыблемая добродетель».

Стр. 29. *Произведение в целом представляет собою нравственный трактат.* — По этому поводу Анатоль Франс замечает: «Создав как нельзя более легко это чудо искусства, Прево написал две страницы назидательного содержания, чтобы предпослать их роману. Это как бы шаль, наброшенная на плечи мадемуазель Манон. В этом маленьком

отрывке он ставит себе в заслугу то, что написал сочинение, долженствующее пойти на пользу нравам. Не спорю, вы правы. Но эти прекрасные мысли пришли вам на ум, дорогой аббат, лишь после того, как была написана книга. Пока вы водили пером, вас вдохновляли воспоминания о ваших первых увлечениях — и только» (А. Франс, Приключения аббата Прево. Перевод Н. Д. Эфрос).

Примечание.— Оно появилось впервые в издании 1753 года.

Стр. 30. *...за полгода до моего отъезда в Испанию.*— В III томе «Записок знатного человека» имеются сведения, позволяющие точно определить время первой встречи автора «Записок» с де Грие: она произошла в 1715 году.

...похлопотать в нормандском парламенте...— В дореволюционной Франции парламентами назывались суды. Всего насчитывалось двенадцать провинциальных парламентов; они были подчинены парижскому. На парламенты были возложены также и некоторые административные функции.

Эвре — городок между Парижем и Руаном. В 1726—1727 годах Прево выступал в Эвре в качестве проповедника.

...дюжина веселых девиц, которых я... сопровождаю...— Начиная с 1699 года французское правительство стало принимать решительные меры, чтобы заселить территорию на берегу Мексиканского залива, занятую Францией и названную в честь Людовика XIV Луизианой. Помимо того, что в колонию усиленно вербовали добровольцев, туда в принудительном порядке ссылали девушек и юношей дурного поведения, о чем говорят многочисленные документы и свидетельства очевидцев.

Стр. 31. *...Мы взяли ее из Приюта...*— Приют Сальпетриер был учрежден в 1656 году как отделение Главного приюта и предназначался для нищих и умалишенных, а также служил местом заключения женщин легкого поведения.

Стр. 34. *...Я закончил публичные испытания...*— Публичные испытания проводились в семинариях по окончании курса.

Стр. 35. *Мальтийский орден* — древнейший в Европе духовно-рыцарский орден, основанный в 1099 году, во время крестовых походов; члены его делились на три разряда — на военных, духовных и служителей. В первый входили лица знатного происхождения; они носили титул «кавалер» (*франц.* chevalier — буквально «рыцарь»).

Академия — учебное заведение, манеж, где юноши из знатных семей обучались фехтованию, верховой езде и другим видам спорта.

Стр. 37. *...восторга, на несколько времени лишившего меня дара речи.*— Прево одним из первых во французской литературе стал отмечать физические проявления эмоций; его примеру последовали многие современники, в частности Дидро и Руссо.

...снаряжу почтовую карету...— Почтовые кареты, введенные в обиход в 1664 году, были в те времена самым скорым способом передвижения.

Экю — старинная французская серебряная монета, равная трем ливрам или франкам.

Стр. 39. *Сен-Дени* — городок в 8 км к северу от Парижа; в старину едущие в столицу здесь в последний раз сменяли почтовых лошадей.

*...на улице B**** — Подразумевается улица Вивьен, поблизости от тогдашней биржи; здесь стояли особняки крупнейших финансистов; в описываемое в романе время Джон Ло основал на этой улице свой знаменитый банк, потерпевший крах в 1720 году.

Стр. 40. *Пистоль* — монета, равная десяти ливрам (франкам).

Стр. 45. *Какая жалость, что я записал тебя в Мальтийский орден...*— Отец де Грие намекает на то, что рыцарь мальтийского ордена обязан дать обет безбрачия.

Ты умеешь добиться быстрой победы...— цитата из Тита Ливия (XXII, I).

Стр. 48. *...комментарий к четвертой книге «Энеиды».*— В этой книге Вергилий повествует о трагической любви Энея и Дидоны.

Стр. 49. *Я уже заранее составил себе план одинокой и мирной жизни.*— Мечта о тихой жизни в деревенском уединении была дорога и самому Прево, и многим его современникам; она получила особенно яркое выражение у Руссо (ср., например, конец IV книги «Эмиля», IV книгу «Исповеди»).

Стр. 50. *Бенефиций* — духовная должность, дававшая право на получение дохода с недвижимого имущества, принадлежащего церкви.

Стр. 51. *...почему он теряет всякую способность к сопротивлению...*— Говоря о том, что не всем дано преодолевать свои страсти, де Грие высказывается в духе янсенизма. Голландский богослов Янсений (1585—1638) и его последователи отрицают свободу воли и ставят «спасение» человека исключительно в зависимость от «божественной благодати»; по учению Янсения, человек, лишенный помощи свыше, бессилен в борьбе со злом. Католическая церковь, главным образом в лице иезуитов, вела ожесточенную борьбу с янсенизмом, продолжавшуюся до середины XVIII века.

Наступило время публичного испытания...— Начиная со средних веков вплоть до революции 1789 года учащиеся Богословского Училища (Сорбонны) подвергались публичным испытаниям по окончании определенных этапов обучения. Испытания начинались в 6 часов утра и могли длиться до 6 часов вечера. Испытуемый должен был защищать то или

иное положение в споре с двадцатью докторами, которые сменяли друг друга.

Стр. 54. *Шайо* — в те времена деревушка под Парижем, одно из любимых мест прогулок парижан. В 1787 году включена в черту города.

Стр. 55. *«Опера»* — театр, основанный в Париже в 1672 году и первоначально называвшийся «Королевской Академией Музыки». Театр играл большую роль в жизни светского общества; в помещении театра устраивались также и балы, которые начинались в 11 часов вечера и продолжались до 6 часов утра.

Стр. 56. *...служивший в гвардии.*— Имеется в виду отряд кавалерии, предназначавшийся для охраны короля. Первоначально в отряд принимались только молодые люди из дворянских семей, но в начале XVIII века в гвардию стали принимать и лиц недворянского происхождения.

Стр. 59. *...члены Сообщества...*— присяжные шулера, действовавшие согласованно и делившие между собою как выигрыши, так и проигрыши.

Стр. 60. *Сад Пале-Рояля* — в то время излюбленное место прогулок великосветского общества.

...слезы его оросили мое лицо.— Эти строки — одно из самых ранних проявлений сентиментализма во французской литературе.

Стр. 63. *Трансильванский дворец.*— Незадолго до описываемых событий дворец был арендован трансильванским князем Ференцем Ракоши, который устроил в нем игорный дом.

Стр. 71. *...избавляясь от позора.*— Де Грие мирится с тем, что Манон намерена ограбить господина Г*** М***, однако жить за счет девушки, состоящей на содержании, все же представляется ему невозможным.

Стр. 73. *Сен-Лазар* — мужская исправительная тюрьма, состоявшая в ведении монахов общины св. Лазаря. Пребывание в этой тюрьме считалось неизгладимым позором.

...место, само название которого приводит меня в ужас.— В первой редакции повести де Грие сразу же называл тюрьму, в которую заключили его возлюбленную; в редакции 1753 года автор вкладывает это страшное слово в уста де Грие несколькими страницами позже — ради придания эпизоду большей драматичности.

Стр. 74. *...одной-единственной грубости.*— Де Грие подразумевает телесное наказание, применявшееся в тюрьме Сен-Лазар.

Стр. 82. *...слышу речи одного из наших янсенистов.*— Тиберж упрекает де Грие в том, что он рассуждает, как янсенист, когда говорит, что не в силах действовать иначе (то есть что воля его не свободна).

Стр. 92. *...двадцать палок этому негодяю!* — Леско издевается над возницей, предлагая ему вместо двадцати ливров (составляющих луидор) двадцать палочных ударов.

Стр. 94. *Кур-ля-Рэн* — бульвар, созданный в 1616 году по желанию королевы-регентши Марии Медичи; в XVII и в начале XVIII века — место прогулок великосветского общества.

Стр. 108. *Меня! подозревать, что я столь вероломна?* — Манон и де Грие пародируют диалог Ифигении и Эрифилы из трагедии Расина «Ифигения» (II, 5).

Стр. 110. *...около семи часов...*—В то время театральные представления начинались в пять часов вечера и продолжались часов до девяти.

Стр. 125. *Шатле.*— Большой и Малый Шатле — замки-крепости, сооруженные в средине XVIII века. Большой Шатле служил местопребыванием главного парижского судьи (прево) и частично тюрьмой. Малый Шатле тоже был тюрьмой.

Стр. 127. *...заплатил привратнику вперед за месячное содержание...*— Заключенные имели право вносить деньги за улучшенное содержание.

Стр. 128. *Гревская площадь* — место, где с 1310 по 1832 год казнили преступников.

Стр. 137. *...погрузить на корабль в Ларошели...*— Ссылаемых на Миссисипи отправляли преимущественно либо из Ларошели, либо из Рошфора.

Стр. 140. *...они живут по законам природы...*— В XVIII веке господствовало убеждение, что дикари — существа добродетельные, могущие служить примером для цивилизованных европейцев.

Стр. 141. *...когда я ожидал почты.*— Почтовые курьеры отправлялись в путь и прибывали к месту назначения в определенные дни.

Стр. 142. *Меня без затруднений приняли на корабль.*— Действительно, тогда охотно принимали на корабль всякого, кто желал поселиться в колониях.

Стр. 143. *...страна не представила ничего привлекательного.*— Прево, всегда очень точный, в описании колонии допускает погрешности: в районе Нового Орлеана берега были болотистые, а не песчаные; город отстоял дальше от берега, чем говорит автор, и не было холма, скрывающего поселение. Зато Прево правильно отмечает, что Новый Орлеан представлял собою тогда всего лишь небольшой поселок, а отнюдь не процветающий город, как его старалась изобразить «Индийская Компания», которая ведала колонизацией и была заинтересована в притоке поселенцев.

Красивейших он предоставил старшинам, прочих пустил по жребию.— Здесь Прево правдиво рисует нравы, царившие в колонии; губернатор пользовался неограниченной властью.

Стр. 151. *...англичане дадут нам приют в своих поселениях.*— Английские колонии были расположены гораздо дальше от Нового Орлеана, чем думает де Грие, и добраться до них пешком было невозможно.

Е. Гуист

ШОДЕРЛО ДЕ ЛАКЛО

«ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»

«Опасные связи» Шодерло де Лакло выдержали множество изданий в оригинале. Укажем из них следующие:

1. Первое издание 1782 года в четырех томах без иллюстраций.

2. Издание 1796 года, так называемое «лондонское» (хотя, вероятно, оно печаталось во Франции), с гравюрами.

3. Издание 1820 года с иллюстрациями Деверия.

4. Два роскошных издания 1908 года. Одно с цветными литографиями Любена де Бове, другое с офортами Ван Меле.

5. Издание 1913 года «Bibliothèque des curieux» под общей редакцией Гийома Аполлинера.

В России «Опасные связи» переводились и издавались трижды.

1. Вредные знакомства, или Письма, собранные одним обществом для предостережения других, ч. 1—4, в Театральной типографии, СПб. 1804—1805.

Без указания автора и переводчика.

2. Шодерло де Лакло, Опасные связи. Перевод Н. Д. Эфрос с введением А. Эфроса, «Academia», М.—Л. 1933.

С вкладными иллюстрациями.

3. Шодерло де Лакло, Опасные связи. Перевод с французского, статья и примечания Н. Я. Рыковой, «Наука», М.—Л. 1965 (серия «Литературные памятники»).

Настоящий перевод сделан по изданию «Bibliothèque des curieux» (1913), в основу которого положен текст первого издания 1782 года.

Письмо 1

In fiocchi (итал.) — в парадном туалете.

Пансионерка.— При отсутствии светской школы для детей дворян сыновья их обычно получали образование в иезуитских коллежах или же дома, тогда как дочери отдавались на воспитание и обучение в женские монастыри, где и находились в течение ряда лет на полном содержании (на средства родителей — откуда и термин «пансион»). Это не налагало никаких монашеских обязанностей; однако девушке из дворянской семьи, которую из-за отсутствия приданого или по каким-либо

порочащим причинам родные не могли или не хотели выдать замуж (и которая тем самым лишалась средств к существованию), обычно не оставалось иного выхода, как пострижение в монахини, нередко в том же монастыре, где она и воспитывалась.

Письмо 4

Президент, президентша.— Госпожа де Турвель является женой председателя одной из палат какого-либо из провинциальных парламентов, то есть одного из высших судебно-административных органов дореволюционной Франции. Благодаря системе покупки должностей, ставшей наследственной привилегией, члены парламентов (советники палат, президенты и т. п.) превращались в замкнутую касту — «дворянство мантии». По образованности и политическому влиянию они подчас стояли выше родовой аристократии или военно-служилой знати («дворянства шпаги»). Но по своим более строгим нравам были патриархальнее, отличаясь и по хозяйственному укладу. Вопросы нравственности, и, в частности, религиозное благочестие, волновавшие французское общество с середины XVII века (Паскаль, Расин), имели своей питательной средой именно эти круги.

Письмо 10

«Софа» — эротико-сатирический роман французского писателя Кребийона Младшего (1707—1777).

Элоиза.— Имеется в виду знаменитый роман в письмах Ж.-Ж. Руссо «Новая Элоиза». Повествуя в нем о любви плебея Сен-Пре и дворянки Юлии, Руссо восстает против преград, которые ставятся чувству общественными условностями и предрассудками, но признает, однако, преграды, которые воздвигает сознание нравственного долга.

Письмо 39

...на Корсике.— В 1735 году Корсика отделилась от Генуэзской республики; для подавления корсиканского освободительного движения Генуя призвала в 1738 году на помощь Францию. Но и последней в течение тридцати лет не удавалось добиться успеха, пока, наконец, купив остров у Генуи за два миллиона франков (в 1768 г.), Франция не разбила вождя корсиканцев Паоли в 1769 году. Однако для усмирения военные силы привлекались и впоследствии.

Письмо 44

Пирон. «Метромания».— Алексис Пирон (1689—1773) — французский поэт, автор эротических стихотворений, а также комедий и либретто для комических опер. «Метромания» — стихотворная комедия, высмеивающая дилетантов-рифмоплетов,— считается лучшим его произведением. Цитируемая здесь строка взята из IX сцены II действия.

Стойкость Сципиона.— Имеется в виду эпизод из жизни Публия Корнелия Сципиона Эмилиана Африканского (ок. 235—185 гг. до н. э.): вместо того чтобы сделать пленную испанскую девушку своей наложницей, он возвратил ее жениху.

Письмо 51

Селадон — герой романа Оноре д'Юрфе «Астрея» (1619). Имя это сделалось прозвищем всякого томного любовника.

Письмо 58

Примечание Шодерло де Лакло — прием, посредством которого автор старается придать максимальное правдоподобие своей роли «редактора» какого-то собрания якобы подлинных писем. Виконт де Вальмон действительно «неточен» в ссылке на Руссо: здесь имеется в виду то место из I главы «Эмиля», где рекомендуется бороться с иррациональным страхом у ребенка путем приучения его к вещам и явлениям, вызывающим этот страх.

Письмо 59

...в облигатном речитативе...— Облигатным называется речитатив, сопровождаемый и прерываемый оркестром и потому накладывающий и на певцов и на оркестр определенные взаимные обязательства.

Письмо 63

...подобно афинскому архитектору...— В «Наставлении государственным деятелям» Плутарха приводится анекдот о двух афинских архитекторах, один из которых пространно описывал, какие замечательные

строения он возведет, а другой произнес только слова, процитированные в данном письме.

Грессе, комедия «Злюка».— Жан-Батист Грессé — французский поэт и драматург (1709—1777). Лучшее его произведение — комическая поэма «Vert-Vert» (о попугае, живущем в женском монастыре, любимце всех монахинь). Грессе был посредственным драматургом; но комедия «Злюка» («Le Méchant», 1747) в свое время пользовалась успехом. Стих, приведенный в данном письме, взят из I сцены II действия.

Магдалина — блудница из евангельской легенды, обращенная Христом на путь добродетели. В искусстве эпохи Ренессанса и более позднего времени «кающаяся Магдалина» — один из частых сюжетов.

Письмо 70

...пословицу вы знаете.— Имеется в виду распространенная пословица à bon entendeur salut, по смыслу аналогичная русской — «имеющий уши да слышит».

Письмо 71

Расин, трагедия «Британик».— «Британик» — трагедия на сюжет из истории Древнего Рима; написана была в 1669 году. Здесь цитата из II сцены II действия.

Письмо 81

Тиранов свергнутых, что делались рабами.— По всей вероятности, автор данных стихов — сам Шодерло де Лакло. «Плохими» он, проявляя авторскую скромность, объявляет их за банальность мысли и ее поэтического выражения.

...история Самсона.— Намек на библейскую легенду об одном из «судей израильских» (племенных вождей), богатыре Самсоне. Самсон держал в тайне от всех, что магическим источником его силы и мощи были его длинные волосы. Однако любовнице Самсона, Далиле, женщине из враждебного евреям племени филистимлян, удалось выведать у него эту тайну, и, когда он уснул, она остригла ему волосы, после чего филистимляне захватили его в плен и ослепили.

Письмо 85

Ландскнехт — карточная игра, распространенная в конце XVIII века.

Вы плачете, Заира? — Заира — героиня одноименной трагедии Вольтера (1732). Здесь имеется в виду II сцена IV действия.

Оросман — султан, влюбленный в Заиру.

Вот, однако, и все! — из «Нравоучительных историй» Мармонтеля («Аннетта и Любен»). Но Шодерло де Лакло допустил ошибку: слова эти на самом деле говорит не пастушка Аннетта, а ее возлюбленный пастушок Любен.

Письмо 99

...подобно копью Ахилла...— Ахилл — один из героев древнегреческого эпоса, сын царя Пелея и морской богини Фетиды. Согласно мифу об Ахилле, копье его обладало свойством исцелять нанесенные им раны.

Я справедлив, а не любезник льстивый — реплика одного из персонажей «Нанины», графа д'Ольбана, в VII сцене I действия.

Письмо 104

Мы живем не во времена госпожи де Севинье.— Маркиза де Севинье (1626—1696) прославилась своими письмами к дочери. Стиль этих писем, изящный и в то же время простой и непосредственный, остроумие, меткость в оценке людей и обстоятельств эпохи, искусство, с которым обрисована в них жизнь «двора и города»,— сделали их одним из классических произведений французской литературы. Данная фраза из письма госпожи де Мертей объясняется обилием в письмах маркизы де Севинье практических советов и сведений, характеризующих быт французской знати XVII столетия, и намекает на контраст между современной Шодерло де Лакло роскошью и относительной простотой жизни высших классов в минувшем веке.

Письмо 107

«Христианские мысли».— В XVIII веке под этим названием неоднократно издавались сборники отрывков из произведений духовных писателей, «отцов церкви», известных проповедников. Здесь имеется в виду сборник, изданный аббатом Форе, единственное из подобных изданий, вышедшее в двух частях.

«Кларисса» — роман английского писателя Самюэля Ричардсона

(1689—1761) «Кларисса Гарлоу» (1747—1748), в котором изображена горестная судьба молодой девушки из буржуазной семьи, соблазненной аристократом Ловеласом и гибнущей по его вине.

...слушала у Фельянов обедню — то есть в парижском монастыре, получившем название от аббатства Фельянов в Лангедоке, которое являлось ответвлением сурового бенедиктинского братства. Во время французской революции, когда орден был ликвидирован, в помещении монастыря возник один из революционных клубов, так и называвшийся «Клуб фельянов».

Письмо 110

Сен-Пре — герой «Новой Элоизы» Руссо.

Реньяр, «Любовное безумие».— Жан-Франсуа Реньяр (1656—1709) — знаменитый французский комедиограф. Уступая Мольеру, своему великому предшественнику, в глубине, Реньяр все же отличался многими качествами, благодаря которым театр его не может считаться устаревшим (живость и остроумие диалога, меткость характеристик, сценичность положений). «Любовное безумие» («Les folies amoureuses») — одна из наиболее веселых его комедий фарсового типа. Приводимое в тексте Лакло выражение находится в XII сцене II действия.

Письмо 113

«Всего не предусмотришь!» — комическая опера Монсиньи (1729—1817); либретто Седена (1719—1797). Слова, приведенные в тексте письма, не точная цитата, а изложение мысли по памяти.

Письмо 125

Тюренн — виконт Анри де ла Тур д'Овернь Тюренн (1611—1675), французский полководец, участник Фронды (гражданских войн между крупной феодальной аристократией и королевской властью) и нидерландских походов Людовика XIV.

Фридрих — Фридрих II, король прусский (1740—1786), считавшийся выдающимся полководцем. Во время так называемой Семилетней войны, когда против Пруссии образовалась коалиция из Австрии, Франции и России, ему удалось добиться значительных военных успехов — главным образом вследствие того, что коалиция действовала несогласованно. Однако русские войска нанесли Фридриху II жестокие поражения и в 1759 году заняли Берлин.

...Ганнибал среди утех Капуи.— Ганнибал (247—189 гг. до н. э.) — знаменитый карфагенский полководец, действовавший против Рима во время так называемой второй Пунической войны (между Римом и Карфагеном). Ганнибал одержал над римлянами блестящие победы, его войска вторглись в 218 году до н. э. в Италию и захватили Капую, где Ганнибал долгое время оставался в бездействии, но отнюдь не потому, что предавался «капуанским утехам», а из-за отсутствия помощи из Карфагена.

Письмо 133

Дю Беллуа, трагедия «Осада Кале».— Дю Беллуа (настоящее имя — Пьер-Лоран Бюирет, 1727—1775), французский драматург и актер, несколько лет проживший в Петербурге, где он пользовался покровительством императрицы Елизаветы, автор трагедий «Тит», «Зельмира», «Гастон и Баярд», «Осада Кале». Последняя считается лучшим его произведением. Граф д'Аркур — один из персонажей трагедии, лицо историческое (род. в 1356 г.); изгнанный из Франции королем Филиппом VI, он сражался на стороне англичан против своей родины, затем получил прощение и возвратился, но снова изменил королю и опять оказался на чужбине. Приведенные здесь слова д'Аркура — из XII сцены II действия.

Письмо 145

Лесаж — Ален Рене Лесаж (1668—1747), французский драматург и романист-сатирик. Как автор «Хромого беса» и в особенности «Жиль Блаза» Лесаж — один из основоположников критического реализма во французском романе. Острой сатиричностью отличается его комедия «Тюркаре». В данном письме имеется в виду не какое-то определенное высказывание Лесажа, а размышления Жиль Блаза после крушения его карьеры и окончательного его ухода в частную жизнь (последние три части одноименного романа).

Письмо 146

Алкивиад — политический и военный деятель Афин конца V в. до н. э., принадлежавший к демократической партии и несколько раз возглавлявший афинские вооруженные силы в войне со Спартой. Имея в Афинах много врагов, всячески вредивших ему своими происками, Алкивиад не раз в отсутствие свое подвергался осуждению и изгнанию. В молодости он был другом и учеником Сократа.

Мармонтель — Жан-Франсуа Мармонтель (1723—1799), французский писатель, прогрессивный мыслитель, автор трагедий, романов и нескольких сборников новелл «Нравоучительные истории», к числу которых относится и упомянутая в данном письме повесть об Алкивиаде («Alcibiade ou de moi»). Сюжет повести — любовные похождения юного Алкивиада, который добивается бескорыстной любви «ради себя самого». Беспрестанно разочаровываясь в женщинах, Алкивиад в конце концов приходит к Сократу за советом. Шодерло де Лакло и на этот раз цитирует Мармонтеля не совсем точно, но общий смысл фразы, сказанной Сократом, сохранен.

Письмо 152

Менехмы — персонажи комедии греческого драматурга Менандра (IV в. до н. э.) под тем же названием и ее римской переделки (Плавт, II в. до н. э.); комическая интрига основана в «Менехмах» на путанице, возникающей из-за сходства двух близнецов. Существует также одноименная комедия Реньяра (1703).

Н. Рыкова

СОДЕРЖАНИЕ

Ю. Виппер. Два шедевра французской прозы XVIII века . 5

АББАТ ПРЕВО. МАНОН ЛЕСКО.
Перевод М. Петровского

Предуведомление автора «Записок знатного человека» . . . 27
Часть первая 30
Часть вторая 99

ШОДЕРЛО ДЕ ЛАКЛО. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ.
Перевод Н. Рыковой 157

Примечания *Е. Гунста, Н. Рыковой* 513

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ПЕРВАЯ

Том 56

Аббат Прево

МАНОН ЛЕСКО

Шодерло де Лакло

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

*

Редактор М. Ваксмахер

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Суперобложка
Ю. Игнатьева

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Г. Каунина

Корректоры
Р. Пунга и А. Юрьева

*

Сдано в набор 24/I 1967 г. Подписано к печати 18/V 1967 г. Бумага типографская № 1 60 × 84¹/₁₆—33 печ. л. = 30,79 усл. печ. л. 29,83 уч.-изд. л. + 5 накидок = =30,43 л. Тираж 300 000 экз. Заказ № 171. Цена 1 р. 34 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.